

журнал выходит 6 раз в год

НОВАЯ ЮНОСТЬ

(2021–2023)

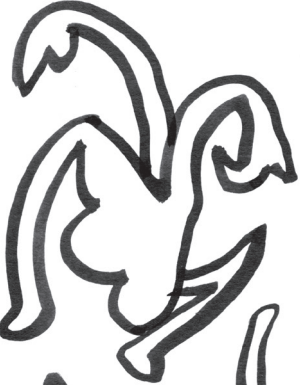
ИЗБРАННОЕ

[НО]

СОДЕРЖАНИЕ:

Ирина Хургина главный редактор	Проза	АФАНАСИЙ МАМЕДОВ ПАРОХОД «БАБЕЛОН» <i>Фрагмент из романа</i>	6
Глеб Шульпяков заместитель главного редактора		СЕРГЕЙ КАТУКОВ ЭКСПЕДИЦИЯ ГЕНЕРАЛА КАННИБАЛА <i>Маленькая повесть</i>	51
Дмитрий Тонконогов ответственный секретарь заведующий отделом поэзии		ВАЛЕРИЙ БОЧКОВ БАБЬЕ ЛЕТО <i>Фрагмент из повести</i>	76
Егор Ходеев главный художник		СВЕТЛАНА САВЕЛЬЕВА АРЬЯНА <i>Повесть</i>	92
Анна Сазанова верстка		АЛЕКСАНДР НЕЖНЫЙ С БОГОМ <i>Повесть</i>	150
УЧРЕДИТЕЛЬ ЖУРНАЛА ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР “НОВАЯ ЮНОСТЬ” © ЖУРНАЛ “НОВАЯ ЮНОСТЬ” [НО]		ЯКОВ ШЕХТЕР БЫВШИЙ АГЕНТ МОССАДА <i>Повесть</i>	209
Татьяна Бобрынина генеральный директор		РЕНАТ БЕККИН ДВОРНИК ПИСАТЕЛЯ ХАРМСА <i>Повесть</i>	246
ISSN 0869–7361		ЕВГЕНИЙ ДОЛМАТОВИЧ ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАШИ <i>Маленькая повесть</i>	294
		ВЛАДИМИР ТОКМАКОВ ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ КОРОЛЕЙ <i>Фрагмент из романа</i>	323
		МИХАИЛ КНИЖНИК ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС <i>Повесть</i>	362
		АНТОН НЕЧАЕВ ПАКИЦЕТ <i>Повесть</i>	395
		ИВАН ГОБЗЕВ АННА АРКАДЬЕВНА <i>Рассказ</i>	444
		ШАРИФ АГАЯР ФОТОГРАФИЯ <i>Рассказ</i>	461

	СЕРГЕЙ ЛИТВИНОВ СМЕРТЬ ОТМЕНЯЕТСЯ Рассказ	470
	МАДИНА ТЛОСТАНОВА ФУРИЯ И ВАРЕНЬЕ ИЗ ЖЕРДЕЛЕЙ Рассказ	492
	АНДРЕЙ БЕЛЕВСКИЙ НЕКОТОРЫЕ ЭПИЗОДЫ ИЗ ЖИЗНИ ИИСУСА (записаны неканоническими свидетелями) С прологом и эпилогом от автора перевода. Перевод с арамейского	508
	МИЛА БОРН МУСОРНЫЙ ВЕТЕР Рассказ	522
	МИХАИЛ БАРУ НАПОМИНАЮЩИЕ ЖЕНЩИН Миниатюры	531
	ДЕНИС ЛИПАТОВ НИЗШАЯ МЕРА Рассказ	540
	ЕКАТЕРИНА БАСМАНОВА ТРАНСПОКОЙНЫЕ: ИЗ КРУГОВ АДА В РАЙСКИЕ КУЩИ Рассказ	548
Поэзия	АЛЕКСЕЙ ДЬЯЧКОВ КАДМИЙ, ОХРА, УМБРА И СИЕНА	558
	ИГОРЬ ИРТЕНЬЕВ КОГДА НАШ ПОЛК ВХОДИЛ В МЫТИЦЫ	562
	ЮЛИЙ ХОМЕНКО СЕЛФИ С СОЛНЦЕМ	565
	ВАДИМ ЖУК СКЕЛЕТ В ШКАФУ	570
	ЮРИЙ ПЕРФИЛЬЕВ ЧЕЛОВЕК СОСТОИТ ИЗ	574
	ЮРИЙ МИХАЙЛИК МОРЕ ГОРИТ	576
	ГАННА ШЕВЧЕНКО ПЕСНИ ВИННИ-ПУХА	578
	СУХБАТ АФЛАТУНИ Я ИЗ ГАЗЕТЫ	581
	ВЛАДИМИР САЛИМОН НЕТ ЗИМЕ!	586
	ВЛАДА БАРОНЕЦ МОДЕЛЬ РОССИИ	592
	СЕРГЕЙ ЗОЛОТАРЕВ ВИННЫЙ АНГЕЛ	595



АНТОН МЕТЕЛЬКОВ ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ	597
АЛЕНА БАБАНСКАЯ ТРЕТИЙ	599
ДАРЬЯ ХРИСТОВСКАЯ ТРИ СНЕГА	602
ФЕЛИКС ЧЕЧИК СООТВЕТСТВУЯ ГОДАМ	605
ВЕНИАМИН БЛАЖЕННЫЙ ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО	608
АЛЕКСАНДР КЛИМОВ-ЮЖИН СТРАХ УРОНИТЬ ТУДА ОЧКИ	611
САНДЖАР ЯНЫШЕВ R-ХРОМОСОМА	614
ДМИТРИЙ ПЕСКОВ ЁСИКО В КИМОНО	618
ВАДИМ МУРАТХАНОВ ЗАПРЕТНОЕ	620
МАРИЯ ЗАТОНСКАЯ СЕГОДНЯ К НАМ ПОСТУЧАЛИ	622
НАТАЛЬЯ БАЛАНОВА НЕ МОЛЧИ	624
АНТОН БАХАРЕВ КРОССОВКИ	626
ЕЛЕНА КЕПЛИН НЕ СТАВШЕЕ ГЕРБАРИЕМ	631
ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ	636
АНДРЕЙ РОДИОНОВ ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ	638
ЛАРИСА МИЛЛЕР СПЕЦИАЛИСТ ПО РАЙСКИМ КУЩАМ	640
АНДРЕЙ ПЕРМЯКОВ ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ	644
ВЯЧЕСЛАВ ПОПОВ ТЕПЛЫЕ НОСКИ	646
ВЛАДИМИР ИВАНОВ МИМО МУЗЫКИ	650
АННА АРКАТОВА МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ НЕ РАБОТАЕТ	655
ЙЕГУДА АМИХАЙ ПАМЯТЬ ЛЮБВИ: ДОГОВОР, УСЛОВИЯ... <i>Перевод с иврита Александра Бараша</i>	657



Мастерская	ГРИГОРИЙ КРУЖКОВ ФРОСТ В АНГЛИИ Эссе	662
	ТАТЬЯНА СТАМОВА ЖИЛ ПОЭТ ПО ФАМИЛИИ МАЙКОВ... Лимерики	672
	АЛЕКСЕЙ АЛЁХИН КОМУ И НА ФИГА НУЖНА ПОЭЗИЯ, ИЛИ О НАЗНАЧЕНИИ ПОЭТА Лекция	677
	ВАДИМ ПЕРЕЛЬМУТЕР РЕНЕССАНС ВЯЗЕМСКОГО Очерк	689
Картина мира	К 233-й годовщине со дня взятия Бастилии ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В РАССКАЗАХ ОЧЕВИДЦЕВ Воспоминания. Предисловие, перевод с французского и примечания Елены Морозовой	726
Уроки	АЛЕКСЕЙ БИРГЕР ДОМБРОВСКИЙ Эссе	750
Штудии	ДАНИЭЛА РИЦЦИ ПУТЕШЕСТВИЕ НАДЕЖДЫ ШАХОВСКОЙ Эссе. Перевод с итальянского М. Ослона	762
	АСЯ ПЕКУРОВСКАЯ «И ПРОСТОР ГОЛУБЕЕТ, КАК БЕЛЬЕ С КРУЖЕВАМИ» Эссе	770
	САНДЖАР ЯНЫШЕВ НАЙМАН Эссе	781
И.Т.Д.	ГЛЕБ ШУЛЬПЯКОВ НОВАЯ КНИГА ШЕПТУХИ	794





Проза

Афанасий Мамедов. Пароход «Бабелон».

Фрагмент из романа

Сергей Катуков. Экспедиция генерала Каннибала.

Маленькая повесть

Валерий Бочков. Бабье лето.

Фрагмент из повести

Светлана Савельева. Арьяна. *Повесть*

Александр Нежный. С Богом. *Повесть*

Яков Шехтер. Бывший агент Моссада. *Повесть*

Ренат Беккин. Дворник писателя Хармса. *Повесть*

Евгений Долматович. Евангелие от Маши.

Маленькая повесть

Владимир Токмаков. Танец маленьких королей.

Фрагмент из романа

Михаил Книжник. Последний сеанс. *Повесть*

Антон Нечаев. Пакицет. *Повесть*

Иван Гобзев. Анна Аркадьевна. *Рассказ*

Шариф Агаяр. Фотография. *Рассказ*

Сергей Литвинов. Смерть отменяется. *Рассказ*

Мадина Тлостанова. Фурия и варенье из

жерделей. *Рассказ*

Андрей Белевский. Некоторые эпизоды из жизни

Иисуса (записаны неканоническими свидетелями).

С прологом и эпилогом от автора перевода.

Перевод с арамейского

Мила Борн. Мусорный ветер. *Рассказ*

Михаил Бару. Напоминающие женщин.

Миниатюры

Денис Липатов. Низшая мера. *Рассказ*

Екатерина Басманова. Транспокойные: из кругов

ада в райские кущи. *Рассказ*



Афанасий Мамедов

ПАРОХОД «БАБЕЛОН»

*Памяти моего деда Афанасия Ефимовича
Милькина*

*Знаков наших не увидели мы, нет больше про-
рока, и не с нами знающий — доколе?*

Теилим, 74:9

Пролог

ОДНАЖДЫ В СТАМБУЛЕ

Хотя с момента переименования города прошло едва ли больше недели, искавшие в одном городе другой могли легко заблудиться на его улицах.

Что-то неуловимое покинуло город, ушло из его прежней жизни. Походило это на то, как если бы город был человек и его стали называть другим именем, лишив заслуг и приписав свойства, которыми он не обладал прежде.

Ретроградный Меркурий не щадил никого. На исходе того самого дня, когда было объявлено о переименовании Константинополя в Стамбул¹, представитель фирмы «Эйтингон Шильд», соратник Соломона Новогрудского и «запасной вариант» Ефима Ефимовича на случай непредвиденных обстоятельств, был схвачен турецкой тайной полицией. Произошло это в переулках Галаты — старой еврейской части города, возле книжного магазина господина Червинского, а несколькими часами позже во втором этаже гостиницы «Ханифе», в которой Ефим Ефимович (можно просто — Ефим или Ефимыч) остановился по наводке все того же

¹ 28 марта 1930 года по указу Мустафы Кемала Ататюрка Константинополь был переименован в Стамбул.

Соломона, повесился некий молодой англичанин — тихий двойник принца Георга.

Синематическая внешность островитянина, его пристальные взгляды, ленивый басок и излишняя церемонность, напоминавшая здесь, на Востоке, натянутый собачий поводок — вот то немногое, что удалось спасти от забвения некоторым пронизательным жильцам гостиницы. Впрочем, не только это. В памяти Ефима в дополнение к тому всплывали еще и частые щелчки массивного портсигара.

К самому Ефиму, кутившему в Стамбуле не меньше незадачливого англичанина, Меркурий, похоже, был более благосклонен: спал он таким безмятежным дачным сном, что не слышал даже, как шуршала всю ночь крыльями полиция, точно залетевшая в коридор гостиницы птица.

«Сон мой был столь крепок, что я пропустил даже азан — заунывное пение муэдзина, из-за которого просыпался с рассветом в предыдущие дни, — мечеть располагалась прямо напротив моего окна. Встань с кровати, распахни занавесь — и вот он, минарет, правда, всего лишь до середины, но если открыть окно пошире, вывалиться до пупа и задрать голову вверх, можно увидеть, как муэдзин кричит с шарафа, узенького кругового балкончика, что-то свое длинное-предлинное, повязывающее узлом вечности единоверцев».

А вчера утром Ефим, воспользовавшись благорасположенностью своего бога — бога изворотливости, выпил стакан кипяченой воды из графина, что стоял на прикроватной тумбочке, максимально честно сделал «четырёх дервишей», без которых уже много лет не мог зарядиться на полноценный день, после чего, совершенно не чувствуя боли старых ран, принял ванну и докрасна растерся полотенцем.

Что еще?

Еще он успел до девяти побриться у фарфорового ручноймыльника, не теряя надежды обнаружить в парике хотя бы один поседевший волос, аккуратно расчесать его, без обычных чертыханий повязать галстук грубым канадским узлом и найти в чемодане куда-то запропастившиеся запонки, подаренные ему Родионом Аркадьевичем в память о вступлении в ложу.

Что еще?

Еще он успел съесть пышный омлет, начиненный крупной дробью зеленого горошка, в ресторанчике гостиницы и выпить маслянистый кофе на углу у бойкого ящеричного вида старика, торговца восточными сладостями и гашишем.

Едва «Регент» Ефимыча отбил девять, он уже стоял на причале, любуясь безмятежной синевой Мраморного моря и прилежно растянувшимся противоположным берегом, напоминавшим вчерашний Константинополь.

А через четверть часа всходил по трапу на низкое суденышко, предварительно убедившись, что именно оно через пару минут отчалит к Принцевым островам.

В Константинополь он прибыл за неделю до переименования города, и, хотя о прибытии его Старик — плотогону из давнишних снов Ефима — доложили, письмо от него со словами: «Буду рад принять Вас на нашем острове завтра в первой половине дня», Ефим получил за сутки до того, как повесился англичанин.

«Я поднимался к себе на третий после встречи со Стариком, когда заметил чуть ли не весь персонал гостиницы, столпившийся возле официально распахнутой двери во главе с администратором».

— Я забыл... я вернулся... я только дверь открыл... — говорил что-то вроде этого, показывая на медную табличку с номером, мальчик-чистильщик обуви.

Не сразу стяхнув оцепенение, всегда медоточивый администратор бросил после сбивчивых слов мальчика что-то резкое. Ефим понял так: велел, чтобы все быстро расходились. После чего, играя янтарными четками, понес свои сто колышущихся килограммов вниз на первый этаж, по всей видимости, дожидаться полиции.

Англичанин готовился к встрече с полицией иначе — висел на крюке под перекошенной люстрой над столом и упавшим стулом так, будто вытек весь до последней жилы из своего благородного, в алебастровой присыпке твида. Непонятно было, каким образом держались еще на нем горевшие черным остроносые «честеры». Под рассеченной бровью англичанина красовался боксерский синяк довольно больших размеров. А вокруг стола все было оплевано. Причем с такой показательной частотой, что не трудно было усмотреть в этом следы какого-то обряда.

«Плевки оттого еще так по-первобытному смотрелись, что пол был навощен до того блеска, который присущ более дворцам и музеям, нежели трехэтажным гостиницам с сомнительной репутацией».

В овальном зеркале приоткрытой створки шифоньера отражалась венская горка, в стекле которой, в свою очередь, отражался кусочек английского твида цвета серого неба. Не сохранилось в зеркале только отражение того, кого должна была искать турецкая полиция.

«Окинув взглядом место преступления, я почему-то подумал о том, кому был нужен этот церемонный королевский проводчик. А еще о том, что вполне мог столкнуться с убийцей в холле, как перед поездкой на острова, так и после, то есть — когда убийство было совершено. Не понимал я только одного — к чему было убийце метить место преступления верблюжьими плевками? Впрочем, восточный люд разве поймешь. Может, таким образом он объявлял о своем решительном разрыве с заблудившейся Европой, а может, выказывал свое отношение к англичанину?»

Поднявшись к себе, Ефим обошел номер, заглянул за занавеси, как делал это в детстве перед сном, показывая младшему братцу, что за тяжелой тканью никого. Выглянул в окно — полиция еще допрашивала свидетелей, а у входа стояли несколько полицейских авто.

Лег на кровать. Раскинул руки. Уставился в потолок, будто там шла фильма с его участием.

Вот он проходится по палубе «Бабелона» — так называлось пришвартованное судно, — разглядывает исподтишка гомонивших пассажиров: ни одного примелькавшегося лица, все вроде как «чисто» на этом пароходике, ну разве что какие-то две дамы в чадрах стоят на корме и лялякают о чем-то своем, многодетном, вернее, одна из них, толстая, лялякает, а другая, высокая, не обделенная привлекательными формами, невнимательно слушает подружку-болтунью — похоже, ее куда больше занимает левый берег.

А что глаза у обеих дам чрезмерно распахнуты, так это может быть чисто его ощущением.

«Когда видишь одни глаза, а о лице лишь догадываешься, кажется, в них, в этих глазах, сосредоточен весь мир».

Ефим это хорошо знал по врачам, скрывающим от пациентов свои лица марлевыми повязками.

«Я по глазам врача, когда лица не вижу, все могу определить. И это все на больничной койке другую цену имеет. Многим гражданским кажется, война — это либо выжил, либо погиб. Походили бы по госпиталям, посмотрели бы на оставшийся в живых фарш, послушали бы ночные завывания».

Может, из-за этих криков, которые даже морфин не брал, он и не пошел по армейской стезе, посчитав бумагомарание во всех смыслах делом более почетным.

«А от гражданской и советско-польской все, что осталось у меня на память, — это сплошные разочарования в жизни, посеченный картечью живот и мой дружок “браунинг” калибра 7.65 с двумя полными обоймами. Деликатный, для сугубо личных нужд. Уж он-то точно не станет человека в куски рвать».

Чайки.

Чайки сопровождали «Бабелон». Пять-семь то по одному борту, то по другому, и столько же за кормой. Пассажиры с энтузиазмом кормили их, чем придется.

Крикливые, длиннокрылые, одноглазые сбоку при подлете, они выхватывали еду прямо из их рук, а затем дрались из-за нее в море.

А если еда их более не интересовала, они требовали мзду прожитыми веками и не высказанными словами. Недосмотренными снами. Было в их полете что-то под стать ветру, воде и парусу.

Давно уже остались в белом тумане Айя-София, Голубая мечеть и Галатская башня на высоком холме, а чайки все не отставали, все трудились оттененными снизу крылами. Казалось, они намерены были сопровождать «Бабелон» до самого пункта назначения.

«Какой же длинный, какой долгий Стамбул даже для них, для этих больших и сильных птиц. Тянется вдоль левого берега, и нет ему конца. Не сравнить ни с одним другим городом».

Сколько стран Ефим повидал, пока жил под чужим именем, сколько городов объездил по заданиям газет и журналов, по делам логи. Он мысленно сравнивал их с родной Самарой или предреволюционной Москвой. И всякий раз, оказываясь то в Берлине, то в Праге, то в Риме, спрашивал себя: хотел бы бросить тут якорь? Но все эти города казались ему кладбищами якорей. Что им было до еще одного...

Несколько промежуточных остановок на материке. Одни сходили, другие поднимались на борт. Новые пассажиры смешивались со старыми, и вскоре те две женщины в чадрах, что обратили на себя внимание Ефима в самом начале поездки, скрылись из виду.

Становилось ветрено. Ефим спустился вниз. Сел на скамейку у иллюминатора.

Вглядываясь в синь моря, рыбацкие суденышки, плывущие в сторону родины облачка, Ефим повторял про себя то, что должен был сказать Старику.

Больше всего ему хотелось поскорее отделаться от цитирований донесений, писем, телефонных разговоров, касавшихся окружения Чопура. Он не мог не понимать, что за одни только эти имена и правду, стоявшую за ними, его могли... Он не думал об этом. Разве станет автомобильный гонщик думать о том, что с ним случится, если его авто влетит в какое-нибудь дерево на скорости сорок миль в час? Он думал о том, как же легко ему станет, когда он освободится от возложенного на него груза. Скажет себе самому: «Я сделал все, что смог, пусть те, кто сможет, сделают лучше».

Он оглянулся по сторонам — все, в основном, толпились внизу. На палубе было холодно. Ветер на воде — не то, что меж улочек в городе.

Где-то часа через полтора, может час с небольшим, «Бабелон», аккуратно переваливая через довольно приличные волны, добрался до первых островов. Снова несколько промежуточных остановок, после чего судно бочком причалило к Хейбелиаде. Еще несколько минут, и вот она, цель — самой большой из девяти Принцевых островов.

Что говорить, Бююкада был прекрасен и вполне оправдывал свое название — Большой остров.

Холмы его поросли невысокими средиземноморскими соснами и елями, живописные виллы крутых греко-еврейских магнатов и небольшие домишки с пологими крышами красного цвета спускались прямо к медленной бирюзово-топазовой воде, на которой устало покачивались лодки, к тихим, словно заговоренным кем-то невидимым заливчикам. В прогалах зелени, то на одном ярусе, то на другом, виднелись пунктиры выбеленного солнечными лучами серпантина, от одного вида которого ехала крúгом голова. Два-три раскаленных добела отеля, распо-

ложенных на первой линии, выбивались из пейзажа своей материковой основательностью, но сильно картины не портили. За их стенами угадывалась сладкая жизнь, влечение к которой испытываешь тем острее, чем дальше оказываешься от родных мест и заветов предков.

Все вокруг как будто застыло во времени, и само время казалось застывшим.

«Так неохота было отводить взгляд от серо-дымчатой косы. Белого маяка с красной шапочкой. Дремлющего на причале рыжего кота с темными лапками, видно, совсем охмелевшего от рыбьего всплеска и прямых солнечных лучей. Стоял бы и стоял так, прислушиваясь к бредятине чаек. Хотя почему к бредятине, может, к преданию веков?»

Подле пристани у Ефима по сторонам глянуть времени не было — мигом оказался в фаэтоне с двумя молодыми дюжими парнями из охраны Старика, даже не пытавшимися с ним заговорить. Успел только сказать им на причале три кодовых слова на русском, разделенных двумя четырехзначными числами, после чего представиться и пожать руки. (И то, и другое носило чисто формальный характер и оттого сразу показалось лишним.)

Только в какой-то момент один из парней, тот, что сидел лицом к нему и спиной к вознице, все же спросил его: были ли вон те две женщины в чадрах, что сейчас едут за их фаэтоном, на «Бабелоне»? Ефим ответил ему, что обе дамы на судне были и что сели они в Стамбуле. Но это обстоятельство, как и то, что одна из них странно подсасывала ртом воздух за чадрую — от ветра чадра прилипла к ее рту — напрочь вылетело из головы Ефима, едва он увидел Красного демона революции.

Глава первая

МАРА

Белое солнце с колониальным шиком заливало белый Губернаторский дворец. (Бывший Губернаторский, разумеется.) Запыленные деревья трепетали и кланялись низко, нигде так не напоминая людей, как здесь — в Баку.

А ветер — как Мара обещала: «Нарвешься на Хазара — берегись!»

Ладно, облака рвутся в клочья — к тому привыкшие, но птицы, как они его выдерживают?! Вон тех голубей, что по небу раскидало, кто выпустил? Дикие, что ли? Как Хазар не подбил их до сих пор в полете?

Люди, облепляемые порывами ветра до последнего кусочка одежды, то вверх неслись, то вниз, то, едва поспевая за собственными ногами, будто поднимались над землю, замирали на миг, что те, готовые умереть в небе голуби, и опускались мимо тротуара, едва не попадая под колеса авто и фаэтонов, которые всяко материли их — и ржанием, и клаксонами, и свирепыми мстительными голосами.

А одна женщина в чадре, миновав угол дома, вдруг встала намертво, точно перед стеной. Ветер треплет, раздувает ее чадру. Вот-вот и сорвет. Пока Хазар-ветер не помял женщину хорошенько спереди и сзади, не разрешил ей идти. И только отпустил несчастную, как вырвал из общего числа несущихся, остановившихся и летящих другого, никому неизвестного человека. Не на шутку схватился с ним: распатал выдавший виды чемодан в его руке, вскинул фуляр с трофейной печатной машинкой, а после подбросил и его самого. Затем аккуратно поставил на ноги, как выздоравливающего, и тут же погнал на нежных хазарских рессорах до самого Губернаторского парка. Того гляди сорвет с головы парик — несись потом по волнам горячего воздуха, стелющегося над асфальтом, то ли за париком, то ли за Хазаром.

Мара, конечно, рассказывала ему о беспощадном, выжигающем все вокруг солнце, о бешеных ветрах, в особенности на углах и пересечениях: «Бакинские пейзажи без ветра не имеют энергии»; но одно дело, когда тебя предупреждает бывшая гражданская жена — нынешняя гражданская война, — и другое, когда ты уже в раскаленной, воющей трубами судного дня печи знойного бакинского дня.

Однако стоило неизвестному пройти долгим парком насквозь и оказаться за древней стеной во Внутреннем городе, который Мара называла по-здешнему — Ичери-Шехер, как сразу куда-то подевались и ветер, и жара, и адский гул в ушах.

Тихие и узкие улицы напоминали запутанный лабиринт. Было бы проще в этих «крепостных» краях найти Минотавра, нежели

Замковую площадь. Проще было бы спросить о ее местонахождении какого-нибудь доблестного кота, или чей-то голос за камнем, или подранный чарыг, прикорнувший у стоптанного порога. Было бы проще, если бы он не чувствовал себя замурованным в узеньких улочках.

Изрядно поплутав (не без того, конечно), неизвестный вышел на Замковую площадь, которая никакой площадью не была, но лишь пятачком в виде замка со старой чинарой в центре. Нашел он вскоре и дом, в котором Мара через бакинскую подругу «в кратчайшие сроки зарезервировала» для него «роскошную» комнату: «Дансинг с двумя окнами и балконом на море. И не говори, что я о тебе не забочусь...»

«Конечно, заботишься, я ведь не забыл, как ты сказала, когда уходила, что не хочешь раскаиваться, а поэтому не сделаешь ничего такого, после чего нельзя было бы вернуться».

Человек поставил чемодан на черную брусчатку с жирным пятном возле стены дома. Огляделся. Легонько надавил на обшарпанную, узенькую, под стать тянувшейся вниз к морю улице дверь, за которой оказался маленький пыльный дворик, полный чужих секретов и незнакомых запахов.

Десять шагов в одну сторону, десять в другую — расстрельная дистанция.

Горбатые, кое-где вздыбленные плиты под ногами. Почерневшая тандырная печь. Небезопасная деревянная лестница, на которой обменивались снами разномастные кошки, готовые расстаться с жизнью в том случае, если кто-то их потревожит, вела к входу в галерею, тянущуюся по всему периметру двора.

Латунный кран, из которого набегала в лохань вода для стирки, напомнил ему о жажде; галереи с маленькими тусклыми оконцами посоветовали быть крайне осторожным: мир прозрачен, утаить что-либо невозможно, а бельевые веревки, провисшие под тяжестью сырых пододеяльников, намекнули, что судеб легких не бывает в принципе.

Все в этом дворике, включая запахи смолы, керосина и кошек, графин с глубоководной долькой лимона, ожерелье из бельевых прищепок на гвозде, вбитом в один из растрескавшихся столбов, подпирающих галерею, говорило о том Востоке, который ничего не слышал о Западе.

Сухая маленькая старуха, сидя на низеньком табурете с широко расставленными костлявыми ногами, сбивала шерсть палкой-тростью. И, кажется, делала она это давно. Несколько веков.

— Ты кто? — обратилась к человеку с чемоданом и австрийской печатной машинкой в руках.

Он хотел сказать ей: «Салам», — как учила его Мара, но вместо того лишь кивнул и поправил парик.

Старуха посмотрела на него тем удивленным взглядом, каким ночная улица разглядывает единственного пешехода.

Он удовлетворил ее любопытство отчасти: за сотню прожитых лет старуха так и не выучилась говорить по-русски. Тем не менее, что-то из того, что он ей сказал, она поняла, иначе не позвала бы хозяина. (А может, в роли толмача выступил его чемодан с наклейками, сорвать которые в целях безопасности так и не удалось, или печатная машинка в черном футляре с полустертой надписью золотом — «Kappel».)

— Керим, Керим, ай, Ке-р-р-им!.. — Старуха, отложив в сторону трость, уставилась в открытое окно на втором этаже.

В ответ — поскрипывающая и потрескивающая тишина.

Керим не особо спешил.

Взгляд из-под кепки такой, будто его только что оторвали от домашней бухгалтерии. Глаза непроницаемые, с какими-то красноватыми отблесками.

— Ефим? От Мары? — Вышел на веранду, заметно прихрамывая. — Ай, дорогой, поднимайся сюда, да... Зачем стоишь, э? Давай, давай, давно тебе ждали. Наверное, свою дорогу с чужой спутал. — И тут же тебе и дерг, и хлоп, и клоунское ковыляние навстречу — все Керим сделал, чтобы показать, какой чести удостоен и радости преисполнен.

А старуха:

— Ефим-Мифим, — затащила вновь прибывшего в свое дремучее, коричневатое-желтое от хны и никотина царство, пригубила провалившимся ртом остатки чая из стакана грушевидной формы и давай от всей своей легковесной души колотить по шерсти, прошивать грубой нитью воздух — «шью-шью-шью»...

Он поднялся по той самой скрипучей лестнице, облюбованной кошками, стараясь не задеть ни одну из них, сначала на второй этаж — один, а на третий — уже с Керимом.

«Обычно так хромают те, у кого в ноге полно плавающих осколков, — почему-то подумал Ефим, — интересно, на какой войне побывал Керим?»

На площадке третьего этажа они повстречались с толстым человеком в такой же, как у Керима, плоской кепке, только ткань была «ёлочка». Керим поклонился толстяку с вроде обычной восточной биографией так, как если бы тот был шейхом.

В ответ толстяк-шейх плюнул себе под кремовые туфли с лакированными коричневыми вставками на носках. Он прошел мимо Ефима, задев коленом футляр с печатной машинкой.

— Можно было бы и извиниться. — Ефим проводил толстяка взглядом, а потом добавил: — Наверное, ему не следовало жениться. Взял в жены иноверку и годами ругается с ней на чужом языке. А это сильно изматывает.

— Не обращай внимания, ага. — Керим направил свою палочку для ходьбы на спускающемся по лестнице толстяка, сделал: — Кх-х-х...

— Квартирант, что ли? — Керим не ответил Ефиму. — А ведет себя, как пузатый безобразный бог.

Пузатый безобразный бог в кремовых штиблетах шуганул кошек на лестнице, мимо которых так осторожно прошел Ефимыч, что-то бросил небрежно старухе и вышел со двора.

Только после того, как он скрылся, Керим достал ключ из кармана широченных, не знакомых с утюгом брюк, вставил его в узкую дверь, провернул дважды, но открывать не стал, предоставив это право квартиранту.

А тот, прежде чем толкнуть дверь, сказал еле слышно:

— По воле тех, кто правит миром.

Керим бормотания Ефима принял на свой счет, заметил осторожно:

— Только туалет внизу будет, ага, а ванна, который у вас в Москве душ называется, у меня во втором этаже стоит, — и задумчиво почесал голову через плоскую кепку длинным отполированным ногтем, украшавшим мизинец.

Обсудив сроки оплаты жилья и немаловажный вопрос столования, человек в парике закрыл за Керимом дверь. И только щелкнул с заминкой замок, как Ефиму сразу же захотелось сделать какое-то дикое африканское движение, с помощью которого он мог бы отсечь то, что тяготило его последнее время.

Ефим дал Кериму возможность хорошенько изучить себя через замочную скважину, после чего, улыбнувшись, подошел к столу, процитировал любимого негритянского поэта: «И когда пыль сядет на все вещи в моей комнате и мне надоест ее сметать, я разорву сердце, как бомбу, и куплю на вокзале билет», — после чего, точно шаман перед вверенным ему свыше племенем, одним движением рванул со стола скатерть.

— Вах!.. — послышалось за дверью.

Кроме настенного календаря, на скатерти не лежало ничего. Подняв упавший на пол календарь, Ефим подумал, что на столе тот, вероятно, оказался неслучайно. О восточной хитрости Мара его тоже предупреждала.

«Наверняка Керим положил календарь специально, — подумал он, — чтобы я запомнил, когда въехал, и впредь не забывал о сроках оплаты».

Ефимыч оторвал календарный листок, скомкал, подошел к двери и забил замочную скважину одним жарким майским днем 1936 года.

— Чтобы не подглядывал! — бросил через дверь.

Керим оказался не без юмора: удаляясь от ослепшей двери в кривую припрыжку, запел тенорком, прицелкивая в ритм пальцами: «На одном ветку попугаю сидит, на другом ветку ему маму сидит. Она ему лубит, она ему мат, она ему хочет немного обнимат!»

У разжившегося деньгами Керима настроение было явно приподнятым. Чего нельзя было сказать о новом жильце.

Ефим толком даже не рассмотрел комнату. Со словами «талантливый народец, с таким за полгода национальный кинематограф можно поднять», подошел к рукомоюнику, над которым висело зеркало с радужным отколом в углу. Разглядывая в зеркале отросшую щетину, подумал: «Теперь я точно один». Оголил лоб, сдвинув парик на затылок. «Ну, здравствуй, Фимка, он же Войцех! В этих ветреных жарких краях ты еще не бывал. Порадуйся случаю».

На вид нуждающемуся в парике Ефиму Ефимовичу Милькину можно было дать не больше тридцати-тридцати двух лет. По крайней мере, зеркало против такого предположения не возражало,

однако дальше гадать заупрявилось и больше того, что он — человек рискованный, рассказать не пожелало. Но это и так было понятно. Как было понятно и то, почему именно такие «рисковые люди» исчезают сейчас в первую очередь. В особенности те из них, у кого за плечами армейское или эмигрантское прошлое.

Ефим достал «Каррел» из футляра, бережно поставил машинку на стол. Снял широкоплечий и сутуловатый пиджак, который сегодня в этом городе оказался полезен разве что своими карманами, аккуратно повесил на спинку стула и, довольный, вышел на балкон.

Если бы не минарет рядом, который с криком облетали чайки, если бы не низенькие дома с плоскими черными крышами, прижатые вплотную друг к другу («так вот, оказывается, почему ветер здесь не гуляет»), море вдаль в белых солнечных бляшках и, главное, — почерневшая от времени Девичья башня с зиккуратским цилиндром сбоку, если бы не весь этот Восток, воскликнул бы в душе: «Аркадия, просто Аркадия!..»

Вдруг очень захотелось курить. А еще — выпить кофе. Маслянистого, турецкого. Ну, хорошо, если кофе нет — бурого чая, такого же, какой подают в Стамбуле в чайхане на рынке, что неподалеку от мечети Фатих. Чая вприкуску с рахат-лукумом, сухим инжиром или с изюмом. Какой он пил еще до того, как отправиться на Принцевы острова. Но сначала — курить!

Ефим вернулся в комнату.

Достал из бокового кармана пиджака кожаный портсигар. Вытащил папиросу. Подержал вертикально, прокатил по портсигару, продул и закурил. Прихватив с собою вместительную пепельницу, которую его дядя, большой партийный деятель и мастер стряхивать пепел на карту всей страны, непременно назвал бы «шлимазальницей», снова вышел на балкон.

Самыми устойчивыми зданиями отсюда казались мечети. Тянувшиеся вверх минареты, отличались от стамбульских. В Стамбуле они были похожи на стрелы, нацеленные в небо, а здесь — на маяки. Здесь — бухта серповидная, а там ровно тянулась до Принцевых островов. Море у турок какое-то византийское, темно-синее, с благородным перекатом волн, а у азерийцев — языческое, давно нечесаное, словно шерсть волкодава, в которой запутались мелкие суденышки и серые военные корабли. Только кошки были такие

же, как в Стамбуле, — непоколебимые в своей кошачьей правоте. Прежде чем решить какой-то сложный уличный вопрос, они объединялись в партии.

«Похоже, Баку — такой же город кошек, как и Стамбул. Что ж, оно и правильно, никто так, как кошки, не дает тебе понять, что глупо думать, будто это ты изобретаешь время и место встреч. Ты еще ждешь аплодисментов за очередное свое прозрение, а кошка уже популярно объясняет тебе, что с тобой случилось то, что случается со всеми во все времена».

Больше двух суток в поезде отдавали нестерпимой болью в животе. Когда он подолгу сидел или лежал, можно было сосчитать все его старые раны. Именно поэтому Ефима нельзя было удержать дома. Он говорил, шутя, Маре, что даже пишет на ходу.

Мара!..

Как нежно «ходила» она двумя своими человеко-пальчиками по его польским шрамам в самом начале их романа: «Один Фим, два Фима, три Ефим-Ефима...» — и вот он уже ловил себя на том, что засыпает. Он всегда считал, что мужчина в постели с женщиной должен заслужить право на сон. Что женщина должна уснуть первой и проснуться второй. Но с Маргаритой все было иначе — граница между сном и явью оставалась неуловимой даже тогда, когда она ночевала вне дома.

Как там она писала: «Я намерена говорить с тобой так, как пристало говорить с женщиной и с человеком, с которым я прожила пять лет. Тема нашего разговора настолько серьезна, что припудривать и присахаривать его я сочла бы ханжеством и трусостью, унизившей бы и тебя, и меня».

Вот в этой чеканке слов уже вся Маргарита Александровна...

«Господи, Мара, Мара, как же с тобой тяжело, а без тебя еще тяжелей».

— Керим! — крикнул он вниз, ловя себя на том, что уже обращается к нему, как к ординарцу.

— Керим! Ай, Керим! — отозвалась эхом старуха.

— Ага, что надо тебе? — высунулся снизу Керим, из того самого окна, в котором мелькнул при первой встрече, когда Ефим подумал, что тот растворился в вечности.

— А чаю можешь мне дать?

— Почему нет.

И шею так изогнул, что Ефиму за него страшно стало.

— Почему, не знаю. — Ефимыч уловил из окна стелющийся сладковатый запах шмали: «Вот же, каналья одноногая». — С изюмом можешь?

— Почему нет.

Заладил, бестия.

«Вечно мне везет на этих шашлычных людей».

Когда Керим принес небольшой чайник и грушевидный формы стаканчик на щербатом блюде, Ефим, дабы как-то поддержать разговор, спросил его:

— Что есть, Керим, в вашем городе интересного посмотреть?

— В нашем городе все есть интересное посмотреть. — Сдвинул кепку на затылок, обнажил морщинистый лоб не особо мудрого морского ящера.

Ефим успел разглядеть на его левой руке запутавшийся в седых волосах якорь порохового цвета.

— Ну, надо же.

— Да-а-а, — сощуренные красные глаза ненадолго распахнулись, когда он развел худющими, в седых колечках волос руками. — Надо-надо... Смотришь много, видишь много... Женщин видишь — не подходи.

— Это почему же?

— Женщин всегда чья-то есть. Мужа есть, отца есть, брата есть... — Потянулся так, точно стоял на трех лапах.

— Ну, надо же, — повторил Ефим. — А что там за остров вдалеке?

— Остров? — Керим состроил такую гримасу, будто ему нужно было немедленно пересчитать все волны Каспия.

— Да, остров.

— На этот остров, ага, лучше не смотри. — Керим перечеркнул остров палкой для ходьбы.

— К женщинам не подходи, на остров не смотри...

— В нашем городе на этот остров никто не смотрит.

— Как же на него не смотреть, если он прямо посреди бухты?

— Ниже смотришь — море будет, выше смотришь — небо будет. Мало тебе, ага? Дела у меня. Пойду я, хорошо? — ответил Керим, побелев.

«Так вот, значит, как бледнеют обкуренные лукавцы в затрапезных майках-тельняшках».

— Сначала вынеси столик на балкон, буду пить чай и смотреть на остров.

Керим неодобрительно качнул маленькой головой в большой черной кепке, посмотрел на Ефима так, будто тот соизволил вызвать на дом палача с топором, но столик все-таки перенес.

Солнце встряхивало лучами, стреляло вспышками из-за покачивающейся старой чинары, скрывавшей от него полукруг бульварной ленты. Клубы пыли носились на разной высоте по неровному, плотно застроенному пространству.

Когда он сделал глоток чая, ему показалось, что и чай такой же пыльный, как весь этот город. Этот Баку, сидевший в нем занозой все то время, что он был влюблен в Мару.

Казалось, единственным, на чем не оседала пыль, было море, и то — *где-то там, где-то вдалеке*, на подходе к острову.

«Значит, это и есть тот самый Лысый остров, про который Мара говорила: “Сколько людей там полегло, и сколько еще ляжет”». Выходит, Чопур и сюда добрался. Хотя, чего ему было до Баку добираться — он отсюда свою одиссею и начал. Это первый захваченный им город. Здесь, на Волчьих воротах и в Баиловской тюрьме, на конспиративных квартирах и в типографии «Нина» Чопур вынес для себя главный урок: человечество — пустое слово, баранина в уксусе с колечками лука. Ему нужно только то, что соберет человечество в стадо — далекая пастбищная греза. А от тех, кто не поверит в зеленую траву, растущую где-то там, на чужих холмах, не пожелает стать сочной бараниной, следует избавляться — расстреливать на островах. Их много, островов, на всех хватит, кто свое «нет» посмеет сказать. А если вдруг не будет хватать, можно искусственные острова создать — в тайге, например, или в пустыне, все равно из чувства страха большинство предпочтет про эти острова не знать.

Ефим смотрел на тоненькую синюю полоску земли, за которой открывалось настоящее море. И греза у него была своя, не Чопуром составленная, а большими городами, в которых он побывал.

Ефим спросил себя, мог ли он оказаться в родном городе Маргариты раньше Вены, Ниццы, Парижа, Стамбула. Подумав, решил, что нет. Он должен был пройти через то, что прошел, увидеть то, что увидел, прежде чем дядя Натан через Соломона Новоградского не помог ему вернуться в СССР.

Переход советско-польской границы неподалеку от места, которому он был обязан поворотом в своей судьбе, стал концом одной эры и началом другой. Сколько раз спрашивал он себя впоследствии, зачем вернулся, и всегда отвечал по-разному.

Наиболее правдивым ему самому казался тот ответ, что сильнее прочих подталкивал в спину: «Мы никому там не нужны».

«А здесь? Кому ты нужен здесь, черт лохматый тебя подери? Чоपुरовской расстрельной команде?»

Он смотрел на остров посреди Каспия, и у него не возникало никакого желания вести счет бесчисленным преступлениям Чопура, чтобы когда-нибудь вместе со всей страной предъявить их ему, после чего отправить за пределы здешнего мира в черную межзвездную пустошь Вечности. Нет, сейчас у него не было никакого желания мстить. Почему-то сегодня ему было легче отказаться от самого себя, как это делали многие перед тем, как их заглатывал Чопур. Впрочем, после второй папиросы и второго стакана крепчайшего чая с чабрецом он счел это свое душевное состояние временным, вызванным отчасти усталостью, отчасти — болью старых ран. Ему, бежавшему теперь уже из Москвы — после того, как взяли дядю Натана, — разумнее было бы не думать о Чопуре, вообще не думать пока о том, что происходит сейчас в стране. По крайней мере, в Баку — городе, который он выбрал для своего временного исчезновения.

О чем же разумнее было подумать? Возможно, о том, что для души полезнее то, что ближе сердцу.

И снова он вспомнил о Маре, и в памяти снова всплыло ее письмо — одно из последних в их столичной переписке, с помощью которой они водили за нос чоपुरовских ищеек. Иногда в этих письмах проскальзывало что-то очень личное и трогательное, понятное лишь им самим.

Маргарита писала, что не умывается уже пятый день — «нельзя же назвать умыванием помазок по лицу и рукам», — что раковина коммунальная, в коммунальном проходе перед коммунальной уборной — «раздеться и думать нечего», — а в комнате нельзя, так как все вещи уложены и нельзя возиться с тяжестями — доставать таз. Нельзя, нельзя, нельзя... «Мой чемодан у тебя, а там мое белье. Надо поехать к тебе на Фур-

манный и перевезти его сюда. Но перевезти — это значит молчаливо вселиться к людям, которые из деликатности не будут протестовать».

И что он мог на все это ответить, что она по-прежнему неправимо близкий ему человек? Что Баку — большой город, и люди здесь не ходят на вокзал, чтобы погулять, как это делают в провинциальных каштановых городках?

«...Так она это и сама знает не хуже меня, как и то, что *“мухи вьются у окна потому, что им улететь хочется”*».

«Регент» пробил час. Пора было принять ванну, «которая в Москве душ называется».

«Ровно в три я должен явиться на “Азерфильм”. Мара уверяла меня, что отсюда до кинофабрики чуть более получаса пешком, если, конечно, правильно выйти из Крепости. Но у Мары такие сложные взаимоотношения со временем — сколько ее знаю, всегда она опаздывает на эти самые полчаса. Когда мы жили вместе, я даже пробовал переводить стрелки домашних часов на двадцать-тридцать минут вперед, — все напрасно».

Он думал выйти с запасом — все-таки будет ждать женщина, красивая женщина, актриса, а ждать пришлось ему.

Ефим то и дело доставал из кармана часы, а когда понял, что Фатима, подруга Мары, по всей вероятности, уже не придет, отправился на встречу с киночиновником сам.

Теперь вся надежда была исключительно на рекомендательное письмо. Но насколько верный тон был взят Марой для этого письма? Не вскрывать же его.

Самое интересное, что в азербайджанский Голливуд он проник без каких-либо сложностей и долгих объяснений.

«Просто прошел вертушку, назвал свою фамилию вахтеру, сказал, что меня ждут. Кто? Семен Израилевич... Израфил».

Израфил — такое прозвище когда-то придумала ему Мара. Вахтер даже не справился по служебному телефону, чтобы проверить. А еще говорят, что в этой стране кинематограф охраняется почище, чем секретные заводы и шлюзы.

Кабинет заместителя директора Ефим нашел сравнительно быстро. А вот перед кабинетом застрял. Посидел, наверное, с четверть часа, прежде чем строгая секретарша в такой зауженной юбке, что

лучше бы ей не поворачиваться к мужчинам спиной, запустила его к Семену Израилевичу.

Когда Ефимыч зашел в кабинет, Семен Израилевич поливал цветы на подоконнике. Делал он это довольно-таки странным способом, а именно — окунал тряпочку в миску, после чего аккуратно выжимал ее над цветами.

Вот так вот, до последней капельки, аж кулачки забелели. Бедная вода!

«Неужели все то время, что я ждал, Израфил проливал дожди над своими джунглями?» — подумал Ефим, поздоровавшись.

Семен Израилевич удивил его еще и тем, что был точной копией товарища Луначарского — такая же большая голова, такой же лоб с залысинами, пенсне на носу, бородка клинышком. По-видимому, их выпиливали и вытачивали в одной партийной мастерской.

— Присаживайтесь, — разрешил Ефиму Израфил, предварительно романтично попрощавшись с расцветшей фиалкой и вытерев обе руки о другую, на сей раз уже сухую тряпочку. — Слушаю вас, товарищ Милькин.

— Я от Мары, — сказал Ефимыч.

— Так... — Израфил опустил засученные рукава белой рубашки и застегнул манжеты. — Еще раз...

— Я от Маргариты Александровны Барской, — повторил как можно медленнее Ефим.

— Барской?! — пробасил Луначарский, побарабанил пальцами по растекшемуся бедру и надолго задумался.

— Ничего такого, — попробовал пошутить Ефим, — просто еврейская фамилия. Знаете ли, с евреями такое случается...

— С евреями и не такое случается. — Семен Израилевич хитро улыбнулся. Настоящая фамилия Семена Израилевича была Соловейчик и располагала к шуткам разного свойства не меньше. Он откинулся на спинку стула и соединил подушечками пальцы обеих рук. — Дальше. Слушаю...

— Мы с Фатимой Таировой собирались к вам вместе зайти, но она почему-то не пришла.

Как только он это сказал, ему показалось, что плечи Семена Израилевича слегка обмякли и просели. Он глянул сначала на дверь, за которой находилась крутобедрая секретарша, потом с тоской на коробку «Явы», лежавшую поверх стопки с папками. Потянулся

к ней. Передумал. Снова потянулся, на сей раз как-то очень по-патрициански, будто древнеримская аристократия предпочитала курить папиросы «Ява» и никакие другие.

— В этом городе все так быстро меняется, — торопливо нарисовал Ефимычу петлю спичкой.

До Ефима мгновенно долетел запах серы.

— Если бы еще знать, в какую сторону. — Он протянул Семену Израилевичу письмо.

— С тех пор, как Хавка надкусила райское яблоко, и спрашивать нечего — вопрос риторический.

Израфил вскрыл письмо бронзовым канцелярским ножом с навершием в виде какой-то египетской богини, поднявшей руки тыльной стороной кистей вверх. Сделал «П-ф-ф», перекатил папиросу в угол влажного семитского рта и еще раз внимательно посмотрел на дверь.

Ему нужна была эта пауза.

Прочтению письма также предшествовала прелюдия из трех осторожных взглядов на парик Ефима.

«К взглядам подобного рода я давно привык. В таких случаях мне всегда хочется сказать: да, это парик! С тех пор, как я перешел советско-польскую границу, я предпочитаю жить в парике. Считайте это моей большой странностью».

Читал Семен Израилевич, то собирая, то распуская губы, то хмуря, то расправляя брови имени Луначарского. Как-то раз даже вышло у него лучисто улыбнуться в бумагу. Угадывалось в тот момент: «Ах, Мара, Мара!..» Он часто затягивался папиросой, которую держал глубоко меж изуродованных подагрой пальцев, отчего выходило у него при затяжке закрывать ладонью нижнюю часть лица.

Пока Израфил читал, Ефим посматривал на портреты Чопура и Мир Джафара Багирова², которых разделял сейчас восходивший к потолку фиолетовый фимиам.

«Кажется, оба они уже знают, что я в Баку. Знают, когда приехал, где остановился, да что там — знают даже, что я сижу сейчас в кабинете у Семена Израилевича Соловейчика».

² Мир Джафар Багиров — (1985-1956) советский и азербайджанский партийный и государственный деятель, руководитель органов госбезопасности Азербайджана (ВЧК, ГПУ, ОГПУ, НКВД), народный комиссар внутренних дел Азербайджанской ССР (1921—1927), Председатель Совета Народных Комиссаров Азербайджанской ССР (1932—1933).

— Как же, помню-помню я вашу Мару, — оживился неожиданно Семен Израилевич, дочитав письмо и складывая его в два раза перед тем, как положить поверх конверта.

Он будто пытался определить для себя, до какой степени может быть откровенным с Ефимом.

— Девницей еще помню. В беретике таком беленьком со стручком наверху. В белой блузке с синим галстуком. Всегда наша Барская против ветра шла... — говорил он так же быстро, как Луначарский. — Еще журнал «Кино» за прошлый год читал, ба... а там Горький с Роменом Роланом нашей Марочке, можно сказать, в любви объясняются.

— Было такое, — подтвердил Ефим.

— Да еще как!

Ефим еще раз подтвердил, уронив к груди подбородок.

— Пудовкин, Довженко, Шуб... А вы, простите, кем Маре будете? — хитро голову склонил, и Ефим понял, насколько это для Израфила важно.

— Я полагал, в письме об этом написано, — бросил на удачу.

— Ах, да... — Кинодеятель посмотрел в сторону зарослей на подоконнике, сфокусировал взгляд на любимице-фиалке, — Верно. Простите, годы. К тому же в этом городе, знаете ли, ветра так быстро все меняют. — Снова посмотрел на обитую дерматином дверь. — Сейчас Гилавар дует, а через полчаса — накрывает хазарский.

— Я в Баку впервые.

— Бросьте, товарищ Милькин. — И стекла пенсне киночиновника озарило Северное сияние. Через стол повеяло запахом хвои, вдалеке слышались стук топоров и падение деревьев под лай конвойных собак. — Вы ведь знаете, что я сейчас не о том с вами.

— Знаю, — Ефим сглотнул слюну. Горькую-горькую, неизвестно отчего. Хотя, почему неизвестно? Еще как известно.

Ефим взглянул на прищурившегося на портрете Чопура, и тот показался ему каким-то очень кавказским, чрезмерно шашлычным, совершенно не похожим на того Чопура, изображениями которого были облеплены все районы Москвы.

Выдержав начальственную паузу, Израфил решительно нарисовал в пепельнице круг папирсой, после чего так же решительно ввинтил ее в центр круга — он все для себя решил.

— Будет вам с кем «поднимать национальный кинематограф». Есть тут у нас на прицеле один юный товарищ с тремя классами образования и соответствующими партийными убеждениями, сверху пришло указание в кратчайшие сроки сделать из него Шекспира.

— Да, это сейчас модно, — Ефим хотел показаться киночиновнику небрежным и слегка циничным. — Надеюсь, все же бригадным методом?

— Ну, разумеется. Будете писать за него сценарии в компании с замечательными талантливыми людьми.

— А нельзя ли обратиться в Шекспира какую-нибудь местную юницу, сбросившую чадру?

— Товарищ Милькин, — напустил строгость во взгляде, пригрозил подагрическим пальцем, — вы не совсем хорошо представляете себе, куда приехали. Тут вам не Москва, любезный, — «гм-гм...» в кулак. — Да, кстати, а что вы уже сделали для своего, так сказать, могильного камня?

— Для своего могильного камня я недавно окончил пьесу в девяти картинах, опубликована в издательстве «Художественная литература», право первой постановки в Москве принадлежит театру ВЦСПС. Издаю сборник из семи рассказов. Сейчас пишу роман.

Израфил оживился.

— Будет чем украсить камень. Давайте поступим так, — задумался. — Сегодня у нас, кажется, пятница. В понедельник, а лучше во вторник жду вас в это же время. И учтите, в нашем городе...

— Я учту.

— Сделайте одолжение, голубчик. Марочке приветы, если будете ей телеграфировать. Рад, что не забыла старика.

Он вышел из-за стола. Ефим отметил про себя его атлетическую грудь и вялые дамские бедра. Израфил проводил Ефима до самой двери и сам же на нее надавил. Едва он это сделал, как сразу же раздался пулеметный стук печатной машинки.

— Вы, товарищ Милькин, у нас человек партийный? — спросил Израфил практически на пороге так громко, будто Ефим был тут на оба уха. — Ну, вот и замечательно. В высшей степени замечательно! И красный командир в прошлом... Прекрасно, товарищ Милькин. Просто прекрасно!

Ефим вышел из кабинета.

Секретарша — глаза опоссума, уши Багирова — встала, вытянулась во весь рост.

— До свиданья, товарищ Милькин.

«Интересно, Израфил с ней спит? Если “да” — это опасная игра».

Посидев в азерфильмовской курилке вместе с Генрихом IV, сосредоточившимся на чем-то своем, шекспировском, он решил, как будет действовать: домой к Фатиме не ходить, хотя Мара и снабдила его ее адресом, а отправиться сразу в театр.

«Отсюда до Бакинского рабочего театра, как уверяла меня Мара, не больше получаса ходьбы: “Если вдруг заплутаешь, спроси, как пройти к Молоканскому саду или к дому Высоцкого”».

Он вспомнил их первую встречу с Марой — шесть лет назад, в мастерской Александра Гринберга³.

На вечеринку Ефима зазвал Иосиф Уткин. Опоздав на полчаса, Уткин явился к месту их встречи на Триумфальной с двумя довольно экстравагантными поклонницами в огромных шубах, одна из которых, бывшая жена большого чекиста, по дороге положила свой оловянный глаз на Ефима.

Тяжелые шубы дамы носили так, будто под ними ничего не было. «Эх, кабы не Гринберг, такое бы звуковое кино отсняли!» — улучив момент, мечтательно бросил в сторону Иосиф. Ефим предложил не ходить к Гринбергу, а поехать к нему в Фурманный переулок, в ответ Иосиф начал декламировать свое: *«Потолчем водицу в ступе, Надоест, глядишь, толочь — Потеснимся и уступим Молодым скамью и ночь»*.

Дамы тут же вскинулись, начали просить, чтобы Иосиф прочел хотя бы еще кусочек — вот у того столба или у той самой скамейки, которую он только что хотел им уступить.

Уткина долго упрашивать не надо было, через мгновение он уже стоял на скамейке: *«Много дорог, много, Столько же, сколько глаз! И от нас До бога, Как от бога До нас»*.

Когда уже после прочтения «Мотэля»⁴ компания завалилась с морозу к Гринбергу, там уже гуляли Файт с Кравченко, Тиссе, По-

³ Александр (Абрам) Данилович Гринберг (1885— 1979) — классик советской фотографии, член Русского фотографического общества. Кинооператор.

⁴ Имеется в виду произведение Иосифа Уткина «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исае и комиссаре Блох» (1924—1925).

ташинский и Александров, наконец-таки обретший во Франции давно чаемый экранный голос. Пили заоконную ледяную водку и привезенный Александровым из Франции бархатный арманьяк.

Бренди был на редкость деликатный, десятилетней давности, и как-то само собою вышло, что начали вспоминать лихие двадцатые, когда об арманьяке и мечтать-то никто не смел.

Гринберг вспомнил эпидемию тифа, одесские времена и Петра Чардынина⁵. Маргарита, на которую Ефим обратил внимание сразу, как только пришел к Гринбергу, была какой-то особенной, по-женски долговечной, как статуи богинь, с такими прощаются всю жизнь с первой же встречи, высказалась в том духе, что, мол, чудесный человек Чардынин, вне всякого сомнения.

— Старый могиканин, — глаза вспыхнули, обнажили давнее запретное, — умел направлять жар с влажных простыней «в наружу жизни».

Только когда заговорили о фотографиях Гринберга одесской поры, Ефим понял, что Маргарита в свое время была женой Чардынина. Она вспомнила их первую с Чардыниным встречу на студии Всеукраинского фотокиноуправления:

— ...волосы густые, с сильной проседью... И голосом весь мир сдвигает вместе с тобой.

Хозяин достал несколько фотографических работ двадцатых годов. На некоторых из них Ефим с удивлением узнал Маргариту. Все немедленно принялись восхищаться гринберговскими моделями, и в особенности Маргаритой: Маргаритой на фотографиях и Маргаритой с бокалом арманьяка в руке.

Кто-то — Ефим не помнил уже, кто именно — сказал, что женщины тех лет, изнеженные, томные роковые красавицы, по настоящему сексуальны, не то, что нынешние, с их стремлением к образу доисторической женщины. И тогда Маргарита услышала его красивый низкий голос. Правда, он мир не сдвигал, но ей показалось, это было делом времени.

— Разве может быть возвращение к доисторическому образу не сексуальным? Разве комсомолочка из Хивы, немытая, с растительностью в неположенных местах, менее сексуальна, чем героини «мирикусников»?

⁵ Петр Чардынин (1873—1934) — русский актер и кинорежиссер эпохи немого кино. Второй муж М.А. Барской.

Уткин поинтересовался, далеко ли Хива от Москвы и предложил выпить за нечесаную комсомолочку.

Бывшая жена большого чекиста, та самая, которой понравился Ефим, от возбуждения покрылась красными пятнами.

За гринберговских моделей незамедлительно вступился Александров:

— Право же, не стоит делать из дейнековской текстильщицы «Мадонну Бенуа». Во-первых, не получится, во-вторых, дорого вам встанет.

Маргарита попросила познакомить ее с Ефимом: «Кто такой? Откуда?» В отместку его представили ей как племянника «того самого Натана». Ефим был этим раздосадован, но вида не подал.

В черном парике и в серой парижской двойке, не слишком высокий, но с очень широкими плечами и глазами светло-зеленого цвета, он сразу произвел впечатление на кинодиву. И хоть Ефимыч считал, что зима — не лучшее время для смены партнерш: столько всего сверху на них, что и не разберешь, та ли эта самая, которой можно передоверить себя, — ушли они вместе. Под тихую уткинскую рифмовку: *«Ты люби на самом деле, Чтоб глаза мои блестели»* и мстительный взгляд бывшей жены большого чекиста.

Война, жизнь в больших и тесных городах, работа на газеты и журналы тут и там научили Ефима считать безупречным такое состояние души, когда он мог бы, оценив сложную обстановку, взять на себя ответственность за все, а взяв — на судьбу более не пенять. От такого душевного положения Ефим был пока далек. Не мог он, не кляня каждые полчаса Чопура, делать то, что полагалось в данной ситуации. Ненависть отвлекала от главного — жизни. А он хотел жить, ему нужно было жить и не абы как, нет, а полной жизнью. Потому Ефим себе сильно не нравился. И чем больше Ефим не нравился себе, тем больше нервничал и сомневался. Часто даже по пустякам. Вот и сейчас, казалось бы, идешь — ну и иди, но нет же, он все никак не мог решить, правильно ли делает, что направляется в Бакинский рабочий театр. А если говорил себе, что правильно, что другого выхода у него просто нет, тут же начинал сомневаться, в том ли направлении двигается. Он останавливал прохожих, спрашивал, где Молоканский сад. Те отвечали ему приветливо, как и

положено людям, избалованным количеством солнечных дней в году: товарищ-щ, это самый короткий путь, товарищ-щ, рабочий театр ждите по вашу правую руку минут через пять-семь. И все это с неизменной товарищ-щ-еской улыбкой и искоркой, сопутствующей ей, в глазах.

За поворотом, на широкой улице ему удалось сбросить напряжение, оглядеться по сторонам. Вскоре Ефим привычно увлекся ходом своих мыслей, шаг его стал прежним, уверенным, и появилось ощущение, что он вышел из тупика. По такому случаю Ефим закурил блаженно и даже немного взгрустнул по оставленной им Москве, что незамедлительно сказалось на его отношении к Баку.

«Не знаю, хотел бы я жить в этом городе: не мой он какой-то, по мне так слишком экзотичен — во всем с перебором. Но что я о нем знаю?! Только то, чем Мара в Москве со мною делилась? Только то, что ветер здесь может запросто человека до стены разогнать или в море унести, что он солоноватый на вкус и отдает нефтью? Только то, что вижу сам? Баку не так давно брал уроки у европейских южных городов, что заметно по его молодому, однако уже успешшему благородно почеркнуть камню центральных улиц. «Одна из характерных черт бакинцев — обживать у себя на Востоке то, что вчера еще было модно на Западе, но они так долго обживают позаимствованное, что в какой-то момент оно становится их кровным и проявляется в городе на каждом углу», — вспомнились ему Марины слова. Он взглянул на декор под большим, застекленным в мелкую клетку балконом, на каменную вязь, на дубовые листики с прожилками, похожими на вены, на жемчужные раковины с заветной горошиной, на аккуратно вырезанные зрачки на глазах рассерженной нимфы, взявшей под контроль Ефима в соответствии с принципами нынешней власти...

Ефиму нравилось, когда Мара говорила о бакинцах. У Мары было право на шпильку: она сама была бакинкой. Все, что она говорила о своих соотечественниках, касалось и ее самой. Ее шпильки не имели ничего общего с той мстительностью, которая так часто исходит от людей бесталанных, с гнильцой, когда они вдруг начинают вспоминать родные места, в свое время не одарившие их в полной мере вниманием. Оборачиваясь в прошлое, они смотрят на него так, будто у них что-то выкрали из кармана. Мара была другой. Совсем другой. Яркий экспериментатор во всем, она ни-

когда не переходила черту, за которой начинается вседозволенность. Так часто слышал он от нее: «Все-таки надо быть собакой и знать свою траву». Любви, кинематограф — все случилось только на ее траве... Мара знала отмеренные ей свыше пределы, но это никогда не мешало ей быть смелой любовницей, смелой актрисой, смелым кинорежиссером. Может, из-за этой Мариной смелости он и не мог с ней порвать. «Что ж получается, она меня сильнее?!» И Ефим копил для борьбы с нею силы.

Итогом их последней схватки стала его пьеса «Строгий выговор». Нельзя сказать, что Маре она не понравилась, она была ею просто удовлетворена. Она считала ее «разгонной» в его биографии. Так и сказала ему: «Жду от тебя новых пьес и сценариев, а главное — романа...» Новый роман, вот что поможет ему навсегда разбежаться с Марой. Занять свое место в литературной элите, в кругу своих известных на всю страну друзей, которые в последнее время начали терять интерес к нему: ну, журналист, ну, драматург, ну, что-то там пишет... Что с того? До премии имени Чопура ему еще далеко. Вот меня уже на шесть языков перевели, а тебя даже на монгольский не переводят.

Какая-то дама, напоминающая статского советника в женском обличье, с интересом взглянула на Ефима, цапапнула взглядом парик и улыбнулась, смущаясь.

«Что ж я такого сделал, madame, против каких правил пошел, чем вогнал вас в легкое смущение?»

Если бы он остановился и посмотрел ей во след, в поисках лакомого кусочка для глаз, madame бы не удивилась, именно поэтому Ефим не стал оборачиваться. Ее подозрительно мерное раскачивание бедер так и осталось для самой себя.

«Хотя я здесь совсем недолго, смог уже убедиться — бакинцы люди с секретом. Правда, ни для кого секрет сей тайны большой не составляет, прочитывается довольно легко: если я поверю в исключительность своего существования, наивно полагает рядовой бакинец, смогу и других в этом убедить, а значит, добиться для себя необходимых привилегий, что в сию же минуту облегчит и окрасит в радужные тона всю мою жизнь. Желание жителей Апшеронского полуострова жить с “охранной грамотой” почему-то оборачивается сложной судьбой с заоблачным налогом, от которого те бегут в другие края, чаще всего — северные, надеясь там сотворить

из своего секрета чудо. Не знаю, как у Мары с чудесами, но ее секрет “особого существования”, случалось, действовал на столицу. И не только...» Ефим вспомнил, как умела она из его плохого настроения вылепить чудесный вечер на двоих.

В еще одном ветреном переулке Ефим повстречал человека, который на мгновение показался ему знакомым. Старомодным кивком, точно на голове его сидело канотье, он поздоровался с Ефимом.

Ефим подумал, что так любезно и так осторожно могут здороваться разве что врачи-венерологи, и ответил ему буднично, как положено благополучно возвращенному в семью пациенту. Человека этого он не вспомнил даже после того, как мысленно приклеил к его лошадиному лицу седенькую бородку клинышком и вложил в руку дореволюционную трость.

«Нет-нет, не знаю я такого. Вероятно, он ошибся, обознался, а я подыграл ему на волне изменившегося настроения», — сказал себе Ефим и обернулся. Прошрое с ключиком-замочком скрылось за углом.

И снова он вспомнил о Чопуре и снова отругал себя за то, что вспомнил: «Разве непонятно, что мое мысленное обращение к нему делает его сильнее, а меня — слабее».

Погода была прекрасной. Плывшие высоко облака чуть поторавливали время. Деревья бодрствовали вместе с легким ветром и птицами.

На Ефима налетели две чудесные комсомолочки, обе азербайджанские тюрчанки, из студенческой газеты «Новый путь», так они перевели ее название — «Ени ёл». Девушки учились на журналистов, их интересовала реакция приезжих на Баку.

«Казалось бы, только сейчас думал об этом городе, хорошо думал, глубоко, а куда все мысли подевал?!»

— Вы же приезжий?

Ефим кивнул.

— Раньше слышали о нашем городе? — спросила та, что представилась Марзией.

Другая — слету, откуда-то от высоко поднятой груди в бело-черный ситцевый горошек, — сфотографировала его. Даже разрешения не спросила.

Ну, конечно, он о Баку слышал, у него много, очень много друзей из Баку. Бакинцы — это особая порода, он это знает, и раство-

ряются они в других городах особым образом, не теряя след родного города. Ефим хотел сказать, что иногда это происходит за счет других городов и людей, но воздержался. Поймут ли его правильно девушки?

Фотограф перекинула фотоаппарат через голову, мелькнули темные подмышки, вспыхнул на солнечном свету опушек покатоного плеча, и Ефим почувствовал легкий сердечный перебой, мгновенно сменившийся грустью по чему-то неопределенному, потраченному ни на что, безвозвратно утерянному.

Что же я делаю, спрашивал он себя. Почему готов рассказать о себе все? Только потому, что они хорошенькие, что от них веет началом жизни? Я же не на войне, где предпочтительней делать больше, чем меньше, чем бы эти «больше» и «меньше» не оказались в итоге.

Что?.. Нравится ли ему архитектура Баку? О, да!.. Конечно! В особенности бакинский модерн. Эти каменные нимфы с мужественным взглядом и толстой шеей, что держат под контролем улицы. Он не стал говорить, что бакинский модерн навевает воспоминания о далеких европейских городах, в особенности часто перед глазами встает южное побережье Франции...

— А на какой город похож Баку?

Ему следовало бы сказать барышне Марзие, что Баку похож на Баку, но он сказал:

— Вероятно, вы хотели спросить, какой город напоминает мне Баку? Стамбул, как если бы Стамбул был к тому еще немножко Ниццей, Каннами и Валенсией.

Девушки засияли, похоже, им сравнение показалось удачным, хотя о Ницце, Каннах и Валенсии они представления не имели. Просто красиво звучали названия городов.

— А что, вы к нам надолго? — спросила фотограф, миловидная, но, видно, верблюжья колючка в душе.

— На то надеюсь.

— А чем будете здесь заниматься? — Марзия придала своему лицу напускную серьезность, которая ей не шла. Девушка была создана для материнства без чадры, а не для ученой кафедры.

— Местным кинематографом.

— Вы кинорежиссер?! — Девчонки чуть не воспарили над асфальтом.

— Всего лишь драматург.

В конце своего блиц-интервью они еще раз спросили, как его зовут. Он мог бы назваться любым именем, но он этого не сделал. Слишком долго был Войцехом. Слишком хорошо знал, как заемное имя перепахивает судьбу.

Как только девушки попрощались, довольные уловом, он вернулся мыслями к Маре, к ее природной смелости, к ее отваге, которую она сама в себе не замечала, но которая бросалась в глаза всем.

Ему показалось, что девчонки из газеты «Ени ёл» были Марой подсланы: «Она оттуда, из Москвы, все видит, всем руководит, как на съемочной площадке».

Из одной улицы Ефим влился в другую — темную, каштановую, с горячим порывом ветра, по которой тоже наверняка когда-то цокали Марины каблучки. Ефим мысленно перенесся к началу их романа, ища в прошлом ответы на сегодняшние вопросы, и так увлекся образами прошлого, что чуть не угодил под фаэтон, чем заслужил обидный окрик старого возницы. Тот даже руки над лошадыми к небу воздел, седобородый лихач в каракулевой папахе. А тут еще нетерпеливый ГАЗик начал подталкивать его сигналом в печень, так что Ефиму ничего не оставалось, как быстро-быстро перебежать на другую сторону, под защиту двух каменных львов у подъезда небольшого дома с эркером эпохи нефтяного бума.

«Смелость?.. Да, наверняка, из-за нее я и не могу никак расстаться с Марой. Хотя причем тут смелость? Вот из-за чего ты спать не можешь, вспоминая ее всю, — это и есть та самая правда, которой ты бежишь, не осознавая того».

Все последующие после знакомства дни Ефим открыто ухаживал за Маргаритой. А уже через неделю явился к ней с двумя чемоданами и с двумя Новогрудскими — старшим Соломоном и младшим Герцелем, — сообщив зачем-то, что его печатная машинка в закладе и ее нужно немедленно спасать, потому что он, совместно с третьим Новогрудским — Шурой⁶, будет писать сценарий к фильму «Измена».

Из трех Новогрудских Маргарита сдружилась с двумя — покладистым Герликом и вундеркиндом Шурой. А вот Соломон ей активно не нравился.

⁶ А.Е. Новогрудский (1911—1996) — советский сценарист документальных и художественных фильмов, критик, журналист. Заслуженный деятель искусств РСФСР (1982).

— По-моему, страшный человек, наверняка чекист, — поделилась она своим впечатлением с Ефимом.

— Не страшнее, чем я будет, — успокоил ее Ефим.

И, насытившись замешательством новой возлюбленной, объяснил, что многим обязан Соломону, что именно он, по просьбе дяди Натана, когда-то помог ему вернуться назад, перейдя советско-польскую границу.

На этих словах Маргариту рвануло, она рукокрыло взлетела с кровати, встав в точности такой же, как на фотографиях Гринберга:

— Разве такое возможно, перейти границу?! — А потом: — Зачем ты мне это рассказываешь? Проверить хочешь, не донесу ли? В «русскую рулетку» со мною играешь?

И он снова успокоил ее — «дорого встанет такая “русская рулетка”».

— В какой же стороне были три твоих моря? — спросила она его.

И Ефим рассказал ей десятилетней давности историю, от начала до конца, почти все, кроме недавней поездки в Стамбул и на Принцевы острова, куда отбыл по просьбе Соломона Новогрудского и еще кого-то, кого именно Ефим не знал, но предполагал нескольких высокопоставленных армейских чинов и одного наркома. Вот этого «Маргарите точно не надо знать. Вот это, правда, — опасно».

А потом он, не вылезая из теплой постели, гулял с ней по Вене, по его Вене, потом показывал ей свой Зальцбург, потом, сбежав с заснеженного брейгелевского холма, облюбованного одним модным австрийским писателем, оказался с Маргаритой в Вероне среди желтой дзенской листвы на площади у монастыря Сан-Дзено, а потом ветер над закрученной в кольца, совсем как на рисунках Леонардо, реки Адидже перенес их сначала в солнечный Рим на виа Маргутту, а затем в дождливый Берлин на Курфюрстендамм.

Поначалу Маргарита не знала — верить ему или нет, но чем продолжительней был их полет, тем убедительней казался рассказ Ефима.

А когда он начал рассказывать ей про Париж, «аббатство» в Фонтенбло и своего мастера Джорджа Ивановича, Маргарите показалось, что Ефим раздваивается на глазах:

— Не знаю, кто ты, а кто твой двойник. Еще не умею вполне отличить вас.

Ефим тогда сказал, что и у него не получалось отличить Джорджа Ивановича от его двойников.

Собственно говоря, потому-то он и покинул «аббатство».

— «Аббатство»? — Она посмотрела на него, будто была аббатисой, а он «ягодкой любви» в монашеском облачении. — Почему вы называли вашу коммуны «аббатством»? — И сменила роль: просунула свою руку под его, положила голову ему на плечо, потерлась шелковистой щекою. Актриса!..

— Когда я добрался до дома в Фонтенбло, все уже называли это местечко «аббатством». Зато до меня никто не называл Джорджа Ивановича — Беем. Никому не приходило в голову так его назвать. Хотя одной встречи с ним хватило бы, чтобы определить — он настоящий, не исправимый никакими ментальными учениями кавказский бей.

— Восточную начинку не вытравить даже магам. — Мара села на край кровати, просунула руку в чулок и поиграла оттопыренными пальцами, показала ему Петрушку. — Да что там маги, если сам Чардынин из меня бакинку не вытравил.

— Вот ведь какое совпадение! О Баку и Тифлисе мне много рассказывал Джордж Иванович, там прошла его молодость. В Тифлисе в духовной семинарии он свел дружбу с Чопуром, а потом вместе они совершали налеты на Баку и его окрестности в период хаоса власти. Джордж Иванович знает о Чопуре столько, сколько самому Ягоде не снилось. Если Чопур и боится кого-то, то только его, Джорджа Ивановича.

Ефим сейчас практически повторил слова, которые принадлежали человеку с Принцевых островов.

— Я слышала, у Чопура, как ты его называешь, тоже есть двойники. — Мара набросила на себя халат с длинноусыми китайскими драконами.

— Его двойники все до одного — заложники страха, а двойники Джорджа Ивановича — слуги света, — сказал Ефим и добавил: — Понимаешь, у них разные коды существования. — Откинул лысую голову на подушку. — Настолько разные, что Джордж Иванович не раз давал нам понять в Фонтенбло, что Чопур мечтает снять с него посмертную маску.

Маргарита встала с кровати. Придумывая новый образ в зеркале, поинтересовалась, почему Ефим называет Чопура — Чопуром, а не как все.

— Джордж Иванович уверял, что лучшее средство защиты от Чопура — называть его Чопуром.

— Тогда называй меня Марой, — сказала Мара, — это будет лучшим средством защиты от меня. — Уловила в зеркале новый образ, рассмеялась, точно в немой фильме Довженко, показав ему свои маленькие, выточенные для нежной любви зубы.

Тогда Ефим, не отрывая голову от подушки, произнес роковую для всякого мужчины фразу:

— От тебя у меня защиты нет.

После этих слов Ефима Маре-Маргарите стало по-настоящему страшно, показалось, впервые в жизни в ней было так много женщины. Такого не случалось с ней ни при Чардынине, ни при других возлюбленных.

Однако чувство это оказалось временным. Вскоре Маргарита с головой ушла в новую работу над «Рваными башмаками». А Ефим носился со своими рассказами из редакции в редакцию, гнал материалы в «Правду» и «Труд» и ждал, когда на советских экранах появится «Измена», снятая по их с Шурой Новогрудским сценарию.

Психологическая драма «Измена» на экранах так и не появилась: Главрепертком РСФСР запретил фильм как «пацифистский, деморализующий зрителя».

Намечающийся роман с исполнительницей главной роли Евлалией Успенской (Ольгиной) сорвался, а Шура Новогрудский куда-то очень грамотно запропастился, вероятно, засел за очередной сценарий где-нибудь в Малаховке.

Зато у Мары все складывалось как нельзя лучше. Ее фильм вышел на экраны. Успех был небывалым. Все, кто считал, что в Советском Союзе может быть только одна женщина-режиссер, и она уже есть, и зовут ее Эсфирь Шуб, теперь помалкивали.

«Рваными башмаками» восхищался даже сам Максим Горький. Фильм смотрели в Европе и в Америке. Из Америки прислали корреспондента: выведать у Мары, как она работает с детьми.

А потом случилась ее знаменитая встреча с Роменом Роланом на даче у Горького. Маргарита летала от счастья. Ее перевозносили наравне с Эйзенштейном, Пудовкиным, Довженко... Казалось, вот сейчас-то все по-настоящему и начнется, но...

Но вдруг все пошло не так. Между ней и кино словно выросла стена. А после «Отца и сына» ее обвиняли в формализме, антиху-

дожественности и политической несостоятельности, выталкивали на обочину, заставляли каяться в «ошибках».

Маргарита не знала, что делать. Она решила написать письмо Чопуру. Ефим устал отговаривать ее:

— Ты что, совсем ничего не понимаешь? Подумай, что будет после твоего письма! Не понимаешь, что Пудовкин с Довженко тебе вовек не простят того, что было на горьковской даче? А тут еще Радек!..

И тогда они поссорились. Поссорились крепко, как никогда. И если бы не арест дяди Натана, разошлись бы на веки вечные.

Пока у Ефима проносились в голове все эти воспоминания, он незаметно вышел к Бакинскому рабочему театру. Подошел к служебному входу, располагавшемуся справа от лестницы.

Зашторенная высокая дверь с латунными ручками и неприветливой пружиной впустила его вовнутрь. Обычный служебный вход, как во всех московских театрах, только вот лестница больно высокая и мраморная.

Поднялся, подошел к вахтерше.

Пожилая красивая женщина, по всей видимости, так и не добравшаяся в свое время до Парижа, отложила растрепанную толстую книгу. Бывают такие — читаешь всю жизнь. Дома, на работе, в отпуске. И эта книга становится книгой жизни.

— Моя фамилия, — откашлялся, сглотнул слюну, — Милькин. — Но в горле по-прежнему сухо. — Я из Москвы. — Сейчас бы стакан воды не помешал. — Драматург. Сегодня договаривался о встрече с Фатимой Таировой, но... Как и где я мог бы ее увидеть?

Женщина поднялась, встала за спинку венского стула, как это обычно делали раньше старорежимные педагоги в гимназиях, тихо спросила:

— Очень нужна? — Он не ответил ей, он уже все понял по ее глазам, смирившимся с обстоятельствами. — Вчера забрали.

Ему показалось, он услышал, как скрипят наверху половицы под сапогами чекистов. «Сколько их? Скорее всего — двое. Внизу должна стоять машина. Черная. И в ней тоже — двое. И еще двое по углам улиц. Это если все серьезно». Но насколько серьезно они относятся к нему?

— Благодарю вас, — только и смог сказать Ефим.

— Не за что, товарищ драматург. — И шепотом: — Лучше не приходите сюда пока.

Он быстро сбежал вниз по лестнице. Сегодня ему определенно везло на порядочных людей. А ведь мог бы и нарваться. Еще как мог!

Черного авто, выйдя на улицу, Ефим не обнаружил.

«Должно быть, неподалеку где-то дежурит, за каким-нибудь углом».

Хвоста тоже не было, но на всякий случай он зашел по пути в небольшой сад.

«Если за мною следят — отсюда проще всего будет заметить».

Вероятно, это был тот самый Молоканский сад, о котором ему говорила Мара. Он посидел на скамеечке. Развлекся здешними видами. Повспоминал, кто у него еще есть в этом городе.

«Нюра, сестра Мары, но к ней я, конечно же, никогда не обращусь за помощью. Соломон и Герлик — бакинцы, но они в Москве и трогать их никак нельзя: потянется ниточка. Телеграфировать Маре? Тоже опасно. Наверняка за ней следят так, как не следили раньше, до моего бегства в Баку».

В последний раз они встречались с Марой неделю назад в Детском парке краснопресненских ребят. Парк разбили совсем недавно на месте мебельной фабрики Шмита.

Ефим пришел пораньше. Выбрал скамейку неподалеку от эстрады.

Солнце выглянуло из-за синей дымки, и из фотографического кружка навстречу солнцу вылетела ватага пионеров с «ФЭДами» и «ФАГами».

Тугогрудая, с мускулистыми икрами комсомолочка из тех, что были запущены Чопуром в массовое производство совсем недавно, что-то кричала вдогонку детям, затем махнула такой же мускулистой, как ноги, рукой и побежала за ними сама. Потом остановилась, раздула полосатую грудь и свистнула в боцманский свисток.

Детвора даже не обернулась.

Объективы маленьких гринбергов интересовало все: шустроногая мелюзга на велосипедах, томные отроковицы на качелях, дебелая продавщица из будки «Мосминводы», отгоняющая мокрым полотенцем безногого инвалида с «Марсовой звездой» на

порубленной белогвардейцами груди, озорной черной пудель, нарезавший кривые круги вокруг белобрысого мальчугана с желтым теннисным мячом, трубач в тюбетейке, выдувающий медь под портретом прищурившегося кавказского усача.

Маленький мальчик, вокруг которого кружила няня, смотрел на юных фотографов, как зачарованный. А Ефим смотрел на мальчика.

«Мне бы такого Бог послал, половину бы дела сделал в жизни».

Мальчик был тихий, рассудительный не по возрасту, с большими грустными глазами. Няня звала его Аликом: «Алик, подойди-ка ко мне, дружок. Ты слышишь меня?!»

Ефим поймал себя на том, что, глядя на мальчика, которого представил сейчас своим сыном, испытал чувство вины. Если бы мальчик был не столь маленьким, он бы даже извинился перед ним. Кто знает, возможно, у него еще будет время это сделать. Но как он ему все объяснит? Как скажет, что не намерен был жениться на его матери, что просто поддался сильному, очень сильному влечению, что такое бывает со взрослыми людьми? Но почему ему видится именно этот сюжет, почему он не выберет другой, с другой мамой, возможно, тогда и объяснять ничего не придется?..

«Значит, все зависит от мамы? Значит, маму надо искать правильную? Как они ищут правильного отца из-под шляпки, под ошалелый стук каблучков? А как же любовь?!»

Ефим хотел было подозвать Алика и прочесть ему «Письмо товарищу Кострову из Парижа о сущности любви», но, поразмыслив, он решил, что это уведет пацана далеко в сторону. Сам когда-нибудь разберется.

Вот Мара — она могла бы все пацану объяснить. На съемочной площадке такое с детьми творит, они все делают, о чем она их только не попросит. Эх, если бы Алик был от Мары...

И только он так подумал, как увидел ее — Маргариту. Она шла со стороны Горбатого моста. Со стороны солнца.

Какое-то чувство тоски обрушилось на него, как будто вдругмотришь на любимую женщину и понимаешь — то ли она уже не та, то ли ты уже не тот.

Мара со знаменитых фотографических ню Гринберга лишь отдаленно походила на эту женщину. Совсем другая Мара, в ответ

на его очередную вспышку ревности, могла сказать месяц тому назад: *«Мое чувство к тебе никогда бы не стало меньше от случайных “издержек плоти” — твоей или моей. А внимание, которым тебя наделяли неплохие женщины, только доказывает мне, что мой выбор не так ужасен, как меня стараются убедить в этом мужчины».*

Больше всего Ефима удивила тяжесть ее походки и начинающееся бабье колыхание.

«Может, она беременна? Раньше никогда так не ходила. Марин шаг всегда был летуч».

Ему показалось, что на эту встречу Маргарита пришла с большой неохотой.

«Нет уж, хорошо, что Алик не ее сын. Если бы мне пришлось с ней расстаться — я бы точно не выжил, потеряв двоих сразу».

Он встал со скамейки и сделал несколько шагов навстречу Маргарите.

Ефим и Мара старались не встречаться взглядами — больно уж изучены друг другом были их глаза.

Маргарита, не сговариваясь с Ефимом, тоже отметила про себя фактурного мальчика. Подошла к нему, присела, чтобы быть с Аликом одного роста. Хотела дотронуться до него, но какая-то стальная пружина удержала ее.

— Да, был бы у нас с тобой такой, много легче было бы и тебе, и мне, — сказал он, чтобы снять возникшее напряжение.

Мара в ответ улыбнулась, как улыбаются сильные, очень сильные женщины, когда им бывает больно.

— Или сложнее. Как ты? — Он поймал ее руку в полете, когда она хотела поправить волосы на его парике.

— Как видишь!

Порубленный инвалид откатился от будки с водой.

Черный пудель опрометчиво понесся за очередным свистом чопуровской комсомолки, но тут белобрысый лопоухий мальчик расстался с теннисным мячиком, и пудель с небольшим заносом повернул в сторону клумбы.

— Как с тобой тяжело...

— С тобой, думаешь, легче?

Как это с ними бывало, скоро они все-таки нашли то общее, из-за которого никак не могли расстаться по-настоящему.

Она даже сказала ему, что замуж больше не выйдет ни при каких обстоятельствах, зато заведет черную пуделицу, «нарожает» щенят и будет торговать ими оптом.

Алик попросил воды. Няня дала мальчику денег. Алик пошел к будке. Сам. Увидев повеселевшего инвалида, намеревавшегося выцыганить у мальчишки монетку, остановился, но через секунду собрался с силами и прошел мимо него.

— Какой молодец, — сказала Мара и извлекла из сумочки несколько сложенных вдвое бумаг. Развернула, расправила: — Прости...

— Ничего страшного.

— Я сделала все, как ты просил. Вот направление. Вот — печати. Распишешься сам. Здесь вот и здесь. И не так размашисто, как ты обычно это делаешь.

— ?! — Он изломил бровь.

— Двадцать третьего мая ты уже должен быть в Баку. Утром двадцать четвертого — на «Азерфильме». Это адрес Фатимы Таировой, мы с ней вместе учились в театральной студии, а сейчас Фатимка служит в БРТ, в Бакинском рабочем театре. Кажется, метит в примы. Она и раньше была талантлива и необыкновенно хороша собою. Прошу тебя не увиваться за ней. Сделай одолжение.

— Сделаю.

— Уж постарайся. Мы с ней в кратчайшие сроки зарезервировали для тебя роскошную комнату в Ичери-Шехер. Целых двадцать четыре квадратных метра, с двумя окнами и балконом на море. И не говори, что я о тебе не забочусь... — Она протянула ему рекомендательное письмо. — А это передашь еще одному моему человеку — Семену Израилевичу. — Она вырвала из блокнота листок и химическим карандашом начала что-то быстро писать. Потом вспомнила о чем-то более важном, спросила: — Что слышно о дяде Натане?

— Посылки начали возвращаться.

— Вот как! Сочувствую. Прошу тебя следовать моим советам и не бывать в Баку в тех местах, которые я тебе сейчас перечислю. В противном случае — все напрасно. Ты понял меня?

— Ты говоришь со мной, как со своими детьми на съемочной площадке.

— А как иначе говорить с тобой, если ты все делаешь мне наперекор. И потом, с чего ты взял, что я с детьми на съемочной площадке разговариваю, как с тобой. У тебя есть закурить?

— Ты же бросила.

— Да, вчера.

Он протянул ей папиросу, тут же чиркнул спичкой, сказал:

— Можно подумать, Радек⁷ у тебя по струнке ходит.

— Радек, Радек... Что ты прицепился к нему? Как ты вообще можешь после всех своих загулов попрекать меня Радеком? — Она сунула ему в руку листок, на котором успела что-то набросать.

— Ладно, прости, не хотел.

— Я знаю, чего ты всегда хотел — чтобы я любила тебя. Хотел сильно, но недобросовестными средствами.

— Возможно, что так. И что с того?

Время будто сломалось. Теннисный мячик завис в воздухе вместе с черным пуделем.

— Я хотела любить человека другого внутреннего склада, чем ты, и считала возможной эту перемену. Но несколько лет назад я окончательно поняла, что это неосуществимо, и по-настоящему нам надо было тогда же разбежаться и впредь никогда более не сходиться.

— Что же тебе помешало?

— Много причин. — Она не знала, обо что ей затушить папиросу, а он не знал, как ему выйти из-под ее камнепада.

Тут к ним подбежал Алик: промахнулся скамейкой. Ребенок, видимо, почувствовал, что что-то не так и кинулся к няне. Забрался к ней на колени.

Мара примеряла улыбку Джоконды, которая ей совершенно не шла.

Из-за этой ее улыбки на лбу Ефима выступил пот.

— Вокруг Москвы начали гореть леса, — сказала Маргарита, точно собиралась весь парк спасти от конфуза.

— И смог надвигается на город, — поддержал он ее.

— Ну, что? Мы обо всем договорились?

— Да, конечно, я, пожалуй, пойду, — сказал он и встал со скамейки.

⁷ К.Б. Радек (настоящее имя — Кароль Собельсон) (1885—1939) — советский политический деятель, деятель международного социал-демократического и коммунистического движения.

— Погоди. Вот еще что. Пиши свой роман, Ефим, и присылай мне каждую неделю по новой главе.

— Сама же говорила, что надо быть осторожней. Первое же мое письмо прочтут раньше тебя. И потом — в неделю по главе я не смогу. Я так не умею.

— Сможешь, если захочешь. Ты столько раз рассказывал мне эту историю, что тебе остается только сесть и записать ее. Статьями и сценариями ты там не отчитаешься. Чтобы подняться, надо покинуть избитую дорогу.

— Знаю, этот твой любимый афоризм. Не знаю только, кому он принадлежит, тебе или Монтеню?

— Как устроишься, телеграфируй.

Она тоже поднялась со скамейки, не говоря ни слова, стремительно пошла в ту сторону, откуда появилась, но, сделав несколько шагов, остановилась, развернулась и послала ему быстрый воздушный поцелуй.

«Ну вот, кажется, и развелись, точнее, разлепились, — подумал он, оставшись один. — Через какое-то время она попросит меня вернуть все свои письма, а мне принесет мои или перешлет их в Баку».

Это был тот час пятницы, в который местами уже закралась суббота.

От жары соскальзывал парик. Ефим скинул пиджак и забросил за спину, как это делал обычно новый советский курортник в каком-нибудь документальной фильме. Оглянулся по сторонам. Никого подозрительного, только люди кругом. И люди — как люди.

«Считай, что ты в Стамбуле, — сказал он себе, — только в советском Стамбуле, в котором ты то ли керосинку забыл выключить, то ли кран оставил открытым».

И пошел вниз, к гостинице «Старая Европа», дорогой, которую Мара проложила в Москве химическим графитом на листочке-оборвыше.

Но вскоре Ефим замедлил шаг, остановился в раздумьях: «А может, все-таки свернуть налево, к Парапету? А оттуда податься на Торговую?».

Его тянуло на Торговую. Мара говорила, что, если кто-нибудь ему скажет, что Баку начинается с Михайловской, Садовой, Оль-

гинской или Мариинской, это неправда, по-настоящему город открывается только с Торговой улицы: «Но ты лучше туда не ходи, на Торговой можно встретить кого угодно — и своих, и чужих. А это совсем не то, что тебе нужно. Хотя, что я говорю, все равно ведь пойдешь. Назло мне».

Он свернул налево. Первое, что увидел, выйдя на Торговую, — людей, собирающихся у фонарных столбов с черными хоботами динамиков. Люди застыли на месте и чего-то ждали. Может быть, поэтому все они показались ему мертвыми. И у него самого появилось чувство, будто и он завис сейчас между жизнью и смертью.

Он вспомнил, что точно такое же чувство испытал в одном польском замке, куда угораздило его однажды попасть.

«Нет, все-таки права была Мара, не надо было сюда идти!»

Вскоре в черных раструбах начал хозяйничать голос хозяина города Багирова.

«Представители многонационального Баку, многонационального Азербайджана, спаянные дружбой народов...»

Товарищ Багиров был редкостным тугодумом, большой связностью речь его не отличалась, и каждое слово отдавало бычьей потливостью. В довершение ко всему, хазарский ветер буквально в ключья рвал его громкую речь, глумился над местным божком, как хотел.

«На пороге новой конституции вы должны оглянуться, должны посмотреть, кто враг советского народа, кто враг Азербайджана, кто враг наших национальных республик... Ми будем беспощадно уничтожать этого врага!...»

Люди слушали с напряжением. Переминались, глядя друг другу в затылок. Воздух густел меж головами. Дышать становилось труднее. Мерещился запах несвежего белья.

Ефим представил себе Фатиму Таирову, страшного врага национальных республик, которой чекисты выбивают сейчас зубы где-то глубоко под землей. Зачем она им? Чем не угодила Чопуру? И почему решили забрать ее в пятницу? Чопур ведь не любит ни пятниц, ни суббот, ни воскресений. По правде сказать, он ни один день недели не любит. Ему лишь бы ночь над страной раскачивалась бездетной люлькой. Безлунная и беззвездная, с которой можно чокаться бокалом грузинского вина.

А Багирова уже несло по ухабам и кочкам, аж до самой столицы, до самого Кремля. «Ми не должны забывать, что враг еще не добит, что борьба капитализма с социализмом не кончилась и происходит в мировом... в международном... в планетарном масштабе... Как говорит товарищ... — многая лета Чопуру. — Когда читаешь показания разоблаченных врагов, не верится, что в человеческом облике может существовать лютый зверь».

Пауза, в точности такая, какие обычно берет Чопур. Гудение Хазар-ветра. Наверное, товарищ Багиров Мир Джафар Абассович сейчас за кепку свою держится, как за место первого секретаря.

«Ми знаем хищных зверей, ми знаем бешеных собак, но таких, каких вырастила троцкистская, зиновьевская и мусаватская банда, ми будем находить и уничтожать».

Торговая молчит. Мертва Торговая.

«Находить и уничтожать».

Ефим подумал, что его новый квартирный хозяин и тот, наверное, лучше изъясняется, чем этот ставленник Чопура.

Нет, правда, спел бы он лучше про попугая, который «на одном ветку с мамой сидит», повеселил бы Торговую, вернул бы людей к жизни.

К чему была приурочена эта речь Багирова — к готовящейся конституции или к еще теплому постановлению Политбюро ЦК о репрессировании троцкистов, — Ефим не знал.

Он хотел выбраться из толпы, уйти как можно быстрее, но понимал, что люди Чопура расставлены по всему городу и в особенности много их должно быть возле радиоточек.

Придется этого кавказского Цицерона дослушать до конца и отойти от громкоговорителя только тогда, когда народ начнет расходиться. А еще лучше после речи Мир Джафара Абасовича попить газировки у стенда со свежими газетами. Глянуть, как проходит первый чемпионат СССР по футболу. Успокоиться, осмотреться.

И газировку с абрикосовым сиропом нужно пить, ни на минуту не забывая про остров Наргин. Так она вкуснее будет. Значительно вкуснее, ну прямо, как живая вода.

Стоило репродукторам смолкнуть, в воздухе сразу же стало меньше общественного: нечистого чесночного дыхания с карии-

озной гнильцой, перебиваемого резким подмышечным духом и другими не очень приятными запахами запущенных интимных зон.

Загустевшая в толпе кровь побежала, понеслась теперь пешеходным джазом в сосудах.

Улицам вернули их названия, витринам — отражения действующих лиц парада-алле, приписанные к подворотням дворники с летающими метлами заняли свои позиции у ворот.

Люди весело двинулись кучками в четырех направлениях с надеждой на то, что «находить и уничтожать» будут не их и не здесь.

Ефим занял очередь за полной белой феминой с высокой неполигкорректной прической, двойным «подбородком» на затылке и прямой веснушчатой спиной, от которой исходил терпкий аромат то ли «Красной Москвы», то ли «Белого Берлина». Полез в карман за медяками.

Оглянулся и вдруг, под плакатом «Превратим СССР в страну индустриальную!» увидел Новоградского-младшего.

Златокудрый, искрящийся бог перемен и неожиданных встреч, все принимающий и всем довольный, смотрел на него, глазам своим не веря, и так улыбался, будто не Багирова только что слушал, а Морфесси⁸ где-нибудь в «Штайнере».

— Ефим, ты?!

Герцель развел руками — единственный живой в окружении мертвых. Ефим немедленно покинул очередь, увлекая его в сторону: за ним тоже могли следить.

— Да ты погоди, погоди, я не один. Ляля! Иди к нам. Каким ветром?..

— Индустриальных перемен.

— Снова с Марой разошелся?

— И не сходился.

— Я же зимой вас видел вместе. Не переживай, мы тебе тут быстро невесту найдем. — Он спохватился. — Лейла Уцмиева. — Оглянулся по сторонам. — Княжна Уцмиева. Ляля, позволь представить — Ефим Ефимович Милькин. — Снова оглянулся по сторонам. — Если бы ты, Лялечка, знала, какое за ним прошлое...

— Герлик, давай отойдем в тихие улочки.

— А что я сказал? Ляля, Ефим в прошлом — красный командир.

⁸ Ю.С. Морфесси (1882—1949) — российский эстрадный и оперный певец (баритон).

— А в настоящем? — спросила княжна, сверкнув беспартийными глазами.

— Прозаик, журналист и драматург.

— Покамест только кинодраматург, — поправил Ефим.

— Скромняга, скромняга, — и по плечу похлопал друга. — Что думаешь по поводу этой, с позволения сказать, речи? — спросил светский Герлик.

— Ты помнишь домик палача в Зальцбурге? — Взгляд Ефима сейчас не смогло бы растопить и бакинское солнце.

— Ты что имеешь в виду, тот дом палача, рядом с которым никто не хотел селиться? — Герлик обнажил ослепительно белые зубы — мечту чопуровских опричников.

— Именно. Надеюсь, ты понял меня.

Герлик хотел что-то сказать, но Ефим перебил его.

— Вы сейчас куда?

— Гуляем, а что? У тебя дела?

— Я только приехал. А ты как здесь, к родным?

— Слушай, а давай завтра к нам на субботу, все тебе расскажу. И Ляля... Ляля тоже будет.

Ляля сделала удивленные глаза, видно было, что она уже несколько раз в жизни ломала подаренные ей розы.

Ефим задумался:

— Неудобно как-то, и потом...

— Что значит — неудобно? Что значит — и потом? Я тебя в последний раз когда видел? Запиши адрес. Вторая параллельная, дом двадцать дробь шестьдесят семь, квартира тридцать семь. Третий этаж. Запиши-запиши... У тебя есть чем?

— Герлик, я запомню.

— Поймаешь фэзтон, скажешь: мне нужно на Кёмюр мейдан или Кёмюрчи мейданы. По-русски это будет Угольная площадь или Площадь угольщиков.

— В каждом городе такая есть.

— Место в Баку всем известное.

— А можете сказать просто: мне на Шемахинку, — вставила свое слово Ляля и улыбнулась так, словно только что вышла из пены каспийской.

— Ну, так что? Придешь на субботу к Новогрудским?

— Герлик, иди, гуляй барышню. Таких красивых я со времен Вены не видал.

— Это вы еще его сестру младшую не видели, — княжна снова улыбнулась.

«Наверное, так улыбаются вечности, — подумал Ефим. — Просто газель, дочь газели с шахиншахских миниатюр. Герлику всегда везло на баснословно красивых и породистых женщин».

— Ты будто сам не свой, у тебя точно все хорошо? — Герлик окинул его внимательным корреспондентским взглядом поверх очков в золотой оправе.

— Хорошо-хорошо.

— А где остановился? — тот же внимательный взгляд.

— В Крепости, — сказал он и незаметно глянул на княжну.

В ответ она одарила его той улыбкой, за которой гоняются фотографы всего мира.

— Будь осторожен. Твоя Мара, между прочим, в Крепости с кинжалом ходила. Завтра, как стемнеет, у нас — и никаких отговорок.

Ефим взял «под парик» и двинулся в сторону дома с часами на башенке.

Сергей Катков

ЭКСПЕДИЦИЯ ГЕНЕРАЛА
КАННИБАЛА

I

В декабре 1736 года от стоявшего на рейде галеона «Конкистадор» к перуанскому берегу против встречного шквалистого ветра отчаянно шла лодка. Волны нещадно били в ее борта, ежесекундно грозя перевернуть команду испанских матросов и пассажира, который со своим громоздким сундуком, потрепанным саквояжем и французским гражданством, казалось, вовсе не стоил таких героических усилий. Когда же наконец со второй попытки высадили злополучного пассажира и лодка с командой пошла обратно, одна из гнавшихся за ними волн стала роковой. Семеро моряков на полпути к судну поплатились жизнями. Так начинается история злочлчений безымянного героя, уроженца Руана, ступившего на землю инков в напрасной надежде догнать своих знаменитых, но не менее злосчастных собратьев-ученых. Жертвы перуанской волны стали первыми, кто открыл смертельный счет в той великой и фантастически неудачливой экспедиции. Отчаянные испытания выпали на долю ее участников. Беспрецедентное мужество выказали они перед лицом судьбы. Кипучие страсти, достойные самого яркого пера, обуревали ее героев, прибывших в страну Эльдorado за бесплотным прометеевым огнем. Вектор научного предприятия, известного ныне как Перуанская экспедиция¹, можно сравнить

¹ В 1735 году Французской академией была предпринята т.н. «Перуанская экспедиция», в состав которой вошли выдающиеся астрономы и математики XVIII в. — Луи Годен, Пьер Буге и Шарль Кондамин. Их задачей было измерение при помощи «триангуляционного метода» длины дуги меридиана, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу о приплюснутости Земли в области полюсов или экватора. Все данные относительно участников экспедиции соответствуют исторической правде. О персонаже, выведенном в рассказе под именем Руанец, нет никаких достоверных сведений (*Здесь и далее прим. автора*).

с погоней за ускользящим фронтиром знания, с космическим путешествием, в которое пустились герои «Интерстеллара».

Великий Аноним — таково имя персонажа, последним вступившим в состав губительной экспедиции. Разгадка его имени и биографии до сих пор скрывается, хотя он вполне мог войти в ряд великих ученых своей эпохи. Известно, что он одногодка Луи Годена, автора и главного руководителя Перуанской экспедиции, астронома столь выдающегося, что в девятнадцать лет он был принят во Французскую академию. Своим дарованием Аноним нисколько не уступал двум другим руководителям — Шарлю Кондамину и Пьеру Буге. О них речь дальше. По краткой записке, сохранившейся в архиве Французской академии, известно, что родился ты в Руане, в семье книготорговца, младшим из семи детей, и спозаранку детства сказочно одарен был языкам. Увы, в отличие от своего удачливого сверстника Годена, только готовился ты совершить свои научные открытия. Еще не было написано ни одной книги, ни сколько-нибудь значимой научной статьи. Отсутствие материала, достойного твоего дарования, той дикой почвы, возделывание которой увенчалось бы славой на языковедческом поприще, — вот что толкало таких же анонимных героев всех эпох к тщетной погоне. Позволь дать тебе хоть какое-нибудь имя, ибо безымянный профиль скользит мимо читательского сердца без следа. А нет худшей превратности, чем эта. Рожденный в Руане, пусть будешь ты Руанец.

В день, когда Руанец ступил на перуанский берег, началу экспедиции минуло полтора года. Шел дождь, которым океан тянулся за путешественником вглубь материка и еще несколько миль сообщал о себе тяжелым рокотом. Проводники с мулами, присланные из Кито, перегрузили содержимое сундука и саквояжа в перекидные сумы, и маленький караван направился в сторону сельвы. Еще не было известно, что Годен, Кондамин и Буге, разругавшись, продвигались вглубь континента тремя отдельными партиями. Что из-за обезумевшего от страсти Годена экспедиция лишена средств, и теперь ее участники, которых догонял молодой языковед, претерпевали свои жестокие участи, пробиваясь через джунгли к далекому Кито.

Руанец слышал об одном амазонском племени — его название «пираха». Язык пираха — настоящее волшебство, заключенное всего в нескольких звуках, сами индейцы якобы говорят без слов, обходятся без перечислений, указаний на цвет, их беззвучный глагол способен повествовать только о настоящем. Будущее и прошедшее в нем невозможно, ибо он существует, пока речется, словно ручей, обновляемый водой. Прилагать к языку пираха инструмент теоретической науки бесполезно, описывать точными категориями — все равно что шить невидимое платье короля, который, как известно, голый, а выучить его можно, только погружившись в исконную для племени среду — используя тело, интуицию и фибры души². От испанцев языковед знал, что пираха доверяют только наличным показаниям чувств, говорящих всегда одно и то же: что мир всегда был таким же, как сегодня с утра, и что объяснять вещи — избыточный труд, на них достаточно молча указывать: вещь есть вещь и ничего больше, кроме себя и своих пределов, она понятна сама по себе. На все попытки привить им христианство, пираха посмеиваются, отказываясь верить в Христа, с которым лично не знакомы.

За доказательствами того, что язык пираха не есть платье голого короля, а пусть хоть энigmatическое, но все-таки вещество: набедренная повязка дикаря, отделяющая его от животного мира — за этим ехал Руанец в амазонские джунгли. Доказательства или опровержения поставят Руанца в один ряд с такими светилами науки, как Годен, Буге и Кондамин. В то время как миссионеры-грамматисты описывали языки диких племен по образу и подобию латыни, древнегреческого и арамейского языков, ему одному из первых в свою эпоху пришла мысль изучить подлинную грамматику диких племен³.

² В XX в. лингвист Д. Эверетт провел долгое время, изучая язык амазонского племени пираха, особенности которого, по словам Эверетта, противоречат универсальной грамматике Н. Хомского. В нем якобы отсутствуют категории времени, числа, а также прием рекурсии, который, по теории Хомского, является универсальным.

³ Идея, что грамматика языка американский индейцев может быть организована на фундаментально отличающихся от латыни принципах была просто за интеллектуальным горизонтом лингвистов того времени. Проблема лежала глубже, чем неспособность понять конкретные особенности грамматики конкретного языка Нового Света. Она состояла в том, что многие миссионеры даже не понимали того, что надо что-то понять.

Необходимо сказать, что к тридцатым годам XVIII века Пьер Буге, один из крупнейших математиков своего времени, вундеркинд, профессор в шестнадцать лет, оказался в самом центре отвлеченных на первый взгляд научных споров. Уже через много лет после описываемых событий в честь Буге была выбита медаль, на которой он изображен опирающимся на земной шар и как бы сжимающим его. И это неспроста. Спор, начало которому положили Ньютон и картезианцы, шел о том, была ли Земля подобна шару, который сплюснен у полюсов или, напротив, расширен на экваторе.

Вопрос совершенно не праздный. Знание истинной формы и размеров Земли значительно облегчило бы навигацию и решило проблему долготы. Измерения, проведенные итальянским астрономом Кассини для короля Людовика XV, показали, что длина дуги меридиана на севере и юге Франции отличается, что было странно и возмутительно, учитывая господствовавшую тогда теорию безупречно шарообразной Земли. Чтобы выяснить окончательно, Земля — шар или яйцо, необходимы были еще два измерения: одно вблизи Северного полюса, другое — возле экватора. Северная экспедиция в Лапландию стартовала в мае 1736-го, выполнила свою часть работы и через двенадцать месяцев благополучно вернулась. Экспедиция к экватору в Перу началась на год раньше, в мае 1735-го, и была рассчитана на три долгих года. Буге, Годен и Кондамин, никогда не выезжавшие дальше Парижа, не подозревали, поднимаясь на борт «Портофе», насколько они ошибались в сроках. Даже сегодня их научное предприятие выглядит очень рискованным, что говорить о первой половине XVIII века, когда форма и размер Земли были расплывчаты и представляли предмет споров, а ее поверхность еще не была поделена между государствами.

Луи Годен, так славно и с таким блеском начинавший научную карьеру, через много лет закончит свои дни в испанском Кадисе, ведя длительную переписку с Французской академией на предмет возвращения на родину. Половину жизни он проведет в Южной Америке, а еще до этого, спустя пять недель после отплытия из Франции, на первой же стоянке в Санто-Доминго, где решили откалибровать инструменты и дождаться переписки между французскими и испанскими дипломатами, совершит поступок, который

поставит крест на его карьере и репутации. Доступ к кошельку экспедиции в сочетании с увлечением местной куртизанкой приведет к тому, что на объект своей страсти Годен потратит почти все деньги предприятия. Апогеем станет бриллиант стоимостью в тысячу экю. Как на краю света удалось раздобыть такой камень и что с ним стало потом, история умалчивает. Как и о дальнейшей судьбе красотики по имени Гузан.

Разоренная Годеном, экспедиция в марте 1736 года прибывает в Перу. Три ее руководителя, находясь друг с другом в состоянии холодной войны, решают добираться в Кито, чтобы одолжить денег у испанских властей. Вся дорога — а это сотни километров неизвестных земель с очень сложным рельефом, — вместо того, чтобы объединиться перед лицом трудностей, они идут порознь, тремя группами. Они ожидали увидеть одноглазых каннибалов и допотопных чудовищ, а повстречались с семидесятиметровыми ущельями, гигантскими водопадами, змеями, медведями и насекомыми, переносчиками смертельных болезней.

Астроном и математик Шарль Мари де ла Кондамин был рожденным первооткрывателем. Пока отряд Буге на некотором отдалении следует за Годеном, Кондамин берет астрономические инструменты, охотничье снаряжение, гамак и в сопровождении двух проводников поднимается на каноэ по реке Эсмеральдос. В тропических лесах он встречает индейцев кечуа и перенимает их знание о каучуке⁴. Брошенный проводниками, чужак в стране чужой, он попадает прямо в лапы желтой лихорадки и восемь дней и ночей борется с тропическим мороком за свою жизнь, и единственным союзником ему остаются бананы, которыми он подкрепляется. Но вот болезнь отступает, Кондамин взбирается на гору, обтекаемый струями свежего воздуха и видит внизу город. Это был Кито, где уже несколько недель его ожидали остальные члены экспедиции, которым испанский губернатор отказал в денежной помощи.

Экспедиции предстоит пройти Перу, достичь экватора, потерять от малярии и рук разъяренных жителей несколько своих участников, страдать от холода и голода, подняться на двадцать

⁴ Благодаря этим исследованиям, были заложены основы резиновой промышленности.

пять гор, открыть целебные свойства хинина⁵, разработать идею метрической системы⁶ и удостоверить, наконец, что теория Ньютона, открытая им на кончике пера и потребовавшая столько времени, сил, страсти и человеческих жизней, верна. Земля и в самом деле не шар, но и не яйцо, а, скорее, похожа на мандарин. Но все эти события в будущем, которое для Перуанской экспедиции растянется почти на десять долгих лет, полных испытаний.

II

В то самое время, пока Кондамин борется с лихорадкой, когда над сельвой собирается дождевое затмение, Руанец терпит неудачу, самую страшную из всех возможных — его путь пресекают выскочившие из сельвы всадники. Проводники бегут, и европеец застигнут один-одинешенек посреди пампасов. Всадники соскакивают с коней и оказываются воинами царя-каннибала, правителя джунглей. Они быстры и обходятся с пленником по-хищному: толкают на землю, вяжут руки и уводят на границу земли и леса. Руанца хлещут плетью, гонят в джунгли, включают в цепь таких же несчастных пленников, как он, и шаг за шагом оставляют все дальше и дальше от той потрясающей истории страсти, самоотверженности и огромных усилий, которые достались на долю Буге, Годену и Кондамину. Руанца уводили далеко вглубь тайной страны, о которой ничего не известно европейцам.

Сельва клубится, кипит, словно муравейник под струей воды, сельва всасывает в себя любую слабую жизнь — жадно, с присвистом, как птичий вор выпивает яйца: одно за другим, без остатка. Дорога беспутная, безначальная, как небо, заставшее вереницу пеших пленников и их хозяев, конных воинов. Джунгли отовсюду щебечут, кричат, плавают неукротимый животный звук в красно-желтую лихорадочную полосу, которую дождь смывает и сводит в мутную бурную реку. Дожди, дожди по всей планете, запропастившие пространства в грязные разлившиеся реки. «Что ты здесь де-

⁵ Еще одно исследование Кондамина, открывшее для европейцев спасение от малярии.

⁶ Идея также принадлежит Кондамину.

лаешь, опоздавший, напрасный догоняльщик, безвестный, безымянный Руанец?» — таков рефрен нашей истории.

Первую ночь Руанец проводит с пятерыми несчастными — за-
травленными, исхудавшими пленниками, которые при каждой
возможности валяются к дереву. Руанец предвидит: скоро станет
таким же. Наутро он разделяет с ними сладко-горькую баланду.
Всадники мускулистые, надменные и жестокие. У них железный
котелок, испанские латы и стремена для всех семи лошадей. Кто
те европейцы, отдавшие этим дикарям свои жизни, экипировку,
а одному даже целый испанский мундир? Видать, главный у них.
Выше любого на голову, мундир ему мал: распорот привычным
пончо. Нос пробит шипами в переносице и ноздрах. Длинный
шип в нижней губе — острой козлиной бородкой. Глаза, никог-
да не читавшие книг, поставлены под самые надбровные вали-
ки, — оттого взгляд неподвижно опасный, непредсказуемый,
как у ягуара. Лицо в татуировке, выводящей оскал черепа нару-
жу. Свод головы выскоблен, оставлен только черный бархатный
полумесяц. И все же в промельке зрачков, в этом охвате с головы
до ног читается что-то знакомое. Взгляды других — пленных и
воинов — Руанец, несмотря на свой талант полиглота, перетол-
мачить не может.

Целый день конные гнали пленных через колоннаду леса, мимо
обрыва в преисподнюю, вдоль реки, оголившей слюняво-глиня-
ные десны берегов, под ошеломительным водопадом дождя. Руа-
нец падал, скользил в глине, листве, увлекая за собой ослабших
индейцев. Два раза плетка вылизала ему под лопаткой и под шеей
кровавые ссадины. На правой ноге корневище оставило бескож-
ную, сочащуюся сукровицей белизну. Руанец молился наступле-
нию ночи. Бесконечный, немолчный гул леса и воды. Влага во
вдохе, влага опивает лицо, разваливает одежду, пухнет в больной
ноге. Вспученная кора деревьев, в которой увязают люди, пенится,
словно губка. Руанец глотает разжиженную порцию несъедобных
зерен и падает в забытье. Просыпается от тишины, в которой зву-
чит испанская речь. Оказывается, говорит он сам. Вспоминает «Со-
баку на сене». Из темноты выплывает взгляд ягуара. Руанец умол-
кает. Взгляд существует несколько мгновений, обдумывая слова,

произнесенные по-испански. Потом ягуар уходит в темноту, в лес, охотиться на других дикарей, на других руанцев.

Черно-белый ливень проникает в сны, сводит с ума, снова и снова зовет к океану, в бездонные провалы которого ныряет лодка с обреченными гребцами. Над деревьями зыбятся волны. Одна другой выше. Опускается еще одна ночь. Ливень перестает. Промытая сельва под надзором грозовых небес в опадающем остатке капель бездумно повторяет произошедшее за последние сутки: дождь, дождь, дождь. Ничего не было в мире, кроме дождя. Память леса до краев наполнена дождем. Что ты здесь делаешь, опоздавший, напрасный догоняльщик?

Утром экспедиция прорвала невидимый рубеж, а за ним ветер уже гнал во всю ширь пампасов, оставляя за спиной клубящиеся над сельвой безголовокрылые облака. Идти пампасами легче. Руанец оглядывает своих спутников и начинает что-то думать. Все чаще к нему подъезжает дикарь в мундире-пончо. Взгляд его свирепо-нежен, как у голодного перед дымящимся блюдом, за которое он скоро примется. К полудню пленных гнали уже горной страной, перемахивая пологие перевалы. Еще засветло остановились у крутого подъема, оставив его на завтра. Руанца отделили от остальных пленных, показав отойти в сторону. Так легко отпускали его теперь. Но нет, среди высокой травы стоял тот в мундире.

— Вы говорите по-испански? — спросил дикарь на языке Лопе де Вега. — Вы не похожи на испанца. Но если окажется, что да, это сохранит вам жизнь. — Руанец от неожиданности пока подбирал слова. — Эти несчастные завтра отправятся на верную смерть, но у вас есть выбор.

Сменить национальность в этом краю было проще простого. Руанец не стал долго думать и тут же заговорил по-испански:

— В некотором роде, если вам угодно, я имею отношение к Испании. — Руанец был блестящим полиглотом. Испанский с девяти лет был в его активе.

— Это хорошо, — дикарь снова нежно-свирепо посмотрел на него. — Давно у меня не было подходящего собеседника.

— Но если хотите собеседника поразговорчивее, прикажите накормить его как следует. Ибо несколько суток не доводилось ему слагать слова в связную речь, и посему ему требуется хорошенько размять свои артикуляционные органы. — Руанец знал себе цену.

Главный с уважением кивнул, прокричал своим, и через минуту-другую пленник был на «ты» с дюжей порцией походного дикарского пайка.

— Теперь, — сказал Руанец, закончив трапезу, — я полностью в вашем распоряжении. И, кстати, куда мы идем?

Дикарь улыбнулся. Совсем по-европейски. Только зверские шипы в носу могли смутить кого угодно.

— Расскажите о себе, — сказал он, располагаясь на траве по-богдыхански. — Откуда пришли, чего искали?

В его глазах был тот же подозрительный блеск, который Руанец отнес на счет нетерпения дикаря как можно быстрее усладить себя живой испанской речью. Руанец вкратце обрисовал свои научные интересы, опустив преамбулу, связанную с Буге-Годеном-Кондамином, и сосредоточившись на лингвистическом своеобразии языка пираха.

— Хех, — разочарованно сказал дикарь, расстегивая пончо-мундир, под которым обнажились первозданная красота индейского тела и папоротниковые этажи татуировок. — Вам одновременно и повезло, и нет.

— Почему же? — нетерпеливо спросил Руанец.

— По матери половина моей крови от индейцев пираха. Мой отец был испанский моряк, от него я унаследовал двенадцать первых лет жизни под надзором преподобного отца Арабеля в Кито и, следовательно, знание испанского. Мать я почти не помню. Язык ее племени мне неизвестен. В последний раз, когда аббат Арабель отправил меня в составе очередной миссии эвангелизировать пираха, это закончилось пленными...

— Неужели пираха кровожадны?

— Нет, пираха и опоссума не обидит. В плен меня взяли солдаты народа кечуа. Я переменил воспитание, язык и вырос в отличного воина. Последняя гражданская война сделала меня генералом. Могу сказать, что пираха никогда не спят. Странное племя, счастливые, но жуткие люди, потому что непонятные.

— Так вы генерал? — воскликнул европеец.

— Увы, — с гордостью ответил индеец.

Похоже, генерал терял к Руанцу интерес. Он не жаждал новостей из огромного нового мира, откуда приплыла эта говорящая рыба, выловленная в мутной воде случая. Эти новости отдавали бы

душком знакомого ему тления, которое так не хотелось замечать в окружавшей жизни. Он жаждал нечто другое.

— Ладно, — сказал генерал, поднимаясь. — Пока закончим разговор. Но у нас будет много времени. Вы расскажете гораздо больше, чем хотели бы. От длины вашего языка теперь зависит ваша жизнь.

— Как изволите вас понимать? — требовательно спросил Руанец. Все-таки испанский не был ему родным, поэтому, волнуясь, он выражался слишком литературно.

Испанский генерала звучал более естественно.

— Позже объясню.

Наутро пленные в сопровождении пятерых воинов без лошадей ушли к перевалу. Еще двое остались с генералом.

— Справитесь с лошадейю? — спросил он Руанца, увидев, как тот беспомощно виснет на удилах.

— Еще бы не справиться, — Руанец напряженно улыбнулся. — Это ж лошадь, а не судьба, чего с ней справляться-то?

Тоска пленных, уходивших к перевалу, передалась и ему. Худые спины с выпиравшими лопатками пропали в тени гор. Хотя Руанцу сподручнее было управляться с книгами, а не с седлом и поводьями, теперь его будущее, в котором он пусть и неопределенное время, но жив, связано с этим генералом в распоротом мундире, а не с теми обреченными спинами. И ради этого стоило постараться.

В сопровождении двух воинов и четырех лошадей без седоков Руанец и перуанец ехали теперь бок о бок.

— Чтобы сделать ваш язык чуть длиннее, а может, и гораздо длиннее, — говорит генерал, — поступлю, как некоторые наши лесные народцы. Они надрезают кору одного дерева и собирают его сок. Застыв, сок образует пасту, которую можно тянуть почти бесконечно. Так и я сначала сделаю надрез, образно говоря, на вашем воображении, а потом буду собирать сок вытекающих из него побасенок, и в ваших силах растянуть их на много-много дней.

— Прелюбопытно, неужели действительно получается такая паста? Совершенно невероятно! — произнес Руанец, лихорадочно соображая, где в словах генерала граница между угрозой и преувеличением. И, переводя все в шутку, продолжил со светской неприужденностью: — И что же это будет за надрез?

— Я скажу вам правду, которая жестче вымысла.

И он рассказал про времена, когда исчезали целые царства, словно пыль, вытряхнутая из мешка на ветер. Генералы были тогда настоящие, участвовали в кровопролитии, отстаивали границы и независимость, а штабных генералов еще не было. Шла индейская гражданская война, каждый был виден, как на ладони, в пампасах ты или в джунглях. Нынешний царь был тогда первый среди равных в генеральском террариуме. Когда революция пожрала своих полевых и партизанских командиров и остались только три генерала, первый стал царем, второй — главным министром, а третий, полукровка, сын индианки и испанского моряка, — начальником охраны внешних рубежей. Хотя в действительности ездит он по царству и собирает всякий сброд, чтобы доставить царю-людоеду.

— Кому-кому? — от неожиданности подпрыгнул в седле Руанец.

Царь войны, как раньше звали его, стал царем-обжорой. А дело было так. Случилось ему как-то между боями выйти к океану. Отряд, измотанный переходами, нуждался в отдыхе перед решающей битвой. На севере стоял успешный и харизматичный генерал, главный противник будущего царя. Народ того генерала любил — он никогда не набивал карманы провиантом за счет бедняков. Когда же царь войны вышел к приморской деревушке, то приказал солдатам кормиться за счет рыбацкого сословия. Солдаты сочувствовали рыбакам, сами были из таких бедных семей, оставшихся в глубине материка, и грабить не шли. Тогда царь войны ворвался в лачугу старого рыбака, который со всей семьей сидел за ужином, и вынес из его дома весь улов. А на укор старика: «Что же ты делаешь?» — отобрал миску с едой и тут же ее выхлебал. «Чтоб тебе жрать не пережрать!» — закричал рыбак проклятие в спину мародера. С тех пор, говорят, как только пришел царь к власти, напал на него неумный голод. Денно и ночью ел и ел — пожирал дворцовые запасы и запасы подданных, а затем уж каннибалил и самих подданных. Обратился в стобрюхое чудовище, а свою великую жратву сделал государевой догмой, по которой сила сожранных переходит к царю и вкладывается в процветание страны.

— Теперь понимаете, куда повели пленных? — генерал кивнул в сторону перевала.

— И вы что, во все это верите? — Руанец никак иначе мысленно теперь не мог называть индейца, кроме как «генерал Каннибал». — В людоедскую политику?

Генерал уже давно избегал смотреть на окружавшую его реальность, предпочитая верить в сказочную государственную деятельность. А загадочный генеральский взгляд прояснялся теперь примерно так же, как взгляд хозяина скотного двора, который улыбается будущему обеду. А уж если знать, что со съеденным к тебе переходит его сила, то удержаться от такой политики невозможно совсем.

— А почему бы нет, — с гордостью ответил генерал Каннибал.

— Так что же, может, и вы людей едите?

— А кто не ест? Все, кто при власти, все должны вкусить легкой человеческой добычи. Молодой крокодил, пробовавший человека, не станет искать трудной жертвы.

Руанец покосился на собеседника, который в любой момент может откромсать у него, скажем, руку с такой же легкостью и игривостью, с какой парижская барышня отделяет от торта кусочек к чаю.

— Можно подумать, ваши военные лучше. Такие же, небось, упыри, — сказал генерал, зевая.

Так они ехали в пампе, пока тучная чернота дороги не стала ночным небом. Постоялый двор, куда генерал прибыл со своей новой забавой в виде иноземца, оказался вроде маленькой деревушки. Руанец был далеко не первым, кто с удивлением узнал об этой потаенной от европейцев стране, но ведь никто из нее не вернулся, посему будем считать его первооткрывателем. А была эта страна обширна, славна древней государственностью, обычаями, праздниками, законами, войнами, в которых станет разбираться будущий европейский историк, и длинной чередой царей. Дороги в империи вели через горы и через пампасы, вились через непроходимые джунгли. Можно сказать, что сообщение между частями царства было налажено совершенно блестяще, настолько, что впоследствии без затруднений привело внутрь страны и европейских завоевателей. Помимо котелка, мундира и лошадей, упомянутых ранее, доходили в глубь царства и другие европейские веянья⁷. На постоялом дворе громоздилась настоящая телега, с колесами и оглоблями. Выпряженные лошади паслись с альпаками и ламами.

⁷ Индейцы Южной Америки не использовали колесо, т.к. в этой части света не существовало тягловых и верховых животных, которых можно было бы впрячь в колесную повозку. По дорогам, выложенным камнем, передвигались пешком или везли груз на альпаках и ламах, способных переносить не более 30-50 кг.

В деревянной клетке на телеге томилось несколько пленных. Руанец догадался, какая участь ожидала их. «О, что ты здесь делаешь, опоздавший, напрасный догоняльщик?» — так мог бы вздохнуть о своей судьбе Руанец.

III

— Пора вам начать свои рассказы, — сказал генерал, располагаясь на ночлег в хижине. Иноземцу постелили на полу напротив. — И помните, чем странней и извилистей будет ваш язык, тем яснее и понятнее ваше будущее.

— Что ж вы хотите услышать? — озадаченно спросил Руанец.

Уже давно совсем не реальность интересовала генерала, которая, по его мнению, во всех человеческих племенах и временах сводилась к одному и тому же.

— Начните про самое необычное, а там посмотрим... — отвечал он с грустью.

Руанец был, конечно, знаком со сказками «Тысячи и одной ночи», которые недавно перевел и опубликовал его соотечественник Антуан Галлан⁸ и которые начинали свой победоносный путь по Европе. Грех было не воспользоваться тем же способом повествования.

— Ну что ж, — сказал рассказчик-на-ночь, — поведаю вам, генерал, диковинную новость, которая застала меня перед самым отплытием. Складывая вещи в сундук, который вы-с у меня изволили изъять, услышал я чудную историю от путешественника, недавно вернувшегося из Китая. Страна эта, Китай, лежит на самом горизонте, жителей в ней ровно столько, сколько мы видели песка на дороге, а площадь ее прямо пропорциональна поверхности гор, из которых эта страна и состоит. Живут в Китае и землемеры, и строители, и хлебопашцы, и воины, и бюрократы, и даже есть один император. Но больше всего в этой стране заняты одним ремеслом. Говорят, нет такой вещи, привезенной издалека, которой китаец не позавидовал бы. Всякая чужая вещь, любая чушь кажется ему и изящнее, и интереснее, и, красуясь в чужих руках, доставляет ревность владения столь невыносимую, что порождает в народе

⁸ Первое в Европе издание сказок «Тысячи и одной ночи» состоялось в 1704–1711 гг.

изумительное искусство подделывания до мельчайшей подробности — мастерство столь изрядное, что уже не существует границы между подделкой и оригиналом. Предметы родной старины — и те превосходно скопированы. Говорят, нищета и жадность правят в Китае. Но, сдаётся мне, в основе всего китайского — любовь и главная христианская заповедь «Возлюби ближнего своего», понятая в самом широком смысле. Китаец любит и вещь, и человека, горя к ним первейшей христианской доблестью. Поэтому Китай так обилён предметами и людьми, во всякое время воспроизводящимися прямо пропорционально своему числу.

Первая история была окончена. Генерал в углу задумался.

— Побасенка так себе, — сказал он сурово, чтобы нельзя было догадаться, что рассказом он доволен. — Пока сгодится, но в следующий раз придумайте что-нибудь подиковиннее. — И добавил: — Кажется, один ваш монах, которого мне довелось встретить, был миссионером в этом вашем Китае. Звали его, помнится, аббат Домино. Любознательный был старик.

— И где он теперь? — встрепенулся Руанец.

— Скорее всего, кто-нибудь сожрал... Но не печальтесь. Нам в забаву он оставил одну полезную вещь — горсть камней. Покажу завтра. Думаю, забава эта — тоже китайская: настолько же вычурна, как и то, что вы мне сейчас рассказали.

На следующий день, только выехали, дорога оказалась запруженной толпами жителей ближайших деревень. Молчаливые колонны шли под уханье гулких барабанов. Конвой генерала Каннибала, сопровождавший вчерашнюю телегу с новыми пленниками, съехал на обочину. Генерал рассказал, что в этом ежегодном шествии главными считались не участники, а черепа предков-победителей, которые несли на шестах. Праздновалась старинная пиррова победа над соседним государством. Стоя на телеге, Руанец видел целое море костяных голов, пльвших к главному святилищу. Было это торжественное и жуткое зрелище. Барабаны ухали все дальше и дальше, пока наконец на последнем ударе мелькнул последний череп и шествие утихло в джунглях. Телега, качаясь, покатила дальше.

Руанец, впечатленный, молчал, а генерал произнес:

— Больше всего это напоминает великое муравьиное шествие: когда потоки красных ядовитых насекомых пересекают джунгли,

неся мусорный скарб старого муравейника, никто не осмелится перейти ему дорогу.

Только через час он снова заговорил:

— Вы вчера вспомнили про свой сундук, где много разных вещей. Расскажите-ка о них.

— О, это главных образом книги. Знаете — книги?

— Помнится, под руководством отца Арабеля читали мы мальчиками Священное Писание, но я как-то все больше склонялся к «Собаке на сене» и другим веселым пьесам.

— Я вез научные труды — все на латыни, в том числе трактат о пищеварении... — Руанец осекся, искоса глядя на генерала.

— Ну-ну, продолжайте...

— Боюсь, содержание книг слишком специальное, а испанский язык пока не настолько развит, как тысячелетняя латынь, чтобы я смог объяснить вам всю их глубину... — сказал Руанец уклончиво. И осторожно продолжил: — А вы вчера обмолвились про некоторую китайскую забаву, оставленную аббатом Домино...

— Ах, да. Пожалуй, расскажу об этом...

Генерал крикнул всадникам: один ехал впереди телеги, второй — позади. Остановились они, следом — телега. Генерал спешился и, забираясь на повозку, махнул Руанцу. Тот, замешкавшись в стремени, слез с лошади, присоединился к генералу. Снова поехали.

Из мешочка генерал высыпал несколько камешков.

— Как вы вчера сказали, китайцы мудреный народ. То они любят подделывать, то размножаться, но игры сочинять тоже умеют. Посмотрите, не знакомы вам случайно эти костяшки?

Руанец взял их в горсть — аккуратно выточенные из светлого камня плоские прямоугольники, разделенным канавкой пополам. В каждой половине либо пустое поле, либо от одного до шести черных пятнышек.

— Нет. Если это какая-то игра, ничего о ней не знаю⁹, — ответил Руанец.

— Жаль. Правила этой игры мне неизвестны. Я долго бился, чтобы разгадать их, и пришел к тому, что они могут быть только такими, как я расскажу, и никак иначе. Рассудите сами, прав ли я. Вначале кам-

⁹ Конечно, генерал стал обладателем набора игры в домино. В Европу из Китая она попала через Италию в XVIII веке, но еще не была известна Руанцу, т.к. первое время бытовала только в среде католических монахов.

ни переворачивают пятнышками вниз и тасуют, потом делят между игроками. Видите, совершенно чистая костяшка. Это — «великая пустота». Кому выпадет, считается в игре «творцом», остальные — его противники, «разрушители». Игра символически повторяет путь Вселенной от пустоты до предельной плотности. Вот она, «абсолютная плотность». — Индеец показал костяшку с шестерками на обеих полях. — Задача «творца» в том, чтобы выстроить фигуру всего сущего, замкнув с пустоты на пустоту, а игру ему следует закончить не раньше, чем выйдут камни. «Разрушитель» всячески мешает. Если «творец» ведет одну линию, то «разрушитель» размывает ее во все стороны. Костяшек двадцать восемь, остальные утеряны, их должно быть много-много больше, не меньше ста, ведь каждая символизирует какой-нибудь всемирный закон. Уж если у нашего царя с дюжину законнических книг, то у Вселенной на это должна быть целая библиотека. Всякий раз, начиная играть, сомневаюсь, таковы ли правила на самом деле, поэтому снова и снова что-нибудь допридумываю. И тогда мне становится горько при мысли, что правила мироздания ничуть не лучше, чему у какой-нибудь китайской игры.

— Получается, это борьба хаоса и порядка? И никто в ней не победитель?

— Никто. Ведь и «разрушитель», выигрывая, тоже перестает существовать.

Целый день они играли в домино, сообразно заковыристым генеральским правилам, и каждый многократно бывал то «разрушителем», то «творцом», но последний ход всегда оставался за «разрушителем», уничтожавшим игру. На сто первой партии костяшки ушли в тень, телега въехала на постоянный двор, и была уже глубокая ночь. Так что сразу легли спать, и Руанцу не пришлось ничего на сей раз придумывать.

IV

В полдень следующего дня конвой с телегой остановились. Впереди поднималась седловина крутого перевала, которую генерал, всякий раз проезжая, старался преодолеть без ночлега. Он и сегодня подгонял экспедицию, с утра приказал отправиться до солнца и

встретил бы сумерки на другой стороне, не прегради дорогу кочевые муравьи. Как вчера сказал генерал, в джунглях нет силы, способной противостоять такому войску. Руанец и пленные вздохнули с облегчением. Они уже привыкли жить одним днем, подобно пираха, ежеминутной подлинностью жизни, когда прошлого нет, а до будущего можно ехать и так и не доехать. Руанцу позволялась некоторая степень свободы находиться подле, а не внутри клетки, и он принялся медитативно рассматривать окружающий пестрый мир.

— Знаете, что? — сказал генерал, бодро вышагивая с разведки: он ходил посмотреть, насколько растянулся муравьиный поток. Никогда еще он не видел столь плотной багряной волны, словно в верховьях гор пировали все кровожадные боги. — У меня тоже была армия настоящих головорезов. Таких же, как эти муравьи, беспощадных и преданных. Заканчивая войны, никогда не думают, куда их деть. Остается кормить задарма или отправлять на новую бойню. Но кроме нашего царя никто не додумался сожрать собственное войско.

— Как вы сказали? — рассеянно спросил Руанец.

— Я генерал съеденной армии, вот как я сказал. Долго царь-обжора уничтожал моих солдат и собственный народ. Но теперь взялся за народы вокруг. Стали ездить по стране, собирать врагов на съедение. Выучились объявлять врагами бывших соратников. Иноземцы — те сразу объявляются врагами, которых съесть надо в первую очередь. Иногда собственные граждане объявляются псевдоиноземцами, чтобы было кого жрать в промежутках между врагами и иноземцами.

— Да вы вольнодумец, — сказал Руанец на эту речь, полную горечи и тоски об утраченных полномочиях.

— Вольнодумствовать вы можете только на втором языке. Все, кто хочет внутренней свободы, должен уметь говорить между слов, а лучше на языке, неизвестном людоеду.

— Послушайте, генерал, — сказал Руанец, привставая на локте, и мысленно добавил: «Каннибал», — вот вы производите впечатление человека совершенно нормального, даже культурного, что невероятно в этих краях. Скажите, каково это, съесть человека?

Генерал долго молчал, потом ответил:

— Надеюсь, не спросите об этом. Думаете, я не устал от окружающей каннибальской действительности? Когда я ребенком попал в плен, меня оставили в живых, потому что я отчаянно дрался

за жизнь. Решили, пусть лучше этот станет большим воином, чем маленькой закуской. А когда закончилась гражданская, трижды об этом пожалел. Потому что пожирать пришлось своих.

Одна волна, словно лава, наслаивалась на другую. Генерал махнул рукой и велел разбить лагерь. Муравьи, подобно дождю, могли идти так еще несколько дней.

Руанец и генерал снова засели за «вселенскую игру». Солдаты приготовили темно-бурый, кровавой густоты напиток, поднесли игрокам.

— Что это? — спросил европеец.

— Напиток богов, — сказал генерал, причмокивая с искаженным лицом. — Его пьют только шаманы, аристократы и жертвенные люди.

— О, я как раз вхожу в последнюю касту, — сострил Руанец и тоже отпил кровавую брагу.

— Называется «чоколатль».

— Та еще гадость!

— Вот и на мой взгляд, чего-то не хватает...

То, что у европейцев стало шоколадом, инки смешивали с тайными травами, поэтому, когда наступило время рассказа на ночь, Руанец выдумал самую странную свою небыль.

— Много лет назад, — так начал он, — гремел по всей Европе психиатрический театр доктора Моро. Говорили, доктор с легкостью развязывал хитросплетения и узлы нервных недугов. Специализировался он на отвергнутых обществом, тех несчастных, кого называли «бесноватые». Моро не считал их больными или неполноценными, наоборот, такие люди, по его мнению, являются сосудами, в которых, подобно джиннам в лампе, заточены силы недюжинные, далеко превосходящие обычную человеческую натуру. И этой силы человека надобно лишить, ибо ему не по нутру выносить ее сверхъестественную мощь. Свое заведение Моро называл театром, поскольку сеанс терапии устраивался как представление. Он считал, что нет более действенного лечения, чем развлечение. «Лечение развлечением» уподоблялось спектаклю-размышлению, пьесе, повествуемой от сего момента к прошлому. Устраивался спектакль так. Пациент сидит в темной комнате с закрытыми зеркалами. Открывается первое зеркало, и Моро беседует с паци-

ентом, отыскивая в его прошлом причину недуга. Когда причина найдена, Моро велит отражению пациента выйти из зеркала вон. Отражение повинует, исчезая с глаз долой. То же со вторым и третьим зеркалом. Так происходит, пока отражение, невзирая на все приказы и угрозы, остается на месте, значит, является подлинным, а все предыдущие — фантомные и соответствуют болезненным сторонам личности. И в этот момент, по словам Моро, наступает излечение. Иногда сценарий нарушался. Отражение вдруг начинало препираться, спорить, а пациент, подбадриваемый доктором, должен был победить спорщика. Конечно, фантом быстро сдавался и с позором исчезал. Так пациент в театре доктора Моро оказывался и зрителем, пред которым лицедействовало его отражение, и актером — ведь зеркальный персонаж был некоторой внутренней сущностью, частью свободной воли самого пациента. Но поговаривали, что Моро — обыкновенный шарлатан, а в пустых рамках представляются гримированные паяцы местного дешевого шапито. Об этом якобы сообщал случай, когда во время «спектакля» не хватило зеркал и тогда принесли два дополнительных, а в одном отражения уже не было. Моро написал трактат про «расщепление личности», согласно которому, во время «сеанса психотерапии» фантомы, вынутые из сознания, спиритуально отправлялись в будущее. Врачебная практика баснословно обогатила Моро, ведь со всей страны к нему свозили сумасшедших отпрысков самых состоятельных семейств, у которых с незапамятных времен в ходу близкородственные браки. У таких разорившихся сумасшедших маркизов Моро выкупил замок и открыл в нем лечебницу с зеркальными комнатами. Зеркала крепились в подвижной конструкции вроде множественного трельяжа и, разъезжаясь в стороны, уносили фантомы в небытие. Так победа медицины превратилась в нечто вроде заводной шкатулки, а состояние Моро, основанное на мастерской по производству таких шкатулок, выросло невероятно. В тайной ведомости доктор вел учет каждой фантомной личности, отъехавшей в будущее. Ставил точную дату и место ее грядущего воплощения. На лекциях он провозглашал, что когда-нибудь, в двадцатых и тридцатых веках эти изгнанные фантомы станут принадлежать великим людям, которые поспешили прийти не в свой срок. Но что-то в подсчетах пошло не так. Вкралась жуткая ошибка. И ранним осенним утром будущее, как обычно,

наступило преждевременно и встретило доктора Моро несколькими сотнями людей в плащах цвета амальгамы, которые пришли к нему домой и, изрезав гобелены и разбив зеркала, вошли в его сознание...

За ночь муравьиное море разбрелось по долине. Генерал со своей каннибальской экспедицией оказался заперт на крошечном возвышенном островке с деревцем и кустами в расселинах. Человек волевой, стремящийся к преодолению трудностей, он хотел было погрузиться в это ядовитое море и перейти его. Но были солдаты, пленники, был царь-обжора, на кухню которого надо везти сегодняшней улов. Было прекрасное далекое будущее, долгие годы откладываемое на потом. Он приказал вывести пленных из клетки, поколдовал с порошками, опять намешал шоколатля.

— Ваша вчерашняя история про Моро — очень тяжелая, — сказал генерал, передавая Руанцу чашку. — А у нас тут такое, как видите, творится. Расскажите что-нибудь совершенно прекрасное и невозможное.

— Вы предлагаете опиваться вашей отравой и рассказывать байки, пока все это не закончится?

В Руанца уперся взгляд ягуара.

— Как знаете. Можете перейти это море вброд. Вы свободны.

— Нет уж... пусть лучше будет напиток богов.

Взгляд потеплел, в нем мелькнуло все то же отношение сверху вниз — улыбка людоеда своему будущему блюду.

— Ладно, вот вам новая небыль... — Руанец, морщась, делает несколько глотков и рассказывает: — Говорят, греческие боги, когда им перестали приносить жертвы, спустились с гор и затерялись среди людей. Спрятались в тени молчаливого большинства. Обзавелись семьями. Нашли занятие по способностям. Иной раз встретишь в Париже или в родном Руане уменьшенную копию какого-нибудь Гермеса за овощным прилавком. Или мясника с фигурой Геркулеса. И скажешь себе: вот они, потомки греческих богов, — такие же теперь, как мы. Да только не совсем. Потомки Диониса пьют, не напиваясь впьянь, а в левую мочку у них вырастает виноградная косточка. Говорят, они самые счастливые на земле люди, эти дети Диониса. Пьяные счастьем. Живут тем, что имеют днесь. Совсем как пираха. Открываются только возлюбленным. Встре-

тишь иную Жозефину, прапраправнучку Диониса, женишься, а через год случайно припадешь губами к мочке играючи и нащупаешь мелкое окостеневшее сердечко. Знак Диониса.

— Ха-ха-ха! — вальяжно рассмеялся генерал Каннибал, поднимая чашу. — Выпьем же за Жозефин, этих разбредшихся по миру правнучек Диониса с косточкой в мочке. Чтобы сердце у них было не деревянное, а самое натуральное!

— И съедобное... — съязвил Руанец.

— Пейте-пейте, если не хотите, чтобы я поделился тонкостями каннибальской кухни.

— Пожалуй, пропущу ваш тост мимо ушей и скажу свой.

— Ну-ка! — Генерал от любопытства даже привстал.

— Пусть, когда мир придет к своему концу, когда исчезнут города и цивилизации, пожалуй, справедливее всего будет оставить одних только пчел. Эти удивительные создания созидают из прекрасного полезное. Пусть в конце времен живут под солнцем только цветы да пчелы, сбивающие мохнатыми лапками солнечное тепло и рассыпчатый нектар в драгоценный мед. И не будет в этом мире ни кровавых богов, ни жертв, ни людоедов.

— Ладно, — сказал генерал мрачно. — Где там камешки? Если выиграете вы... допустим, не выиграете, а обойдете всего на несколько ходов, отпущу вас. Отправляйтесь к пираха и больше не попадайтесь.

— А остальные?

— Что — остальные? Может, они на самом деле враги государя! Вредители и шпионы!

Генерал опрокинул в себя напиток, ушел на другой конец островка. Долго сидел там на камне, закрыв глаза. Тошнотворное муравьиное кишение продолжалось и в чернильной густоте, в капиллярном, узорном мареве. А в детстве, бывало только закроешь глаза, сразу вспыхнут живописные миры, из порханий и веяний сплетутся ажурные бабочки, ярко запахнут цветы, мимолетным жужжанием всверлят искры изумрудного майского жука. Теперь ничего не было. Черное марево. Вывернутая наизнанку тьма. Тьма, тьма пожрала мозг... Кишение муравьиных мыслей тянется бесконечно, словно плантации страха, до горизонта, до самого государева трона. Идешь мимо кровавых плантаций, мимо кровавых работников их, шепчешь государеву молитву: «О, царь, повсюду исходил я твои миры, и

повсюду знал только рабов твоих, и повсюду встречал все царствия и подцарствия твоя, все царствия и подцарствия твоя...» Кромешное это муравьиное море... все царствия и подцарствия твоя... и бесконечные плантации... все царствия... и кровавые работники их... и подцарствия... и государева молитва... твоя...

О, что ты здесь делаешь, опоздавший, напрасный догоняльщик, рассматривающий своих незамысловатых спутников, выпущенных из клетки? Почти голых, прикрытых только татуировками и набедренной повязкой, новых пятерых, почти не отличимых от прежних. Все так же копошилось муравьиное море, по его поверхности проплывала ветка с живыми листьями или пустая шкурка съеденного животного.

Пришел генерал.

— Ладно, — сказал он. — Дай-ка и я расскажу тебе какую-нибудь небыль. — Казалось, его смуглая кожа посветлела, а взгляд стал ясным, умиротворенным. — Раз в год, — продолжил он, — в конопаченной бочке спускается наш правитель на океанское дно, чтобы совещаться с божествами. Случается это возле таких мест, где со дна пробивается дым и тлеет огонь. Суеверный наш народ любит такое, чтобы царь безбоязненно шел на дно к своим вулканическим богам. А после совещания ходит просветленный по берегу океана, ныряет в набежавшую волну и вытаскивает обломки древних бюстов. Говорят, какой бюст ни достанет, все в них себя узнает... Вот такая маленькая быль.

Всю ночь по периметру островка горели костры, а Руанец и перуанец продолжали свою «вселенскую игру». Обоим было интересно, может ли «творец» построить свой чертог хоть раз на тысячу партий. Они спорили, перебирали комбинации, возвращались на много ходов назад. Это была уже не борьба хаоса и порядка, творца и разрушителя, а было сотрудничество, неумелое, слепое сплетение двух тревожных, ищущих волю.

— Генерал, а не хотите изменить правила игры? — спросил Руанец. — Как ни крути, при теперешних никакого прогресса нет. Это тупик.

— Думаете? — Под черным полумесяцем появились складки морщин.

— Вы так долго прятались от реальности, что перестали ее видеть. Совершенно очевидно, правила надо менять. Я подозреваю, исконные гораздо проще, чем ваши.

— Какие, например?..

— Например, костяшки с пустыми полями не имеют никакого отношения к абсолютной пустоте, а костяшки с шестью точками — обычные костяшки, а не какая-то там «вселенская плотность». Надо называть вещи своими именами.

— Может, вы и правы...

— Давайте так и сделаем. Будем называть вещи своими именами. Пленные — это пленные, которых везут на убой, а не священная жертва императора. Расскажите о них.

Генерал тяжело вздохнул.

— Невыносима... невыносима эта тоска... Не отвертеться от пахоты на плантациях страха... — Опустив голову, генерал сложил руки на груди. — Мы ищем тайноборческие племена. Теперь они все больше составляют политический рацион нашего царя. Они последние, кто не практикует людоедство. А сверху на это смотрят так, что раз не практикуете, значит, осуждаете. А раз осуждаете... Из тайноборцев был шаман, который шел к царю, а пришел к нам в руки. Говорил, что пророк, что несет царю послание от судьбы.

— Что же вы его не отпустили, не дали свершиться судьбе? Вдруг бы?..

— Пророки не бывают толстыми, а тот был толстый. А толстых у нас едят.

— Но придут другие шаманы.

— Ох, скорей бы... А хорошие у тебя небыли, — сказал вдруг генерал с тоской, — пусть и непонятные мне, дикому человеку. Привязался я к тебе. Как только схлынет кровавое море, отпущу к пираха. Иди себе, изучай их язык. А потом расскажи о нем всему миру.

— А вы бросайте вашего царя. Видно же, нет от него никому счастья. Наоборот, жрет он и жрет, пока не пожрет всех.

— А вот и уйду! — рассмеялся генерал. — Брошу все и уйду! Но напоследок покажу деревеньку, ее жители выращивают говорящие головы.

— Быть такого не может! — воскликнул Руанец.

— Увидите сами. Копченые головы, снятые с врагов, в племени хиварос¹⁰ сушат, дубят и полощут в шоколаде. Повесят такую

¹⁰ Еще и в наши дни, как пишут энциклопедии, хиварос изготавливают такие головы. Однако, неизвестно, могут ли они говорить.

говорящую кубышку на стену, обильно поплюют на нее, поматерят — она оживет да как начнет вещать обо всех новостях империи. Торгуют ими на колдовских рынках. А срок жизни, пока не протухнет и не станет заговариваться, — неделя. Каждую субботу нужна новая. Зато их истории об императоре и подданных не хуже ваших небyleй.

V

К следующему вечеру море поредело и, схлынув через сутки, оставило обглоданную безжизненную долину и арьергардные ручейки муравьиных отрядов.

Телега снова покатила. Генерал, самоуверенный и надменный, был мрачен и молчал. Экспедицию он повел не к перевалу, а вдоль высокой отвесной скалы. Телега едва помещалась на узкой дороге.

— Эй, генерал, — крикнул Руанец, сидевший возле клетки. — Хочу рассказать вам последнюю историю, прежде чем задать один вопрос, который, может быть, снимет с меня необходимость рассказывать новые небyleи.

Генерал молчал и сторонился собеседника, с которым еще недавно был накоротке. Но любопытство победило, через час он залез в телегу и стал готовить костяшки к новой партии. В этот раз роль «творца» выпала Руанцу. Его ходы выстраивались легко, обходя все ухищрения генерала.

— Бывает так, куда-нибудь идешь, — сказал Руанец, — несешь новую важную мысль, обдумываешь, решаясь жить этой мыслью, потом спотыкаешься, теряешь ее. Решимости нет как нет. И целый день мучаешься: была такая радостная, новая мысль. Про что? Про новую жизнь? Про решимость? Или не было никакой мысли, никакой решимости?

Созидательная линия Руанца побеждала генеральскую разрушительную. Сам генерал удивленно смотрел на это.

— А говорят, есть одно средство, — продолжал Руанец. — Если забыл мысль, надо вернуться к ее истоку. Хорошо, что есть такая подсказка: чтобы вспомнить, надо вернуться к началу всей истории.

— Какой истории?

Оба, затаив дыхание, смотрели, как Руанца ведет созидание. Генерал ничего не мог поделать: так здорово его соперник навострился складывать камешки, что уже был виден и светлый созидательный финал: линия костяшек должна была замкнуться.

— Какой истории? — победоносно повторил Руанец. — А с царским обжорством.

— Думаете?

— Уверен. Но для этого вы должны ответить на один вопрос.

— На какой?

В этот момент телега напоролась на крупный камень, костяшки подскочили и смешались в кучу.

— Что-то здесь не так... — разочарованно сказал генерал. Он уже рад был впервые проиграть, лишь бы посмотреть, как выглядит воплощение вселенской гармонии. — Либо неверны законы мира, либо нашей игры... Будем считать, что вы выиграли... Поздравляю... Задавайте свой вопрос.

Руанец посмотрел в лицо генерала. В его лютый, людоедский взгляд под выбритым черепом с черным полумесяцем.

— А что стало с тем рыбаком, проклявшим царя? Может, надо идти к нему, чтобы снять проклятие? Вы же верите в кровавую магию с жертвами и поеданиями. Почему бы не поверить в такой финал?

На следующем перекрестке, когда дорога снова показала на перевал, телега остановилась. Пленников выпустили на свободу, сказав идти на все четыре стороны. Недоумевающим всадникам велено было то же самое. Телегу с клеткой бросили в ущелье, где она тут же разбилась, а Руанец и перуанец, оседлав лошадей, бок о бок, посреди джунглей, беседуя, направились в далекую приморскую провинцию.

№ 2, 2022 г.

Валерий Бочков

БАБЬЕ ЛЕТО

Хроника

ПРОЛОГ

Утром 29-го августа, во вторник, Олег Лутц проснулся женщиной. Он потянулся за телефоном, чтобы посмотреть, который час. Рука показалась ему слишком смуглой, что-то не так было с пальцами. И особенно с ногтями. Экран мобильного высветил время: 6:06.

1.

Лутц еще не выбрался из полудремы, сознание еще путалось в обрывках сновидения, но смутные детали таяли и ускользали — низкое серое небо, колючее пальто на голое тело, некто грубый и требовательный, от которого Лутц пытался отвязаться, — все быстро исчезало, оставляя лишь послевкусие чего-то стыдного и неуютного.

6:08.

Рука, сжимавшая телефон, была определенно чужой. Слишком тонкие пальцы, слишком длинные ногти. Кисть руки будто съежилась, она уменьшилась чуть ли не вдвое.

— Что за... — Лутц вытащил из-под простыни другую руку.

Опасливо покосился. Левая рука выглядела так же, как и правая, — слишком маленькая и совершенно чужая. Предчувствие чего-то жуткого и непоправимого, как тогда, на Кипре, незаметно вползло в него: тогда ему позвонили и сообщили про мать, а они с Катькой зафрахтовали катамаран — белый и нарядный, с острым треугольным парусом цвета невозможного ультрамарина, — зафрахтовали на весь день, включая закат. Собственно, закат и был целью. Капитан-грек, черный как жук, не скрываясь пялился на Катьку, а та томно выстав-

ляла себя напоказ — лениво безразличная в зеркальных очках и пестрых лоскутиках кукольного купальника. После полудня и второй бутылки шампанского лоскутики были сняты, солнце встало в зенит, выбелив небо и превратив море в неподвижную стальную пустыню. Капитан протянул Лутцу рацию, от трубки воняло одеколоном, и Лутц старался не прижимать мембрану к уху.

Молча дослушал — на том конце нажали отбой, — вернул рацию греку.

Море посерело, стало пыльным. Солнце превратилось в белую раскаленную дыру. Не ответив на вопрос Катьки и почти не касаясь пятками палубы, Лутц прокрался на корму и там затаился. Ему казалось, что так можно будет что-то исправить. Главное — не подавать виду.

В 6:10 Лутц собрался с духом и включил камеру. На экране мобильного появился серый угол потолка и кусок обоев. Когда он развернул объектив, на него смотрело чужое лицо.

Главное — не подавать виду. Бережно опустив мобильник экраном вниз на простыню, Лутц осторожно выбрался из кровати. Ему почему-то казалось, что тщательная выверенность движений, а главное, неторопливость, могут исправить происходящее. Главное — не паниковать. Никаких истерик, никаких криков. Главное — не подавать виду.

Как только ты бросился в бегство, ты превратился в жертву. Именно в этот миг. От тебя уже воняет страхом, каждый хищник на расстоянии полета стрелы чует твой запах и пускает слюну: дичь! Но не хищники превратили тебя в дичь — ты сам решил стать жертвой.

У отца были сухие ладони, ладные и крепкие, как дубовые доски, на которых мясники разделяют мясо. Отец ни разу не ударил его кулаком. Лутц никогда не кричал, знал, что кричать нельзя. Потом отец поднимал его с пола, доставал походную аптечку, вытирал кровавые сопли, ватным тампоном дезинфицировал ссадины. Перекись водорода жгла, но Лутц только морщился — молча. Лишь однажды он тихо спросил: зачем?

— По-другому ты не понимаешь, — так же тихо ответил отец.

Еще отец говорил, что любовь — это открытая рана. Это боль, ревность и страх потери. Тяжкая пытка, а вовсе не ласки и нежный шепот. Но прежде всего — страх. Именно он является сутью жизни.

Страх безжалостно делит всех на волков и овец. Страх за просто может превратить волка в овцу. Превращение из овцы в волка — явление крайне редкое и может классифицироваться как чудо.

2.

Зеркало в ванной осталось от Катьки, пожалуй, единственное, что она не смогла вывезти после развода. Огромное, в пол стены, оно было намертво замуровано в кафель. В зеркале отражалось окно с неубедительным рассветом мышинового цвета. Окно в ванной комнате всегда казалось Лутцу разумной архитектурной пикантностью: в детстве, забравшись на подоконник, он учился курить взятяжку, затягивался и выпускал дым в форточку. Отсюда было удобно наблюдать за веселыми ткачихами — во дворе стоял кирпичный барак общаги фабрики; занавески девицы не задергивали, и вся интимная сторона женского бытия разыгрывалась сразу на нескольких миниатюрных сценах, увы, в форме пантомимы.

С унитаза открывался вид на маковки Варвариного монастыря — в час заката кресты так и вспыхивали раскаленной ртутью. Если ты лежал в ванне, то церковных куполов видно уже не было, но зато открывался вид на небо. Пустое и бездонное, или с невинными облаками, или с мохнатыми тучами, но чаще все-таки синеватых тонов: в юности так просто было подрисовать к такому небу какой-нибудь неведомый Париж или сказочную Барселону, а может, даже почти невозможный Сантьяго. Или архипелаг тропических островов с кокосовыми пальмами, гавайскими напевами пополам с прибойной волной и резвыми чайками. Чайки в окне, увы, не появлялись. Изредка там мелькали вороны. Они жили в старых монастырских липах и вечерами мрачной стаей кружили над Девичьим кладбищем.

Привычная знакомость ванной немного успокоила Лутца. Грязноватый кафель, голубоватые потеки зубной пасты на раковине, дырка в плитке, где когда-то висел крючок. От дырки расходилась трещина в виде буквы Ж.

Страх контролирует тебя, или ты контролируешь страх. Лутц сжал кулаки, его мутило, как перед дракой. Он шумно вдохнул, сделал шаг и повернулся к зеркалу.

3.

Когда позвонили в дверь, Лутц все еще сидел на полу ванной комнаты. Он вздрогнул и замер. Позвонили еще раз. Звонок был по-хамски долгий. Так звонят менты и водопроводчики. Лутц на ходу натянул махровый халат, на цыпочках подошел к двери. Звонок прогремел снова.

— Кто там? — Голос получился испуганным.

— Лутц тут проживает? — Мужской голос грубо отозвался с лестничной клетки. — Олег Дмитриевич?

— Нет... Вернее, да. Но он в отъезде...

— В каком еще отъезде?

— По личным... по семейным... В Караганде. — Лутц ляпнул первое, что пришло в голову.

— В какой, к херам, Караганде?

Лутц растерялся, о Караганде он не знал ничего.

— Открывайте немедленно! Со мной участковый, мы можем применить меры...

За дверью к первому голосу добавился второй, что-то буркнул матерной скороговоркой. Лутц вытер вспотевшие ладони о халат, клацнул замком и, не снимая цепочки, приоткрыл дверь.

Двое: мент с хугровским шевроном и военный офицер. Военный — капитан — был в пехотной полевой форме с маскировочным узором болотной расцветки. На багровом лице сидели кокетливые очки в золотой оправе — тонкой и явно женской. Мясистой пятерней капитан прижимал к груди папку школьного фасона из рыжей клеенки.

— Вы жена? — спросил военный почти вежливо.

Из подъезда тянуло сырой плесенью и прокисшими окурками.

— Сестра... — выдавил Лутц.

Военный рассеянно поправил очки указательным пальцем.

— Тоже сойдет, — ментдохнул перегаром, — нам-то чё... Пусть, вона, подпишет. Сестра-то родная?

Лутц смиренно кивнул.

— Ну если родная... — Пехотный капитан просунул листок и ручку. — Там галочку я поставил... Там — посередке...

Лутц взял замызганный лист писчей бумаги с отпечатанными фамилиями. Нашел свою. Накарябал рядом какую-то загогулину.

— Вы теперь уведомлены, — военный спрятал лист в папку, — и несете всю полноту ответственности за уклонение и невыполнение в соответствии с законом от пятого августа...

— Каким законом? — проблеял Лутц. — Какое уклонение?

— Вот тут все написано. — Офицер быстро просунул в дверную щель пальцы, сжимавшие серую открытку. — Повестка.

Военный произнес это слово, а Лутц одновременно прочитал его на картонке. Слово было набрано жирной «гельветикой». Глаз выхватил из текста и слова помельче: «с целью переподготовки». Лутц не успел взять открытку. Вместо этого он совершенно неожиданно для самого себя резко толкнул дверь. Пальцы капитана тихо хрустнули. Как куриные косточки. Открытка упала на коврик прихожей. Одновременно подъезд взорвался криком. Акустика лестничных пролетов умножила звук, эхо вернулось сверху и снизу — Лутц жил на шестом этаже двенадцатиэтажной башни — можно было подумать, что в подъезде забивают какое-то крупное и сильное млекопитающее.

4.

Лутц захлопнул дверь, стремительно повернул замок. И еще раз. Клацнул задвижкой. Бессильно сполз по стене на пол. Будут стрелять сквозь дверь, подумал. Сволочи. Озноб, жестокий колотун, тряс тело. С лестничной клетки продолжали доноситься крики, но уже без прежней страсти. Пинали сапогами в дверь, капитан грозил трибуналом, мент невнятно матерился. Однако, стрелять не стали.

— Сволочи... — Рукавом халата Лутц вытер пот с лица, дотянулся и взял повестку.

Призывной пункт находился по адресу: 2-я Шарикоподшипниковская улица, дом 7, корпус Б. Сложив картонку, порвал пополам, потом еще раз и еще. Чтобы унять дрожь, сцепил пальцы замком, сжал до боли. Он помнил тот адрес, помнил и тот дом — здание тю-

ремного типа из фабричного кирпича. В последний год школы их, всех мальчишек класса, привезли туда на медкомиссию. В пустом зале на втором этаже их заставили раздеться догола. Построили в линейку у стены.

В дальнем конце зала стоял длинный стол, по бокам сидели две женщины с одинаково брезгливыми лицами продавщиц из рыбной секции. Между ними возвышался плотный офицер, перепоясанный ремнями портупей. Перед военным высокой стопкой лежали картонные папки. Офицер брал верхнюю, раскрывал и громким гортанным голосом выкрикивал фамилию. Мальчик подходил. Одна из теток требовала убрать руки с гениталий, вторая грубо шутила. Военный громко хмыкал. Голому мальчику приказывали встать на цыпочки и вытянуть вверх руки, потом присесть на корточки. В конце он должен был повернуться спиной, наклониться и зачем-то руками раздвинуть ягодицы. Ничего более унижительного Лутц прилюдно не проделывал ни до, ни после.

5.

Из спальни донеслось треньканье телефона. Лутц с трудом поднялся, держась за стену, побрел на звук. Звонили с работы — Бохачек из отдела кадров. Отвечать Лутц не стал. Он вернулся в ванную. Чуть помедлив, снял халат и повернулся к зеркалу.

Он разглядывал отражение. Так — с немым ужасом — рассматривают жертву автокатастрофы или распластанное на асфальте тело бедолаги, выпавшего из окна. Очевидная абсурдность, невозможность впихнуть реальность в мозг, в сознание: не то что понять, как в такое поверить? Что это? Как? Почему?

Шок проходил, на смену безвольному ужасу пришла злость. Девица в зеркале, по-цыгански смуглая, с ладной фигурой цирковой прыгуньи, мускулистая и компактная, с парой крепких грудей и сильными икрами, разглядывала его с откровенной ненавистью. Глаза, карие до черноты, были глазами сумасшедшей. Лутц почти физически ощущал, как наливается жаркой яростью, звериной, буйной и бесконтрольной. Он сжал кулаки и сделал шаг к зеркалу.

— Это мое... — прошипел Лутц. — Убью, сука!

Он резко ударил. Метил в лицо. Зеркало треснуло — звонкая трель диагональю перечеркнула стекло из угла в угол.

— Убью!

Лутц продолжал бить, он пинал зеркало ногами, локтем сшиб полку над умывальником. Весело на кафель посыпались склянки, щетки и прочая туалетная дребедень. Он бил и выкрикивал ругательства, рычал и снова бил. Бил до изнеможения, боли он уже не чувствовал. По рукам лилась кровь, брызги стекали по стенам, яркими кляксами краснели на полу. Зеркало, все в трещинах, тоже было заляпано кровью и уже почти ничего не отражало.

Запиликал мобильник, и почти тут же кто-то позвонил в дверь. Лутц застыл. В дверь звонили и стучали кулаком. Телефон наконец заткнулся, но сразу начал трезвонить опять. В дверь уже колодили ногами. Лутц нашел мобильник в спальне, оба раза звонили с незнакомого номера. Был еще текст от отца и два пропущенных звонка с работы. С лестничной клетки доносились голоса, потом приехал лифт, кто-то напоследок пнул в дверь и все стихло.

На антресолях осталась коробка с Катькиным барахлом. Летние вещи, которые она не успела выкинуть. Жирным фломастером на картонке было написано «хлам». Лутц с треском сорвал липкую ленту, вывалил вещи на пол. От тряпок пахнуло кремом для загара и Катькиной парфюмерией.

Брезгливыми пальцами, точно перебирая мусор, Лутц вытягивал из кучи очередную пеструю тряпицу, разглядывал ее и отбрасывал в сторону. К цветастым сарафанам и гавайским платьям на бретельках он явно был не готов морально. Выбор остановил на бриджах цвета хаки, который Катька называла почему-то «сафари», и на линялой джинсовой рубашке свободного покроя с медными пуговицами и парой карманов на груди. Розовые полукеды пришили почти впору.

6.

Солнце садилось, и двор наполнялся сумраком. Пахло концом лета, жухлым тополиным листом, теплой городской пылью. На

кирпичной стене общежития белела недавно замазанная надпись. Асфальт был заляпан белилами. Надпись появлялась каждую неделю — каждую неделю ее снова закрашивали. Лутц придержал железную дверь, выскользнул из подъезда. Посередине двора, заехав передними колесами на вытоптанную клумбу, стоял служебный автобус с зашторенными окнами и серой полосой вдоль борта.

На убогой детской площадке — ржавый остов качелей, песочница, фонарный столб — лениво возились солдаты. Из железных трубок и палок они уже собрали каркас то ли шатра, то ли большой палатки. Посередине, прямо в песочнице, стоял узкий колченогий стол, накрытый кумачовой тряпкой.

Дверь третьего подъезда распахнулась, оттуда появилась непомерно длинноногая девица на шпильках и в куцем платье, антрацитовом со змеиной блесткой. Девица в нерешительности остановилась, потом вдруг согнулась — будто сломалась пополам. Ее громко вырвало жидкой гадостью, темной, коричневой, похожей на старую кровь.

Окна второго этажа над подъездом были настежь распахнуты — все три окна. Комнаты были налиты густой чернотой, там угадывалось смутное безмолвное движение, какая-то глухая возня. Через арку во двор вкатила черная «чайка», из нее выкарабкался крупный полковник с аксельбантами, следом вылез поп в рясе. Полковник вытер лицо рукой и закурил, поп раскрыл багажник, вытащил оттуда шляпную коробку. Девица пошатываясь наблюдала за приехавшими. Поп достал из коробки предмет, похожий на золотое ведро. Аккуратно надел ведро на голову.

Дверь подъезда раскрылась. Из чернильной темноты выплыла крышка гроба. Ее на вытянутых руках нес над головой сухой мужичок в мятом костюме. Лутц узнал местного электрика то ли Леню, то ли Лешу. Девица неуверенно посторонилась, пропуская монтера. Потом согнулась, и ее снова вырвало.

7.

Лутц вышел из арки на проспект. Быстро пошел в сторону Сухаревки. Прохожих было мало. Дома на той стороне, большие

и грязные, со слепыми от пыли окнами, казались необитаемыми. У входа в булочную, прямо на тротуаре, стоял милицейский фургон. Прохожие огибали фургон, обходили торопливо и не оглядываясь. Соседний магазин электротоваров, закрытый неделю назад, теперь был заколочен листами фанеры. На остановке пара одинаково мелких старух в мышинового цвета дождевиках ждала автобус.

Раздался крик, Лутц обернулся. Из дверей булочной с грохотом вывалилось несколько человек. Рослый парень в белой футболке пытался вырваться, трое ментов висли на нем, один пытался душиТЬ сзади. Парня повалили, начали бить ногами. Он по-боксерски закрывал голову и лицо руками. Старушки осторожно подошли поближе и заинтересованно наблюдали за происходящим. Другие прохожие отворачивались и прибавляли шаг. Избиение происходило молча. Теперь парня дубасили резиновыми палками.

Автобус подошел к остановке, двери открылись. Старушки, суетясь, засеменили к автобусу. Водитель захлопнул дверь прямо перед ними и уехал.

Пиццерия на углу тоже закрылась. Большие окна на первом этаже, где раньше можно было видеть посетителей, официантов и часть кухни с печью, выложенной диким камнем, словно в какой-то средневековой харчевне, эти витринные окна были теперь закрашены побелкой. На месте вывески — итальянский повар, жонглирующий помидорами, — висел флаг. Флаг болтался и на соседнем здании, и на следующем. Откуда-то долетел церковный перезвон, едва слышно, точно кто-то щедрой рукой рассыпал мелочь. Сквозь веселое дзиньканье пробрался басовый набат, тяжелый и мрачный, как похоронный колокол. Звук неторопливо плыл над городом. Лутц сбавил шаг, задрал голову, прислушиваясь. Как пульс, подумал он, пульс гигантского зверя.

8.

Сказать, что отец Лутца жил на Сретенке, было бы неверно, поскольку он не жил, а умирал. Диагноз поставили в марте, жизни пообещали еще месяцев шесть, плюс-минус, — сказал доктор, ро-

ясь в бумагах. Тогда Лутц-старший дал ключ сыну. Не хочу тут лежать и тухнуть, ухмыльнулся.

Дом, ветхий и древний, каким-то чудом уцелел в одном из сре-тенских закоулков. Перед единственным подъездом кривлялись низкорослые яблоньки. Где-то жарили рыбу. Косая дверь, утра-тившая форму из-за дюжины слоев краски — последний был ко-ричневым. Мраморные ступеньки, похожие на пыльные обмылки; липкие, будто потные, перила. Лутц тут вырос и помнил наизусть каждый изгиб дряхлого особняка. Поднявшись на третий этаж, он замер с ключом перед дверью. Потянулся к звонку, но тоже пере-думал. Негромко постучал.

Пустота внутри квартиры зашуршала, зашаркала — долго и му-чительно зашла в кашле. Наконец дверь открылась. Лутц знал, что отец плох, но тут оказалось что-то другое.

Отец, не взглянув, развернулся и пошаркал в комнату.

Даже не худоба, не папиросная бумажность кожи, не скрючен-ность бессильного тела — нет, Лутца ошарашило почти физиче-ское присутствие некой беспощадной и угрюмой силы, мощной, как ураган, и беззвучной, как полет птицы. Этой гадостью, тяже-лой и липкой, было заполнено все пространство прихожей до са-мого потолка.

В комнате оказалось еще хуже. Сквозь полумрак Лутц узнавал постаревшую мебель, плешивый ковер на полу, рыжие абажурчи-ки в мушиных крапинках, мертвые часы в футляре из мореного дуба. В детстве они походили на королевский замок, сейчас напо-минали поставленный на попа рыцарский гроб.

Черный лак пианино с выводком фарфоровых скользких уродцев, отвратительные кружевные салфетки под хрустальны-ми вазами, обрамленные фотографии молодых родителей — те даже не походили на настоящих живых людей. Его собственные фотографии в виде ребенка-школьника, тоже, скорее картон-ный муляж, чем портрет живого мальчика. Вскрытый склеп. Разрытая могила.

— Какая все-таки нелепость... — пробормотал Лутц.

На круглом столе под пыльной люстрой стояла шкатулка со стеклянной крышкой, внутри лежали ракушки, которые он со-бирал вместе с матерью на диком пляже под Ялтой. Он пытался вспомнить название рыбацкой деревни на обрывистом берегу.

Волны выбросили мертвого дельфина, вечером море плескалось шепотом, качало ленивые шлюпки. Мокрые цепи ворчали у пирса, большая луна жутковато таращилась, липла к полированным смоляным волнам и катилась, катилась...

Отец невесомо опустился на диван, там из вороха подушек, пледов и стеганых одеял отец свил свое смертное логово. Лутц подошел, остановился в трех шагах.

— Ближе, — буркнул отец. — Не заразное... это.

Лутц покорно сделал шаг. Он старался не вдыхать, дышал мелко и опасливо, теплый воздух казался тяжелым и шершавым — почти осязаемым. Воздух был наполнен смертью. Отец, откинув голову и страдальчески приоткрыв рот, вдруг стал фрагментом какой-то картины — точно, Эль-Греко, — даже чернильный колорит тот же, портрет какого-то мученика или святого, Лутц пытался вспомнить имя, но название ускользало: картина — музей, конечно, Прадо, конечно, Испания — стояла перед глазами, мученик по традиции церковных канонов демонстрировал, держа в руках, инструменты своей пытки: да, то ли крючья, то ли щипцы для выдирания ногтей, как святой Себастьян на любой картине неумолимо щетинится арбалетными стрелами. Святой Януарий? Лоренцо-мученик?

Отец мрачно разглядывал Лутца.

— Не знаю даже, как объяснить... — начал сын. — Утром, сегодня утром...

Старик замотал головой, будто голос сына причинял ему физическую боль. Тот замолчал. Отец что-то буркнул.

— Что?

Лутц переспросил и тут же осекся: экран телевизора, что стоял в углу, был разбит вдребезги. Из экрана торчал кухонный молоток, какими хозяйки отбивают свиные котлеты.

— Я всегда знал, что ты... — повторил отец громче.

— Что?

— Еще в детстве. Думал, сумею сделать из тебя... Перековать. Исправить. Ты же с самого рождения, с самых первых дней...

— Что? Что?

— Это все твоя мать! Бабье проклятое! Если б не Елена, не ее воркованье... — отец поперхнулся, — ее миндальничанье...

Он кашлянул, словно подавился. Пытаясь ртом схватить воздух, вытянул шею. Куриная кожа, белая вареная птица. Отец зашелся в кашле. Он не мог вдохнуть, раскрывал рот и снова кашлял. Это напоминало пытку.

Сдохни, Лутц подумал и тут же испугался, что именно это и произойдет прямо сейчас. На его глазах умрет отец. Его отец.

Лутц кинулся на кухню. Сшибая невытую посуду, он открыл кран, наполнил водой кружку. Бегом вернулся в комнату. Держа голову за затылок, пытался напоить отца. Ладонью ощутил холод кожи, тяжесть головы — как мраморный шар, господи, как мертвый каменный шар.

9.

Кашель стих, сошел на нет — будто до конца раскрутилась пружина механического завода. На улице, совсем рядом, завывла сирена. К ней присоединилась другая — тише, издалека.

— Пожарная?

Лутц встал с колен, подошел к окну и отодвинул штору.

— Темень... Ничего не видно, — зачем-то прокомментировал он. — Темно.

С улицы донесся треск. Стреляли из автомата. Потом что-то грохнуло, да так, что пол подпрыгнул.

— На бульварах, — сипло проговорил отец. — У Чистопрудной рвануло.

К автоматным очередям добавилась пистолетная пальба — сухие и несерьезные выстрелы, вроде детских хлопушек. Лутц достал телефон, сигнала не было. Громыкнул еще взрыв, но слабей и подалее. Сирены теперь выли хором.

— Что с сигналом? — Лутц повернулся. — Где усилитель? Ну, коробка эта?

Отец кивнул в сторону убитого телевизора.

— Где? — Лутц тыкал пальцем в телефон. — Где?

— Выкинул. Вырвал с потрохами и выкинул, — зло прохрипел отец. — Ке..ням!

Снаружи, перекрывая сирены и пальбу, кто-то закричал. Низко, страшно и протяжно. Внезапно крик оборвался.

— На столе, — проговорил отец, — в кабинете, на моем столе, лекарства. Там...

Лутц вышел в темный коридор, нащупал дверь. Открыл. В сумрачный кабинет пробивался свет уличного фонаря, знакомые предметы угадывались сами. Пахло мастикой, старым деревом, ветхой бумагой — так пахнет в антикварных лавках. К запаху старья примешивался какой-то посторонний и неуместный, почти радостный аромат. Что это, зачем, откуда? Будто с мороза принесли свежую новогоднюю елку, еще не размотали бечевку, еще на иголках не растаяли снежинки, но праздничный дух уже проник во все комнаты.

Лутц наощупь пробрался к письменному столу. Под ногами хрустело тонкое стекло. Вытащил телефон, включил фонарик. Паркетный пол был усеян пустыми ампулами. Яркий луч вырезал из темноты плоский кусок шкафа с золотыми корешками книг, угол иконы, бронзовый письменный прибор. Луч скользнул ниже — на полу, рядом со столом, стоял гроб. Светлый, из свежих досок, он напоминал легкую лодку-плоскодонку. На дне гроба лежали еловые лапы. Лутцу почудилось, что пол вдруг стал зыбким и начал крениться, неумолимо уплывать куда-то вбок.

Вернулся в комнату. Отец лежал, запрокинув голову и выставив острый кадык. Глаза удивленно пялились в потолок. Лутц остановился в дверях, он боялся подойти ближе — смесь ужаса, растерянности и какого-то мрачного злорадства, почти радости, тошнотворной волной поднималась из желудка. Старик не шевелился. Рука, мертвая и тощая, цвета сырой побелки, свисала с дивана, тонкими пальцами касаясь ковра. Ворс ковра давно вытерся, а раньше там среди замысловатых узоров и восточных гирлянд, можно было отыскать пару рогатых страшилищ, исполнявших боевой танец.

— Нашел? — не поворачивая головы, тихо спросил отец.

Лутц беспомощно поднял руку с пустой коробкой.

— Кончились... — удалось выдавить ему. — Пусто.

— Ни одной ампулы?

— Нет.

— Ни одной?

Лутц не ответил. Стрельба на улице утихла, где-то вдали все еще выли сирены, но и эти звуки таяли и сливались с утробным гулом города.

— У кинотеатра аптека, в подвальчике — помнишь? Дежурная. Перешел через дорогу, и там.

Отец говорил быстро, заискивающе, почти ласково. Никогда так не говорил с ним. Аптека, вроде там, неоновая вывеска с крестом, 24 часа; а вот кинотеатр тот закрыли лет двадцать назад, Лутц промолчал.

— Одну упаковку. Одну. Это ж пять минут — туда и обратно.

— Хорошо. Давай рецепт.

— Нет рецепта. Мне Ольга Марковна доставала. По блату.

— По блату? — переспросил Лутц зло. — Что это вообще значит: по блату? Ольга Марковна... Это же не аскорбинка, не пилюли от запора! Морфий! Кто мне продаст без рецепта морфий...

— Погоди...

— ...Морфий среди ночи! Без рецепта!

— Погоди!

— Звони своей Марковне, Ольге! Звони-звони, я съезжу! По блату!

— Нету ее. Под Питером она. За Линией, в Парголово, что ли...
Продала все и свалила.

10.

Город, как пишут в скверных романах, был настороженно тих. Лутц старался держаться подальше от фонарей. Перебегая через пустынную улицу, он успел заметить, что перекресток Сретенки с кольцом перегораживали танки. До Садового было метров семьсот, но Лутц на всякий случай нырнул в тень и застыл, прижавшись к стене дома. Замри, учил отец, жертву всегда выдает желание бежать.

Небо на северо-западе было темно-малиновым, почти рубиновым. Там что-то пульсировало, набухало, как нарыв. Такое зарево вставало над городом во время ночных парадов, но все парады проходили весной и осенью, а сейчас был еще август.

На месте бывшего кинотеатра — Лутцу даже припомнился индийский фильм, душный зал с тесными креслами, жаркая ладош-

ка напрочь безымянной девочки из параллельного класса, — на месте кинотеатра давным-давно обосновался супермаркет, сперва австрийский, потом наш. В апреле закрыли и его.

А вот аптека оказалась бессмертной. Железная дверь в стене, кнопка звонка, мутная вывеска подмаргивала выше — в тех же скверных романах такие двери играют роль портала, через который герой попадает в прошлое или будущее. Иллюзии чудесного побега подобного рода у Лутца исчезли еще в детстве. К водосточной трубе на уровне второго этажа крепилась камера. Лутц поднял голову и придал лицу невинное выражение. Вдавил кнопку звонка. Дверной замок клацнул, и дверь приоткрылась.

Крутая лестница вниз была выложена плиточником-мизантропом отменно скользким кафелем. Такой же плиткой — черной — сияли пол подвала и все четыре стены. Потолок оставили в покое и побелили. В углу висела еще одна камера наблюдения. По стенам пестрели рекламные плакаты лекарств для глаз, ушей и других органов, но ощущение пребывания в сортире ресторана средней руки все равно оставалось. Привычного магазинного прилавка не было. Было окно в стене, забранное решеткой. В амбразуре маячил белый халат и учительские очки.

Лутц согнулся. Он показал пустую коробку из-под морфия. Начал говорить — кротко и печально, — смиренный тон и мягкий голос нравились ему самому, но все равно Лутца не оставляло чувство, что он все врет. И про отца, и про смерть, и про боль.

Похоже, провизорша тоже не верила. У нее не было губ — она, слушая молча, методично их жевала; хилые волосы мышинного цвета были крепко стянуты в тугую фигу на затылке, из-за этого лицо, казалось, принадлежит карлице с парой капель японской крови. Восточную экзотичность портили очки — круглая черная оправа, толстые линзы, вкупе с докторским халатом безукоризненной белизны, невольно будили в памяти кадры кинохроники из медицинских лагерей на оккупированных территориях.

— Вы дочь? — наконец спросила провизорша.

Лутц смиренно кивнул.

— Предъявите карту.

Лутц протянул карту в окошко.

— Это карта отца, — с тихой ненавистью произнесла провизорша. — Вашу карту!

Лутц начал врать — торопливо, беспомощно, безнадежно. Провизорша не перебивала, очевидно упиваясь процессом унижения. Внезапно отрезала:

— Ясно. Ждите тут!

И захлопнула окошко фанерной створкой. На краске, не белой, а с каким-то грязноватым оттенком, который при желании можно назвать «цветом слоновой кости», кто-то нацарапал слово «сука». Слово замазали, но оно все равно проступало сквозь белила.

№ 5, 2022 г.

Светлана Савельева

АРВЯНА

1

Нити рельсов и бег колес отбивают ритм: «Раз-два, раз-два». Ночной экспресс — заснул в Иваново, проснулся в Москве. Хорошо тем, кто не страдает от бессонницы или, как в моем случае, от кошмаров. Они снова вернулись, прямиком из детства. Шесть лет я спала спокойно, а теперь сон рваный и болезненный. Засыпая вечером, я не знаю, что сулит ночь.

Темно. Круглая луна преследует поезд. «Раз-два, раз-два». Заезаешься, мысль убежит быстрее стройных вагончиков, ритм теряется и звучит по-новому: «Раз-два-раз, раз-два-раз».

У меня впереди долгая дорога: из Москвы самолетом до Улан-Удэ, оттуда на автобусе до Хоринска¹ (звучит завораживающе-агрессивно), а потом на чем придется до улуса без названия. И здравствуй, родина, принимай заблудшую душу! Но я к тебе ненадолго, возможно, в последний раз. Единственный человек, с которым мать держала связь — ее старшая сестра Лосолма², — умерла пять месяцев назад. Похороны мы пропустили. Мать не смогла вырваться в середине семестра, а еще — важная конференция и встреча с начальником Департамента образования области. Она вечно в делах. Отцу на заводе не дали отпуск, к тому же было нелепо, если бы он поехал вместо матери на похороны ее сестры. Я тоже погрязла в работе и выныривать не собиралась, потому что пример матери заразителен, а похвала бесценна.

На этом нить родства наверняка потерялась бы, но тетушка решила оставить мне в наследство бабушкин дом. Неожиданный звонок от двоюродного брата спустя почти полгода: «Приезжай, забирай или отказывайся». И решить бы все дистанционно, но мать

¹ Хоринск — населенный пункт в республике Бурятия.

² Имя Лосолма происходит от мужского Лосол, что переводится с тибетского как «ясный ум».

уперлась: «Я на похороны не приехала, так хоть ты покажись родне, вырази соболезнования. Вот и повод есть, и у тебя отпуск. А у меня защита дипломов, диссертаций и выезд на природу со всем научным сообществом области». Только когда она заказала билеты, я придумала, что ответить, как правильно возразить. Но было уже поздно. Оставалось только ворчать под нос. Да что уж теперь. Приеду, подпишу отказ от наследства, оформлю дарственную или напишу доверенность — любой вариант, лишь бы дело было кончено быстро. Ненужная щедрость — мне дом ни к чему, только хлопот прибавилось. На кой недвижимостью за тридевять земель?

«Раз-два-раз, раз-два-раз», — мысль утекла.

Еду, ищу плюсы сложившейся ситуации: отдых, красивые места, новые люди. Да и время наедине с собой пойдет на пользу. Есть над чем подумать. Может, в дороге меня не будут мучить кошмары, отпустят тягучие пути мрачных сновидений.

Главное — не засыпать. Еще часочек, и я в Москве. Держись, Арьяна³, еще чуть-чуть.

Я снова в комнате без двери — серые стены и зеркало отражает тьму, — лежу на кровати. Оглядываюсь и вижу окно. Занавески не задернуты, висят по краям безжизненным полотном. Снаружи луна, то прячется за облаком, то выглядывает, словно моргает. Вокруг так липко. Одеяло и подушка, как густой кисель. И я в нем варюсь на медленном огне. Пытаюсь встать, но тело отяжелело, а тьма опускается и давит на грудь. Вдох-выдох, воздух не поступает в легкие, застрял в носоглотке. Как кричать, если задыхаешься? Барахтаюсь, но как вырваться из оков, если руки прилипли к кровати. Темно, и вокруг шорохи. Кто-то ходит, шаркает по полу, шепчет на непонятном языке прямо в ухо. И звук кривой упругой волной бьется о перепонку и просачивается прямо внутрь. Там ему тесно, и он стучит барабаном внутри головы. И на каждый удар голова будто лопается, а вокруг кровати толпятся люди, смотрят, хохочут, а потом лезут на меня.

«Поезд прибывает через 15 минут...» — загорелась цепочка лампочек на потолке. Я вздрагиваю и просыпаюсь. Один и тот же сон,

³Имя Арьяна происходит от мужского имени Арья. С санскрита — «высший, святой». Обычно употребляется перед именами Бодхисаттв, святых, прославленных буддистов. Также имя Арьяна встречается в индийской культуре и переводится как «идущая путем духовного развития».

одна и та же комната. Меняются детали интерьера и персонажи. Я пытаюсь разобрать слова, записываю обрывки звуков, чтобы понять речь, но Гугл не дает ответов. Что за глупая идея гуглить несуществующие слова из сновидений. «Чур меня», — говорит отец в таких случаях, и я говорю так же, чтобы прогнать дурной сон. Но воспоминания липнут ко мне, пока я иду по перрону, тяну за собой серый новенький чемодан. Но, кажется, за мной кто-то идет, оборачиваюсь, толпа из вагонов тянется следом, огибает меня, как камень в середине ручья, и двигается дальше. Но ощущение не исчезает, будто черное облако за спиной, и как не вывернусь — оно позади прилипло. Зажмуриваюсь, закрываю лицо руками, а перед глазами размытые фигуры, плоские, как ласты, руки и жгучее желание сбежать из сна. Выдыхаю. Чур меня.

Мне нужен кофе.

Впереди семь часов по Москве с чемоданом, желанием заснуть на ходу и телефоном, который постоянно норовит разрядиться. Я тоже разряжена. Не чувствую в себе сил. Бессонница последних месяцев дает о себе знать. Кофе остыл, бодрости не прибавилось. Как только вернулись кошмары, я снова поверила в существование кофеинового бога. Вот кому стоит поклоняться, строить храмы и почитать в молитвах.

Сейчас заброшу чемодан в камеру хранения, позавтракаю в центре, прогуляюсь и снова влюблюсь в столицу — отличный план. Я нашла топ 15 кофеен Москвы, сохранила все аккаунты Инстаграм, предвкушаю встречу. «Старбакс» и «Шоколадница» не в счет, сегодня меня ждет «Антипа». Кажется, не модное и не пафосное местечко, зато как звучит — кафе-трапезная при храме Священномученика Антипы Пергамского на Колымажном дворе. И кофе хвалят. Но я иду за атмосферой укромного пространства — высокие арочные окна с видом на желтый храм, много света, столы, украшенные мозаикой, тишина и спокойствие.

В Иваново вычурных кофеен не найти, везде налет провинциальности. Город тесный и душный. Нет, я, конечно, люблю знакомые улочки, раскидистую зелень деревьев, пузатые троллейбусы. Но я там чужая, слишком выделяюсь среди золоченых куполов церквей, на фоне герба с пряхой в червленом русском сарафане. Все мухой раскосые глаза, монгольские скулы, черные, как смоль, волосы и странное имя — Арьяна. Наполовину бурятка, наполовину

русская. Эта половинчатость словно кол в сердце. Если вбивать гвоздь в рассохшуюся доску, та треснет и разломится. Но я бурятка только внешне, внутри я хочу быть пряхой в червленом русском сарафане, ходить в церковь и говорить «Чур меня». И быть частью любимого и ненавистного города.

Серьезно? Что забыла метиска в Иваново — в самом русском городе страны?

Мама уехала из родной Бурятии, когда ей было 17, училась в Новосибирске, влюбилась, вышла замуж и, бросив все, рванула за мужем. Я родилась здесь. В паспорте значится: Арьяна Соколова, место рождения — Иваново.

С детства меня дразнили ребята со двора за непохожесть. «Игнорируй», — безучастно говорила мать. В шесть лет я тихонько подошла к отцу и спросила, что значит это слово. Отец погладил по голове и поцеловал в лоб: «Просто не обращай внимания, ты у меня красавица».

«Спасибо, папа, если бы не ты, я окончательно потеряла веру в себя», — этих слов я ни разу не сказала отцу ни в первом классе, ни в одиннадцатом, но папа понимает без слов. Он до сих пор иногда тянется ко мне, чтобы поцеловать в лоб, а потом останавливается, сдерживается, вспоминает, что дочь уже взрослая. И я неловко улыбаюсь.

Иду по метро, глазею на всех без стеснения, а на меня никто. Хорошо бы жить в Москве, затеряться в толпе, скрыться, смешаться, раствориться. Никто бы не обращал внимания на внешность. Прелести больших городов.

Мать не пустила меня учиться в Москву ни после школы, ни после института. Я пыталась объяснить, что в большом городе мне будет легче. Но, по ее словам, образование можно получить и в Иваново. Она профессор, она лучше знает. Ей легко говорить, она уважаемый человек, зрелая и самостоятельная, может не обращать внимания на окружающих. А я не обросла броней-толстокожестью. Косые взгляды, презрительный тон. «Узкоглазая», — брошенное в спину, бьет слишком больно. Ей не понять, как и многим.

2

Растворяюсь в атмосфере кофейни. С закрытыми глазами провожу пальцами по мозаичному узору, вдыхаю ароматы свежей выпечки и

терпкого кофе. Наслаждаюсь минутами покоя. Так просто ни о чем не думать и растворится в моменте. Слушаю музыку и тихую болтовню за соседним столиком, не разобрать слов ни в песне, ни в беседе. Все сливается в единый поток бормотания, и на секунду мне кажется, что я снова во сне. Нечто надвигается на меня. Секунда. Прикосновение.

— Вам нехорошо? — Обаятельный юноша касается плеча, обеспокоенный взгляд быстро сменяется теплой улыбкой, когда я говорю, что все в порядке.

Микросны. Впервые я словила себя, что заснула на пару секунд на лекции. Я услышала начало предложения и очнулась в конце. Монотонный голос будто на затертой пленке прервался и обратно включился. С тех пор стараюсь контролировать себя, не допускать микроснов и принимать кофеин до их наступления. Но сегодня даже он не спасает.

Хочу остаться в кофейне еще чуть-чуть, впитать атмосферу, насладиться каждой каплей, каждым звуком и деталью лаконичного интерьера. Но мне нужно движение, только так сбежать от сна. Приходится прощаться. В Иваново кофейни далеко от моего привычного маршрута квартира-работа. Дома я варю кофе сама. Заказываю зерна в интернете, забираю посылку, приношу домой, бережно распаковываю, и каждый кубометр воздуха жилища наполняется крепким стойким запахом. Кофемашина появилась на кухне после первого кошмара на новой квартире. Черная шумная штукovina выдает только один вид кофе, зато какой! Я медленно пью крепкое зелье из крошечной кружки, глотки должны быть небольшими, чтобы насладиться каждой каплей. А между ними важно глубоко дышать, чтобы остудить горло, тогда каждая новая порция, как первая. Потом целый день на работе я мечтаю повторить утренний ритуал, желательно дважды, чтобы всю ночь не спать, отключиться только к утру, на рассвете, когда уже не так страшно засыпать.

У меня есть пара часов, чтобы погулять по проспектам и площадям, посидеть в парке на траве, дышать с Москвой одним воздухом и любоваться архитектурой, есть мороженое и быть частью толпы. Зайду в ТЦ и куплю какую-нибудь нелепую безделушку, чтобы радовала глаз и душу.

Ирка и Катька встретиться со мной не смогут. Может, на обратном пути получится задержаться в Москве, и мы куда-нибудь сходим. Желательно в новую кофейню, но они меня потащат в ре-

сторан или в клуб. Неважно, главное — быть с ними. Снова. После вручения дипломов они рванули покорять столицу, сняли квартиру по ветке метро, ездят на работу, стоят в пробках, заказывают еду на дом, ходят в клубы и кафе, знакомятся, берут напрокат велосипеды, уезжают за город с коллегами. Я хотела уехать с ними, но меня ждала аспирантура, преподавательская деятельность, лекции по истории, научные труды, студенты, работа на кафедре. Зато есть своя крошечная квартира. Чуть-чуть свободы, спасибо отцу.

Проверяю телефон. В нашем чате тишина. Мы переименовали беседу из «Лучшие друзья навеки» в просто «Ира, Катя, Яна». И если я ничего не напишу туда, они редко спросят, как дела. Я их не виню, у всех работа, мне самой постоянно некогда.

Пора позвонить отцу.

— Привет, как добралась?

— Хорошо, папа, не переживай.

— Ну, ладно, Арьяна, напиши, когда прилетишь. Будь на связи.

— Да, обязательно. Пока, пап.

«Называй меня Яна, папа», — вдогонку мысленно кричу, миллион раз я просила об этом. Ненавижу свое настоящее имя почти так же сильно, как жизнь в Иваново. Давно стоило бы подать документы, расстаться с прошлым, навсегда стать Яной Соколовой и попрощаться с именем, которое приносит неудачи. Чуть больше смелости, и после этого жеста не страшно бросить аспирантуру, уволиться и переехать в Москву. Но я не в силах перечить матери и расстраивать отца, а именно он выбрал это сочетание звуков и букв, когда двадцать три года назад на свет появилась я. Арьяна. И это прекрасное имя с тибетскими корнями, в нем отзвук родных краев, перезвон буддийских молитвенных колокольчиков. Но это имя слишком часто коверкали, чтобы я теперь его любила. Оно будто подножка на пути, каждый споткнется, упадет, спросит. В поликлиниках, в саду, в школе, в институте, на работе. Каждый раз это напоминает мне об азиатских корнях, а мне хочется быть как все. Я не в силах изменить внешность, но имя могу выбрать сама. И я нашла способ сделать это еще в пятом классе, даже паспорт менять не пришлось. Когда в новой школе, учитель попросил представиться и рассказать о себе, то я сказала, что люблю книги в жанре фэнтези и восточную культуру, мечтаю стать востоковедом и попросила называть меня Яной. Всем так было удобнее,

мне тоже. Осталось только два человека, которые упорно называли меня Арьяной, — отец и мать.

В аэропорт лучше приехать заранее.

— Будьте добры, один американо без сахара с карамельным сиропом.

«Нет, не лопну, нет, не вредно», — мысленно отвечаю матери на упреки. Зато сонливость уйдет прочь, стоит только наполнить рот живительным эликсиром. От одного аромата расслабленность и спокойствие, будто вдыхаю волшебное зелье. Почему до сих пор кофеин не признан наркотиком? Я знаю почему — потому что в одночасье миллиарды людей отправятся за решетку, а вместе с ними и я. Бескофеиновая жизнь подобна черно-белому фильму без красок.

Симпатичный парень колдует над моей порцией бодрости. Я не смотрю на его лицо, проколотую бровь, отлично уложенную прическу, только на руки и тату на запястье в виде линии пульса. Он насыпает зерна сорта «Робуста» прямиком из Вьетнама. Никакой «Арабики», прямая бороздка на мелком зернышке, я издали вижу и ни с чем не перепутаю. Но, главное, вкус — тяжелый и терпкий. Я бы нырнула в бумажный стаканчик коричневой гущи. Тепло по телу, кофеин по венам. Сводит скулы от горечи, но проходит секунда, и во рту остается легкая карамельная сладость.

Кофе вкусный только пока горячий, засидишься, задумаешься со стаканчиком в руках, жидкость остынет до температуры тела, и вкус выветривается вместе со струйками пара. От аромата ни следа.

Скоро регистрация и посадка. Семь часов полета, плюс пять — разница во времени — вот и половина суточного дня. Как нож по яблоку «кляц», и распадается день на две части.

— Арь-я-на, — по слогам произносит девушка в форме за стеклом стойки терминала. Я не успеваю разглядеть лица.

— Можно просто Яна, — натянуто улыбаюсь.

— У вас красивое имя, возьмите билет.

Это просто вежливость, ей неважно, как меня зовут, это важно только для меня. Мимо люди и вещи, голоса и смех, ветер над равниной взлетных полос. Вихрь разлохматил волосы и всколыхнул воспоминания. Я уже в самолете, вожусь с ремнем, мозг возится в воспоминаниях и никак не хочет забыть эту сцену, когда меня называли чужим именем.

— Янина! — режет слух непривычные пять букв.

С осени на кафедре будет работать новый молодой преподаватель, в мае он принес документы, взял план работ, чтобы подготовить лекции. Высокий и статный, укладка как будто он модель в журнале, голубые глаза. Он в джинсах и пиджаке, пуговицы расстегнуты, белая рубашка в крупную клетку облегает тело.

— Я не Янина, — автоматически перебила я, вышло грубо и неприветливо. К счастью, в кабинете уже никого не было, он пришел слишком поздно, я, как обычно, задержалась. — Просто Яна.

— О, а есть разница?

— Да, весомая. Если вас не затруднит, зовите меня просто Яна. — Я слабо улыбнулась, попыталась смягчить ситуацию, не хотелось начинать знакомство с коллегой с неловких ситуаций и недопонимания.

— Может, просветите? — Андрей Викторович выгнул бровь и улыбнулся.

— Яна — хоть как-то дублирует мое настоящее имя, с Яниной у меня ничего общего.

— И как же вас зовут на самом деле?

— Арьяна.

— О, — протянул он долго и протяжно, и голос звучал так глубоко и мягко. — Арьяна — красивое имя.

Я вздохнула. Это имя идеально, если ты живешь в Бурятии, надеваешь остроконечную шапку цвета синего неба, украшенную крупными коралловыми камнями, если на тебе дэгэл⁴ из шелка с пышной юбкой в пол, расшитая жилетка, и серебряные украшения звенят на каждом шагу. И обувь на ногах с заостренными носками, смотрящими вверх. Но не для меня.

— Вы что-то хотели мне сказать? А я вас перебила, — попыталась свернуть разговор в другое русло.

— Да, Вадим Георгиевич сказал, что можно оставить документы, а вы ему передадите.

— Конечно, давайте. — Я легко подхватила тонкую папку.

Ну же, сделай шаг к двери, и я скажу: «До свидания». А после мы забудем обо всем и осенью на самом деле не вспомним, представимся снова, будем обычными дружелюбными коллегами.

— Вы уже преподаете? — Андрей Викторович делает два шага вперед.

— Да, — я вздыхаю.

⁴ Дэгэл — национальная одежда бурят.

— И как вас называют студенты? Не подумайте ничего такого, я интересуюсь, чтобы осенью не попадать впросак. — Он улыбается, и я в ответ. Улыбки творят чудеса. Напряжение испаряется и витает облаком дурмана и симпатии.

— Яна Сергеевна.

Он ничего не сказал, но на лице сквозь улыбку проскользнула искра. Неодобрение или упрек. Или мне только показалось — нельзя судить человека за мимику и мысли. Но я уже надумала, представила, решила за него и стала оправдываться, чтобы он не вообразил, будто я слабохарактерная.

— Понимаете, так проще, многим сложно запомнить имя, поэтому я называлась Яной. А если настаивать на своем, то постоянно приходится всех поправлять. Как меня только ни называли — то Арианна, то Арья, то Анна. А однажды меня назвали Рианна, неужели я похожа на Рианну? — Я рассмеялась, и Андрей Викторович улыбнулся без следа осуждения.

— И вы не позволите мне назвать вас Арьяна? Мне просто нравится, как это звучит. И я ни в коем случае не назову вас Арианной или Рианной, я не поклонник поп-культуры.

Я почти таю, как мороженое, на солнце, но беру себя в руки.

— Увы. Это правило для всех, зачем что-то менять, если все довольно.

— И вы тоже? — Улыбка соскользнула с его лица так же быстро, как падает со стола невзначай задетая кружка.

3

Двигатели режут снаружи, звук бьется об обшивку самолета, но внутрь проникают только упрямые волны. Легкий шум, духота выветривается, как только заработали мелкие вентиляторы над головой. Впереди долгий перелет — так себе удовольствие. Все расселись, мы пережили взлет, парим будто медленно, но на самом деле со скоростью 830 км/ч (параноик во мне захватил тело и загуглил все данные про самолет Боинг 737-800).

Теперь можно оценить ситуацию. Место не у окна. По соседству пожилой мужчина и молодая парочка, позади три женщины, впереди между сиденьями мелькают чьи-то головы. Детей на го-

ризонте нет, а те, что есть, будут всю дорогу залипать в телефоне. Последую их примеру. Я скупилла все книжные новинки и с десяток аудиокниг и готова погрузиться в мир фэнтэзи, воображать себя Беллой, страдать от любви к оборотню и вампиру, как в юности. Хочу захлебнуться и утонуть в потоке слов и образов настолько прекрасных, что дыхание будет перехватывать.

В старших классах любовь к фэнтэзи преобразовалась и породила любовь к мифам и легендам, древним сказкам и преданиям. Меня влекли мифические миры Востока. Теперь, когда я слышу гром, то представляю трехпалого японского бога Райдзин, который пляшет на тучах и стучит в барабаны. Если передают штормовое предупреждение, то это гневается четырехпалый Фудзин, он развязал мешок с ветрами и обрушил ураган на людей. Я давно выросла из этих сказок, но часто по привычке ищу объяснение простым вещам в мифах и преданиях.

В школе я мечтала, чтобы изучение восточных языков, мифологии и литературы стало делом моей жизни, но мать сказала, что из гуманитарных наук только история чего-то стоит. В итоге я учитель истории, а в планах матери — кандидат исторических наук. Легко так говорить, когда ты доцент Энергетического университета, оцениваешь энергоэффективность в регионе и разбираешься в базах данных. Я отстояла право не любить математику так же сильно, как ее любит мать. Но не смогла отстоять любовь к востоку, литературе и языку.

Уже четырнадцать минут книга рассказывает про вымышленный мир, а я возвращаюсь к матери и пытаюсь спорить с ней. Раньше надо было, сейчас чего, у тебя красный диплом и оливье из дат. Спросите меня, сколько было русско-турецких войн, и я отвечу неверно. Еще две минуты книги прошли мимо. Я достаю кофту и прикрываюсь ею будто пледом, отматываю на начало, слушаю заново. Два предложения, а мысль улетает, как летит самолет сквозь облака. Под нами широкий простор родной земли, надо мной сумрак, голоса, рокот двигателей и сон.

Вижу себя со стороны, ни комнаты, ни слепого глаза луны. Будто я — то самое черное облако за спиной, смотрю на себя, посмеиваюсь. Вдох, и снова в своем теле, но теперь точно знаю, надо мной кто-то. Пытаюсь проснуться. «Арьяна!» — кричу у себя в голове. Чувствую, как сползает кофта, ключицы и плечи холодит ветер кондиционеров. Хочу проснуться, мучительно

тяну кофту наверх, прикрываюсь, будто щитом, от того, кто сверху. А кофта снова ползет вниз. Руки еле слушаются, пытаюсь поднять кофту, но ткань скользит по коленям вниз. Я открываю глаза, а черный комок сидит в ногах, красные огромные глаза, и ручищи тянут одежду в рот. Я кричу, пытаюсь отстегнуть ремень, пинаю ногами тьму.

— Девушка! Девушка! — кричит кто-то. Я просыпаюсь и дышаю, хватаюсь за ручки, задеваю соседа, он не спит, смотрит на меня с любопытством. Вжимаюсь в кресло, мне неловко, потому что вспоминаю, что снова в самолете, и одновременно страшно, будто я еще во сне. Только потом замечаю парня с переднего сиденья, торчит только голова. — Перестаньте пинать кресло!

— Угу, — быстро киваю.

Осторожно гляжу в ноги. Кофта валяется на полу, на светлой ткани следы от подошвы кроссовок. Извинившись, пытаюсь встать, ноги онемели. Мне удается это только со второй попытки.

Умываю лицо, дышу, мучаюсь, пытаюсь оторвать от себя липкие воспоминания сновидений. Где грань между реальностью и игрой воображения?

Опять дышу, медитирую, считаю до десяти и обратно, приземляюсь. «Чур меня. Пошел прочь, дурной сон», — я чувствую себя живой.

«Пац, я в Улан-Удэ. Долетела. Позвоню позже, у вас ночь». Разница во времени пять часов, здесь утро, Москва все еще спит.

Во рту сухо, в желудке жжет. Голова трещит, сердце колотится так быстро, будто я пробежала марафон, а руки трясутся — снаружи не видно, но внутри вибрации вот-вот проломают слой кожи и вырвутся наружу.

Есть время на завтрак. Эспрессо мое сердце не выдержит, даже маме в моей голове не надо об этом говорить. Мозг все равно отключится где-то по дороге, кошмар снова завладеет телом, так зачем мучить сердце, заставляя его отчаянно качать кровь. Я мечтаю, как закажу себе большой сладкий капучино, но упакованный сахар так и останется лежать на блюде. Сливки дадут то количество сладости, которое необходимо. Нежная пенка с узором — меня не волнует эстетический вид, главное вкус. В каждой капле блаженство.

Шагаю по родной земле, за мной устало плетется чемодан. Я не взяла очки, а солнце с утра зарядило круглую желтую пластинку и

будет палить весь день. Хорошо, хоть есть кепка. «В Бурятии 300 солнечных дней в году», — умный Гугл знает все. Либо я обзаведусь очками, либо ослепну. «Миленький прогноз погоды, порадуй меня», — включаю геоданные, открываю местный прогноз погоды. «В Хоринске дождь». Хвала небесам!

Я попала в крошечный мир — миниатюрный аэропорт сменился тесными улочками и низкорослыми деревянными домами.

— Частный сектор, — экскурсия от таксиста. — В центре у нас красивше, но самая прелесть за городом и на Байкале.

Двадцать минут потребовалось, чтобы с окраины машина примчалась в центр. Может, здесь и «красивше», но я слишком устала, чтобы разглядывать фасады зданий. С городом и так все ясно — типичный и провинциальный, в России все города одинаково унылые, как Иваново. Пыльные улицы, потрескавшийся асфальт, хаотичная застройка, торговые центры на каждом углу, металлические ограждения вдоль дорог.

Сначала порция углеводов, капучино, и только потом автобус до Хоринска. Два часа в Бурятии без кофеина невыносимы. К симптомам панического расстройства и недосыпа прибавилась тянущая боль в мышцах. Я знаю, что это все психосоматика и усталость. Вот все закончится, устрой себе выходной, куплю томик новой книги, пойду в кофейню на свидание с нежным рафом. Какое заведение следующее по списку? «Молоко» на Большой Дмитровке. Английский сдержанный интерьер, хрустальные люстры, темная мебель, высокие лампы, мягкие кресла. Я предвкушаю, как растворюсь в легком облачке концентрированного аромата кофейного напитка, пропаду между строк, потеряю счет времени и буду по-настоящему счастливой.

А пока я в небольшом кафе на автовокзале, за столиком кто-то пьет водку без закуски, летают мухи, пахнет подгоревшей едой. И вместо кофе мне предлагают чай с молоком.

— Нет, спасибо, мне нужен кофе, желательно внутривенно. — Я улыбаюсь, в ответ женщина тычет в барную стойку, где висят пакетики быстрорастворимого кофе. Я тяжело вздыхаю. — Согласна, наливайте.

Никакого узора на пенке, прозрачные пузырьки болтаются на поверхности. Я просто хочу, чтобы этот ад поскорее закончился. Иваново уже не кажется таким затхлым.

Автобус Улан-Удэ—Хоринск готов к отправлению. Гуглю замысловатые названия, чтобы знать, откуда я родом.

4

Давным-давно, когда деревья росли до небес, а небеса были прозрачными, как стекло, по бурятской земле бродил меткий стрелок Хоридой. За могучими плечами его висели лук и стрелы, руками он мог обхватить землю, а от дыхания рождался ветер. Жил богатырь среди холмов скалистых, среди рек горных. Байкал-батюшка наполнял его силой, питьевой водой поил, свежей рыбой кормил.

Однажды Хоридой переплыл Байкал и оказался на острове Ольхон. Скалы на острове острые, травы буйные, ветра жгучие, волны бойкие. С одного берега ледяная вода бьется о горы, бурлит пеной, не дает покоя Ольхону. С другой стороны плещется тихо, легкой рябью покрывая воду. Синева озера манит вдаль, бродит Хоридой по берегу, слушает плеск волн.

Видит, что плещутся в ледяной воде три прекрасные девы, волосы длинные до пят, черные, как смоль, кожа белая, будто лебединое крыло, смех звонкий, будто с гор струится ручей и звенит колокольчиком вода. Двое девушек поодаль плавают, одна совсем близко, можно разглядеть ее упругие груди, округлые бедра. А на берегу песчаном лежат одеяния. Недолго думая, Хоридой спрятал одежду одной из девушек, а сам скрылся за высокими кустами, наблюдает, еле дышит, чтобы не спугнуть ветром девушек прекрасных. Воротились девицы на берег, двое нашли свою одежду, обернулись лебедями и упорхнули ввысь. А одна бродит по берегу, ищет свою одежду, смотрит вслед улетающим сестрам-птицам, криком кричит.

Спрятал Хоридой далеко за пазуху платье девичье, вышел из-за кустов представился, поклонился, попросил руки и сердца. Поняла прекрасная девица-лебедь, кто одежду ее похитил, а теперь и сердце ее заточить пытается. Но виду не подала, поклонилась ему в ответ и дала согласие. Вернулись молодые на берег, зажили счастливо под небом прозрачным, в юрте теплой, на земле плодородной. Родила девица-лебедь Хоридою одиннадцать сыновей. Так появились одиннадцать бурятских родов по сей день известные миру.

Много лет прошло, стали дети Хоридоя могучими богатырями под стать своему отцу. Девица-лебедь все также прекрасна, лишь

седина белым пером коснулась ее волос. С той же тоской глядит она на прозрачное высокое небо, где летают ее сестры-лебеди.

Попросила она однажды Хоридоя, мужа своего, чтобы разрешил напоследок примерить свою одежду прежнюю. Нехотя достал из старого сундука белые длинные одеяния. Шелковой рекой заструились ткани по юрте. Надела девица-лебедь платье свое, расправила руки-крылья, оглядела детей своих и, не поцеловав мужа на прощанье, вылетела птицей через дымовое отверстие юрты.

Десятки лет прошли с той поры, родилось у этих одиннадцати детей Хоридоя и девицы-лебедя по одиннадцать детей, и у тех детей по одиннадцать детей, и распространился род славный по всей земле бурятской от северных земель, где почва мерзлая, до жарких монгольских пустынь. Прошли сотни лет, и нет места на земле, где не ходили бы потомки Хоридоя и девицы-лебедя. И столько же в небе парят — девушки птицами обернулись, служат царице-лебедю, а мужчины ханами-Тэнгри стали, ветрами могучими управляют. Потомки помнят и почитают лебедь-мать, и каждый раз брызгают молоко к небу вслед летящим белым лебедям. Благосклонна она к детям своим, щедро одаривает она тех, кто помнит ее. А кто позабыл, к тому посылает она своих сестер лебедей, напоминает о себе, о родине, о предках. Но глухи люди к мольбам птиц, не слышат, не видят ничего. Злитесь царица, козни строит, проклинает. Без роду без племени, не зря говорят о таких людях.

5

Непослушный автобус сильно трясется по ухабистым дорогам. Степь тянется уже битый час, глазу не за что зацепиться, травы и кочки. И небесная синева тянется куполом над нами, и жарит солнце. Я представляю, как в облаках парит лебединая стая, машет крылом.

Степь сменяется лесом, вырастают сопки, горы, дорога тянется то вверх, то вниз. Пейзаж за окном сливается в зеленое полотно, глаза смыкаются, и меня уже не разбудить. Крепко сжимаю телефон, кошмар крепко сжимает меня. «Отпусти, я больше не выдержу», — молю, и кто-то смотрит строго сквозь гущу облаков, воздушное пространство, сквозь стены автобуса и клетки кожи, сквозь плоть — в самое нутро. Сжалился.

Мне снятся дева-лебедь в белых одеждах и знакомый взгляд сквозь тысячи лет. Я бегу за ней, чтобы обнять, почувствовать тепло тонких рук и нежность длинных пальцев. Я бегу, будто дева-лебедь — мое спасение, но руки превращаются в крылья, белые ткани оборачиваются перьями. И прощай! «Стой, я с тобой», — кричу во все горло. Птица машет крылом. Синь могучего неба затягивает ее в вышину. А я бегу по берегу и дальше по воде. Холодное озеро проглатывает, накрывает волной. Задыхаюсь. «Подожди, не оставляй меня здесь, я одна и мне страшно», — но дева-лебедь улетает, а я тоню. Водная толща давит на грудь, голове и ноги. Спина касается дна, а это не дно вовсе, а уже привычная липкая кровать. Я в паутине кошмаров, в комнате без двери.

— Нет! — кричу вслух и просыпаюсь.

Сосед оглядывает меня узкими глазами-щелками и дальше спит. Остальных мало заботят чужие сны. Я глубоко дышу: вдох на четыре счета, пауза на два, выдох на четыре. Три круга, и становится легче, семь кругов, и пульс замедляется, пятнадцать, и можно достигнуть дзена. Мне достаточно пяти, чтобы сознание пропиталось явью, воспоминания о кошмаре отошли назад.

Дурные сны прекратились, когда в моей жизни появился Пушистый, и вернулись, когда он умер. Мелкий комок шерсти кинулся мне в ноги, когда я поздно возвращалась от репетитора. Математика не давалась мне с рождения, два и два в голове складывались в призрачные миры, но никак не в четыре. В темноте чуть не наступила на котенка. «Прости, малыш, но взять я тебя не могу», — я погладила Пушистого и отодвинула его в сторону. «Мя, я не понимаю человеческого языка», — ответил он, и моторчик внутри запустился от первого прикосновения. Я сделала еще пару шагов, и мелкий снова бросился в ноги, я отдавила ему лапу. Иду опять, поднимаю ногу, свечу телефоном, а пушистый дымчатый котенок уже распластался на земле передо мной. «Ладно, будешь моей тайной. Мать узнает — убьет, но что теперь с тобой сделаешь». Прижимаю малыша к груди, а он вибрирует, как реактивный двигатель.

Отец в тот же вечер обнаружил лужу на полу, потом услышал подозрительные звуки в комнате в паузах между песнями, которые в тот вечер играли слишком громко. Я спрятала Пушистого под кровать, когда отец постучался и осторожно вошел в комнату,

но мордашка тут же высунулась из-под покрывала. Они долго смотрели друг другу в глаза.

— Он сам меня выбрал, — оправдывалась я. — Кинулся в ноги, будто просил, чтобы я взяла его.

Отец ухмыльнулся и сел на кровать. Кот потерял об его ногу. Есть контакт.

— Тебе опять снятся кошмары? — неожиданно спросил папа.

Я кивнула. В дни когда я особенно нервничала, плохие сны одолевали меня сильнее, будто чувствовали, что я стала слабой, и атаковали с новой силой. Иногда мне казалось, что я сойду с ума. Днем мучила жизнь, ночью — кошмары. Наверно, отец слышал, как мои стоны по ночам, один раз упала с кровати, пока пыталась отбиться от голосов.

— У моей бабушки в деревне было три кота — черный, рыжий и серый. Помню, что черного звали Баюн, я всегда думал, что он должен убаюкивать, помогать уснуть. Он как раз громче всех мурлыкал. Но именно этого кота бабушка гнала на ночь, а с теми двумя ложилась спать. Она говорила, что спит крепко только благодаря котам. Может, он станет твоим лекарством от плохих снов.

Вот оно, пограничье между западным миром и восточным. Если полностью погрузиться в другую веру, стать частью иного мира, что будет тогда? Схожу в церковь с отцом, пусть меня крестят, буду молиться иконам, полностью похороню другую часть себя. Меня будут охранять ангелы и коты из бабушкиных рассказов. Вера — это выбор. И пока я не готова его сделать. В схватке миров пока 0:0.

Забавно, но мама не замечала присутствия нового члена семьи вплоть до окончания экзаменов. Счастливая мордашка подросткового кота высунулась из моей комнаты, когда мать отчитывала меня за низкий балл по математике. Отец и Пушистый взяли огонь на себя, мне и так досталось от матери. А она еще неделю сыпала ругательствами, пока институт не опубликовал списки на зачисление. Я поступила на бюджет, и мать оттаяла.

Так Пушистый прижился, освоился и стал моим спасением. Мы с котом делили на двоих одну кровать и бутерброды с колбасой. Я обнимала по ночам мурчащий комочек, и кошмары отступали, все, как обещал отец. Будто малыш меня охранял. И длилось это счастье всего шесть лет. «А потом, Пушистый, тебя не стало», — шепчу его имя, складываю губы трубочкой, будто целую воздух. Целую тебя, мой дорогой защитник.

Я помню, как мы поселились в полупустой квартире. Я и ты. Отец накопил, настоял, купил и подарил мне квартиру на окраине Иваново, когда я закончила институт. Пустая, однокомнатная в старой хрущевке. Только пластиковые окна новые, остальное все с налетом былой жизни — три слоя краски на косяках дверей, потертые обои и скрипучие полы. «Пап, спасибо, лучше тебя в мире нет никого», — абсолютное счастье не столько самостоятельной жизни, сколько жизни вдали от матери. Тяжело находиться рядом с человеком, который идеален во всем. Но если бы я выставяляла оценки в персональном табеле матери, по дисциплине «Материнство и родительство» у нее стояла бы тройка. От этой мысли мне всегда смешно, но, попробуй скажи ей это в лицо.

Впереди у нас с отцом был ремонт, все сделали своими руками за три месяца лета. Потом появились кухня и кровать — папа снова помог. И наконец в нашем с Пушистым доме стало уютно.

«Остальное сама, ты уже работаешь», — сказала мама и больше ни разу не приехала ко мне в гости. Слишком много работы.

Когда становишься взрослой, шутка про сковородки по акции больше не смешные. Я получала стипендию, работала на кафедре, читала лекции по истории, иногда писала за студентов курсовые, и папа иногда перечислял мне деньги на карту с разными забавными сообщениями: «На шкаф», «На косметику», «На новую юбку». Так в новой квартире выросла мебель. Вещи из чемоданов и коробок перебрались в шкаф, за ним пряталась кровать. Ночью свет луны падал прямо на меня, поэтому я выбросила старые шторы, которые отдала мне мать, и раскошелилась на портьеры. До самого пола темная плотная ткань скрывала не только свет луны, но по утрам в выходной день не давала пробиться солнцу.

Пушистый вместе со мной радовался появлению стола, стула с высокой спинкой, полочки для косметики — есть где пакостничать. Пару картин и зеркало на стене он не оценил.

За пару дней до смерти Пушистого мне приснился необычный сон. За окном летали птицы — чайки, ласточки, голуби. Все смешались в воздухе, как оголтелые кричали. Стоял шум — взмахи крыльев и птичье разноголосье. Но птицы были слепы, не видели, куда летят, врезались друг в друга, в стены домов, в витрины, падали со стоном на землю. Через пять минут вся земля была усыпана телами мертвых птиц. Перья парили в воздухе и медленно падали

вниз, покрывая землю черно-белым ковром. Одна птица со всего маху врезалась в окно, оставив кровавый отпечаток. Я проснулась от грохота — Пушистый уронил баночку крема. Ощущения от сна были жуткие. Нет, не привычный кошмар из детства. Все дни после сновидения на душе было скверно, я старалась не обращать внимания, оказалось зря.

Однажды я пришла с работы в квартиру, а кот не встретил меня своим «Мя». Тишина взорвалась гранатой, оглушала, убивала. Я сразу почувствовала неладное, бегала по квартире в обуви, оставляла пыльные следы на ламинате цвета беленого дуба. У миски нет, на лежанке нет, на кровати нет. Пушистый забился в углу комнаты, лежал лапами вверх, неестественно вывернутый пологой дугой.

Я рыдала, обнимала малыша, гладила по пушистой шерстке и прижимала к себе. Но моторчик радости и любви больше не работал. Я уложила его на лежанке, накрыла белым полотенцем. Будто к утру он проснется, оживет, забегает по квартире, роняя косметику с полки.

Тьма окружила сначала комнату, потом кровать, потом меня всю. Та самая комната без выхода, которая снилась мне с детства. Теперь я узнала ее — это моя квартира. Из-за шкафа не видно двери, вот тебе и комната-коробка, окно напротив — шторы не задернуты, плянется луна. Не могу пошевелиться, то ли сплю, то ли бодрствую в горячке. Вижу у стены мой стол, стул, а на нем вещи горой — кофты, платья и пальто. Нагромоздилась куча, и будто сгорбленный старик, нависший над столом, дышит бесшумно. То нарастает, то сдувается. А в углу, где умер Пушистый, паучок плетет паутину, прерывается, смотрит крошечными жгучими глазами, потом опять берется за свое. Паутина черная, как ночь, а каждая ниточка будто нож — отсекает угол комнаты. Чем больше паутина, тем ближе он ко мне, тем больше чернеющая пустота в углу. И кто-то шепчет над головой на непонятном языке, хочу запрокинуть голову вверх, выгнуться всем телом, глянуть, но липкая кровать держит в силках. И я кричу, а выходят сдавленные звуки. А в изголовье уже кто-то ползет, прогибается кровать, шорохи ближе. Кто-то тянет за волосы и холодной рукой касается лба.

Просыпаюсь!

Теперь я боюсь своей квартиры, боюсь спать, боюсь всего. Я и раньше была трусиха. Никаких фильмов-ужасов на ночь. Без Пушистого я осталась одна. И нет в моем окружении ни одного человека, которому я могла бы рассказать о дурных снах. Ира и Катя

далеко, по телефону таким не поделишься, коллеги только коллеги, есть еще отец, дружелюбная соседка и несколько ребят, с которыми я хожу на фитнес, и иногда мы заглядываем в игротеку — с ними я недостаточно близка.

Я тет-а-тет с кошмарами, спасаюсь новой порцией кофе. Одиночество — это когда некому рассказать о своих ночных кошмарах.

6

Дорога петляет по плоскогорью. Местность разнообразная, диву даешься, как причудлива природа. Зеленые долины и рыжие степи сменяются куполообразными вершинам одиноких гор, где-то вдалеке возвышаются гривы остроконечных хребтов. А порой лес вырастает стеной с двух сторон. Концентрированное солнце скрылось за густой пеной туч, и сразу похолодало. Достая телефон, вторая попытка погрузиться в чтение. Вдруг автобус снижает скорость, сворачивает с дороги и тормозит. Я смотрю по сторонам, выглядываю в окно, никто не сдвинулся с места. У дороги беседка с крышей в восточном стиле — углы загнуты вверх, внутри молитвенный барабан, и много пестрых вязочек на деревьях.

— Сейчас поедем, не переживай. Ты не местная, да? — говорит пожилая женщина с пышной прической прямоиком из девяностых.

— А что происходит?

Водитель стоит вполоборота, наливает водку в рюмку. Он что, собрался пить за рулем? Вместо этого он натягивает шапку на голову, замирает на секунду, а потом резко взмахивает рукой. Прозрачные капли взмывают вверх и тут же падают на землю.

— Здесь святые места, надо бурханить.

— Бур... что?

— Брызгать, задабривать духов местности, — уточняет женщина.

Я делаю вид, что поняла. Водитель быстро возвращается на место, автобус трогается. Что-то припоминаю из детства. Точно так же делали бабушка и тетя, а мама никогда.

Три часа в дороге пролетели. Я прослушала четверть книжного аудиотрека. Спасибо актеру озвучки, мужской баритон не давал заснуть и открывал миры демонов и убийц. Я бы там осталась, среди них иногда даже комфортнее, чем в жизни с людьми.

Хоринск встречает морозящим дождем, запахом сырой земли, свежескошенной травы и навоза. Горы тянутся цепочкой, кругом разносортные деревянные дома, коровы щиплют траву, ветер путает мои волосы. Я собираю их в хвост и надеваю кепку. Дружелюбный пес застыл в ожидании подати, только рот раскрыт, красный язык болтается. «Я сама еще не ела, давай, расскажи мне, где здесь можно перекусить, и я тебя угощу», — разговоры с животными вошли в привычку с появлением Пушистого. Пес машет мордой в сторону невысокого домика — на самом деле, его одолели мухи. Когда пес понимает, что ждать от меня нечего, сбегает в подворотню.

В меню много мясной еды. Король всех вечеринок — буузы. Те же манты, но с отверстием сверху. Нет, спасибо, мне пюре с котлетой. Кофе нет в помине, даже растворимого, только чай с молоком. Нет, спасибо, давайте с лимоном.

День в разгаре, до улуса ехать еще час, лишь бы транспорт найти. Я открываю гугл-карты, подхожу к водителю автобуса. Мужчина с седой головой и в жилетке с десятком карманов, из которых торчат бумажки, деньги и документы, вез нас из Улан-Удэ.

— А как добратся вот досюда?

Он щурится, берет телефон, то уменьшает, то увеличивает карту.

— Это вам с Серегой до Амгаланты⁵, выйдешь на полпути, а дальше не знаю. Ну, на попутках доберешься, — хрипит прокуренный голос, а потом громко на всю улицу: — Серега, возьми еще одну?

Худой мужчина, будто трость проглотил, подходит к нам, на ходу поправляет на голове кепку-треуголку.

— Куда едем?

— До Амгаланты возьми ее, смотри, ей сюда. — Водитель тычет в мой телефон.

Они оба опять колдуют над экраном — ближе, дальше.

— У-у-у, а там еще кто-то остался, думал, померли все. Ну, на попутках доедешь, — повторяет он.

— А такси? — Я забираю телефон.

Щуплый и седой смеются, будто я рассказала какую-то байку.

— Богатая, что ли? — Мужчина опять поправил кепку.

Я жму плечами. Седой машет головой и диктует пару номеров. Звоню, объясняю куда ехать, без наглядной карты сложно — названия у деревни нет. Можно позвонить родственникам, чтобы

⁵ Амгаланта — населенный пункт в республике Бурятия.

встретили, но я их знать не знаю. Приеду, представлюсь, сделаю дела, уеду.

Первый таксист в Улан-Удэ, вернется через неделю. Второй говорит, что там дороги размыло, не поедет туда. Больше таксистов нет. Сажусь к тому самому Сереге в машину. Нужно добраться до места, пока не стемнело.

Машина быстро летит по хорошей дороге и медленно плетется по плохой. Дворники смахивают мелкие капли. Четыре пассажира не обмолвились и словом. Мне нравится это молчание, еще бы заткнуть магнитола, изрыгающую шансон. Даже аудиокнига не спасает, я продолжаю слышать текст о тюремной жизни. Полтора часа тянутся двадцатью пятью треками шансона. На двадцать шестом Серега высаживает меня на середине пути. Здесь лес стеной, а за ним горы, тихо, пусто и сыро. Дождь закончился, травы медленно раскачиваются на ветру, сбрасывая последние капли на землю.

— Тебе туда, по проселочной. Кто-нибудь поедет, подберет, — наставляет водитель.

Клубы пыли, и машина едет дальше. Съезд с основной дороги тянется узкой полосой между высокими хвойными деревьями. Я стою на обочине. Земля напиталась влагой, дорога сплошное месиво. Гугл подсказывает: «42 минуты на машине, 4 часа и 24 минуты пешком». Мечтаю о каршеринге в Хоринске, все стало бы намного проще. Но где уж тут, если в поселке всего два таксиста.

Жду пятнадцать минут, две машины промчались мимо, никто не свернул. Плохая идея добираться самостоятельно. Я передумала, звоню родственникам, у меня три номера. Сначала телефон обрадовал сообщением: «Нет регистрации в сети». После такого следует немедленно вернуться в Хоринск, там есть связь, люди, чай с лимоном и пюре с котлетой. Взбираюсь на пригорок у дороги, поднимаю телефон над головой. «Абонент временно недоступен». Связь есть — это хорошо, контакта нет — это плохо. Осталось два номера, но ответ прежний.

Черт!

Впору добавить к двум проблемам России третью — отсутствие сети в отдаленных районах. Или сетовать об умирающих деревнях. Как люди здесь выживают без дорог, связи, интернета, доступной среды, развлекательных центров, школ, больниц?

Я смотрю на большую лужу прямо на дороге и вспоминаю, как приезжала сюда, когда мне было 11 лет, и дети звали меня прыгать через такую же лужу во дворе, а я не пошла.

7

Мама возила меня в гости к бабушке трижды. Я запомнила только последний.

В ту неделю лил дождь, дорогу точно так же размыло. До деревни добирались на трясущемся уазике. Все стекла забрызгало грязью, и два часа развлечения в машине — разглядывать собственные пальцы на руках. Нас встретила мамина сестра — тетя Лосолма, ее дети Баатар⁶ и Сэсэг⁷. Медленно по ступеням спустилась и подошла ко мне старенькая бабушка Чимицу⁸. Она долго обнимала меня морщинистыми мягкими руками. От нее пахло домашним хлебом, байковый халат в цветочек давно выцвел, но остался очень мягким. Лицо бабушки было темное, загорелое, цвета печеной в кожуре картошки, глаза карие, седые волосы заплетены в косу, хвост торчал из-под уголка платка. Она погладила меня по голове, что-то сказала на бурятском и поцеловала в лоб.

От калитки тропинка вела к большому бревенчатому дому. Большая ограда, много построек — летняя кухня, баня, дровник, позади загон для скота. И много зелени — кусты и трава. Я запомнила этот дом цветущим, красивым, добротным.

Вся родня говорила на бурятском языке, а я не понимала ни слова. Иногда они переходили на русский. Деревенская ребятня с любопытством разглядывала меня, шепталась, посмеивалась над светлыми брюками и звала играть на улице. Я не пошла.

В первый день ни со взрослыми, ни с детьми я не нашла общий язык, чувствовала себя чужой. Я помогала матери мыть посуду в большой миске, готовить еду и гладила упитанного рыжего кота, которого звали на бурятский манер «кэсхэ». Мне не нравилось это имя, поэтому я называла кота Альбертом, потом оказалось, что Альберт — девочка.

⁶ Баатар в переводе с бурятского — «богатырь». Слово образовано от старомонгольского Багатур. Русское слово богатырь также произошло от этого слова.

⁷ Сэсэг — в переводе с бурятского «цветок».

⁸ Чимицу — женская форма от имени Чимит, что в переводе с тибетского «бесмертный».

На второй день я подружилась с сестрой Сэсэгой и братом Баатаром, познакомилась с соседской девочкой по имени Дарису'. Она научила меня лазать по крыше и воровать черемуху у старенького дедушки через дорогу. В нашей ограде росла точно такая же черемуха, но ребята сказали, что у соседа черемуха вкуснее, потому что он поливает специальным удобрением. Мы пробирались вдоль забора, проползали под окнами, чтобы старичок нас не увидел. Залезали на крышу сарая и тянулись к самым верхним веткам. Спелые черные бусины висели на красных черешках и блестели будто чьи-то глаза. Вяжущий терпкий вкус наполнил весь рот, что язык прилип к нёбу. Мы громко смеялись, обнажая почерневшие зубы, и совсем забыли, что занимаемся воровством. Старый дедушка с тростью вышел из дома и громко закричал. Мы сбежали. Я думала, что теперь нас ждет расплата, дедушка нажалуется матери, ей придется за меня краснеть. А она профессор, важный человек, как часто говорил про нее отец. Но дедушка не пришел ни в первый раз, ни во второй, ни в третий. Дарису сказала, что самое главное — не ломать ветки черемухи. А то, что он выходит и кричит, — это только для вида. Ягода все равно осыпется и пропадет, потому что она ему не нужна, а родных у него нет. А те, что есть, не приедут в гости ради пары литров черемухи.

Вдоволь набегавшись вечером, я быстро уснула. Мне снился старенький дедушка с тростью, черная ягода на ветках на фоне синего неба и вкус вязкой черемухи. Он разрастался и заполнил весь рот внутри и снаружи. Не могу вымолвить и слова, сквозь сон хочу позвать маму, но рот будто в паутине. И я вся в паутине, кровать-ловушка держит в силках. Под потолком густая тьма спускается и давит на грудь.

— Арьяна, проснись. Это кошмар. — Меня будит мама, треплет за плечо, и я делаю вдох.

Она прижимает к себе, накрывает одеялом, и все, что за его пределами исчезает во мраке.

На третий день мы с Баатаром, Сэсэгой и Дарису с черемухи переключились на малину и смородину в нашем огороде. Но мама нас строго наругала — ягода в деревне не ради лакомства. Тогда ребята показали, как есть дикорастущий щавель и заячью капусту. Смесь диких растений в моем животе стала проситься наружу к обеду. Вместе с тем, как на столе росла гора пирожков и вкусных булочек, которые пекла тетя, внутри меня нарастала тошнота. Пестрая слизь из зелени и ягод покинула тело, и я лежала на крова-

ти без сил. Голоса на кухне громко звучали за стеной из высокого шкафа. Мамина сестра назвала меня слабой и беспомощной.

— Все городские дети такие, к жизни не готовы, традиций не знают, живут потерянные. Она же бурятка, — ворчали голоса сквозь сон.

— Только наполовину, — мамин голос.

— Пожалеешь потом, что не научила дочь ничему.

Я погрузилась во тьму и проснулась, когда мама уже лежала рядом. Она снова накрыла меня одеялом, положила сверху руку и тихо спала. Я чувствовала себя прекрасно — выспалась, живот не болел, тошнота прошла. В соседней комнате горел слабый свет, я разглядывала очертания теней. Параллели и перпендикуляры — линии сходились и расходились. Я зажмурила глаза и попыталась заснуть. Ничего не вышло, тогда я открыла глаза, но не увидела ни шкафа, ни бабушкиного покрывала, перекинутого через веревку, ни комода. Мгла. Долгие минуты картинка перед глазами не менялась, я потерла глаза, поворачивалась влево и вправо. Но я будто провалилась в пустоту, и на сотни километров от меня непроглядная чернота. Потом вдалеке появилась белая точка, она быстро стала приближаться. У белого пятна появилась тонкая шея, выросли крылья. Взмах! И лебедь застыл прямо перед лицом. Красный клюв, белоснежные перья и черные глаза-бусинки гипнотизируют, я застыла в изумлении. Гляжу, не налюбуюсь. Взмах! И все исчезло.

— Арьяна, вставай, я кашу наварила. — Бабушка гладит меня по голове, и я открываю глаза.

Светло. Петухи отпели. Коров надоили и выпустили на пастбище, все разъехались.

Тот день я провела с бабушкой. Мы почти не понимали друг друга, она говорила на бурятском, но знала несколько простых русских слов. Мы общались с помощью жестов, интуитивно понимая друг друга. Бабушка смотрела на меня с теплом и улыбалась. Цветастый платок, покрывавший ее голову, раскачивался из стороны в сторону, когда она не находила русских слов, чтобы выразить мысли. В такие минуты казалось, что она недовольна.

Я долго ковырялась в каше, поглядывая на полки буфета. Вдруг вчерашние вкусы остались. Но бабушка что-то проворчала на бурятском, и я, чтобы не расстраивать ее, быстро доела кашу. Тогда она достала две ароматные деревенские ватрушки, завернутые

в белое вафельное полотенце. Мы сидели у окна, яркие солнечные лучи проникали внутрь через двойную оконную раму, нагревали стол, стеклянные вазочки с вареньем и мое плечо.

Внезапно бабушка вскрикнула и выронила кружку. Старый крепкий фарфор даже не треснул, густой чай растекался по деревянному полу и струйкой сбежал в щели. Старушка засуетилась, забегала по кухне, достала с полки небольшую кружку с рисунком утенка и глянула в окно. Я тоже посмотрела, но ничего не увидела. Ее ноги ходили медленно, руки — загорелые, в морщинах — подрагивали. Но сейчас она шустро схватила пухлый заварник. Крышка норовила упасть, но бабушка ловко подхватывала ее и ставила на место. Небольшая металлическая кружка доверху наполнилась чаем. Бабушка поправила платок, быстрым движением заправила седые волосы. Я оглянуться не успела, как она взяла кружку чая, схватила меня за руку и потащила на выход.

Мы вышли на крыльцо, свежий легкий ветер ласкал лицо, слепило солнце. Бабушка махнула рукой вверх: «Смотри». Голубое небо — ни облачка, а вдали несколько птиц. Рука привычным движением опустошила кружку. Взмах, и полукруглой дорожкой каплей чай лег на зеленую траву. Дальше смесь бурятских и русских слов, из них я поняла только «лебеди», «брызгать», «небо». Бабушка нахмурила брови, и лицо превратилось в сморщенное запеченное яблоко. Узкие глаза смотрели на меня пристально, будто я должна была сама догадаться, о чем говорит старушка. Но я не понимала ни слов, ни смысла действия.

Вечером приехали мама с тетей, ребятня вылетела из машины.

— Вдоволь натряслись по ухабам, устали. Тебя я не стала брать с собой, ты же болеешь, — объяснила мама.

Ночью, когда все уснули, мы лежали с мамой на кровати. Она уже засыпала, когда я спросила про лебедей на небе и чай.

— Что делала бабушка?

— Она так молится. Здесь верят в духов, поэтому задабривают их.

— А мы верим в духов?

— Нет, — ответила мама коротко.

Еще четыре ночи мы пробыли в деревне. Дни пролетали быстро, я спрятала светлые брюки на дно чемодана. Дарису подарила мне свои старые джинсовые шорты с тремя заплатками, которые было не жалко еще раз порвать или испачкать. Для меня нашлась старая футболка, рисунок с нее давно стерся, ворот растянулся и постоян-

но спадал с одного плеча. Но мне это даже нравилось. Я прыгала с деревенскими детьми через лужу, ходила искать потерявшуюся корову, носила воду с водоколонки, поливала огород, бегала босиком по траве. Только черемухи и щавеля больше не касалась.

По вечерам, как только солнце пряталось за горой, вся ребятня разбегалась по домам. На улице все стихало, даже взрослые без нужды не выходили на улицу. В эти минуты перед сном мы с братом и сестрой прятались за печкой на скамейке, и они рассказывали местные страшилки.

— Ночью по нашей деревне ходит бабулька, она крадется от дома к дому, ходит медленно и очень тихо. Она бесшумно открывает калитку, проходит под окнами и идет в коровник. Коровы уже знают ее, поэтому стоят спокойно. Она сгибается крюкой, седые волосы свисают и касаются земли, а потом и вся она переворачивается вверх ногами и пьет коровье молоко прямо из вымени. И лучше не беспокоить ее в это время, иначе она «Хвать!» — Баатар схватил меня за руку, я вздрогнула и закричала. — Тихе! Ночью нельзя кричать, а то она услышит.

Сэсэг кивала.

— Да! Нельзя громко говорить, — шептала она. — А еще нельзя долго бродить по ночам. Если припозднишься, то можно увидеть, как с гор в овраги спускаются огни. Это духи прекрасных дев несут в руках негаснущие свечи. Нельзя к ним приближаться, а они так и манят.

— Неправда все это! — Я не верила ни единому слову, но на улице даже в туалет ходить боялась. Для детей в сенях было для таких нужд специальное приспособление — ведро. Противно, но лучше, чем бабулька-любительница молока.

— Не веришь? А мой отец сам встречал эти огни. А еще он рассказывал, что давным-давно, когда наши дедушки и бабушки жили в юртах, по степям бродила корова. С виду обычная корова, но если такую встретит путник, то она вставала на задние лапы, шла, как человек, и разговаривала. Днем они не водятся, только с заходом солнца выходят на пустые пастбища.

— Врете вы все!

— Нет, это правда, если не веришь, то спроси у бабушки, она много всякого видела своими глазами.

Меня пугали эти истории до жути, я даже оглядываться по вечерам боялась, вдруг кто сидит позади. К коровам близко не под-

ходила даже днем. Но каждый вечер я с нетерпением ждала новых страшилок, а в запасе у родных их было много. Каждый вечер Баатар и Сэсэг рассказывали все новые и новые истории. Одна запомнилась больше всего. Брат сказал, что у человека три души. Первая душа хорошая, она сразу отлетает после смерти к предкам, вторая путешествует во снах. Это очень опасно, потому что если она встретится со злыми духами, то они схватят эту душу, уволочут за собой в мир неживых, и человек умрет прямо во сне. Третья душа у человека злая, она навсегда привязана к телу человека, никогда его не покидает, даже после смерти остается жить на могиле. Именно поэтому буряты никогда не возвращаются на кладбище. Никогда.

Из всех историй и легенд эта пугала больше всего, потому что от остального можно было спастись, просто оставшись вечером дома. А все три души были во мне в каждую минуту жизни, и мне не очень нравилось, что во мне сидит зло. После первого ночного кошмара я боялась засыпать, но перед сном очень просила вторую свою душу особо не гулять по снам далеко от меня, чтобы ее никто не схватил. И несмотря на все эти жуткие истории, спалось в деревне мне хорошо. Ночью больше никто меня не тревожил, ни шорохи, ни темнота, ни лебедь. Я засыпала до того, как моя голова коснется подушки и вставала с первыми петухами. Так пролетел мамин отпуск.

На прощанье брат подарил книги, сестра — фломастеры, я обнимала Дарису, будто родную сестру. Мама обещала, что следующим летом я снова всех увижу, но больше мы туда никогда не приезжали. Когда бабушки не стало, мама одна съездила на похороны, и с тех пор я больше никогда не была на родине матери.

Я помнила рыжего кота и большую грязную лужу во всю улицу, новых друзей, брата и сестру и крепкий бревенчатый дом. После смерти бабушки в нем поселилась тетя. На редких фото, которые мне показывала мама, я видела уставшую и сильно постаревшую женщину с платком на голове. Совсем как бабушка.

8

Если бы легенды говорили правду, то моей праmaterью была дева-лебедь. Я закидываю голову кверху, лебеди давно покинули эти края. Страшилки из детства давно забылись, я перестала обращать-

ся к своим трем душам. Но на родной земле давние истории вспомнились, наполнили сознание и обволокли облаком тугого тумана.

Чур меня!

Не время раскисать, не страх, но беспокойство поселилось на душе, однако это трезвые чувства — одна в незнакомой глуши. Глупо не волноваться.

Небо теряет краски, мрачнее натягивается полотно туч. Ни одна машина не свернула с дороги в эту глушь, родня будто провалилась — потерялась без связи в сети. За это время я не видела ни муравья, ни жука, ни одной птицы — вымершая земля, на которой обитают только комары. Просовываю руки в рукава, чтобы согреться, и, чтобы злые комары кусали руки, прячу лицо в колени. Кровопийцы жужжат над головой, донимают.

Вокруг шумит лес, слякотная дорога — не пройти и шага. Приложение напоминает: четыре часа до цели пешком.

«К чему мне эти трудности. Надо было найти выход, решить вопросы дистанционно или просто плюнуть — не мои проблемы», — бурчу себе под нос. Сажу на чемодане, белые кроссовки в каплях грязи. «Интересно, в Хоринске есть гостиницы? Вернуться в цивилизацию, там есть еда, чай с лимоном — я согласна на него, теплая постель, люди, в конце концов», — мысли прервал странный чавкающий звук. Поднимаю голову, мимо меня медленно плетется лошадь — чвак, чвак копытами по раскисшей дороге. Кобылка тянет повозку, а на ней солома свисает, мешки кучей лежат, и старичок сгорбился весь, будто спит, но руки крепко держат вожжи.

— Пойдите, — кричу я, и телега останавливается. — Вы в тот улус, не знаю, у него, кажется, нет названия. — Хочу достать телефон, чтобы показать на карте. Старичок молча кивает головой, и все тело качается, как неваляшка. На нем толстая черная куртка, капюшон на голове, видны только морщинистые большие руки. — А можно с вами?

Старик опять кивает. Может, немой, кто его разберет. Но лучше добраться до деревни сейчас на повозке, чем ночевать в лесу. Закидываю чемодан, сажусь с краю. Лошадь беспокоится, издает громкий вибрирующий звук, недовольно фыркает, высоко поднимает голову и хвост. Старик жестко вскидывает вожжи, кричит нечленораздельно, может, на бурятском. Лошади ничего не остается, как подчиниться и идти. Бедняга медленно идет вперед — чвак, чвак.

Плохая дорога быстро заканчивается, дальше сбитый плотный протоптанный грунт, мы бодро едем. Тихо. Воздух плотный. Высокие хвойные деревья стоят недвижно. Тут вперемешку и сосны, и лиственница, и ели — их можно отличить по длине и цвету хвои и строению иголок. Миллион оттенков зелени.

Деревня оказалась ближе, чем подсказывал Гугл. Нечему удивляться, в этих просторах сам Гугл черт ногу сломит. Безлюдно. Одна улица, и с десяток домов. Телега останавливается напротив первого дома, я соскакиваю, беру чемодан и благодарю дедушку, что довез меня. Он молчит и только кивает в ответ, угрюмо так. Я хочу разглядеть лицо, подхожу ближе.

— Спасибо, дедушка! — почти кричу я, вдруг он плохо слышит.

Но старик вскидывает вожжи, лошадь опять нервно фырчит, дергает головой и с неохотой тащит телегу дальше по улице.

Беру телефон, звоню родственникам. Какой из десяти домов мне нужен? «Абонент временно недоступен». Кто бы сомневался, удивительно, что мой телефон словил сеть. Открываю сообщения от матери, где-то было сказано, что родственники сделали новую крышу. Да, точно. Здесь с новой крышей только один дом. Иду к нему.

Странно, но я совсем не помню этих мест. Нет ни черемухи в ограде, ни дома старика, у которого мы воровали ягоду. Доски штакетника местами оторвались, почернели, обуглились, будто их коснулось пламя. От крепкого бревенчатого дома ни следа. В ограде выросла трава с меня ростом, тропинку от калитки сделали из досок. Иду, старая, почти прогнившая древесина гнется под ногами: чвак, чвак.

Внезапно из конуры выскакивает мохнатое черное нечто. Не сразу соображаю, что это собака. Сердце ухнуло в ноги, кричу и бегу обратно. Животное несется вперед. Чемодан бросила в лужу, огромными шагами, наступаю мимо досок, оборачиваюсь — пес встал на дыбы и лает истошно и рычит, черная шерсть дыбится. Но стоит на месте. Цепь крепко держит обезумевшего пса.

— Хошь, хошь! — кричит старушка. — Свои пришли!

Выдыхаю. Старушка с зеленым платком на голове медленно спускается по ступенькам и тянет за цепь. Пес будто понял, бежит к хозяйке ластиться, потом идет в конуру.

— Пойдем, пойдем в дом, — торопит старушка.

Вытаскиваю чемодан из лужи, серые капли стекают по гладкой поверхности. Одна кроссовка полностью в грязи. Теперь уже вода

внутри: чвак, чвак. Пес неодобрительно провожает взглядом, но молчит.

Дверной проем низкий, приходится нагнуться, чтобы пройти. Втаскиваю чемодан, мнусь у входа — не хочу запачкать полы. Внутри тусклый свет. С низкого потолка свисает люстра с тремя плафонами, из них горит только один.

— Звать-то тебя как?

— Яна.

— Как? — скрипнул старушечий голос.

— Арьяна, — лениво произношу имя.

— Понятно. Проходи, проходи. Что ты встала у порога?

Старушка бодро рассказывает по кухне. Слышу, как закипает чайник. Я показываю на обувь, бабушка все понимает без слов, ворчит на бурятском и бросает в ноги тапочки. Рядом ставит таз с водой и дает тряпку. Я опускаю кроссовку в тазик с водой. Хочу спросить, как зовут загадочную старушку, но она сама спешит представиться.

— Зови меня баба Жигжит⁹. Ты из Иванова, да?

Я киваю в ответ, а сама стараюсь припомнить родственницу с таким именем. Мать не предупреждала о ней, поэтому осторожно интересуюсь.

— А вы живете здесь?

— Да, давно обитаю в этих стенах, все мной пропиталось: и пол, и потолок, и кровати, и полки.

— Вы родственница тети Лосолмы?

— Все мы между собой родня, — голова с зеленым платком кивает.

— У вас телефон не работает? Я звонила вам.

— Давно уже здесь ничего не работает.

— А где Баатар и Сэсэг?

— Да кто же сюда приедет, сама же видишь, дорогу размыло, не проехать. Завтра просохнет, видно будет. — Чайник вскипел, и бабушка наливает воду в заварник. Струйки пара не успели подняться вверх, как бабушка закрывает крышку. А потом говорит, будто я не расслышала. — Завтра.

За столом я, наконец, смогла разглядеть бабушку Жигжит — седые волосы торчат безжизненной соломой из-под платка, темная кожа, вся в пигментных пятнах и морщинах, узкие глаза быстро моргают, а один зрачок совершенно белый и пугающе неподвижный.

⁹ Имя Жигжит в переводе с тибетского означает «устрашающий хранитель веры».

— На глаз мой смотришь? — смеется старушка, обнажая беззубый рот — пара кривых клыков внизу, два передних сверху расползлись, оставив щербинку. Она прикрывает рот рукой, видимо, привыкла к бесцеремонным взглядам. — Это катаракта проклятая.

Многозначительно киваю и молчу. Я чувствую тлетворный запах гнили и гари. Дом, по всей видимости, сгнил изнутри, а дымоход забился, поэтому пахнет горелым. И потолки кажутся низкими, создают впечатление ловушки. Мне дурно от смеси запахов гнили и гари, густого тягучего воздуха. Дом бабушки в детстве казался просторным и светлым, в детстве все кажется другим.

Старушка наливает в разные кружки сначала заварку, потом молоко, сверху кипяток. Ставит передо мной чай с молоком, на поверхности плавают пузырьки, струится пар. Напиток медленно остывает. «Опять с молоком, и никакой альтернативы», — думаю я про себя, и мне кажется, что старушка знает, о чем я думаю. Онемевший глаз старушки, как крошечная камера слежения, направлен на меня. Я вправо, он за мной, подамся вперед, и он тут как тут, хотя старушка смотрит вниз: ложкой набирает сливочное масло и кладет в кружку. Масло быстро тает и расплывается на поверхности жирными желтыми пятнами. Старушка сверху посыпает солью, помешивает чай и делает глоток¹⁰. Меня сейчас стошнит.

— Извините, я позвоню. — Набираю три номера, ответ неизменный.

— Не переживай, завтра все разрешится. Завтра, — кивает зеленый платок, и белый глаз сканирует каждый мой жест.

По спине табуном бегут мурашки, вдоль позвоночника медленно ползет крошечная капля пота, заставляет всем телом съежиться от ощущений. Мне кажется, что кто-то касается меня, гладит. Но позади только шкаф. Соглашаюсь, некуда деваться. Отпиваю чай с молоком, на этот раз радуюсь, что это просто чай с молоком без масла и соли. Все познается в сравнении.

И вдруг как в детстве, бабушка вскакивает, руками всплеснув, кричит и носится по кухне — от буфета к окну и обратно. В этот раз я знаю, куда смотреть: на небе косяк лебедей машет крыльями, устремившись вдаль. Быстро бабушка наливает молоко, высоко поднимает прозрачную бутылку с белой жидкостью, и струя точно попадает в круглый центр кружки.

¹⁰ Традиционный бурятский чай с солью, мукой и маслом хорошо утоляет жажду и голод.

— Чай для подношения не годится, мы уже отпили. Можно подавать только свежий чай. За мной, за мной! — командует старушка, стягивает с себя платок, бросает мне в руки. Ловлю потрепанный засаленный зеленый шелк. — На голову. С непокрытой головой нельзя. Ну же!

На ходу завязываю платок, прямо в тапочках на крыльцо. Там пес снова лает, будто видит призрак. Кружка у меня в руках, ручка холодная, как лед.

— Давай скорее, а то улетят! — кричит старушка и показывает, как брызгать, рукой вверх полукругом. И мне будто одиннадцать лет, я стою на крыльце с бабушкой, она мне что-то на бурятском, а я ни слова не разберу. — Торопись!

Я подкидываю молоко к небу, белоснежные капли на секунду зависают в воздухе, а потом устремляются вниз на черную раскисшую землю и падают полукруглой дорожкой.

— О чем думала, когда брызгала?

— Да ни о чем.

— Эх, — машет старушка рукой на меня и идет обратно в дом.

9

За окном ночь, будто на небо опрокинули кружку с черным кофе. Заволокло всю округу густой тьмой. На улице ни фонаря, ни света в окнах, только собака скребется в конуре. Старушка сказала, что в деревне рано ложатся спать, а встают с первыми лучами солнца. Кто бы знал, так оно или нет. Она завела тесто, раскатала на столе белым блином.

— Буузы-то лепить умеешь, Арьяна?

— Нет, — съеживаюсь от звука собственного имени, непривычное «арь» перед любимыми «яна».

— Традиций-то наших вовсе не знаешь? — вздыхает бабулька.

Я опять мотаю головой, даже голоса не подав. Как быстро меня можно загнать в чувство вины, хотя совсем не мне надо отвечать на обвинения старушки.

— Ничего ты не знаешь о родине. Западные боги тебя знают, а о предках своих ты забыла. Это мать твоя ошибку допустила, но расплачиваться ты будешь. Дерево без корней не растет, и ты мечешь-

ся, как воздушный шарик. Бух! — Старушка громко хлопает в ладоши прямо у меня перед лицом, и я подскакиваю на стуле. — И нет тебя. Но, ничего, я тебя всему научу. Вот, смотри, буузы — символ юрты с жаром внутри.

— Как хинкали или манты, — говорю я.

— Дурная твоя голова. Хинкали! Ма-а-анты! — передразнивает старушка, я виновато улыбаюсь. — В буузах обязательно оставляют отверстие, как в юрте дымоход. Не было бы дымохода в юрте, девалебедь не сбежала бы от Хоридоя, не стала бы царицей небесной, покровительницей всех своих дочерей, не защищала бы тебя от невзгод и бед. — Крючковатый палец уперся мне в грудь, а белый глаз смотрит не моргая. — За твоей спиной двадцать поколений, ты можешь себе представить, сколько это человек?

— Не знаю. — Не сразу понимаю, что это не риторический вопрос, но палец и глаз все еще сверлят нутро и тело. Я робко отвечаю: — Тысяча? Десять тысяч?

— Ха, — бабушка задирает голову к потолку, я вижу, как на шее пульсируют раздутые старческие вены. — Миллион! Мил-ли-он твоих предков за твоими плечами. Армия! Они пойдут за тобой, если позовешь. И убьют, если проклянешь.

Я сглатываю слюну.

— Но их уже нет.

Лучше бы я молчала.

— Смерть — лишь этап, тело умирает, душа переродится, если заслужила, или будет скитаться вечно, если грешна. Они-то к тебе и приходят по ночам, тревожат. Сами не успокоились, и тебе покоя не дают.

Жуткая старуха умеет навести ужас. Она знает про сны? Или это совпадение, а она просто умалишенная дальняя родственница? Мне хочется найти другую родню, адекватную, чтобы вести светские беседы, сделать дела и сбежать обратно в Иваново.

— Да, не бойся ты, — рука старухи с размаху бьет по спине, теперь в том месте жжет, кожу будто опалили, — я тебя всему научу.

Я потираю лопатку и плечо, ощущение жжения долго не проходят. Внутри комком собирается страх, не тот, что обычно бывает во сне, и не такой, как от просмотра жутких фильмов. Страх перед необъяснимым, перед тем, что я не в силах понять, описать и высказать.

Старуха катает скалкой по тонкому тесту, как ни в чем не бывало, и что-то бормочет под нос. Потом берет стакан и выдавливает ровные кружочки. Оставшееся тесто сгребает, заворачивает в пестрое полотенце.

— Вот так берешь... — Сухая рука держит тесто, в центре комочком заготовленное мясо. Костлявые пальцы ловко делают защипы вокруг — раз-два и готово.

Я повторяю движения, но выходит криво. Старушка одобрительно кивает, поджав губы. Напоминает лепку пельменей, но форма другая, про отверстие не забываю. Надо признать — занятие медитативное, успокаивает нервы. Вода в пароварке закипает, мы выставляем на решетку ровные красивые буузы старушки и рядом мои — не мини-юрта, а покосившаяся изба. Через полчаса ароматный пар копится под потолком и спускается вниз, оседает каплями пара на стекле, совсем закрывая обзор на улицу. Мы будто посреди тьмы в коконе света, тепла и насыщенного аромата вкусной еды — в юрте, где уютно, тепло и безопасно. Старушка накладывает буузы, ставит на стол чай с молоком. Я даже не заикаюсь про кофе. Кажется, скоро придется привыкнуть к вкусу чая с молоком.

Старушка надкусывает буузу, шумно выпивает сок. Я повторяю за ней. Нет, на манты и хинкали совершенно не похоже. Сочнее.

Она говорит с набитым ртом:

— Парень-то есть у тебя?

Я отрицательно машу головой.

— Может, нравится кто?

— Ну, новый преподаватель на кафедре ничего такой, — улыбаюсь я. — А у вас есть муж?

— Был, — она тянет гласную, будто песню поет или завывает. — Душа в душу 50 лет прожили. Только пил старик. Знаешь, когда люди пьют, к ним на грудь черт садится и слизывает с губ остатки водки, лакомится. Поэтому люди спьяну говорят невесте что, не своим голосом вещают, голосом черта. А старик мой не просыхал, черт на груди у него поселился, привольно жил, толстел, жирел, обвил руками и ногами шею, внутрь ростки пустил, мозги затуманил, сердце отравил. Умер мой старик.

— Сочувствую.

Под потолком моргает лампочка — перебой с электричеством. По запотевшему стеклу медленно скользит капля, оставляя чер-

ную полосу. Теперь рассказы старушки больше похожи на сказки. Общеизвестный факт, как влияет алкоголь на тело, здоровье, разум, поведение. Только дети верят в чертей, хотя они скорее испугаются теневого бана в инстаграме или блокировки аккаунта в Тик-Токе. Я ухмыляюсь, но вслух этого лучше не говорить. Но от старушечьего глаза ухмылку не скрыть.

— Ты думаешь, что мир только для живых. Но те, кто ушел, всегда неподалеку, поэтому у нас кладбища нет. И я не знаю, где останки моего старика лежат.

— Как это? — Я изумленно смотрю на старушку, рука застыла с кружкой чая.

Свет опять дрожит. Ветер порывом бьется в окно, и стеклина в раме дребезжит, вибрирует. И долго еще в ушах стоит этот звук.

— Знаешь, как в старину буряты хоронили своих? В белое полотно тело завернут, на телегу положат и везут по горам, по степям, по оврагам. Человек сам находит последнее пристанище, а там дикое зверье свое дело знает. У нас до сих пор так хоронят. И деда моего хоронил сосед, который тебя привез сегодня.

Меня пробирает дрожь, будто слова бьют током. Это уже слишком — ехать на телеге, которую для похорон используют. Вспоминаю себя на ней, и внутренности скручивает. Я к такой экзотике не привыкла. Возмущение рвется наружу, но слова будто зажало в грудной клетке. Настало время старушки на меня смотреть с ухмылкой. Наконец, я нашла в себе силы.

— Знаете, это нарушает санитарные нормы, это бесчеловечно и ужасно, люди заслуживают цивилизованных похорон. Мы живем в двадцать первом веке. Я напишу жалобу в Роспотребнадзор, как только вернусь в Иваново.

— Да пиши куда хочешь.

— А я прямо сейчас это сделаю! Онлайн. — Набираю в Гугле «Роспотребнадзор Бурятии», ищу по сайту окошко для жалоб, двумя пальцами быстро печатаю текст, в подробностях описываю ситуацию, указываю место по геометке. Пусть разберутся! Моему возмущению нет предела.

Старушка не сводит с меня глаз, пока я набираю текст, пока жду, когда письмо улетит в интернет-пространство.

— Написала?

— Да.

— Довольна?

— Да! — твердо отвечаю, ей меня не сломить.

Лампочка под потолком быстро моргает, и тени пляшут на кривых стенах. Мы молчим, и на улице тишь. Вдруг скрип за окном — будто кто-то водит металлом по стеклу. Я вскакиваю с табурета, вязаное круглое сиденье соскальзывает на пол. Смотрю на старушку, та молчит. И снова скрип, но теперь громче, яростнее, будто у меня в ушах кто-то скребется.

— Это кот, — тянет слова старушка.

Я оглядываюсь — рыжий чумазый кот бегал по дому, ластился, просил еду. Вот он же сидит на скамье у входа, наелся, лапы поджал, глаза прикрыл, отдыхает.

— Так то другой, — скривив губы, отвечает старая на мой немой вопрос.

Поднимаю с пола сидушку, усаживаюсь. Звуки стихли.

— Ложись-ка ты спать, устала, наверно, с дороги. Со стола я сама уберу.

Я допиваю остывший чай. Потом иду в туалет. Уличная деревянная постройка со зловонной жижей на два метра вниз — вот, что пугает сильнее любых выдуманных легенд. Реальная жизнь страшнее сказок. Как же я хочу вернуться в цивилизацию, где кофе, люди и свет.

Набираю три знакомых номера. За один вечер выучила последовательность цифр наизусть, я не знаю, кто там на той стороне провода, но все-то лучше безумной старухи и жуткого дома. «Нет сигнала», — телефон упрямится. Перезагружаю сеть. «Абонент временно недоступен», — и так три раза.

Медленно крадусь по двору обратно, освещаю фонариком сырую землю. Слышу, как в конуре громко дышит пес, кто-то проскочил под ногами. Должно быть, кот. Тот самый, который скребся снаружи. Вдруг что-то тянет за рукав кофты, слышу визг, только потом понимаю, что это я кричу. Резко дергаю руку, разворачиваюсь, свечу фонариком — ветка качается из стороны в сторону. Зацепилась в темноте — вот и вся мистика. Бегу в дом, дверь захлопывается позади. Быстрее бы утро.

Бабушка надела белую, длинную, до пят, сорочку, распустила седые волосы. Медленно семенит по дому, не отрывая от пола уставшие ноги, а сама будто плывет туда-сюда, застилает кровать

у печки. Потом, ни слова не сказав, выключает свет и ложится у противоположной стены.

Немного сырая постель холодит. Я листаю ленту инстаграма, переключаясь на Тик-Ток — лишь бы не заснуть. Дом и его обитатели пострашнее кошмаров, но если засну здесь и проснусь от дурного сна, то мне ничего уже не поможет — ни успокоительное, которое осталось в Иваново, ни кофе, ни дыхательные практики. Лучше вообще не спать. Привычное дело для меня — вздремнуть часок на рассвете, а потом весь день работать. Зато на следующую ночь я сплю так крепко, что кошмарам не подступиться.

10

Бессмысленно пялюсь в телефон уже полчаса, а то и больше. Без кофе мозг вот-вот отключится, картинки сливаются в один поток бесвязной яркой пляски. Рука слабеет и роняет телефон. Экран уткнулся в серую простыню, а сам продолжает жить виртуальной жизнью. Не знаю, сколько времени проходит, но я просыпаюсь от лая собаки. Пес переходит на вой, потом скулит жалобно, просит отпустить с привязи, теряет надежду и опять по кругу — неистово лает, воет, скулит.

— Чертова собака!

С кровати встает старушка, не включая свет, идет к выходу. В ночи видно только белую сорочку, плывущую над полом через комнату. Просто обман зрения, иллюзия, которой нельзя верить. А коли испугаешься, страх завладеет мозгом, и тот станет рисовать то, чего на самом деле нет.

Белая сорочка летит обратно:

— И чего ему не спится. Ночью духи просыпаются, бродят снаружи, в дома заглядывают. Нельзя шуметь, кричать, петь в это время, особенно на улице. Не по нраву это духам, беспокоятся они.

— Бабушка Жигжит, неправда все это.

— Не веришь? А зря. У нас говорят, что даже имя свое нельзя ночью произносить. Скажешь громко, и духи услышат. Тьма проглотит звуки и приберет к рукам твою душу. А человек без души долго не протянет, будет смерть искать.

Собака снова зашлась лаем, и белая сорочка поплыла к выходу.

— Фу, нельзя, — шепчет голос.

Входная дверь настежь. Холодный влажный воздух медленно ползет по полу, и до меня доходит ароматная деревенская прохлада. Запах трав, зелени, дождя и сырой земли. Слышу, как скрипят ступени крыльца, старушка спускается вниз. Лязгнула цепь — пес свободен. Опять скрипят ступени, старушка возвращается в дом, но белая сорочка не плывет обратно к кровати. Минута прошла, три, пять.

— Бабушка Жигжит, — шепчу я, будто поверила глупым сказкам про ночь и имя.

В ответ тишина. Холодный воздух улицы наполнил комнату от пола до потолка, вытеснил тепло наружу. Зябко. Наверное, она в туалет пошла. Жду, когда вернется старушка, но уже десять роликов Тик-Тока прошло, а ее все нет. Натягиваю джинсы и кофту, иду босиком до двери. Старое дерево скрипит под ногами, холодит подошвы. Чувствую песок под ногами, будто этот пол давно никто не подметал. Ай! Наступила на острый камень. Так и порезаться недолго, надо бы свет включить и обувь найти.

Снова зову бабушку, ответа нет.

Иду по стенке, темно, даже очертаний не видно. Ищу выключатель. Должен быть где-то возле входной двери. Щупаю руками висящие на гвоздике куртки, халаты, плащи, кофты. Разная ткань — мягкая, грубая, шершавая, колючая. Осязание острее в темноте.

«Ай», — снова камень под другой ногой.

Снаружи ни звука. Только тянет холодом, будто там зима. Нащупала дверной косяк, перебираю руками вдоль него. Шершавая кривая поверхность, и вот, наконец, выключатель. Свет яркий, хотя еще полчаса назад лампочка казалась тусклой.

Выхожу на крыльцо. Никого. Шепчу под нос. Я не поверила ни единому слову старушки, но все равно боюсь громко кричать. Есть в мире то, что не поддается логике. Мы можем сопротивляться и не верить, можем спорить и пытаться отделить факты от вымысла. Но когда стоишь в одиночестве на пороге ветхого дома, впереди глухая непроглядная ночь и единственный человек пропадает во тьме, лучше принять правила игры.

Мозг пытается мыслить логически, на то он и создан. Может, ушла куда, коров проверить или к соседям. Сердце в это время делает кульбиты, на то оно и сердце. Свет тоннелем падает на улицу, и моя тень не движется. Я боюсь пошелохнуться, руки сжала в кулаки, тело заостенело, гляжу во тьму, а там чернота и пустошь.

Дует ветер, сквозит, пронизывает. Одним махом дверь захлопывается за спиной. Ничего не видно. Мгла подступает к горлу, давит на глаза. Я кричу, тяну дверную ручку. Заклинило или... Секунды тишины достаточно, чтобы слышать, как внутри кто-то кряхтит и посмеивается.

— Бабушка Жигжит, откройте!

Розыгрыш удался, проклятая старушка. Дверь не поддается. Упираюсь ногой в стену, резко тяну, в плече что-то хрустнуло и теперь ноет. Дверь крякнула и отворилась. Внутри темно.

— Бабушка! — рычу во все горло, злость дает силы не бояться.

Щелкаю выключатель. Ничего. Еще раз. Света нет. Иду за телефоном, включаю фонарик, свечу вокруг. Две кровати, одеяла вскочены, дальше стол, шмыгнула под табуретом кошка, и больше никого. На столе намело слой пыли, будто пылевая буря кружила в доме. Ветер гуляет привольно, сквозит через широкий дверной проем в узкое горлышко форточки, слышу, как дребезжат стекла от резких прорывов. А стены чернющие, будто опалили газовой горелкой. И как я не заметила при свете. Но мне некогда рассуждать.

На часах за полночь. Набираю три номера. Ответ привычный, от этой деревни другого не жди. «Будь проклят этот дом и бестолковая родня!» — кричу у себя в голове, словно я в клетке собственного тела, а сама даже рот боюсь открыть и переживаю, не слишком ли громко дышу.

— Пробки выбило! — спокойным голосом говорю себе вслух, чтобы дать понять, что не струсил. Ни капли мистики, обычные перебои с электричеством.

Хочу просто зарыться в одеяло и притвориться, что это не мои проблемы. Может, бабушка не в себе и каждую ночь сбегает, носится по округе и пугает соседских ребятишек, а утром возвращается в постель и притворяется нормальной. Все мы немного не в себе, только и делаем, что притворяемся нормальными.

Сажусь на кровать, фонарь уперся лучом в потолок. Рассуждаю логически, без нервов, насколько это возможно, а сама слушаю, что на улице. Вдруг прямо сейчас заскрипит крыльцо, бесшумные шаги, белая сорочка, и бабушка Жигжит войдет в дом. Но нет. Тишина, даже ветер стих.

«Черт!» — уже не так страшны сказки про духов, как реальная угроза для старенькой бабушки. А что если она ногу сломала? Что

делать с ее дряхлым телом до утра, ведь скорая помощь не придет ночью, по таким дорогам она и днем не приедет. А если инфаркт или инсульт, тогда счет идет на минуты. Хотя, может, старая просто обиделась из-за жалобы в Роспотребнадзор, ушла к соседу или сидит недалеко на лавочке. Хочется крикнуть во все горло, вместо этого сжимаю кулаки, ногти впиваются в кожу.

Ищу кроссовки, они еще не успели просохнуть. Надеваю на босую ногу мокрую обувь, какая мерзость. Холодно и сыро. Держу телефон перед собой — тьма расступись. Сначала к соседям, они могут знать, куда старушка запропастилась. Это мозг пытается придумать оправдание трусливому сердцу, которое стучит, колотится, боится: «С людьми не так страшно».

От крыльца иду к калитке по двум доскам, брошенным через топкую жижу. Через улицу попадаю во двор к соседям, где такие же доски на земле. Стучу в дверь. Тишина. Жду. Брожу под окнами, стучу, стекла звенят от ударов. Снова из ограды в ограду. Второй дом, третий, пятый. Вот и улица закончилась, а дальше стеной возвышается лес и растет дальше крутой горой. И я стою под ней, как мышь предо львом.

Вот теперь время кричать. Паника рвется наружу, дышу быстро, вот-вот задохнусь. Сначала немеют ноги, потом покалывает в руках. Я не знаю, что делать, куда идти и где искать помощи. Сгибаюсь, упираю одну руку в колено, пальцами второй цепко держу телефон. Фонарик светит в лужу, а та блестит в ответ. Меня сейчас стошнит, в голове стучит пульс.

Внезапно по округе разносится не то крик, не то зов. «Бабушка Жигжит!» — мелькнуло в голове, и я уже ринулась навстречу звуку. Кроссовки скользят по грязи, ветер в лицо, фонарик освещает небольшой купол впереди меня, мне кажется, что я бегу так быстро, что свет не поспевает за мной. Стоп! Нет. На самом деле аккумулятор телефона сигнализирует об опасности красным цветом: «Вы больше не можете использовать фонарик». Экран чернеет, и мобильник впадает в состояние экономии электроэнергии. Предательские цифровые технологии.

Снова раздается пронзительный вопль, острый, как игла колет в самое сердце. На ходу толкаю бесполезный телефон в задний карман джинсов и бреду наугад, вытянув руки вперед. Я на пустой дороге, изрытой узкими полосками деревянных колес телеги, покрытой глубокими следами лошадиных копыт. Надо мной плывут

черные тучи. Позади гора, по левую сторону дома, вдоль дороги тянется штакетник, на другой стороне пустырь с крапивой выше моего роста — все, что я успела разглядеть днем. Останавливаюсь, прислушиваюсь. Тишина. И дальше что? Куда идти?

— Назови свое имя, — шепчет кто-то невдалеке.

По спине бежит холодок, и за секунду тело сковывает льдом ужаса. Оглядываюсь вокруг, руками щупаю воздух. Ветер сквозь пальцы. Никого. Послышалось, привиделось, придумалось в голове. Что там бабушка говорила про местные легенды? Нельзя проносить имя, чтобы злые духи не украли душу. Бред, ну что за сказки! Неправда, неправда! Хватаюсь за телефон, бесполезно свечу черным экраном вокруг себя, убираю обратно.

— Назови свое имя, — уже ближе старушечий голос.

От страха скукоживаюсь, лицо в ладони, чувствую, как замерзли руки. Безжизненный холод пальцев и тьма. Руки трясутся, дрожит все тело, хватаю себя за плечи, пытаюсь остановить эту дрожь.

— Нет! — кричу в ответ не то себе, не то кому-то.

Ноги как парализованные, ничего не чувствуют, не двигаются, в животе кишки крутятся змеями. Вдруг ветер. Но не сплошной волной продувает насквозь с головы до ног, сквозь плотную вязку кофты, сквозь тонкий хлопок футболки и густые пряди волос, сквозь обнаженную душу. Этот ветер прошелся справа потоком, стих, обогнул трясущееся тело и зашел слева. Кажется, будто мимо кто-то ходит или дует из невидимой трубочки, издевается, играет, прячется. Или снится мне все это. Больно щиплю себя за предплечье, а в ухо ветер доносит шипящий хохот. Противный звук, как если соду залить кипятком.

— Назови свое имя, — в самое ухо бьет дыхание, кожа дыбится, отслаивается от тела.

Собираю силы, наотмашь бью воздух. Никого.

И опять кто-то вопит вдалеке: «Помогите!» Прямо только овраг, голос рвется снизу, тянется по земле и распускается волнами в небо. Я бегу вперед. Кофта цепляется за ветку и тянет меня назад. Секунда, чтобы понять, что я еще на дороге и здесь нет деревьев. Вырываюсь из чьих-то рук, бегу, опережая ветер. И не бабушку я хочу спасти, хочу, чтобы она спасла меня.

Сквозь джинсы чувствую высокую траву, кусты. По лицу хлещут ветки деревьев. Внезапно земля уходит из-под ног, падаю в овраг

и торможу пятками, зарываясь все глубже во влажную почву. В ладони впивается хвоя. Встаю, пытаюсь аккуратно спуститься, но соскальзываю, и ветер в спину толкает вперед.

— Скажи имя! — грохочет надо мной голос, чувствую кожей, как вибрирует воздух, и касается макушки.

— Нет! — Теперь я верю в твои сказки, бабушка Жигжит. — Не скажу, не отберешь мою душу.

Ветер хлещет по лицу.

Удар!

«Что это? Ветка?»

На щеке горит царапина, хватаюсь за больное место, на холодных пальцах липкая кровь. Теряю равновесие, съезжаю еще ниже в овраг. Коленками уперлась в землю, руками в жижу. Она бурлит под пальцами, перекачивается, будто в земле копошатся черви. Кричу и вскакиваю, хвастаюсь за худенькое дерево.

— Бабушка! — кричу я и, замерев, жду ответа.

Тишина.

Прижимаюсь спиной к стволу, перевожу дух и нутром ощущаю, как что-то громадное смотрит из черноты. Завожу руки назад, пальцами цепляюсь за кривую кору. Отворачиваю лицо, зажмуриваю глаза, трясусь так, что тонкое деревце позади шатается. Нечто прямо напротив. От него тянет холодом, и все во мне стынет. Я не чувствую ни ног, ни рук, только удары пульса в глубине дают знать, что я жива.

— Здесь никого. Только ты. — Морозное дыхание бьет в лицо. Нос и щеки покалывает от холода, я все не решаюсь открыть глаза. Шершавый язык касается щеки и тянется вверх, оставляя липкий холодный след. — Назови свое имя! — грохочет голос.

Я мотаю головой вместо ответа, сползаю по дереву вниз и прячу лицо в коленях, руками накрываю голову. «Оставь меня, оставь в покое». Ветер сыплет ударами то в голову, то в бока, на голой коже порезы и царапины. Встаю, чтобы бежать из оврага, но кроссовки скользят по вязкой земле. Хвастаюсь руками за колючие ветки, однако меня тянет вниз, будто за плечами рюкзак, набитый рухлядью. Скинуть бы его, снять с плеч груз, который мешаает, тащится за мной годами, нагромоздившись кучей слов, мыслей, чувств, лиц, прикосновений, вздохов. Я больше не хочу его нести и не могу.

Холодный поток вихрем устремляется вверх, и на секунду мне кажется, что все кончено. Сверху упадет громадина, обездвижит, раздавит, убьет. Ветер возвращается и бьет плетью. Свист! Удар!

— Имя! — звериный вой над головой.

Свист! Удар! Я больше не могу сопротивляться, я больше не могу бороться. Забери у меня душу, все, что хочешь забери. Я сдаюсь.

— Яна! — кричу я в темноту по привычке, а потом шепотом: — Яна я, Яна.

И в ту же секунду воздух разбивается о землю и расплзается по оврагу. И все смолкает — и голоса, и ветер. Я сижу еще долго, не в силах подняться и идти. Не в силах думать трезво. Только внутри сердце колоколом бьется, и я плачу навзрыд, закрыв лицо руками.

11

Я, кажется, так и заснула — ладони будто прилипли к лицу. Или все, что произошло, было сном? Я боюсь открыть глаза, что увижу вокруг? Может, облака и белый свет, заполняющий все пространство? Интересно, рай выглядит, как в фильмах, или его вовсе не существует? Или снова ночь и темень? Будто я в герметичном вакууме пустоты. Не хочу открывать глаза, я больше не вынесу испытаний. Пожалуйста! Ладони стали влажными от слез. Останусь так навсегда, в этой нелепой позе, не открывая глаз — отличное решение. Вдруг, не то перед глазами, не то в моей голове вырастает лебедь. Белые перья тянутся шелковой лентой, глаза-бусинки смотрят на меня. Птица тянется ко мне крылом, а касается уже рукой. Я вижу себя будто со стороны, сижу, поджав ноги, волосы растрепались, на руках и лице царапины, на одежде темными пятнами грязь. Напротив женщина в белом платье. Худое лицо, светлая кожа, румянец, острый подбородок, раскосые темно-карие глаза-бусинки. Она смотрит на меня, улыбается, нежно проводит по волосам и целует в лоб. И по всему телу растекается тепло, слабеют пальцы, не ноют ноги, пульс замедляется, возвращается ровное дыхание. А главное, больше не страшно. Мне кажется, я больше вообще ничего не боюсь.

Просыпаюсь.

Небо светлым куполом застыло в ожидании рассвета. Я сижу, прижавшись к тонкому стволу сосны. Овраг тянется вверх черной землей,

худыми высокими деревьями, кривыми елями, мелкими кустами, камнями и кучами хвои. Стоит дикая тишина, птицы не поют утреннюю трель, насекомые не подают голоса. Я поднимаюсь, держась за тонкий ствол дерева, который этой ночью стал моим спасительным якорем. Инстинктивно шупаю ноги, бедра, живот, плечи — проверяю, все ли на месте. Дышу, чтобы удостовериться, что еще могу. И только потом пытаюсь выползти из оврага, в голове пусто. Будто мир стал компьютерной игрой, а я играю от третьего лица. Тело движется по моей воле, и мозг не генерирует ни мыслей, ни эмоций.

Вокруг черная почва и никого. Ползком карабкаюсь вверх, пальцы цепляются за обугленные стволы, проваливаются в черную почву, грязь лезет под ногти. Отшатываюсь от черной костлявой руки в земле. Приглядываюсь. Всего лишь коренья сплелись, будто пальцы. Овраг позади. И я, не помня себя, бегу прочь.

Очнулась я только в знакомом кафе. Какой-то водитель довез до Хоринска, зарядил телефон и оставил здесь. В таких случаях обычно несут теплые пледы, вызывают полицию и психолога. А здесь хозяйка кафе стала теребить и требовать оплату за чай. Я очнулась, потому что ее могучие руки толкали меня на стуле из стороны в сторону. Сначала я увидела передник с пятнами, потом высокий поварской колпак и только потом сердитое лицо. Но благодаря ей я вернулась в реальность, с такими бойкими женщинами и психолог не нужен. Достала мелочь, отдала 20 рублей за остывший чай.

— Давно я здесь?

— Да час уже сидишь.

В небольшом кафетерии под деревянным потолком летали мухи, стоял крепкий аромат мясных блюд, на стеклах со стороны улицы застыли пыльные дождевые капли. Отрывками вспоминаю, как бежала, сломя голову, как плакала перед водителем чуть не на коленях, а потом устало тряслась на переднем сиденье, пока не оказалась здесь. Мысленно радуюсь, что все не закончилось, как с Патриком Суэйзи в «Привидении». Меня видят, со мной разговаривают, обо мне позаботились. Потом вспоминаю про бабушку Жигжит. А если она умерла по моей вине, потому что я не нашла ее, выпустила одну в ночную тьму? А она теперь лежит где-нибудь в овраге. Нет, все с ней в порядке, вернулась к утру. И меня захлестнули воспоминания. Во мраке я выкрикнула имя, а вдруг у меня теперь нет души, ни одной из трех. Вот хожу я — голое тело, со-

знание есть и мозг работает, а души нет. Где теперь ее искать, и как дальше жить, или жизни мне больше не видать? Паникую, дышу быстро-быстро и хочется кричать, бежать куда-то. Закрываю лицо ладонями, успокаиваю сначала дыхание: вдох на четыре счета, пауза на два, выдох на четыре. И только потом мысли. На восьмой круг спасаюсь от панической атаки.

Смотрю на свои руки, они испачканы, будто месила тесто из грязи. В одной ладони крепко держу зарядник, в другой телефон. Рядом чемодан, на колеса намотался дерн, серый пластик весь в царапинах и высохших комьях грязи. Чуть тронь — рассыпятся. Кладу телефон в задний карман джинсов. Грязь на одежде высохла, впиталась в мелкие волокна, оставила темно-коричневые пятна. Надо привести себя в порядок.

— Ты бы поела чего, Сашка сказал, что ты всю ночь по лесу бродила. Заблудилась, что ль? — Женщина в колпаке говорила через весь зал, перекрикивая радиоприемник и гомон посетителей.

Киваю в ответ. Поесть не мешало бы.

Сашка? Буду знать, как зовут тебя, мой спаситель.

Медленно, еле поднимая руки, встаю из-за столика, иду в туалет. За мной плетется чемодан, одно колесико жалобно скрипит. Новенький чемодан повидал этой ночью не меньше, чем я. Переодеваюсь, умываюсь, прибираю волосы. Приличный вид, но в глазах будто застыл ужас. Корчу сама себе рожицы в зеркало, даже пытаюсь улыбнуться, а глаза испуганные. Стараюсь не вспоминать прошлую ночь, иначе немедленно разревусь. Забыть, как по утрам я забываю дурной сон. Практика в этом у меня отличная.

Хочу заказать что-нибудь поесть. Смотрю на меню, а буквы и цифры не читаются, не могу сконцентрироваться на строчке, все плывет и скачет перед глазами. Женщина в колпаке понимающе кивает, когда прошу выбрать за меня. Я просто заплачу столько, сколько надо. Передо мной на столе большущая тарелка домашнего супа с лапшой и горячий чай с молоком. Чувствую, как просыпаются во мне бурятские корни. Или после еды силы вернулись?

Спускаюсь на скамейку у кафе, включаю телефон. Если родственники и сейчас не объявятся, собираю вещи и уезжаю немедленно. Обратный самолет в Москву только через три дня, раньше никак. Но лучше проведу их в гостинице, главное, чтобы номер был не 1408. Господи, как же я устала и хочу домой.

Первым делом стоит позвонить отцу, наверное, он волнуется больше всех. Но в Иваново слишком рано, не буду будить, напишу сообщение. У меня миллион оповещений: пропущенные звонки, письма на электронку, телеграм, вотсап. В ход пошли даже смс. Кто-то их еще пишет, кроме МЧС и Сбербанка? Сейчас это неважно. Звоню хоринским родственникам, надо удостовериться, что бабушка Жигжит нашлась и вернулась в дом. Сегодня туда должна была родня съехаться. Нет желания еще раз возвращаться в тот дом, но если придется, пусть меня везут на машине, никаких попуток и телег с мертвецами. И ночевать я там не намерена.

Мгновенно раздается гудок, и мужчина отвечает быстро, будто на ходу. Так просто? Звонишь, а кто-то берет трубку. Не надо проходить семь кругов ада ради одного телефонного звонка. «Почему ты вчера не был в сети? Знаешь, через что я прошла за эту ночь?» — кричу у себя в голове.

— Я Арьяна Соколова, приехала насчет наследства, — сдерживаю злость.

— А-а-а, Арьяна, — голос теплеет, и кажется, кто-то на той стороне больше не спешит. — А мы тебя потеряли, мама твоя звонила, переживала. Вчера же должна была приехать?

— Вчера, — вторю я, а раздражение закипает внутри.

— Позвонила бы, я бы тебя встретил.

— Так я звонила! Но то все телефоны недоступны, то сети не было. — Я перехожу на крик, но потом снова сдерживаюсь. Поэтому реплика катится вверх по дуге, а на последнем слове скатывается в повседневный тон.

— Я вчера весь день на связи был, ждал звонка. Ты где? Я подъеду примерно через полчаса.

— Я на остановке в Хоринске, где все маршрутки стоят. — На той стороне провода парень говорит: «Да-да». Значит, понял, где я. — А бабушка Жигжит нашлась? Она пропала ночью.

— Какая бабушка?

— Ну, старушка из дома, который мне в наследство оставили. Она сказала, что ждала меня. Но связи не было, чтобы сообщить о моем приезде.

— В том доме, который тебе оставили, живу я.

Я зависаю с телефоном в руке. Голова будто тонет в тяжелом вязком киселе. «Я сумасшедшая», — констатирую факт. Галлю-

цинации на фоне кофеиновой зависимости. Перед глазами все плывет, а я двигаюсь плавно, как в желе, теперь и все тело потонуло.

— До связи, — прощаюсь я.

Прикрываю веки, а передо мной лицо старушки с побелевшим от катаракты глазом. Улыбается и ворчит жуткая бабуля. Не было никакой бабушки Жигжит? Или была? И голоса в ночи, и лебедь-дева... Меня пробивает дрожь. Воспоминания такие четкие, что это не может быть галлюцинациями. Я помню старушку как наяву, ее белый глаз, запах, прикосновения. Помню, как ела, пила чай, как злилась на нее и писала обращение в Роспотребнадзор. Была там старушка, точно была! Может, я уехала не туда, в чужой дом забрела, а она бездомная просто, нашла себе пристанище. И сейчас бродит где-то в лесу, заблудилась или в топкой трясине застряла. Спасать ее надо, а то потом как с этим жить?

Разглядываю каждую проезжающую машину, вдруг это за мной. Но нет, все мимо. Над головой тучится небо, а рядом крутится мохнатый дворовый пес. Шерсть на животе висит комьями, на шее ошейник, и сам упитанный, как небольшой бегемот. «Нет, дружок, не до тебя сейчас», — говорю шепотом, а он садится напротив и выжидательно смотрит то на руки, то на лицо. Он мешает мне сконцентрироваться, невозможно выдержать давление голодных глаз. Злюсь и возвращаюсь в кафе за пирожком, отдаю бедняге, а потом прячусь на другой скамейке. Их всего две — одна у кафе, другая у магазина.

Машины туда-обратно. Черные, белые, большие, маленькие. Я почти засыпаю, как вдруг напротив останавливается пыльный внедорожник. А оттуда выходит молодой мужчина — коренастый, крепкий, загорелый. Местное солнце беспощадно к тем, кто трудится на улице. Волосы на голове короткие, глаза-щелки, улыбка до ушей:

— Ты же Арьяна? — На секунду замешкался, я киваю в ответ. — Я сразу понял, что это ты, в деревне редко кого встретишь с таким красивым чемоданом. — Он крепко бесцеремонно обнимает. — Не узнаешь меня? Я брат твой, Баатар, вместе играли в детстве.

В самом деле в мужских чертах проглядывается знакомый мальчишеский взгляд, пухлые щеки что тогда, что сейчас, и смех задорный. Теперь уже я обнимаю бесцеремонно и долго: «Узнала».

— Поехали, я тебе дом покажу, познакомлю с семьей.

— Нет, нам надо в тот улус, где я ночь провела. Там старушка была. Может, она перепутала и ждала другую родственницу, но она потерялась ночью. Надо ее найти.

Баатар напрягся, потер рукой подбородок. Я видела по глазам и жестам, что слова вертятся на языке, но он только кивнул в ответ. Машина несется по знакомому маршруту. Я в подробностях рассказываю все, что со мной случилось: про бабушку, про старый дом, про голоса, про царапину на лице то ли от ветра, то ли от ветки, про деву-лебедь. Брат мрачнеет с каждым словом, но молчит. Я не замечаю, как навигатор предупреждает о повороте. Съезжаем с трассы на проселочную дорогу. Грязь по краям высохла, черная жижа осталась в больших глубоких рывтинах. Внедорожник ловко лавирует между лужами, даже не трясет совсем. Улус ближе, чем предупреждают гугл-карты. Вот и приевшаяся глазу новая крыша дома, крапива с меня ростом, большая лужа тянется по одной колее дороги до конца улицы.

— Пойдем, — тяну брата за рукав — он ни с места. — Пойдем!

Баатар запустил руки в карманы, стоит насупившись, одинокая морщина пролегла меж бровей. Он молчит, будто воды набрал в рот. Я иду одна. Две доски от калитки к крыльцу. Меня встречает дверь нараспашку. И теперь я вижу, что дом наполовину сгоревший. Огонь шел от соседей через коровник и дровник позади дома, через сарай к пристрою, и вполз сначала в сени, потом в комнаты. Фасад целый, а внутри разруха. Но пожарные вовремя приехали, потушили огонь, разбили одно окно, лили воду внутрь, спасли кухню и одну спальню, где стояли две кровати, а на ней незаправленная постель, покрытая пылью и сажей. И я здесь спала? Розетка на одном проводе болтается у стены. Так вот почему мой телефон не зарядился той ночью!

Гляжу в окно — там выгоревшая деревня, в соседних домах ни дверей, ни окон, ни крыш, только почерневшие покосившиеся останки жилищ.

На полу наша зеленый платок, тот самый, что был на голове старушки. Вещи вокруг похоронены под слоем пыли, грязи и пепла. А платок лежит ярким зеленым пятном на грязном полу. Еще одно свидетельство, что бабушка жива. Бегу на крошечную кухню, где буфет и стол, там найдутся другие доказательства — чистые тарелки, пароварка, свежий чай с молоком и прочая еда. Но там только пыль и грязь.

Брат не идет за мной, стоит за оградой у машины, шагу боится ступить. Я плетусь обратно, держа платок в руке.

— Никого нет? — спрашивает он.

— Никого, — одними губами отвечаю я и мотаю головой.

— Оставь платок там! — грозно командует он.

Я кладу зеленую ткань на крыльцо, а он огибаёт машину с водительского сиденья, копошится и возвращается с двумя спичечными коробками. Насыпает на картон пахучий зелёный порошок и быстро поджигает. Смесь буйно дымит и пахнет травами. — На, возьми, пока не сгорел. Это благовония. Вокруг себя три раза по часовой стрелке.

Неуклюже кручу дымный коробок, обжигаюсь два раза. На третий круг роняю на землю. Брат берет и оставляет остатки целлюлозы и благовония на столбе. Этому дому пожар уже не страшен, кроме ветра здесь никого. Мы садимся в машину и едем прочь.

Молчим. Я выстраиваю логическую цепочку из нелогичных фактов. Приехала и попала в водоворот паранормальщины. Брат не тревожит, только поглядывает изредка, дает свыкнуться с мыслью, что я общалась с жителями потустороннего мира. Другого объяснения нет.

Телефон в руках тренькает, возвращает в мир живых. Отец ругается, но в конце посылает красное сердечко. Отвечаю и блокирую экран. Новый «треньк». Горит иконка электронной почты. Адресант — «Управление Федеральной Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия». Я бы немедленно смахнула в сторону и удалила бы как спам, но большой палец уже ткнул на письмо, пошла загрузка, а глаза пробежались по первым строчкам.

«Уважаемая Арьяна Соколова, сообщаем, что по вашему обращению в связи с фактами ненадлежащего захоронения усопших в ближайшее время проверку провести не представляется возможным, так как в указанном населенном пункте в данное время никто не проживает с 2008 года. После крупного пожара население получило новое жилье в ближайших поселениях. Благодарим за обращение».

— Это Шудхэр¹¹ за нос тебя водил. Это дух из низшего мира. Духи живут в заброшенных домах, в оврагах, на кладбищах. Мы, буряты, после похорон никогда не возвращаемся на кладбище. Запрещено это у нас. Злые духи разные бывают, и силы у некоторых немерено. Иногда достаточно просто окурить себя благовониями, тогда черт от тебя отцепится. А порой и шаман не излечит от контакта.

— Значит, это правда про три души в человеке?

— Мы верим, — многозначительно отвечает брат. Откуда ему знать, никому наверняка это неизвестно. Пока не наступит тот самый день, когда все три души будут свободны от тела, отправятся каждый по своему пути, до этого самого момента не узнать правды. Остается только верить.

— А дева-лебедь существовала? — скептически говорю я, а он только ухмыляется, я напирваю. — Вы буддисты и должны верить в просветление.

— У нас тут шаманизм с буддизмом крепко сплелись. Не так просто объяснить.

Мы опять долго молчим, пока дорога петляет обратно.

— Зачем ваша мама оставила мне дом?

— Ей так бабушка велела. — Баатар смотрит на меня секунду, проверяет реакцию. — Когда мама заболела, то ей снились разные сны. Однажды к ней пришла бабушка Чимицу и сказала, что дом надо завещать тебе, чтобы ты хоть раз приехала на родину.

— Зачем? — шепотом спрашиваю я, даже не замечаю, как по щеке катится слеза.

Баатар пожимает плечами:

— Когда духи просят, мы не спрашиваем их зачем.

Пытаюсь анализировать трезво и дышать. Но вдруг такая злость закипает во мне: я могу объяснить только «что» случилось, но никак не «почему». Кто-то, живой или мертвый, пожелал, чтобы я приехала. Зачем? А кто-нибудь меня спросил, нужно ли оно мне. Мне хорошо жилось, спокойно. Мне нужен телепорт до Иванова,

¹¹ Шудхэр (бур.) — черт, житель ада, один из низших демонов, олицетворяющих души больных, бедных, обиженных судьбой людей; демонов, постоянно мешающих живым, творящих какие-либо беды.

до моей уютной квартиры, где я чувствовала себя в безопасности. Вспоминаю, что теперь углы комнаты пронизаны кошмарными видениями и черной паутиной. Мне нужен телепорт в прошлое, а кому он не нужен...

Я хочу покончить с бумагами за час. Им нужна моя подпись, а мне покой. Я так устала, мне кажется, не спала вечность. Пусть снятся самые страшные в мире сны, после вчерашней ночи я ничего не боюсь. Я хочу занять место в трясущейся маршрутке, скрутить кофту в подушку, сунуть ее между окном и головой и заснуть. Потом самолетом семь часов, из них пять съест разница во времени. Сяду в самолет в полночь по-местному, а прилечу в два часа ночи. Вот бы стереть из памяти эти дни, как время стирается в полете, возвращая меня в прошлое.

Солнце выглядывает из-за тучи и жалит через лобовое стекло. Но мозг не откликается на внешние раздражители. Солнце, ветер, разговоры, просьбы, жажда, голод — все нипочем.

— Давай сразу к нотариусу заедем, и я вернусь в Улан-Удэ?

— У нас сначала принято чай пить, а потом дела решать.

Снова чай? Что у вас за местный культ. Знаете, я уже напилась его. Лениво мотаю головой.

— А ты знала, что у тебя три племянницы и три племянника? У меня сын и две дочери и у Сэсэги два сына и дочь, мы живем по соседству. Тут мой дом, — Баатар ставит ребро ладони на другую ладонь, предоставляя рулю автомобиля крутиться, как ему вздумается. Всегда боюсь этих водительских залихватских маневров. — А тут дом сестры, — смещает руку к кончикам пальцев, руль свободно вибрирует. — Может, хоть познакомишься. Пусть хоть раз мои дети посмотрят на тетю с Запада. — Он возвращает руки туда, где они должны быть, когда управляешь автомобилем.

— Угу, — мычу в ответ и только потом соображаю, что он сказал.

Племянники, сразу шестеро. За секунду у меня появилась семья. Я с самого детства хотела быть своей. Ну знаете, так говорят, «своя в доску». А мне было некомфортно существовать в чужом городе, где я белая ворона. И даже когда дело касалось вовсе не меня, сердце внутри сжимали колючие варежки обиды. Например, однажды я шла по супермаркету и набирала в корзинку еды, а за мной толпилась группа парней, выбирали колу — диетическую или обычную. Они что-то бормочут, обсуждают, кто-то бросает ре-

плику, и ребята разрываются громким хохотом, снова реплика и новая волна смеха. По спине бежит холодок, затылком ощущаю взгляды. Смех волнами бьет в самое сердце. Оборачиваюсь, я уже достаточно взрослая, чтобы прекратить издевательства. А там пять парней смотрят Тик-Ток и смеются над котом в очках. А я ни при чем, но меня триггерит от смеха за спиной, потому что слишком часто я его слышала в детстве, когда дети смеялись над моими узкими глазами. Я с самого детства хотела быть своей, может, на родине матери вдруг это произойдет?

Мы приехали к дому брата — бревенчатый, просторный, двухэтажный. Вокруг баня, гараж, огромный сад, грядки, беседка, три собаки и множество цветов. Меня обнимают десятки рук, целуют в щеки дети, кто-то тянет показать окотившуюся кошку. Бедная роженица устала от внимания, а я наслаждаюсь. Как хорошо быть с кем-то родным, кто тебя любит безусловно, просто потому что ты есть, рад тебя видеть, даже несмотря на разлуку в десяток лет. Они не переживают, что я могу в два счета отобрать оставленный в наследство дом, я — угроза. Но нет. Они встречают с распростертыми объятиями, дети болтают без умолку, взрослые накрывают богатый стол, без конца наполняют кружку горячим чаем, на плечи вешают синий хадак¹² — так принято. Жена Баатара застилает лучшую кровать с белоснежными простынями в самой светлой комнате. За один день меня раз сто назвали Арьяной, ни разу никто не ошибся, и я привыкла к этому имени, будто не расставалась с ним на одиннадцать лет. И все прекрасно. Я, вдоволь наевшись, нагулявшись во дворе с ребятней, быстро засыпаю. И после такого чудесного дня хочу, чтобы мне снились только добрые сны. Но мир умерших меня не отпускает, кошмар опять прибирает меня к рукам.

Мне снится сгоревший дом, зеленый платок, белый глаз. Черный мрак пустоты, запах гари. Чувствую, как тело пробивает озноб, но холод тянется не снаружи, а изнутри. Словно в живот положили кусок льда. Сквозь сон я слышу собственный стон и вот-вот проснусь, вырвусь из мучительного плена. Мне кажется, что я уже открыла глаза, встала, чтобы взять телефона на комод — до него четыре шага, но через два из пола вырастает белая фигура старушки. И я кричу, так громко кричу. Визг не кончается, продолжает

¹² Хада́к — ритуальный длинный шарф, один из буддийских символов. Его дарят в знак почтения, дружбы и благопожелания.

вырваться из глубины тела, пока не выплевывает весь холод, пока я не вскакиваю с кровати. Уже наяву бегу не то к телефону, не то к выключателю, не то прочь из комнаты. Делаю два шага... и паника. Все, как во сне, а значит, в эту минуту должна вылезти из пола бабка. Я замираю, как статуя, и глаза зажимаю, лишь бы не видеть, не слышать, не чувствовать.

— Арьяна!..

Ток от выключателя за доли секунды бежит по проводу, загорается лампочка, и комната наполняется светом, людьми, голосами, объятиями, кто-то несет спасительный чай.

13

— Ее надо везти к шаманке, — говорит женский голос.

— Когда? — отвечает мужской.

Мы сидим на кухне, дети спят — после дневных приключений их танком не разбудишь. Даже мой крик им нипочем. Но родители разговаривают шепотом, будто совсем не детей бояться потревожить.

— Сейчас.

Я сижу с закрытыми глазами, боюсь, что даже это мне снится. Я перестала разбирать, где явь, а где сновидения, где живые, а где мертвые. Телепорт в Иваново, пожалуйста, откройся.

— Может, утром? Созвонимся сначала, у шаманки очередь на месяц вперед, просто так не попадешь, — спокойно отвечает Баатар.

— Сейчас надо. — Его жена выделяет каждое слово, спорить с ней, судя по тону, никто не будет. — Пока доедете, рассветет.

Мы загрузились в машину. Двигатель внедорожника шумно ревет, проселочная дорога тянется между полей и гор, по степям и через реки. Свет фар в темноте скачет на каждой кочке. Я почти засыпаю, но возвращаюсь обратно, мне туда нельзя. Кофе, конечно, мне никто не предложил.

Рассвет наступает медленно, сначала появляются контуры облаков, потом тьма теряет тона. Ночь затаилась в чернеющей цепочке гор, в темном лесу на склоне, в расщелинах скал, в глубоких пещерах, скрытых от глаз. Потом на востоке облака вытянулись тонкими полосками и вспыхивают ярким красным пламенем. Цвета переливаются от ярко-алого до нежно-розового. Ветер перед

рассветом застывает в плотном воздухе, облака меняют не форму, только цвет. И еще долго картинка прежняя, будто время остановилось. Диск раскаленного солнца показывается из-за гор, и ветер снова берется за свое дело, треплет тонкие облака на мелкие кусочки, они тают в вышине. Утро.

Машина сворачивает на узкую дорожку, которая тянется к крошечному поселению — несколько домов под горой. Брат идет в дом, бесцеремонно будит шаманку, но та уже не спит, с первыми лучами солнца она заварила чай, сделала подношение духам. А после этого не стала возвращаться в дом, решила задержаться на крыльце, присела прямо на одну из прогнувшихся ступенек. Будто ждала нас на крыльце. Брат заглушил мотор и бегом к ней. Я медленно отстегнула ремень, тихонько хлопнула дверью машины и осторожно подошла ближе. Они говорят на бурятском, мне все равно не понять.

Я думала, меня встретит бабушка в национальной одежде с бубном, будет камлать и петь песни, заговаривать зубы. Но это была обычная женщина средних лет в домашних брюках и кофте, на голове короткая современная стрижка, на груди толстая серебряная цепь свисает вниз, держит необычный кулон — большой серебряный, чуть выпуклый круг. Похож на мини-щит, только плоский и блестящий. Я насторожилась. Как-то все неправдоподобно.

Женщина в свое жилище не пошла, ведет в крошечный домик, в нем могла уместиться буквально одна комната. Наверное, это специальное место, где она принимает людей. Вспоминаю, что у нее очередь на месяц вперед. Должно быть, о ней знает вся округа, и все приезжают за советом или с духами пообщаться.

Брат одобрительно кивает и неуклюже треплет за плечо, а сам остается снаружи. Я недоверчиво иду за ней. В полупустом, аскетично обставленном доме светло. Стены и потолок выкрашены в белый цвет, только полы рыже-коричневые. В центре дома — печь, в углу стоит шкаф, а у окна два стула и стол. Женщина быстро зажигает спичку, колдует над металлической чашей, обжигается, ворчит. Потом закрывает чашу специальной крышкой с мелкими отверстиями, из них струится дым благовоний. Она садится на стул, для меня такой же напротив, через стол. Как на приеме у врача. Женщина уже уселась, а я мнусь у входа. И так несколько секунд. Никто дыханием и движением не мешает дыму ровной струйкой ползти вверх,

к самому потолку. Я подхожу и сажусь на край стула. Струйка дыма дрогнула и разлетелась на мелкие кривые нити.

Чувствую себя то ли на допросе, то ли на сеансе у психолога. Шаманка, вместо спиритического сеанса, рассказывала про древо жизни и связь с предками. Я скептически улыбаюсь и очень хочу сбежать.

— Иди уже, я тебя не держу, — закончила она, и я засобира-лась. — Чтобы себе помочь, ты должна начать верить, а иначе так и будешь в липкой кровати лежать с пауком под потолком.

Молния проходит сквозь все тело, будто за доли секунды меня окунули в сон и выдернули обратно.

— Откуда вы знаете про мои сны? — Сначала я подумала, что меня выдал брат, но я никому не говорила про кошмары.

Но шаманка не отвечает на вопросы.

— Западные боги тебя знают, а о предках своих ты забыла, — говорит она не своим, старушечьим голосом, и слова те самые. Меня охватывает дрожь. — Это мать твоя ошибку допустила, но расплачиваться ты будешь. Дерево без корней не растет, и ты мечешься, как воздушный шарик. Бух! — Женщина громко хлопает в ладоши, и я подскакиваю на стуле. — И нет тебя.

Мы смотрим друг на друга и молчим. «Достаточно, чтобы поверить?» — выражает взгляд зеленых раскосых глаз.

— Что я должна делать?

— Вставай!

Женщина подходит к шкафу, берет синий дэгэл и надевает поверх домашней одежды. Синий шелк блестит, орнаменты сияют переливаются, серебряные пуговицы блестят. Поверх наряда она надевает бусы — буддийские четки. Такие были у бабушки. А в конце еще один чуть выпуклый диск на цепи, но уже гораздо больше, размером с ладонь. Точно щит от духов. Вот теперь она похожа на шаманку. Она ходит вокруг меня, бурчит молитвы. Я чувствую ветер, не то от дыхания, не то от жестов, то справа, то слева волнами проходит, колышет волосы, тревожит тонкую струйку дыма. Потом еще долго напротив меня шаманка, закрыв глаза что-то говорит себе под нос, не разберешь. Потом открывает глаза и дует мне на лицо, будто пух сдувает.

— Защиту я тебе поставила, но это не все. Поможет на первое время, но тебе надо самой постараться. — Женщина на ходу снимает наряд. — О предках по материнской линии не забывать, подно-

шения делать — чай, молоко брызгать, выучить хотя бы одну мантру буддийскую, «Ом мани падме хум», знаешь такую?

— Нет.

— Изучай, в интернете много информации, Гуглом пользоваться ты умеешь. Брат тебе на помощь всегда придет. В дацан¹³ съезди, купи себе обереги. А теперь иди, у меня другие люди на подходе.

— Подождите, — хочу задать ей миллион вопросов, но она уже идет к двери. — Можно хотя бы спросить, почему это со мной произошло?

— Духи твоих предков злятся, когда про них забывают. Буряты всегда почитали свой род, подношения делали. А сейчас все позабывали. За твою душу боролись темные и светлые силы. Раз жива осталась, светлые победили. Но это тебе урок, если снова забудешь, кто ты, тебе уже ничем не помочь.

Дверь скрипнула, и женщина вышла на улицу. Яркое солнце ослепило меня.

Баатар ждет на скамейке, завидев нас, идет к женщине. Они опять на бурятском говорят. Долго. Поглядывают на меня изредка, что-то обсуждают, из понятных мне слов только «мобильный банк», «перевод». Потом прощаются, я говорю спасибо, а женщина не слышит, уже в своих думах.

В машине спрашиваю, о чем они говорили. Оказалось, что брат оплатил мой сеанс, а я даже не подумала. Надо вернуть деньги, сколько сейчас шаманы берут?

— Настоящие шаманы берут столько, сколько дашь. Нет у них ценника на услуги. Все зависит от твоей щедрости и богатства, — объясняет брат.

— А ты сколько перевел?

— Неважно, считай, это подарок. Главное, чтобы больше не случилось дурного.

14

Три дня в деревне пролетают быстро. Меня научили доить коров, замешивать тесто на домашнюю лапшу, лепить красивые буззы. Но на деле эти ответственные задания мне боялись доверить

¹³ Дацан — буддийский монастырь, предназначается для жизни и религиозной практики монахов.

полностью. Зато вместе с детьми мы пололи грядки, кормили поросят и ухаживали за многострадальной кошкой, которая впервые стала мамой. Рыжего, самого маленького котенка я бы взяла с собой. Но впереди дальняя дорога. Родня звала в гости в следующем году ближе к августу, чтобы показать местные леса, научить собирать ягоду, делать компоты и варенье, солить огурцы.

За это время я узнала пять разных вариантов, как правильно заваривать чай. Каждая хозяйка твердила, что ее способ заваривания верный. С чаем, как в жизни, правильного варианта нет, есть лишь тот, который тебе по душе. И я нашла свой — сначала глиняный заварник надо обдать кипятком, налить внутрь немного горячей воды и выплеснуть, чтобы прогнать злых духов. Потом горсть чая с травами заливают водой и дают настояться. Немного лимона, и чай готов. Тот же рецепт для чая с молоком, а самую первую кружку надо подносить духам. По утрам мы выходили во двор с супругой Баатара, я держала полную кружку чая в руках, нужно было наполнить сердце светлыми мыслями, а потом резко высоко брызнуть чай. Перед сном мне посоветовали зажигать благовония в комнате и трижды окуривать помещение, особенно по углам комнаты и под кроватью, будто дым может прогнать зло.

Брат свозил меня в дацан. Небольшой буддийский храм в степи, под солнцепеком, окруженный невысокими сопками. Сначала вокруг него надо пройти три круга — за прошлое, за настоящее и за будущее. А потом поклониться статуе Будды внутри.

Вокруг храма на обширной территории выстроились сто восемь субурганов¹⁴. Белые высокие ступы — хранилище родословных ста восьми семей хоринских бурят. К одной из них Баатар меня подвел, чтобы я поклонилась своему роду. Меня научили, как правильно — сложить ладони, поднести ко лбу, потом к губам, потом к сердцу и поклониться. И так три раза.

В ритуальной лавке купила себе небольшой оберег на красной нити, а буддийский монах прочитал над ней молитву и сказал не снимать. Не знаю, что из всего этого мне помогло, но ни один кошмар меня больше не мучил. Не вернулись страшные сны ни в маршрутке до Улан-Удэ, ни в самолете. Я преодолела 4413 км

¹⁴ Субурган — буддийская ступа (в переводе с санскрита — «макушка, куча камней, земляной холм»). Это буддийское архитектурно-скульптурное культовое сооружение, имеющее полусферические очертания.

по воздуху без всяких приключений. Меня провожала огромная семья, каждый обнял трижды, каждый поцеловал, каждый просил, чтобы я обязательно приехала следующим летом. И так тепло было на душе, что в конце я даже расплакалась. Увезла с собой синий хадак, немного малинового варенья и спокойствие на душе.

В следующий понедельник я написала заявление об увольнении, еще через две недели я собрала вещи и уехала в Москву к Ирке и Катьке. Странно, но мать даже не противилась, видимо, по моему тону поняла, что спорить бесполезно. Отец вздохнул и обнял, обещал навестить в Москве.

Мне еще многое предстояло узнать, но долгий путь всегда начинается с маленьких шагов. Я всегда мечтала изучать восток, но оказалось, что он гораздо ближе, он во мне. Порой мне снится бабушка с белым глазом, но это не страшные сны, это напоминание о том, кто я такая и откуда я родом.

— Здравствуйте, я Арьяна Соколова, я пришла на собеседование.

№ 1, 2022 г.

Александр Нешный

С БОГОМ

1.

Приступая к повествованию о жизни и удивительных поступках нашего героя Александра Алексеевича Артемьева, сообщим, что лет ему исполнилось не так уже много, но и совсем не мало, а именно — тридцать семь, из коих девять он состоял в законном браке с прелестной внешне своим видом Галей Юшковой, которой он был старше на семь лет и с которой родил сына, Димочку, чудесного мальчика с глубокими темными глазами.

Познал ли он счастье в семейной жизни? О, да. Был он счастлив почти два года после шумной свадьбы в ресторане «Ариэль», где ломились от питания и брашна составленные буквой П столы и оглушительно играл оркестр. Чем усердней дорогие гости пили, тем чаще они орали «горько». Жених — вернее, после посещения ЗАГСа уже не жених, а муж, — поднимался из-за стола, вместе с ним поднималась его очаровательная, сияющая молодостью и счастьем теперь уже жена, в белом платье, так шедшем к ее смугловатому лицу и темно-карим, почти черным глазам с синеватыми белками, и он прикивал к ее губам, хранящим сладкий вкус только что выпитого вина. Нестройным хором гости считали: один... два... три... «Мало! Еще! — орали они. — Всё равно горько!» Все смеялись. Только его мама сидела, опустив голову, с лицом, выражающим такую печаль, словно она была не на свадьбе, а на поминках. Он мельком взглядывал на нее и поспешно отводил глаза. Всю жизнь с тех пор, уже и после ее смерти, он вспоминал, какой отрешенной была она среди полупьяных, пьющих, жующих, веселящихся гостей, и щемящее чувство своей перед ней неизбежной вины падало ему на сердце.

2.

«Боже, — произнес он, — милостив буди мне, грешному». Он брился, с отвращением глядя на свое отражение в зеркале: лысеющий, склонный к полноте мужик с мешками под глазами. Господи, помилуй, во что он превратился! Курить надо бросить. В зал ходить. Рука дернулась, и на левой щеке, возле подбородка, проступила кровь. «Ничего не можешь, — со злостью высказал он себе прямо в лицо. — Побриться, не порезавшись...» В дверь постучали. «Папа! — позвал Димочка. — Я уже встал». — «Сейчас, Дима! — откликнулся он. — Еще секунда. Учебники, тетрадки — все собрал?» — «Еще вчера». — «Умник, — похвалил он сына. — Поставь чайник. А мама?» — «Мама спит». — «И пусть, — сказал Артемьев, подумав, что случись иначе, пришлось бы ставить свечку Петру и Февронии за их, правда, изрядно запоздавшее вмешательство. — Иду!»

Но скажите на милость, как получилось, что он взял в жены девушку, не присмотревшись к ее родителям? Да, он их видел, сто раз видел, — ее мать, Тамару Владимировну, маленькую женщину с кукольным лицом, выщипанными бровями и ртом куриной жопкой, из которого, как пули из автомата Калашникова, с неправдоподобной скоростью вылетали слова, и ее отца, Роберта Муртазовича, малорослого жилистого грузчика с двумя ходками на зону — первая за нанесение телесных повреждений средней тяжести, и вторая, уже за тяжкие телесные, проще же говоря — за удар ножом в спину случайного собутыльника. Но что в том толку, что он их видел? В тумане влюбленности ему напрочь отказала способность угадывать в облике человека свойства его натуры. Иногда он промахивался; но тут ошибся бы только слепой. Однако разве способен он был тогда подумать, что у женщины с лицом Тамары Владимировны могут быть только мелкие, завистливые, злобные мысли? И что душа ее мужа подобна темному подвалу с обитающими в нем двумя-тремя простейшими инстинктами в виде прожорливых грызунов? Спрашивается: кого могли они произвести на свет? Кого, скрипнув зубами, выплеснул из темных своих недр Роберт, и кого, приняв его семя, зачала своим маленьким телом Тамара? Какими свойствами могли они наделить свою дочь? «Все это ерунда, — отмахивался Артемьев, когда его лучший, еще со времен школы друг Толя Антипов пытался ему внушить, что позолота

сотрется, а свиная кожа останется. — Папа грузчик, мама продавщица. Не белая кость, не голубая кровь. И мы не из дворян. Ну, тарыхтит она. Ну, пьет этот Роберт. И что? Кто сейчас не пьет».

Он был глуп и влюблен, что, собственно, одно и то же. И не хотел признать, что рано или поздно она заговорит голосом своей матери и обнаружит глубинное сходство со своим отцом. Не пришлось долго ждать. На исходе второго года их брака светлым утром позднего лета она проснулась в дурном настроении. Она была беременна, и ее мучили страхи никогда не рожавшей женщины. «А что, если я умру?» — спрашивала она и смотрела на Артемьева таким умоляющим, таким жалобным взором, что он брал ее голову в ладони и бормотал, перемежая слова поцелуями. Галочка, говорил он, страдая ее страхами, ну, что ты, сокровище мое. Я тебя уверяю, ты даже не заметишь, как родишь. Мама моя вспоминает, я выскочил из нее, как пробка из бутылки шампанского. Тень легла на ее лицо. Она помрачнела. Вечно ты свою мамочку везде суешь. Он опешил. Галя! Почему вечно? И почему — суешь? Мы на таком языке не разговариваем. Ну да, молвила она, смотря на него злыми глазами. Ты что хочешь сказать? Что у меня отец татарин? И грузчик? А мама продавщица? А твоя мать, она кто, академик? Галя, взмолился он, перестань. Что за вздор ты говоришь. Тебе вредно волноваться. Вредно?! Она встала с кровати, и, пока среди брошенных как попало вещей искала халат, он увидел ее выросший за последние дни живот и худые ноги с едва заметными волосами на голенях и обозначившимися венами. Да, мне вредно, вреднее быть не может. Она набросила на плечи халат и заговорила с ошеломляющей скоростью, отчетливо выговаривая каждое слово. Я терпела, сколько могла, а теперь скажу. Не надо было тебе жениться, вот что! Ты все к ней бегаешь. Ночуешь у нее. И деньги ей даешь, как будто у нас их куры не клюют, и продукты, и звонишь по десять раз в день. Мамочка, передразнила она, как ты себя чувствуешь? А как я себя чувствую, тебе и дела нет. Неправда! — воскликнул он, пораженный легкостью, с какой она солгала ему в лицо. Мы с тобой только позавчера были у профессора. Сколько врачей обошли, я со счета сбился. А у мамы была тяжелая операция, ты знаешь. Кому еще о ней заботиться. Она усмехнулась. У нее характер такой, вот почему она одна, мстительно проговорила Галя. Твой папа не выдержал и ушел.

Артемьев вдруг испытал отвращение к ней — к ее волосам с покрашенной в соломенный цвет прядью, к глазам, которые в медовую пору их отношений он называл «темными звездами», а сейчас в них было столько злобы, что хватило бы на пару доберманов, к ее рту, словно у механической куклы открывающемуся и закрывающемуся с умопомрачительной быстротой, к ее худым ногам, а в особенности — к ее желтому с красными пятнами халату, который казался ему теперь олицетворением всего дурного, что она принесла в его жизнь. И если раньше он позволял себе занестись мыслями в некое безоблачное будущее, где он был любящим мужем и счастливым отцом уже подросших детей, мальчика и двух девочек, то теперь он в первый раз подумал, что рождение сына свяжет его по рукам и ногам. Одно дело — расстаться с ней, и совсем другое — отдать сына ей и ее матери, чтобы они вырастили его по своему образу и подобию.

Закрыв лицо руками, она сидела в кресле. Плечи вздрагивали. Ему стало жаль ее. Мучает себя, подумал он и повторил вслух: ты мучаешь себя и совершенно напрасно. Я здесь, я с тобой, я тебя люблю (но с усилием выговорилось у него это слово) и жду нашего мальчика. Она ответила: жди.

3.

Он поставил перед сыном тарелку овсяной каши. Ешь. Овсянка прибавляет ума. Ну да, сказал Димочка, улыбаясь своей прелестной, застенчивой и лукавой улыбкой. Овсянку лошади любят. Не овсянку, а овес, поправил Артемьев. А тебе еще и чай полагается. С гренками и джемом. «А тебе что полагается?» — спросил Дима. Кофе. Давай, мой друг. Вперед и с песнями. Дима дважды опустил ложку в тарелку, дважды, скосив глаза, отправил ее в рот, на третий же раз остановился на полпути и спросил, известно ли папе, что Россия самая лучшая, самая православная страна на всем свете, а русский народ... Он задумался. Слово забыл. Священник, отец Андрей, раза три сказал. Русский народ... Забыл. Не мучайся, сказал Артемьев. Ешь быстрее. У нас, он взглянул на часы, двадцать минут. Русский народ — богоносец. Дима кивнул, одну за другой съел три ложки каши, передохнув, съел четвертую и отодвинул тарелку. Бог рус-

ский народ выбрал. Он стал богоносцем. И за это другие народы его ненавидят. Пап, я больше не хочу. Эх, огорчился Артемьев, совсем немного осталось. Две ложки. Доешь. Дима покачал головой. Не лезет. Тогда чай, и по коням. Дима налил себе чая, взял любимую свою гренку из «бородинского» хлеба, намазал сверху клубничным джемом, придиричиво осмотрел, промолвил: «Восхитительно», — и с хрустом откусил. У Артемьева между тем в груди закипало. Он спросил. А этот... отец Андрей, давно у вас? В первый раз. Теперь будет приходиться по пятницам. Шестой урок. Он, папа, такой... Дима положил гренку в блюдце и развел руки. В два обхвата. И крест золотой. Петька Круглов сказал, из чистого золота. Ага, заскрипевшим от нехорошего чувства голосом произнес Артемьев. Держи карман. А что, папа, внимательно посмотрев на Артемьева, спросил Дима, этот отец Андрей, он тебе не нравится?

Они вышли на улицу, отец и сын, Артемьев в кожаной куртке и джинсах и Дима со школьным ранцем за плечами, в синей на молнии курточке и тоже в джинсах. Чудесное светлое голубое небо было над ними, яркое солнце поднялось над высокими домами, и в утреннем воздухе угадывались запахи приближающейся осени — прелой листвы, ночных заморозков, тонкого льда на лужицах, похожего на треснувшее зеркало. Артемьев открыл дверцу своей состарившейся «Лады», усадил Диму на заднее сидение, сел за руль и сказал: погнали. И что еще, спросил он, выехав из двора на улицу и повернув налево, сообщил этот отец Андрей? Ну-у, протянул Дима, разве вспомнишь... Говорил, мы счастливые, потому что родились в России. И еще... В России много святых. Им надо молиться. Дима помолчал и спросил: пап, а ты какому святому молишься? А я почему только «Отче наш» и все? Это серьезный вопрос, Дима. Давай вечером. Хорошо? Он думал: семь лет, чистая душа. Не знает зависти, превозношения, ненависти, лицемерия, корысти. *Tabula rasa*¹. Но вот приходит некто отец Андрей и начинает марать на этом чистом листе, что мы — богоизбранный народ. Мы русские, с нами Бог. Вот ведь, он поискал для него нужное слово и нашел: компрачикос. Только те уродовали тело, а этот — душу.

Он вышел вместе с Димой и в ответ на его удивленный взгляд сказал, я к директору. «А зачем?» — спросил Дима. Много будешь

¹ Чистая доска (*лат.*)

знать, начал Артемьев, но Дима перебил. Знаю, знаю. Скоро со-
старишься.

В коридоре они расстались. Дима помчался на третий этаж, Ар-
темьев же двинулся к директору. Миновав приемную, он вступил
в прокуренный кабинет директора, Сергея Марковича Гинзбурга.

Ага, молвил Гинзбург, увидев появившегося на пороге Артемье-
ва. Что встал? Проходи.

Артемьев учился в этой школе с девятого класса и помнил
директора без единого седого волоска на голове, на уроках зача-
стую отступавшего от темы и державшего перед классом речи в
том духе, что история дала нам шанс и второго такого может не
быть. Ибо из всякой незавершенной революции рано или позд-
но вылупливается диктатор. Не дай нам Бог, восклицал Сергей
Маркович. Девяностые годы. Какие надежды питали сердца.
Сейчас Артемьев видел перед собой человека совершенно седого,
полного, в очках с сильными стеклами, с брезгливой усталостью
разглядывающего сквозь них несовершенный мир. На лице его
можно было прочесть: как же мне надоела эта бездарная коме-
дия. «Ну, — спросил он, закуривая, — зачем пришел?» Закурил
и Артемьев и сказал, у вас тут расцвел ядовитый цветок. «Всего
один?» — вяло молвил директор. У меня их по меньшей мере
три. Тогда четвертый, сказал Артемьев. Ты явился меня расстро-
ить? Сергей Маркович ткнул сигарету в пепельницу, потянулся
за другой, но отдернул руку и гордо сказал: видишь? Сила воли.
Держим паузу. Что ж, если так. От судьбы не уйдешь. Рази меня,
беспомощного старика. Но кто мне скажет, когда я спрыгну с этой
обезумевшей колесницы? Когда обрету покой и сяду за мемуары
под названием «Школа как жизнь, и жизнь как школа»? Когда
почувствую себя свободным? Он подумал и сказал: nevermore².
Но сдается мне, я напрасно не выгнал тебя в девятом классе, ког-
да ты напился на новогоднем вечере и был свинья свиной. Я тебя
помиловал. А ты? Неблагодарный. Выкладывай же.

Сергей Маркович, невесело усмехнувшись, сказал Артемьев,
вам известно, какую пургу несет этот священник, отец Андрей? По-
нятия не имею, бодро отвечал директор. А если честно, и знать не
хочу. Вам все равно, спросил Артемьев, что в вашей школе зацвел
национализм? Что детей кормят отравой в виде богоизбранности

² Никогда (англ.)

России? Что она одна такая, православная и угодная Богу, а все вокруг — волки хищные, который век мечтающие ее загрызть? Как интересно, безо всякого интереса произнес директор. Где-то я все это слышал. Еще бы, с горечью молвил Артемьев. Телевизор — наш воспитатель. Только подумать. Он священник, христианин, а в его словах нет ничего от Христа и Евангелия.

Слушай, Саша, хмурясь, произнес директор, не хватало еще мне разбираться, христианин этот поп или паразит от христианства. И попа этого я бы сто лет не видел, и христианство меня занимает исключительно как явление истории и как попытка дать человечеству нравственный идеал. У них, кивнул он в сторону окна, новые лозунги, ты знаешь. Раньше коммунизм, пролетарии всех стран, соединяйтесь, мы за мир и песню эту, а теперь — православие или смерть. Коротко и ясно. Мне что — голову на плаху? Встретить этого попа у ворот и погнать его поганой метлой? Вызвать и сказать, знаешь, поп, ты у себя в церкви можешь нести всякую ахинею, а здесь школа, территория, свободная от фанатизма всех видов и расцветок. Чтобы никакой богоизбранности, понял? Он спросит, толстобрюхий: тут русская школа? Что прикажешь ему ответить? Да, отвечу я, это школа Российской Федерации, отделенного от церкви светского государства. Конституция, статья четырнадцать. Он пропустит мимо ушей Конституцию и статью и заметит: допрыгались с этой светскостью, хватит. Школа русская, а ты кто? Я отвечу: директор. И как, он спросит, директор, твоя фамилия? Что мне делать, если родился я не Ивановым, а Гинзбургом? У меня отец был Гинзбург, дед Гинзбург, и все мои предки Гинзбурги, и все были добропорядочными скорняками, а папа нотариусом, и только я, идиот, решил учить детей русской истории. Я отвечу ему с нехорошим предчувствием: Гинзбург. Вот ты, Гинзбург, укажет он мне, и не лезь в наши русские дела.

И вообще, проговорил директор, глубоко переживая созданную его воображением картину встречи с отцом Андреем, хватая сигарету и затягиваясь. Что ты от меня ждешь? Уродов этих я запретить не могу. Попа запретить не могу. Скорее, он меня запретит. Сергей Маркович помолчал. Впрочем, со вздохом сказал он, я мог бы, наверное, но как представишь... и он махнул рукой. О tempora! О mores!³ Но вот что меня занимает. С этими словами Сергей Мар-

³ О времена! О нравы! (лат.)

кович устремил пронизательный взор на Артемьева. Что-то мне кажется несколько странной тревога моего бывшего ученика о чистоте христианства. Боюсь думать, но не означает ли это, что Александр с некоторых пор стал рабом Божиим и уверовал в прекрасную сказку о Иисусе Христе?

Артемьев засмеялся. В самую точку, Сергей Маркович. И раб Божий, и в сказку верю. Да ты что, изумился директор. Я-то, честно говоря, думал, ты скажешь, что для тебя это культурно-философский вопрос и ничего больше. А тут вон как! И Сергей Маркович с любопытством взглянул на Артемьева. Тогда объясни мне, Бога ради, как ты дошел до жизни такой? Ведь я уверен, это у тебя настоящее, не дань постыдной моде. Я видеть не могу, как наши вожди... Он засмеялся, показав превосходные белые зубы искусственного происхождения. Прежние вожди стояли на мавзолее, а эти в церкви со свечками. И те, и другие равно отвратительны, но какова, мой друг, усмешка истории! Но сделай милость, расскажи бывшему своему учителю, какие тараканчики поселились в твоей утомленной голове? Расскажи старому атеисту, которого в детстве дедушка Арон Исаевич Гинзбург привел в синагогу, где один очкастый, метр с кипой еврей острым ножичком обрезал мой невинный и еще даже не опушившийся членик, — рыдал я при этом ужасно, и, может быть, в детской моей душе именно тогда, пока еще неосознанно, поселилось враждебное отношение ко всем религиям, ибо что они могут дать маленькому человеку, из каковых, собственно, и состоит человечество, помимо унижения и боли, сколько зла, если вдуматься, от всех религий, одни крестоносцы, черт бы их побрал, теперь мусульмане — тут расстреляют, там взорвут... но расскажи о своем обращении, и кто знает, может быть, под занавес жизни я пойму, сколь глубоко я ошибался, и припаду к Господу со слезами раскаяния и воплем: Шма Исраэль!⁴

Ну, Сергей Маркович, пожал плечами Артемьев, как это... я даже не знаю. С одной стороны, так просто, а с другой — совершенно необъяснимо. Не хочешь, не говори, кивнул директор. Но если твои нынешние убеждения настоящие, то объясни, как ты живешь в этом мире? Знаешь ли, что сказал Бернард Шоу, великий остроумец? Порядочный человек в обществе, сказал он, все равно, что Да-

⁴ Слушай, Израиль (*иврит*).

ниил во рву со львами. Заменим «порядочного» на «верующего» и получим картину твоей жизни. Так? Артемьев засмеялся. Почти.

3.

И в самом деле, где было начало его веры? Он стал вспоминать — и поскольку каждое воспоминание было связано с какими-то еще событиями его жизни, он с немалыми трудами набрел, как ему казалось, на истоки случившихся с ним перемен. То в его памяти возникал один его приятель, вместе с которым он работал в газете, — маленький, тщедушный, с грустным лицом Пьеро; он недавно вернулся из Чечни и с мерцающим в темных глазах ужасом говорил, что от Грозного остались руины. Город-мертвец. Призрак. Страшный сон. Душа леденеет. Бог, сказал он, никогда нам этого не простит. Артемьева покорило. Бог? Какой Бог? При чем здесь Бог?

Теперь ему было мучительно стыдно этих своих пошлых, ничтожных слов — но их не выкинуть было из повести его жизни. То припоминал он развеселое застолье и человека напротив лет сорока, с аккуратной черной бородой и карими глазами навывкате, о котором сосед шепнул ему, что это священник. Отец Николай. Он тебе по пьяному делу все грехи отпустит. Отец Николай и в самом деле был навеселе, и Артемьев ответил с презрением — одно название, что священник. Кто-то сказал, указав на бутылку «Хортицы», ее и монаси приемлют. Много лет спустя Артемьев думал, что как же туп он был — отвратительной тупостью много о себе возомнившего человека. Найти бы этого отца Николая. Прости меня, отче, глупого дурака.

Боже, как же труден путь к Тебе! Через самомнение, дурные привычки, ложные представления, косность, слепоту, рабство — в муках, о Господи, дается человеку новое рождение. И однажды, будучи в лоб спрошен дальним родственником, о котором знал, что он ядовитый, вольтеровского духа безбожник, — а правду ли говорят, что вы крестились? — вместо прямого ответа, верую и исповедую, Ты Христос Бог мой, вдруг забормотал, мало ли, что говорят, — и сразу ощутил себя Петром, горько заплакавшим при крике петуха. Одновременно с этим он думал, что хорошо было апостолам, знавшим Христа, и даже Павлу, которому был голос с неба; не мудре-

но, что они уверовали. Если бы ему, Артемьеву, прозвучал с неба голос с такими, примерно, словами: «Артемьев, Артемьев! Что ты бегаешь от Меня, как зайчишка? Все-таки не мальчик. Не пора ли тебе уразуметь, что есть единое на потребу, все же остальное к нему прилагается. Смотри, Артемьев! Не теряй времени. То, что в тебе рождается, есть истинная жизнь. Не упусти». После этого разве остались бы у него колебания; задумчивая нерешительность разве осталась бы; исчез бы грызущий современных людей червь сомнения; скептицизм бы отступил и недоверие к самому себе, к тому, о чем душа твердит — особенно по ночам.

Он просыпался и шел на кухню, открывал форточку, если была зима, или — летом — распахивал настежь окно, курил, смотрел на небо. Дом отделяла от парка неширокая улица, по которой с громким шелестом пробегали редкие в этот час машины, иногда громыхал какой-нибудь тяжеленный КамАЗ. Далеко видно было небо, черно-синее, с багровыми сполохами где-то вдали, на западе мира, осыпанное звездами, притягивающее к себе своей неизъяснимой силой и обещающее терпеливому созерцателю откровение многих тайн.

Но словно два человека обитало в нем. Один посмеивался. Ты голоса, что ли, ждешь? В окно высунулся. Гляди, не упади. Никто тебя не подхватит. А другой упрямо твердил, что за этим небом есть еще небо, и еще, и еще — и где-то там, уже в совсем ином измерении, есть мир другой, куда прилетит душа и где ее встретят и скажут: здравствуй, душа! готова ли держать ответ за прожитые годы, за дела, а также за слова и мысли? Не унывай! Господь милостив. Ну-ну, с мягкой усмешкой говорил тот, кто отказывался верить в жизнь будущего века. Милый ты мой. А ведь ты боишься. Последнего своего часа трепещешь; ямы, куда опустят твоё бездыханное тело; червей, которые будут поедать твою мертвую плоть; неизвестности; боишься черного ничто. Но разве не знаешь закона природы? Глянь вокруг — все умирают. Часть природы, разве можешь ты избежать участи, предопределенной тебе при рождении?

Он спрашивал себя: я боюсь? И отвечал: все боятся. Кто — укажите мне — такой бесстрашный, что у него не обмирает душа при мысли о смерти? Кто, не дрогнув, может вообразить уничтожение собственного «я»: всех помыслов, иногда взлетающих к неизъяснимым высотам, всех чувств — любви, жалости, скорби, негодова-

ния, умиления, восторга, изумления, гнева, восхищения, всякой мечты о будущем, всех привязанностей, радостного ощущения крепости тела, его силы и неутомимости? Кто хотя бы однажды не подумал в отчаянии, зачем мне жить, если все равно умирать?

Но глупо и недостойно, подобно улитке, скрывающейся в своей раковине, прятаться от страха смерти в вере. Вера — благодарное изъяснение сердца. Благоговение. При чем здесь страх. Скорее, думал он, беспричинная тоска, вдруг овладевающая человеком и погружающая в сумерки его жизнь. Все становится немило, все тошно. Застолье с некоторых пор делается ему не в радость; скучными глазами глядит он на чудеса природы и памятники архитектуры; а книга — что книга? она разве может избавить от гнетущей тоски? И, перелистав, отправляет ее на полку. Все тускло, нерадостно, ненужно. Даже о радостях отцовства думаешь всего лишь как о звене в цепи бессмысленных рождений и смертей. В самом деле, зачем пришли в этот мир мои родители, а также их родители и другие родители рода Артемьевых, а сколько их всего и кем они были, эти Артемьевы, в истории России не отмечено. Отец мой для чего появился на свет? Уж не для того ли, чтобы тридцать пять лет трудиться инженером, а потом старшим инженером (это был зенит его карьеры) в КБ пищевого машиностроения?

Как смешно.

Или для того, чтобы встретиться с моей матерью, прожить с ней семнадцать лет, а затем удалиться в узкую, похожую на пенал (или на гроб) комнату на Варшавском шоссе и тихо дожить там до поры, когда у него вместе с мочой пошла кровь. «Скорая» отвезла его в Первую Градскую, и у порога больницы Артемьев подхватил отца, слабой ногой ступившего на ступеньку, и поразился легкости его тела. Как цыпленок. После операции он не пришел в сознание и, вывезенный в коридор, бился на каталке, крепко привязанный к ней ремнями.

Еще смешней.

Не правда ли, что от этого можно сойти с ума или покончить счеты с жизнью, объявив ее самым большим обманом, которым так легко соблазняется человек. Ах, да. Красота, которая всех спасет. Ты посмотри, сынок, говорила мама, когда, пройдя Поселковой улицей и перейдя железнодорожные пути, они приходили на берег Бисерова озера, какая красота! К противоположному берегу

почти вплотную подступал лес, глядел на свое отражение в светлой воде и восхищенно бормотал, ах, какие у меня стройные сосны! а мои ели, красавицы мои волшебные! и ты, заблудившаяся березка, ты только хорошеешь здесь, на опушке хвойного леса. У меня, говорила мама, сердце вздрагивает от этого чуда.

Теперь угасает. Все чаще он заставлял ее в постели с запавшим без вставных челюстей ртом и уставившимися в потолок глазами — словно она пыталась разглядеть на нем слово или знак, объясняющий ее жизнь и ее близкую смерть. Красота мира всего лишь часть обмана, заставлявшего — помнил Артемьев — глубоко страдать Бунина, никак не желавшего смириться с тем, что он исчезнет, а открывавшееся ему из окон его виллы в Граце лазурное море будет сверкать под солнцем для кого-то другого. Один выход, одно спасение — перестать думать о том, зачем ты появился на свет, и уж тем более не искать не уничтожаемый смертью смысл твоего существования, — и тогда ты станешь счастливым, как растение, недолгое время радующееся свету и покорно сходящее в вечный мрак. Великое счастье, что большинство людей за всю жизнь не успевают задуматься о смысле своего появления на свет, и только, быть может, в миг самый последний их настигает мысль — а зачем, собственно говоря, я жил и почему сейчас умираю.

4.

Так он и жил в каком-то мрачном недоумении, пока однажды ему не позвонил Антипов. «Ряды редеют», — сообщил он. Артемьев спросил: «Кто?» — «Сашка Звонарев, — сказал Антипов. — Рак сожрал. Завтра в девять у церкви. Она возле входа на Хованское. Там отпевание». — «Отпевание? — недоуменно промолвил Артемьев. — Он что, верующим стал?»

Всю ночь лил дождь. К утру небо очистилось и засияло яркой голубизной. И все вокруг — деревья по обе стороны аллеи с их промытой чистой листвой, на которой сверкали еще не просохшие капли, лужи, в которых отражались белые пухлые облака, галдевшие наперебой толстые воробьи — все было наполнено колдовской силой жизни, не допускающей и тени сомнения, что она вечна, прекрасна и неодолима. Но гроб? Но черная траурная лента на

углу фотографии Звонарева? Венок? Артемьев усмехался как человек, знающий все наперед. Радуйтесь, деревья, думал он, радуйтесь птицы, радуйся, белое облако — радуйтесь, ибо короток ваш век. Скоро уже наползут серые тучи, задует холодный ветер, полетит белая пороша — и тихим шагом ступит на стылую землю женщина с лицом нездешней красоты, от которого невозможно отвести взгляд. Не смотри — смертью умрешь. Но разве есть в ком-нибудь еще живом силы отвести глаза? Звонарев посмотрел — и умер.

Свернули налево, потом направо и остановились у могилы со сдвинутой оградой. Два молодых мужика, опираясь на лопаты, стояли возле холмика темно-желтого сырого суглинка; чуть правее видна была надгробная плита с портретом пожилой женщины в платке. «Сашкина бабка, — шепнул Антипов. — Я ее помню. Властная была. Сашка одну ее боялся». Тем временем открыли крышку гроба. Артемьев увидел лицо спящего крепким сном человека, но желтое, с тенями под глазами и даже на расстоянии веющее смертным холодом, от которого становилось зябко и возникала холодная пустота возле сердца. У живого были у него черные глаза и густая шапка чуть курчавых темных волос. «Бедный Саша, — вздохнула какая-то женщина за спиной Артемьева. — Измучила его химия». — «И две операции», — прибавил молодой мужской голос. Голос, уже чуть поскрипывающий, с чувством сказал: «Ах, не во время, не во время... В его возрасте не должны умирать люди». — «Э-э, дорогой мой, — протянул еще один, судя по голосу, немолодой человек, — мы считаем, не должны, а Он считает, что пора». — «Это вы о Боге?» — «О ком же еще нам говорить вблизи гроба». Вскоре этот человек вышел к гробу, положил ладонь на его край и негромко произнес: «Подумаем о Саше».

Он был невысок, сед, бледен, заметно припадал на левую ногу и говорил медленно, словно проверяя каждое слово. «Подумаем, — продолжил он, и слабый румянец проступил на его лице. — Саша многое успел в этой жизни. Был хорошим сыном, — при этих словах мать Звонарева согласно кивнула головой в черном платке, — любящим мужем, заботливым отцом... Прекрасно работал... Но с некоторых пор его жизнь наполнилась новым содержанием. Оно не отменяло его любовь к близким — напротив, придавало ей еще более глубокий смысл, новую, если хотите, красоту и новую радость. Что с ним случилось? — спросите вы. Я отвечу. В нем ро-

дилось сознание присутствия в нашей жизни... — тут он примолк, обвел всех внимательным взглядом светлых глаз, вдохнул и выдохнул: — ...Бога. Бог даровал Саше эту жизнь, Бог забрал его, и Бог готовил ему другую жизнь, в другом веке и другом мире».

«Лучше бы, — вполголоса произнес кто-то, — дал бы ему еще лет сорок этой жизни». — «Не знаешь, — шепнул Артемьев Антипову, кивком указывая на человека у гроба, — кто это?» — «Из новых Сашкиных знакомых, — ответил Антипов. — Павел Сергеевич его зовут». — «Да, — с печалью проговорил Павел Сергеевич, — сорок лет было бы замечательно... Но я верю... новая жизнь, в которую он вступил, наполнена таким прекрасным светом, такой радостью и таким покоем, что Саша будет там бесконечно счастлив».

Потом словно закрутилась старая пластинка со стершимися от бесконечного повторения словами. Какая утрата. Спи спокойно. Мы тебя никогда не забудем. В наших сердцах. Гроб накрыли, тремя винтами привинтили крышку, бездыханное тело Саши Звонарева опустили в могилу, и все с чувством облегчения и неловкости от того, что они еще живы, отправились на поминки.

Он выпил поминальную рюмку, поковырял салат, отложил вилку и оглянулся. По левую от него руку утирала платком глаза пожилая женщина в темно-серой кофте; справа сидел Антипов, рядом с которым он увидел Павла Сергеевича. Сквозь общий, пока еще негромкий шум Артемьев слышал, как Антипов излагал соседу свое суждение о религиозном возрождении России. Сейчас, говорил Антипов, не забывая наполнить свою рюмку, предложить Павлу Сергеевичу, промолвить в ответ на отклоненное предложение «ну-ну» и выпить, — сейчас о себе едва ли не каждый скажет, что верующий. Пруд пруди. Сверху донизу все крестятся, все молятся, у всех на Пасху куличи, а на Троицу — березовые ветки. Красота! И церковью как при царе, а то и больше. А жизнь как была полна всякой гадости, вранья, жестокости, насилия — такой и осталась. И выходит, что либо вера — это самое пустое и никчемное дело, либо верить надо как-то по-другому. Павел Сергеевич окинул Антипова внимательным взглядом. А существование Бога, сказал он, вы, я надеюсь, не отрицаете? Тут Артемьев не выдержал. Постой, постой, придержал он открывшего было рот Антипова. Возможно, проговорил он, в создании жизни — от «божьей коровки» до человека — участвовала какая-то высшая сила. Космический разум.

Творец. Повелитель Вселенной. Первопричина. Бог. Какая разница. Но, будучи создана, в дальнейшем — от пра-правремени до нашего двадцать первого века — жизнь двигалась своим ходом, по своим законам — примерно так, как растет дерево. Он добавил: и как оно умирает. И человек, быстро и горячо говорил Артемьев, появляется, растет, к чему-то стремится, суетится, страдает, подличает, голосует за изолгавшихся депутатов, за президентов, из которых один пьет, другой врет, идет на войну, стреляет, убивает, рожает детей, — и так по кругу, вроде цирковой лошади, бежит и бежит, пока в нем не прекратится дыхание и он не упадет замертво, так и не поняв, зачем бежал, зачем жил. По нынешнему поветрию его и в церковь занесло, и он убедил себя в том, что стал верующим. Но и это, мрачно заключил Артемьев, так же бессмысленно, как и все остальное. Видите ли, начал Павел Сергеевич, и Антипов откинулся на спинку стула, чтобы не быть помехой их разговору, — ваше отчаяние... а ведь это истинное отчаяние, я вижу! оно, как ночь перед рассветом. Какой рассвет, болезненно поморщившись, перебил его Артемьев. Тьма вокруг. Бездна, которая вот-вот меня пожрет и перед которой я стою один-одинешенек. С участием взглянув на него, Павел Сергеевич покачал головой. Какое заблуждение! Вы просто не знаете, что вы не один. Не знаете, что у вас есть Отец. Артемьев усмехнулся. Мой отец давно умер. Не надо утешений. Я уйду с воспоминаниями о нескольких счастливых днях — но так и не поняв, для чего я появился на этом свете.

То, что я скажу сейчас вам, отвечал его собеседник, опустив глаза и проведя черенком вилки по скатерти прямую линию, недоказуемо. Вы можете принять это, можете посмеяться, можете отнестись с презрением, считая ниже своего достоинства, достоинства человека разумного, Homo sapiens, рассуждать о вещах, не имеющих твердого основания. Но там, где есть вера, всегда присутствует тайна. Нет причинно-следственных связей; нет очевидностей вроде той, что дважды два всегда четыре; нет прямых доказательств, что, к примеру, пролежавший четыре дня в гробу Лазарь был воскрешен Иисусом Христом. Есть либо тихое просветление, либо все озаряющая молния; либо работа души и размышляющего ума, либо упавший с неба дар. И что же, кривя в усмешке губы, спросил Артемьев, я должен поверить, что Лазарь, которого уже коснулся тлен, встал и своими ногами вышел из гроба? Павел Сер-

геевич приложил ладонь к груди, прикрыл глаза и дважды глубоко вздохнул. Вам нехорошо? — встревожился Антипов. Нет, нет, сказал Павел Сергеевич. Все в порядке. Маленькие неприятности. А вы, обратился он к Артемьеву, никому ничего не должны. Есть один человек, перед которым вы в долгу, — вы сами. И помните: вера — единственный выход для того, кто стремится к жизни, не истребляемой смертью. И пусть она возникает как будто ниоткуда, она — самое реальное, что может быть в нашей жизни. Вы ли придете к Христу, или Он к вам, или вы встретитесь на полдороге — но в конце концов, вы посмеетесь над прежним своим неведением. Бог, сказал духовидец, к нам близко, но мы далеки. Бог внутри, но мы снаружи... О, нет! Вам не станет жить легче и проще. Вам даже станет труднее, ибо христианство есть служение правде и любви, о чем, — горько усмехнулся он, — многие христиане даже не подозревают. Но только таким путем вы сможете привнести в свою душу мир и чувство исполненного долга.

Да какая вера! — почти вскричал Артемьев — так, что соседка слева коснулась его руки и шепнула: тише, молодой человек, вы все-таки на поминках. Где я ее возьму, тихо произнес он, когда вижу, что нет мне ни утешения, ни просветления.

5.

Но разговор этот не прошел для него бесследно. По прошествии некоторого времени он стал думать, что стыдно ему оставаться в неведении о том, что написано в Библии.

Нельзя, однако, сказать, что Артемьев вообще не имел о ней никакого представления. Но почерпнутое из книг и кино приблизительное и беспорядочное знание о ней — вроде почему-то оставшегося в памяти перехода евреев через Чермное море *аки по суху*, было настолько ничтожно, что он не мог даже сказать, с чего бы им вздумалось переходить это самое Чермное море; или, к примеру, он припоминал, что Сара посмеялась обещанию Бога, что она в ее-то старые годы зачнет и родит ребенка от столетнего Авраама, однако Бог своему слову оказался хозяин, и она родила Исаака. Лучше всего, пожалуй, он знал историю Иосифа и при случае мог рассказать, как тот, ощутив в себе возрастающий и несомненный

признак осла, бежал от воспылавшей к нему преступной страстью жены Потифара; однако эти и другие замечательные подробности он почерпнул не из первоисточника (где, как выяснилось впоследствии, их вовсе и не было), а из «Иосифа и его братьев» Томаса Манна. С Новым Заветом он был знаком лучше, а однажды даже взял его в руки с честным намерением прочесть от корки до корки и начал с родословия Иисуса Христа, да так на нем и застрял, — но, собственно говоря, кто в наши дни не знает о совершенных Иисусом чудесных исцелениях, Кане Галилейской, Тайной Вечере, Голгофе и ужасном Распятии с последующим Воскрешением. И поскольку он воспринимал это безо всякого участия сердца, а всего лишь любопытствующим умом, никакого влияния на его жизнь поверхностное знакомство со Священным Писанием не оказало. В самом-то деле не менять же ему жизнь из-за того, что блаженны плачущие, а также нищие духом и миротворцы.

Сказать по правде, были вещи куда более важные, из-за которых следовало бы изменить свою жизнь, например, отношения с женой, ставшие после рождения сына совершенно непереносимыми. Под одной крышей они жили чужими людьми, и его некогда обожаемая Галя не упускала случая сообщить Артемьеву, какое он ничтожество. «Лакейское занятие! — говорила она о его службе, и ее прекрасные, благородного орехового цвета глаза светились презрением. — Пиар-агентство “Чего изволите”. Мы сделаем вам красиво». Он приучил себя отмалчиваться.

Все между ними как будто шло к разводу. Но одна мысль о том, что его могут лишить сына, приводила Артемьева в неопишуемый ужас. Как! Ему ограничат общение с Димочкой или чего доброго — а случаи такие были, он знал, — вообще запретят видеться с ним; ему, обожавшему сына, встававшему ночами к его кровати, поившему его молоком из бутылочки, возившему к врачам, отводившему в детский сад, читавшему на сон грядущий чудную сказку о Волшебной стране и Железном Дровосеке — ему отмерят каких-нибудь два часа в неделю, тогда как его переполняет любовь к Диме, сокровищу и ангелу. Нет, о разводе нечего было и думать. Терпеть, говорил он себе, а иногда мечтал: а вдруг! вдруг она сама уйдет к какому-нибудь красавцу, сексуальному гиганту, вроде бывшего ее любовника, капитана ФСБ, от подвигов которого, как сообщала она по телефону подруге, у нее *трещали волосы*. (Он услы-

шал это с чувством оскорбленного мужского достоинства, но затем засмеялся и легко подумал: ну и сука). Она уйдет, а Дима останется с ним. Вот счастье. Но со вздохом он погребал свою мечту.

Он сам не ожидал, что в нем откроются такие кладези отцовской любви. Возможно, какое-то время она защищала его от сознания тщеты жизни, ибо появление и возрастание Димы придавало ей, казалось бы, неистребимый смысл. Растет человек! — и что могло быть значительней и серьезней? какой смысл мог быть выше? что важнее, чем это дитя, взахлеб произносящее длинные речи на языке, понять который могли, наверное, лишь птицы? Не пытался ли он внушить отцу своему, чтобы тот не мучился жизнью, а наслаждался ею, каждым ее мигом — проблеснувшим после дождя лучом солнца, былинкой в поле, расцветающей в чудесный цветок, луной, средь бела дня отражающейся в темной воде колодца? Не может ли быть, что в младенчестве мы бываем наделены каким-то высшим знанием, которое утрачиваем с возрастом? Глядя, как Дима ползает, как пытается встать на ноги, встает, покачивается и с недоумением в темных глазах, не удержавшись, шлепается на пол, Артемьев не мог сдержать счастливой улыбки. Разве не продолжается его жизнь в сыне? Он состарится и будет опираться на крепкое плечо Димы; умрет, и сын похоронит его и поставит на могиле плиту черного мрамора с выбитыми на ней словами: «Ты был лучшим из отцов». Но затем он представлял, что пробьет час — и за Димой придет смерть; и его сын положит его в могилу рядом с Артемьевым; а потом придет черед и Диминого сына, и сына Диминого сына, и так, один за другим, будут уходить в землю Артемьевы, на смену им будут появляться другие, и во всем этом он не находил никакого смысла. Как гвоздь ему вбили в сознание, когда он прочел: человек есть животное, хоронящее мертвых.

Скорбным взором смотрел он на играющего у его ног сына.

6.

Он читал много дней, зачастую захватывая и ночные часы и поначалу преодолевая возникавшее в нем глухое сопротивление. Кто-то тянул его прочь от Библии, нашептывая, сколько еще книг прекрасных ждут не дождутся своего часа, «Улисс», например,

или «Фауст», брошенный на половине, или, в конце концов, те же «Илиада» и «Одиссея», прочитанные без должного внимания, — а он тратит драгоценное время на покрытые тысячелетней пылью музейные редкости, когда-то сиявшие красотой, но ныне поблекшие и утратившие былое очарование, значение и смысл. Что тебе в этом собрании мифов? в кладбище древних легенд? хранилище обветшавших ценностей? Желаеть узнать о происхождении Земли и возникновении жизни? Тогда оставь наивные предания и обратись хотя бы к «Великому замыслу» Стивена Хокинга, потрясающего человека и ученого, чей могучий дух вкупе с чудесами современных технологий преодолел бремя исковерканной болезнью плоти. Чаешь умиления сердца? Ищешь его в книге Руфи — в истории моавитянки, пригретой зажиточным евреем, — брось! Не лучше ли открыть Чехова, его «Цветы запоздалые», или «Три года», или «Скрипку Ротшильда», и над каждым из этих рассказов провести в волнении души, может быть, лучшие часы своей жизни. Ищешь душщипательную повесть, желательно со счастливым концом, и находишь ее в книге Товита? Простенькая, надо сказать, история, в которой загадочней всего выглядит дважды появляющаяся на ее страницах собака — при том, что евреи собак не жаловали. Но зачем тебе этот стакан густого сиропа? Возьми Диккенса — или «Копперфильда», или «Домби и сына». Вот где твое сердце сначала сожмется от сострадания, а потом омоется светлыми слезами радости за хороших, добрых людей, которым наконец-то улыбнулось счастье.

Право, бывали дни, когда он готов был поставить Библию на полку, успокоив себя обещанием что когда-нибудь, в неопределенном будущем, он снова обратится к ней — и тогда прочтет, как говорили в старину, от доски до доски. И несколько раз он закрывал книгу и, шаря взглядом, примеривался, куда бы втиснуть ее между другими, — однако что-то удерживало его. Странно, но чтение Библии он стал воспринимать как исполнение долга — а перед кем, сказать он затруднялся. Перед мамой? Но она никогда не говорила ему, что вера должна быть основой человеческой жизни. Перед Димой? Возможно. Или перед собой? Он вспоминал Павла Сергеевича с его сухим, морщинистым лицом, и словно бы слышал слова его, обращенные к нему, Артемьеву, что должен он прежде всего самому себе. И чем больше он читал, тем сильнее чувствовал, что

прежде был пуст, а теперь постепенно наполнялся даже не знанием, а чем-то более важным, чем знание, — новым, неизвестным ему раннее отношением к жизни. Голова кружилась от неисследимой глубины этой книги. Грандиозная картина сотворения мира силой Божественного вдохновения потрясла его; он чувствовал себя Адамом, для которого Бог создал Землю и все, что на ней. И спрашивал самого себя с горьким изумлением: Адам, отчего ты так плохо живешь? Отчего огрубело твое сердце? Найдет ли тебя среди верных взыскующий Бог? Он поднимал голову и смотрел в темное окно. Боже, где я был всю мою жизнь? Авраам всходил на гору Мориа, чтобы принести в жертву Исаака; Содом и Гоморра обращены были в пепел, а жена Лота превратилась в соляной столб; пораженный страшной проказой Иов сидел у ворот города и скреб черепком свои струпья; три отрока как ни в чем ни бывало прогуливались в раскаленной печи; повредившийся разумом Навуходоносор, как вол, ел траву; Иона три дня и три ночи провел во чреве кита, где понял, что нельзя человеку уклониться от Божьего зова; Илия у потока Киссон собственноручно заколол четыре с лишним сотни пророков Ваала — а он, Артемьев, по своей душевной лени жил так, словно бы не было никогда событий, чей ослепительный свет пробивается к нам из-под толщи времен.

Едва слышно звенела ночная тишина. Артемьев открыл дверь в комнату Димы. Облитый светом полной луны, Дима спал, положив под голову сомкнутые ладони. Что ему снилось? Чуждые звери на пестром лугу? белая птица с янтарными глазами и черным пером в хвосте, говорящая языком человеческим? самолет в синем небе, оставляющий за собой белый след? или ангел светлый присел к нему на край постели и приложил теплую ладонь к его лбу? Спи. Будешь ли ты счастлив, или жизнь твоя пройдет в бесконечных тревогах, думал Артемьев, я не знаю. Но Священная Книга не даст тебе забыться в твоём благополучии и укрепит в дни треволнений и бед. И в полынной горечи Екклесиаста, и в великой дерзости Иова, призвавшего к ответу самого Бога, и в скорбном плаче Иеремии, и в судьбе Осии, через которого за восемь веков до Христа Бог сказал человечеству: милосердия хочу, а не жертвы, — все будет дышать вечностью, в которой поджидает тебя твой Создатель и Судия.

7.

Временами он забывал себя. Покайся, говорил ему Иоанн Креститель, — и так грозен был вид пророка, с такой беспощадной пронизательностью глядели его глаза, что Артемьев с трепетом отвечал, что душа его давно тосковала о покаянии, только он не сознавал этого. Люди не понимают, отчего им так нерадостно живется на этом свете. Все дело в тяжести, которая тяготит их сердца, в которой отвердели их ложь, равнодушие и жестокость и от которой им не избавиться иначе, чем через очистительное признание своих грехов. Каюсь я, Господи, каюсь. Облегчи мне душу. Коснись меня и растопи лед, сковавший меня. Очисти мой слух, чтобы я мог внимать Тебе; протри мне глаза, чтобы я увидел величие Твое; укрепи мои стопы, чтобы я твердым шагом следовал за Тобой. Ты, Господи, просиял в Преображении Своем и Своим светом просветил людей по всей земле; но сколь велико число одетых в непроницаемую броню самомнения, самодовольства и превозношения!

Он был свидетелем совершенных Иисусом Христом исцелений и думал, что, может быть, и ему по вере его дана будет чудесная сила. Беда сегодняшних людей в том, что вера не захватывает их целиком, и они кто меньше, кто больше уступают ее миру. Они печалятся и спрашивают: отчего же? Мы молимся — и ничего не получаем по нашим молитвам. Вы просите, отвечает Господь, но ничего не даете взамен. Откройте для Меня ваше сердце, и вы получите стократ больше просимого. И Гефсиманскому борению был Артемьев свидетель; он не спал — и тщетно старался пробудить апостолов, дабы Христос по возвращении застал их бодрствующими. Когда мир спит и не внимлет молитве Христа, небеса наливаются тьмой, и наступает время войн, убийств и насилия; человек оказывается во власти зла, и ничтожный во всех отношениях правитель посылает полчища в мирные пределы других стран. Мы спим, думал Артемьев, и во сне слабеют наши руки, и у нас не остается сил противостоять безумию. Проснись, человек. Оглянись окрест. Разве не видишь, что пока ты спал, в центре земли выросло древо ненависти, и ледяной ветер разносит его семена по всему свету. Вот — дунул он, и семя ненависти дало обильные всходы в стране N., кичащейся своей близостью к Богу, объявившей себя оплотом веры и свысока посматривающей на другие страны

и народы. Опомнись! Разве угодна Господу вера без любви, молитва без сострадания, милостыня без доброты? Ненависть к другим пронзит твое сердце — и ты распадешься на части, ненавидящие друг друга и проливающие кровь в преступных войнах. Ты задохнешься собственной злобой. Некогда огромная, ты разлетишься на осколки; некогда богатая, ты пойдешь по миру с протянутой рукой; некогда гордая, ты склонишься в рабском поклоне. Слышен ли тебе стук маятника? Это время идет; отсчитывает твои годы; немного их осталось — но пока еще есть время для покаяния.

И со скорбящим сердцем он шел в толпе к невысокому холму, называемому Голгофа. Кто-то плакал, главным образом, женщины; видел он и мужчин, вытирающих слезы; но немало было людей, громко разговаривающих и даже смеющихся. Неподалеку от Артемьева черноволосый человек с яркими зелеными глазами на смуглом лице говорил своему хрому, опирающемуся на палку спутнику: «Он самозванец. Я, говорит, Машиах. Да какой ты Машиах, ты, нищий бродяга! Нашел двенадцать простофиль, готовых с утра до ночи глядеть ему в рот». Его спутник усмеялся. «Он, говорят, воскрешал. Теперь ему на кресте самое время показать, на что он способен». — «Не бойтесь вы Бога, — укорял их седобородый старик. — Кровь невинного взыщется с вас и детей ваших!»

Казалось, что люди здесь съехались со всего света. Что их привело? Сострадание? Желание вмешаться и спасти невинного? Выразить свою любовь и тем самым, быть может, облегчить Ему смертный час? Да, были и такие; но по наблюдениям Артемьева, большинство явилось сюда всего лишь из любопытства. Наслышанные о совершенных Иисусом чудесах, они ждали, что Он сойдет с креста целым и невредимым. Некоторые даже бились об заклад: одни утверждали, что Иисус чудесным образом избежит казни, тогда как другие говорили, что Он будет распят и умрет подобно самому обыкновенному человеку. Кто-то пытался их пристыдить, указывая на неуместность и безнравственность такого спора, но его участники отмахивались и советовали не лезть не в свое дело. Артемьев страдал. Он видел местных жителей, евреев, слышал английскую и немецкую речь, узнавал приехавших из России и думал, что здесь представлено человечество, которого не потрясло убийство Сына Божия. Ни всеобщего отчаяния, ни душераздирающей скорби, ни безысходного горя, ни отворачивания ко всякому злу.

Человек этого человечества не изменил своего обыкновения жить так, словно впереди у него вечность. Только на смертном одре, оглядываясь назад, он испытывает неведомое ему прежде чувство стыда за постыдную пустоту прожитого; а внезапная мысль о Боге наполняет его ужасом перед необходимостью ответа за никчемность своего земного существования. Душа его в великом смятении. О, если бы можно было начать с чистого листа! Нет; не будет тебе нового начала; и хотя угасающим шепотом он пытается сказать своим близким, чтобы они изменили свою жизнь, перестали бы лгать, подличать и ненавидеть друг друга, а жили бы в любви, мире и согласии, — кто его услышит? Ибо этому человечеству до единого человека надо сойти в могилу, чтобы на земле появилась новая, чистая поросль со светлым храмом и молитвой в сердце.

Один юноша с залитым слезами лицом хватал всех за руки и звал объединиться, разметать стражу и спасти Праведника. От него отворачивались.

8.

В воскресный день раннего лета, в полдень, Артемьев отправился с Димой в парк — побродить по их любимым дорожкам, подойти к старому дубу, постоять на берегу пруда, глубокомысленно обсуждая, водится ли в нем рыба или живут одни лягушки. Молодая листва шелестела над ними, высоко в ярком синем небе стояло солнце, на полянах среди ярко-зеленой травы желтели цветы одуванчиков — и все вокруг полно было такой нежности, чистоты и свежести, что Артемьев не сдержал восторженного восклицания: «Боже, как хорошо!» И Дима, оглядевшись, кивнул: «Красиво». Однако несколько шагов спустя обнаружилось, что мысли его заняты совсем другим. «Папа, — сказал он, чуть забежав вперед и обратив на Артемьева пытливый взгляд чудесных темных глаз, — почему у Мишки есть собака, а у нас нет?» Артемьев пожал плечами. «Философский вопрос. Не у всякого человека есть собака. У Коли Никанорова собаки нет». — «Я бы с ней гулял, — продолжал Дима. — И утром, и вечером. Для моей жизни мне очень не хватает собаки». — «Гм, — проронил Артемьев. — А мама? Она, мне кажется, не очень любит собак». — «А ты поговори с ней.

Объясни. И я ее попрошу. Всего одна собака. Она не займет много места». Артемьев вздохнул. «Хорошо, Дима. Поговорим с мамой. Если она позволит, возьмем тебе собаку». — «Большую?» — с надеждой спросил Дима. Артемьев подумал и сказал: «Среднюю. И назовем... Как мы ее назовем? Джек?» — «Нет, нет! — воскликнул Дима. — У Мишки Джек. Мы назовем... Амур!» — «А почему Амур?» Дима улыбнулся своей застенчивой и вместе с тем лукавой улыбкой, от которой у Артемьева теплело на сердце. «Я где-то слышал...» — «Дима!» — промолвил Артемьев. «Что, папа?» — откликнулся Дима. Артемьев молчал.

Великий покой наполнял его душу. Теперь он не мучился незнанием, и его не тяготила мысль о том, зачем он живет и есть ли смысл в его существовании; с улыбкой вспоминал он теперь свое недавнее отчаяние, свою тоску, и теперь не чувствовал себя брошенным в равнодушный к его судьбе мир. Отчего распростерлись над головой небеса? Отчего светит солнце? Отчего полвека, а, может быть, и целый век растет этот дуб и всякую весну будто сбрасывает с себя груз прожитых лет и одевается в новое волшебное платье? Отчего порхает над поляной бабочка, успевающая родиться, порадоваться жизни и уснуть всего лишь за одно быстротечное лето? Отчего пролетает по верхушкам сосен ветер, прошумит и уносится дальше, в гнездовье ветров, туманов и дождей? Отчего бежит по стволу белка, уже одевшаяся в летнее, рыжее пальтецо? Плышет облако, стрекочет сорока, ползет жук с темно-синим, светлеющим по краям панцирем, шевелится всей своей поверхностью огромный, едва ли не в половину человеческого роста муравейник — и Артемьев теперь знал, что все это бесконечное многообразие жизни создано Творцом всего сущего, Отцом всех людей, облаков и деревьев, Родителем птиц и зверей, Попечителем муравьев, бабочек, жуков и всей летающей, бегающей, ползающей твари как на лице земли, так и в ее подземельях, как на поверхности вод, так и в их глубинах. Если все создано дыханием Бога, думал теперь Артемьев, то не означает ли это, что ожидающая его смерть будет всего лишь прекращением существования в этом мире. Другая жизнь ожидает его за порогом, ибо Бог не хочет окончательной смерти Своему созданию. Он призовет его в иные миры, где смерти нет, где жизнь бесконечная и где лишь изредка коснется сердца свет-

лая печаль о том, что осталось в прежней жизни, о тех, кого любил и кого покинул. Но ведь не навсегда же?

«Дима, — переводя дыхание, сказал Артемьев. — Давай молиться». — «Но мы ведь не в церкви», — отозвался Дима. «Весь мир — наша церковь, — ответил Арсеньев. — Благодарим Тебя, Боже...» И Дима повторил за ним: «Благодарим Тебя, Боже».

9.

Теперь он не мог жить, как прежде, мирясь с большой и малой ложью, несправедливостью, жестокостью, отсутствием сострадания, — словом, со всем тем, с чем так часто приходится сталкиваться в повседневной жизни. Вдруг он открыл малопривлекательную сторону своей работы и подумал, что не так уж неправа была Галя, назвав ее лакейством. Последним его заданием был хвалебный текст о банкире Уколове, своего рода ода о крупном капитале и одном из его рулевых. Банкир оказался пожилым, грузным человеком с отвисшими щеками и мохнатыми бровями, из-под которых смотрели маленькие, цепкие, недобрые глаза. Он неохотно отвечал на вопросы, от некоторых же отмахивался с брезгливой гримасой, то и дело смотрел на часы и всем своим видом давал понять, что делает большое одолжение Артемьеву, снизойдя до встречи и разговора с ним.

Артемьев дотерпел, попрощался — причем Уколов едва кивнул, не поднимая головы, — и заявил своему начальнику и приятелю рыжему и веснушчатому Николаю Кузьмину, что этот Уколов свинья и сволочь и наверняка поднялся на коррупционных деньгах. От него за версту разит. Нужна ода? Будет тебе ода. Но впредь ни об одном мерзавце ты не получишь ни строчки. А ты, хладнокровно отвечал Кузьмин и смотрел с откровенной насмешкой, как на круглого дурачка, не получишь и рубля и будешь изгнан из дома, как во всех отношениях никудышный муж. Кто заплатит — о том и напишешь. «Посмотрим», — буркнул Артемьев и задумался о перемене работы.

Но спустя несколько дней позвонил Антипов, продиктовал номер телефона и назвал имя — Валентин Петрович Серебров, председатель благотворительного фонда «Спаси и сохрани». — «Ска-

жешь от Ивана Григорьевича». — «А кто это?» — спросил Артемьев. «Большой человек, — ответил Антипов. — Директор свечного завода. Одного моего приятеля седьмая вода на киселе».

Серебров оказался человеком лет шестидесяти, небольшого роста, с голубенькими мутноватыми, как у месячного котенка, глазками, седой бородкой и быстрой, временами невнятной речью. Имя «Иван Григорьевич» оказалось поистине волшебным. Серебров усадил Артемьева в кресло, справился, удобно ли, ободряюще похлопал его по плечу и сел за стол напротив под большую икону Иисуса Христа. В «красном» углу стоял киот, из которого глядели на Артемьева лики святых, как бы вопрошающих, а зачем ты сюда явился; бледным крошечным огоньком теплилась лампада. Торжество православия было здесь несомненным, и Артемьеву стало не по себе — как в последнее время бывало с ним всякий раз, когда он встречался с кем-нибудь, о ком было известно, что он не первый год посещает церковь. Он чувствовал, что в сравнении с людьми, прошедшими немалую школу веры, близко знавшими священнослужителей, бывавшими паломниками в монастырях, молившимися в Иерусалиме у Гроба Господня, его, Артемьева, вера была столь мала, слаба и робка, что ему даже неловко было говорить о себе, что он христианин. Почему, спрашивается, он не перекрестился на икону Спасителя? Это было бы весьма уместно и многое сказало бы о нем Сереброву. Но ему — в отличие от людей твердой веры — казалось, что, осенив себя крестным знамением, он выставит напоказ свою веру, тогда как ей приличествует скромность и уединение. Следовало затворить за собой дверь и помолиться втайне — и тогда, может быть, Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Впрочем, думал он, людям испытанной веры, наверное, не грозит соблазн самоупоения, гордости и тщеславия — их вера, должно быть, уже прошла Сциллу и Харибду и достигла незамутненных вод христианского океана.

Валентин Петрович тем временем толковал, какой это замечательный человек, Иван Григорьевич, как его ценят в Патриархии и как много добра делает он вообще и для фонда «Спаси и сохрани» в частности. «Божий человек Иван Григорьевич, — с чувством промолвил Серебров, и мутноватые его глазки увлажнились. — И потому, — продолжил он, — раз он вас рекомендует, мы просто обязаны! Но, — он поднял указательный палец. — Нам с вами, Александр

Алексеевич, надо выяснить точки, так сказать, соприкосновения. Вернее, одну, главную, без которой наше сотрудничество, — Серебров развел руками, — невысказано». Артемьев кивнул. Достоин и честно. Без околичностей. Пусть будет слово ваше «да» — «да», «нет» — «нет», а все остальное от лукавого. Он готов ответить правдиво, положив руку на сердце. Серебров одобрительно кивнул. Взгляните, указал он затем на карту России, вместе с портретами патриархов занимавшую одну из стен кабинета. Видите города, поселки и деревни, помеченные красным? Артемьев кивнул. Там живут тяжело больные дети, и туда, к ним, идет наша помощь, к ним протянута наша рука с милостыней... Да не оскудеет она! Эта милостыня собрана народом, доверена нам, и нами отправлена в эти города и веси, чтобы спасти и сохранить жизни несчастных деток. Увы. Не всем мы можем помочь, вот почему наша каждодневная молитва всегда об одном. Господи, произнес Валентин Петрович и быстро перекрестился, помоги страдающим детям! Правая рука Артемьева дернулась и потянулась ко лбу. Господи, дай нам сил споспешествовать тебе в этом! Господи, внуши народу Твоему, что милосердие не знает границ! Он еще раз перекрестился, и вслед ему и Артемьев отяжелевшей рукой начертил на себе крест.

Серебров пристально на него глянул. Теперь главный вопрос, объявил он. Крещены ли вы? Веруете ли? Бываете ли в храме? Артемьев трижды кивнул и добавил, что с недавних сравнительно пор. Кроме того, неловко было ему говорить о своей вере. Ему казалось, что, рассказывая о своих отношениях с Богом постороннему человеку, он непременно допустит неточность, что-то скажет не так, умолчит о важном и, чего доброго, спугнет свою веру, еще не пустившую глубокие корни в его душе. И вообще, он даже представить себе не мог, как можно передать то неизъяснимое, радостное, тревожное, волшебное чувство, которое теперь обитало в нем и которое он так боялся растратить в никчемных разговорах. Как, к примеру, он мог бы сказать, что страх смерти теперь не имеет над ним прежней власти; что ему мало-помалу открывается истинный смысл жизни, заключающийся в стремлении к правде, любви и добру; и что ему кажется, он становится другим человеком — со склонностью более прощать, чем осуждать, но и с большей, чем прежде, непримиримостью ко лжи, насилию и лицемерию.

Что ж, мой дорогой, проговорил Валентин Петрович, доброжелательно взглянув на Артемьева. Милости просим. Но — таков наш порядок — с испытательным сроком. Три месяца.

10.

Несколько дней спустя Артемьев знал всех сотрудников фонда, которых вместе с Серебровым было пять человек. Из них, несомненно, главной — вровень с Валентином Петровичем — была бухгалтер Нина Викторовна Изюмова, неопределенных лет, сухая и прямая, как палка, всегда ходившая в темном — от платка на голове до башмаков с блестящими пряжками. Она располагалась отдельно от остальных — в маленьком кабинете с иконой Казанской Божьей Матери, компьютером и заваленном бумагами столом, за который она садилась ровно в десять и сидела до восемнадцати с двумя перерывами на чай. Познакомился Артемьев и с духовником фонда, отцом Иоанном, писанным красавцем с синими глазами, чем-то напоминающим артиста Алена Делона. Мучительно краснея, Артемьев положил правую ладонь поверх левой, в полупоклоне приблизился к отцу Иоанну и едва слышно прошептал: «Благодарствуйте». Тот осенил его крестным знамением, но руки целовать не дал, а возложил ее на голову Артемьева со словами: «Очень рад новому соратнику на ниве Христовой». И голос у него был красивый — мягкий и низкий.

Артемьеву он понравился — как, впрочем, кто меньше, кто больше, и остальные сотрудники за исключением, быть может, Нины Викторовны, бухгалтера, с ее темным, почти монашеским одеянием и низко надвинутым на лоб платком. Но, думал он, где ты видел симпатичных бухгалтеров? Месяц спустя после того, как его зачислили в «Спаси и сохрани», в день зарплаты, она выкликнула его фамилию. Он вошел, сел рядом с ее заваленном бумагами столом, она, не говоря ни слова, указала ему, где расписаться, и вручила конверт; он сказал «Спасибо» и приподнялся, чтобы уйти, но так же молча она придвинула к нему вторую ведомость, пальцем с неровно обстриженным ногтем показала, где следует ему оставить свою подпись, и протянула еще один конверт. Конверт он принял, но смутился и спросил: «А это за что?» Она взглянула на него из-

под платка зеленоватыми глазами и не без яда в голосе ответила: «За ваши успехи».

Из сотрудников на месте была только Мила Липатова, готовившаяся к встрече с возможным жертвователем, вставшая перед зеркалом и придирчиво осматривающая свое отражение. «Вот вы, Саша, — обратилась она к Артемьеву, — как вы находите, не очень легкомыслен мой пиджачок?» И она одернула полы пиджака приятных серых тонов. «Строг и вам к лицу, — отозвался Артемьев. — Он дрогнет, ваш жертвователь, вот увидите». — «Господь управит», — вздохнула она, села за стол и взяла телефон. «Откройте тайну, — садясь напротив, спросил он, — Не знаете ли, что это за второй конверт к зарплате?» — «Второй? — Она наморщила гладкий лоб и долгим взглядом посмотрела Артемьеву в глаза. — Какой второй? Ах, вы о дополнительном вознаграждении... Вообще-то у нас не принято это обсуждать. Это Валентин Петрович. Он находит возможности... ресурсы... Милость Божия, вот что это». Артемьев не стал донимать ее вопросами, но второй конверт какое-то время еще сидел в нем занозой. Тут зарплату неловко получать, а тебе еще и с неба манна в виде второго и довольно пухлого конверта. Он несколько дней думал об этом, но затем поехал в Рязань, к Леночке Нестеровой, двенадцати лет, у которой обнаружена была редкая для ее возраста опухоль — хондросаркома. Через год после операции возник рецидив. Спасать девочку повезли в Москву, в Онкоцентр, где веселый врач с кавказскими усами описал, как Лене иссекут опухоль, укрепят позвоночник чем-то вроде металлического каркаса и на несколько месяцев усадят в инвалидное кресло. «А встанет ли?» — робко спросила мама, Екатерина Ивановна. «Должна встать!» — бодро сказал врач. Екатерина Ивановна представила Лену, на многие годы прикованную к инвалидному креслу, и ей стало дурно. «А где, — едва промолвила она, — еще... это делают?» Веселый врач стал еще веселее. «В Италии, — засмеялся он. — В Японии. В Германии».

Пока Екатерина Ивановна рассказывала, а Артемьев слушал, Леночка, худенькая девочка с длинными ногами жеребенка, сидела на диване, привалившись к отцу, крепкому человеку лет сорока. «В Германии... в Италии, — с мучительной улыбкой проговорила Екатерина Ивановна. — Где нам такие деньги взять?» — «Папа, — тихо сказала Леночка, — а почему у нас нет денег?» — «Я посчи-

тал, — обняв ее за плечи, мрачно произнес отец, — нам надо год не есть, не пить, не платить за квартиру... вообще не жить...»

Артемьев написал о Леночке, ее маме, ее отце. И пока писал, пока пытался представить себе обрушившийся на них ужас, охватившее их отчаяние, чувство бесконечного одиночества — думал, что огромной стране с ее нефтью и газом, с ее ископаемыми и рукотворными богатствами, дворцами ее богачей, с ее ракетами, бомбами и танками совсем нет дела до человека, одного из ста сорока миллионов, — как он живет, ходит в магазин, смотрит на цены и прикидывает, что ему по карману, а о чем нечего и думать, как он часами сидит в коридоре поликлиники, как идет в аптеку, где сокрушенно качает головой и говорит, что проще умереть — во всяком случае, дешевле. Кто его услышит? Кто поймет? Кто обнадешит?

В жизни, думал Артемьев, и ему становилось зябко от открывающейся перед ним бездны, есть какой-то мучительный изъян, какая-то изначальная несправедливость, если Леночка Нестерова в ее двенадцать лет оказалась в шаге от смерти. Он задал себе вопрос: почему она? Почему милосердный Бог — а Бог милосерден, в чем не может быть никакого сомнения, — послал ей смертельную болезнь? Она наказана? За что? Не может быть такой вины у девочки, чтобы ей было отомщено с такой запредельной жестокостью. За грехи родителей? Послушайте! Неужто наш Господь подобен кремлевскому злодею, мстившему *изменнику Родины* лютыми гонениями на его родных — взрослых и детей, стариков и женщин — всех без исключения?

Во всяком переживаемом человеком страдании, думал он, и уж тем более в страдании дитя заключен вопрос к мирозданию, без ответа на который трудно жить. Да, Бог дал человеку свободу; да, Бог хочет, чтобы человек сам выбрал между добром и злом; и Бог не виновен — если можно так выразиться о Нем, Абсолюте и Все-совершенстве, — что человека тянет ко злу с куда большей силой, чем к делам милосердия и добра. Но накопленное за всю прожитую нами историю зло не проходит бесследно; его не уносит ветер, не смывает дождь; оно становится проклятым камнем, лежащем на сердце человечества, оно калечит души и уязвляет тела. Как не быть страданию в мире царствующего зла, в жестоком, несправедливом, порочном мире?

11.

После его статьи волшебные изменения произошли в жизни Леночки Нестеровой. Один за другим посыпались переводы; порядочную сумму отстегнул владелец *трубы* Шах-Магомедов. Милосердие, вспомнил Артемьев, иногда стучится в их сердца. Леночке сделали операцию в берлинской клинике «Шарите», и, прощаясь с ней, доктор Шульц сказал на чистом немецком языке: «*Jetzt wirst du nicht kranken*»⁵. Но странной радостью был рад Артемьев: он рад был за Леночку, которой выпал счастливый билет, и опечален за тех, кто оказался пасынком неласковой к ним судьбы. Когда он сказал об этом, Валентин Петрович возмутился и ответил быстрой своей и временами невнятной речью, что надо благодарить Бога за каждую спасенную жизнь.

Что ж, думал Артемьев, не так уж он неправ. Если кому бублик, а кому дырка от бублика, если во взгляде государства на человека нет ни капли сострадания и если невозможно помочь всем страждущим, то пусть хотя бы немногим забрезжит надежда. Мы живем в стране несбывшихся ожиданий. Русская революция начала прошлого века обещала справедливость, а кончила высоченным забором, за которым советская знать жила на берегах реки, текущей молоком и медом; русская революция конца прошлого века сулила свободу и достоинство, а завершилась государственной ложью и полицейской дубинкой. Можно, думал он, жить по Евангелию, а можно по татаро-монгольской прописи, в которой власть существует исключительно ради власти. Можно видеть в человеке образ и подобие Божие, а можно — бессловесную тварь без лица и собственного мнения. Можно беречь свое первородство, а можно променять его на чечевичную похлебку. Он думал также, что нет никого, кто мог бы изменить жизнь так, чтобы она стала милосердней к человеку; следует с подозрением относиться к тем, кто обещает незамедлительное утверждение привлекательных, но вряд ли достижимых свободы, равенства и братства; есть, кроме того, в этом призыве какая-то внутренняя ущербность, какая-то глубинная фальшь, скрытая его звучностью. Из всех попыток осчастливить человечество в конечном счете получалась гадость вроде

⁵ Теперь ты не будешь болеть (нем.)

государства, созданного иезуитами для индейцев Парагвая. Вот если все уверовали бы в Христа — не на словах, не повесив на шею золотую цепочку с золотым крестиком и на этом поставив точку в своем духовном преображении, а свидетельствуя о своей вере своими делами — тогда, может быть, взошло бы над землей солнце правды, сострадания и любви.

Он стоял у выхода из метро, выглядывая, вывернет ли из-за угла нужный ему автобус. Был июнь, первая половина, не по-летнему прохладный день. «Браток, — услышал он робкий голос, — а, браток...» Он обернулся и увидел заросшего седой щетиной человека в пиджаке с прорванным локтем, спортивных штанах и сандалиях на босу ногу. «Слышь, браток, мне бы согреться...» Артемьев молча смотрел на него. Вот пришел к тебе твой брат и молит о помощи. Дождь, прохладно. Он слаб, голоден; он замерз. Нормальный человек возмутился в Артемьеве. Да ты взгляни на него! На нем печать оттиснута: бомж, алкаш, ночевки по подвалам, попрошайничество, мелкое воровство, за которое его бьют. Вон, *блани* у него как сияет. Пропил все: семью, честь, совесть, и твои деньги, если дашь, тут же пропьет. Артемьев вздохнул. *Истинно говорю вам: так, как вы сделали это одному из сих братьев Моих меньших, то сделали Мне.* «Тебя как зовут?» — спросил он, с несвойственной ему легкостью обратившись к незнакомому человеку на «ты». — «Не в этом дело, браток, — отозвался тот. — Мне бы поправиться». — «И все-таки», — сказал Артемьев. «Ну, Сергеем. Паспорта не проси, паспорта нет». Не делай глупости, предупредил Артемьева его нормальный человек. Будет скандал, я тебе обещаю. И Евангелие не спасет. Артемьев снова вздохнул. «Ну, пойдем, друг». — «Это куда же? — встревожился и отступил на шаг Сергей. — Погоди, а ты не мент часом? Мне в ментовке делать нечего. Все почки вы мне отбили». — «Нашел мента, — усмехнулся Артемьев. — Домой ко мне пойдем. Тут недалеко». — «Да ты чего... Зачем? Ты лучше дай мне денег сколько можешь». — «Пойдем, пойдем. Тебя в гости зовут, а ты упираешься». — «Да как-то я сегодня не очень... Не при параде, — мрачно проговорил Сергей. — Я тебя не знаю. Мало ли что...» — «Пойдем, — повторил Артемьев. — Отогреешься. Вон как тебя колотит. Вот и автобус».

Дима вышел навстречу и, увидев незнакомое человека, вопросительно посмотрел на отца. «Это наш гость, — объяснил Арте-

мьев. — Сергей... А по батюшке?» — «Николай был отец», — хмуро сказал Сергей. «Вот, Дима, Сергей Николаевич к нам пришел». — «Очень приятно», — промолвил Дима и еще раз глянул на отца. «Та-ак, — принялся командовать Артемьев, — чего мы стоим? Сергей, ты чего встал столбом? Начнем с ванной. Ты свое все снимай и сандалии твои французские... У тебя какой размер? Сорок второй? Я так и думал. У меня кроссовки почти не ношенные. Давай, давай. Отогреешься, помоешься, сразу лучше станет».

Час спустя все сидели за столом. Чистый, согревшийся, побрившийся и одетый в чистую рубашку с плеча Артемьева и такого же происхождения почти новый пиджак темно-синего цвета, брюки, носки и уже упомянутые кроссовки, Сергей Николаевич выпил одну за другой две рюмки водки, после чего с ним случились благотворные перемены. Если возле метро он выглядел на все шестьдесят, то теперь было видно, что ему, наверное, нет и пятидесяти, тусклые глаза просияли и оказались зеленовато-голубыми, на лице как будто бы стало меньше морщин, и единственное, что портило облик гостя, так это отсутствие у него передних зубов. Зная об этом своем изъяне, Сергей Николаевич время от времени стыдливо прикрывал рот ладонью. Между тем, Дима исподволь рассматривал гостя, и видно было, что его томит любопытство, и ему не терпится узнать, кого папа привел в их дом. Наконец, он решился и задал вопрос. «А где вы живете?» — спросил он, и тут же получил от Артемьева выговор: «Не лезь к Сергею Николаевичу. Дай отдохнуть». Но Сергей Николаевич торопливо выпил еще одну рюмку, улыбнулся, прикрыв рот рукой, и сказал, ну, почему пацану не узнать, кто я и откуда и где живу.

Был, был у меня дом в Москве, в Марьиной Роще, хорошая квартира, такая, к примеру, как ваша. А потом... Он потянулся к бутылке, но, перехватив взгляд Артемьева, молвил просительно: «Последняя». И опять он выпил быстро, в один глоток, словно боясь, что у него отнимут рюмку, а выпив, некоторое время сидел молча, опустив голову, кроша хлеб, собирая крошки и закидывая их в рот. Он захмелел, и Артемьев с опаской подумал, что не знает этого человека, не знает, как действует на него спиртное. Такая была квартира, с тоской сказал Сергей Николаевич. Светлая, Солнечная. Теплая. Жена была. И вот такой же пацаненок, кивком головы указал он на Диму. А потом... А! — махнул он рукой. Секунда,

и вся жизнь поломалась. Я водила, у меня КамАЗ был, и на этом КамАЗе поздно вечером на Варшавском шоссе сбил человека. Он еще в сознании был, когда я к нему подбежал. Молодой совсем парень. Кричал ему, куда ты лез на красный свет?! Там же переход подземный, все там переходят, а тебя куда понесло?! Что я теперь делать буду?! У него в груди булькнуло, и он обмер. Насмерть я его сбил. Я виноват?! Нет, ты скажи, я виноват?! У меня скорость была шестьдесят, я всегда аккуратно... У меня же зеленый. А его понесло мне под колеса. Он замолчал, повертел рюмку в пальцах и вопросительно глянул на Артемьева. Тот кивнул. Последняя. Сергей Николаевич выпил, выдохнул, наколол на вилку кусочек селедки, понюхал и вернул его в тарелку.

«А дальше?» — спросил Артемьев и посмотрел на Диму. Тот сидел, не шелохнувшись. «Дима, — сказал Артемьев, — а не пора ли тебе за уроки?» — «Но папочка! — умоляюще воскликнул Дима. — Я все сделаю! Я успею!» А дальше... Сергей Николаевич усмехнулся. Дальше мат королю. Два года топтал зону, письма писал, дождись, мол, меня, моя дорогая, сама понимаешь, в какой переплет я попал, а мне ни ответа, ни привета. Он опять усмехнулся виноватой, жалкой усмешкой. Там другой нарисовался. И как так у нее получилось, я без понятия, но развелась и меня выписала. Квартира, правда, вся ее, там метра моего нет. «Так надо было в суд!» — с жаром сказал Артемьев. Сергей Николаевич кивнул. «Надо. Но я сломался».

«Не дай тебе, Саша, Бог, такая тоска. Жить не хочется. Зачем я живу? Кому нужен? Дожил до сорока восьми лет — а зачем? И парень тот... ну, которого я... как заноза в душе. Ты скажешь — сын у тебя. Да, есть сын, но он уже не мой сын. Я однажды выждал, когда дома кроме него никого не будет, и в дверь позвонил. Он открыл. У меня вот тут, — он ударил себя в грудь кулаком, — как огонь в печке. И слезы. Я не хочу плакать, а они сами. Сынок, говорю, как я рад! А он... Знаешь, что он сделал? У него лицо холодное такое стало, злое, и он дверью передо мной как хлопнет! Веришь, я чуть не упал. Свет в глазах пропал, все черно стало. Я за стенку держусь, а сам думаю, только бы не упасть. Лягу здесь, у дверей, а она придет со своим новым, и поглядит, и скажет, допился, мол. И я так тихонечко, тихонечко, за стенку держусь и вниз. Во дворе на лавочку сел, сажу и плачу. Какая-то старушка меня спрашивает,

вам плохо? А у меня словно сердце на куски разлетелось. — Сергей Николаевич закрыл глаза ладонью. — Вот и сейчас, — сдавленным голосом сказал он, — не хочу, а они сами...»

12.

Вошедшая Галя застала необрунный стол с бутылкой посередине, в которой водки оставалось едва ли на два пальца, Артемьева, внушавшего кому-то по телефону, что человеку надо срочно помочь, и на диване накрытого пледом крепко спящего незнакомца. Сказать, что она была разгневана — ничего не сказать. «Кто тебе позволил, — тихим яростным голосом проговорила она, глядя на Артемьева с таким выражением, словно собиралась его испепелить, — устраивать из дома ночлежку? Да еще с водкой! Сейчас же... сию минуту... чтобы и духа не было!» На ее голос появился Дима. «Ага! — вспомнила она. — Вы хотели собаку? Никакой собаки! Никакой вони, никакой грязи, никакой шерсти!» — «Но мамочка! — жалобно вскрикнул Дима. — Я тебе обещаю, я буду убирать!» — «И чтобы я об этом больше не слышала! Всё! — крикнула Галя. — И ты, — обернулась она к Артемьеву, и он подумал, что даже самое красивое лицо может быть обезображено злобой. — Выпроваживай своего гостя. И вообще: нам надо с тобой, наконец, решить, как жить дальше». Тут Сергей Николаевич всхрапнул, впрочем, вполне деликатно, что вызвало у нее новый приступ ярости. «Он еще храпеть здесь будет! — На покрасневшей ее шее вздулись вены. — Вон!» Она сорвала плед с Сергея Николаевича. Тот открыл глаза и, моргая, растерянно смотрел на нее. «Вон! — повторила она. — И тебе тоже, — с ненавистью сказала она Артемьеву, — Христосик, давно пора собираться». — «Мама! — зарыдал Дима. — Не прогоняй папу!»

Горестно качая головой, Дима отправился делать уроки; Сергей Николаевич, переминаясь с ноги на ногу и поглядывая на бутылку с остатками водки, стоял возле Артемьева, который быстро писал что-то в блокноте. Вырвав листок, он протянул его Сергею Николаевичу. «Поедешь в Люблино, там Дом ночного пребывания, тебе помогут. И вот пять тысяч... на первое время. Больше не

могу. И гляди, Сергей, это твой шанс. А иначе... Да ты сам знаешь, что иначе».

Потом он убирал со стола, мыл посуду, с отвращением допил оставшуюся водку и говорил себе, успокойся и подумай. Жить так нельзя, это ясно; но как иначе, он не знал. Он чувствовал себя путником, заблудившимся в незнакомом лесу. Куда идти? Артемьев вытер руки и опустился на стул. В голове приятно шумело, хотелось лечь и уснуть. Но нельзя было спать, не додумав какой-то очень важной мысли. Положим, он разведется. Нет, нет, нельзя было допустить этого! Оставить Димочку он не мог — это было бы с его стороны ужасным предательством, подлой изменой, поступком, которого он себе никогда не простит. У него душа опустеет. Была, однако, еще одна причина, по которой он не мог развестись с Галей. Он не должен был расставаться с ней, потому что его и ее сочитал Бог. Написано: *Что Бог сочитал, того человек да не разлучит*. Но ее прелюбодеяние — разве не является оно достаточным поводом, чтобы бежать от ее нечистоты, лжи и лицемерия? Разве не ставит оно крест на их совместной жизни? Разве не дает ему права обвинить ее — и с незамутненной совестью с ней проститься? Но ведь любил же он ее, и она любила его. Где все это? Где радость от ее взгляда, улыбки, прикосновения? Где нежность, сострадание, понимание? Где счастье их близости, горячего шепота, блаженного бессилия?

Он сам не ожидал, что его с головой накроет чувство, в котором поровну было и боли, и отвращения. Он встал и прошелся по кухне со сжатыми кулаками. Войти к ней в комнату и сказать: я все понял. Мне надо было раньше понять, какая ты дрянь. Она рассмеется ему в лицо. Боже, как стыдно. Но, может быть, подумал он, это плод его воображения? Его мнительности? Его нынешнего отношения к ней? Или так ему отозвалась его совсем не блиставшая чистотой добрачная жизнь? Артемьев взглянул на свое прошлое — и с покаянием понял, что ничего другого он не заслужил в нынешней жизни. Он вспоминал прежние свои увлечения, иногда казавшиеся ему любовью до гроба, но рано или поздно сменявшиеся охлаждением, — вспоминал и думал, что было бы даже странно, если бы его брак оказался счастливым.

Какую темную тень отбрасывает его жизнь! как он бывал низок, самовлюблен и жесток! с какой легкостью прощал себе лжи-

вое слово, обман и неверность! Боже, взмолился он, прости меня. Суди меня за грехи мои, но знай, что я уже осудил их. Милостив буди мне, Боже мой. Испепели во мне все мое дурное и укрепи меня следовать заповедям Твоим. Буди мне свет правды, слово истины, звезда путеводная. Помогни. Научи меня прощать и видеть в человеке вечный Твой образ. Научи верить всем сердцем и всеми помыслами моими. Дай силы следовать за Тобой и жить по Евангелию Твоему.

13.

С некоторых пор жизнь Артемьева наполнилась новым смыслом. Теперь он знал, что неизмеримо лучше отдавать, чем брать. И он отдавал: старухе с выцветшими, а когда-то синими глазами, в серой вязаной кофте, черной юбке и черным платком на голове, стоявшей у стены на переходе от станции метро Парк культуры-радиальная к станции кольцевой и робко протягивавшей руку со сложенной в ковшик ладонью. Однако все бежали, торопились, спешили — это была быстрая в своем течении река, на берегу которой памятником бесконечного одиночества стояла старуха с протянутой рукой. Нет, не все пробежали мимо. Молодой человек с рюкзаком за спиной вложил ей в ладонь монету; и наученная мамой девочка с алым бантом на голове подала ей аккуратно сложенную пятидесятирублевую бумажку. Старуха принимала подаяние, кланялась и крестилась.

И Артемьев подошел. Она взглянула на него скорбным взором — каким обыкновенно смотрят замученные жизнью русские женщины. Он вытащил из кармана конверт с зарплатой, отогнал от себя мысль, что завтра надо платить за квартиру, и промолвил: «Тебе в помощь». — «Сынок, — ответила она, и две мутные слезы выкатились из ее глаз, — сынок... Не ошибся?» — «Ах, матушка, — сказал он, — я у тебя в неоплатном долгу». (А дома, на вопрос Гали, собирается ли он платить за квартиру, солгал, не моргнув глазом, что потерял конверт с зарплатой. Она подозрительно глянула на него. «Ладно. Я заплачу. Будешь должен»). Кроме того, он отдал свою куртку пожилому, болезненного вида человеку, стоявшему с плакатиком: «Люди добрые. Помогите. Все сторело». С ним рядом

стояли белобрысый мальчик лет десяти и женщина со склоненной головой. Куртку было ему жаль, но он смирил себя. Не стыдно ли жалеть куртку, вещь ничтожную из ничтожнейших, когда у людей такая беда? Отдал и часы; чуть было не отдал обручальное кольцо, но оно не слезло с пальца. На исповеди сказал отцу Серафиму, малого роста, но с голосом сильным, как труба, что пытается жить по Евангелию. Отец Серафим встрепенулся. «Намерение целуем, чадо мое. А каковы дела?» Артемьев ему рассказал — и, слушая себя, поразился, сколь мелки его поступки в сравнении с поставленной целью. Экая невидаль: старается не осуждать. Людям по-сильно помог. Не почку же свою отдал в самом-то деле. Вот это была бы евангельская жертва.

У отца Серафима оказалось другое мнение. «И ты этого бомжа домой привел?» — спросил он. Артемьев кивнул «Ну, да. А что?» — «Дурачок. А ты хоть знаешь, кто он? А, может, преступник. Человека убил. Они за бутылку очень просто могут убить. И куртку отдал? И часы? И все деньги старухе? Да ты узнай сначала, какая у нее беда. А, может, и беды-то нет. Одна хитрость. — Он засмеялся. — Так это как же — ты теперь все отдавать будешь? Из дома вышел одетый, а пришел без штанов? Дурачок, — вздохнув, повторил он. — Желание есть, а ума нет. Иоанн Златоустый что сказал? Пусть милостыня запотеет в руке твоей. Ты о человеке узнай доподлинно, в чем его беда, и убедись, что не лжет корыстолюбия ради или порока своего — вот тогда...» — «Да я голову даю на отсечение, — с жаром опроверг отца Серафима Артемьев, — старуха не от хитрости протянула руку, а от великой нужды. И бомж, которого я привел, — его судьба сломала. Я вообще думаю, лучше мне ошибиться, чем — не дай Бог — пройти мимо человека в беде. Какой совет дал Христос богатому юноше? Продай имение свое, раздай деньги нищим и следуй за Мной». — «Эх, милый, — покачал головой отец Серафим. — Я и не знал, что ты богач. Какое у тебя имение? Квартира? Старенькая машинка? Дачка какая-никакая? Нет дачки? Ну, ты совсем бедный, тебе самому впору подавание просить. — И отец Серафим улыбнулся светлой, совсем детской улыбкой. — Ты мне скажи: в силах ты все раздать? У тебя жена, сын... Сына надо выучить, на ноги поставить. А заболает, не приведи, Господи, его же лечить надо! К докторам, в аптеку — и везде деньги. И потом — что с тебя взять? Ты раз отдал, другой, ну, может, и на третий наскре-

бешь — а дальше? Ты же не Абрамович. У того мощна, а у тебя? — Он засмеялся. — У тебя, прости, Господи, — мошонка. Нет, Саша, раздавать направо-налево я тебя не благословляю. Ты жертвуй, но с умом. Бедной семье, к примеру. Больному человеку. Или возьми детский дом и переводи ему денежку».

Но не смутил и не поколебал его отец Серафим, милый человек. Он, может быть, прав, но его правота идет все-таки от рассудка, тогда как в христианской жертве должно просвечивать безумие. Ведь Христос не предлагает богатому молодому человеку присмотреть какую-нибудь бедную семью и помогать ей; не говорит Господь и о том, что надо позаботиться о больном человеке или забрать с улицы беспризорника. Нет! Отдай все и следуй за Мной! Христианству, думал Артемьев, не нужна часть тебя; оно требует тебя целиком, без остатка; твой шаг вслед Христу только тогда будет свободен и легок, если ты будешь знать, что позади у тебя нет ничего и что вся твоя надежда — впереди, там, где Господь.

Но еще и потому был в некотором недоумении Артемьев, что в последнее время он со своими убеждениями все чаще оставался в одиночестве. Право, на него смотрели, как на городского сумасшедшего, не иначе. Отец Иоанн, похожий на Алена Делона духовник фонда, завел однажды предлинную речь о духовной нищете Запада и спасающем нас от подобного падения православии, вере отцов. «У них вместо папы и мамы, — подхватил Илья Абрамович Голубев, — родитель номер первый и родитель номер второй». — «И это тоже, — согласился священник. — Да там вообще... Пробы скоро ставить будет негде». Артемьев не выдержал. «Наверное, там, — и он неопределенно повел рукой, — кое-что может неприятно удивить. Но такая прочная духовная основа... вековая... она вряд ли совсем разрушилась. Не очень верится, что Европа стала духовной нищенкой». — «Католицизм, вы считаете, христианская вера?» — спросил отец Иоанн, и глаза его превратились в две синие ледышки. «А какая же?» — проговорил Артемьев и проклял себя за то, что ввязался в этот разговор. Отец Иоанн усмехнулся. «Я вижу, вы не сильны в богословии и догматике. Как — к примеру — крестятся католики?» — «Слева направо», — сказал Артемьев. «Не в этом дело. Они крестятся всей пятерней, — и отец Иоанн раскрытой ладонью коснулся лба, груди, левого плеча и, в заключение, правого. — Почему пятерней? Потому что на теле Христа было пять

язв. А православные, — он сложил троеперстие, прижав к ладони два остальных пальца. — Вот! Догматически безупречно: Троица и две природы Христа. Возьмите Распятие. У католиков Христос на кресте страдающий, замученный, погибающий, тогда как у православных Христос — победитель, Христос — торжествующий, Христос, одолевший смерть! И, наконец, главное: их филиокве, исхождение Святого Духа не только от Отца, но и от Сына, чудовищная ересь, уравнивающая Отца и Сына и сообщающая Сыну свойство, присущее только Отцу. Нет, в этой вере все извращено, это вера антихристианская, — твердо сказал отец Иоанн, — вера Антихриста. Читайте Достоевского. У него в «Легенде» ясно показано, что католицизм — подмена христианства, антихристианство». — «Достоевский был человек страстный, — проговорил Артемьев. — Он любил страстно, и ненавидел страстно, и ошибался... Я понимаю, все имеет значение: изображение Распятия, крестное знамение, филиокве... Я одного только не пойму: если западный человек крестится не так, но зато являет собой кладезь любви к своему ближнему — он что, не христианин? И Святой Дух у католика исходит не так, как надо, но зато этот католик милосерден, всем помогает и никогда не скажет лживого слова...» Отец Иоанн перебил его: «Здесь, в православном фонде, ваш филокатолицизм, знаете ли, как-то не совсем к месту. Вы еще о масонах скажите, что они христиане». — «Христос, — ответил Артемьев, — учит меня любить и прощать. Ненависти учат люди. Он не учит». — «Ничего, ничего, — поспешно вступил Серебров. — У нас Александр Алексеевич избавится от ложных, так сказать, взглядов. Мы все здесь одна православная семья, и Александр Алексеевич не захочет нас огорчать. Ведь так?» И все выжидательно посмотрели на Артемьева.

Что было ему делать? Промолчать? Отшутиться? Согласиться? Да, отец Иоанн, да, Валентин Петрович, еще немного, и я научусь называть себя христианином, прикрывая этим словом собственное духовное ничтожество. Христианин ли тот, кто избегает правды? Кто раб не Господа нашего, а собственного брюха? Кто не находит в себе мужества обличить тех, кто крестится, кланяется, говорит: «Отче наш», — и кто на самом деле всего лишь *гроб повапленный?*

Полстраны таких гробов.

«Вот у меня третий месяц к концу идет, — сумрачно проговорил он. — И я хочу спросить про конверт. Дополнительный к зарплате». —

«И что? Что вас смущает? — невнятной скороговоркой произнес Валентин Петрович. — Дополнительно к зарплате ради понесенных нами трудов. Что вас смущает?» — повторил он, пристально взглядывая на Артемьева своими голубенькими мутноватыми глазками.

«Что я делаю? — подумал Артемьев. — Беру палку и сую в муравейник». Он вздохнул и, словно бы через силу, сказал: «Ведь это из жертвований? Из милостыни для детей?» Лицо Валентина Петровича с седенькими бровками и бородкой утратило свое благостное выражение и стало похоже на морду старой крысы: «Это что такое вы нам хотите сказать? На что намекаете?» — «Какие намеки! — И отец Иоанн стукнул кулаком по столу. — Он всех нас ворами хочет объявить!» — «У нас в уставе прописано! — вскрикнул и покраснел Валентин Петрович. — И зарплата основная, и дополнительная... У нас все по закону!» — «У христианина главный закон — Евангелие, — тихо промолвил Артемьев. — И зарплата могла быть поменьше, а конверт к ней — просто непристойность, разве вы не чувствуете? Брать у больных детей — это гадко».

«Значит, так, — нервно проговорил Валентин Петрович. — Проповедь читать нам не нужно. И Евангелием тут козырять... нечего нам Евангелием козырять! — опять вскрикнул он. — У нас тут все... от корки до корки, и там ясно, что труд достоин вознаграждения. У больных детей... Какая клевета! Так оболгать нашу работу!» — «С намерением! — подхватил отец Иоанн. — У таких людей так черно на сердце, что они готовы погрузить во тьму весь белый свет. Уже и заявленьице состряпано, я полагаю. Куда? В прокуратуру?» — «О чем вы, — с отвращением сказал Артемьев. — Какое заявление? Какая прокуратора? Мне так горько, если бы вы знали... Тут должна была быть жертва, а не корыстолюбие, должно быть сердце, а не расчет. Как мне жаль». — «Итог такой, — усевшись за стол, объявил Валентин Петрович. — Мы в вас ошиблись. Получите в бухгалтерии, что вам следует... если, конечно, желаете... и расстанемся. Испытательный срок вы не прошли».

14.

Теперь Артемьев развозил пиццу. Ему дали маленький юркий «Равон Матиз», на одном борту которого красовалась надпись: «За

стол без пиццы не садится», — а на другом: «Пицца — друг человека», — и он колесил по Юго-Западу Москвы, звонил в домофоны, поднимался на лифте и вручал картонные коробки, источавшие дивный запах свежееиспеченного хлеба. Народ в большинстве своем налегал на *пепперони* с ветчиной и сыром, но в ходу были и *четыре сезона* с грибами и креветками, *четыре сыра*, *деревенская* и *гавайская*, в которой ананас соседствовал с ветчиной и курицей. Он вручал коробки, получал деньги, разворачивался и быстро шел к лифту, чтобы не показалось, что он ждет чаевых.

Однако, если давали — либо сразу заплатив чуть больше, либо, получив сдачу, часть ее без промедления вручали ему, либо протянув заранее приготовленные деньги, — он не отказывался. Собственно говоря, почему он должен отказываться? Ему уделяли от щедрот, от признательного сердца, от чувства некоторой неловкости, свойственного, правда, далеко не всем, что вот, время к ночи, а гонец прибыл в мой дом с моей любимой *деревенской*, и мне совесть не позволяет отпустить его без двадцати пяти сверху... Артемьев не отвергал скромных даров еще и потому, что делился с теми, кто просил о помощи. Тем самым он как бы вносил свою лепту в утраченную миром справедливость. Те, кому он приносил пиццу, давали ему от избытка; а те, кто протягивал руку за милостыней, были покинуты, несчастливы, опустошены. Преодолев стыд, они встали с протянутой рукой — и ты, человек, если сохранил в своем сердце некогда сказанное тебе в наставление, что просящему у тебя дай, разве сможешь пройти мимо, отвернув от брата равнодушное лицо? Бывало, впрочем, что у него выхватывали из рук коробку с пиццей и, не сказав даже «спасибо», захлопывали перед ним дверь. Бывало, попадал со своей *пепперони* в разгар пьяного веселья, где всем уже давно было море по колено, где успели забыть, что заказывали пиццу и страшно удивлялись его появлению. Но бывало и другое. Не так давно ему долго не открывали. Когда, наконец, дверь распахнулась, он увидел на пороге женщину в черном платке с заплаканным лицом. «Ах, пицца, — промолвила она, и новые слезы проступили у нее на глазах. — Он хотел. Не успел». — «Простите», — пробормотал Артемьев и хотел было уйти, но она остановила его. «Погодите. Я ведь вам должна? Я для него заказывала, — ровным голосом говорила она, не утирая бежавших по лицу слез. — Попросил меня: закажи пиццу. Не до-

ждался. Как же теперь?» — «Да вы возьмите, — протянул ей коробку с пиццей Артемьев. — И не надо денег. Возьмите». — «Нет, нет, — поспешно сказала она, и слабая улыбка промелькнула на ее лице. — Коленька рассердится. Он у меня строгий... Был».

И, спускаясь в лифте, садясь за руль и выезжая из двора, он представлял, как безмолвной тенью бродит она по опустевшей квартире, подходит к шкафу, открывает дверцу, вздрагивая от ее пронзительного скрипа, и долго смотрит на висящие мужские рубашки, серый костюм, джинсы. Затем она снимает любимую его синюю с белыми полосками теплую рубашку, подносит ее к лицу, ощущает исходящий от нее запах, и плечи ее вздрагивают от неслышных рыданий. Надо было бы сказать ей: как ни велико ее горе, как ни тяжело отчаяние и безмерна скорбь, она все-таки должна верить, что, умерев для этой жизни, ее муж родился в жизнь новую, где нет ни плача, ни слез, ни воздыхания — в жизнь бесконечную.

Но веровал ли он? Артемьев думал, что это мучительнейший из вопросов, проникающий в самую сердцевину бытия. Был ли покойный атеистом, что достойно уважения хотя бы потому, что в честном атеизме нет лицемерия, и он прямо заявляет, что Бога нет, и в конце пути всякого человека ждут гроб, могила и черви; атеист живет в сумерках, но думает, что это и есть подлинный свет; или был так себе, ни рыба, ни мясо, ни Богу свечка, ни черту кочерга, и жил главным образом потому, что так принято; или, что страшнее всего, с крестом на шее жил далекой от Христа жизнью. Для таких людей крест как украшение; знак, что я, как все; как проявление тайной и вполне языческой мысли, что это своего рода пропуск в ту часть загробного мира, которая похожа на дом отдыха с его безмятежным сном и трехразовым питанием.

Но если ты, человек, который сегодня жив, а завтра жил, который увядает, как полевой цветок, не успевший нарадоваться солнцу, который сознает краткость отпущенных ему сроков, если ты веришь, что Христос умер на Кресте и три дня спустя воскрес, если ты веришь, что его мучительная смерть была платой за наши грехи, если ты чувствуешь боль от Его ран, — то разве не должен ты умирать каждый день, очищая помыслы, истребляя в себе все дурное, выводя черные пятна со своей души, чтобы каждый день, шаг за шагом приближаться к новой жизни?

С Иисусом.

Для Него.

Для вечности.

Многого ты хочешь, сказал себе Артемьев. Он припарковался во дворе дома 26 по улице академика Анохина, нашел третий корпус и седьмой подъезд и позвонил в квартиру 411. «Ждем, ждем», — откликнулся милый женский голос. Замок щелкнул, Артемьев потянул за ручку, и дверь открылась.

15.

Однажды под вечер встретившись в Охотном ряду с давней, вдруг разбогатевшей знакомой и взяв у нее займы на ремонт машины, он двинулся по Тверской.

Днями они с Димой были в Зоопарке. Не отрывая глаз, смотрел Димочка на медлительного слона, тяжело переступающего своими похожими на башни ногами, хватал Артемьева за руку и прерывающимся голосом говорил, смотри, какой огромный! «Ах, — прибавлял он, — почему нельзя подойти к нему ближе! Он был бы рад, если бы я к нему подошел. Ему, наверное, скучно». Туда-сюда неслышно и быстро ходил по клетке волк, изредка взглядывая на публику холодными янтарными глазами; лев спал, положив большую голову на лапы; кружилась лиса с острой мордочкой и пышным хвостом — но чем больше они видели, тем грустнее становился Дима. «Папа, — сказал, наконец, он, — как жаль мне всех этих милых зверей! Разве справедливо, что их поймали и заперли в клетке? Я бы их отпустил. — Он подумал и сказал: — Вот, если бы у меня была собака, я бы никогда не посадил ее в клетку. Человек же не хочет жить в клетке. И собака не хочет. Я бы ее любил. — Снизу вверх, искоса он посмотрел на Артемьева. — Папа, ты можешь еще раз поговорить с мамой? Ты объясни ей, что собака никому не помешает. Наоборот. Она выручит нас, если к нам придут воры».

Артемьев шел, вспоминал и улыбался. Милый ты мой. Как бы тебе объяснить, что если я о чем-нибудь попрошу, мама непременно откажет. Почему? Он солгал: я не знаю.

Слева ползли бесконечные машины, по тротуару в обе стороны шел народ, и, взглядывая на лица — озабоченные, светящиеся улыбкой, хмурые, радостные, — он спрашивал себя, достигла ли

слуха этих людей евангельская весть или — как это совсем недавно было с ним — они остались к ней равнодушны, словно она не имела никакого отношения к их жизни. Он хотел бы поделиться с ними своим обретением, но как?! Встать на Тверской площади, возле памятника Юрию Долгорукому и закричать во весь голос: послушайте! я был один и я боялся смерти, но Христос дал мне надежду на жизнь вечную! Но я ведь знаю его, этот торопливый народ, — кто со службы домой, кто в театр, кто на свидание, кто в магазин, кто куда, и все несутся, словно их гонит какой-то насмешливый бес; но погодите, люди! вы совершите самую главную ошибку, если не остановитесь и не узнаете, как переменялась моя жизнь. Я верую, и я свободен.

Между тем — видел он — впереди, на подходе к Пушкинской, что-то происходило. Там толпился народ и слышен был усиленный мегафоном голос, призывавший граждан расходиться. Неслись в ответ дружные крики: «По-озор!», «По-озор!»

Артемьев понял: митинг. Он протиснулся вперед, чтобы увидеть, можно ли попасть в метро. На площади, на глазах у склонившего голову Пушкина, стояли друг перед другом две противоборствующие стороны: цепью выстроились омовцы в черной форме, в черных шлемах с прозрачным забралом и с дубинками в руках, и толпа тысячи в две, а может, и больше, народа, над которой развевались трехцветные российские флаги и видны были плакаты с требованиями честных выборов, уверениями, что фашизм не пройдет, и обвинениями в воровстве. Крики «Позор!» сменялись другими. Сотни голосов слаженно кричали: «Россия это мы!» или «Руки прочь от Конституции!» — а также, и, пожалуй, даже с воинственным вызовом: «Это наш город!» Кстати или некстати он вспомнил, что *нет власти не от Бога, и всякий ей противящийся противится Божьему установлению*. Устрашающего вида омовцы посланы были властью, чтобы разогнать тех, кому эта власть стала поперек горла. Артемьев взглянул на ближайшего к нему бойца и сквозь прозрачное забрало увидел молодое лицо со светлыми глазами, рыжеватыми бровями и вздернутым носом. Какой славный, подумал он. Но много было молодых, открытых лиц и в толпе, не желавшей расходиться и теперь кричавшей теснившимся ее омовцам: «Фашисты! Фашисты!»

Читая апостола, Артемьев признавал его правоту, ибо — он думал — безвластие порождает хаос, хаос чреват насилием, а насилие означает смерть культуры, распад общества и гибель всего человеческого. Но с некоторых пор он все яснее сознавал, что словно принуждал себя соглашаться с Павлом, а также с Петром. Евангелие, в котором их послания в Новом Завете были соседями, бросало на них отсвет своей вечности — хотя они писали о божественном происхождении власти, скорее всего, откликаясь на первые годы правления Нерона, отмеченные человечностью и уважением к закону. Он спрашивал себя: для чего они решили, что всякая власть освящена Богом? что государство, каким бы оно ни было, крещено в божественной купели? и что всякий, возвышающий голос против установленного порядка, тотчас оказывается противником Бога? На память тут же приходили Гитлер и Сталин и созданные ими бесчеловечные государства: одно, с холодной деловитостью истреблявшее евреев, и другое, железными зубами с хрустом перемалывавшее кости своего народа. Мыслимое ли дело — вообразить, что подобная власть появилась с Божьего благословения? Для чего было соединять апостольским словом власть и Бога? Власть — сугубо человеческое устройство и потому либо рождается с пороками, либо приобретает их, мало-помалу проникаясь заботой исключительно о себе и теряя всякий интерес к народному благу. И, может быть, с горестным чувством они думали об этом — и Павел, кладя голову на плаху и готовясь принять смерть от руки государственного палача, и Петр, когда по приказу Рима его распяли на кресте, но только вниз головой.

Между тем, перемены произошли в противостоянии ОМОНа и не желавшей покидать площадь толпы. Теперь два-три человека в черном выбегали из цепи, под оглушительный свист выхватывали кого-то из толпы и, заломив руки ему за спину, полусогнутого, тащили к автобусам с синей полосой и надписью «Полиция». Схваченного человека пытались отбить, ОМОН пускал в ход дубинки — и, глядя на это, Артемьев в гневе и растерянности говорил, что же это такое, разве нельзя без насилия... Стоявшие с ним бок о бок мрачно отвечали, что там, где власть, там и дубинка. И тот самый славный парень — и он с переменившимся, злым лицом кинулся в толпу с двумя другими бойцами и выхватил девушку с плакатом «Надоело ваше вранье». От резкого рывка она упала. Ее схватили за руки и потащили по асфальту. Как в столбняке, стоял и смотрел

Артемьев. Потом, словно очнувшись, он закричал: «Негодяи, что вы делаете?!!» — и с колотящимся сердцем кинулся на выручку, по пути выронив пакет с книгой. Под одобрительные крики ему удалось оттеснить одного бойца — но удары дубинок обрушились ему на спину, и он взвыл от пронзившей его боли. Прибежавшие на подмогу крепкие ребята в черном завели ему руки за спину, пригнули и потащили к полицейскому автобусу. Больно было рукам, болела спина, ужасно неудобно было идти лицом вниз, но его тащили, подталкивали и приговаривали: «Не ори, сука, ты нашего бойца ударил». — «Вы за это ответите! — кричал он, в глубине души понимая, что никто и не подумает потребовать от них ответа. — Вы не имеете права!»

Его втолкнули в автобус. Он с облегчением расправил руки и впервые подумал, что влип. Теперь он не сомневался, что Павел и Петр ошиблись и что всякая власть — в том числе и эта — происходит не от Бога, а черт знает от кого. Но какая бы ни была власть, ей должно быть не под силу уничтожить в человеке порыва к справедливости. Если же ей удастся это сделать, то вместо страны людей с чувством собственного достоинства она получит послушное стадо, привычное к стойлу и кнуту. А появись здесь Христос, думал Артемьев, Его бы точно так же вытянули по спине дубинкой, выкрутили бы руки и затолкали в автозак. Он бы говорил людям в черном: «Не ведаете, что творите», — а они бы отвечали Ему: «Влип ты, сука, по самое по некуда».

Артемьев осмотрелся. Невольные спутники его почти все были молоды, они переговаривались, смеялись и шутили, что им предстоят длинные выходные. Он спросил вплотную рядом с ним стоявшего молодого человека, о каких выходных речь. Насмешливо глянув на него, тот ответил: «Пятнадцать суток». — «Пятнадцать суток», — растерянно повторил Артемьев, и первой его мыслью была мысль о Димочке, которого наверняка потрясет известие, что его отец провел две недели в тюрьме. «Мама, — говорил неподалеку по телефону совсем еще молодой паренек, — ты не волнуйся. Отпустят. Может, сегодня. Или завтра». Артемьев вспомнил о мобильнике, извлек его из кармана и набрал номер Гали. Она ответила: «Чего тебе?» — «Может быть, — сказал он, — я не приду сегодня». — «Какой удар! — засмеялась она. — Гуляй, где хочешь. Я при чем?» — «Не знаю, но, может быть, и завтра... и еще

несколько дней. Меня задержали». — «Задержали? — изумилась она. — Что я слышу? Христосик! Ты, наверное, шпион? Резидент? Ах, я несчастная, я замужем за шпионом...» — «Ты скажи Димочке, я уехал. Скоро вернусь». — «И не подумаю, — заявила Галя. — Скажу, как есть. Твой папа в тюрьме». — «Не делай этого!» — воскликнул он, но в трубке у него уже раздавались короткие гудки.

Он застонал. Бедный Димочка. Как не повезло. Он понурил голову. Кто-то хлопнул его по плечу и весело сказал: «Не горюй. Подумаешь, пятнадцать суток. Не заметишь, как пролетят». Артемьев кивнул. Но, собственно, почему он должен сидеть — хотя бы эти пятнадцать суток? Что он сделал плохого? Сострадание завещано нам Христом, ободрявшим усталых, насыщавшим алчущих, исцелявшим страдающих. Пусть в нашем мире пока еще правит жестокость; но есть люди, для которых любовь, милосердие и сострадание стали законом жизни. Если не будет любви, мир засохнет, как отломанная от ствола ветка. Артемьев думал, что сделал то, что должен был сделать на его месте всякий порядочный человек. Есть стремящаяся унижить нас сила, но есть и побеждающая ее слабость. В нашей слабости больше силы, чем в дубинках полиции, ибо сказал Господь, что сила Моя совершается в немощи. Разве не должен он был вступить за девушку, которую три амбала волокли по мостовой?

Автобус тронулся, все качнулись. Артемьев глянул вокруг — и увидел ее в трех шагах от себя. Он протиснулся к ней, сказал: «Здравствуйте», — и только потом подумал, что, должно быть, смешно знакомиться в автобусе, который везет их в полицию. Она подняла на него темно-серые глаза. «А-а, это ты...» — «Да, да, Машка, — смеясь, проговорили за спиной Артемьева, — это он, твой Дон-Кихот». — «Твой Ромео», — прибавил кто-то. «Подите вы», — отозвалась Маша и взглянула на Артемьева. Сердце у него дрогнуло в счастливом и тревожном предчувствии — так хороша показалась она ему со своими покрасневшими глазами и ссадиной на лбу и трогательным выражением стесняющейся самой себя слабости. «Болит?» — спросил он, указывая на ссадину. Она скривила рот с потрескавшимися губами. «Ерунда». Автобус резко повернул, и Артемьев, удерживаясь на ногах, опустил руку ей на плечо. «Извините», — пробормотал он. «А ты чего ради полез меня отбивать? Там ОМОН, ребята крепкие, а по тебе не

скажешь, что богатырь». — «Так ведь несправедливо! — сказал он. — Женщину... девушку... то есть вас... Это ужасно. Я не мог...» Она усмехнулась — быстрой, насмешливой, прелестной улыбкой, напомнившей ему улыбку Димочки. «Ты романтик, да? Романтик?» — «Я как-то не задумывался... Просто, — он потер лоб. — Я и не думал. Как-то само собой. А вам уже приходилось...» — «Вот так? Нет. Первый раз. И перестань мне “выкаты”». Автобус остановился. Передние двери открылись, задержанных посчитали, переписали и затолкали в комнату с решетками на окнах и двумя стульями на сорок два человека. Маша села, Артемьев встал рядом. «Сядешь? — предложила она. — Я подвинусь». — «Пока постою», — ответил он, думая, как было бы хорошо сесть с ней рядом, обнять за плечи и шепнуть: я смотрю на тебя, в твои глаза смотрю, на твои губы, смотрю и думаю, как жаль, что я не встретил тебя раньше... Боже мой, подумал он тотчас, а ведь это грех. Вырви соблазняющий тебя глаз. Пусть лучше глаз твой погибнет, чем тебе самому оказаться в геенне. Вспомнив это, он хотел немедленно отступить от стула, на котором сидела Маша, но теснота позволила ему сделать всего полшага в сторону. Он оправдывался перед собой и еще перед кем-то: видишь, тут не отойти. Вместе с тем он понимал, что дело не в расстоянии, а в том, чтобы в нем не осталось и следа овладевшего им греховного влечения.

Он возмутился. Почему греховного? Если мужчина смотрит на понравившуюся ему женщину, то это вовсе не значит, что больше всего на свете он желает ее близости. Если при взгляде на нее у него вздрагивает и обрывается сердце, то из этого совершенно не следует, что в воображении своем он зашел Бог знает, как далеко. Но как трудно ему справиться с собой! Какие бы усилия он ни прикладывал, все равно он почти воочию видел, как проводит рукой по ее голове, прикасается губами к ссадине на лбу, обнимает и шепчет, какое счастье, что я тебя встретил. Пусть этого не случилось раньше, но ведь случилось, и мы теперь будем вместе, не так ли? Но тут же этот воздушный замок сметала беспощадная мысль, что он не может быть с ней. Он не свободен. У него есть жена, есть сын, в котором вся его жизнь, и поэтому между ним и Машей словно проведена черта, переступить которую он не вправе.

За окном наплывали сумерки, и в комнате зажгли две тусклые лампы. «Да будет свет! — бодро сказал рядом с Артемьевым мо-

лодой человек с черной бородой. — Кто там у двери, постучите, чтоб выпускали! Еле терплю». В дверь забарабанили. «В сортир пустите! Воды дайте!» Дверь распахнулась. «По двое!» — прокричал показавшийся в ее проеме лейтенант. «Я пойду, — сказала Артемьеву Маша, — а ты посиди. Покарауль». Он покорно сел, чувствуя, что пропадает. Она вернется и сядет с ним рядом. Он тут же встанет. Да, встанет и будет стоять хоть всю ночь. Отец Сергей отрубил себе палец и не согрешил с прелестной женщиной, но пал с какой-то девкой, тупой и грубой. Боже, молился он, укрепи меня; не дай демонам овладеть мной; затуши во мне скверное пламя, и да буду чист перед Тобой ныне и присно и во веки веков. Аминь.

«Аминь» он промолвил шепотом, но подошедшая Маша услышала и спросила: «Ты что, молишься?» Он кивнул. «Молюсь». — «Ты в Бога веришь? Веришь, что Бог есть?» Артемьев снова кивнул. «Верю». В тусклом свете он видел ее лицо, блеск ее глаз, ее улыбку, ощущал исходящее от нее очарование и чувствовал, что у него сохнет во рту. Она засмеялась. «Ну, ты даешь. Хотя сейчас у многих крыша поехала. И у тебя?» — «Нет, — ответил он. — У меня встала на место». — «Подвинься, — сказала Маша. — Я сяду». Он хотел было встать, но она удержала его. «Сиди. Поместимся». Она примостилась рядом, прижалась и положила голову ему на плечо. «Не тяжело?» — «Н-нет», — сказал он, чувствуя, как проникает в него тепло ее тела. Она шепнула в ухо ему: «А как тебя зовут, раб Божий?» Он выдохнул: «Александр». — «Саша, Сашенька, Сашуля... Как тебя зовет твоя жена?» — «Никак, — промолвил он. — Мы редко разговариваем». — «Ай-яй-яй... Не ты выбрал?» — «У меня сын, — сказал Артемьев. — Дима...» — «И ты его без памяти любишь?» Он подтвердил: «Очень». Голова у него кружилась, плыла, и он не замечал тесно стоявших вокруг людей, не думал о грозящей ему тюрьме, а напротив, думал, что пусть будут эти пятнадцать суток неволи, но зато он сидит рядом с прижавшейся к нему необыкновенной Машей, которую будет помнить и после того, как эта ночь кончится, пройдут следующие за ней пятнадцать дней и ночей, и они выйдут на свободу и расстанутся навсегда. Однако совсем не обязательно им расставаться. Он может развестись, стать совершенно свободным и сказать Маше, я тебя полюбил с первой нашей встречи. Она со смехом

прервет его. Когда меня волокли по мостовой? Нет, честно признается он. Я тогда не успел рассмотреть тебя. Позже. Увидел тебя и полюбил.

«О чем ты думаешь...Саша?» — засыпая у него на плече, невинно спросила она. «Честно?» — «Правду, одну только правду, ничего, кроме правды». — «О тебе». — «Ах, ах, — со смешочком сказала Маша, — а мы, оказывается, влюбчивые. Льдом покрылся в семейной жизни, а сейчас оттаял, как древний мамонт?» — «Оттаял, — легко признался Артемьев. — Может, мы встретимся после всего этого?» — «Может. Давай поспим. Час ночи». Он сидел, боясь пошевелиться. Он слышал ее дыхание, ощущал сухой, горьковатый запах ее волос, и мысли его шли вразброд, путались, убегали куда-то вперед, в будущую жизнь и возвращались в эту комнату, где все уже уселись или улеглись на пол и где он оберегал сон чудесной девушки. Артемьев понимал, что согрешает в сердце своем, и вместе с тем никак не желал согласиться, и отказывался признать свой грех, и, оправдывая себя, находил, что нет ничего достойного осуждения в том, что на плече у него засыпает девушка, всего несколько часов назад ему незнакомая, но теперь ставшая ему такой близкой, словно он знал и любил ее много лет. Он щедро наделял Машу превосходнейшими человеческими качествами — сострадающей душой, добротой, верностью, храбростью, и в то же время сознавал, что совершенно ее не знает. Замужем она или свободна? Быть может, была замужем и у нее ребенок? Артемьев и ребенка готов был полюбить, как родного. Димочке будет названным братцем. Или сестричкой названной. Но может быть и так, что она свободна, но любит кого-нибудь преданной любовью. Что ж, с печалью думал он, ее право. У него заскребло на сердце. Какой ужасный удар! Встретил и полюбил прекрасную девушку, но она не может ответить ему таким же чувством. У нее другой. Какое счастье выпало другому и как обделило его! Он смотрел им вслед и видел, как они шли, взявшись за руки, и ему было так одиноко, так горько и тоскливо, что в груди у него закипали слезы. Он засыпал, голова его клонилась, и он испуганно вскидывал ее, как часовой, которому приказ и долг повелевают нести свою бессонную службу.

16.

У судьи, пожилого тощего человека, в разгаре была аллергия. Он чихал, сморкался, терзая свой покрасневший нос, и жаловался секретарю суда, похожей на мышку невзрачной девице в очках с сильными стеклами: «Она меня замучила, аллергия проклятая... Надо к врачу, а я никак». Видно было, что все ему давным-давно смертельно надоело, что он скверно себя чувствует и его раздражают люди, которым приспичило устроить митинг, попасть в полицию и теперь оказаться перед ним. Кто-то совсем не нравился ему и получал полновесные пятнадцать суток, кого-то он награждал десятью, но, надо признать, что в его арсенале самое видное место занимали штрафы. Когда дошла очередь до Маши, он выслушал полицейского и ворчливо произнес: «Ну, что же вы... — он заглянул в свои бумаги, — ...что же вы, гражданка Борисова, с плакатиками ходите... — он чихнул и шумно высморкался, — ...да еще клеветнического содержания. Кто вам врет? Я вам сейчас всю правду скажу, чего вы достойны. И не пятнадцать суток, а много больше, вот что я вам скажу». — «Но, ваша честь...» — попробовала возразить Маша. «Не перебивайте, не то я изменю мое решение! У вас дети есть? Нет? Конечно, вам не до детей. Некогда. Штраф, пятьдесят тысяч».

Позвали Артемьева. Полицейский пробубнил: оттолкнул сотрудника, который был при исполнении обязанностей. «Что это вы так разбушевались, гражданин... гражданин Артемьев?» — не отнимая платка от носа, сказал судья. «Послушайте, ваша честь, — взволнованно проговорил Артемьев, — они девушку... вот эту девушку... Машу... они тащили ее прямо по мостовой, как бревно они ее тащили! Разве можно было не вступить? И вы бы вступились, я вас уверяю!» — «Ну, насчет меня вы заблуждаетесь. Я бы, возможно, написал заявление о неправомерном применении силы. Да и то — сомневаюсь. Полиция — щит государства. Она же и меч, если надо. Придется вам раскошелиться за ваше глупое рыцарство. Выпишите ему, — обратился судья к секретарю, — штраф. Пятьдесят тысяч».

На ступеньках здания суда сидела Маша. Артемьев сел рядом. «Мне домой надо», — помолчав, сказал он. Она кивнула. «И мне». Он решил и спросил: «Тебя ждут?» — «А как же». — «И кто...

он?» — «Он — это мама. Она всегда меня ждет». На сердце у него отлегло. «Меня мама тоже ждала». — «А теперь кто?» — «Димочка. Сын. Он ждет. Маша! — вдруг сказал он. — Я эту ночь всегда буду помнить». Она засмеялась. «Как ночь любви?» — «Для меня, — промолвил он, — это и была ночь любви». — «Ночь миновала, прошла и любовь», — нараспев произнесла Маша. Артемьев отрицательно покачал головой. «Нет. Теперь она со мной... во мне будет жить». — «Ах, ты дурачок... раб Божий. Что тебе твой Бог говорит?» — «Он пока размышляет, — не задумываясь, солгал Артемьев. — Он еще посмотрит... на меня... на тебя... и скажет, что с вами делать! Бог не враг любви». И тут Маша совершила то, чего он никак не ожидал от нее. Она обхватила его шею, прижалась щекой к его щеке и прошептала: «Себя только не обмани... Саша». Потом она встала и помахала ему рукой. «Я пошла». — «Постой! — вскричал он. — А телефон?!» — «Запоминай», — Маша продиктовала номер, еще раз махнула ему рукой, сбежала со ступенек и быстрым шагом двинулась к метро.

Немного погодя отправился домой и Артемьев. Он выбрал самый дальний путь: сначала автобусом, потом метро, потом снова автобусом. Народу в этот час было немного, он сидел и думал, что всякое расставание подобно маленькой смерти. Где сейчас Маша? Что делает? С кем говорит? Вспоминает ли о нем? Вот она скрылась, исчезла, растворилась в толпах нечеловечески огромного города и словно бы ушла в иной мир. Станешь ее звать — не услышит; окликнешь — не отзовется; позовешь — не придет. Есть, правда, телефон. Артемьев взял мобильник, в который уже вбил ее номер, и долго смотрел на него, решая, звонить или не звонить. Как просто: позвонил, и она возникнет — со своим голосом, усмешкой, своим дыханием. Маша! — позвал он, и сидящий с ним рядом дедушка в белой панаме обернулся. «Вы мне?» — «Нет, — сказал Артемьев, — не вам». Милый старик. Наверно, и он когда-то любил. Возможно, он и сейчас любит ее — как верно и преданно любят тех, с кем срослись жизнями: до самой смерти. Вот Маша является домой, встает под душ, потом выходит с обмотанной полотенцем головой, садится за стол, и мама, славная женщина, с жалостью глядя на нее, говорит, ну, что ты, Маша, собачишься с государством? Все равно не пересиличишь. А что они там врут — у них должность такая, при которой врать надо. Брось! Замуж тебе надо, а не на митинги

ходить. Маша говорит, а у меня жених уже есть. Да что ты! — обрадованно восклицает мама. Хороший человек? Хороший, отвечает Маша. В Бога верит. Его тоже арестовали. Ну, вот, расстроено говорит мама. А я надеялась...

Представляя себе все это, Артемьев улыбался счастливой улыбкой почти всю долгую дорогу — до той минуты, когда переступил порог своего дома. Димочка с воплем бросился ему навстречу. «Папочка! Папочка! Ты был в тюрьме?! Тебе было плохо?! — Слезы бежали из его чудесных темно-карих глаз, он их утирал, шмыгая носом и прерывисто вздыхая. — Тебя не били?! Тебе не делали больно?! Папа! А почему тебя посадили?» Артемьев подхватил его, поднял и прижал к груди. «Милый ты мой...» А увидев вышедшую из своей комнаты Галю, сказал ей: «Ну, и зачем ты?» Она пожалала плечами: «Я не могу лгать моему ребенку». — «Ой, ой, — отозвался Артемьев, поцеловал Диму в макушку, поставил на пол и сказал ему: — Вышло недоразумение. А теперь все в порядке. Я дома, я с тобой. Попьем чая и пойдем гулять».

Светлым днем они вышли на улицу и привычной дорогой отправились в парк. Дима крепко держал Артемьева за руку и время от времени взглядывал на него, порываясь что-то сказать. «Папа, — наконец, решился он. — Мне так жаль было тебя. Я спрашивал у мамы, где эта тюрьма. Она сказала, что не знает. Если бы она знала, мы бы пошли и поговорили бы с теми людьми. Я бы им объяснил, что ты мой папа и ты никогда никому не делал плохого». Артемьев погладил его по голове. Он думал, что счастье, наверное, никогда не бывает полным — так, чтобы ты ощущал, что тебе больше ничего не надо. Димочка рядом, солнце сияет, сосны золотые вокруг — и ты не вполне счастлив? Еще три дня назад он бы сказал, что желать ему больше нечего, что вся его любовь, вся радость и все упование его неразрывно связаны с этим мальчиком, который так крепко держит его за руку, словно боится, что он снова пропадет неведомо куда. Но теперь, с появлением Маши, будто какая-то тень накрыла его и лишила чувства безоблачного счастья. Любовь, подумал он, это бесконечная тревога.

Молодой человек в майке и шортах, с красным вспотевшим лицом пробежал мимо них и, оборачиваясь, звал: «Грета, Грета...» Крупная овчарка с палкой в зубах бежала за ним и всем своим видом как бы говорила: когда ж, наконец, ты угомонишься? Я ста-

рая собака, мне надо лежать на диване, а не бегать наперегонки с тобой. Дима восторженно глядел на нее. «И я бы, — мечтательно промолвил он, — тоже бегал бы с моей собакой. Папа! Надо все-таки убедить маму, что собака не будет ей мешать». — «Я попробую, — ответил Артемьев. — Но ты особенно не надейся». Дима вздохнул. «Я знаю. Маму трудно переубедить».

Некоторое время они шли молча, пока Дима не сказал: «Папа, я давно хочу тебя спросить. А как тебе было в тюрьме?» Артемьев чуть было не ответил: хорошо, но спохватился и сказал, что провел под арестом всего одну ночь и не успел по-настоящему узнать, что такое неволя. Народа только в одну камеру затолкали очень много. Было тесно, добавил он и подумал, какое счастье было сидеть рядом с Машей, заснувшей у него на плече. Вернемся домой, я позвоню. Не можешь, отчетливо прозвучал в нем строгий голос. Ты не можешь и сам знаешь, почему. Он возразил: нельзя, потому что я женат? но я муж только на бумаге! я, наконец, разведусь, стану свободным и смогу обнять и поцеловать Машу и сказать ей, будь моей женой отныне и до самой смерти. Он услышал в ответ: сам будешь прелюбодействовать и супругу толкнешь на этот путь? Так ли должен поступать христианин? На тебе бремена неудобноносимые, но ты сам надел их на себя. Неси свой крест. «Папа, — спросил Дима, — о чем ты думаешь?»

17.

Он взял мобильник и после долгих колебаний набрал ее номер. Но едва прозвучал гудок, он оборвал связь. Не могу. Не имею права. Но тут же взроптал — почему?! Что дурного в том, если я позвоню Маше, в потом встречу с ней? Мир рухнет? Небо свернется в свиток? Океан выйдет из берегов? Всего-навсего один человек позвонит другому. Кому от этого будет плохо? Мне?! Какая чушь. Я ничего так не желаю, только позвонить, услышать ее голос и сказать: «Здравствуй, Маша. Это я. Давай встретимся». Ведь она ждет моего звонка, я знаю, я чувствую. Если бы у нее был мой номер, она давно позвонила бы мне сама. Или не позвонила бы? Из гордости? Она гордая? Я не знаю. Но почему я должен отказываться от своего счастья? Христос не велит? Он даже

не представляет себе моего одиночества и моей мечты о близком человеке, кому можно безбоязненно доверить жизнь и с кем не вызывает отчаяния мысль о смерти.

Погоди, одернул он себя. Как это — Христос не представляет? Христос знает тебя лучше, чем ты сам.

Голова у него пылала, мысли мешались. То он думал о жене, которую он не любит, которая ему изменяет и с которой они — давно чужие друг другу люди — связаны только штампом в паспорте, что дает ему право разорвать этот унижительный для него брак; то признавался себе, что не в силах расстаться с Димочкой и что ради него готов терпеть любые поношения; то вдруг думал, что если бы у него не было сына — но тут же в ужасе кричал себе, да как ты можешь даже подумать об этом! То принимался рассуждать, что в один принцип, пусть даже евангельский, не вместить все многообразие человеческих отношений, их болезненную сложность, их мучительную противоречивость. Ему надо было во что бы то ни стало примирить Евангелие со своим желанием связать жизнь с Машей.

Опять он был спрошен голосом своей совести: веруешь ли ты во Христа? И он отвечал искренне и горячо: верую в Сына Божия, спешшего с небес и вочеловечившегося, и распятого за наши грехи, и в будущий суд Его верую над всеми живыми и всеми мертвыми. А раз веруешь, почему не слушаешь слов Его? Ты ли не перечитывал и не повторял их много раз? Кто разведется с женою своею и женится на другой — а разве не об этом мечтаешь ты? — тот прелюбодействует от нее. Или не понимаешь сказанного?

Как мне жить дальше, мрачно спрашивал он. Закопать мою любовь? Мое желание счастья?

Однако не сам ли ты клялся посвятить жизнь сыну? Не ты ли положил себе нести свой крест ради Димочки? И не ты ли терпел свою неудавшуюся семейную жизнь только потому, что страшился лишиться сына?

Артемьев представил себе жизнь без каждодневной радости видеть и слышать Димочку, без возможности гулять с ним, оберегать его, отвечать на его вопросы, помогать ему постигать жизнь и создавать в нем нравственного человека, христианина, куда более последовательного и стойкого, чем он, — и, представив это, он возмутился в своем сердце. Ведь это было бы тягчайшим предательством — тем более, что Галя сделает все, чтобы лишить его сына.

Что ж. Значит, так ему суждено: быть заложником своей отцовской преданности.

Ему стало жаль себя. Ведь он еще не старик, одной ногой стоящий в могиле, чтобы отказываться от своей любви и своей надежды! Артемьев схватил мобильник, набрал ее номер, дождался ответа и услышал голос Маши: «Да-а...» Он молчал. Гулко стучало сердце. «Ну, что же вы, — с досадой проговорила она. — Не хотите говорить, а звоните. Глупо». Она оборвала связь, и тогда Артемьев сказал в замолчавший телефон: «Здравствуй, Маша. Это я».

Он стал плохо спать, много курил и однажды по какому-то пустяку накричал на Димочку. Тот смотрел на него непонимающими глазами с выступающими на них, дрожащими и скатывающимися вниз крупными слезами. Артемьеву стало и стыдно, и больно, он привлек Димочку к себе и зашептал: «Не сердись, не сердись... Я все эти дни сам не свой. Не сердись». — «Папочка, — ответил Дима, утирая слезы. — Я не сержусь. Ты расстроен. А чем?» — «Да так, — отмахнулся Артемьев, — одним обстоятельством». Дима кивнул: «Я понимаю».

Он не выдержал. Что ж так мучиться. Просто позвоню и спрошу, как дела. Ни к чему не обязывает. Он обманывал себя и знал это. Знал он также, что звонить нельзя, что он не выдержит и скажет, давай встретимся. Знал, что, позвонив, он становится человеком, обманувшим свою веру.

Утром он позвонил, услышал ее голос, обмер и сказал: «Здравствуй, Маша. Это я». Она откликнулась. «А я думала, почему не звонит. Заболел? Уехал? Или забыл? С глаз долой, из сердца вон». Она смеялась. «Маша, — сказал он. — Давай встретимся». — «А ты меня узнаешь?» — смеялась она. «Узнаю, — пообещал Артемьев. — Сегодня. Ты можешь?» — «Ну, предположим». — «У Пушкина. В шесть. Хорошо?» — «У Пушкина, — повторила она. — В шесть».

18.

В час дня надо было вести Димочку в поликлинику на реакцию Манту. Машину он отдал в ремонт, и они двинулись пешком — со двора на улицу, полого спускающуюся вниз, а дальше по подземному переходу на другую сторону проспекта. По дороге Димочка

спросил: «Папа, а где ты сейчас работаешь?» Артемьев честно ответил, что развозит пиццу. «Это хорошая работа?» — «Работа как работа. По крайней мере, врать не надо». — «Да, — кивнул Димочка. — Врать нехорошо. — Он помолчал. — А мама вчера сказала, что ты неудачник. Но я, папа, ей не поверил. Разве ты неудачник?» Артемьев пожал плечами. «Это как посмотреть. Главное, не кем ты работаешь. Если ты честен перед Богом, если не кривишь душой...» Дима перебил его. «Смотри, смотри! Бедная!»

Посередине улицы вдоль разделительной полосы металась маленькая белая собачка. И слева, и справа пронеслись машины, оглушительно сигналили, отчего собака поджимала хвост и пятилась назад. Но теперь гудели с другой стороны, и она никак не могла понять, куда, в какую сторону ей бежать и как скрыться от этих гудящих, ужасно пахнущих, страшных существ. В конце концов, она села и, вздрагивая, крутила головой то в одну сторону, то в другую.

Дима вырвал свою ладонь из руки Артемьева и кинулся на выручку. «Дима!» — крикнул Артемьев и бросился за ним. Дима бежал со всех ног. Чудом сумела затормозить перед ним машина в первом ряду, но мчавшаяся во втором ряду «Тойота» отбросила Диму и под пронзительный скрип тормозов остановилась возле распростертого на асфальте маленького тела. Артемьев упал перед ним на колени. «Димочка!» — позвал он. Дима молчал. «Боже!! — завопил Артемьев. — Дима!!» Сердце у него рвалось в клочья. Он не видел и не слышал людей вокруг; он ослеп и оглох. Все было погружено во тьму, и один только беспощадный в своей яркости луч света выхватывал лежащего на асфальте маленького мальчика. Он слегка подогнул ноги и — казалось Артемьеву — собрался лечь на правый бок и положить сомкнутые ладони под голову, сказав при этом: «Спокойной ночи, папочка. О чем бы мне подумать, чтобы быстрее заснуть?» — «А ты подумай, — склоняясь над ним, шептал Артемьев, — что мы с тобой поехали на море... Оно, как озеро, только такое большое, что не видно берегов. Мы с тобой будем плавать... Дима! — Он положил ладонь на лоб сына. — Ты не заболел? Но лоб у тебя холодный. Закрывай глаза. Спи». Но неподвижными застывшими глазами Дима глядел куда-то в сторону — мимо людей, остановившихся машин, высоких домов — в открывшуюся ему неведомую даль. Артемьев тронул его за плечо. Димочка был в но-

вой светло-голубой легкой курточке, которую он купил ему вчера. Она оказалась чуть велика ему, и рукава ее пришлось подвернуть. «Ладно, ладно — шептал Артемьев, — я немного ошибся, но зато какая чудесная, какая нарядная курточка! Ты вырастешь, и она станет тебе в самый раз. Дима! Что же ты лежишь в ней на асфальте? Сейчас я тебе скажу одно слово, и ты поднимешься. Слышишь? Слушай». И он произнес громко, всеми силами души собрав в голосе свою любовь, свое отчаяние, свою веру и свою надежду: «Вставай!» Ведь воскрес же Лазарь; и Тавифа ожила и покинула смертный одр. И если дважды уже совершилось чудо, отчего ему не совершиться в третий раз? И почему бы Диме не встать с асфальта и не промолвить с чудесной своей улыбкой, идем, папочка, дальше? Дима лежал неподвижно. «Вставай!!» — теперь уже кричал Артемьев и подсовывал руку под спину сына, желая помочь ему встать и пойти.

Кто-то сказал над ним: «“Скорая” приехала».

Он поднял залитое слезами лицо к небу, по которому медлительной чередой плыли белые облака. «Прошу Тебя! Прошу...»

№ 6, 2023 г.

Яков Шехтер

БЫВШИЙ АГЕНТ МОССАДА

В «Хилтоне» все очень дорого. За номер на пятницу–субботу дерут безумные деньги. Но роскошь, роскошь! Царская мебель, шахские ковры, королевская ванна, а постель будто из «Тысячи и одной ночи»; вот только лечь в нее одному — настоящее преступление!

Обеды и ужины как в лучшем ресторане. Облизываешь не только пальчики, но и руку до самого локтя. А выбор — глаза разбегаются. Вкусно — желудка не хватает перепробовать и половины.

Ну и пусть, что дорого — он может себе позволить. Все-таки четыре своих магазина, продажа и ремонт электроники. Что продаем, то и ремонтируем. Это уже торговая сеть, и он только в начале пути. Если... если эта сумасшедшая баба не остановит....

Кофе после ужина Илья заказал в номер. Включил любимую музыку и сидел возле окна, наблюдая, как оранжевое солнце садится в фиолетовые волны. Закат всегда пробуждал в нем воспоминания детства. Он вырос на Черном море и, оказавшись в Израиле, попросил поселить его в Тель-Авиве неподалеку от набережной. Речь шла о нескольких днях, затем нужно было снять квартиру и перебраться.

На второй или третий вечер, еще проживая в гостинице за счет министерства абсорбции, Илья пошел смотреть закат. Увы, вместо теплой ностальгии он нарвался на непривычные ощущения. В Одессе солнце садилось за спиной, ровно освещая водную гладь или волны, в зависимости от погоды, а утром поднималось из моря розовой Авророй.

Завершающим аккордом каждого школьного выпускного вечера была встреча восхода. Десятиклассники со всего города шли пешком по темным, пахнущим рассветной свежестью улицам, собираясь на Приморском бульваре. Илья запомнил ту ночную прогулку, как большой кайф, особенно мгновение, когда краешек солнца появился из морской пучины.

Они заорали, запрыгали, кто-то, подражая выпускникам Уэст-Пойнта, швырнул вверх фуражку. Восторг и счастье, символическое начало новой жизни, долгожданной взрослости, свободы и равноправия.

В Тель-Авиве все было наоборот. Смотреть на море оказалось невозможным; солнце важно и медленно опускалось в волны, слепя глаза. Самым обидным было то, что аборигены спокойно сидели лицом к морю за столиками многочисленных кафе или просто на скамейках, невозмутимо наблюдая закат. Он ушел разочарованным, сам не понимая, на кого и за что злится.

Но не прошло и двух недель, как Илья незаметно для себя приловчился смотреть на волны, не замечая слепящего диска, и, приловчившись, стал получать немалое удовольствие от последних мгновений уходящего дня.

В этом неспешном погружении красного в зеленое скрывалось ничуть не меньше символики, чем в утреннем расставании багрового и черного. Может быть, поэтому, осторожно попивая горячий, ароматнейший кофе, Илья начал вспоминать прошедшие годы.

Тель-Авив он принял сразу. Было в этом городе что любить и чем наслаждаться. Улицы старых кварталов напоминали Одессу. Не архитектурно, хотя первым архитектором таки был одессит, а чем-то неуловимым, родным и понятным, что, наверное, называется аурой. Илья не любил «духовные» словечки, однако ничего более подходящего так и не смог подобрать.

Многие из отцов-основателей Тель-Авива действительно приехали из Одессы, но кроме названий улиц и восторженных возгласов экскурсоводов, от них давно и следа не осталось. За сто лет почти все поменялось, вот только атмосфера, да-да, аура, намертво вцепившаяся в камни домов, старые деревья и бульжники, давала о себе знать, словно едва уловимая мелодия. Кто-то ее слышал, а кто-то лишь недоумевающе пожимал плечами. Илья слышал.

Иврит он выучил еще в Одессе, поэтому, минуя курсы языка, сразу отправился на поиски работы — ремонт бытовых приборов. Телевизоры, видеомагнитофоны, стиральные машины послушно разверзали свое электронное нутро под его ловкими пальцами. Неисправности Илья не вычислял, а чувствовал, подобно тому, как ощущал ауру старого города. Никто его этому не учил, да и вряд ли такому можно научить.

Подробности своего трудоустройства он всегда вспоминал с большой теплотой. Во время одной из прогулок по кварталам старого города он увидел странный дом, обклеенный теннисными ракетками. Даже стульчик у входа был сделан из ракеток. Илья остановился, разглядывая это чудо, и тут его окликнули откуда-то сверху.

— Эй, парень, не сыграешь со мной партию?

Илья поднял голову и увидел в открытом настежь окне второго этажа немолодого мужичонку с ракеткой в руках. В юности Илья увлекался настольным теннисом и даже сдал на первый юношеский разряд.

— Почему бы и нет? — отозвался он.

Мужичонка играл неплохо, хорошая реакция, быстрый ответ, но возраст, возраст — как ни крути, Илья его опережал. Сыграли несколько партий. После второй мужичонка представился именем библейского пророка Иехезкеля, можно просто Хези, после третьей предложил выпить кофе.

Пока Илья, стоя у окошка, рассматривал черепичные крыши старого города, Хези заварил крепчайший, очень пахучий, очень сладкий кофе.

— И где так здорово научился играть? — спросил он, когда, усевшись в старые, плетеные из камыша кресла, они начали осторожно отхлебывать горячую черную жидкость.

— В Одессе.

— О, славный город, много о нем слышал. А что тут делаешь?

— Да я только приехал, — честно ответил Илья, — ищу жилье, хотел бы поселиться у моря.

— Хм-м-м, а что ты еще умеешь делать, кроме тенниса?

— Чиню домашние электроприборы.

— Любые?

— Ну, почти любые.

— А вот глянь, у меня тут радио играть перестало.

Хези поднялся и подвел Илью к стоящему в дальнем углу комнаты древнему ламповому приемнику.

— Откуда у вас эта музейная редкость? — Илья уважительно погладил бока полированного ящика.

— Музейная? — удивился Хези. — Он сорок лет работал без остановки. Всего пару месяцев назад сдох.

— Дайте посмотрю.

Илья развернул приемник, снял крышку и быстро пробежал пыльные внутренности сначала глазами, потом пальцами. Устроены эти аппараты были проще пареной репы, не сравнить с нынешними агрегатами.

— Лампа перегорела, — вынес он приговор, рассмотрев на свет стеклянную колбу.

— Можно заменить? — спросил Хези.

— Можно, только где такую взять? Их давно перестали производить.

— А ну пойдём.

Они спустились на первый этаж, Хези отпер дверь в комнатку, заваленную всяким хламом, распахнул деревянные жалюзи. У стенки стоял еще один приемник, по виду куда более роскошный, чем первый.

— Этот испортился много лет назад, — произнес Хези, отодвигая в сторону картонные коробки, мешающие подойти к приемнику. — Глянь, может ты из двух поломанных сумеешь собрать один работающий?

Илья залез во внутренности и удивленно присвистнул. Внутри приемники ничем не отличались один от другого. Вернее, это был тот же самый аппарат, только в ином корпусе.

— Да, тут есть такая же лампа, — сказал он через минуту, сдувая пыль с детали. — Вид у нее целый, давайте попробуем.

Когда загорелся зеленый глазок и комната наполнилась звуками восточной музыки, Хези восхищенно взмахнул руками.

— Э, парень, да ты на все руки мастер! Где сейчас работаешь?

— Пока нигде.

— А где живешь?

— Тоже нигде.

— Что, бомжуешь? — напрягся Хези. Такой стиль явно не совпадал с его представлениями о правильном образе жизни.

— Пока нет, — успокоил его Илья. — Живу в гостинице от министерства абсорбции, но послезавтра пора выезжать.

— Хорошее у тебя положение, — усмехнулся Хези. — Нигде не работаешь, нигде не живешь. Славно, славно. Ну, пойдём, погуляем.

Шел Хези быстро, нервно подпрыгивая через шаг, точно птица. Спустя десять минут петляния по улицам Илья сбился и уже

не понимал направления. Впрочем, повода для волнений не было, потеряться в тридцати улочках старого Тель-Авива практически невозможно.

Резко свернув в очередной проулок, Хези остановился перед витриной, заставленной новой и старой электроникой. Тут же распахнулась дверь, и на улицу вышел неопределенного возраста полный мужчина, одетый в типично тель-авивском неряшливом стиле. Широкие шорты болтались под животом, захватанная пальцами футболка свободно свисала, на ногах были шлепанцы-вьетнамки.

— О, Хези, здорово, брат! — вскричал толстяк, протягивая широкую ладонь для рукопожатия. — А это кто с тобой?

— Твой новый работник, — ответил Хези, звучно хлопая толстяка по ладони. — Причем со вчерашнего дня.

— Ну, если ты говоришь, — осторожно заметил хозяин магазинчика. — А что он умеет чинить?

— А все.

— Такого не бывает.

— А ты проверь. И аванс парню выплати, он комнату у меня снимает.

Хозяин, не говоря ни слова, вытащил из кармана несколько банкнот.

Возвращались молча, у Ильи было ощущение, что он попал в кино.

Подойдя к дому, обклеенному ракетками, Хези спросил:

— Комнатка на первом этаже тебе подойдет? Хлам вынесем, кровать и шкаф найдем. О плате не беспокойся, много не возьму, расплачиваться будешь теннисом, одна партия каждый день, а по выходным — три партии.

— С удовольствием! — воскликнул Илья, чувствуя, как жаркое крыло фортуны задевает его лицо.

Так из гостиницы в центре Тель-Авива Илья переселился прямо в старый город, на улицу, проложенную параллельно морю. Потом, спустя несколько недель, он спросил у Хези, почему хозяин мастерской послушался его без второго слова.

— Потому, что этот поц обязан мне жизнью.

— Откуда ты знаешь одесское ругательство?

— Почему одесское? — удивился Хези. — Одессу я уважаю, но не нужно тащить все одеяло на себя.

— Так от чего же ты его спас? От разорения, тюрьмы, неудачной женитьбы?

— Куда проще, — усмехнулся Хези. — В семьдесят третьем на Голанах я вытащил его из подбитого сирийцами горящего танка.

Когда Илья впервые привел к себе Эйнав, Хези отозвал его в сторону и негромко произнес:

— Ты, конечно, взрослый мальчик, но учти, что вводишь в свой дом хищника.

— Тебе кажется, — вскричал ослепленный любовью Илья. — Она добрая и кроткая, мухи не обидит.

— Муху, возможно, и не обидит, — хмыкнул Хези, — а вот тебя запросто.

Но это было потом, потом.

Работать он начал прямо на следующий день. Платили поначалу немного, но хозяин мастерской, видя его успехи, прибавлял зарплату каждые несколько месяцев. Спустя год Илья уже твердо стоял на ногах, а через два стал подумывать об открытии собственного дела.

В этом мире все приходит обоймой, и счастье, и несчастье. Многие называют это периодом, полосой, вспоминают то зебру с ее черно-белой шкурой, то еврейский талес с черно-белыми полосками. Илья открыл собственную мастерскую и влюбился практически в один и тот же день.

Влюбился до беспамятства. Эйнав поразила его воображение. Такой яркой, бесстыдной красоты ему еще не доводилось видеть, тем более держать в руках. Из восточных: смуглая, стройная, с тяжелой грудью, она передвигалась мягко и быстро, словно хищник. Илья не мог оторвать глаз от ее звериной грации, огромных глаз, вишневых губ.

Эйнав пришла в мастерскую починить портативный магнитофон. Быстро выяснилось, что эта красотка изучает юриспруденцию в Тель-Авивском университете. Илья отложил в сторону все дела, попросил ее подождать и занялся починкой. Она как зачарованная следила за полетом его пальцев, вскрывающих аппарат, извлекающих из вороха деталей перегоревшую. Он хотел поразить девушку, и ему это удалось. Получив деньги, он намеренно уменьшил сумму, выписал квитанцию и пригласил клиентку в кафе.

— Это входит в обслуживание? — спросила Эйнав.

— Это уже вошло в мое сердце, — покраснев, выдавил он.

— Не быстро ли? — улыбнулась красавица.

Илья заполучил ее после долгих ухаживаний, а заполучив, влюбился еще больше. Такого урагана в постели он еще не встречал. Потом выяснилось, что ураган — он везде ураган. Эйнав могла швырнуть в стену бокал с красным вином. И наплевать, что все вокруг перепачкается. Или грохнуть об пол стеклянную миску с салатом. Или разорвать его рубашку, сломать зубную щетку, выкинуть за окно книгу.

Потом она извинялась, ластилась и несколько дней после примирения была сладкая, хоть к ране прикладывай. А уж по ночам, в порыве раскаяния, любила так нежно и страстно, что Илья с радостью прощал ее бешенство и нелепые выходки.

— Как ты будешь работать адвокатом? — спрашивал он в ласковые минуты затишья после схватки. — У меня эта профессия ассоциируется со спокойствием и выдержкой. Адвокат — прежде всего холодный ум, трезвый расчет, острый взгляд на вещи. А ты как смерч, как вихрь, как самум!

— Миленький, — усталым голосом отвечала Эйнав. — Мало ли, что тебе кажется? Кто из нас учится на юридическом, ты или я? Твои представления о моей профессии запорошены пылью и покрыты мхом. Ты их почерпнул из старых книг и древних фильмов. Сегодня многое изменилось и выглядит по-другому. Я ведь не берусь тебе объяснять, как чинить стиральную машину, а ты, пожалуйста, не учи меня, как должен выглядеть адвокат.

Спустя три года он устал от этого урагана. Захотелось пожить в тихой гавани. На развод подала Эйнав, по-звериному правильно расценив его отказ от супружеской постели. Он-то, дурачок, объяснил себе этот поступок ураганной реакцией, хорошо знакомым ему взрывом бешенства. Увы, быстро выяснилось, что в этом случае ураганом было все заранее учтено и спланировано.

Эйнав потребовала разделить поровну оба магазина. Тогда их было только два.

— Как же так? — удивился Илья, выслушав требования ее адвоката. — Причем здесь Эйнав? Магазины я создал своими собственными руками, она не имеет к ним ни малейшего отношения

— Магазины относятся к категории совместно нажитого имущества, — сухо объяснил адвокат. — По нашим сведениям, на момент

свадьбы у вас была только крохотная мастерская по ремонту бытовой электроники. Верно?

— Верно, — согласился Илья. — Но я пахал с утра до вечера, не покладая рук, а Эйнав только тратила заработанные мною деньги. Она понятия не имеет ни об электронике, ни о маркетинге.

— Это абсолютно не важно, — отрезал адвокат. — Повторю, по закону, все ваши приобретения после ремонтной мастерской называются совместно нажитым имуществом.

— Но это несправедливо!

— Смотря с чьей точки зрения. Вообще, прежде чем говорить высокие слова, я бы попросил вас ознакомиться со следующими фотокопиями.

Он протянул ему папку и с усмешкой добавил.

— Уверен, они сделают вас сговорчивее.

Илья открыл папку, глянул и чуть не упал со стула. От обиды и злости у него потемнело в глазах. В папке были аккуратно подшиты фотокопии «черных» чеков, которые он не обналичивал через кассу, а отдавал Эйнав на ведение хозяйства. Ими она рассчитывалась в бакалейной лавке, у зеленщика, покупала питы и джахнун в йеменской пекарне.

Пролистав бумаги в папке, Илья с горечью осознал, что Эйнав шила на него дело больше года. То есть она уже давным-давно, когда он еще и не думал с ней расставаться, начала готовить почву для развода.

— Ну, что скажете? — с едва заметной усмешкой спросил адвокат. — Предлагаю закрыть дело полюбовно, а оригиналы, — он с ловкостью фокусника выхватил у Ильи из рук папку, — вместо передачи в налоговое управление, предать огню.

И тогда Илья объявил ей войну. Пока только в своем сердце, но зато без компромиссов и поблажек. До самого победного конца.

Он встал, не говоря ни слова вышел из конторы и отправился прямо к Хези. Илья давно уже оставил его домик с ракетками и снимал, по настоянию Эйнав, квартиру в центре города. К Хези он наведывался пару раз в месяц, сыграть партию-другую в теннис. Сейчас ему нужен был дельный совет, вернее, рекомендация.

— О-хо-хо, — покрутил головой Хези, выслушав сбивчивый рассказ Ильи. — Нечего сказать, умная женщина. И предусмотрительная.

— Вернее, подлая! — вскричал Илья.

— Называй это как хочешь, суть не меняется. Что ты решил делать?

— Мне нужен адвокат. Самый лучший! Я хочу избавиться от претензий этой бабы. Любыми способами!

— Любыми? — поднял брови Хези.

— Раз она начала с подлости, я не вижу причин вести себя с ней по-джентльменски.

— О-хо-хо, — снова вздохнул Хези.

Он встал, приготовил кофе и молча выпил его вместе с Ильей.

— Утешать тебя не собираюсь, — произнес он. — Получаешь то, что заслужил. Адвоката тебе дам, волчару из матерых. Порвет твою Эйнав на куски.

— Существуют способы убедить суд оставить без внимания материальные претензии одной из сторон, — объяснил адвокат. — Я не хочу, да и не могу о них говорить. Но могу подсказать, к кому обратиться.

Он вытащил из письменного стола визитную карточку и положил перед Ильей.

— Этот парень — бывший агент Моссада. Был очень успешным, но оказался чересчур самостоятельным. То ли кому-то дорогу перешел со своим мнением, то ли сделал что-то наперекор начальству. Его аккуратно спровадили, однако позволили открыть частное сыскное агентство. Ну, он теперь не шпионов ловит, а собирает компромат на мужей или жен. Опыт у него огромный, а хватка звериная. Все, что он предложит, выполняйте без сомнений.

Контора частного детектива располагалась в престижном офисном здании в центре Тель-Авива. Поднимаясь в бесшумном, сияющем чистотой лифте на шестнадцатый этаж, Илья прикидывал, сколько тут нужно выложить за самую скромную контору и пришел к выводу, что за услуги бывшего агента растрясти кошелек придется весьма основательно.

Но выхода не было. Половина бизнеса, которую в случае неудачи пришлось бы отдать этой твари, стоила куда больше. Он внутренне подобрался и вошел в офис детектива с улыбкой на губах, словно пришел выбирать новый автомобиль.

Несмотря на столь роскошную контору, бывший агент Моссада выглядел весьма простецки: потертые джинсы, несвежая футболка, мягое лицо. Мимо такого на улице пройдешь, не заметив.

— Да, мне уже звонили, — сказал он, потягивая кофе из одноразового бумажного стаканчика. — Рассказывайте.

Илья быстро изложил суть дела, без стеснения объяснив, чего хочет.

— За этот месяц, — ответил бывший агент, закуривая дешевую сигарету, — вы четвертый, кто обращается ко мне с подобным делом.

— И что это значит? — осторожно спросил Илья.

— Это значит, — картинно помахивая горящей сигаретой, объяснил бывший агент, — что эмансипация приносит свои плоды.

— И как с этим быть?

— Пусть гносеологи думают, а наша с вами задача выглядит намного скромнее. Мы должны представить суду доказательства супружеской измены, и тогда рассмотрение дела пойдет по другому руслу.

— Но... — замялся Илья, — моя бывшая, она никогда...

— Это никому не интересно, что происходит на самом деле. Суд рассматривает документы, а вот истиной займется другой суд, — бывший агент весьма выразительно ткнул сигаретой вверх. — Сценарий у нас отработан, роли разучены, только артисты меняются, чтобы судьи не заподозрили.

Итак, план действий таков: мы отслеживаем маршруты вашей жены, затем отправляем к ней парня, якобы пораженного ее женской статью. У нас есть специальная квартира в центре Тель-Авива, и главное — заполучить даму на эту квартиру.

Никакого откровенного компромата не нужно, достаточно показать суду снимки, как дама входит в дом, в квартиру, как обнимается с мужчиной. Идет речь о дружеском объятии или о начале любовной схватки — неважно. Завершающий кадр: мужчина и женщина сидят рядом за столом. Этого достаточно.

Камеры автоматические, все снимут сами. Ваше дело — платить. За аренду квартиры на время работы с вашей супругой, за посещение ресторанов и кафе влюбленной парой, ну и за работу, разумеется. Точной суммы я пока не знаю, могут возникнуть накладные расходы. Давайте начнем с аванса.

И он произнес такую сумму, от которой у Ильи заломило виски.
«Если это аванс, — с ужасом подумал он, — каким же будет окончательный расчет?»

Бывший агент увидел его смятение и успокоил:

— Аванс, на самом деле, это две трети от конечной суммы. Так что не волнуйтесь и раскошеливайтесь. И вот еще что, вам надо поговорить с парнем, коварным соблазнителем. Рассказать ему о привычках вашей экс-жены, что она любит, а чего не любит. Парень должен действовать наверняка, второй попытки в этом деле не будет, поэтому выкладывайте все, включая самые интимные подробности.

Илью замутило. Дело выглядело и грязным, и подлым, и он на какое-то мгновение засомневался, стоит ли продолжать. Но вспомнив папочку с аккуратно подшитыми фотокопиями чеков, отбросил в сторону сомнения. Эйнав спала с ним, ни одним жестом не выдавая подлинных намерений, ходила с ним в рестораны, покупала на его деньги дорогие вещи, шутила, смеялась и все это время копила материал для суда и следствия. Сука!

Мнимый любовник оказался красивым молодым парнем, демобилизовавшимся полгода назад. Таким способом он зарабатывал деньги на путешествие по Южной Америке.

«Восточный красавчик, из сефардов, — в сердцах подумал Илья. — Вместо того чтобы отыскать честную работу, специализируется на выполнении подлостей! Арабская ментальность! Жили столько столетий рядом с двуличными врунами, вот и научились!»

Илья с трудом удержался от того, чтобы впарить красавчику пару ласковых слов, но вовремя вспомнил, для чего сюда пришел и что они теперь в одной команде. Не удержавшись, он все-таки буркнул сквозь зубы грязное русское ругательство и по удивленно взлетевшим вверх бровям красавчика понял, что ошибся.

— Ты знаешь русский?

— Знаю, но плохо. Ругательства, который час, бабушка я хочу кушать...

— Это бабушка тебя обучила русскому мату? — хмыкнул Илья.

— Нет, я в спецназе служил. Там были несколько парней, от них и научился. И от настоящих русских тоже.

— А где ты их нашел?

— У нас стажировался российский спецназ, команда Альфа.

— Альфа, — уважительно произнес Илья. — Слышал про Альфу.

— Хорошие ребята. Я их водил вечером по Тель-Авиву, но не сказал, что понимаю русский. Слышал, как они говорят: нормальная цивилизованная страна, а вокруг сплошной мрак. Как они столько лет удерживаются против всей этой мрази?

— А когда же они матерились? — улыбнулся Илья. Красавчик начал ему нравиться.

— Да через слово, — улыбнулся тот в ответ. — Особенно, когда что-то не получалось.

— Не получалось? У Альфы? — удивился Илья.

— Да, не получалось. Они накачанные, как лоси, и очень хорошо подготовлены к рукопашному бою. Только сегодня побеждают не этим.

— А чем?

— Да вот устроили им учения с ребятами из спецназа нашего генерального штаба. Альфа должна была пронести по определенному маршруту чемоданчик, груз. Ну, свозили их на местность, они изучили обстановку, осмотрелись. Потом познакомили с нашими. Наши внешне ничем не выделяются, скромные такие, вроде щуплые ребята, а тут эти лоси накачанные. Слышал, как один буркнул другому: что еще за шмакодявки? Маршрут ночью проходили. Альфовцы нацепили приборы ночного видения, акустику какую-то и двинулись. наших ребят они увидели, когда они поставили им мелом крестики на спинах.

— Ну, может, это случайность, — возразил Илья. — Все-таки наши дома, а те в гостях.

— Да нет, это с ними постоянно происходило, собственно на это их и пытались натаскать.

— Ну и как, получилось?

— Как сказать, с переменным успехом. Что-то они поняли, а что-то нет. Мне надоело дурака валять, и я стал с ними говорить по-русски. Три недели их тут гоняли, в конце мы даже подружались. Очень они в гости звали, обещали показать, что такое настоящий лес и настоящая рыбалка.

— И ты поехал?

— Еще нет, но собираюсь.

Красавчика звали Алексом, и после получасового разговора Илья к нему сильно расположился. Было в этом парне скрытое

обаяние, которое только портила смазливая внешность. Илья выложил ему все до самой последней ниточки, они расстались друзьями и почти договорились встретиться каким-нибудь вечером, поужинать, поговорить. И только возвращаясь домой, Илья понял, что сам пал жертвой Алекса и оценил кадровую политику бывшего агента Моссада.

Агент звонил ему после каждого пройденного этапа, рассказывал о ходе операции. Сначала под задний бампер машины Эйнав установили маячок, и за неделю с его помощью составили маршруты ее обычных поездок. Затем, выйдя из косметического кабинета, куда она навевывалась три раза в неделю, Эйнав обнаружила спущенное колесо своего автомобиля. К счастью, молодой человек, владелец припаркованной рядом машины, как раз вернулся на стоянку и, увидев прекрасную даму в полном замешательстве, предложил помощь.

После трех встреч в хорошем ресторане, за которые, разумеется, платил Илья, Эйнав согласилась прийти на свидание домой к ухажеру. Страстный поцелуй, закрепивший согласие, не оставил сомнений в успехе предприятия.

Все сорвалось из-за досадной случайности. Авария, мелкая авария перед светофором, водитель идущей сзади машины не рассчитал и немного помял бампер автомобиля Эйнав. При ремонте маячок обнаружили, сообщили Эйнав, она обратилась за советом к своему адвокату, тот принялся расспрашивать, вышел на Алекса и сразу все понял.

Бывший агент Моссада весьма огорчился, маячок стоил кучу денег. Хорошо, хоть страховка была, иначе бы Илье пришлось заплатить и за это. От другого варианта подловить Эйнав он отказался.

— Я не фаталист, — объяснил он бывшему агенту, — но если столь верно налаженное дело расстраивается так легко и бесповоротно, есть в этом знак свыше.

— Рука Небес, ну-ну, — хмыкнул агент. — Но желание заказчика для нас закон. Желаю удачи.

На том и расстались. Истинную причину отказа Илья объяснять не стал. Да и как объяснить липкое ощущение стыда, с которым он просыпался последние недели. Чем дальше эта история уходила в прошлое, тем больше он понимал ее мерзость. Все-таки не зря агента вышибли из Моссада, и не зря адвокат не захотел даже го-

ворить о способе убедить судей не принимать во внимание материальные претензии одной из сторон.

— Не получилось, так не получилось,— развел руками адвокат, явно не желавший выслушивать подробности. — Разумеется, часть вашего имущества отойдет к другой стороне, но я постараюсь свети урон к минимуму.

Тем временем пришла повестка в суд. Первое заседание назначили через полгода, поскольку детей не было, их дело рассматривалось одним из последних. Илья постарался выкинуть из головы Эйнав с ее претензиями.

«Надо надеяться на лучшее, — повторял он себе. — Теперь я свободен. В жизни не так много удовольствий, надо просто наслаждаться, чем возможно».

Перед закатом он закрывал мастерскую, в которой сидел практически безвылазно, и шел к морю. Шел не спеша, наслаждаясь видом пестрой тель-авивской толпы, запахами из ресторанчиков и кафе, бесшабашной игрой уличных музыкантов и особенно архитектурой. Восхищавший всех Баухауз оставлял его равнодушным, в рациональной лапидарности этого стиля он не находил ничего прекрасного. Илью восхищала эклектика: все эти случайно собранные на одном фасаде колонны, окна разных форм, мавританские арки, дорические каннелюры — безумная смесь стилей, вызванная к жизни фантазией заказчика.

Он приходил всегда к одному и тому же месту на набережной, усаживался на скамейку и созерцал закат, словно театральную постановку. Иногда Илья искренне сожалел о том, что не курит, сигарета очень бы помогла созерцанию. Он несколько раз попробовал, но так и не сумел понять, как люди втягивают в себя эту гадость. А ведь со стороны курильщики выглядели очень живописно, вьющийся дымок доводил картину умиротворения почти до совершенства.

Иногда он брал с собой маленький термос с кофе и отпивал по глоточку, разглядывая плывущую мимо толпу. Особенно его развлекали возвращающиеся с моря купальщицы. На тель-авивском пляже купались в любую погоду, туристам из холодных стран израильская зима казалась летом.

Ах, эти скандинавские туристки! Тут было на что посмотреть, вернее, полюбоваться, чем Илья и занимался, причем самым без-

застенчивым образом. Но купальщиц это не смущало, то ли им были приятны взгляды красивого молодого мужчины, то ли привычка к перманентной эпатажности начисто атрофировала реакцию на мужское внимание.

Илья всегда старался сесть на одно и то же место. Если бы его спросили, чем оно лучше других, он бы вряд ли сумел объяснить. Наверное, ответ скрывался в его стремлении к постоянству и уравновешенности. Именно этого он ждал от Эйнав, но так и не сумел получить.

Через две скамейки от него частенько сиживала старушка из йеменских евреев, чистенькая, серьезная, в кофейного цвета галабее, белых шальварах и кожаных сандалиях, надетых прямо на коричневые ступни. Голову покрывал затейливый тюрбан, а на шее висело три или четыре ожерелья из почерневшего серебра, как нельзя лучше подходивших к темному личику старушки.

Она кормила котов, медленно, по горсточке доставая корм из мешочка. Зверюги сбегались к ней со всей набережной. Место тут было совсем не голодное, многочисленные туристы всегда бросали кусочек от принесенного на пляж бутерброда в ответ на требовательное мяуканье. Но к старушке коты липли, как железные опилки к магниту. Сидели на скамейке рядом с ней, лежали на тротуаре, прогуливались вокруг, гордо задрав хвосты. Илья иногда пересчитывал усатые морды, выходило от пятнадцати до двадцати пяти.

После нескольких таких встреч Илья не удержался и спросил Хези, не знает ли он старушку с набережной, добрую бабушку тельавивских котов.

— А, это Хамама, — тут же ответил Хези. — Одни считают ее сумасшедшей, другие называют скрытой праведницей. Есть в Йемене город Сана, в нем столетиями жили коэны, потомки первосвященников. Каббала текла по улицам этого города словно дождевая вода во время ливня. Хамама — потомок одного из самых уважаемых родов Саны.

— А почему она праведница, да еще скрытая? — удивился Илья. — Из-за того, что котов кормит?

— Потому, что никого не учит жить и ни к кому не лезет в душу.

Илья ничего не ответил, но запомнил слова Хези и в одну из горестных минут разочарования миром и обиды на людей подсел к старушке.

— Зачем вы кормите котов, они ведь лоснятся от сытости?

Старушка подняла голову и внимательно посмотрела на Илью. Взгляд ее выцветших голубых глаз был совсем не старческий.

— Ты тот самый на все руки мастер, который жил у Хези?

— Да! Откуда вы знаете?

— Я себя кормлю, а не котов, — произнесла Хамама, пропустив мимо ушей вопрос Илья. — Всевышний посылает пропитание каждой твари. Если я постараюсь, то Он сделает меня своим посланником, а буду сидеть сложа руки, этой чести удостоится другой.

Илья тяжело вздохнул и без обиняков спросил:

— Как жить, как терпеть эту муку дальше?

— А кто тебе сказал, что ты живешь? — негромко прошепстала Хамама.

— М-м-м-м... — замычал Илья. — А что же я тогда делаю?

— Ты не живешь, а изо всех сил пытаешься удовлетворить свои желания. Настолько, что ничего кроме них вокруг не замечаешь. А жизнь, — тут Хамама многозначительно взглянула на сиреневое предзакатное небо над Тель-Авивом, — жизнь куда больше, чем получение удовольствий.

Нотация изрядно разозлила Илью. Захотелось ответить, и порезче, но он сдержался.

— Но если я полностью отождествился со своими страстями, откуда мне в голову может прийти что-то иное, кроме них? — ехидно спросил он.

— Вопрос хороший, — удовлетворенно кивнула Хамама. — Есть над чем подумать.

— Я об этом давно размышляю, но ни до чего и не додумался. Может быть, вы знаете ответ?

— Наша традиция учит искать ответы в старых книгах, а не у праздных старушек, — ответила Хамама. — Отправляйся в синагогу, поговори с раввином.

— У меня от книжных ответов скулы сводит, — бросил Илья. — А в синагоге я от тоски умираю.

— Вот в этом-то и состоит работа, — сказала Хамама, поглаживая запрыгнувшую к ней на колени кошку.

— Работа, — презрительно фыркнул Илья, поднимаясь со скамейки. — Работы мне и без того хватает. Вот по это самое место! — Он провел рукой по горлу и повернулся, чтобы уйти.

— Когда захочешь узнать подробности, приходи, — сказала ему в спину старушка.

Илья не ответил и, махнув рукой, пошел прочь.

Он сам не понимал, что с ним происходит. Внешне все оставалось ровным и гладким, бизнес успешно развивался, принося все больше денег. Илья мог позволить себе дорогие удовольствия, как вот этот конец недели в «Хилтоне», просто так, без всякой на то нужды, ведь гостиница находилась в десяти кварталах от его дома, а пообедать и поужинать он мог в любом из лучших ресторанов Тель-Авива.

Но дома он уже не мог найти ни отдыха, ни умиротворения, поэтому искал их в дорогой гостинице. Мир, еще совсем недавно обжитой до плавного скольжения, стал чужим и далеким. Спасала только музыка. Вот и сейчас, наблюдая, как оранжевый шар медленно катится к линии горизонта, он слушал Рами Кляйнштейна, пытаясь найти забвение в мелодиях его песен.

Скрытая праведница или сумасшедшая старушка Хамама, разумеется, говорила дело. И надо, надо было как-то узнать больше о жизни и о самом себе. Но только не от представителя «официоза»!

Раввинов и чернополых книжников Илья не то, чтобы не любил, но переносил плохо. Еще в Одессе он несколько раз заходил в синагогу и честно высиживал всю эту занудную тяготию. Напевы кантора напоминали завывание ветра в пустыне, а закутанные в полосатые бело-черные накидки фигуры молящихся представлялись Илье верстовыми столбами по дороге в никуда.

Ему сразу совали в руки молитвенник с переводом на русский язык, но от чтения становилось лишь хуже. Бесчисленные косноязычные просьбы, изложенные корявым языком, — разве к ним можно было отнестись серьезно?

В Тель-Авиве религия меньше вплетена в повседневность, чем в других городах Израиля. Он считается наособицу вольным, свободным и открытым. Такая атмосфера вполне устраивала Илью, именно по этой причине он старался реже покидать Тель-Авив.

Да, о жизни хотелось бы узнать больше, но из иного, незамутненного ортодоксией источника. Существуют же в мире иные духовные учения, всякие там дзены, агни-йоги или что там еще? Неужели у них нельзя научиться чему-то подобному? Эта мысль, подобно поплавку, то всплывала на поверхности его мыслей, то уходила внутрь подсознания.

Допив кофе и проводив солнце, очередной раз утонувшее в Средиземном море, Илья пересел в глубокое кресло — мебель в «Хилтоне» была что надо — и развернул газету. Читал он только на иврите, к этому его приучила Эйнав.

В первое их совместное утро выходного дня, когда он, подав любимой кофе в постель, достал какой-то журнальчик на русском языке, Эйнав преподнесла ему хороший урок.

— Что это? — с нескрываемым презрением спросила она.

Илья испугался, ему почудилось, будто в чашку с кофе попал таракан. Насекомые чувствовали себя в доме с ракетками вполне вольготно, и, хотя Хези то и дело проводил дезинфекцию, их это, похоже, не пугало.

— Да вот это, вот это, — брезгливо ткнула Эйнав пальчиком ноги в журнал.

Ах, этот пальчик! Простыня, прикрывавшая девушку, сползла, отчего Илья моментально потерял голову. Тогда, в самом начале их любви, Эйнав действовала на него, точно наркотик, от одного ее взгляда он терял волю и следовал за ней, точно бычок на веревочке. Тут же речь шла не о взгляде, а о всем великолепии ее красоты.

— Хочешь иметь дело со мной, — провозгласила она, — переходи на иврит.

— Но почему? — робко спросил Илья, не в силах отвести глаз от открывшегося зрелища. — Что плохого в русском языке?

Эйнав, прекрасно понимая свою власть над ним, медленно произнесла, чуть ли не выпевая каждое слово:

— А в том, мой милый, что от нашей с тобой возни могут родиться дети. И я хочу, чтобы они разговаривали на святом языке, а не на жаргоне погромщиков.

Она поставила кофе на столик и призывно протянула к нему руки. Позабыв обо всем на свете, Илья обнял коричневое, тугое и жаркое тело.

— Обещай мне, — прошептала Эйнав, — что в нашем доме будут книги и газеты только на иврите. Если тебе будет трудно, я помогу.

— Обещаю! — вскричал Илья. — Обещаю!

В тот момент он мог пообещать что угодно: даже весь день ходить на четвереньках или спать на потолке. Но по счету пришлось платить немедленно — пока он мылся в душе, Эйнав бы-

стро собрала с полок все, на чем были русские буквы, и сложила на пол у двери.

— Удивительно, что ты не подготовила к выбросу мой диплом и другие документы! — вскричал он, перебирая бумажную кучку.

— Милый, — ответила Эйнав, щедро прижимаясь к его спине грудью, — неужели ты думаешь, что твоя подруга столь глупа?..

Илья вскочил из кресла, прерывая поток воспоминаний, и заметался по номеру:

— Сука, сука, сука! Подлая тварь!

Он злился на нее за разрушенную мечту, за счастье, которое когда-то наполняло его, как горячий воздух наполняет монгольфьер, и улетучившееся, подобно тому же воздуху, через дыру в оболочке. Боже, как он ее любил, как готов был сделать для нее все, что угодно, и как ненавидит теперь!

Немного успокоившись, Илья вернулся в кресло и снова развернул газету. Он уже научился читать ее по диагонали, годы тренировки под плотным контролем Эйнав принесли свои плоды.

На одной из последних страниц он заметил небольшое объявление, набранное оранжевыми буквами:

— Интенсивное духовное путешествие. Вход только для приглашенных.

Под объявлением мелким шрифтом был напечатан линк сайта, где, по всей видимости, размещалась подробная информация.

«Странная манера рекламы, — подумал Илья. — Явно экономят место в газетном объявлении. Понятно, каждое слово стоит немалых денег. Но все-таки, надо же как-то увлечь внимание читателя, заставить его набрать ссылку. И при чем тут “приглашенные”?!»

Он перевернул страницу, просмотрел газету до конца и вернулся к разделу новостей. Окончательно стемнело, небо полностью слилось с морем, лишь время от времени на черном пологие вспыхивали быстро увеличивающиеся огни: это заходил на посадку очередной самолет.

Рами Кляйнштейн тихонько пел в смартфоне, от плотного ужина клонило ко сну. Да-да, вот это и есть настоящий отдых, пойти спать в девять вечера и встать после полудня. Илья посмотрел на зазывно белеющую постель, уронил газету и, зевая, стал расстегивать рубашку. Сняв рубашку, он наклонился, чтобы развязать

шнурки на ботинках и уперся взглядом прямо в страницу с оранжевым объявлением.

Взяв смартфон, он остановил музыку и быстро набрал линк.

«Два дня безостановочной погони за правдой», — гласил заголовок. Ниже значилось: «Уникальная, удивительная, неповторимая возможность принять участие в психологическом тренинге по системе Бранды Вайс. Коучер прилетит из Амстердама, чтобы встретиться со своими последователями и помочь им подняться на еще одну ступень духовного совершенствования».

«Интересно, интересно», — вяло подумал Илья, одной рукой стаскивая туфлю и большим пальцем другой прокручивая текст на смартфоне. Глянул и остолбенел. Это были его собственные слова, его мысли, кем-то услышанные и выложенные в пространство Сети.

«То, что мы привыкли называть жизнью, для большинства людей представляет собой непрерывную цепь неудач и разочарований. Как терпеть эту муку? За два дня интенсивных занятий Бранда Вайс выведет вас из сумерек на солнечную сторону улицы. Ведь жизнь — это нечто большее, чем получение удовольствий».

Не задумываясь, Илья ткнул пальцем в «записаться», заполнил форму, хмыкнул, увидев стоимость тренинга, и отправил заявку. Выйдя из душа, он на всякий случай заглянул в смартфон. Ответ уже пришел.

«Еще бы, — подумал он, открывая письмо, — за такие деньги отвечают немедленно».

«К сожалению, — гласил ответ, — все места уже забронированы. Если хотите, мы можем предложить вам встречу с израильским ведущим, получившим право от Бранды Вайс на самостоятельное ведение семинаров.

— Нетушки! — вскричал Илья, выключая телефон. — Рыба не бывает второй свежести, только первой. Не получилось, так не получилось, значит — не судьба.

Выходной день пролетел, сверкнув огнями, точно самолет, и снова настали будни, заполненные бесчисленным количеством хлопот, крупных и мелких дел, забот и беготни. Илья позабыл о психологическом тренинге по системе Бранды Вайс и весьма удивился, получив электронное письмо. Его приглашали на встречу с дипломированным ведущим нового тренинга по психологии.

— Какого черта! — возмутился он, занося палец, чтобы стереть письмо. — Спасу нет от этого спама. Откуда им известен мой адрес? Упс!

Он вспомнил, как заполнял заявку на участие в семинаре и раздраженно покачал головой — теперь не отцепятся. Самое простое — не отвечать.

За три дня Илья получил семь писем с приглашением на встречу. В конце концов, ему это надоело.

«Я хотел принять участие в семинаре с Брандой Вайс, — быстро написал он, — но мест уже не было. Видимо, потому, что не получил приглашения! Разговоры с ее учениками меня не интересуют».

Ответ пришел почти сразу.

«Бранда лично просмотрела письма тех, кому не хватило места, и назначила каждому коучера. Она весьма сожалеет, что так получилось. В общем-то ее вины тут нет, просто наши организаторы не рассчитывали на такой наплыв желающих. К следующему приезду Бранды все просчеты будут учтены. Что же касается приглашения, то речь, разумеется, идет не о формальном заполнении бланка. Вы слышали зов и откликнулись, значит, были званы на уровне более высоком, чем тот, куда может проникнуть человеческое сознание».

— Хм, — сказал себе Илья. — Хм, а ведь это звучит интересно и убедительно. Почему бы не попробовать?

Он предполагал, что встреча с ведущим будет в четыре глаза, некая уютная, располагающая беседа. Но вышло совсем по-другому. Гостиная квартиры в фешенебельном северном районе Тель-Авива была переполнена, сидели на стульях, на диванах, три человека пристроились прямо на ковре. Ведущих было двое: высокий, очень худой парень с располагающей мимикой и девушка. Девушка сидела вполоборота к Илье, и он поначалу не мог ее разглядеть, зато парня видел очень хорошо. Они, судя по всему, и были ведущими, обещанными лично для каждого, пришедшего на встречу.

— Новый путь, открытый Брандой, — начал ведущий, — на самом деле совсем не новый. Она прямо говорит, что не пришла совершать открытия и расширять горизонты. Все, о чем пойдет речь, мы уже знаем, Только не даем себе труда задуматься, сосредоточить свое внимание. Итак, начнем с того, что поговорим о самом

близком, о самом известном и самом любимом нами человеке — о нас самих.

Ведущий сделал многозначительную паузу и важно оглядел присутствующих. Илья с трудом сдержал скептическую ухмылку, амбициозность этой преамбулы могла соперничать только с ее тривиальностью.

— Давайте условимся с самого начала, — продолжил ведущий. — Нас никто не раздражает и не гневит. Эта наше раздражение и наш гнев, и нам самим с этим нужно справляться. Как? Этому и учит Бранда Вайс.

Он распинался в таком же духе еще минут десять. Илью охватило хорошо знакомое ощущение, которое он испытывал всякий раз, попадая на такого рода семинары. Надо сказать, что примерно то же самое он чувствовал, оказавшись в синагоге.

Взрослые люди самозабвенно играли в свою игру, отдаваясь ей с увлеченностью малых деток. Тут, внутри замкнутого пространства единомышленников, их слова имели вес и смысл, казались значимыми, способными изменить реальность. Но стоило сделать шаг за пределы уютной комнаты, как мир вступал в свои права, начисто сметая придуманные построения. Возможно, для самих игроков иллюзия продолжала жить и на стылом ветру реальности, ведь лучше всего человек обманывает самого себя, но постороннему наблюдателю ничего не стоило ткнуть пальцем в вопиющее несоответствие между ожидаемыми результатами и настоящей жизнью.

Илья уже начал жалеть, что притащился на это сборище, но тут парень передал слово девушке, и все мгновенно изменилось.

Он увидел ее. Или она его. Их взгляды встретились, сердце Илья затрепетало, а в душе что-то вспыхнуло. Просто от того, как она поглядела и улыбнулась. О, сколько всего было в этой улыбке: и радость, и симпатия, и... призыв. В общем, он пропал сразу, на месте, бесповоротно.

Потом, перебирая в памяти происшедшее, Илья пытался понять: улыбка Тали была предназначена всем или только ему? Тогда, сидя напротив нее, он был уверен, нет, больше, мог бы поклясться, что только ему. Но в смутные предрассветные часы, ведь уснуть в ту ночь не удалось, он стал сомневаться.

Возможно, ему показалось? Возможно, это просто прием опытной ведущей, знающей, как вызвать симпатию слушателей? Сим-

патию?! Ко всем чертям, он влюбился в нее, как мальчишка! Если это профессиональный ход, Тали явно превысила дозировку. А значит... а значит, она вовсе не столь опытна, если вызвала у одного из адептов такие сильные чувства.

Нет, новый путь Бранды Вайс тут ни при чем, произошло то, что вечно происходит между мужчиной и женщиной, нечего ломать голову и подыскивать объяснения. Она понравилась ему, а он, вне всякого сомнения, понравился ей. У Ильи были в жизни романы, и он хорошо представлял, как говорит и выглядит женщина, питающая к нему теплые чувства. Ничем иным нельзя объяснить сияющие глаза Тали, ее улыбку и тон.

— Мы рабы наших эмоций, — начала свое выступление Тали. — Чувство предшествует пониманию. Сначала рождается эмоция, а затем сердце приказывает голове отыскать обоснование. И разум покорно строит дорогу в том направлении, которое указало ему чувство. А где здесь сам человек, его личность? Неужели он вечный пленник этой растяжки между сердцем и головой? Бранда Вайс нашла способ, как вырваться из рабства, понять, что происходит, отделить себя от эмоции и возобладать над нею. Эмоцию невозможно отбросить сразу, нужно убаюкать ее в себе, приручить, а потом оседлать. Это непросто, это целая техника. Новый путь учит именно этому. Тот, кто решится выйти на дорогу, может записаться на семинар ко мне или моему напарнику. Наши визитные карточки на столе. Добро пожаловать!

Народ сразу столпился вокруг стола, те, кто успели схватить карточки, окружили ведущих, завязав с ними оживленную беседу. Илья сидел, не двигаясь, им внезапно овладела робость. Самым разумным и простым было записаться к Тали на семинар, но он почему-то не решался. Когда он, наконец, отважился подойти к столу, визитных карточек уже не осталось.

Кто-то тронул его за рукав. Илья обернулся и с изумлением увидел рядом с собой Тали.

— Я вижу, все уже расхватили, — сказала она, и от этих слов, а главное, от ее близости Илью окатила горячая волна восторга.

— Пожалуйста, — она протянула ему две карточки. — Вот эта моя, а эта...

— Не нужно вторую! — воскликнул Илья. — Запиши меня к себе.

На семинары к Тали он сходил два раза. В общем, все выглядело вполне достойно, но не совсем так, как он предполагал. То, о чем говорила ведущая, его совершенно не задевало. Главным представлением была сама Тали, он рассматривал ее во все глаза, как рассматривают породистую лошадь.

Поначалу украдкой, но быстро осмелев, вернее, утратив всякий стыд, принялся пялиться на нее. Как она ходит, как наклоняется, как пишет на доске, как садится на стул и как встает с него. Она не могла не заметить его жаркие взоры, но не подавала виду, и это явно говорило в его пользу.

На третий раз Илья перешел к решительным действиям. Попросил у Тали личную беседу и, оставшись наедине, сразу предложил встретиться «не в рамках».

— Нет, я так не могу, — испуганно воскликнула девушка. — Профессиональная этика не позволяет.

— Что за этика? — удивился Илья. — Я перейду к другому ведущему, если тебя это смущает.

— Нет, дело не в этом. Подопечные часто путают благодарность ведущему со своими чувствами. Поэтому нужен продолжительный перерыв в отношениях.

«Ну, совсем неплохо, — подумал он. — Могла ведь сказать: “Ты, Илья, не в моем стиле”. Или: “Об этом не может быть и речи”. Надо поднажать».

— Но я ведь с самого начала... ты мне сразу очень понравилась... просто не знал, как познакомиться, оттого и записался на семинар.

— Это уже не важно, — улыбнулась Тали, и сердце Ильи сладко жалось. — У всякого пути есть свои правила. Ты выбрал его, и теперь придется пройти по нему до конца.

— А сколько это, продолжительный перерыв? — спросил он. — Для меня неделя — очень много.

И тут, в этот самый момент, он понял, вернее, признался самому себе, что влюблен и мучается от одной мысли о таком сроке. Он попал в ловушку с этими идиотскими сеансами, не надо было записываться на семинар, а сразу идти к цели. Идея, вначале показавшаяся ему прекрасной, привела его в западню.

— Хорошо, тогда жди две недели, — снова улыбнулась Тали. — А потом... потом встретимся. Мой телефон есть на визитке. Толь-

ко смотри, — она шутливо погрозила пальцем, — на семинар ни ногой.

Он оставил машину и пошел домой пешком, через весь Тель-Авив, улыбаясь от счастья. Любимый город обнимал его, будто река, огни кафе и ресторанчиков нежили взоры, а мелодии уличных музыкантов ласкали слух. Надежда изменила все вокруг, словно включили свет и темное неустроенное пространство жизни заиграло теплыми красками. Мрачное, безнадежное будущее снова стало казаться радостным и многообещающим.

— Как все просто, — шептал он, слегка покачиваясь, словно пьяный. — Боже милосердный, до чего все просто!

Первую неделю он не жил, а ждал. Каждый день ходил к Хези, пытаясь с помощью тенниса избавиться от снедающего жара.

— Что с тобой происходит, парень? — спросил Хези после пятой или шестой партии. — У тебя даже ракетка дрожит.

Илья попросил его сделать кофе и во всем признался.

— Любовь дело хорошее, — медленно произнес Хези, дослушав до конца сбивчивый рассказ. — Но не забывай, ты до сих пор женатый мужчина!

— Да-да, конечно! — воскликнул Илья, совершенно позабывший об этом досадном недоразумении. — Но тут совсем другой случай.

— Другой не другой, — хмыкнул Хези, — но на твоём месте я бы постарался побольше узнать про объект своей страсти.

Илья не стал возражать. Он хорошо помнил маленькое пророчество Хези об Эйнав. Тогда, в пылу любви, он не обратил на него внимания и, положив руку на сердце, даже если бы и обратил, поступил бы точно так же. Сейчас все выглядело по-другому, его чувство к Тали было совсем иным, более глубоким, более острым, хотя её аура очень походила на дурман, который вился вокруг Эйнав.

«Вот же слово, точно репейник!» — в сердцах подумал Илья, но никак не мог сказать по-иному.

Сейчас, после горького урока, преподнесенного милой женошкой, он решил действовать осторожно и последовать совету Хези.

Бывший агент Моссада равнодушно выслушал его просьбу, словно речь шла о заказе билетов на самолет.

— Да, мы оказываем и такого рода услуги. Все, что хотели бы знать о человеке всего за тысячу долларов.

— Что? — не поверил своим ушам Илья. — Тысяча долларов за справку?

— Мы поставляем стандартный пакет информации, — невозмутимо ответил бывший агент. — Ты думаешь, первый обращаешься к нам с такой просьбой? Таких сотни! А на всякий спрос всегда находится предложение. И мы продаем информацию.

— А что в нее входит? Тысяча долларов — это очень большие деньги!

— Верно! Но и файл будет немаленьким. В него поместится вся жизнь клиента. Ссуды в банках, аварии, состояние здоровья, последние триста операций банковского счета, друзья детства. Судебные иски, штрафы, деловая активность, посещение врачей и направления на проверки. Поездки за границу, дефлорация, если была, любовные связи, принимаемые лекарства, выкидыши, аборты, покупки в дьюти фри за последние три года. Все, понимаешь, все. Частной жизни больше не существует. Человек сегодня — это файл в компьютере.

— Да мне не нужно столько, — ответил ошеломленный Игорь. — Я просто...

— Ладно, сколько ты готов заплатить? — перебил его бывший агент.

— Ну, долларов двести пятьдесят, триста.

— Хорошо, я выдам тебе информацию на такую сумму. Приходи завтра.

На следующий день бывший агент вручил ему пачку листов, густо покрытых черными жучками ивритских букв.

— Как для постоянного клиента, я сделал тебе скидку. За твои триста — весь файл.

Илья расплатился, вышел из офиса и, усевшись в автомобиль, пробежал глазами листы. Ничего особенного, длинный список друзей и знакомых: школьные подруги, однокашники в универе, три любовника, небольшой плюс в банке, места работы, подозрение на камни в почках, штраф за стоянку в непозволенном месте, напряженные отношения с сестрой и прочая ерунда. За что он выложил 300 долларов? Выбросил деньги на ветер!

Но с другой стороны, полное отсутствие чего-то подозрительного и есть результат, причем именно тот, который он хотел получить!

Аккуратно уложив листки в «бардачок» машины, Илья поехал домой, поставил машину и отправился к набережной. Вечер выдался душным, но не знойным, до настоящей жары было еще больше месяца. Он сидел на любимой скамейке, наблюдая за сияющей в лучах заката поверхностью моря, а воображение услужливо рисовало заманчивые сцены предстоящей встречи.

Сладкие мечты то и дело перебивали мысли о листках, оставленных в машине.

«Вот ведь оно как получается. Живет человек, любит, плачет, ходит к врачу, делает долги, радуется поездкам, воображая, будто это все его личная, частная жизнь. А где-то рядом сидит в своем офисе какой-нибудь бывший агент Моссада и аккуратно фиксирует на компьютере все события и мелкие подробности».

Он вспомнил, какой вид клизм использует Тали, страдающая запорами во время месячных, и ужаснулся: неужели и о нем кто-то составляет такое же досье?

Впрочем, ему-то нечего скрывать! Вся его жизнь, как на ладони: работа с утра до вечера, редкие развлечения, неудачная женитьба, ну, какие-то мелкие мухлевания с налоговым управлением. А после истории с чеками Эйнав он начисто обрубил эту практику, ведь проверка по наущению его экс-супруги могла нагрязнуть в любой момент.

А с другой стороны, что скрывать Тали? Самая обыкновенная жизнь, учеба, работа, увлечение практикой Бранды Вайс. Судя по листкам, доходов это занятие практически не приносит, Тали ведет семинары на добровольных началах. И, тем не менее, дело на нее составили по всей форме, от А до Я.

«Кто же этим занимается? У кого так много свободного времени, чтобы отслеживать и фиксировать частную жизнь обычных людей? Откуда у них такие возможности и насколько законна такая деятельность? Нет, она явно противозаконна, и тот, кто пользуется ее плодами, тоже нарушает закон. Значит, к моему личному делу сегодня добавился новый пункт, совсем не безобидный».

Мрачные мысли не давали покоя, и он изо всех сил пытался вытеснить их предвкушением предстоящего свидания.

Когда мимо Ильи прошли покрытые каплями непросохшей воды две белокурые скандинавки со сторевшей, пунцовой кожей, он чуть ухмыльнулся, представив, какая жаркая им предстоит ночь. На

мгновение его мысли вернулись к листкам, полученным от бывшего агента, он сообразил, что какая-то мелочь показалась ему странной... Но он отмахнулся от этого, решив еще помечтать, а вернувшись к машине еще раз заглянуть в листки. Подумаешь, очередная пустяковая заноза в памяти, мало ли таких?! Куда приятнее было представлять подробности будущего свидания. Решил, но позабыл.

Тали он позвонил ровно в назначенный день. Еле дождался полудня и, глубоко вздохнув, набрал номер. Она ответила совсем другим голосом, с такой интонацией говорили лишь заинтересованные в Илье женщины. Он даже зажмурился, не веря своему счастью. И тут же предложил встретиться вечером.

— А где? — спросила Тали.

— Я знаю один очень симпатичный ресторанчик в Керем а-Тайманим, — сдерживая восторг, ответил Илья. — Давай в семь у мечети на набережной.

— Давай, — тут же отозвалась Тали. — До встречи.

Керем а-Тайманим, Виноградник Йеменцев — район на стыке старого Тель-Авива и Яффо — Илья знал наизусть. Когда-то, в середине двадцатого века каждый третий дом Керема был синагогой, йеменцы любили молиться своей семьей, без чужих. Старики поумирали, а молодые отошли от традиций и разъехались кто куда по просторам страны. Теперь каждый третий дом превратился в ресторанчик или кафе.

Большинство были так себе, но пара-тройка хороши. Подавали в них сефардские блюда: йеменские, марокканские, алжирские. Столики стояли прямо на узких улочках, днем под сенью больших зонтиков, а вечером — освещенные гирляндами разноцветных лампочек. Илья иногда забредал туда поужинать, просто посидеть, подышать атмосферой праздника.

Тали ждала его возле мечети, построенной в самый разгар Первой мировой войны Хасан-беком, сумасбродным губернатором Яффо, и одета была под стать: легкие шальвары подчеркивали стройность фигуры, а прозрачная блузка позволяла видеть черный бюстгальтер.

— Ты словно гурия! — воскликнул Илья, протягивая руку.

— Ты ошибся, — ответила Тали, отводя его руку и вместо приветствия нежно прикасаясь губами к его щеке. — Я пери и пришла тебя погубить.

— Губи же, только поскорей! Нет моих сил ждать.

— Погибнуть надо с умом, — улыбаясь, ответила Тали, беря его под руку. — Так куда мы идем?

От ее слов, от запаха ее духов, от нежности губ, от доступной близости столь желанного тела голова Ильи пошла кругом.

— Перед гибелью неплохо поужинать, — сказал он, локтем прижимая к себе ее руку. — Ты любишь триполитанскую кухню?

— Обожаю!

— Значит, мы на правильном пути.

Они сели за самый дальний столик, под еще не сложенным зонтом.

Илья протянул Тали меню, но та оттолкнула его длинным указательным пальцем с миндалевидным ногтем:

— Полагаюсь на твой вкус.

Он заказал большие йеменские лепешки — обязательно горячие! — плотный хумус, обрамляющий лужицу тхины посреди тарелки, щедро посыпанный красной паприкой и черным перцем, кубе — коричневые, хрустящие пирожки из бургуля с бараниной — и мусаку — баклажаны, запеченные с мясом и помидорами.

Готовили тут быстро, Илья даже не успел завязать разговор, как стол стал покрываться тарелками и подносами.

— Ты что, решил погубить мою диету? — шутливо вскричала Тали.

— Тебе не нужна диета, — уверенно ответил Илья, вспомнив, что в досье ничего не говорилось о склонности Тали к полноте.

— Почему ты так думаешь? — удивилась она.

— Несколько килограмм тебя только украсят.

— Ты совсем, как моя мама, — махнула рукой Тали. — Она тоже все время переживала, что ее дочь слишком худая.

— Хорошо, когда есть мама, — вздохнул Илья.

— Увы, — вздохнула в ответ Тали. — Уже нет. Но не будем о грустном, лучше расскажи о себе, — попросила Тали.

— Когда подадут кофе. Давай есть, пока не остыло.

В качестве главного блюда он заказал куриные сердца. Разумеется, со смыслом, и Тали поняла его сразу, как только на блюде перед ними очутились шампур, издающие одуряющий аромат жареного мяса. Взгляд, которым она одарила Илью, был более чем красноречив.

Он принялся стаскивать источающие коричневый сок сердечки с шампура и раскладывать их по тарелкам, как вдруг услышал требовательное «мяу». Возле стола сидели на плитках тротуара два уличных кота и неотрывно смотрели на Илью. Вид у них был отменный: блестящая шерсть, круглые откормленные морды, уши торчком, длинные пушистые хвосты метрономно подметали тротуар. Судя по всему, жилось им в районе ресторанов сытно и привольно, и сейчас они пришли за данью.

Илья улыбнулся и бросил каждому по сердечку. Коты важно принялись за еду, Тали радостно хлопала в ладоши. Илья окинул взглядом ее улыбающееся лицо и замер на несколько секунд. Давно забытое прошлое прыгнуло ему на плечи.

Четвертый класс одесской средней школы. Одиннадцать лет, первая любовь. Ее звали Ритой, и еще много лет после той весны это имя вызывало в нем сладкую дрожь. Они сидели в разных концах класса, просто подойти и заговорить он не решался. Во время уроков он то и дело бросал на нее жадный взгляд, словно желая прикоснуться. По правде, он еще не понимал, для чего нужны эти касания, просто до смерти хотелось держать ее руку. Пальцы у нее были такие же тонкие, с миндалевидными ноготками, как у Тали, но любил он ее, как любят только в первый раз, самозабвенно, до остановки дыхания.

Случилось чудо. Он хорошо помнил тот вечер, как, улегшись на продавленный диван, повернулся лицом к стене, подоткнул поудобнее подушку, опустил веки — и увидел котов. Они прошли перед его глазами, неторопливо и важно, серые уличные коты, помахивая хвостами.

Он не понял, что это должно обозначать, сел, потом снова лег, опять закрыл глаза, но котов не увидел. Дальше все было, как обычно.

Чудо произошло на следующий день. Их классная руководительница затеяла пертурбацию, решив рассадить учеников так, чтобы отличники тянули троечников, а хорошисты, сидя рядом, соревновались друг с другом.

Его пересадили к Рите. Он с небрежным видом плюхнулся рядом, бросил: «Привет!» — и вдруг почувствовал, как закончился воздух.

— Привет, — тихонько сказала Рита. — Надеюсь, теперь ты перестанешь пялиться на меня.

Илья обомлел. Ему-то казалось, она его вообще не замечает, а тут...

Вместо ответа он стал вытаскивать из ранца учебники и тетради, словно готовясь к следующему уроку. Рита все поняла, еле слышно фыркнула, точно кошка, и тоже занялась учебниками.

Илья просидел с ней за одной партой три месяца, до конца учебного года. Увы, Рита не ответила ни на одну из его попыток задружиться. Несколько раз ему досталось неожиданное счастье: его нога по ошибке прикасалась к ее ножке. От этого прикосновения он вздрагивал, точно от удара электрическим током. Рита немедленно отодвигала ножку и сердито смотрела на него, чуть нахмутив брови.

Три месяца летних каникул Илья провел на даче в Дофиновке, далеко от города, и не было дня, чтобы он не вспоминал о Рите и не рисовал в мечтах их встречу. Впервые в жизни он с нетерпением ожидал начала учебного года — каникулы, прежде пролетающие быстро, слишком быстро, теперь тянулись невыносимо долго.

Он прибежал в школу за час до начала первого урока, уселся за парту и, с трудом сдерживая нетерпение, наблюдал, как постепенно заполняется класс. Прозвенел звонок, вошла классная, но Рита так и не появилась. Оказалось, ее родители получили новую квартиру и переехали к черту на кулички, куда-то на Черемушки.

Несколько дней он пытался разузнать ее новый адрес, пока одна из ее подружек не сказала, плохо маскируя глумливую насмешку:

— А зачем? Рита терпеть тебя не может.

— Как? — только и смог вымолвить Илья. — Почему?

— По кочану. Она несколько раз просила классную вас рассадить, но та велела потерпеть до конца года.

Месяц он ходил сам не свой, мать даже потащила его к врачу, потрясенная внезапной пропажей аппетита у прожорливого сына. К концу первой четверти он пришел в себя, а к Новому году полностью излечился. Лишь проходя мимо стенда в вестибюле школы, где красовалась фотография Риты, занявшей первое место в каких-то соревнованиях, он не мог удержаться от дрожи и сладкого замирания сердца. Но потом и это прошло.

— Что с тобой? — спросила Тали. — Подавился?

— Все в порядке! — Илья поставил перед ней тарелку с жареными сердцами. — Угадай, какое из них мое?

— Ты перепутал, я пери, а не людоедка! — улыбнулась Тали, подцепила вилкой сердечко и отправила в рот.

В одном из окон дома на другой стороне узкой улочки зажегся свет, затем окно отворилось, и негромкая музыка волной окатила Илью. Это была его любимая песня Рами Кляйнштейна — «Маленькие подарки». Он часто слушал ее в последнее время, все больше принимая несложную мудрость слов. Да, в юности он ждал больших рывков, великих свершений, но теперь убедился, что это морок голливудских фильмов, а в жизни все дается большим трудом, за который иногда перепадают маленькие подарки.

Илья поглядел на Тали, придвинул под столом свою ногу к ее ножке и осторожно прижался. Она подняла брови, улыбнулась и накрыла его ладонь своей.

Он был уверен, что эту ночь они проведут вместе, у него или у нее. Увы, закончив ужин, Тали попросила проводить ее до машины.

— Завтра трудный день, хочу выспаться.

Илья не стал настаивать. На прощание он попытался поцеловать Тали, но та выскользнула из его объятий.

— Не торопись, милый. Не торопись. Позвони послезавтра.

Они встретились через три дня. На сей раз Илья выбрал китайский ресторанчик неподалеку от старой тель-авивской таможни. Его особенность состояла в том, что держали его настоящие китайцы, желтолицые и узкоглазые. Никому и в голову не приходило, что китайцы на самом деле были евреями, причем соблюдающими, поэтому ресторан был кошерным.

Это обстоятельство немало позабавило Тали. Она затеяла разговор с хозяином заведения и быстро выяснила, что речь идет не о новообращенных, а о настоящих евреях, потомках сефардов, приехавших в Китай двести лет назад.

Илья обнял Тали, когда они выходили из ресторана, прямо под красным бумажным фонариком с черными иероглифами. Ее губы пахли лапшой и кунжутom, но Тали дала ему только прикоснуться к ним своими губами и тут же отстранилась.

«Видимо, у девушки такие темпы сближения, — подумал Илья. — Делать нечего, придется потерпеть».

Они снова распрощались у машины, он не попытался ни обнять ее, ни поцеловать. Тали поняла и в знак прощания нежно провела ладонью по его щеке.

— Позвони послезавтра. В девять вечера, ладно?

Ни послезавтра, ни через три, ни через четыре дня Тали не снимала трубку. Илья бесился, дергался, но держал удар — звонил один раз ровно в девять и, выслушав очередную порцию длинных гудков — отключался.

Она позвонила спустя неделю. Ровным, словно ничего не произошло голосом, спросила как дела, чем он занят завтра. Выслушав его нарочито спокойный ответ, что он завтра с самого утра готовится к встрече с ней, Тали хмыкнула, помолчала несколько секунд, а затем произнесла:

— Ладно, вознагражу тебя за терпение и верность. Завтра к пяти приезжай ко мне в Герцлию.

— Но у тебя же квартира в Кфар-Сабе, — ответил Илья и тут же понял, что сморозил глупость. О квартире он знал из досье.

— Откуда тебе известно? — Голос Тали напрягся.

— Ты сама сказала, — нашелся Илья, и добавил для пущей убедительности: — Когда мы котов кормили.

— Я такого не помню, но неважно, неважно. У меня две квартиры, одна в Герцлии, другую родители оставили в Кфар-Сабе. Живу я в Герцлии, адрес тебе скину эсэмэской. Только без глупостей, не воспринимай мое приглашение, как зеленый свет. Не пытайся меня обнимать и целовать, не говоря уже ни о чем другом. Мы только в самом начале пути, время еще не пришло. Просто посидим, попьем кофе, поговорим. Если хочешь, принеси свои любимые пирожные.

— А ты какие любишь? — перебил он.

— Заварные из Капульского. Так договорились?

— Конечно, договорились.

— Тогда до встречи.

От этих ее слов, от прямоты и нежной интонации, он завелся еще больше, точно мальчишка, ожидающий первого свидания.

Пирожные Илья купил в Герцлии и с картонной коробкой в руках медленно поднялся на четвертый этаж, не рискуя заходить в лифт. Мало ли что может произойти с капризной техникой. Он не мог себе позволить застрять и провести золотые минуты не в постели с Тали, а в ожидании техника.

Ее предостережение он сразу вынес за скобки: в первый раз приглашая мужчину к себе домой, женщина обязана произнести нечто подобное. Таковы правила здравого смысла и хорошего тона.

Хотя после двух столь теплых свиданий можно было уже говорить прямо, отбросив этикет.

Ладно, придется потерпеть, в который раз сказал он себе и нажал кнопку звонка.

Открыли не сразу. Сначала в парадной вспыхнул свет, затем Илья заметил промельк внутри выпуклого дверного глазка. Кто-то рассматривал его, включив свет. Когда дверь, наконец, распахнулась, он сообразил, почему Тали хотела проверить, кто звонит.

На ней был коротенький, плохо запахнутый халатик, явно надетый на голое тело. Когда женщина встречает мужчину в таком наряде, это означает только одно...

Илья вошел, поставил коробку на шкафчик для обуви и, не говоря ни слова, притянул Тали к себе. Она не сопротивлялась, лишь прошептала:

— Ну не в прихожей же! Давай хоть войдем в комнату.

Он разжал объятия, она взяла его за руку и повела в гостиную. В самом ее центре, прямо под люстрой, Илья — наконец-то! — удостоился двух горячих поцелуев. Тали обвилась вокруг него, как лиана вокруг дерева.

Вдруг, после третьего, самого страстного поцелуя, она отодвинулась.

— Знаешь, у меня сегодня не получилось ни позавтракать, ни пообедать. Ты не против, если мы сначала умнем пирожные?

— Конечно, конечно! — вскричал он, пьянея от слова «сначала».

Тали улыбнулась.

— Все, аванс получил, теперь успокойся и давай пить кофе с пирожными.

На небольшой кухне она запустила кофейную машину, наполнив комнатку одуряющим ароматом. Илья отодвинул один из двух стульев, стоявших возле стола, но Тали возразила:

— Сядь вот тут, это мое место.

Он послушно уселся, куда было указано. Через пять минут перед ним возникла чашка с дымящимся кофе, а пирожные перекочевали на тарелку посреди стола. Тали по-семейному села напротив, взяла в руки пирожное и откусила небольшой кусочек.

— Не похоже, что голодаешь с утра, — улыбнулся Илья.

Тали шутливо отмахнулась:

— Надо же как-то компенсировать обжорство жареными сердцами!

Он взял в руки чашку, осторожно отхлебнул. Для машинного кофе оказался вполне сносным, хотя его нельзя было даже сравнить с тем, который варил Хези. Он протянул руку за пирожным, но Тали вдруг встала, передвинула свой стул и уселась рядом с ним.

— Ешь, ешь, — сказала она, увидев его замешательство. — Я просто рядом посижу.

Илья взял пирожное, отхватил изрядный кус и поднес ко рту чашку, запить. В этот момент Тали положила ему голову на плечо.

«Просто семейная идиллия», — мысленно усмехнулся Илья. Он хотел доесть пирожное, но Тали вдруг резким движением поднялась из-за стола.

— Извини, — произнесла она совсем другим, холодным и чужим голосом, — я кое о чем позабыла. Давай сделаем перерыв.

— Не понял, а как же кофе, пирожные? — удивился Илья, хотя имел в виду совсем-совсем иное.

— Повторяю, я забыла нечто очень важное. Прошу прощения. Давай продолжим нашу встречу через час. Погуляй пока, тут рядом есть хорошие кафе.

Не понимая в чем дело, он вышел из дома и побрел к машине. Ему не хотелось ни кофе, ни пирожных, он хотел лишь Тали, только ее одну.

Илья в сотый раз перебирал каждое из сказанных у Тали слов и решительно не понимал, что послужило причиной внезапной перемены.

Солнце уже низко висело над крышами домов, но жарило при этом нещадно. Илья сел в машину, завел двигатель, включил кондиционер и посмотрел на часы, вмонтированные в приборную доску. Еще пятьдесят минут! Целых пятьдесят минут! Есть время успокоиться. Не ему, а Тали. Что уж такого она могла вспомнить, из-за чего так резко охладела?

Он увидел краешек белой бумаги, торчащей из «бардачка», потянулся поправить, сообразил, что это один из листков досье, распечатанного бывшим агентом Моссада, и вспомнил о занозе. Да, только сейчас ему на ум пришло то, о чем он подумал, сидя на на-

бережной, пообещав самому себе вернуться и проверить, а потом благополучно забыл.

Илья вытащил пачку листов, перебрал сухими от волнения пальцами, один за другим и нашел занозу. Одну из многочисленных школьных подруг Тали звали Эйнав Коэн. Очень распространенное имя и еще более распространенная фамилия. Но в сочетании с его обстоятельствами это вызывает подозрение. Небольшое, минимальное, но требующее проверки.

Он достал смартфон и набрал номер бывшего агента Моссада. Тот выслушал его просьбу, хмыкнул, и ответил после легкой заминки:

- Надеюсь, ты понимаешь, что это не бесплатно.
- Понимаю. Когда я могу получить ответ?
- Ну, мне надо покопаться. Позвони через час.

Илья оказался перед дверью за пять минут до срока. Ждал, поглядывая на часы, первый раз в жизни шепча молитву. Он просил невидимого, скрывающегося от него Бога, чтобы подозрения оказались напрасными, и чтобы Тали с улыбкой открыла дверь, и жизнь вновь стала прекрасной, полной добрых надежд и радостных удовольствий.

Дверь не отворилась. Выпуклая поверхность глазка оставалась темной, никто не подходил посмотреть, кто так настойчиво трезвонит.

Илья шел к машине, как приговоренный на эшафот. Сел, вытащил пачку влажных салфеток, отер лоб, руки, шею. Набрал номер бывшего агента.

— Да, это она, — без предисловий сказал тот. — Твоя экс. Они близко дружили в школе, потом разошлись, а сейчас снова сблизились. По существу, на сегодняшний момент это ее самая лучшая подруга. Хочешь еще что-то выяснить?

- Нет, спасибо, — еле выговорил Илья. — Это все.
- Был рад помочь. Зайди на неделе в офис, рассчитайся.

— Хорошо, — омертвевшими губами прошептал Илья и повесил трубку.

— Тали, Тали! — он схватился руками за голову и застонал. — Лучшая подруга Эйнав! Значит, она не могла не знать обо мне, а делала вид, будто познакомилась на семинаре. Какое низкое коварство! Да она специально зазвала меня на семинар, забрасывала письмами. Пока я, дурак, не клюнул на приманку.

Он замычал от душевной боли. О Боже, Боже! Я пришел к ней в квартиру. Стоял у двери, потом она обняла меня у входа и еще раз под люстрой. Мы сидели рядом, пили кофе, ее голова была на моем плече. Это ведь именно тот набор фотографий, какие я хотел получить от Эйнав с помощью спецназовца Алекса! Они провели меня, эти две суки! Боже мой, как они меня провели!..

№ 1, 2023 г.

Ренат Беккин

ДВОРНИК ПИСАТЕЛЯ ХАРМСА

Я давно хотел узнать, что под занавес жизни приключилось с моим прадедом Ибрагимом Кильдеевым, но все никак руки не доходили. И вот удачный случай представился: меня уволили, а чтобы я на фирму не сильно обижался, отвалили приличную сумму. Я решил немного отдохнуть и заняться делами, которые из года в год откладывал на потом. История Ибрагима Кильдеева была одним из первых дел в этом списке.

Знал я об этом человеке не так много, но и не так мало. Был Ибрагим родом из города Касимова, или Хан-Кермана, как его называют местные татары. Его отец Шакирджан еще в конце позапрошлого века перебрался в Санкт-Петербургскую губернию и арендовал буфет на одной из железнодорожных станций по Николаевской железной дороге. Потом он взял еще пару буфетов и стал состоятельным человеком. Жил он в собственном доме то ли в Тосно, то ли в Любани, то ли в самой Луге. Фамилия у этого Шакирджана, к слову, была Девлеткильдеев, но сын его Ибрагим звался уже Кильдеевым.

В Гражданскую войну Шакирджана убили матросы-анархисты в его собственном доме. Стал ли Ибрагим свидетелем этого жестокого преступления или нет, семейное предание не сообщало.

От дяди и от мамы я слышал, что Шакирджан скопил пуд золотых монет. Все это богатство с трудом умещалось в сундучке, инкрустированном драгоценными камнями. Словом, не буфетчик, а индийский раджа! Как только большевики захватили власть в Петрограде, Шакирджан зарыл свои сокровища. Мой дядя Исмаил утверждал, что буфетчик закопал их во дворе своего дома — то ли в Любани, то ли в Тосно, то ли в Луге. От мамы я слышал другую версию: сундучок погребен на старинном татарском кладбище: то ли в Луге, то ли в Тосно, то ли в Любани. Короче, пойди поищи!

Возможно, Ибрагим отыскал эти сокровища и пустил их в дело. В самом начале 1920-х он жил в бывшей имперской столице и торговал коврами. Я очень хотел, чтобы моя догадка каким-то образом подтвердилась: несносно было жить с мыслью о том, что где-то со-

всем рядом в сырой земле вот уже сто лет лежит целый пуд золотых монет царского времени, когда-то принадлежавший твоей семье.

Дело, которое затеял Ибрагим, по заверениям родни, было прибыльным. Сам Киров якобы покупал у Кильдеева ковер для своей квартиры на улице Красных Зорь. Потом НЭП свернули, и бизнес прадеда сошел на нет. В 1929-м или 1930-м Ибрагим стал дворником.

Прадед был человеком благочестивым и ходил в мечеть не только два раза в год в Курбан-байрам и Ураза-байрам, как большинство татар, но каждую пятницу, как это предписано учением ислама. В начале 1930-х Кильдеев даже состоял в «двадцатке» при мечети. «Двадцаткой» назывался приходской совет из наиболее уважаемых аксакалов. Они отвечали за все, что происходит в мечети и прежде всего за сохранность здания перед государством. Аксакалы эти занимали первый ряд молящихся — ближе всех к мулле.

Мама говорила, что прадеду вроде даже предлагали стать председателем этой «двадцатки», то есть главным завхозом мечети, но Кильдеев отказался. Почему? Тут можно только гадать. Время такое было, недоброе. А должность на виду, расстрельная в прямом смысле слова.

Зарплата у дворника, конечно, небольшая была, но зато давала право на жилплощадь. К тому же, Ибрагим со временем стал управдомом. Об этом одна бумажка говорит, которая у нас имеется. Там напротив слова «управдом» стоит подпись Ибрагима, простая, как у первоклассника: И. К. И хвостик в конце, похожий на сплюснутый прессом твердый знак. Управдом — это уже серьезно.

Благополучно пережив 1937-й, Кильдеев вдруг исчезает осенью 1941 года. Что с ним произошло? Был ли он арестован или погиб в блокаду? Если арестован, то за что? Никакой справки о реабилитации ни мы, ни другие родственники Ибрагима Кильдеева не получали.

Я решил разобраться в этом вопросе, отправил в архив на Шпалерной улице запрос и получил через месяц короткий ответ. Мне сообщили, что у них действительно имеется архивное уголовное дело Ибрагима Шакирджановича Кильдеева, но ознакомиться с ним у меня никак не получится, потому что оно «составляет государственную тайну». По-видимому, в качестве моральной компенсации мне позволялось изучить «прилагавшиеся к делу материалы». Я еще в детском саду уяснил, что лучше иметь часть яблока, чем совсем ничего, и потому отправился в архив за обещанной мне долькой информации.

Много думал я о том, что это за «прилагавшиеся к делу материалы». Опись изъятых во время обыска предметов? Или какой-нибудь документ, который не представляет никакого интереса и потому открыт для родственников и исследователей?

В назначенное время я стоял перед дверью, на которой висела табличка с тремя цифрами. В небольшой комнате размером с зубо-рачебный кабинет меня ждала сотрудница, строгая и сухая, как утро первого января. Я назвал свою фамилию. Архивная дама ушла и вскоре вернулась со средних размеров бледно-желтой папкой в руках. Я невольно задержал дыхание, как делают те, кто ждет чуда. Неужели все-таки решили дать? Но радость моя была преждевременной. Почти все листы в деле были закрыты бумажными конвертами.

— Открывать конверты нельзя, — вежливо, но строго пояснила сухая дама.

— А что тогда можно? — спросил я.

— Можно читать протокол обыска, ордер на арест, анкету и приложение к делу в конце. — Архивная дама перевернула конверты с их скрытым от меня содержимым, и я увидел небольшую школьную тетрадку в обложке цвета песка в мокрую погоду. — Фотографировать нельзя. Можно только делать записи.

Я порадовался, что захватил блокнот и ручку, и начал читать.

ОРДЕР № 630

Сентября «5» дня 1941 г.

Выдан сотруднику Государственной безопасности тов. Кулебякину

Производство: *ареста и обыска*

Кильдеева Ибрагима Шакирджановича

Ул. Маяковского д. 11, кв. 3

Начальник управления НКВД по ЛО

Начальник третьего спецотдела УНКВД по ЛО

Справка: *арест санкционирован зам. прокурора гор. Ленинграда тов. Грибановым*

Далее шел перечень изъятых у Ибрагима во время обыска вещей. Письма (20 шт.) на русском и татарском языке, фотокарточки (15 шт.), Коран на французском, книги на арабском (10 шт.), нагрудный знак «5 лет ВЧК-ГПУ», партийный билет на имя Якова Моисеевича Косолапова, справка из колхоза «Светлый путь» на имя Акима Голубева, фотокарточка Наримана Нариманова с надписью: «Дорогому сыночку Ибрагиму от папы», печать трудовой артели им. Рабиндраната Тагора, фотоаппарат «Лилипут»...

Многое удивляло меня в этом списке: и документы на чужое имя, и французский перевод Корана, и фотоаппарат «Лилипут», но особенно — знак «5 лет ВЧК-ГПУ» и фотография Наримана Нариманова — единственного уцелевшего бакинского комиссара. Вернее, даже не сама фотография, а надпись на ее обороте. Что же это, выходит, Кильдеев — сын Нариманова? Чушь какая-то. Откуда он взял все эти документы? Не на помойке же нашел! Однако у меня было не так много времени, чтобы удивляться, и я продолжил изучать материалы дела.

АНКЕТА АРЕСТОВАННОГО

- | | |
|---|---|
| 1. Фамилия | <i>Кильдеев</i> |
| 2. Имя, отчество | <i>Ибрагим Шакирджанович</i> |
| 3. Год и место рождения | <i>родился в 1895 году, город Ленинград</i> |
| 4. Постоянное место жительства до ареста | <i>Ленинград, ул. Маяковского, д. 11, кв. 3</i> |
| 5. Профессия и специальность | <i>дворник</i> |
| 6. Последнее место работы или род занятий до ареста | <i>Учреждение:
домоуправление
Должность: управдом</i> |
| 7. Национальность | <i>татарин</i> |
| 8. Гражданство (при отсутствии паспорта, удостоверяет гражданство или записано со слов) | <i>СССР</i> |

9. Партийная принадлежность	<i>а) в прошлом не состоял</i>
	<i>б) в настоящее время б/п</i>
10. Образование общее и специальное (подчеркнуть и указать что закончил) высшее, среднее, низшее	<i>нет</i>
Специальное	<i>нет</i>
11. Социальное происхождение (кем были отец и мать)	<i>отец — крестьянин-бедняк,</i> <i>мать — крестьянка</i>
12. Судимость (состоял под судом и следствием, где, когда, за что, приговор)	<i>не судим</i>
13. Приводы (каким органом, когда, по подозрению в каких преступлениях и по каким фамилиям)	<i>приводов не имел</i>
14. СОСТАВ СЕМЬИ	<i>Отец умер в 1919 г.</i> <i>Мать умерла в 1926 г.</i> <i>Жена Кильдеева Фатьма</i> <i>Дети Мухаммят (1923 г.р.),</i> <i>Фатих (1927 г.р.),</i> <i>Айша (1930 г.р.),</i> <i>Амина (1935 г.р.)</i>
Место для фотокарточки	Отпечаток указательного пальца правой руки
Личная подпись И. К.	

Я переписал все, что имелось в анкете, в свой блокнотик. Все упомянутые здесь родственники были мне известны. Старший сын Ибрагима, Мухаммат, погиб в войну, и после него остался сын Исмаил. Фатих, согласно Книге памяти, умер от голода во время блокады вместе с матерью и сестрой Айшей. Младшая дочь, Амина, вышла замуж за казанского татарина по фамилии Галиуллин. Этот Галиуллин был моим дедом.

Долистав дело до конца, я увидел вновь ту самую тетрадку.

Внутри на трех с половиной страницах обнаружился текст, писанный синими чернилами в дореволюционной орфографии. Наверное, именно такой почерк называют каллиграфическим. Особенно тщательно было выведено название: «Писатель и дворник». С первых слов стало понятно, что передо мной рассказ.

Я не спеша прочитал его два раза и переписал в свой блокнотик. Привожу этот рассказ ниже, за достоверность каждого слова ручаюсь.

ПИСАТЕЛЬ И ДВОРНИК

Однажды писатель Ювачев зашел в каморку к дворнику Ибрагиму.

— Я, — говорит, — про вас рассказ сочинил. Хотите, прочту?
— Читайте, — говорит дворник, — воля ваша.

Тогда писатель встал в позу декламатора и начал читать свой рассказ вслух.

Жил-был дворник Ибрагим. Однажды утром он проснулся, потянулся на кровати, зевнул, и у него выпал глаз.

— Бу берни дэ түгел, — сказал сам себе дворник на родном для него татарском языке, что означало: «это ничаго».

Встал дворник с постели, но тут у него выпал второй глаз. Тогда дворник всерьез огорчился.

— Это не дело, — сказал он, — один глаз еще туда-сюда, а без двух глаз никуда не годится, ни поесть, ни помолиться. — Сказал и принялся искать оба своих глаза.

Вы спросите, как же он это делал, если у него оба глаза выпали? Охотно отвечаю: руками. Недаром в народе говорят: глаза боятся, а руки делают.

Писатель думал, что рассмешил дворника Ибрагима. Но Ибрагиму было не до смеха. Чтобы не обидеть писателя, он изобразил на лице какую-то гримасу. А писатель не унимается, спрашивает Ибрагима: «Ну как тебе мой рассказ? Понравился?»

Тогда дворник отвечает ему: «Нет, не понравился. Я бы по-другому написал».

— И как же? — спросил писатель, скорее из вежливости, чем из любопытства.

— А вот так, — сказал дворник, встал в позу декламатора и начал читать свой рассказ вслух.

Жил-был писатель Ювачев. Однажды ему приснилось, что у него выпал зуб. Он проснулся и стал вспоминать, что означает этот сон, но так ничего и не вспомнил. Тогда писатель Ювачев захотел прочитать об этом в соннике. Он встал на стул, чтобы достать с полки книгу, но стул подломился под ним, и писатель упал. Падая, Ювачев сломал ногу. Он стал громко звать дворника Ибрагима на помощь. Но дворник сидел у себя в каморке, читал Эрнста Ренана и не слышал писателя.

Ювачев продолжал громко кричать, и его услышал сосед по квартире Иван Петрович Кулаков. Он спал, вернувшись с ночной смены. Писатель разбудил его, когда Иван Петрович видел во сне пышнотелую голую девицу. Девица подавала ему холодное пиво в фарфоровой кружке с императорским вензелем. Иван Петрович попытался снова уснуть и досмотреть красивый сон, но не прекращавший орать сосед не дал ему это сделать. Иван Петрович поднялся с постели и, войдя в комнату писателя без стука, хорошенько поколотил лежавшего на полу Ювачева, выбил ему передний зуб и сломал руку.

Тогда писатель закричал еще громче, и дворник Ибрагим, наконец, услышал его. Он прибежал в комнату Ювачева и спросил, что случилось. Когда писатель закончил свой рассказ о приключившейся с ним беде, дворник многозначительно сказал: «Сон в руку».

— Понравился вам рассказ? — спросил дворник.

— Нет, — сказал писатель, — не понравился.

— Ах ты, сектен¹, — сказал дворник и ударил писателя метлой по голове.

Писатель упал и на всякий случай притворился мертвым. Дворник отнес его во двор и положил рядом с мусорным баком. Там писатель пролежал до вечера, пока не стемнело. Тогда он пошел домой и стал сочинять новый рассказ, который назывался «Как дворник убил писателя». О чем был этот рассказ, сказать нельзя, потому что он так и не был написан. Увидев, что в комнате писателя горит свет, дворник явился к нему без стука и убил Ювачева по-настоящему.

Дворник Ибрагим был такой человек, который никогда не откладывал на завтра то, что мог сделать сегодня. Это у татар такое свойство характера — все доводить до конца, и потому они всегда находят хорошую работу.

Дочитав рассказ, я долго тер виски. Не было никакого сомнения, что один из героев этого рассказа — писатель Хармс, он же Ювачев. А может, не только герой, но и автор? Не чудо ли? Вот так история: шел выяснить судьбу прадеда, а нашел неизвестный рассказ Хармса. У меня вспотели ладони, а в животе, напротив, стало холодно. Я не литературовед, но какой безумец отказался бы от такой находки! Это все равно что пойти в магазин за хлебом и по дороге найти пятьдесят тысяч.

В метро я еще раз внимательно прочитал рассказ. Он понравился мне еще больше.

¹Сектен (татарск.) — достал уже! (пояснение публикатора)

Дома я залез в компьютер и скачал все произведения Хармса, которые сумел отыскать, в том числе, «Записные книжки» и сборник неизданных сочинений. Я стал вводить в поиск отдельные слова и фразы из рассказа, но ничего похожего на «Писателя и дворника» не находилось. В рассказе «Праздник» Хармса появлялся дворник Ибрагим. Не мой ли это прадед?

В примечаниях к рассказу говорилось, что в доме, где жил Хармс, действительно служил дворник Ибрагим Кильдеев. Через минуту я уже знал адрес писателя: Надеждинская улица, дом 11, квартира 8. Надеждинской звалась улица Маяковского до 1936 года. А где жил Ибрагим? В анкете, которую я читал в архиве, был указан адрес Кильдеева. Я бросился к своему блокноту. Невероятно: улица Маяковского, дом 11, квартира 3!

Ибрагим был дворником. Значит, он мог найти рукопись на помойке. Рукопись Хармса? Почему нет. Писателю не понравилось то, что он написал, и черновик полетел в мусорное ведро. А Кильдеев нашел рукопись и отнес к себе. Но как доказать, что это рассказ, написанный самим Хармсом?

Самое время обратиться к специалистам. Вот многостраничная биография писателя, нажимаю английское слово Get, и через пару минут уже листаю файл. Автор жизнеописания Хармса — профессор Швабринский — живет в Петербурге. Впрочем, что в этом удивительного. Я легко отыскал профессора в Фейсбуке и написал следующее: «Добрый день, Александр Яковлевич! Работал в архиве, нашел один текст, который возможно имеет отношение к Д. Хармсу. Хотел с Вами посоветоваться. С уважением, Марат».

Когда я вернулся из кухни с чашкой кофе, дымившейся, как залитые водой из котелка угли пионерского костра, меня уже ждал ответ профессора: «Марат, Вы можете прислать текст?» Вот это скорость! Пенсы обычно долго отвечают в соцсетях, а иногда вообще в упор не видят сообщений, как нечисть Хому Брута в «Вие», а тут он словно только и ждал, когда я ему напишу. Респект.

— Секунду, — сказал я, сфотографировал переписанный мною в блокнот текст рассказа и отправил Швабринскому.

Пока я пил кофе и скроллил ленту, пришло сообщение от профессора: «Интересно. Вы в Петербурге?»

Мы уговорились встретиться вечером в бистро «Лайма» на Грибоедова. Легок же на подъем этот профессор! А может, и в самом

деле почувствовал запах открытия? Они такие, эти ученые: если какая-нибудь интересная штука появится, так они и со смертного одра поднимутся, лишь бы на нее хоть одним глазком взглянуть.

Швабринский оказался невысоким сутулым человеком с большими грустными и вместе с тем строгими глазами, наблюдавшими за миром из-за толстых, как в «Икарусе», стекол. Когда он читал, губы его шевелились, как у ребенка, недавно обучившегося чтению.

— Рассказ интересный, но это точно не Хармс, — тихо, но вполне уверенно сказал Швабринский. — Не совсем его стиль. Похоже скорее на пародию.

— Александр Яковлевич, вы в этом уверены?

— Абсолютно. Во-первых, вы когда-нибудь видели автографы Хармса?

— Нет.

Профессор извлек из рюкзака ноутбук, несколько минут колдовал над ним, совершая нежные движения пальцами, словно перед ним на столе лежала умиравшая от старости кошка, и, наконец, подвинув его ко мне, сказал: «Вот смотрите, это автографы Хармса разных лет».

Я внимательно глядел на сменявшие друг друга картинки. Были тут и написанные нетвердой детской рукой послания, адресованные отцу — революционеру и строителю светлой жизни Ивану Павловичу Ювачеву, — и черновики стихов и рассказов зрелого Хармса.

— Там, в тетрадке, почерк другой был. Не похож на этот. И написано в дореволюционной орфографии.

— Хармс, увы, не писал свои рассказы в дореволюционной орфографии. Ну и стиль. Возможно, кто-то пытался писать под Хармса.

— А кто же тогда автор? Может, это кто-то из его друзей, коллег? — упавшим голосом произнес я. Мне не хотелось верить словам профессора.

— Не знаю. Очевидно, человек, который был хорошо знаком с Даниилом Ивановичем и его творчеством... Может, этот, чье дело вы смотрели?.. Как его...

— Но он же дворник.

— Ну... тогда не знаю, — сказал Швабринский.

Ночью мне, взбудораженному разговором с профессором, привиделся сон. Я поднимался по широкой, плохо освещенной лестнице и оказывался в квартире с длинным темным коридором. Не растерявшись в незнакомой обстановке, я толкнул ближайшую ко мне дверь. В комнате у печки на табурете, сгорбившись, сидел какой-то высокий и худой человек. Он бросил в огонь несколько листов бумаги и потянулся за новыми, лежавшими у его ног.

— Чего это вы тут такое жжете? — спросил я его голосом вахтера.

Человек у печки неспешно повернул ко мне свое лицо, и я сразу признал в нем Хармса.

— Так, ерунду всякую, — с неохотой отвечал он и вновь вернулся к своему занятию.

Я подошел ближе, поднял один из листов и увидел, что это начало рассказа. Рассказ назывался: «Каюк». Рядом с названием имелось еще одно слово, но оно было густо замалевано, и только по уцелевшим фрагментам можно было предположить, что первой буквой была большая «п», а последней — маленькая «ц». Ниже было указано имя автора: Кильдеев.

— Зачем вы уничтожаете это?! — закричал я. — Кильдеев — замечательный писатель!

— Говно твой Кильдеев, а не писатель, — сказал Хармс и нехорошо засмеялся.

На следующий день ко мне в гости зашел мой дядя Исмаил. Имя его уже звучало на страницах моего повествования: это внук Ибрагима Кильдеева по линии старшего сына Мухаммята. Я рассказал дяде Исмаилу о своих поисках и спросил, не осталось ли у них дома чего-нибудь от Ибрагима. Он неторопливо опустошил чашку, вытер губы и только тогда заговорил. Меня всегда удивляли люди, которые умеют думать, пока пьют чай. Дядя сказал, что когда-то давно видел «тетрадочку с цифрами», но она едва ли имеет отношение к Кильдееву.

Я попросил его как можно скорее найти этот документ. На следующий же день он отправился на дачу и там среди сваленного на чердаке хлама отыскал то, что мне было нужно.

Вскоре клеенчатая тетрадка в клетку, 48 листов, лежала передо мной. Выглядела она на первый взгляд неплохо. Всего один загнутый угол, никаких пятен на обложке. Но вместо текста шли сплошные цифры: 13/8/7/4, 10/8/13/3, 2/20/5/1 и так на всю первую стра-

ницу. Только в правом верхнем углу карандашом была выведена едва приметная надпись на арабском. На следующей странице то же самое: четыре цифры, отделенные друг от друга слешем, запятая, снова четыре цифры... Я поспешно переворачивал пожелтевшие листы, рассчитывая увидеть что-нибудь кроме цифр, но напрасно: словно сошедший с ума математик пытался извести бумагу бессмысленными записями. И вдруг меня осенило: ну, конечно, это же не просто цифры, это шифр!

Но зачем понадобилось Ибрагиму шифровать свои записи? Или это все-таки не его тетрадка? В любом случае, надо разобраться и попробовать прочесть, что там скрыто.

Я стал изучать, какие бывают шифры. В те годы, когда жил Ибрагим, обычные люди, если они не были шпионами, либо использовали книжный шифр, либо сами придумывали свою собственную систему знаков для каждой буквы и цифры.

В тетрадке скорее всего применялся книжный шифр. Ключом к нему служила какая-нибудь книга, доступная автору зашифрованного послания и его адресату. Каждая буква пряталась за четыремь цифрами, написанными через косую черту. Первая строчка, допустим, означала номер страницы, вторая — номер строки, третья — расположение буквы в этой строчке. А четвертая... Что означала четвертая цифра? Может, вторая цифра — это абзац? Соответственно, третья — строка, а четвертая — буква в строке! Но что это за книга?

С чашкой кофе, пахнувшим чинариками из пепельницы, я расхаживал по комнате. Что мог читать Ибрагим? Может, это вообще какая-нибудь татарская или арабская книжка, которая была у него еще с дореволюционных времен? А если это вообще не Ибрагима тетрадка? В таком случае бесполезно чертыхаться. Поэтому я решил не отбрасывать гипотезу о том, что сам Ибрагим рисовал эти цифры.

Глаза мои гуляли по страницам тетрадки, пока снова не наткнулись на загадочную надпись на арабском на первой странице. Может, за этой вязью скрыто название книги? Ну конечно!

Я сфотографировал карандашную фразу и отправил картинку Гарику. Он арабист, учился на восточном факультете. Гарик недолго ломал голову: «Никто, кроме знающих и мыслящих, не постигает секрета этого прекрасного творения». Это из Корана».

Вечером Гарик сидел у меня. Я рассказал ему о своей догадке насчет шифра. Гарик про книжные шифры тоже слышал и пообещал мне, что загадку эту мы непременно разгадаем.

Работали мы так. Я диктовал Гарику цифры, а он быстро листал Коран и делал выписки. Довольно скоро мы поняли, что первая и вторая цифры — это не номер страницы и строчки.

— Представь себе, сколько изданий Корана существует. Какой был у твоего прадеда? Это же невозможно определить.

— А как же тогда мы сможем расшифровать текст? — в отчаянии спросил я.

— Не дрейфь. Есть одна мыслишка. Если это Коран вообще, то тогда первая цифра — это номер суры, вторая — номер айата, то есть, стиха, третья... Третья — это номер слова. А четвертая... четвертая — номер буквы в слове. Видишь, они все короткие, цифры в четвертом ряду.

— Гарик, ты гений!

Мы прошли половину страницы, когда Гарик остановился и покачал головой.

— Фигня какая-то получается. Похоже, Коран как ключ не подходит.

Не подходит... Но для чего тогда Ибрагим или другой человек, шифровавший свой текст, написал эти слова: «Никто, кроме знающих и мыслящих, не постигает секрета этого прекрасного творения»? Для чего здесь коранический айат? Для одной лишь красоты? Наверняка адресат этого текста прекрасно знал книгу, послужившую ключом для шифра. А другим знать об этом не следовало. Поэтому нет ничего удивительного, что мы не можем расшифровать этот текст.

Гарик ушел. Он позвонил поздно вечером. Голос его был бодр, как у охотника, выследившего дичь.

— Слушай, а когда этот шифр был создан? — спросил он.

— Точно не скажу.

— Ну хотя бы приблизительно.

— В 1930-х, наверное, судя по тетрадке.

— Знаешь что, пришли-ка мне фотку всей первой страницы. Мы с тобой, похоже, по неправильному пути пошли. После выхода каирского издания номера айатов в Коране стали писать по-другому. Если у тебя есть перевод Крачковского, посмотри: там номера айа-

тов и по старой системе, и по новой приводятся. Я и подумал, что в том Коране, который был ключом к шифру, использовалась старая система Флюгеля. Таким образом, вторая цифра должна означать другой номер айата по старым изданиям.

— Гарик, ты гений, — закричал я.

Неужели разгадка близка? Мне вдруг стало не по себе. Радость сменилась тревогой. А вдруг в этом документе обнаружится что-нибудь ужасное о Кильдееве, и я пожалею о том, что взялся за это дело. Не зря покойный мой отец любил говорить: «Не лезь в бутылку!» А я вот полез.

Но пугался я напрасно. Когда Гарик позвонил мне в очередной раз, голос его был уже не таким бодрым.

— Нет, ничего не получается, сорри, — сказал он. — Это не Коран. Вернее, это может быть Коран, но конкретное издание, где первая цифра означает номер страницы, вторая — абзац, третья — строку, а четвертая — соответственно, букву. Но если ты не знаешь, какое издание было у твоего прадеда, то даже не стоит мучиться. А может, это вообще не Коран.

Как же не Коран! А что тогда? Какую еще книгу в качестве ключа мог использовать Ибрагим?.. Стоп! Я бросился за блокнотом, с которым ходил в архив. Ну вот же: «Письма (20 шт.) на русском и татарском языке, фотокарточки (15 шт.), Коран на французском...»

Перевод Корана на французский. Но не мог же ленинградский дворник Ибрагим использовать в качестве ключа к шифру французскую книгу! А кто сказал, что это сам Кильдеев написал шифр? Может, он только хранил у себя эту тетрадку, а зашифровал текст кто-то другой, более образованный?

К счастью, переводов Корана на французский оказалось не так много: Альбера де Бибириштейна-Казимирского и Эдуарда Монте. Последний был сделан в 1925, и потому навряд ли прадед или тот, кому принадлежала тетрадь, смог каким-либо образом заполучить его в свою библиотеку. Оставался Казимирский. Несколько изданий этого перевода встречалось в свободном доступе. Каким из них мог воспользоваться создатель шифра? Наверное, самым поздним. Это 1869 год.

Некоторое время я гадал, какой принцип шифрования был выбран: по номеру суры или по номеру страницы. Я решил попробовать оба, и о чудо — мне удалось распознать первое слово: «journal»

(журнал или дневник). Французские слова стали возникать перед моими глазами, как земля перед каравеллами Колумба. Это, как я довольно скоро убедился, был действительно дневник. Даты в нем обозначались словами.

Неделю просидел я над загадочной тетрадкой: только пил, ел и выходил в магазин. Я чувствовал себя участником игры «Зарница», которому старшие ребята поручили расшифровать донесение противника.

Часто в дневнике упоминался некий Mejnoue. Что еще за Меджнун? Какой-нибудь малоизвестный поэт-декадент, прозванный так за свои любовные стихи, посвященные знойной восточной красавице?

Срочно нужен был перевод текста. К счастью, я знал, к кому обратиться — к Лидке. Она дипломированная переводчица с французского. Работает в издательстве, которое печатает зарубежную классику. Лидка рукописи Вольтера с листа читает, так что этот дневник для нее — как семечки.

Лидка полистала мои записи.

— Да, думаю, справлюсь, — сказала она. — Позвони через пару недель.

Через полмесяца я набрал Лидку. Она удивила меня радостным тоном. Нечасто с ней это бывает.

— Не поверишь, как раз собиралась тебе звонить, — сказала она. — Очень интересный текст. Одно упоминание Хармса чего стоит.

— Хармса? Ты уверена?

— Абсолютно. Он там много раз упоминается. Но не как Хармс, а как Меджнун.

— Почему ты решила, что Хармс и Меджнун — одно лицо?

— Когда начнешь читать, сам все поймешь. Там и отец Хармса Иван Павлович Ювачев упоминается. И жена Хармса — Марина, и многие другие.

— Ничего себе! А кто автор дневника? Это можно понять из текста?

— Как кто? Ибрагим Кильдеев.

— Ты уверена?!

— Абсолютно. Там несколько раз упоминается, как к нему Хармс обращается. В общем, прочтешь и сам все поймешь. Приходи за своей тетрадкой.

Я не пришел, я прибежал. Нет, даже не прибежал, а прилетел.

— Я тебе на почту файл отправила, — сказала Лидка. — Приятно было читать. Чистый красивый язык. Не Стендаль, конечно, но человек, уверенно владеющий пером.

— Спасибо, — кивнул я. — странно, конечно. Получается, сидит дворник у себя в каморке, попивает чай и пописывает в свободное от работы время дневник на чистейшем французском. А потом зачем-то шифрует его, используя перевод Корана, изданный за шестьдесят лет до этого! Что за фигня! Словно это не реальный человек, а персонаж одного из рассказов Хармса.

— Не знаю. Значит, обстоятельства так сложились, что он стал дворником. Но у автора дневника были хорошие учителя.

Я пожал плечами.

— Да, вот еще, — медленно произнесла Лида, когда я уже надевал кроссовки в прихожей. — Ты правильно расшифровал все имена и фамилии?

— Думаю, да. Я потом еще раз прошелся по всему тексту и все сверил, — сказал я, поднимая голову. — А что?

— Да так, просто показалось, что я где-то уже встречала одну фамилию.

— Какую? — Я бросил возиться со шнурками, и выпрямился.

— Шварц.

— Неудивительно: распространенная фамилия. Среди немцев и евреев полно Шварцев.

— Может быть...

Я начал читать присланный Лидкой текст, едва вышел за порог ее квартиры, в лифте, а закончил на скамейке, в парке у дома. С моей стороны было бы непростительным эгоизмом не поделиться с читателем прочитанным.

ДНЕВНИК [ИБРАГИМА КИЛЬДЕЕВА]

Перевод с французского Лидии Карамышевой

Все, что будет написано в этой тетрадке — не более чем плод фантазии автора и создано исключительно для упражнений во французском языке. Любые совпадения с реальными лицами и событиями случайны и не должны вводить в заблуждение читающего эти строки.

1931. 7 ноября. Все празднуют кругом, а меня трясет как в лихорадке. Словно это было вчера, а не двенадцать лет назад.

Мы только приступили к ночной молитве, когда раздался стук в дверь. Отец продолжал молиться, словно ничего не слышал. Но не слышать этого было нельзя. Незваные гости не только стучали, но и кричали пьяными голосами, которые врываются в залу и мешали нам сосредоточиться на разговоре с Всевышним. Я глядел на Сафу, тот — на меня, но прервать молитву без разрешения отца мы не смели. Айша и Рауза заплакали, и мама увела их. Мы остались в зале втроем.

Отец как будто услышал, что мы с братом замешкались, и повернулся к нам. Он ничего не сказал, но по взгляду его мы поняли, что отец очень недоволен нами. Мы с Сафой продолжили молитву, но язык не слушался меня. Словно первый раз в жизни, я повторял много раз прежде звучавшие в моих ушах и в моем сердце слова. Мы не успели закончить молитвы. Они явились раньше. Вынесли дверь и ворвались к нам на второй этаж.

Их было пятеро. Пять расхристанных матросов. Бескозырки набекрень, мятые брюки клеш, несвежие тельняшки, у некоторых — с прорехами. Соленый мерзкий запах. Запах табака и немытого тела, хлебного вина и злости, кислоты и смерти.

— Эй вы, оглохли, что ли?! — заорал один из пришедших, коротышка с лицом ярого кокаиниста.

Отец медленно поднялся, словно находился в одном из своих ресторанов и к нему в неурочный час явились нетрезвые клиенты.

— Простите, с кем имею честь?

— Честь, — передразнил отца коротышка. — Честь отменили декретом революционного командования! Понял? Ты сам кто бу-

дешь такой? Буржуй? — Коротышка тыкал своим коротким пальцем отцу в живот.

— Нет, не буржуй, — все так же спокойно отвечал отец.

— А кто?

— Трудовой человек.

— Трудово-ой? А дом этот чей?

— Мой.

— У трудового человека такого дома быть не может, — заметил другой матрос. — Определенно: буржуи.

Они принялись расхаживать по дому и отворять все двери и шкафы. Мама шепнула мне по-татарски, чтобы я тотчас бежал к Усмановым, а она пока отвлечет непрошенных гостей. Мне удалось незамеченным выскользнуть из дома.

То, что произошло потом, я знаю лишь по словам мамы.

Отец наблюдал, как матросы ходят по дому и запускают свои пальцы в наши вещи. Его, казалось, нисколько не огорчило, что блюдо с императорским вензелем было брошено на пол и разбито. Но на беду этой пьяной сволочи зачем-то понадобился Коран, лежавший на столе в кабинете отца. Коротышка схватил его и принялся листать, корча при этом рожи.

Отец переминался с ноги на ногу, сжимая руки за спиной. Коротышке скоро наскучило возиться с книгой, и он швырнул ее на пол. Отец бросился, чтобы поднять Коран, но коротышка не дал ему это сделать. Он наступил на книгу ногой. Отец нагнулся и попытался аккуратно отодвинуть ногу коротышки. Тот отступил, но лишь для того, чтобы ударить отца ногой в лицо. Он упал, но тут же поднялся и съездил коротышке по морде. Удар сбил матроса с ног. Тогда один из бандитов достал свой маузер и несколько раз выстрелил в отца на глазах у мамы и Сафы. К счастью, девочки не видели этого: мама успела укрыть их в погребке еще до того, как эти мерзавцы ворвались в дом.

Вот что рассказала мне мама.

Когда все это случилось, я был уже у Усмановых. Добежал я туда минут за десять. Они тоже молились. Дядя Шамиль прервал молитву и снарядил со мной двоих своих сыновей: Али и Фатиха. Али он дал револьвер, а Фатиху — свое охотничье ружье.

Мы застигли этих мерзавцев на выходе из нашего дома. Они тащили наш большой деревянный рундук и мешки, набитые вещами.

Завидев нас, бандиты побросали награбленное и затеяли стрельбу. Мы тоже ответили огнем. Али был сбит с ног пулей. Я оттащил его в сторону, а Фатих прикрывал нас. Он оказался опытным стрелком: ему удалось подстрелить сразу двоих. Бандиты не ожидали такого расклада. Оставив награбленное, они разбежались. Мы не стали преследовать их. Я ведь тогда не знал еще, что они убили отца. Думал, нас просто ограбили. Иначе я бы действовал решительнее и не позволил убийцам уйти живыми. Мы с Фатихом отнесли Али в дом. Слава Аллаху, его рана оказалась не опасной.

В доме я застал маму над телом отца. Она как будто постарела на десять лет за эти сорок или пятьдесят минут.

— Запомни этот день сынок, — чужим, незнакомым голосом сказала мне мама.

1931. 8 ноября. Застав убитую горем маму возле мертвого отца, я достаточно скоро взял себя в руки. Вместе с Фатихом мы вышли из дома.

Я надеялся, что эти шакалы вернуться, чтобы забрать тела своих товарищей. Но я ошибся: оба матроса продолжали лежать там, где их настигла пуля Фатиха. Одним из них был коротышка. В кармане его бушлата я нашел мандат, выданный одной из анархистских организаций Петрограда. Коротышку звали Владимиром Макаровым. В другом кармане оказался бумажный фунтик с каким-то порошком.

— Марафет, — уверенно сказал Фатих.

Я засунул фунтик обратно в карман мертвеца, а маузер, который сжимал в руке коротышка, взял себе.

Мы приблизились к другому матросу.

— Этот еще живой, кажется, — сказал Фатих.

Мы перевернули матроса на спину. Пуля угодила ему в живот, и он должен был испытывать жуткую боль. Но бандит крепко сжимал зубы, не желая, по-видимому, выдать себя.

— Эй, ты! — Я приставил маузер к его лбу.

Лежавший медленно, как разбуженный посреди ночи больной, открыл глаза. Поняв, что ему недолго осталось, я потребовал назвать имена и фамилии всех участников их банды. Он молчал.

— Говори, если не хочешь быть заживо сожранным собаками. Тут их много бродит! — закричал я и приставил револьвер ко лбу лежавшего матроса.

Захлебываясь кровью, он стал выдавливать из себя имена своих товарищей. Первым назвал Макарова, затем остальных, включая себя. Фамилия его была Луков.

Я не знал, что делать с этим Луковым. Пристрелить или дать умереть своей смертью? Фатих словно угадал мои мысли.

— Пусть сам помирает. Но надо убрать их, — сказал он. — А то утром явятся товарищи и обвинят нас в убийстве.

Мы подняли коротышку: я — за ноги, Фатих — за руки, и отнесли его во двор нашего дома. Земля еще не успела промерзнуть, и я довольно скоро вырыл яму. Мы опустили туда коротышку, а затем вернулись за Луковым. Пока шли, я рассуждал, как с ним поступить. Не хоронить же его живым, а убить беззащитного раненого — рука не поднималась. Вопрос решился сам собой: когда мы подошли, Луков был уже мертв. Он лег в землю рядом с Макаровым.

Я не мог тогда объяснить самому себе, зачем мы так долго возились с этими мерзавцами. Лишь позднее я понял, что мне просто хотелось отодвинуть тот момент, когда я войду в дом, где теперь лежал мертвый отец. Мне было невыносимо от одной мысли, что его больше нет. Я корил себя за то, что послушался маму и побежал к Усмановым. Если бы я остался, быть может, мне удалось бы уберечь отца от гибели, пусть и ценой собственной жизни.

Когда мы возились с Луковым во дворе дома, появился дядя Шамиль, а с ним — еще трое мужчин-татар. Кто-то был с револьвером, кто-то — с ружьем. Я спросил, не встречались ли им по дороге трое матросов. Они ответили, что никого не видели.

Все, кроме Фатиха, ушли. Фатих же со своим ружьем остался с нами до утра — на случай, если матросы или какие-нибудь другие «товарищи» нагрянут снова.

Той ночью в нашем доме никто, кроме моих сестер, которым мама ничего не сказала о случившемся, не спал.

Мы похоронили отца после полудня на нашем кладбище. Так что за одни сутки мне пришлось предать земле сразу троих: моего несчастного родителя и двух его убийц.

В тот же вечер, едва стемнело, мы покинули Лугу, а вскоре — и Россию. Часть золота и других ценных вещей мы взяли с собой,

часть — закопали с братом в надежном месте. Эстония находилась рядом, но путь оттуда обратно в Лугу занял у меня больше трех лет.

1931. 9 ноября. Вскоре после своего возвращения в Совдепию я отправился в Лугу. Я приехал туда инкогнито. Мне совершенно не хотелось, чтобы меня узнали. О том, что мы покинули город с приходом красных, знали многие. Все-таки маленький городок. Приехал я ближе к вечеру с накладными усами и бородой, которые не раз выручали меня во время войны. В нашем доме располагалось какое-то совдеповское учреждение. Я постоял некоторое время перед дверью и вернулся в Петроград. Вернулся не с пустыми руками: клад наш, к счастью, оказался нетронутым.

Начальный капитал у меня, благодаря покойному отцу, имелся. Я организовал торговлю коврами. Арендовал помещение на Невском. Ездил много по стране по делам коммерции и не только.

Устроив свои дела и наладив торговлю, я занялся поиском. В адресном столе предъявил список с фамилиями. Я думал, что кто-то из банды Макарова наверняка осел в Петрограде. Мне выдали адрес одного из матросов: Алексея Пономарева.

На следующий день нанятый мною беспризорник Колька свел знакомство с мальчишками, игравшими во дворе дома, где жил Пономарев. Я представился Кольке сотрудником ОГПУ Николаем Николаевичем и показал значок «5 лет ВЧК-ГПУ». Почему именно Николаем Николаевичем? Людям всегда приятнее иметь дело с тезкой, чем с обладателем другого имени.

Значок этот я хранил как зеницу ока. Он был фальшивый, но изготовил его мастер своего дела, и выглядел значок как настоящий. Колька сначала испугался, но я заверил его, что если он все сделает, как я скажу, и будет держать язык за зубами, то получит хорошее вознаграждение. А если проболтается — достану из-под земли: руки у нас длинные.

Колька пересказал мальчишкам придуманную мною легенду, что его «папаша» устроился на фабрику «Скороход» и потому он, чтобы не сидеть один дома, где дрянные соседи, прогуливается неподалеку. Вот забрел в этот двор и решил тут задержаться. Мальчишки поверили, и Колька вскоре стал среди них своим.

Через несколько дней Колька уже знал все или почти все о Пономареве. Он точно указывал время, когда тот выходил утром на

службу и когда возвращался домой. У Пономарева имелись жена и сын-школьник. Они занимали одну комнату в квартире на третьем этаже.

Но прежде чем действовать дальше, я должен был убедиться, что Пономарев и тот матрос, который участвовал в убийстве отца, — одно и то же лицо. Пришлось опять прибегнуть к маскараду, как и при общении с Колькой. Я нацепил усы и бороду, надел пиджак. У дома я был за десять минут до того часа, когда Пономарев обычно отправлялся на службу. Сел на скамейку и стал читать газету. Я сразу понял, что это он: в серой толстовке и брюках из грубого сукна. Колька дал мне точное описание.

Я подождал, когда Пономарев выйдет со двора, и последовал за ним. Обогнал уже на проспекте, встал у него на пути и, отогнув лацкан пиджака — ровно настолько, чтобы он успел разглядеть значок, — молча кивнул в сторону. Забавно было наблюдать, как злобный волчий взгляд сменился испуганным, заячьим. Пономарев послушно последовал за мной. Я не оборачивался, потому что ни на секунду не сомневался, что этот субчик бредет за мной, как крыса за гамельнским крысоловом. Я дошел до сквера, сел на скамейку и указал Пономареву место рядом.

— Алексей Михайлович, как вы думаете, чего ради мне пришлось побеспокоить вас? — произнес я мирным тоном, но при этом строго глядя ему в глаза.

Он заморгал.

— Не могу знать.

— А если подумать?

Он бросил на меня очередной испуганный взгляд, а я лишь кивнул, словно поймал его мысль.

— Но я здесь ни при чем, это все Максимов устроил! — залепетал Пономарев. — Я же его подчиненный.

— Вот видите, вы уже понимаете, что совершили ошибку, — сказал я. — Теперь дело за малым: исправить ее. Если вы, конечно, хотите этого.

— Хочу, конечно, хочу! — живо отозвался Пономарев.

— Вот и славно. В таком случае, жду вас сегодня в девять вечера там, где кончается Татарское кладбище и начинается Холерное.

Место это находилось недалеко от дома Пономарева. Там можно было спокойно поговорить, не привлекая внимания.

— И еще, — сказал я напоследок, — не вздумайте никому рассказывать о нашей встрече. Даже жене и сыну. Вы меня поняли?

— Конечно-конечно! — закивал тот.

После этой встречи у меня не осталось никаких сомнений: это был один из убийц отца.

1931. 10 ноября. На месте я был за полчаса до назначенного времени. Мне был знаком здесь каждый вершок, но я должен был удостовериться, что нашей с Пономаревым встрече никто и ничто не помешает.

На самом кладбище, недалеко от главного входа стоял домик сторожа. Я давно знал старика Карима и его семью. Но меньше всего мне сейчас хотелось встретиться с ним. Поэтому я назначил Пономареву встречу не на самом кладбище, а вблизи от него, у дальних могил. Даже если сторож увидит нас, у меня будет время, чтобы скрыться.

Находясь вдали от России, я мечтал добраться до убийц отца и жестоко поквитаться с ними. И вот теперь я вдруг понял, что не смогу просто так взять и хладнокровно прикончить одного из них. Как он был жалок во время нашего разговора. Но зачем тогда я проделал полный опасностей путь через границу? Разве не для того, чтобы наказать тех, кто принес столько горя нашей семье? В войну мне приходилось стрелять в людей, но это в войну. Мог ли этот Пономарев за несколько лет измениться, стать другим?

Я решил, что сначала поговорю с ним, открою, кто я на самом деле (не все, конечно), и, если он покается, отпущу его с миром.

Вдали обозначилась фигура мужчины среднего роста. Шел он неуверенно, то и дело оглядываясь. Когда он приблизился к назначенному месту, я показался из темноты.

— Добрый вечер, — сказал Пономарев.

Я в ответ только кивнул.

— А почему именно здесь? — спросил он.

— Здесь тихо и спокойно можно поговорить, не привлекая внимания.

Ответ этот, похоже, немного его успокоил.

— Идите! — сказал я.

Пономарев продолжал стоять, как привязанный ишак.

Я махнул рукой и вошел на кладбище. Я шел мимо могил, и мне не нужно было глядеть на камни, чтобы сказать, кто здесь погребен. Пономарев послушно брел за мной. Не доходя до речки, я обернулся, дождался, когда он подойдет ближе, и спросил:

— Пономарев, вы помните, где и как вы отметили 7 ноября 1919 года?

— Вы позвали меня ночью на кладбище, чтобы узнать это? — спросил он и даже попытался улыбнуться, но улыбка так и умерла, не появившись на свет.

— Вопросы, Алексей Михайлович, позвольте, буду задавать я. Отвечайте.

Он задумался и тут же испугался своих воспоминаний. Я понял это по тому, как дрогнули его губы и потух взгляд. Я хорошо знал такой взгляд и научился безошибочно определять его. Человек, который хоть раз убивал себе подобного, глядит по-иному, чем тот, кто ни разу не проливал чужой крови.

— Так как вы провели этот день? Не припоминаете?

— Я был в Луге, — сглотнув слюну, медленно заговорил Пономарев. — Мы только взяли город и отмечали годовщину революции и нашу победу.

— И как же вы ее отмечали?

— Ну как... выпили, конечно.

— И все?

Меня уже начинала порядком раздражать эта нелепая игра с маскарадом, которую я сам же и затеял.

— Может, это поможет вам лучше вспомнить. — Я стянул с себя накладные бороду и усы.

Пономарев открыл рот, но так ничего и не произнес.

— Узнал?

— Н-нет.

— Хорошо, я помогу тебе. Помнишь погром, который ты и твои дружки устроили в ночь с 7 на 8 ноября в одном татарском доме? Помнишь отца четырех детей, которого вы убили на глазах его жены и сына? — Я наступал на него, а он пятился назад, пока не уперся спиной в один из памятников. — Ну же! Отвечай!

— Это не я, это Макаров! — закричал Пономарев. — И Караваев! Это они стреляли!

— Не ори! Где сейчас этот Караваев?

— Он погиб... в войну. В Крыму.

— Ты в этом уверен?

— Да. Я видел это своими глазами.

Когда я оказался на расстоянии вытянутой руки от Пономарева, он издал какой-то мерзкий птичий крик и бросился на меня. Ударом я сбил его с ног. Он отлетел в сторону и ударился головой о большой камень, возвышавшейся над могилой купца Хабибуллина. Это один из самых массивных памятников на кладбище.

Я склонился над Пономаревым. Он сидел на земле, прислонившись спиной к остановившему его камню. Падая, Пономарев разбил себе голову. Я понял, что если тотчас же не помочь ему, он может потерять сознание или даже умереть.

— Так все-таки узнал? — произнес я почти в самое его ухо.

Пономарев поморщился и прохрипел:

— Сука татарская.

Тут я услышал шум за спиной, оглянулся и увидел, что с другого конца кладбища к нам спешит человек. В руках у бегущего был фонарь. Я упал на землю и отполз в сторону. В голове вертелась мысль: бежать? Нет, поздно. Пожалуй, он поднимет шум, меня могут задержать.

Я отполз подальше и, укрытый кустами и могильным камнем, стал наблюдать, что будет дальше. Как поступить, если Карим, а это был он, заметит меня? Ответа на этот вопрос я не успел найти.

В одной руке сторож держал карманный фонарь, кажется, «Электросила», в другой — какую-то палку, вроде трости. Он склонился над Пономаревым, который полулежал, закрыв глаза, и спросил: «Ты что?» Вместо ответа Пономарев вцепился старику в глотку.

Карим рухнул на землю, а на него всем телом навалился Пономарев. Зачем он сделал это, ведь сторож спешил к нему на помощь? Может, решил, что мы с Каримом заодно или перепутал меня с ним? В темноте да после сильного удара немудрено перепутать.

Я уже собирался броситься Кариму на помощь, но тот управился без меня. Пономарев был слишком слаб после удара, и потому старик без труда стряхнул его с себя, как котенка. Карим поднялся, стал шарить глазами вокруг, пока, наконец, не поднял с земли то, что искал. Я увидел в его руке палку. А дальше произошло то, чего я никак не мог предвидеть. Не медля ни секунды, Карим со всего

размаха обрушил палку на голову Пономарева, который копошился у его ног, пытаясь ухватить сторожа за край одежды. Раздался звук, похожий на хруст сломанной ветки. Пономарев повалился на бок. Карим склонился над поверженным, затем поднял с земли фонарь и, не выпуская палки, направился к своей сторожке суетливой походкой старика.

Я решил пока не покидать моего укрытия, полагая, что Карим не оставит Пономарева в таком положении. Действительно, вскоре я опять увидел сторожа с фонарем, болтавшимся у него на шее на веревке. В одной руке у Карима была лопата, в другой — ведро. Он положил лопату и поставил ведро на землю, затем подхватил Пономарева подмышки и поволок мимо могил.

Отыскав свободное место, Карим принялся за работу. Действовал он умело и вскоре выкопал яму, пригодную для средних размеров мужчины. Управился сторож за четверть часа — даром что старик.

Закопав Пономарева, Карим прихватил ведро и лопату и опять удалился, только на этот раз не в сторону своей сторожки, а к речке. Он набрал листьев и веток и побросал все это на могилу. Так он ходил несколько раз.

«Интересно, — подумал я тогда, — сколько безымянных мертвецов обрели покой на этом кладбище подобно Пономареву?»

Но я не винил старика. Он, похоже, перепугался не на шутку. Я даже был благодарен Кариму, что он снял с души моей грех и закончил с этим мерзавцем.

Одно огорчало меня. Я не успел выяснить у Пономарева, где найти третьего из их компании: Шварца. Выходило, что из трех оставшихся на этой земле убийц отца уцелел он один. Караваев, по словам Пономарева, погиб в Крыму.

Прошло уже двенадцать лет с того черного ноябрьского дня, а я так и не нашел этого Шварца. Не помогли никакие запросы и поиски в Ленинграде, Луге, Москве и других городах. Упаси меня Аллах умереть до того, как я повстречаю его!

1931. 20 ноября. Приходил человек с Гороховой. Новый. Назвался Сергеем Ивановичем. Бесцветный, сероглазый, невысокий. Но это, конечно, не настоящее его имя, как и у его предшественника.

Интересно, они сами придумывают себе клички или у них есть для этого специальный человек?

«Сергей Иванович» интересовался в первую голову Медждуном. Я сказал, что он, очевидно, душевно болен, но никакой опасности для соседей и общества не представляет. Они там, кажется, и сами в этом убеждены. Только бы оставили его в покое! По остальным тоже говорил, что все в порядке. «Сергей Иванович» кивал и вроде даже верил моим словам.

1931. 24 ноября. Приходил «Сергей Иванович». Зачастил. Не к добру. Опять, как бы между делом, спрашивал про Медждуна. Я сказал, что никакого беспокойства от него нет. Разговоров о советской власти от него и от других не слышал. Но там уже у них, похоже, сложилось определенное мнение. Есть у них наверняка другие источники.

Все эти друзья-товарищи. Среди них всегда найдется один, который исправно ходит на Гороховую. А может, и не один. Если прижмут как следует, так половина из них сдаст с потрохами Медждуна. Особенно этот Александр Иванович В.² На него только цыкни, так он все расскажет: и что было, и чего никогда не было.

Тучи над Медждуном сгущаются. Либо посадят, либо вышлют. Я осторожно попытался узнать, что они там против него имеют. Но «Сергей Иванович» ушел от ответа. Чтобы не вызвать подозрений, я прекратил расспросы.

1931. 29 ноября. Был на собрании «двадцатки». Собрались сразу после молитвы. Денег нет. Райсовет предъявляет новые требования по ремонту. Понятно, что они таким образом хотят отобрать у нас мечеть. В 1920-е денег было достаточно — благодаря нашим купцам в Петербурге и татарам из Финляндии. Но НЭП свернули, а границу закрыли на замок. Камалетдин предложил объявить кружечный сбор в экстренном порядке: попросить у людей, кто сколько может дать. Боюсь только, это не сильно поможет. Решили отправить делегатов в райсовет. Выбрали меня, Исмагила и Хасана.

1931. 2 декабря. Встретил на лестнице Медждуна.

— Вы не планируете никуда уезжать? — спросил его в лоб.

² По-видимому, имеется в виду А.И. Введенский (пояснение переводчика).

— Нет, зачем же мне уезжать, — засмеялся он. — Мне и здесь неплохо.

— Да так... зима обещает быть холодной.

Как глупо получилось. Надо завтра ему сказать все как есть.

1931. 10 декабря. Сегодня делали обыск у Меджнуна. Я был в это время на Мальцевском рынке. Пригласили дворничиху Дружину из соседнего дома, неграмотную дуру. Самого Меджнуна в квартире в тот момент не было: его забрали в другом месте. Затем опять приезжали. Открыли квартиру. Похоже, что-то забыли прихватить в прошлый раз. Меня тоже позвали. Сам Меджнун уже на Шпалерной. Я волновался так, словно это у меня искали. Набрали всякой мелочи, как последние тряпичники, и вынесли вместе с чемоданом. Квартиру опечатали.

Ну и пентюх же я! Хотел ведь его предупредить. Впрочем, едва ли он послушал бы меня.

1931. 25 декабря. ГПУ снова в квартире Меджнуна. Оказывается, они в тот раз забыли взять какие-то важные вещественные доказательства. Болваны! Выволокли ящик с рукописями. Теперь пропадет все. Как пить дать, пропадет!

1932. 8 января. В мечети беспокойно. Ожидают новых арестов. Говорил с муллою Сафой. Он весь издерганный. Я посоветовал ему внимательнее присмотреться к окружению. Он сказал, что догадывается насчет Семиуиллы — муэдзина. Но что взять со старика? Я честно сказал Сафе, что не могу понять, как за ним, бывшим муфтием, получившим указ о назначении из рук покойного государя, до сих пор не пришли «три буквы»³. Советовал ему, пока есть возможность, бежать в Финляндию. Намекнул, что могу помочь. Но он сказал, что никуда не собирается бежать. Говорит, что раз не сделал этого в 1918 году, когда ему предлагал помощь турецкий консул, то теперь и подавно никуда не поедет.

³ Имеется в виду ГПУ (пояснение переводчика).

1932. 5 марта. Видел Ивана Павловича⁴. Хлопочет за Меджнуна. Жаль старика. Думал ли он, что та власть, за которую он чуть не положил свою жизнь в молодости, посадит в тюрьму его сына?

1932. 25 марта. В мечети беспокойно. Все ждут новых арестов. Неужели мулла Сафа не понимает, что большевики никогда не простят ему его прошлого? Удивляет и восхищает его стойкость. Или он получил от чекистов какую-то гарантию? А если получил, то какой ценой?

1932. 18 апреля. Пришел человек из ГПУ по фамилии Калинин и сказал, чтобы я прошел с ним в квартиру Меджнуна. Сердце забило, как если бы это по мою душу явились. Впрочем, когда-нибудь явятся. Главное, чтобы как можно позднее.

Неужели забирают его комнату? Видел вчера Ивана Павловича, он ничего мне не говорил. Комнату распечатали. Калинин составил акт о том, что эта жилплощадь вновь предоставляется Меджнуну.

1932. 27 мая. Когда шел к мечети, увидел много подозрительных типов в штатском. Были и мильтоны в форме.

Вскоре все разъяснилось: мулла Сафа арестован. На что он надеялся? Может, и в самом деле кто-то с Гороховой обещал ему, что его не тронут. Даже если так, глупо верить этим типам. Надо было бросить все и бежать. Почему же он не скрылся? Неужели лишь потому, что не хотел оставить мечеть без имама? Тогда это не глупость и не безумие, а тихий подвиг.

Они, конечно, боятся волнений. В прошлом году, когда взяли мулл Якуба и Кемаля, все были напуганы. Арестовали половину «двадцатки». Никто не хотел потом вступать. Пришлось мне тогда согласиться. Должность опасная, на виду, но как отказаться? Они же там, в Смольном, спят и видят, как закрыть мечеть. А если не наберется «двадцатка» — отличный повод отобрать у верующих мечеть.

1932. 19 июня. Видел Меджнуна. Вчера его выпустили из ДПЗ. Он худой, сосредоточенно глядит перед собой. Интересно, он в

⁴ Иван Павлович Ювачев, отец Даниила Хармса (пояснение переводчика).

этих коротких штанишках с пуговичками и клетчатом пиджаке в камере сидел или уже дома переоделся?

Поздравил его с возвращением, спросил, как там.

— Кормили сносно, — бросил Меджнун и побежал дальше. Потом вдруг остановился и добавил: — Но лучше туда не попадать.

Как тут не согласиться!

1932. 10 июля. Зашел Меджнун. Сказал, что завтра уезжает в Курск в ссылку. Просил не отказать Ивану Павловичу или Лизе⁵ в помощи, если те обратятся ко мне.

1932. 23 сентября. Не один и не два раза этим летом подступали ко мне наши касимовские татары. Чего только не предлагали в обмен на согласие стать муллой.

В начале августа хоронили Гатауллу-бабая. Он умер от воспаления легких. Всего 58 лет. Еще до революции он бывал у нас в Луге несколько раз. На кладбище жена Гатауллы подошла ко мне и попросила прочитать джаназа — по покойному, который, по ее словам, очень любил и уважал моего отца. Отказывать в такой ситуации нельзя, и я, конечно, выполнил ее просьбу.

Потом похожая история повторилась с Куян-бабаем. Это прозвище⁶ он получил в дни большого наводнения в 1924-м. Тогда он ловко перепрыгивал через потоки воды, как самый настоящий заяц. Дочь покойного Фатыма попросила меня прочитать джаназа. Нечего делать: я опять согласился.

А еще раньше в июне меня пригласили к Неджметдину. Он устраивал угощение по случаю рождения сына. Я пришел, и меня попросили провести обряд имянаречения.

В общем, я понял, что не мытьем так катаньем меня будут вытаскивать то на похороны, то на рождение ребенка, и мне все равно придется «работать муллой». Избежать всего этого можно только полностью отказавшись от общения.

Я оправдываю себя тем, что еще не выполнил свой долг. Пепел Клааса стучит в моем сердце... Но сколько еще месяцев, лет мне искать этого Шварца?! Адресные столы бессильны помочь, мили-

⁵ Елизавета Ивановна Грицына (урожденная Ювачева), сестра Даниила Хармса (пояснение переводчика).

⁶ Куян (татарск.) — заяц (пояснение публикатора).

ция — тоже. Он как сквозь землю провалился. Нужно ли прекращать поиски? Нет. Нужно ли по-прежнему отказываться от религиозного служения? Нет. Но как совместить обе эти вещи — жажду мести и служение добру?

Если даже мулла Сафа, до революции утопавший в роскоши и не знавший печали, остался в Совдепии и выбрал путь служения, то почему я должен отступить? Я не вправе отказывать людям, когда они больше всего в этом нуждаются. В смутные времена только вера способна уберечь людей от внутреннего разложения. Не случайно верующие, оказавшиеся в застенках ГПУ, легче переносят выпавшие на их долю испытания, чем люди, забывшие о существовании Бога.

Говоря коротко, я теперь мулла. Нелегальный. Ничего, не пропадаем! Молю лишь Аллаха, чтобы не дал мне сгинуть, пока я не разыщу Шварца или не получу доказательств тому, что он мертв. А когда отыщу его, то конец моей работе муллой и конец моему сидению здесь, в Совдепии.

1932. 13 октября. Вчера Меджнун вернулся из Курска. Говорили о собаке, которая в его отсутствие угодила под автомобиль. Ничуть не изменился. Выглядит бодрым и веселым, как будто только вернулся с курорта.

1932. 12 ноября. Явился новый человек из ГПУ. Представился «Петром Ивановичем». Спрашиваю его:

— А где же Сергей Иванович?

— Он оказался врагом народа.

— Вот те раз!

— Вас это так взволновало? — спросил «Петр Иванович».

— Конечно! Он же, Сергей Иванович, все про врагов народа мне толковал, а вот в итоге и сам им оказался. Как же так?

— Бывает, — пожал плечами «Петр Иванович», словно речь шла о чем-то обыденном. — Не доглядели. Слишком много врагов развелось. Поэтому мой вам дружеский совет: поменьше распространяйтесь об общении с Сергеем Ивановичем.

— Спасибо, учту. А как с вами быть?

— Не понял, — нахмурился «Петр Иванович».

— Ну вот вы сейчас говорите со мной, я вам верю, рассказываю все, а потом вместо вас придет однажды другой человек и скажет, что вы тоже того...

— Что того?

— Ну, враг народа.

— Не говорите глупостей, — возмутился «Петр Иванович».

— Вот и Сергей Иванович мне то же самое говорил.

— Что говорил?

— Что не надо «говорить глупостей». А потом оказалось, что глупости говорил он сам.

— Дурак, — сказал «Петр Иванович».

На этом первая наша встреча завершилась.

1932. 5 декабря. Я не просто мулла, я — мулла-бюрократ. За каждую требу беру расписку. Те, кто зовет меня, пишут бумагу, где указывают, что я не получил от них ни копейки. Это на случай, если меня арестуют. По крайней мере, срок меньше дадут, так как нет материального интереса.

Прошу тех, кто приглашает меня, сдавать все деньги, которые мне полагаются, в кассу мечети. Душат налогами, насылают комиссию каждые полгода проверять, как идет ремонт в мечети. А денег в кассе все меньше и меньше.

1933. 5 июня. Только что вернулся из Киева. В ответ на мой запрос пришел ответ, что в этом городе проживает некий Андрей Александрович Шварц. Бросился туда. Не он.

Прошло четырнадцать лет. За это время я перебрал двадцать пять Андреев Шварцев — из тех, что подходили по возрасту. И все не то, и все не те. Может, этого моего Шварца уже и на свете давно нет? Вполне возможно. Но я должен убедиться в этом. Я завяз в СССР, и теперь, похоже, уже не выберусь отсюда.

1934. 7 мая. У Меджнуна недавно появилась новая женщина. Зовут ее Марина.

1935. 11 января. Вчера, когда я зашел к Меджнуну по квартирным делам, он затащил меня в комнату и стал читать свой рассказ. Один из героев — дворник Ибрагим. Я слушал, улыбался из вежливости.

ности, а сам разозлился не на шутку. Думаю: вот погоди, я про тебя тоже рассказ напишу.

1935. 1 февраля. Сочинил на досуге один рассказик. Думал показать Меджуну. Но как-то все случая не было.

1935. 15 февраля. С Литейного пришел новый человек. Назвался «Павлом Ивановичем».

— А где Петр Иванович?

— Петр Иванович оказался врагом народа. Его избличили как агента польской разведки и расстреляли.

Я чуть не крякнул от удивления.

— Вас это расстроило? — внимательно глядя на меня, спросил «Павел Иванович».

— Нет, скорее удивило. Такой приличный вроде человек. А оказалось... Он, что же, поляком был? Вроде не похож.

— Для того чтобы быть польским шпионом, необязательно быть поляком. Его завербовал резидент польской разведки.

Когда «Павел Иванович» ушел, я, наконец, позволил себе расхотаться. Оказывается, ко мне целых два года польский шпион ходил, а я и не знал.

1935. 1 марта. Я теперь большой человек. Управдом. Прежнего выслали с «кировским потоком». Прибавилось хлопот. Когда теперь искать этого проклятого Шварца? Может, плюнуть на все и утечь, пока не поздно, за кордон?

Недавно услышал от сына интересное слово: «не проханже». Означает: не пройдет, ничего не выйдет. Все чаще думаю, что моя затея найти Шварца «не проханже». Как там в «Золотом теленке»: «Графа Монте-Кристо из меня не получилось...»

1935. 20 октября. Не думал, что работа «бродячим муллой» будет сопряжена с таким риском. Каждый раз, когда меня приглашают, я мысленно готовлюсь к тому, что ночью за мной придут. Как это утомляет и иссушает душу! Вроде бы уже давно все решил, но продолжаю спрашивать себя: зачем? Зачем я делаю это, рискуя своей жизнью и подвергая опасности близких мне людей? Я ведь никогда не хотел быть муллой.

Христианин сказал бы, что это мой крест. А как полагается говорить в таком случае мусульманину? Сказать, что я делаю это для себя, будет неправдой. Утверждать, что делаю это для людей, тоже неверно. Или, точнее, верно, но лишь наполовину. Но для чего тогда все это? Фатализм, кисмет? Тоже не то. Сейчас у нас любой поступок, который выходит за рамки норм, предписанных советскому человеку, это уже подвиг. И если ты человек, а не дрессированное животное, то неизбежно выйдешь за границы этих предписаний. Вот и мое незаметное служение есть маленький неизбежный подвиг. Я сам выбрал этот путь и упрекать в чем-то могу лишь себя и никого другого. А сделав первый шаг, нужно делать следующий.

До революции я мечтал, что в моем распоряжении будут все буфеты по Николаевской железной дороге. Всерьез думал о том, чтобы открыть татарский ресторан на Невском. Все шансы для этого имелись, но случился Октябрьский переворот. С тех пор у всех у нас была лишь одна цель — выжить. Потом я понял, что хочу стать генералом. Но и этой мечте не суждено было сбыться. Вместо этого я открыл магазин ковров. И вот теперь я — дворник и мулла. Если бы до семнадцатого года кто-нибудь сказал мне, что я буду дворником и подпольным муллой, ни за что не поверил бы. Ладно только дворником или только муллой: всякое бывает. Но дворником и муллой одновременно — такого, конечно, вообразить было нельзя даже человеку с богатой фантазией.

1936. 15 августа. Только вернулся из Казани. По моей просьбе один татарин, с которым мы еще в НЭП вместе торговали, узнал, что в городе с недавних пор живет некий Шварц, который в Гражданскую служил на Балтфлоте. Я взял отпуск, договорился в жакете, что брат жены Ибрагим подменит меня, и помчался в Казань. Увы, это оказался другой Шварц. Я уже сомневаюсь, что он вообще существует где-то за пределами моей памяти, этот Шварц! Сколько таких поездок было в 1920-е! С каждым годом шансы найти его тают.

Казань произвела грустное впечатление. Из всех мечетей работает только одна. Я ожидал найти ее переполненной, но увидел не так много народу. На меня, как на чужака, смотрели с подозрением. Увидел в мечети среди прихожан муллу Сафу и чуть не бросил-

ся к нему. Он тоже меня заметил и сделал знак рукой, чтобы я не подходил.

Я дождался, когда он выйдет, и последовал за ним. Убедившись, что никто за нами не идет, подошел к нему. Он сказал, что на квартиру к нему лучше не ходить, и предложил пойти в зооботанический сад. Идеальное место для тихой беседы.

Сафа сказал, что его чуть больше месяца назад освободили. В Ленинграде ему жить нельзя. Работает в почтовом отделении, учится на счетовода. Ведет незаметную жизнь.

Я спросил, что заставляло его служить муллой тогда, в Ленинграде. Ведь он был на виду у ГПУ. Сафа ответил, что как-то все само собой получилось.

— Еще при жизни отца я ни в чем не нуждался, — сказал Сафа. — А когда он умер, я стал муллой. Я не представлял себе иной работы. Должность перешла мне по наследству вместе с квартирой и газетой, которую издавал отец. Верил ли я в Бога? Конечно, верил, я считал, что раз Он даровал мне все это, всю эту роскошную жизнь, значит Он вполне доволен мной. Еще больше я укрепился в таких взглядах, когда был утвержден муфтием. Шутка ли: сам государь удостоил меня аудиенции перед тем, как я отправился в Уфу. А потом случилась революция, и мы с семьей остались без средств существования. Большую часть накопленных богатств у нас отобрали, а то, что удалось сохранить, мы быстро проедали. Находиться в чужой для меня Уфе было бессмысленно, да и просто опасно, поэтому я вернулся в Петроград.

Сафа искал работу в каком-нибудь совдеповском учреждении, написал даже письмо Троцкому с просьбой принять его в комиссариат иностранных дел. Но все тщетно. А тут, узнав, что Сафа вернулся в Петроград, к нему стали наведываться земляки. Приглашали совершать разные требы: от имянаречения ребенку до заупокойной молитвы.

— Я согласился, — продолжал Сафа, — в конце концов, мне нужно было кормить семью. Конечно, это были уже не те деньги, какие я получал до Октябрьского переворота, но жить было можно. Я служил муллой, потому что ничего лучше этого делать не умел. И вот однажды один бабай, который еще моего отца помнил молодым, сказал мне: «Это милость Аллаха, что вы снова оказались здесь, среди нас, в Петрограде. Нам очень не хватало вас». Я за-

думался: раньше я считал милостью Божией, что жизнь моя протекала в достатке, а, оказывается, милость Аллаха совсем в другом. В том, что люди нуждались во мне, что я был необходим им, и они готовы были делиться со мной последним, хотя и сами едва сводили концы с концами.

Я поблагодарил Сафу за откровенность.

— Одно меня смущает, — сказал я. — Я ведь прежде не был муллой. И не готовил себя для этого поприща.

— Это как раз хорошо, — возразил Сафа. — Мулла по профессии больше думает о своем желудке и кошельке, чем человек, ставший муллой в силу определенных обстоятельств.

— А сейчас... вы тоже служите? Вы можете не отвечать, если это...

— Отчего же. Служу, — тихо отвечал Сафа.

Нет, не зря я все-таки приехал в Казань. Кто бы подумал, что встречу здесь муллу Сафу и так откровенно с ним поговорю.

1937. 10 июля. Рад, что эта тетрадка уцелела и дождалась своего хозяина. И спасибо Фатыме, что сберегла ее. Наверное, стоит прекратить это сочинительство. Пусть это всего лишь плод моей фантазии. Сейчас ведь такая жизнь, что и за фантазию можно получить фантастический приговор. И все-таки не могу не написать хотя бы коротко о том, что происходило со мной за последнее время.

Если кому-то из моих потомков суждено будет прочесть эти записи, пусть знают, что я вел себя достойно.

Восьмого декабря прошлого года в час ночи за мной пришли. Двое в форме. Дали десять минут на сборы. Обыск проходил уже без меня. Благодаря моей предусмотрительности и осторожности, ничего стоящего не взяли, если не считать перевода Казимирского. Книгу эту после освобождения мне так и не вернули. А я, дабы не вызвать подозрений, не стал настаивать. Придется искать это издание у букинистов.

Меня привезли в ДПЗ.

На допрос вызвали только через день. Следователь Свинцов, крепкий, румяный. На первом допросе только анкетные данные и общие вопросы. Обращался ко мне официально, исключительно на «вы». А я все ломал голову, к чему они прицепились.

Когда меня вызвали к следователю через неделю, все, наконец, прояснилось. На столе у Свинцова лежали расписки, которые давали приглашавшие меня для свершения обрядов татары.

— Почему вы, не будучи служителем культа, стали работать муллой? — спросил меня следователь.

— Меня наши касимовские татары попросили. Они без муллы остались — после того как муллу Сафу арестовали.

— Вы разделяли взгляды Сафы Баязитова? — бодро вцепился в знакомую фамилию следователь, как молодой пес в брошенную палку.

— О взглядах Баязитова ничего сказать не могу. Мы с ним не общались. Но у нас, касимовских татар, больше доверия к своим землякам. Меня попросили быть муллой.

— Почему именно вас попросили быть муллой?

— Не знаю, гражданин следователь, это вы лучше их спросите, — сказал я, а потом долго говорил о том, что советская власть и товарищ Сталин разрешили гражданам ходить в мечеть для удовлетворения своих религиозных нужд, а некоторые чиновники на местах чинят препятствия.

— Сколько вы получали за свою работу муллой? — спросил вдруг Свинцов.

— Ни копейки. Все, что мне хотели дать в качестве вознаграждения, я просил направлять в кассу мечети. Я вижу у вас на столе расписки. Там все сказано.

— Почему вы не брали деньги? У вас большая семья. Разве вы не нуждались в деньгах?

— Правда ваша, деньги всякому человеку нужны. Но тут у меня резоны свои были. Во-первых, советская власть, слава Аллаху, обеспечила трудовому народу достойную жизнь. Даже дворник может жить хорошо, как раньше дворяне всякие, если добросовестно выполняет свою работу. А во-вторых, я же знаю, что нельзя в обход государства капиталы зарабатывать. Это как отца родного, который для тебя последнюю рубаху отдает, обманывать. Вот я и развел такую бухгалтерию. Мне жена говорит: ты говорит, Ибрагим, настоящий этот, как его... брюхократ.

— Что-то ты слишком умный, папаша, — смеясь, перебил меня следователь.

— Вот и жена мне говорит: ты, Ибрагим, умник. Тебе бы подучиться, и, может, депутатом когда-нибудь станешь.

Когда Свинцов дал мне прочитать протокол, я, сославшись на свою малограмотность, попросил время на изучение этого «важного документа» и пришел в ужас: в протоколе приведены якобы мои признания, что я занимался антисоветской деятельностью, в частности, под видом муллы ходил по квартирам татар и вел разговоры против партии и правительства. Назывались имена хороших достойных людей, которых я якобы завербовал в свою группировку.

— Прочитали? Подписывайте.

— Не могу.

— Почему?

— Не понимаю ничего, умно очень. Я лучше сам все напишу. Мне так душе спокойно будет. — Я продолжал строить из себя простого основательного крестьянина, которого на кривой кобыле не объедешь.

Следователь возмутился. Зачем время отнимать? Он, дескать, все записал с моих слов.

— Я не сомневаюсь, — сказал я. — Но Коран предписывает каждому верующему не подписывать того, чего не понимаешь. Вот подпишу я сейчас этот протокол, а потом, когда умру, на страшном суде Аллах будет заслушивать показания ангелов. И кто-то из них, соблазненный сатаной, начнет давать против меня ложные свидетельства. И вместо того, чтобы отправиться в Рай, душа моя полетит напрямиком в Геенну огненную.

— Это ты кого с сатаной, сукин сын, сравниваешь? — заорал Свинцов. — Советскую власть?!

— Никак нет. Это я так, для наглядности...

Свинцов еще пытался давить на меня некоторое время, но в конце концов выругался, плюнул и согласился. И дал мне новый бланк, чтобы я сам все написал. Я, нарочно оставляя ошибки, выводил свои показания...

В другой раз привели меня на допрос, а в кабинете, кроме Свинцова, еще один тип. Сидел у стены, слушал внимательно, что я говорю, потом вдруг как вскочит, да как даст мне по голове. У меня в ушах зазвенело. А ударил он меня Кораном в переводе Ка-

зимирского. Я когда только в кабинет вошел, увидел его на столе у Свинцова.

— Откуда у тебя эта книга? — орал у меня над ухом второй, незнакомый мне следователь.

— Моя книга, — потирая макушку, сказал я.

— Откуда она у тебя?

— Нашел на помойке.

— Зачем она тебе?

— Смотрю — вроде Коран. Хоть и не на нашем написано, а все-таки священная книга, грех на помойке оставлять. Большой грех.

Удар по зубам. Я сполз на пол и решил, что буду изображать беспамятство, даже если мне начнут втыкать иголки под ногти. Мой мучитель грязно выругался. Пнул меня ногой. Я лежал, не шелохнувшись. А потом двое конвоиров поволокли меня в камеру.

Больше тот, второй, не приходил. Но Свинцов стал держаться со мной строже, хотя и не бил меня. Я продолжал все отрицать. Свинцов дал мне прочитать показания против меня. Догадка моя подтвердилась: те, кого я считал осведомителями, оказались ими, и я молил Аллаха лишь о том, чтобы Он даровал мне силы не согнуться и не погубить свою душу, не оклеветать других.

Затем допросы стали проводиться реже. Я даже подумал, что обо мне совсем забыли. Шли месяцы. А однажды в кабинете Свинцова меня ждал уже другой следователь — Манышев. Вежливый — предложил чаю. Я согласился.

И снова по кругу: «Вы изобличены как японский шпион!» Тут у меня началась форменная «истерика». Я заорал, что если он еще раз произнесет при мне такие слова, я что-нибудь с собой сделаю, найду способ убить себя. Я заслуженный трудовой человек, образцовый дворник, честный управдом, а он смеет оскорблять меня!

Манышев не ожидал от меня такого и лишь бросил: «Перестаньте орать, вы не на базаре!» Сунул мне в конце допроса протокол. Я читал и дивился: следователь ничего не переврал, разве что изложил мою ярость казенным языком. Как говорится, «все записано с моих слов верно». Потом целый месяц меня никто не дергал. И вот позавчера Манышев вызывает меня и зачитывает решение об освобождении. Не верю своим ушам. Но это действительно правда.

1937. 2 августа. Вчера П. заглянул ко мне. Вроде как по делам.

— Я бы советовал тебе куда-нибудь исчезнуть. И лучше как можно скорее, — сказал он в конце разговора.

— То есть как это исчезнуть?

— Просто взять и куда-нибудь уехать. Это дружеский совет. Я же знаю, где ты был. Поверь, после первого раза они тебя в покое не оставят. Ты уже с точки зрения государства неблагонадежный элемент. Те, кто тебя арестовал, ведь как рассуждают? То, что тебя не отправили в лагерь, это не твоя заслуга, а их недоработка.

— Но куда же мне ехать?

— Это тебе решать.

Больше я его ни о чем не расспрашивал. Он и так уже достаточно сказал.

1939. 18 марта. Я снова в Петербурге. О том, как я жил эти полтора года, можно написать отдельную книгу. Даст Бог, когда-нибудь сделаю это. Много раз я с благодарностью вспоминал участкового Петровича за его добрый совет как можно скорее уехать из города после освобождения. Теперь уже можно назвать его, а не скрывать за буквой П. Этот замечательный человек погиб зимой от пули бандита. Светлая тебе память, Петрович!

Уезжая, я знал, что вернусь, потому что не выполнил еще своего обещания: отомстить за отца. А вот сейчас такой уверенности уже нет. Может, старею?

В Петербурге много перемен. В нашем доме забрали людей из двух квартир. В мечети арестовали председателя «двадцатки» и очередного муллу.

1939. 20 марта. Пришел человек из Большого дома. Назвался «Борисом Ивановичем». Интересовался, где я так долго пропадал. Я рассказал ему свою легенду, показал бумаги. Сказал, что и сейчас неважно себя чувствую и думаю, не уехать ли мне опять от нашего ленинградского климата.

Спрашиваю:

— А где же Павел Иванович?

— Павел Иванович оказался врагом народа.

Анекдот! Сколько у них там в органах врагов работает. Впрочем, кто бы сомневался.

1939. 24 марта. Был в мечети. Тревожно. Все спрашивали, где я столько времени пропадал? Я отвечал, что уезжал поправить здоровье. Но все, похоже, понимают настоящие причины.

Пока я сидел в ДПЗ и был в отъезде, сменилось уже два официальных муллы. Оба арестованы, и судьба их неизвестна.

1939. 31 марта. Меня, даже не спросив моего мнения, выдвинули председателем «двадцатки». Я стал возражать, но Мансур сказал, что я не имею морального права отказаться. Это вроде как на фронте дезертировать: когда командир выбыл из строя, следующий по старшинству должен занять его место. Если закроют мечеть, наши дети и внуки нам этого не простят. Я сел на свое место и больше не возражал.

В конце концов, если Аллах уберет меня от неприятностей в былые дни, то навряд ли сейчас Он решит обрушить на меня Свой гнев.

А Шварца я встречу. Обязательно. Я уже не тот, что прежде, стал каким-то травоядным животным. Видимо, и в самом деле старею. Смогу ли я покарать убийцу? Не дрогнет ли у меня рука?

1939. 21 апреля. Заметил, что Меджнун в последнее время намеренно держит себя со мной, как клоун. Прежде он тоже выкидывал разные фортели, но потом хотя бы снимал маску, а сейчас даже не думает перевоплощаться. По крайней мере, в моем присутствии. С чем это связано? Мне кажется дело тут в страхе. Он боится, что я сообщаю о нем куда следует. Как говорится, *noblesse oblige*.

Впрочем, я ведь и сам тоже притворяюсь. Меджнун подает себя как безумца, а я прикидываюсь полуграмотным татаринном — бывшим халатником. Что ж тут поделаешь: времена такие. Все надевают маски и выдают себя за других, иначе — гибель. Впрочем, и маска не гарантирует спасения, но зато не так грустно умирать, зная, что убивают не тебя настоящего, а образ, за которым ты укрылся, как за деревом.

1939. 6 сентября. Приходил «Борис Иванович». Я спросил его, почему мы медлим, немцы сейчас захватят Польшу, паны убегут, а рабочие и крестьяне окажутся под фашистом.

— Не волнуйся, Кильдеев! Когда придет время — поможем и польскому пролетариату, — заверил меня «Борис Иванович».

1941. 22 июня. Война. Как «неожиданно»! Страну застали врагсплох. Теперь лишь вопрос времени, через сколько немцы будут под Петербургом и Москвой. Наивен тот, кто полагает, что можно в ближайшее время остановить наступление немцев. Они последовательно готовились к войне, у нас же все делалось по ленинской формуле: шаг вперед, два шага назад. Лучшие военачальники либо уничтожены, либо сидят в лагерях. Людям два года морочили голову, что немцы нам не враги, а теперь выходит, что все-таки враги, да еще какие враги. Гуталинщик⁷, похоже, на этот раз перехитрил самого себя.

Нужно думать, что делать дальше.

1941. 8 июля. Приходил «Анатолий Иванович». Год назад он сменил «Бориса Ивановича». У них там, видимо, отрицательный отбор. Этот вообще полный идиот. Но нам от этого только лучше. Спрашивал о настроениях. Интересовался в первую голову Меджнуну. Кто-то хорошо их информирует о нем. Впрочем, он сам хорош: много болтает. Кажется, его арестуют скоро. Так не может долго продолжаться. В военное время они такое даже от безумца не будут терпеть. Надо сказать ему.

1941. 10 августа. Подошел к Меджнуну на улице. Говорю ему: «Будьте осторожны!» Он засмеялся: «Брось, Ибрагим. Говори там про меня, что нужно. Это твоя работа. Иди и делай, что задумал».

Я разозлился не на шутку. Тоже мне, Христос с Надеждинской.

1941. 16 августа. В последнее время хлопочу об эвакуации. Уже все удалось организовать, и тут Фатыма встала на дыбы. Не хочет уезжать и все. Говорит, что Аллах нас не оставит, Он уже столько раз не давал нам пропасть. Напомнила мне про эшелон с детьми, который разбомбили немцы. Может, она и права. Договорились, что подумаем еще неделю, и потом, может, она согласится уехать с детьми.

⁷ Имеется в виду И.В. Сталин (пояснение переводчика).

1941. 23 августа. Сегодня это все-таки произошло. Дело было так. Я вышел из своей квартиры и направился в сторону Невского.

Впереди я увидел знакомую фигуру: коричневый костюм, брюки-гольф, гетры. В руке Меджнун держал сумку. Два человека, которые шли за ним, вдруг обступили его справа и слева. Один из них полез в карман. Я врос в землю и, прижавшись к стене дома, стал наблюдать. Меджнун небрежно взглянул на документ, кивнул. Тогда другой, взяв по-приятельски Меджнуна под руку, продолжил с ним путь, а его коллега пошел за ними следом. Они свернули на Жуковского. Там их ждала «эмка». Все трое уселись на заднее сиденье.

Я дождался, когда машина отъедет, и бросился назад — сообщить обо всем Марине. Дверь никто не открыл. Неужели ее тоже взяли, или она куда-то ушла? В любом случае, они скоро придут, чтобы сделать обыск. И тогда Меджнуну придется навсегда распрощаться с рукописями. Сейчас бумагам находят другое применение. Впереди зима.

Пару минут я стоял на лестнице и размышлял. Потом спустился к себе, взял ключи и снова позвонил в дверь восьмой квартиры. Никто не ответил. Тогда я отворил дверь. В квартире было тихо.

Я вошел в комнату Меджнуна. Аромат злых Марининых духов перемешивался с запахом табака.

Я стал быстро осматривать комнату. На столе были разбросаны какие-то бумаги. Хозяйственные записи или что-то вроде этого. Одежда. Плакаты. Под письменным столом чемодан. Большой. Я потянул за ручку. Тяжелый. Там, наверное, рукописи. Осмотрелся кругом, заглянул в шкаф. Больше нигде ни тетрадок, ни пачек бумаги я не обнаружил. Тут мне вспомнилось, как Меджнун однажды сказал кому-то из своих друзей на лестнице: «Все, что я написал, легко уместится в чемодане».

Я схватил чемодан и на цыпочках вышел в коридор. Тихо, стараясь не греметь ключами, закрыл дверь. Чувствовал себя вором — и тут столкнулся нос к носу с Комаровым из 7-й квартиры. Шайтан его принес.

— Вы что же, уезжаете, Ибрагим Шакирджанович? — спросил Комаров.

— Нет, хлам всякий выношу, — пробормотал я и поспешил вниз.

Зашел к себе и долго не мог отдышаться, словно бежал от погони. Оставлять чемодан у себя было бы непростительной глупостью. Я решил, что вечером, едва стемнеет, спрячу его в надежном месте.

А вечером в дверь позвонили.

Их было трое. Одетые в штатское, все почти одного роста, с бесцветными глазами.

— Товарищ Кильдеев, пройдемте в квартиру восемь, — сказал один из них, открывая большой лягушачий рот.

За Мариной? Или обыск?

Они попросили меня позвонить. Я нажал два раза на звонок.

Дверь открыла Марина. Она не стала спрашивать, кто там. У них вообще не принято это. Сначала она увидела меня. Улыбнулась, а потом, близоруко щурясь, посмотрела на тех, кто пришел со мной. И тут я увидел в ее глазах страх, животный страх.

Начался обыск. Марина сидела с безучастным видом в кресле, поджав под себя ноги, а эти трое хозяйничали в комнате. Я ликовал, что мне удалось спасти рукописи.

1941. 25 августа. На следующий день, после того, как чемодан Меджнуна оказался в моих руках, я стал думать, как поступить с рукописями. Сначала думал отвезти все это на кладбище. Но, поразмыслив, пришел к выводу, что риск слишком велик. Сейчас много хоронить будут, и чемодан могут потревожить. Да и земля на кладбище не сухая, чтобы хранить в ней бумаги. Сколько им еще там придется лежать? Решил, в конце концов, что отвезу чемодан в Озерки к Х. Там надежнее. Я знаю Х. больше пятнадцати лет. Это деловой человек. Он не задает лишних вопросов.

Когда стемнело и невозможно было отличить белую нить от черной, я вышел на улицу. На трамвае доехал до Поклонной горы.

Пассажиров было немного. Двое сразу не понравились мне. Я заметил их еще на остановке. Один был в плаще и шляпе и походил на советского инженера, другой одет попроще, в рабочую куртку. Они стояли метрах в десяти от меня и курили. Вроде бы им не было до меня никакого дела, но что-то в них показалось мне подозрительным.

Я вышел на нужной мне остановке. Эти двое тоже. Я остановился, чтобы завязать шнурки. Делал я это нарочно медленно, чтобы

выяснить намерения этой парочки. Они пересекли шоссе и направились к озеру. Тогда я подхватил свой чемодан и поспешил в противоположную сторону. Я выбрал длинный маршрут, чтобы запутать тех двоих, если они последуют за мной. Только убедившись, что никого вблизи нет, я направился к дому Х.

Х. уже собирался спать и был очень удивлен, увидев меня. Я сказал, что мне нужна помощь, и кивнул на чемодан.

— Что в чемодане? — спросил Х.

— Старые книги, бумаги.

— Давай поглядим, что это за бумаги, и потом решим, куда это пристроить, — сказал Х.

Мы взялись за чемодан и не без труда открыли его, несколько повредив один из замков. Когда я увидел то, что было внутри, у меня чуть глаза на лоб не полезли. Никаких бумаг. В чемодане лежала мертвая старуха, облаченная в какую-то ветошь. Я посмотрел на Х. Он с ужасом и ненавистью глядел на меня.

— Ты зачем мне мертвую женщину притащил?! — зашипел Х. Он не хотел поднимать шума, чтобы не испугать домашних.

Я не знал, что ответить. Да и кто бы на моем месте нашелся, что сказать?

— Забирай ее и убирайся к черту! — приказал Х.

Нечего делать. Мы с трудом закрыли чемодан.

Я, не прощаясь с Х., вышел из дома и направился к озеру. У меня уже родилась идея бросить старуху в воду. Когда ее найдут утром, то примут за утопленницу. Пройдя метров сто, я машинально обернулся и увидел, что за мной следуют все те же двое из трамвая!

Я поднялся, схватил чемодан и побежал. Бежать с такой ношей нелегко. Но они не должны были взять меня с чемоданом. И тут мне пришла в голову гениальная мысль. Я полез в карман, достал свой старый дворницкий свисток и дунул в него, что есть силы. Те двое опешили. А я, выдохнув, начал орать: «Помогите! Грабят!» Мои преследователи замерли в замешательстве, а я, недолго думая, схватил чемодан и снова побежал. Нырнул в густые кусты, царапая лицо и руки, и, когда вылез оттуда, в руках у меня ничего не было. Я также сорвал бороду и усы, которые неизменно надевал, когда ездил к Х. К счастью, кругом были лес и кустарник, это помогло мне оторваться от моих преследователей. Карабкаясь по горе наверх, я сначала услышал, а потом увидел подхаживший

трамвай. Не без удовольствия наблюдал я из окна уносившегося прочь трамвая, как те двое бежали по Выборгскому шоссе с искаженными злобой лицами. Значит, они не видели меня без чемодана. Я, как ребенок, радовался, что обвел их вокруг пальца.

Успокоившись, я решил домой не идти, а направился к старому знакомому, Ариффу. Уходя из дома с чемоданом, я предупредил Фатыму, что, возможно, заночую у друга. Поэтому не волновался за нее.

Рано утром ко мне на квартиру отправился сын Арифа. Он вернулся и сообщил, что дома все спокойно, никто меня не искал.

Когда я пришел, Фатыма сказала, что меня спрашивала Марина. Я решил сам к ней зайти. В первую очередь спросил, что с Меджнуном. Марина покачала головой и ответила, что о Меджнуне пока ничего не известно, но она будет хлопотать о свидании. Сказав это, она продолжала стоять и глядеть на меня, словно не решаясь спросить о чем-то важном. Я молчал. Наконец, она спросила, не заметил ли я, забрали они во время обыска чемодан или нет. В бумаге, которую ей оставили чекисты, делавшие обыск, чемодан не указан, значит, его не тронули. Но она излазила всю комнату и нигде не может найти его. У меня как камень с плеч упал.

Я рассказал ей историю с чемоданом, опустив мелкие подробности. Я ожидал, что она обрадуется или, напротив, накинется на меня с обвинениями, что заставил ее волноваться, но вместо этого Марина вдруг рассмеялась. Я спросил, чему она смеется.

— Ибрагим, ты, надеюсь, понял, что это не настоящая старуха была.

— Как не настоящая?

— Это кукла. Дане друзья подарок сделали — восковую куклу старухи. У него повесть есть, она так и называется: «Старуха». Им так понравилась эта история, что они решили сделать Дане сюрприз. Старуха эта как настоящая получилась. Я даже боялась ее и просила Даню закрывать ее на ночь в чемодане.

Я стоял и не знал, что сказать. И вдруг я тоже засмеялся. Так мы стояли с Мариной посреди комнаты и хохотали, как сумасшедшие.

На этом, пожалуй, я окончу свой рассказ, ибо он и без того слишком затянулся.

Это была последняя запись в дневнике. 5 сентября 1941 года, как следует из материалов архивного уголовного дела, был выдан ордер на «арест и обыск Кильдеева Ибрагима Шакирджановича».

P.S.

На следующей неделе я отвез тетрадку Кильдеева, а также листы с расшифрованным текстом и его переводом, в Публичную библиотеку. Но там мой дар не приняли. Прочитав перевод, хранительница — полная женщина с усами и большим чувственным ртом — сказала, что библиотека не берет на хранение рукописи малоизвестных писателей, но у автора, несомненно, большой талант, рассказ потрясающий и его непременно нужно напечатать в толстом журнале.

Я сначала расстроился, а потом подумал: «Почему бы и нет?» — и последовал этому доброму совету.

Один экземпляр журнала с рассказом о Кильдееве я решил подарить Лидке. Всякому человеку приятно, когда о нем пишут хорошее, тем более в литературном издании, которое читают культурные люди. Но когда Лидка позвонила мне и предложила встретиться, журнал с рассказом находился еще в типографии.

— Помнишь, я говорила тебе, что мне показалась знакомой фамилия Шварц? — взволнованно начала Лидка, едва я устроился за столом.

— Помню.

— Я спросила бабушку. Действительно, фамилия ее отца была Шварц.

— Ну и что?

— Слушай дальше! Отца бабушки звали Андреем Александровичем Шварцем...

— Ну и что? Помнишь, сколько людей с таким сочетанием имени, отчества и фамилии встречалось Кильдееву? Кажется, двадцать пять, если не больше.

— «Ну и что!» — передразнила меня Лидка. — Ты дальше слушай. Знаешь, кем мой прадед работал? Следователем НКВД. Я не сразу вспомнила, потому что о прадедушке у нас в семье как-то не

принято говорить. Вроде как запретная тема. Мне было непросто разговорить бабушку. Она всю жизнь стыдилась своего отца, хотя совсем не знала его: когда он погиб, ей было три года.

— Но причем здесь мой Шварц?

— Не торопись! — осадила меня Лидка. — Мой прадед был матросом. Он в Гражданскую против Юденича под Петроградом воевал. Чуешь?

Я замер.

— И что с ним дальше стало?

— Дальше он пошел на работу в органы. В 1921-м он почему-то решил сменить фамилию. Русифицировал ее, так сказать, и стал Андреем Черным.

— Так вот в чем дело, — медленно произнес я. — Теперь понятно, почему Кильдеев не мог его отыскать. А что дальше?

Я вдруг почувствовал что-то вроде обиды за прадеда. Как ловко этот мерзавец Шварц его провёл. Я уже не сомневался, что этот был тот самый Шварц.

— Его убили, — эти слова Лидки заставили меня вздрогнуть.

— Кто?! — почти закричал я.

— Бабушка говорит, это случилось во время допроса. Подследственный сумел каким-то образом напасть на Шварца. Как он это сделал и кто был этот человек, я не знаю.

— Когда это было?

— В сентябре 1941-го.

Я молчал, вспоминая бледно-желтую папку архивного уголовного дела Ибрагима Кильдеева: «Начато 5 сентября 1941 г. Окончено 19 сентября 1941 г.»

— Значит, все-таки нашел, — сказал я скорее самому себе, чем Лидке.

— Что ты сказал?

— Значит, все-таки нашел, — повторил я уже громче и улыбнулся.

— Выходит, что так, — ответила Лидка и тоже почему-то улыбнулась.

Евгений Долматович

ЕВАНГЕЛИЕ ОТ МАШИ

В тот день, когда Маша узнала, что беременна, за окном сверкали молнии.

Она сидела на полу в своей крохотной комнате и смотрела на тест, гадая, что же ей со всем этим делать. И вот тогда ее лицо озарила первая вспышка. Поначалу Маша не поняла, что это. Быть может, очередной скачок электричества? Такое в доме случалось нередко: лампочки начинали потрескивать, вызревали ярким сиянием и — мгновение ослепительной красоты — перегорали, зачастую осыпаясь дождем блестящих осколков. Хлестко щелкали пробки, все погружалось во мрак. И лишь агония лампочки, вылившаяся в неопишуемую яркость, какое-то время мельтешила перед глазами, не успевшими привыкнуть к отсутствию света. Агония в глазах была животной памятью о лампочке, о ее короткой кроткой жизни, дарившей спокойствие и чувство безопасности. Но поскольку лампочка — так, безделушка, то и длилось воспоминание недолго. Моргнешь раз-другой — и все. Трупик лампочки отправится в мусорный бак, ты вкрутишь новую и живешь себе дальше, не обращая внимания на подобные маленькие техногенные смерти.

Но в тот день к Маше пожаловала отнюдь не смерть, напротив — вспышка за окном известила о явлении новой жизни, а тест в руках все подтвердил.

Молнии? В ноябре?

Тогда Маша отложила тест и подошла к окну. Она устало и зачарованно смотрела вдаль, на небо, которое серой чугуной беспросветностью поглощало очертания города. И там, среди зыбких силуэтов осенней хмари, одна за другой расчерчивали реальность белые искривленные линии.

Молнии в ноябре.

Наверное, в тот миг Маша и осознала, что под сердцем она носит Бога.

А может, все было не совсем так?

Может, молнии лишь удивили Машу, оттого и запали в память, но сама мысль об уготованной ей роли наведалась чуть позже? Когда? Вероятно, когда Маша что-то ощутила — нечто иное, чем то, что ощущала обычно. Нечто необъяснимое, пугающее... Впрочем, для Маши, чье образование сводилось к урокам в детском доме, ограниченными стенами самого детского дома, многое было необъяснимым, еще большее — пугающим. Тогда, возможно, мысль заявила, когда Маша начала замечать некоторые явления? Знамения, верно? Что-то выбивающееся из установленного порядка вещей. Тут, увы, тоже не все так гладко, ведь Маше, пусть она и считала себя недалекой, хватило ума понять, что вся ее жизнь — лишь череда однообразных действий и одинаковых лиц. Всякое отклонение уже есть знамение. Только вот обязательно ли то самое знамение?..

Но если ничто не подходит, как узнать, когда Машу посетила такая чудная или, правильнее, чудесная мысль?

А стоит ли гадать?

Сама Маша относилась к этому проще. Да, конечно, время от времени она задавалась вопросом: чего это вдруг она о себе такое возомнила — будто бы носит под сердцем Бога? Живого Бога! Откуда столько чести? Тем более для девушки неприметной, вопиюще заурядной. Она ведь даже в этого самого Бога не верит!

Само собой, в детском доме был священник, именовавший себя «батюшкой» и норотивший привести отвергнутых миром детей к порогу Божьего Царства. Но вначале это был старый надменный священник, в котором добродушное «батюшка» давно уже иссохло, сморщившись в безликое «поп» — звук, как болючее наказание тяжелой ладонью по нежной ягодице. Маша попа недолго любила, точнее сказать — боялась. Он был строг и смотрел на всех с высоты своего мнимого величия, которым наделил его сан, попутно облачив в пугающую рясу полночного призрака. Как известно, призраки способны привести только к могилам, полным костей, а что до величия, то оно на раз затмевало величие незнакомого и непонятого Бога, якобы говорящего устами церкви, из которой поп явился. В общем, Маша быстро смекнула, что церковь, по сути, тот же детский дом — приют для сирот, уверенных, что их родители где-то есть, любят их, ждут. Такая вера ожесточала детей из детско-

го дома, рано или поздно понимавших, что они одни в целом мире. Ожесточала она, по-видимому, и священников.

А еще про того старого попа всякое болтали. Мол, он сует пальцы мальчишкам под одежду, щупает там, где нельзя. Морщинистые ладони его и вправду были жадны до детских ягод — шутка ли, попа тянуло к попам! — но кто именно распускает слухи, Маша не знала. Тем не менее разразился скандал, и поп исчез. На его место прислали нового. Совсем еще молодой, улыбочивый, с лучистыми небесно-голубыми глазами, он мало чем походил на «попа», вряд ли дорос до «батюшки». Напоминал он, скорее, этакое старшего брата, и нравился Маше гораздо больше. Впрочем, нравился он почти всем девчонкам. Только вот ни к Богу, ни к его порогу он так никого и не привел. А все потому, что за пленительной небесно-голубой лучистостью никакой веры не было, лишь отчаянная попытка уверовать, балансирующая над пропастью неизмеримого ужаса, если уверовать вдруг не удастся. Поэтому священник врал, говоря о Боге, — либо убеждал сам себя, либо бездумно цитировал чужие знания, вдоволь разбросанные по страницам книги в черной обложке. Ни ужас, ни ложь, ни тем более знания Машу не привлекали. Она была типичным детдомовским питомцем — угрюмым, немногословным, недоверчивым — и уже порядком устала от ужаса, за версту чуяла ложь, ну а знания... Что ж, Маша понимала, что Бог, если он существует, непознаваем, а значит, в него можно только верить. И какой, спрашивается, толк от священника, если он сам не верит?

Поэтому и Маша в Бога не верила.

Оттого и была столь диковинной и противоречивой мысль, что неожиданный ребенок этот — пока еще только плод, козявочка, вызревающая где-то в животе, — есть самый настоящий Бог. И что к вере Машино деликатное положение отныне имеет куда большее отношение, нежели к безверию. Маленький, приземленный человек, каковым Маша себя считала, не может постигнуть такое за раз. Возникнув однажды, подобная мысль либо сведет с ума, либо будет отвергнута рассудком как смертельно опасная, способная в мгновение ока разметать хрупкое мироустройство одинокой души, растоптать ее мировосприятие, ввергнув весь зримый мир в пучину безумия и оставив лишь выжженную пустошь. Потому и

говорить о том, в какой конкретно момент Маша осознала, что беременна Богом, — бесполезно.

Сойдемся на том, что мысль прокралась к ней, аки вордомушник — знамением, впечатлением, — и угнездилась где-то на подкорке. Она пустила корни в фундамент Машиного разума и умудрилась прорасти там, ничего не разрушив, не повредив шаткого каркаса, коим являлось Машино представление о мире и всем, что в нем происходит.

Так, по мере того, как набухал живот, Маша и приходила к пониманию, кем является ее ребенок.

Стоит заметить, что вопрос отцовства Машу не шибко волновал. К тому моменту, как она окончательно убедилась в своей новой роли, вопрос этот и вовсе стал бессмысленным. Но даже до тех пор он ее мало заботил.

Рожденная в начале сентября, по гороскопу Маша значилась Девой — знак, которому приписывают красоту, элегантность. Всего этого Маша была лишена. За свою жизнь она успела смириться с тем, что является женщиной номинально — тенью, жалким подобием, но никак не самой женщиной. Мужчин она не интересовала совсем: они не оборачивались ей вслед, не делали комплиментов, не назначали свиданий, просто не замечали. И, подходя к зеркалу, Маша легко находила ответ на застрявший в горле вопрос «почему?». Отражение насмехалось над ней, оно было плевком, а то и пощечиной ее женской гордости. И за градом этих плевков и пощечин от гордости со временем не осталось и следа. Так в Маше умерла женщина — тихо, без лишних треволнений и тем более каких-либо вспышек на манер тех, что оставляют в памяти перегоревшие лампочки. Если лампочки умирали красиво, то женщина в Маше была обделена и этой мимолетной красотой — она умерла неприметно, обыденно. И единственной радостью, которую принесла эта смерть, было то, что отражение в зеркале перестало издеваться над Машей. Никаких больше плевков и пощечин.

Увы, это правда, что порой необходимо убить в себе женщину, чтоб примириться со своим отражением.

Заодно вместе с женщиной в Маше умерли и окружавшие ее мужчины. Сгинуло все, что смущало до сих пор: фривольные вопросы и ухмылки, услышанные краем уха намеки, сальные шут-

ки, широко расставленные ноги, хитрый блеск из-под бровей. Не волновала больше форма подбородка и ширина плеч, не привлекали грубые руки с мозолистыми пальцами, не учащался пульс, если нос вдруг улавливал терпкий запах мужицкого пота. Нет, бесследно они, конечно, не исчезли, взамен даже кое-что приобрели: непривычно звучащие имена, чудаковатые повадки. Они обросли множеством нюансов, выделявших их среди прочих людей, но как мужчины перестали полностью существовать. Поэтому Машу и не беспокоил вопрос отцовства.

В большой черной книге было сказано, что первое рождение Бога произошло от обычной женщины с точно таким же, как у Маши, именем. Рождение то стало результатом чуда, которое книга называла «непорочным зачатием».

Вот и Маша считала, что зачатие ее ребенка было непорочным. Простим же ей эту непредумышленную ересь, ведь с оглядкой на знак зодиака, как бы двусмысленно оно ни звучало, все сходится: Девой Маша зачала, Девой Маша родит и Девой останется!

Иногда, конечно, ее изводили сомнения — таки Маша была всего-навсего человеком, самым обыкновенным человеком, — и тогда она принималась вспоминать, цепляясь за разрозненные образы. Получалось с трудом. В голове мелькали цветастые кляксы, густилась-вихрилась темнота, громоздились размытые фигуры. Случалось, сквозь мглу прорывались слова, звуки. Но общей картины не складывалось, а то небольшое, что имелось, — неизвестно, было ли оно правдой или выдумкой.

Одно Маша помнила наверняка: внезапно нахлынувшую тоску, которая и погнала ее тем вечером из дома, заманила в какое-то шумное заведение. Вообще, Маша не была сторонницей подобного: большие скопления людей пугали, гром голосов и смеха оглушал. Поэтому она предпочитала коротать вечера в своей уютной квартирке, вязать себе кофточку или свитер, смотреть телевизор. Тоска же — этот затухающий отголосок былых мечтаний, наивность никому не нужной девчущки, стремящейся как можно скорее вырваться из детского дома в большой светлый мир — объявлялась все реже и реже. Казалось, растоптанная годами одиночества и людского пренебрежения, тоска и вовсе смолкла... Как бы не так!

Не сумев себя побороть, Маша быстро оделась, причесалась и, миновав позабытое зеркало, низверглась в зябкость улицы. Так и

очутилась в том самом заведении, где прикупила себе алкоголя, попыталась расслабиться, проникнуться музыкой. Именно тоска швырнула Машу в гущу танцующих, и именно тоска — как будто бы на последнем издыхании — обернулась пьянящей яростью, неутолимой жаждой движения, жизни, людского внимания. Нет, это не алкоголь вскружил Маше голову и вовсе не та таблетка, которую за денежку всунули ей в ладонь и которую Маша, не раздумывая, проглотила. Это все была тоска — посмертная судорога запертой в теле души, прежде чем душа эта окончательно смирится со своей участью, примет ее, впитает и обернется ничего не значащим прошлым.

А когда танцевать стало неважно — перед глазами все плыло, сердце колотилось, как ненормальное, — Маша выскочила на улицу вдохнуть свежего воздуха. Стошнив полный рот кислой пакости, она сплюнула, откашлялась, фыркнула, распрямилась и... узрела ангела.

Конечно, на тот момент она знать не знала, что это ангел. Ее разум был слеп к чудесам и знамениям, а самое главное чудо — чудо непорочного зачатия — ей еще только предстояло пережить. Поэтому тот, кого она узрела, не имел названия, ибо давно известно, что в языке безбожника не сыщется нужных слов, чтоб описать божественное. И, не придумав ничего лучше, Маша остановилась на самом банальном и безликом определении, обозначив явившегося к ней гостя как «существо неземной красоты». Позже-то, разумеется, она все поняла и впредь именовала его не иначе как «ангел».

Ангел, который приехал на ржавенькой «девятке».

Боясь спугнуть наваждение, Маша резво запрыгнула в машину, устроилась поудобней и все смотрела на ангела, смотрела и смотрела, и никак не могла налюбоваться — настолько он был прекрасен!

Спустя полгода, по крупницам выковыривая из памяти эти события, Маша нехотя призналась себе, что, будь он человеком — мужчиной на манер тех, кто захаживал к ней в магазин купить сигарет или бутылку водки, — она бы даже не взглянула в его сторону. Ангел был смугл лицом, лопоух и имел золотой зуб. В целом походил на цыгана. Тем не менее Машу это не остановило. Набравшись смелости, она протянула руку и коснулась его лица, ахнула, почувствовав грубую кожу его щеки, залилась краской, заметив его улыбку, даже готова была разрыдаться от счастья, когда он стис-

нул ее ладонь, галантно приложил к своим губам. Ангел что-то сказал, Машу оглушил звук его голоса. Ангел провернул ключ в замке зажигания и повез Машу куда-то за гаражи.

Именно той ночью Святой Дух снизошел на Машу, вошел в нее и излился Небесной благодатью.

Именно той ночью свершилось чудо непорочного зачатия, и Маша понесла Бога.

Но чудо чудом, а что, собственно, делать дальше?

По мере того, как близился день родов, Машу все чаще донимали тревоги. Нет, она нисколько не сомневалась, что в животе у нее растет-цветет Бог, но понятия не имела, как ей следует вести себя в роли мамочки. Отличается ли новорожденный Бог от простого ребеночка? Нужно ли варить ему каши, кормить с ложки, приучать к горшку? А если у Бога начнутся колики или (не приведи Господь) на попке появятся высыпания — он себя сам исцелит, или все же придется бежать в больницу?

В черной книге на этот счет никаких советов и подсказок не было. Черная книга вообще была крайне бессодержательна в любых вопросах, касающихся хлопот материнства, больше внимания уделяя свершенным чудесам да скучным наставлениям. В одном месте, правда, Маша наткнулась на что-то, касающееся «обрезания младенца Иисуса». Слово «обрезание» ей не понравилось сразу — веяло от него чем-то жутким. А узнав, что за этим словом стоит, Маша и вовсе побледнела, затем скривилась, а после сплюнула. И кто, спрашивается, удумал такую гнусность? Зачем?! Это ж уму непостижимо — калечить мальчишку, уродуя ему пипку!

Вдоволь повозмущавшись, Маша начала догадываться, что, раз уж об этом написано в черной книге, стало быть, это зачем-то надо. Возможно, речь здесь именно о делах божественных, недоступных ее скудному пониманию? Может, Богу не нравится крайняя плоть у него на пипке, вот добрые люди и изобрели обрезание? Или же...

Так размышления завели ее в край фантазий, наполненных домыслами и примитивными чудесами. Неспособная разобраться в сложной религиозной символике древних семитов, Маша свела жуткую процедуру к двум простым тезисам: либо новорожденный Бог и вправду недоволен своей крайней плотью, либо этот кусочек кожи необходим людям. И если с первым все ясно как божий день,

то во втором случае открывался простор для мифотворчества. Маше не раз доводилось слышать о поклонении святым мощам — причуде, из-за которой набожные валяются ниц перед различными мумиями и отдельными частями тел. Что же произойдет, если таким чудачкам подарить частицу Бога? Наверняка, рассуждала Маша, они сделают ее реликвией — самой ценной среди имеющих! — начнут молиться ей, возить из города в город, а затем, не договорившись, перегрызутся, развяжут кровопролитную войну. Так что лучше ничего им не дарить. Вместо этого кусочек божьей пипки можно зарыть в землю, откуда однажды вырастет красивое деревце с вкусными... чем?

Маша покраснела, хихикнула.

Настроение у нее в последнее время сменялось молниеносно: секунду назад она тихо всхлипывала, укутавшись с головой одеялом, и вдруг срывалась кружить-танцевать по комнатке. Врачиха успокоила, сообщив, что такие перепады — явление для будущих мамочек вполне обыденное. Как и рвота по утрам, как и отяжелевшая грудь. Маша слушала с недоверием. Больницы пугали еще со времен детского дома: за каждым белым халатом скрывалась боль, за каждой улыбкой — подвох в виде шприца или стоматологических щипцов. В этот раз вроде бы никакого подвоха не было: беременность протекала на удивление гладко, ребеночек был здоров и смирно, лишь изредка попинывая Машу в печень, булькал в околоплодных водах, дожидаясь своего часа. И все же Маша нет-нет да одаривала врачиху косым взглядом. Рассказать же о том, что сын ее не абы кто, а сам Бог, так и не отважилась.

Поэтому и тревоги никуда не делись — являлись нежданно-негаданно непрошеными гостями и учиняли расправу над беззащитной Машей, пока одним погожим днем вовсе не загнали бедняжку в церковь.

Мысли идти туда Маша сопротивлялась до последнего, ей было одновременно и страшно, и неловко. Поскольку ни первый, ни второй священники в детском доме со своей задачей не справились, обо всем церковном Маша имела весьма смутные представления, а религиозная атрибутика вызывала сплошное недоумение. В целом церковь по-прежнему ассоциировалась, скорее, с наказанием за малейшую шалость, чем с любовью к детям своим. Да и тот факт,

что при таком обилии церквей и храмов вокруг Маша всю жизнь прожила сиротой, наталкивал на определенные размышления.

Внутри храма было гнетуще сумрачно, пахло благовониями, толпился народ. Народ преимущественно из старух, брошенных родней на произвол судьбы и отчаянно пытавшихся подлеститься к Богу, чтоб уж после смерти заполучить себе уголок потеплей. Поскольку Бог в этот день был явно недосягаем, взгляды старух приковались к толстому бородатому попу, который нарочито утяжеленным голосом тянул нараспев стихи, в то время как с краев и откуда-то сверху ему вторил хор. Так, сама того не ведая, Маша заявила в разгар службы. Было душно, потно и неудобно. Старухи то и дело крестились, клокотали бронхитом, причмокивали и вздыхали в унисон, выпуская из-под своих траурно-черных платков могильный холод, от которого трепетали огоньки свечей. Молитва же была на церковнославянском, поэтому Маша не особо вникала в слова. Вместо этого, пробираясь меж костлявых старушечьих локтей, любовалась росписью на стенах, пыталась разглядеть из-за кивающих голов иконостас, где рядами шли лики всевозможных святых, гадала, что же скрывается по ту сторону Царских врат. В общем, осваивалась.

И пока она свыкалась с этой чужой и чуждой для себя обстановкой, вокруг что-то переменялось, стихла молитва, а старухи вытягивали шеи. Прочистив горло, поп призвал возвеличить кого-то, заструилась песнь:

Величит душа Моя Господа, и возрадовася дух Мой о Бозе Спасе Моём.

Честнейшую херувим и славнейшую без сравнения серафим, без исленія Бѳга Слѳва рѳждшую, сущую Богородицу, Тя величаем.

И Маша застыла как громом пораженная. Она вдруг поняла, для кого звучит эта песнь, а поняв, впервые примерила на себя новый титул — богоматерь. Не та, конечно, что на иконах — с вытянутым лицом, прямым носом и запавшими миндальными глазами. Совсе не Мария, а просто Маша. И все же Madonna, как сказал бы про нее итальянец, Notre-Dame — воскликнул бы верующий француз.

Мы же, смиренно поклонившись, оознаменуем ее Богородицей Машей.

Да, она облачилась в этот незнакомый титул, покрутилась перед мысленным зеркалом, и, что греха таить, ей это понравилось. До этого она как-то не задумывалась, что, будучи матерью Бога, попутно становится и богородицей. Но теперь, находясь в окружении всех этих икон, слушая, как поп тянет песнь в ее честь, как подвывает хор, как кряхтят-шелестят набожные старухи, Маша вдруг испытала всю полноту важности своей жизни. Ведь, по факту, обычная Маша была никому не нужна и, будем честны, крайне бесполезна для мира. Продавщица в местном продуктовом — вот апогей ее достижений, вся ее ценность для рода человеческого. Правильно выдать сдачу или, если образовалась очередь, открыть вторую кассу, позвать менеджера, чтоб уладил конфликт с недовольным клиентом. Все. С Машей-богородицей дела обстоят иначе — никакая она больше не тень, но та, о ком напишут в черной книге, кому уготовано место на иконах.

Маша с трудом сдержала улыбку, подумав, что однажды попы запоют уже в ее честь, как и ей начнут поклоняться старухи. Ведь ни те, ни другие никогда никуда не денутся, так и будут в этом и всех прочих храмах. Попы и старухи вечны, чего нельзя сказать о богородице — именно мимолетность ее пребывания в нашем мире делает ее чудом.

Маша уже готова была всплакнуть от столь поразившей в самое сердце мысли — она, Маша, тоже является чудом! — как вдруг кто-то дернул ее за рукав. Среди сгорбленных спин и костлявых локтей проступило морщинистое лицо, впалый рот разверзся и из образовавшейся дыры вместе со смрадным дыханием хлынул шепот. Старуха пыталась что-то втолковать Маше, отчитывала, что та не поет со всеми, что приперлася без платка и прочее, а вместе с тем рыскала по Маше хищническим взглядом. Сначала усмотрела выпирающий живот, потом увидала и палец без кольца. Вмиг старуха для себя все решила, и Маша сделалась в ее глазах вместилищем не Бога, а порока, не девой пречистой, но всего-навсего беспутной девкой, заблудившейся по дороге к панели блудницей, осквернившей своим присутствием божий храм.

Конечно же, старуха ничего не знала про Машу, просто та ей не понравилась. Ей вообще не нравилась молодость. А еще старуха считала, что храм, как и все церковное, — это исключительно вотчина старух, вернее, их личное отхожее место, где только они

одни имеют право опрастываться от накопленных за долгие годы грехов.

Так шепот перешел в шелест, шелест же обернулся змеиным шипением. На это стали обращать внимание остальные старухи, их слюнявые языки терлись-шлепались об беззубые десны, в святость храма выплескивались отнюдь не святые слова. Старухи ядовито шипели о диаволе в женских волосах, об ублюдках, принесенных в подоле. Маша могла бы возразить, что диаволу, как и любому мужчине, вряд ли есть дело до ее жиденьких волос, а что касается ублюдков, то в ее случае вопрос этот весьма щекотливый... Старухи напирали, и перепуганная Маша попятилась к выходу. Вытесненная в притвор, едва не оплеванная, она из гордости еще помышляла купить свечечку, настоять на своем и, пробившись сквозь бушующую толпу, запалить огонек под иконою той Марии, что пришла в этот мир первой, задолго до Маши. Но, увидав цены, передумала, решив, что лучше вкрутит дома новую лампочку, которая, по сути, не шибко-то отличается от церковной свечи — точно так же разгоняет тьму светом, этим даром небесным радует душу и вселяет в сердце надежду.

Уже шагая по улице, Маша вспомнила свои давнишние подозрения насчет церкви и лишь сильнее в них утвердилась. Видимо, церковь — и вправду всего-навсего приют, в котором шайка напыщенных безотцовщин сочинила себе некоего заоблачного отца и теперь денно и нощно воют у него под окнами, дабы обратил уже, наконец, на них внимание. А еще, вне всяких сомнений, церковь — это большущий магазин, куда Маше проще устроиться на работу (как ни крути, а опыт продавщицы у нее немалый), нежели убедить прихожан в том, что ей предстоит произвести на свет Бога.

Мысль показалась забавной, Маша улыбнулась, даже хохотнула, и все ее беспокойства как рукой сняло. Рассудив, что впредь сама со всем справится, она помчалась домой — посмеиваясь, едва ли не вприпрыжку. Такова природа смеха — выдворять печали, развеивать тревоги. И, быть может, оттого церковь долгое время смотрела на смеющихся косым взглядом, обнаруживая в них не желанных прилежно кающихся горемык, готовых на все во искупление грехов, но балагуров, ветрогонов, а то и бесноватых. Оттого и грозила им пальцем, восклицая: «Горе вам, смеющиеся ныне, ибо восплачете и возрыдаете!» — либо нравоучительствуя: «Серд-

це мудрых — в доме плача, а сердце глупых — в доме веселья», — и еще по-всякому призывая к порядку. Так порядок, по мнению церкви, есть смиренность ничтожества, а радость мирскую нужно гнать вон.

Не возьмемся судить о правильности такого подхода, лишь заметим, что описанный нами случай был первым и единственным случаем явления Богородицы Маши во храме.

Тем же вечером Бог попросился наружу, у Маши отошли воды.

В родильное отделение местной больницы ее привезли ближе к ночи. Провели в общую палату, где уже лежало несколько девиц на сносях, заставили переодеться и тут же погнали в душ. Там Маше всучили безопасную бритву, велели тщательно выбрить подбрюшье. Бриться было неудобно, с трудом получалось наклоняться. Помогать, разумеется, никто не спешил. Медсестры ходили фуриями, сердито отмахивались, а если что и говорили, то чаще всего грубость. Смотрели они на Машу холодно, и единственным утешением было то, что так они смотрели на всех рожениц.

Маша, конечно, подумывала донести до врачебного персонала свидетелями какого чуда им предстоит стать, но в итоге решила хранить все в тайне. И правильно, ведь во врачах и медсестрах настолько уже выгорело человеческое, что даже сообщив им Маша о грядущем рождении Бога, они бы вряд ли как-то отреагировали. Всему виной издержки врачебной профессии, когда любое событие — неважно, великое ли это чудо или самый неприметный пустячок — сводится лишь к набору необходимых действий. В автоматизме нет места ни удивлению, ни восхищению, ни состраданию, да и среди нескончаемой людской боли душа очень быстро черствеет. Поэтому рассказывать врачам и медсестрам о Боге — затея столь же бестолковая, как глас вопиющего в пустыне.

В общем, Маша смиренно помалкивала, стискивала зубы при схватках и в меру своих сил выполняла все, что от нее требовали. Утешало одно: что первая богородица — та, которая Мария, — также рожала не в самых благоприятных условиях. В какой-то пещере, среди песков. «А ведь в пещере всяко хуже, чем здесь», — мысленно убеждала себя Маша, разглядывая искрошившиеся стены операционной, почерневший от плесени потолок.

Сами роды она не запомнила. Память выжгло агонией — ослепительной яркостью, затопившей все вокруг, подобно смерти тысячи несчастных лампочек, этаких маленьких солнц. В какой-то миг Маше почудилось, что это взаправду смерть — не чья-то там, а ее собственная, все эти годы следовавшая за ней по пятам и вот наконец настигшая.

Так Маша металась в бреду, пока безучастные ко всему врачи отворяли ее нутро и вынимали младенчика, пока перерезали ему пуповину и шлепали по попке, дабы вдохнул уже полной грудью и огласил мир своим плачем.

Дабы вспомнил, какова на вкус боль и как тяжело жить в этом мире.

А Маша закатывала глаза, и свет, струящийся откуда-то сверху, становился все ярче и ярче. Больница была таким же стареньким зданием, как и дом, где жила Маша, и здесь регулярно скакало напряжение. Флуоресцентные лампы грозно рокотали, вызревая белизной, и белизна эта окутывала полубеспамятную Машу, норвила забрать с собой — в самую яркость, в свет предвечный, откуда новорожденный сынишка ее сошел в бранный человеческий мир.

А потом внезапно свет исчез, и явился заляпанный кровью младенец, буквально вышел из белизны и взял грудь матери своей Маши.

Уже наутро с нее спросили имя для ребенка, и тут Маша приуныла.

«Иисус» ей никогда не нравилось. За те тысячелетия, что род людской мусолил это имя, пачкая его своими устами, из «Иисуса» окончательно улетучилась вся красота, оно стало каким-то безликим, рыбьим. Да и ассоциировалось, скорее, с телом на кресте, нежели с тем бородатым красавчиком, какого изображали в бесплатных брошюрках. Ну кому, скажите на милость, захочется называть ребеночка в честь тела на кресте — пусть и самого известного в мире?!

Про различные прочтения непроизносимого иудейского тетраграмматона и вовсе лучше промолчать — всю эту белиберду Маша не понимала и не принимала. Даже концепция триединого Бога для нее была темным лесом, о чем уже наверняка догадался читатель. Выпросив у соседки по палате черную книгу, пролистав ее и наивно совместив Иисуса и Яхве-Иегову в единое «бог» — что,

при ближайшем рассмотрении, не так уж и наивно, — Маша тем самым получила в свое распоряжение еще несколько вариантов. Помаявшись часок-другой, пришла к выводу, что не желает называть сынишку подобным образом. Все в ней бунтовало против навязанных черной книгой имен, хотелось придумать самой, как это делали остальные мамочки. В конце концов, пусть сын и является Богом, имя-то ему дать она имеет полное право! Благо, что и смуглолицый ангел никаких распоряжений на сей счет не оставил.

В общем, думала Маша два дня и в итоге остановилась на имени одного мальчишки из детского дома. Тот мальчишка частенько ее донимал, подглядывал за ней в туалете, неслышно ходил по пяткам и дергал за косички. Его присутствие ощущалось повсеместно. И если в детстве это раздражало, а порой натурально доводило до слез, то с годами Маша сменила гнев на милость, даже начала испытывать благодарность. По сути, тот мальчишка был единственным мужчиной, который рассмотрел в ней женщину.

И именно в его честь новоявленный Бог получил свое имя.
Игорь.

Через неделю их выписали. Маше вручили попискивающий кулечек, откуда на нее изумленно таращился Бог Игорь, и спроводили к выходу. Никто их не встречал, так как в целом мире никого у них, кроме друг друга, и не было. Повздыхав, Маша вызвонила такси и, прижав кулечек покрепче, отправилась восвояси.

У подъезда ее поджидали трое бродяг. Маша натыкалась на них и раньше — оборванных, чумазных, пришедших неведомо откуда и почему-то облюбовавших именно здешнюю лавочку. Она побаивалась их, так как иногда они что-то отпрыгивали ей вслед, нагло посмеивались. Она видела их недобрые взгляды. И в этот раз они смотрели точно так же — недобро, выжидающе, с едкой усмешкой, кроющей их пропитые физиономии. Маша вся напряглась, прижала Бога Игоря к себе. Взгляды бродяг метнулись к кулечку, плотоядно ощупали его, застыли на миг, а потом... что-то в них изменилось, случилась какая-то вспышка, как если бы звезда — яркая, путеводная — сорвалась с неба и шмякнулась на дно выгребной ямы, осветив все ее непотребства. Бродяги стушевались, узрев эту гниль и плесень, всю свою подноготную. Им стало стыдно и неловко. Ища спасения от самих себя, они вновь обратились к младенцу,

встретились с ним глазами и заулыбались. И вся их манера поведения враз переменялась, стена черствости и грязи была сломлена видом смеющегося Бога Игоря. Бродяги заискивающе отодвинулись в тень, и лишь тогда осознание их наступило.

Они поняли, что стали свидетелями чуда.

Они поняли, кого именно видят.

И теперь, казалось, были готовы пасть перед Машей на колени, молить о прощении, о благословении. Но так как времени уже не оставалось — Маша почти вошла в подъезд, — первый из них, не произнеся ни слова, лишь кивнул ей и протянул наполовину пустую бутылку дешевенького вина. За ним оживился второй и с точно таким же кивком отдал Маше распечатанную пачку сигарет. Третий, смутившись на секунду, быстро пошарил по карманам и извлек единственное, что у него, по-видимому, имелось — коробок спичек.

Бродяг звали Колян, Борька и Михалыч, и таковы были их дары.

Здесь стоит сделать отступление, дабы пролить свет на произошедшее. В отличие от Маши нам известно, что в этом мире ничто не происходит просто так, у всего есть какая-то цель, в крайнем случае — значение. Как бы безбожники ни воспевали всеобщую причинность, которую они по-умному зовут детерминизмом, как бы ни кичились своей изощренной наукой, в основе всего был и остается Замысел Творца. Нам не дано разгадать этот Замысел, ибо невозможно смертному постичь мысль Бога, и все что остается — лишь предполагать. Так предположим же, что дары этих дворовых королей не были обычными безделушками, но — без преувеличения — несли в себе смысл. Пусть и иносказательный, но все же.

Итак, предположим, что дешевенькое вино в захватанной бутылке — не просто пойло, но символ жертвенной крови, дар божественному. Прирученный же в коробке спичек огонь равнозначен власти, обретенной человеком над стихией. Это подарок тому самому человеку из плоти и крови. Ну, а никотин — это, вне всяких сомнений, милость, скромное утешение обреченному на смерть.

Вероятно, Маша и сама что-то почуяла — некую подоплеку, скрытое от праздного взгляда значение. В общем, она не стала обижать бродяг и молча приняла их дары.

А поднявшись на свой этаж и отперев входную дверь, протиснулась в узкий коридор и впервые за долгое время застыла перед

зеркалом. В отражении на Машу смотрела румяная запыхавшаяся растрепанная со впалыми щеками и лиловыми подглазниками — та, на кого не взглянет ни один мужчина. Но тут гулькнул Бог Игорь, и все вдруг преобразилось. Маша узрела себя по-иному: богородицей с новорожденным божеством на руках.

С тех пор она перестала сторониться зеркал, напротив, частенько любовалась собой, обнаруживая в отражении не надгробную плиту умершей когда-то женщины — вовсе нет! Теперь она лицезрела в нем икону самой себе.

Как известно, в начале было слово, и слово было у Бога, и первым словом Божьим было:

— Агу!

Всего три буквы, образующие два слога. Но затем последовали другие, более сложные:

— Куля! Вя-ака! Пфы-ы-ыл!

Новорожденный Бог вообще оказался весьма разговорчив, слова сыпались из него, как из рога изобилия. Непонятные, но не бессмысленные. И нет, мы не станем рассуждать здесь о природе логоса, того хуже, разбираться в денотативном и коннотативном значениях — пусть этим занимаются книжники, мудрецы и те, кто себя таковыми считает. Мы лишь заметим, что смысл изреченного всегда очерчен разумом того, кто внимает. В конце концов, мало кто из ныне живущих или живших когда-либо смог бы постичь то первое слово, с которого начался мир. Стало ли оно от этого бессмысленным?

В общем, Бог Игорь был разговорчив. А еще — крайне любознателен. Он с неподдельным интересом пялился на Машу, на лампочку под потолком, на собственный палец. То, до чего мог дотянуться, непременно пробовал на вкус. Окружающий мир был явно небезразличен новорожденному Богу — настолько, что у Маши закрались подозрения: может, Бог и вовсе ничего об этом мире не знает? А вдруг он и вправду ничего не знал! Сидел там себе на облаках и ведать не ведал, что творится внизу, на земле. Это многое бы объяснило, разрешило бы накопленные за тысячелетия вопросы, свело бы всю теодицею к одному простому ответу. Всенепременно, ворчунов бы такой ответ не удовлетворил, снова бы затянули старую эпикурейскую шарманку о парадоксе мира, полного зла

и насилия, при наличии доброго, всемогущего божества. Но что, если Бог попросту малость рассеян? Да, качество исключительно человечесье, так ведь люди — созданные по образу и подобию — во все времена наделяли Бога человеческими чертами, когда это выгодно, и лишали его этих черт, когда невыгодно. Взять хотя бы тот факт, что в черной книге ни сам Бог, ни его воплощение в Иисусе ни разу не смеялись, а Бог Игорь, напротив, увидит какую-нибудь штуковину и тут же заливаётся. А уж если Маша ему рожу скорчит или козу сделает, то и вовсе не угомонить.

Конечно, случалось ему и поплакать, и покапризничать — частенько оно происходило по ночам. Только пеленки намокнут — и нá тебе, как говорится, ор на весь двор. Тогда заспанная Маша устало сползала с кровати, меняла пеленки, наворачивала круги по комнате, баюкая хнычущего Бога. И в такие моменты от Бога в нем было всего ничего — обычный младенец, кроха, жаждущая внимания. А уж когда он обхватывал губами Машин сосок и, причмокивая, засыпал, все то сияющее златом величие, которым так гордится церковь, словно бы меркло, обращаясь в фальшь, в сусальную показуху. Маша укачивала своего ребенка, томно нашептывала ему слова любви, пела песенки и понимала, что с какой бы целью он ни явился в этот бранный мир, в данный момент ему хочется лишь теплоты, ласки и титю.

Старая мудрость гласит, что творец проявляет себя в творении. Стало быть, верно и то, что творение не только отражает наличие творца, но, зачастую, раскрывает и его черты. Поэтому иногда ситуация диаметрально менялась, и Бог Игорь принимался натурально по-скотски изводить Машу. Он кричал, бедокурил и прочими способами лишал ее сна.

«Боже!» — вздыхала Маша, не зная, куда себя деть. А потом вдруг замирала, удивляясь странности и абсурдности этого восклицания. Привычное словоупотребление обретало совершенно иные смысловые оттенки, если речь шла о живом Боге. Возмущалась ли Маша, сотрясая воздух вымученным «Боже!», или же обращалась к своему сыну? Со временем это стало даже своего рода игрой. Выходя утром на прогулку, Маша улыбалась и, поглядывая на младенчика в коляске, торжественно и многозначительно выдавала: «Ну, с Богом!» Успев на отходящий автобус, мурлыкала: «Слава Богу!» Заметив бредущего по тротуару и горляющего пес-

ни забулдыгу, ворчала, кивая на коляску: «Побойся Бога!» — бывало, что забулдыга тут же замолкал, начинал расшаркиваться и просить прощения.

В целом же, к вящему Машиному облегчению, Бог Игорь злым не был — да, он мог покапризничать, любил пошалить. Но в остальном это был улыбчивый и жизнерадостный младенец, который, среди прочего, обожал купаться. В ванне он радостно гулькал, плескался, то и дело пускал попойкой пузыри — так дух божий носился над водой. Маша же, наблюдая за его весельем, размышляла о том, что однажды он начнет по этой самой воде ходить — таково одно из множества чудес, каковыми он удивит мир.

Правда, пока что мир ограничивался медсестрой из роддома, которая навещала их дважды в неделю и явно не планировала чему-то там удивляться. Она следила за самочувствием новорожденного, расспрашивала Машу о всяком, а мимоходом объясняла, как обращаться с ребеночком: как его правильно пеленать, как купать, чем и сколько раз в день кормить, когда подрастет. И хотя на заявления Маши — де, «Бог даст, справлюсь» — медсестра сама всем своим видом дала понять, что ни в каких богов она верить не верит, толку от нее оказалось куда как больше, чем от той же черной книги.

Среди прочего медсестра посоветовала Маше почаще гулять и заодно подружиться с другими мамочками. Мол, это и для Машиной психики полезно, и для психики ребенка, которому также необходимо общение. Маша совету вняла и как-то раз, присев в парке на лавочку, осторожно прислушалась, о чем там щебечут мамочки по соседству. Мамочки щебетали о «пописах и покаках» своих ненаглядных дитятей, и Маша решила, что ей попались какие-то дуры. Дружить с такими не шибко-то хотелось, а других поблизости не было.

Тем не менее, в наивности своей предполагая, что она просто неверно их поняла, дома Маша на всякий случай распеленала Бога Игоря и тщательно осмотрела его подгузник — ничего примечательного не нашла. Покаки Бога ни в чем не отличались от того, что оставляют в подгузниках обычные человеческие младенцы. А вспомнив про черную книгу, Маша, давя смущение, изучила и Божью пипку. С виду пипка как пипка, крайней плоти всего ничего, и, поразмыслив, Маша пришла к выводу, что обрезание Богу Игорю точно не требуется. Оно и к лучшему.

Стоит добавить, что Маша теперь много о чем размышляла. Например, проходя мимо детского сада, она с интересом разглядывала игравших там детей. Дети были самые обыкновенные, всем им предстояло вырасти и стать кем-то: продавцами, бандитами, мужьями и женами. Обычная человеческая судьба. И никому из них не предстояло стать Богом. Мысль эта будоражила память, поднимая со дна забвения вычитанные когда-то слова: «Как нет среди детей равного Сыну моему, так и ни одна среди жен не сравнится с родительницей Его», — и от этого Машино сердце начинало биться чаще, она даже любовалась собой в отражении витрин.

Конечно же, Маша размышляла и о диаволе — извечном противнике Бога. В ее бесхитроном представлении, отметававшем традиционные, взращенные средневековым образом, диавол имел весьма приземленный вид. Как вариант — чернявого жилистого хулигана, который бы непрестанно изводил подрастающего Бога, по-всякому отравлял бы ему жизнь. И звали бы этого хулигана как-нибудь не по-русски, например, Магомет. Сметливый читатель легко углядит тут некое символическое противопоставление христианства исламу, намек на давнюю вражду, но, уверяем, ни о чем таком Маша не думала. Просто она побаивалась представителей восточных народов, поражаясь их наглости и агрессивности. Рабочие часы в магазине лишь упрочили этот страх, личный опыт добавил в него красок.

А вот что касается чудес, то тут все очень неоднозначно. Естественно, Маша никак не торопила Бога Игоря — пускай еще подрастет, окрепнет, прочувствует свою силу, — но чуда ждала. Не такого, конечно, как в черной книге: рано еще ему баловаться с вином, да и наблюдать у себя на пороге толпы страждущих, явившихся поживиться дармовыми хлебами с рыбой, Маше не больно-то хотелось. Но, как уже было сказано, чуда она ждала. Хоть какого-то! Сущую безделицу! Не станем винить ее за это, так как зародившаяся вера ее по-прежнему представляла собой наваристую кашу из ребяческой непредвзятости, яростного желания поверить и скупого рационализма. И если первое со вторым можно объяснить исключительно тем, кем являлся ее ребенок, то вот рационализм имел куда более глубокие корни: весь Машин жизненный опыт. Будучи в здравом уме, ни один человек не способен заразить отбросить все, чем является, и слепо нырнуть туда, куда до этого поглядывал с

недоверием. А вера, как нам известно, требует именно слепоты — авраамического прыжка, которым так восхищался датчанин Кьеркегор. В противном случае это уже не вера, а знание. Увы, мало кто на такое способен, ведь нелегко принять тот факт, что осмеянный и оплеванный бродяга, прибитый к кресту, не избавил себя от мучений вовсе не потому, что не мог, но исключительно во имя свободной, лишенной оков чуда веры. Нет, для большинства из нас чудеса необходимы. Вот и Маша ждала этих самых чудес. Ходила ли она вокруг колыбельки, поглядывая на сына, меняла ли ему пеленки, кормила ли грудью или же напевала песенку — она, так или иначе, ждала чудес.

Бог Игорь с чудесами не спешил, хотя...

Тут смотря что понимать под чудесами. Взять, к примеру, цветок на подоконнике — давно увядший, он однажды взял да расцвел. А вечно ругавшаяся за стенкой парочка ни с того ни с сего помирилась, зажили душа в душу. Ну и как-то раз, гуляя по парку с коляской, Маша нашла три сложенных купюры — сумма, равнозначная ее месячному заработку в магазине. Сгодится такое для чуда? Или же скептически настроенные умы по обыкновению углядят здесь сплошь совпадения?

Впрочем, в ответе последних мы несколько не сомневаемся, поэтому самое главное приберегли на потом. В один из дней, проснувшись поутру, Маша узрела косой солнечный луч, проникший сквозь брешь в занавесках и упавший на колыбельку, откуда ей улыбался Бог Игорь. К тому времени он уже научился довольно сносно стоять на ножках, пусть и не без помощи опоры, и потому, распрямившись во весь свой крохотный рост, с нежностью смотрел на маму, звал ее непонятными словами. А солнечный луч омывал его сверкающим золотом, подчеркивая каждую пушинку у него на голове. И еще — вырисовывал некое подобие нимба. От удивления Маша даже рот раскрыла, на всякий случай протерла глаза — уж не мерещится ли ей это? Нет, это ей не мерещилось, просто она стала свидетелем одного из божьих чудес. И, любуясь этим чудом, Маша не сразу заметила, что вся ее комната тоже окрасилась в золотистые тона, явив будто бы совершенно иное место, нежели привычное пространство из четырех унылых стен, — новое, доселе невиданное место, в котором смеялся новорожденный Бог. Тогда слезы счастья выступили у Маши на гла-

зах, она слезла с кровати и, опустившись на колени, поклонилась своему сыну.

Так последний оплот скупого рационализма был сломлен. Так свершилось самое настоящее чудо, и Маша наконец обрела веру.

Что ж, где-то здесь и начинается Новейший Завет — задача для будущих отцов церкви, а заодно и фундамент для их карьеры, теоретический базис для диссертаций грядущих полчищ богословов, а вместе с тем и причина их обязательных яростных склок. Конечно же, для спекуляций проходимцев — этих вырядившихся в овечьи шкуры волков с острыми зубами и отлично подвешенными языками, — как и для паясничанья безбожников, ни разу не слышавших о пари Паскаля, он также сгодится. Ну а мы — скромные летописцы — приступаем к заключительной части нашего апокрифического рассказа.

Бог Игорь заболел. И болезнь то была отнюдь не простая.

Поначалу, конечно, она никак не проявлялась — затаилась, гадина, терпеливо ждала своего часа. И пока час не пробил, Маша и представить себе не могла, какое будущее уготовано им с сыном. Так шли дни, неделя сменялась за неделей, и Маша начала замечать перемены в своем ребенке. Бог Игорь стал раздражительным, часто плакал — долго, изматываяще. И ни укачивания, ни колыбельные, ни соска с теплой молочной смесью не могли его утихомирить. Он вообще потерял аппетит, исхудал, плохо спал, сделался бледным и очень-очень капризным. Тогда-то Маша и заподозрила неладное. Не то что бы она наплевательски относилась к своим родительским обязанностям, просто, как и всякая живая душа, отчаянно гнала мрачные думы прочь, надеялась на лучшее. Да и, что греха таить, уверовала-таки, что никакая напасть ее сыну нипочем, все ж он не абы кто, а сам Господь Бог!

Но, как оно частенько бывает, реальность показала свои зубы, в пух и прах разметав наивные Машины надежды, растоптав ее веру тяжелым сапогом фактов. Бог Игорь заболел, и то была не какая-нибудь залетная хворь, регулярно цеплявшаяся к незащитным мира сего, а нечто куда более пугающее.

Так, после очередной бессонной ночи, наскоро собрав вещи, Маша подхватила Бога Игоря и помчалась в больницу, где, спу-

стя часы томительных ожиданий, врачебных консилиумов и прочего, ее огорошили страшным известием. Болезнь оказалась весьма редкой и пакостной, обнаруживалась далеко не сразу и практически не поддавалась лечению. Попытаться, разумеется, можно, но стоило это столько, что у Маши глаза на лоб полезли. В общем, заключение врачей ошеломило ее, хлестким ударом медицинского диагноза выбило почву у нее из-под ног, столкнув в черный омут отчаяния. И когда, кое-как собравшись с мыслями, Маша со слезами глянула на врачей и спросила, как же ей теперь быть, те лишь сконфужено пожали плечами, потушили взор.

Правда, уже на выходе из кабинета, одна из врачей догнала Машу, осторожно взяла ее за руку, заглянула в глаза и тихо произнесла: «Крепитесь. И да поможет вам Бог!» И в этом Маша углядела злую насмешку судьбы.

Бога Игоря оставили в больнице, и Маша порывалась остаться вместе с ним — денно и ночью бдеть у его кровати, вымаливая исцеления для родной кровиночки...

Только вот у кого вымаливать? Взывать к Богу, дабы излечил сам себя? Серьезно? Но это ж абсурд!

Так Маша впервые столкнулась с ущербностью своей веры, ощутила собственное незавидное положение, ведь, в отличие от прочих, ежечасно обращающихся к Богу по различным пустякам, надеющихся на то, что он их непременно услышит, Маша не могла воззвать к Богу. Вернее, могла и даже знала, что он ее обязательно услышит — вероятно, даже улыбнется, гулькнет чего-нибудь в ответ, — но вот исполнит ли ее просьбу, воспользуется ли своим могуществом, дабы удовлетворить ее материнские чаяния? И как вообще такое возможно, что она — Маша — просит у Бога, чтоб он исцелил сам себя!

Впрочем, быть может, тем же вопросом задавалась и та первая богоматерь — Мария которая, — распластавшись в пыли пред крестом, на котором мучительно умирал ее сын?

Так пролетели две ночи, а на третью Машу погнали вон из больницы, заявив, что своими стенаниями она все равно никому не поможет. Уж лучше пускай ступает домой, отоспится, приведет себя в порядок и подумает, где раздобыть денег на лечение.

А где ей раздобыть денег? Родственников у нее не имелось, друзей и знакомых также по пальцам сосчитать — да и то, у всех у них ветер свистел в карманах, кое-как сводили концы с концами.

Поразмыслив, Маша решила отправиться в магазин, где исправно трудилась многие годы. Директором там числился толстый напыщенный коротышка — заядлый бабник и бесстыжий гуляка, которого в свое время едва не хватил удар, когда Маша попросилась в декретный отпуск. Нет, против декретного отпуска он ничего не имел — закон есть закон, его надобно соблюдать, — просто, как все прочие мужчины, директор в упор не видел в Маше женщину. Поэтому для него стало настоящим открытием, что кто-то соизволил заделать ей ребенка.

Само собой, ни о чем божественном Маша не заикалась — директор был далек от радостей Царствия Небесного, гораздо рьяней заботился о радостях царства земного. Радости эти сводились к большому джипу, большой зарплате и большим аппетитам до изысканных блюд в ресторанах и вьющихся вокруг юбок. И Маша надеялась, что сердце у директора тоже большое, в беде не бросит, чем сможет — поможет.

Но, выслушав ее рассказ, директор нахмурился, почесал свой большой красный нос, тяжело-тяжело вздохнул, колыхнувшись большим животом, и... начал было что-то бубнить, разводить руками. Маша поняла, что помощи от него ждать бессмысленно. Сочувствует? Да. Желает ли скорейшего выздоровления ее сынишке? Всенепременно! Выручит ли хоть какой-нибудь копеечкой? Увы, увы, времена нынче тяжелые...

Тогда Маша пошла по соседям, но там ей быстро дали от ворот поворот. В банке же, напротив, ничего не дали. А на местном телеканале вовсе покрутили пальцем у виска: деньги на больных деток собирались исключительно по оговоренным спискам, в перерывах между новостями о новых ракетах и танках, на которые государство тратило бешеные суммы.

В результате домой Маша вернулась ни с чем — растоптанная, раздавленная, оглушенная внезапной тишиной своей квартирki, в которой отныне не было слышно ее ребенка. Ее Бога. И чувство накатило такое, словно заживо вывернули наизнанку. В сердце кололо, как если бы в него вонзили острый меч. Может, даже и не один. Больно, очень-очень больно. Да и отражение в зеркале

вновь переменялось: взамен лучезарной богородицы с живым божеством на руках Маша обнаружила осунувшуюся, поблекшую тень с кровоточащим в растерзанной груди куском мяса, в которое были воткнуты семь острых лезвий — три слева, три справа и одно аккурат посередке.

Не в силах вынести этого зрелища, Маша сорвала зеркало со стены и расшибла его вдребезги. Потом разрыдалась. А после вспомнила о подарках, которые когда-то — будто бы давным-давно — вручила ей троица дворовых королей.

Тогда она достала с дальней полки бутылку дешевенького вина, не забыв при этом про сигареты со спичками, разложила все это на столе и молча опустила на стул. Минуту-другую сидела неподвижно, боролась с собой, но... быстро сдалась. Откупорив пробку, сделала несколько жадных глотков.

Поморщилась.

Достав из пачки сигарету, чиркнула спичкой и затянулась.

Закашлялась.

Всхлипнула, выпила еще — и еще, и еще, до тех пор, пока бутылка не опустела.

Снова затянулась, согнулась в три погибели, выкашляв сизый табачный дым...

...и почувствовала, как мало-помалу боль отступает.

Нам неизвестно, как в голове рождается мысль. Как поначалу она таится, скрываясь где-то в закоулках, как наливается силой, постепенно вызревая в нечто большее, нежели праздное размышление, готовясь захватить человека, подчинить его своей воле и обернуться решением. Пускай о том и написана уйма книг, активно и даже агрессивно унижающих мысль до обычного электроимпульса, якобы проскакивающего между нейронами, в целом же природа зарождения мысли в ее философском понимании как была загадкой, так ею и остается.

Здесь не лишним будет напомнить, что пути Господни неисповедимы и зачастую в самые неожиданные места приводят они. На мысли, блуждающие у людей в мозгах, это правило тоже распространяется.

Да, так было в тот раз, когда Маша осознала, что беременна Богом, так стало и теперь. И потому мы не в состоянии внятно отве-

тить, когда и каким именно образом Маша пришла к тому, к чему в итоге пришла. Лишь предположим, что, впервые столкнувшись с подобной мыслью, Маша испытала неопиcуемый ужас — настолько кошмарным, настолько отвратительным было то, что породил ее разум.

Но время журчало дальше, болезнь прогрессировала, и Богу Игорю становилось только хуже. В те ночи, когда Машу не выставляли из больницы, она дежурила у его кровати — смотрела на него, натурально расхристанного, шептала колыбельные, гладила, ласкала, всячески пыталась успокоить, как-то облегчить его муки. Иногда даже тихонько молилась, упрашивала (сына ли? Бога?) смилостивиться, разделить с ней его боль, которая, в голой сути своей, все больше напоминала агонию. Молитвы оставались без ответа, и холодок безверия постепенно обуcтраивался в измученной Машинной душе.

А с другой стороны, зло рассуждала Маша, какой прок от веры, если она не в силах избавить малютку от страданий? Зачем вообще нужна эта дурацкая вера! Тьфу!..

После ярость угасала, Маша утирала слезы, всхлипывала: мать, не способная помочь своему ребенку; верующая, усомнившаяся во всеcильности своего божества...

В такие моменты кошмарная, отвратительная мысль, встретившись, подкрадывалась к Маше и норовила сцапать ее, схватить крепко-накрепко и не отпускать — отчего по коже скакали мурашки. Но мысль была еще крайне слаба, и Маша легко гнала ее прочь.

Так проходили ночи, а днем Маша обивала пороги всевозможных благотворительных фондов, просила помощи, в ответ же получала отговорки. Даже-таки забрела во храм — отнюдь не богородица, просто отчаявшийся человек, — но попы на ее рассказ лишь недоверчиво покачали головами, попеняли ей, что некрещеная, и поухали, аки филины, в свои пышные бороды, мол, мужайся, женщина, ибо все скорбящие однажды утешатся. На этом и спровадили — с Богом, на все четыре стороны. Маша мужалась, как могла, но все чаще, если ее не пускали в больницу, плелась в магазин за вином; дома воспаленными от слез глазами вглядывалась в ночной сумрак, отмахивалась от жужжащих в голове мыслей и выла — так выла, что соседи рассерженно колотили по трубам.

Известно, что вино заглушает страдания, а страдания, по мнению церкви, очищают человека пред взором Божиим. Избегая страданий, злоупотребляя вином, человек становится грязным, противен он Господу. Трудно сказать, стала ли Маша противна своему сынишке, но вот медсестры в больнице все чаще поглядывали на нее с неприкрытой брезгливостью, все больше ворчали, а однажды взяли да вызвали квадратномордую тетку из комиссии по делам несовершеннолетних. Тетка та была в звании капитана, а еще была явно не в духе. Она с порога накинулась на Машу, разнесла ее в пух и прах: и пьет-то Маша не просыхая, и выглядит-то как черт-те что, и дома-то у ней, небось, грязь и тараканы. А может, и шлятся к ней всякие, раз уж живет одна, без мужа. Маша даже и не пыталась защищаться, только смотрела на тетку, слушала ее брань. Лишь однажды вздрогнула — когда тетка заявила, что если Маша тотчас не образумится, то ребеночка у нее заберут. «Изымут, — сказала тетка, — и будет о нем заботиться государство». На этом, посчитав свою миссию исполненной, удалилась.

А Маша сидела у кровати своего ребенка, дрожала, утирала слезы. Она думала над теткиными словами, вспоминала свою жизнь в детском доме. Вот, стало быть, какова забота государства — отнять у матери единственного сына, запереть его в холодных стенах на пару с высокомерными попами и остервенелыми нянечками. И что это, как не избиение младенцев, поругание материнства, учиненное князем мира сего, который, если вслушаться в его имя, действительно владеет этим миром. Государством уж точно владеет.

Так она рассуждала, будучи в полном расстройстве чувств.

Нет, правда, — что учудит та квадратномордая, когда опять припрется? Неужто в самом деле «изымет» Бога Игоря в детский дом? Но разве это не абсурдно — Бог-сирота?! И разве не возопит он однажды: «Мама, мама, на кого ты меня оставила!»?

Зачем миру несчастный, обездоленный Бог? Зачем он вообще сдался миру?! В прошлый раз мир не церемонился с Богом, в этот раз наверняка тоже не станет. Ведь миру не нужен Бог — не-а, совсем не нужен. У мира есть церковь, в которой полно расписных икон, дорогущих свечей и пафосных песнопений, в достатке и всяких мудреных ритуалов. Только для Бога места нету. И если

таковой вдруг объявится, то мир тут же попытается убрать его с глаз долой, спрятать куда подальше — желательно, обратно на небеса. А поскольку чудес мир творить не умеет, то и путь на небеса для Бога один — через могилу...

Так рассуждала Маша, и, возможно, она бы еще много чего на-рассуждала, но тут Бог Игорь проснулся и захныкал — от боли. И Маша заплакала вместе с ним — от безысходности.

Вероятно, именно в этот момент та страшная мысль пожаловала снова. Но теперь уже не стала уходить, а осталась вместе с Машей.

В ту ночь за окном сверкали молнии, и непроглядная тьма окутала город. А в опустевшем больничном коридоре мерцали-потрескивали себе лампочки, изредка поскрипывала на петлях дверь, сладко посапывала дежурная медсестра.

Маша же ходила взад-вперед по палате, баюкала своего ребенка, тихо напевала ему и рыдала. Бог Игорь потускнел, стал легким, как перышко: коварная болезнь высосала из него все соки, забрала весь его свет, взамен оставив лишь боль. И когда он, измученный, все же уснул, Маша уложила его на кроватку, укрыла одеялом и... застыла в изголовье с подушкой в руках.

Нам трудно писать о том, что произошло дальше. Хотелось бы избежать подробностей, по возможности опустить все случившееся. Вместо этого мы бы лучше порассуждали о причинах, побудивших Машу к такому поступку...

Но в праве ли мы рассуждать о том, что движет матерью, собирающейся убить собственное дитя? Как и о том, что движет верующим, покушающимся на свое божество?

Ответ нам слишком хорошо известен. Поэтому, в качестве компромисса, мы лишь приподнимем завесу над тем, что творилось в голове самой Маши — нашей неприметной Богородицы, нашей вопиюще заурядной героини, на чью долю выпало столь тяжкое испытание.

И здесь читатель резонно задастся вопросом: а откуда нам, собственно, знать, что там творилось у Маши в голове? Уж не во все-сильного ли автора решили мы поиграть? Уж не хотим ли взять на себя роль того, кто в курсе всех событий и от чьего пронзающего взора не скрыться?

Это хороший вопрос, и читательские опасения мы вполне разделяем. Но узнали мы все от самой Маши, когда навещали ее в той тесной затхлой клетушке, где бедняжка проведет остаток дней. Там она все нам и рассказала — от начала и до конца, — и свой рассказ охарактеризовала как «евангелие». Судя по всему, Маша не совсем разобралась со значением этого слова — с буквальный его переводом уж точно, — но мы не стали ее поправлять. Напротив, в знак уважения к ее трагедии даже поместили это слово в заглавии.

Итак, Маша прекрасно отдавала себе отчет в том, что делает. Она догадывалась, как люди воспримут ее поступок: верующие назовут ее богоубийцей, неверующие — детоубийцей. Но разве это не просто слова? Также она понимала, что ее проклянут, будут бить-судить и в итоге приговорят.

Но разве это не меркнет в сравнении с той болью, какую испытывал ее сын?

Она помнила, что однажды Бог пришел в мир и умер телом за грехи человечества, и подозревала, что теперь ей предстоит отважиться на еще более отчаянный шаг — умереть душой во искупление... чего? грехов Бога? Этого Маша не знала, так как многие места в черной книге по-прежнему оставались для нее загадкой. Но она очень надеялась, что поступок ее, продиктованный исключительно состраданием — к своему сыну, к своему божеству, — будет истолкован верно — не на земле, так на небе, — как одна из форм мученичества, самая редкая из его форм.

Ведь, возможно, и библейский Иуда вовсе не был злодеем, как его повсеместно рисуют, но тем, на кого Иисус возложил главную миссию — предать Бога, дабы свершилось пророчество?..

А еще Маша думала о том, что если Мария — та, которая первая, — оплакивала своего замученного ребенка, то остальные в большей степени оплакивали друга, учителя. Одним словом — человека. Но хоть кто-нибудь из них оплакивал Бога?..

Много еще о чем думала Маша, стоя у изголовья кровати с подушкой в руках.

А потом она положила подушку на лицо Бога Игоря, навалилась сверху всем телом, и все то время, пока он кряхтел под ней, ждала, ждала — что вот сейчас, буквально через мгновение, мир распа-

дется на части, лопнет, сгорит в огне, бесследно сгинет в адских безднах...

Но когда хрипы стихли, лишь одиноко вспыхнула и тотчас потухла лампочка в коридоре. Ну, а мир — нет, он не исчез в одночасье, не лопнул, будто мыльный пузырь, и не низвергся в адские бездны.

Он все так же продолжал существовать.

Здесь и заканчивается история Богородицы Маши, совершившей столь ужасное деяние для мира с точки зрения самого мира, а вместе с тем и отважившейся на столь неслыханную милость для обреченного на страдания Бога...

Или только своего сына?

Все-таки, признаем, нам неизвестно доподлинно, был ли ее ребенок Богом или же Маша все выдумала. Но, с другой стороны, разве для матери ее дитя изначально не является божеством — без религиозных предрассудков, без всевозможных фантастических домыслов, исключительно как есть? И разве во имя такого вот божества мать не отдаст себя на заклятие — даже если заклятие грозит растянуться на всю жизнь?

Ведь много кто готов принести себя в жертву, бросившись в объятия смерти. Умирать во имя идеи вообще легко. Куда сложнее жить, неся на себе бремя собственного поступка — крест этот исключительно для избранных.

Избранность же эта подобна незаживающей ране в душе, а рана размером с Бога. И с этим нашей Маше предстоит жить дальше.

Быть может, не ей одной.

В конце концов, кто знает, сколько уже было таких Маш?

А сколько их еще будет?..

№ 6, 2022 г.

В л а д и м и р Т о к м а к о в

ТАНЕЦ МАЛЕНЬКИХ КОРОЛЕЙ

Если кто-то шагает не в ногу, не значит ли это, что ему слышится бой другого барабана? Так не будем мешать ему маршировать под ту музыку, что ему слышится.

Генри Дэвид Торо. "Уолден, или Жизнь в лесу"

Это была мать Герстекера. Она подала К. дрожащую руку и усадила его рядом с собой; говорила она с трудом, и понимать ее было трудно, но то, что она говорила... (На этом рукопись обрывается.)

Франц Кафка. «Замок»

У меня на левом плече татуировка — в розовом сердечке выбито имя «Марта». Я не помню, откуда она взялась, и моя подруга Катя постоянно меня подкалывает:

— Может, «Поздравляю с 8 марта»? И что тебя остановило?

На самом деле ей, конечно, не нравится имя какой-то бабы на моем плече. Это сейчас она шутит, говорит, забей чем-нибудь сверху или срежь лазером. Но скоро наверняка начнет обижаться по-настоящему. И я сделаю так, как она скажет. Но пока пусть будет. А вдруг я что-нибудь вспомню?

— Чем дольше мешаешь, тем чай вкуснее? — спрашиваю за завтраком.

— В смысле? — настораживается Катя.

Думает, у меня едет крыша.

Хорошо, ладно.

Побуду таким, как все.

* * *

После того случая в трамвае память моя восстановилась практически полностью. Это был Новый год, я отмечал его с друзья-

ми. Понятно, крепко выпили. Клубы, праздничный фейерверк, вечеринка на незнакомой хате. Помню, был искренне счастлив. Радовался, что многое в году получилось, строил планы на следующий. В огромной квартире какого-то коммерса были девушки. Молодые, разгоряченные праздником. Многим нравился я, многие нравились мне. Можно было и остаться, но я-то знаю, каково это — просыпаться первого января в чужой квартире. Нет, лучше не травмировать психику.

Я выбрался в третьем часу ночи. Вывалился из подъезда на морозный воздух и увидел трамвай. Он ходил бесплатно всю новогоднюю ночь. И я решил, что поеду на трамвае. Ну и где-то по дороге меня сильно избили.

— И вы ничего не помните? — удивляется молодой следователь.

— Хотя бы где это произошло? — врач.

Реально ничего. Раз, два, три, четыре, пять, я иду себя искать.

На дне бутылки столько утопленников.

В общем, очнулся в больнице. Был, как говорится, между жизнью и смертью. Даже как зовут не помнил. Не узнавал ни родителей, ни знакомых. Тупо глядел на свой паспорт. Кто это? Но постепенно, уже выписавшись, начал вспоминать. Надеюсь, это была моя жизнь. Но провалы все равно остались. Например, вот эта та-туировка. Что за «Марта»? Не знаю. Но вдруг это важно для меня? Или для других?

* * *

Вот что было дальше.

Я проснулся от женского вопля.

Кричала моя бедная Катя. Произошло ужасное, я душил ее. Возвращающимся сознанием я увидел ее перепуганное лицо, вытаращенные глаза, раскрытый рот, беззвучный крик. Мои пальцы на ее шее. Потом появился звук, и я отпустил ее. Пять утра, зимнее темное утро. В таком отвратительном утреннем свете, между сном и явью, как в кислоте, растворяются мозги и покрепче моих. Но разве это оправдание?

— Ты конченный придурок. — Она была так напугана, что даже не плакала, только трогала шею. — Одевайся и вали!.. — крикнула

через минуту, придя в себя. — И не приходи, пока не вылечишь голову!

Я молчал, растерянно смотрел на свои большие сильные руки, будто они были и не мои вовсе. Мне было страшно не меньше. «Повесившийся долго шел на дно, — крутилось в голове, — и, оттолкнувшись, выплыл на поверхность...»

Квартира ее, и, в общем, она права.

Я взял зубную щетку и съехал к другу.

Вы спросите, было ли что-то подобное со мной раньше? Нет. Я не псих. И я помню сон, приснившийся той ночью. Меня пытался убить человек в куртке с капюшоном. Он был в маске. Значит, надо все вспомнить, пока не натворил бед. Я не дебил, как считают некоторые. Просто обстоятельно все обдумываю, прежде чем ответить. Или, подумав, не отвечаю вовсе. Потому что для меня, в отличие от некоторых, важно, что думать и говорить.

* * *

Утренний зимний город тонул в серо-желтом тумане. Ночью приморозило, и деревья в густом инее стали похожи на кораллы. Мы — затонувшая цивилизация. Начало вполне библейской истории.

У меня небольшая комнатенка, кровать, стул и тумбочка, вместо прихожей — крохотная кухня с электроплитой и столиком. Жилье служебное, бывшая советская общага, приватизированная и переделанная в малосемейку. Работаю вахтером. Да-да, не романтично. Но в другом качестве мегаполису-государству я, увы, не нужен.

«А что в тебе, Максимушка, такого особенного? — спрашивает невидимый оппонент. — Все, кому не лень, считают себя недооцененными талантами. А по факту — пшик».

Знаю-знаю. Но оставьте мне хоть мечту, если уж забрали все остальное.

Смотрю в окно, пью кофе. Там, в глубине холодного стекла, кто-то тоже держит чашку. Но мне всегда кажется, что он более настоящий, чем я. Если долго так смотреть, отражение едва заметно

ухмыляется в ответ. Нагло, высокомерно. Словно все про меня знает.

Вот, например, во всех нас с детства живет жажда подвига. Бежать с оружием наперевес и криком «Ура!» — навстречу героической смерти и посмертной славе. В генах сидит это дерьмо. Конечно, нестись в атаку проще, чем подготовить вовремя годовой отчет... Но был бы у меня выбор, я бы тоже променял свою унылую стабильность, серую однообразную — обычную — жизнь на эйфорию знаменосца, скачущего впереди всех — в опасную неизвестность.

«А кто тебе не дает жить? — опять язвит тот, невидимый. — Смотри, сколько возможностей! И в нашей стране молодые люди живут весело и увлекательно, и с пользой для себя и общества. Потому что они умеют работать в команде, оценивают себя и окружающий мир — ре-а-лис-тич-но».

«Может, это просто ты — скучный, серый и неинтересный?»

Может, и так. Меня вообще часто путают с другими. Останавливают на улице и говорят: «Привет» или «Здравствуйте». А чуть позже: «Ой, извините, просто вы очень похожи на...»

Раньше я радовался, думал, похож на известного актера или телеведущего. Потом только догадался: путают, потому что я похож на всех. А сам начисто лишен какой-либо индивидуальности.

Часто просыпаюсь рано. Люблю тихое, спокойное время перед работой. Можно побыть самим собой — и с самим собой. В этой тишине мир словно залит жидким стеклом — ни одного прохожего. Но всего через десять минут мир прорвет, и он зашумит жильцами на кухнях и в ваннах, хлопающими дверями квартир, гулом лифта. Невыспавшиеся, раздраженные жители города выплеснутся на улицы. Это их мечтами и мыслями питается мой город.

Твоя жизнь — это то, что можно унести под мышкой, все остальное — лишнее, говорит отец. Я с ним не согласен. Мне нужно много, очень много. Деньги, машины, женщины с обложек журналов. Кругосветные путешествия, пентхаусы, шмотки — все, что отличает мое поколение от поколения родителей.

Да, это моя родная провинциальная техническая интеллигенция. Папа — вечный инженер на химкомбинате, мама там же тех-

нолог. Так жизнь и прожили. Городские, но с крепкой крестьянской моралью. Не колхозной, а крестьянской. Простые, честные. Я не похож на них.

Помню, в девяностые у нас дома вся еда была из капусты и картошки: жареная, пареная, квашеная; пельмени с капустой, вареники с картошкой, тушеная капуста с картошкой и так далее. Ничего, выжили. По праздникам собирались гости. Пели про «заводскую проходную, что в люди вывела меня». Женщины налегали на любовную тематику: «Каким ты был, таким ты и остался...» Пели не голосом, а сердцем:

*Огней так много золотых
На улицах Саратова,
Парней так много холостых,
А я люблю женатого.*

Некоторых пробивало на слезу. Святые люди!

Химкомбинат — по безумным советским традициям — построили на берегу степного озера. Градообразующее предприятие чудом не закрылось в девяностые. Родители считают это главной жизненной удачей.

— Тогда город перестал бы существовать! — бледнея, горячится отец.

— Так это же хорошо! — поддразниваю я. — У людей появился бы шанс на новую жизнь.

Что еще было у них в жизни? Папа вспоминает службу на Курилах, а мама поездку в 1985-м по турпутевке в Болгарию (ну, и наше с сестрой появление на свет). Мама привезла из Болгарии гэдэровский джинсовый костюм и набор польских дезодорантов — мне завидовали все друзья.

Так чем же закончилась война поколений?

Нас всех победило будущее.

Оно, как всегда, переиграло и отцов, и детей. Потому что будущее всегда выглядит не так, как мы его себе представляли. Оно выглядит как свершившееся — ненавистное — настоящее.

После школы я уехал в соседний город, поступил в институт культуры. Говорили — талант, даже предлагали остаться в област-

ном молодежном театре. Но я считал, не мой масштаб. Пару лет без толку проболтался в своей унылой провинции и в 2013-м, за год до «крымской весны», приехал в большой — самый большой (так я считал) мегаполис мира.

О, эти дурацкие мечты о карьере киноактера! Мне нравились героические роли рыцарей в горящих золотом доспехах. Но с работой в кино или в театре не получилось. Деньги скоро кончились, и тут стало не до шуток.

Родители присылали все, что зарабатывали. Но откуда им знать, что этих денег не хватало даже на квартиру? И я в конце концов нашел работу лифтера. В длинном, как китайская стена, многоэтажном доме, серой бетонной тоской уходящем в мутно-туманное, грязное мокрое небо.

Бригадирша, полная тетка со слоновьими ногами и свистящей одышкой, сказала, что мне повезло. На такую работу в городе не так-то просто устроиться — нужен блат или особое расположение, сказала она. У нее были деньги на сигареты, но она любила папиросы — курила жадно, взятяг, а потом долго кашляла и сопела, сплевывала. Она выбила мне комнату в бывшем советском общежитии, приватизированном и перестроенном. Только тогда я догадался. Эта тертая жизнью женщина с собранными в пучок волосами и тяжелым, остановившимся взглядом маленьких, как гвоздики, глаз, имела на меня виды. У нее была биография. Она служила на женской зоне. Имела награды. Как положено, вышла на пенсию. Нрава была крутого. Несколько лет назад ее муж (тоже, говорят, не робкого десятка) сбежал в деревню — не сказав, в какую. Уже на первом дежурстве мы занялись любовью в подсобке.

— Теперь ты, Максик, понял, почему я тебя выбрала?

Мы работали сутки через трое. Такой график меня устраивал, оставалось время для занятий в актерской студии. Вроде ничего сложного: «Все, что делает лифтер, связано с обеспечением бесперебойной работы лифта. Он отвечает за качество работы всей грузоподъемной системы. Если в лифте застряли люди, то, согласно инструкции, лифтер обязан связаться с компанией, курирующей подобные происшествия для проведения эвакуации, и т.д.» В общем, кнопка «Вызов» — это я. Можно сказать, работаю по вызову.

Бригадирша приходила в мое дежурство, и я ее обслуживал. Постепенно привык, обычная рутина, типа общественная нагрузка на работе. Физиология. Зато я никогда не дежурил в выходные — это тоже было ее особым расположением.

* * *

Ночные часы тянутся медленно. В доме везде установлено видеонаблюдение. По совместительству мы еще и консьержи.

Полусонный сизжу перед маленькими черно-белыми мониторами и вполглаза оцениваю, что происходит.

А насмотрелся много чего. Вот из клуба вернулся гуляка из здешней «золотой молодежи». У него есть квартира, но он занялся сексом с подругой в одном из коридорных отсеков — так интереснее, какое-никакое, а приключение. Вот на площадке тошнит упившихся пивом, обкурившихся подростков. Утром их блевотину замочет уборщица, тихая и незаметная приезжая из Таджикистана.

Бывает, в дом просачивается бомж или наркоман. И вот это уже проблема. Моя проблема.

Бомж может присесть где-нибудь в уголке и навалить кучу. Наркоша попробует ширнуться. Если сейчас же не разобраться, утром жильцы, зажимая носы, будут обходить обмочившегося бомжа или обдолбанного нарика. А меня выпрут с работы.

Поэтому я должен все разруливать.

Однажды поздно ночью в лифте застрял знаменитый режиссер. Тот, что снял «Место встречи изменить нельзя» с Глебом Жегловым и Володей Шараповым. Он не жил в этом доме, пришел в гости. Причем в кабине с ним оказалась юная девица. Я так и не понял, были они парой или случайными попутчиками. «А теперь Горбатый, — шутил режиссер через дверь, когда мы пришли их вырывать, — Горрррбатый, я сказал!..»

* * *

Дворцы восемнадцатого века и небоскребы, модерн и сталинский ампир. Терема в псевдорусском стиле и конструктивистские

застройки двадцатых годов, готические замки и советские панельки. Купеческие особняки и хрущевки, доходные дома и заводские корпуса. Церкви в стиле барокко, католические соборы, мусульманские мечети, древние еврейские синагоги с лабиринтами бесконечно разветвляющихся под старыми кварталами подвалов. Все перемешалось в этом мегаполисе.

Иногда мне кажется, этот город в реальности не существует. Его уже давно нет. И нас тоже. Мы все — словно свет погасших звезд. Нас нет, а свет еще идет.

Я не бросил заниматься на актерских курсах. Платно, разумеется, и больше для себя. Пусть это не полет, но хотя бы мечта о полете. То, без чего выжить еще труднее. Наш руководитель, заслуженный артист Виль Липатович Комаровский недавно отметил семидесятипятилетний юбилей. Он был поклонником не только системы Михаила Чехова, но и крепленых вин.

— По Станиславскому, — начинал он, прихлебывая маленькими глотками из большой кружки, — актер должен создавать образ маленькими этапами.

Нет, он не гордился своим бытовым алкоголизмом. Не афишировал его, не бравировал, как многие представители богемы. Вино в кружке он, словно кофе, помешивал маленькой ложечкой. Старая школа!..

— Только так, считал он, рождается образ! — Звенела ложка в кружке. — Воображение — главное свойство драматического артиста!

Тут Виль Липатович делал еще один глоток и произносил на подъеме:

— Но я считаю — движение! Именно движение определяет образ и нужное чувство! Задайте себе вопрос: верю я тому, что изображает актер? И сразу станет ясно, хорошо он играет или нет. А достоверность достигается правильным внутренним существованием актера, умением проживать то, что происходит с его персонажем, одновременно видеть себя со стороны и управлять своей игрой...

Он не забывал на каждом занятии напоминать, что через «систему Чехова» прошли многие голливудские «звезды»: Мэрилин Монро, Клинт Иствуд, Энтони Куинн.

— Если вы мечтаете о карьере киноактера, вы попали куда надо, — заканчивал он свою стариковскую трескотню. — Чехов показал, что можно творить и так. Вернее, только так и можно что-либо создать на сцене.

Но, как я вскоре понял, «попасть куда надо» в большом городе — значит, оказаться в глубокой заднице. Если уж говорить начистоту, Виль Липатович — просто тихий алкоголик, давно не имеющий никакого отношения ни к театру, ни к кино. Вершиной его карьеры стала эпизодическая роль разбойника в фильме «Белое солнце пустыни». Так как фильм считался «культовым», значит, и все, кто в нем играл, — тоже. Виль Липатович верил в это. Вернее, только в это он и верил.

Мы учили отрывки, монологи, разыгрывали сцены. Иногда просто смотрели записи популярных спектаклей и обсуждали их.

На курсах я познакомился с Янеком Браткевичем. Он тоже грезил об актерстве, но был гораздо практичнее всех нас. Янек убедил меня бросить лифтерную и устроиться подсобным рабочим в театр.

— С этого начинали многие великие артисты, — внушал он после занятий, — это максимальное приближение к мечте. Останешься лифтером — сгниешь. Нужно двигаться...

— Куда? Вперед, назад? — злился я.

— Внутрь!

Он был родом из Иркутска. Его прадед — из поляков, сосланных в Сибирь за участие в каком-то восстании.

— Ты как сюда приехал — наугад или по приглашению?

— Наугад по приглашению, — хмуро отмахнулся я, — уехал, потому что почувствовал, там останусь — погиб.

— Но почему? — допытывался он.

— Есть такое выражение: не в своей тарелке...

— А здесь ты в своей?

— Мне нравится большой город. Масштабы. Старюсь просто жить, — придумываю на ходу, — но это непросто...

Янек пожимает плечами и с брезгливой миной отворачивается — я для него безнадежный провинциал.

— Приезжают из деревни, думают, поняли этот город... Город, может и понял их, а вот они город — никогда.

Приехав в большой город, первое, что я сделал — купил дорогой костюм, рубашку, галстук, туфли. Постригся, привел в порядок ногти и лицо. Хотел стать звездой отечественного кино. Ну, может не сразу, но через пару лет максимум. Больше ждать я не намеревался. Но прошло пять лет, и теперь мои дорогие вещи, аккуратно упакованные, лежат в общаге для лифтеров.

Боюсь, они мне больше не понадобятся.

Осталась ли в моей жизни мечта? Сверхзадача?

Теперь это устаревшее слово. Ну, не считать же сверхзадачей мечту о повышении по службе, своем доме, новой машине, туристических поездках?

Кончилась эпоха великанов, наступило время карликов, обычных людей. Без свойств и сверхзадач. Задача подольше прожить в этом лучшем из миров, где за деньги можно купить столько всего. Зарабатывать и потреблять, потреблять и зарабатывать...

Янек неплохой парень. Но эта его манерность портит все. Любит красивые жесты, патетические заявления, часто выглядит фальшиво, а попросту смешно.

— Россия мне напоминает человека, который идет вперед, но голова его повернута назад, — неожиданно заявляет он.

— Россия или президент?

— А разве это не одно и то же?

Как-то мы гуляли по центру. Я спросил, не стыдно ли ему врать о трудностях бабушке, живущей в Польше, чтобы та присылала ему свою пенсию? Он остановился, нахмурился, затем ткнул пальцем в небо:

— Вот моя совесть, ясно?

Я только пожал плечами.

— Никогда не испытываю сомнений или угрызений совести, это не модно, — перескакивает Янек на другую тему, рассматривая яркие афиши, — сегодня нужно любить себя и свое тело. А работать, чтобы есть, и есть, чтобы работать, — это для плебса.

И сделав театральную паузу, заканчивает:

— Мой бутерброд всегда падает маслом вверх.

Наш педагог по актерскому мастерству пророчил Янеку профессиональное будущее. Я только разводил руками: как там у Хармса?

Настя любила Сергея, а Сергей любил борщ, а борщ любил кипеть и чтобы его называли красным.

Янек манерный, да, но точно не глупый. Общаться с ним интересно.

— Наша беда, Макс, в оседлом образе жизни.

Мы идем по ночной набережной. Дует сырой ветер, гонит по черному небу белые облака, и в городе светло, как днем. Пьем кофе в больших бумажных стаканах.

— Столетиями живем на одном месте, — прихлебывает он. — Не видя мир, не зная его, не понимая и не любя. Мы верим телевизору, перемены нас пугают, мы боимся, что наш вековой уклад разрушат. Но мы с тобой не такие, раз вырвались из провинциального болота, верно?

Я помалкиваю. Пью остывший кофе и гляжу на темную воду. Я и сам думал об этом. Закроешь глаза и видишь школьную карту; на огромном пространстве разбросаны городки и селения. В них живут люди, мало что знающие об окружающем мире. Как там говорил мой отец? Здесь мало смены власти, здесь нужна смена идеологии.

Мы у станции метро. Время прощаться.

— Часы на моей башне пробили тринадцать раз. — Янек глядит на циферблат своих часов.

— А что за башня-то? — усмехаюсь.

— Из слоновой кости.

* * *

С работой у меня вечно получается поменять шило на мыло. Вернее, шило — на еще более тупое и ржавое, а мыло — на еще более дешевое.

Янек не знал и половины того, что мне приходилось терпеть каждую неделю, когда в лифтерную приходила моя начальница.

Она мне даже снилась.

— Не дай бог у тебя сегодня не встанет, мой мальчик! — грозно говорила она в моем сне.

И я просыпался мокрым от пота на казенных простынях.

Но теперь я терял не только работу, но и служебное жильё.

Однако Янек предложил пожить у него и разделить квартплату.

Квартиру он снимал у милых сестер-старушек. Сталинка, давно без ремонта: выцветшие, в пятнах плесени, обои, скрипучий раскохшийся пол, деревянные оконные рамы, в щелях сквозняка. Теневая сторона, вечный полумрак заросшего деревьями двора. Холод, сырость. Но для мегаполиса недорого.

Старушки оказались подругами детства «польской» бабушки Янека. Сейчас жили в Питере, в молодости работали в театре Образцова, изготавливали кукол для спектаклей. Этими куклами с добрыми и злыми лицами и была уставлена квартира — с бесконечно длинными коридорами и переходами из одной комнаты в другую. По ночам было страшно наткнуться на такую марионетку. Некоторые были и вообще в человеческий рост.

Работа в театре несложная — помогаем собирать декорации, принеси-унеси. Вряд ли так мы приближаемся к мечте. Актер может стать рабочим сцены, а вот рабочий сцены актером — никогда.

— Твои проблемы в этом городе никому не интересны, ты здесь никому не нужен. — Сегодня Янек не в духе, на метро возвращаемся с работы. — Все воюют против всех, бьются за место под солнцем, сорняки проклятые... Интригуют, подставляют, предают. Цени, кто рядом с тобой, для кого ты небезразличен. — И он смотрит так, будто только что спас мне жизнь.

* * *

Этот-то Янек и предложил мне подработать.

Сначала я был в шоке, но виду не подал.

— Только не для геев, — предупредил на всякий случай.

— В фильмах для геев гонорар выше, — равнодушно заметил Янек.

Это была порноиндустрия. Фильмы бессюжетные, герои встречаются на улице, идут в гостиницу или общагу, на стройку, в заброшенный парк — и начинается секс. А то и еще проще: герой уже в гостях и сразу секс.

— Мы снимаем видео для обычных дрочеров, — сказал режиссер Бося Камский. — Им не нужен сюжет, а быстро кончить.

Черненький, кругленький, вертлявый Бося — и режиссер, и продюсер, и оператор, и осветитель с монтажером. Он же занимался продажей порнороликов и пиаром своей студии «Раша Секс Пистолз». Студию он создал в девяносто первом (одна из первых в стране, как написано в Википедии). Сейчас Босе почти шестьдесят, и больше всего на свете он ненавидит члены и вагины.

— Только чтобы моего лица не было видно, — ставлю я условие Босе.

— Молодой человек, — устало кривится наш режиссер-оператор, — ваше лицо в этом бизнесе никого не интересует. Наши потребители — натуралы сугубо мужского пола.

Да и фигура (что греха таить) для порно у меня была так себе. Узкоплечий, длинный, с животиком. Не Аполлон, не мачо. Бороду на современный манер я отчаялся отрастить. Вечный юноша. Которого жизнь потрепала, но так ничему и не научила.

Сначала из-за треволнений у меня не стоял. А потом я не мог удержаться и кончал посреди сцены. Чем развеселил партнершу, тамбовскую деваху, выпускницу тамошнего пединститута, факультет дошкольного воспитания.

— Как ты здесь оказалась? — спросил потом я. — Ты же должна работать в детсаде?

— Вот я и работаю, — ржет она.

Маленький кривоногий Бося злился, потел, хватался за лысую голову и писклявым голосом кричал, что аренда номера в гостинице стоит денег. Все нужно снимать быстро, *архибыстро*. А из-за меня процесс затягивался.

Бося, глядя на меня, кривился, как от зубной боли. Поразмыслив над обстоятельствами, он предложил сначала снять финальную сцену. Потом перекур пятнадцать минут, и с новыми силами в начало.

— И тогда второй раз будет долгим, как подъем инвалида на Эверест... — мрачно шутит он. — И так же никогда не закончится, вернее, закончится ничем...

Не знаю, снимался ли Янек в таких фильмах — он со мной не откровенничал.

— Я уже прошел стадию обычных съемок, — пренебрежительно бросил он как-то.

Что это значило? Что он снимался теперь в *необычных*?

А может, он и правда только находил и приводил на площадку таких придурков, как я. Но гонорары были так себе. Думаю, все заработанное Бося попросту прикарманивал, выдавая нам копейки. И мне это надоело.

К тому же случилось еще кое-что.

Я человек аполитичный, в отличие от Янека. Считаю, что перемены приходят не когда их готовят, а когда в магазинах исчезают хлеб, соль, спички. Он же не пропустил ни одного оппозиционного митинга за последние годы. А после участия в митинге поддержки главного оппозиционера России Янека поперли с работы. Замдиректора театра по хозяйству вызвал его к себе в кабинет и предложил либо по собственному желанию, либо по статье.

— По какой это статье? — дерзко спросил Янек. — Которая в «Российской газете»?

— Не волнуйся, — мстительно, с улыбочкой ответил ему замдиректора, — был бы человек, а статья всегда найдется.

И Янек не стал упираться. Дисциплина у него на работе была так себе, и они бы легко нашли, за что его уволить.

Времена менялись. Оттепель в России всегда заканчивается заморозками, говорит мой отец.

Совершенно неожиданно (прежде всего, для меня) Янек собрал рюкзак, довольно быстро получил визу и приглашение и свалил в Польшу, к своей бабушке. Как он сказал, пока Россия *«не вспрянет ото сна»* («вспрянет»? — господи-помилуй, что это за слово). А уже через неделю он закидал меня в соцсетях фотками из Германии, Франции, Италии. Стоит ли говорить, что в европейское турне он отправился вместе с бабушкой — и на ее деньги.

В отличие от него, у меня нет бабушки в Польше. И теперь в срочном порядке я принялся искать жилье — одному мне квартиру не потянуть. И вот удача! Достаточно скоро подвернулся, как я думал, очень неплохой вариант.

* * *

Зима стояла бесснежная. Мутная и убийственная, как паленая водка.

То и дело моросил мелкий дождь. Надолго повисала невидимая, но противная водяная пыль. И тогда казалось, что город сначала завернули в мокрые, серые, больничные простыни, а потом, скомкав, ищут, куда их выбросить, — и не могут найти.

Серое небо, серый город, серые люди. И каждый день — пронзительный, сырой, холодный ветер, мгновенно прохватывающий насквозь, налетающий разом, будто из щели в преисподнюю.

Там, где я родился, зимы совсем другие. Да и лето тоже. Зима минус сорок, лето — плюс сорок. Лето так лето, зима так зима.

— Снега наваливает до второго этажа, — рассказывал я здешним знакомым, — идешь домой по траншее. Метель завьюжит — на улице потеряться можно. Стоишь, как в стакане молока, и не знаешь — куда теперь? Или идешь солнечным морозным утром, а снег хрустит под ногами, как будто кто капустой закусывает... А тут жижа грязная солью чавкает.

— Что ж ты там не остался? — ехидно прищурившись, спрашивают они.

Вот именно, почему? Денег, славы захотелось? Мир посмотреть? Ощутить себя свободным? Думал, это все есть только в большом городе. Попытиться кем-то стать, кроме как провинциальным жителем? В молодости это важно. В молодости это простительно. Чтобы потом не было мучительно больно за неиспользованный шанс.

Я уехал, потому что люди и провинция не меняются. Никогда. А я хотел перемен.

Так я должен был ответить. Но промолчал. Может, потому что потерял веру и в это?

* * *

Мокрый снег залепляет окна домов и авто. Лепит прижизненные маски с лиц прохожих. Тает, течет за воротник.

Мы договорились с риелторшей, что я сам приеду по нужному адресу.

Покуривая, она ждала меня возле подъезда. Крашенные волосы, минимум косметики. Простая, крепко сбитая, на такую вряд ли взглянет олигарх, все нужно зарабатывать самой. Своей смекалкой, наглостью, хитростью. Воронеж или Тверь, думал я, Калуга или Смоленск. Сто процентов в прошлом такая же лимита, как я. По телефону назвалась Мариной. Здравствуй, сестра, здравствуй, Россия.

Голос с хрипотцой. Говорит быстро, уверенно, взгляд с прищуром. Просканировала сверху вниз — и сразу оценила, кто ты: коттедж или хрущоба. Другие в эту профессию не идут. Какой, например, продажник из меня? Всегда буду в прогаре.

Квартира сдавалась за копейки. В районе метро «Демидовская», десять минут пешком. Не центр, но и не окраина.

Конечно, ее дешевизна меня насторожила, но я все равно обрадовался. Однако, ненадолго.

— Соседи позвонили родственникам, уже запах пошел, — рассказывает Марина как ни в чем не бывало, когда поднимались по лестнице. — Старуха ни с кем не общалась, а в последние годы свихнулась окончательно. На всем сэкономила — отрезала телефон и электричество. — Марина открывает квартиру, заходит первая: — Пролежала дней пять, а может, неделю. В общем, запах еще не выветрился.

Какое там — не выветрился! В квартире стояла такая вонь, запах впитался даже в стены.

— Жила с кошками. — Марина закуривает, чтобы перебить запах. — С соседями в контрах. На улицу не выходила. Поэтому никто и не хватился.

— Отомстила старушка. — Я закрываю нос салфеткой.

— Подгадила на славу, — хмыкает, затягиваясь, Марина. — Свалилась в комнате, лицо и руки кошки объели. Сквозь паркет протекло... В общем, кошмар... Денег на ремонт нет, хозяева пытались продать, но люди, как узнают...

— А кошки? — зачем-то спросил я.

— Что кошки?

— Куда кошек дели?

— Какая разница? — Смотрит, как на придурка. — Наверное, в приют.

Я молчу. Неприятная история. И, кстати, эти кошки, попробовав человечины, теперь наверняка стали людоедами.

— Ну так что, селишься?

И глянув на меня с прищуром, на секунду задумавшись, как бы оценивая, вдруг неожиданно предлагает:

— А может, купишь?

— Что?

— В рассрочку!

Она снова закурила.

— Смотри, треть отдашь сразу, а я помогу с кредитом. В итоге квартплата будет как бы ежемесячным взносом. Для тебя — это супер.

В жилье я нуждался. Денег на приличную съемную квартиру все равно нет. Если поможет с кредитом, что-то попрошу у родителей, они продали каменный гараж и бабушкину дачу. Но как совладать с этой вонью?

— К запаху привыкнешь, — как будто угадала мои мысли. — Двушка сама в руки идет, такой шанс на миллион, — продолжала расхваливать. — Желающие найдутся. Времена сейчас... Это я тебе как родному предлагаю.

Кухня, гостиная, спальня. Комнаты большие, изолированные, и потолки высокие. Старый фонд. Высокие потолки — это важно. На мозг не давит. Для меня — невероятные хоромы. Заманчивое предложение, очень заманчивое.

— Тихий район, дружелюбные соседи... Этот дом был когда-то — ого-го! Здесь жила советская элита, — держа на отлете сигарету, продолжает Марина. — Таких в городе всего несколько. Это тебе не «хрущевки» или «брежневки». Там сам знаешь, не квартиры, а срань господня!

Под ногами хрустят осколки стекла. Кругом мусор, обрывки бумаги и обоев, доски с ржавыми гвоздями. Хозяева разломали мебель, выбросили все вещи на помойку.

В гостиной возле батареи большое пятно.

— Здесь и лежала, — показывает подбородком, — пол, стены обдерешь, обрабатываешь химикатами, хлорочкой.

Все, что осталось из мебели, — кресло-качалка.

Я удивлен.

— Старинная вещь, — уважительно кивнула Марина, — хозяйева говорит, принадлежала Крупской, жене Ленина.

— Да ну?

Оказалось, старушка-то — видный деятель компартии, депутат Верховного Совета СССР.

— Варвара Степановна Лемех-Абрамова, работала в аппарате советского правительства, — прочитала по бумажке риелторша, — прожила... — пробежала глазами и присвистнула, — девяносто с лишним лет.

Двигаемся дальше.

Марина открывает очередную дверь, включает свет.

— И еще один бонус — та-рам! — кладовка.

На хрена она мне?

Комнатенка доверху забита старыми книгами, афишами, журналами. Стопки газет, связки писем, толстые ветхие папки. И слой пыли, как серый нетающий вечный снег. Снег вечности.

— Родственники не захотели забирать. Делай, что хочешь.

Осмотр заканчиваем на развороченной кухне. Деревянные оконные рамы с облупившейся белой краской, грязный истлевший тюль. Горшок с засохшим цветком. Потолок от жирной кухонной копоти похож на затоптанный уличный асфальт. Может, прежние хозяева ходили по потолку вверх ногами?

От вони меня подташнивает. Разболелась голова, но я креплюсь.

— Ну как? — хищно уставилась Марина.

— Дайте подумать, — мямлю я через салфетку, — пару дней.

— Ответ нужен завтра.

— Я позвоню.

И пулей вылетаю на улицу.

Да, предложение заманчивое. Но что делать с вонью? Мне ж там жить. Не знаю, надо все обдумать. Однако...

На следующий день я согласился.

* * *

Я бросил занятия в студии.

Был ли у меня талант? Вот в чем вопрос. Главное в жизни — вовремя поставить точку. А еще лучше — многоточие. А в идеале —

восклицательный знак. Ушел из театра и устроился подсобным рабочим в центральный государственный архив.

Иллюзий насчет актерского будущего больше не осталось.

В этих старых домах живут одни бабки. Ни одного старика, деда с седенькой бородой и в залатанных валенках. Бабки в цветастых, сильно застиранных, безразмерных, домашних халатах. С торчащей ночной рубахой. Бабки с покрашенной в огненно-рыжий цвет сединой, вставной челюстью и вечным запахом лекарств.

А вокруг вьются кошки. Такое личное кошачье облако. Ходят по колону в кошачьих земных небесах. В двух шагах от кошачьего рая. Они же все кошатницы — одинокие, русские бабки.

Я понимаю, что они чьи-то матери. Внуки выросли, вся радость — посплетничать, сидя возле подъезда. С кошкой на коленях. Это их спасение от одиночества.

Почему старость бывает такой грустной? И почти всегда одинокой?

После оформления документов я занялся квартирой. Какой-никакой, а своей — предел мечтаний многомиллионной лимиты.

Зимой ремонт обычно не делают, но что оставалось?

Использовал хлор, уксус и щелочные растворы. Работал в респираторе, вымел и вынес мусор. Ободрал обои, проводку и потолок. Снял вспученный, выбитый, щербатый паркет — и замер.

Под местом, где старушка упала и померла, лежали... ее скопленные пенсионные денежки! Каждый месяц, на протяжении десятилетий, она складывала свою пенсию не на счет в банке, а здесь, под паркетом. Упаковывала в целлофановые мешочки из-под хлеба, перетягивала резинками для волос.

Я обомлел и растерялся. Глядел сквозь туман на пачки и думал: не позвонить ли бывшим хозяевам? Марине или в полицию? А, может, хотя бы родителям?

Помаевшись с полчаса, решил — никаких звонков. И оставил деньги себе. В конце концов, я нашел их у себя дома, значит, они принадлежат мне. К тому же, я почти все верну бабкиным родственникам, выплачивая долг за квартиру.

Бабуля, ты для меня настоящий клад! — как безумный хихикал я, воровато пряча деньги в сумку.

И тут... я что-то почувствовал, будто кто тихо проскользнул, прошел за спиной. Волна холодного воздуха... Я быстро оглянул-

ся — никого. Нервно вытер со лба пот, выровнял дыхание, успокоил сердце. От событий, произошедших за последнее время, и свихнуться недолго... Нужно все обдумать и успокоиться.

Запрятав сумку с деньгами в чулан под бабкину макулатуру, я пошел в бар и хорошенько надрался. А на следующий день нанял бригаду ремонтников. Они сделали все, как надо: вставили пластиковые окна, выровняли стены, наклеили суперобои. Заменяли проводку, сантехнику, газовую плиту. Провели вытяжку и установили кондиционер. Что еще? Подвесные потолки и ламинат на пол.

Я им хорошо заплатил — бабкиными деньгами. Деньги ведь не пахнут. Даже если это деньги мертвой старухи.

* * *

Горят окна в домах напротив. Иногда кажется, они складываются в некие буквы, цифры и даже слова. Я рассматриваю себя в отражении темного окна. Какое чужое лицо! Незнакомец глядит из глубины ночи.

...Город изрезан речками, каналами, канавками и ручьями, закован в мрамор и гранит, закатан в асфальт. Придавлен бетоном и железом, дышит с одышкой. Носятся по ущельям меж небоскребов ледяные сквозняки, загоняют людей под землю, в жаркий и влажный смрад преисподней, которую здесь называют метро.

Каждый день, рано утром (у меня строгая начальница) в набитом такими же горемыками метро, еду в высокое серое монолитное здание. Двадцатизэтажную башню — нет, не из слоновой кости — из стекла и бетона.

Прохожу вахту с суровым охранником, надеваю серый халат, черные хлопчатобумажные перчатки. Моя работа здесь, как и в театре, — в основном, подай-принеси. Из хранилища в читальный зал вожу на тележке заказанные толстые дела и папки. Делаю копии с документов. Выдаю микрофильмы, записи на магнитной ленте, компакт-дисках.

После шума и грохота города мне нравилась тишина в огромном, многоэтажном здании, его залах, где все говорят шепотом.

Поздно вечером на метро, через продуктовый магазин возвращаюсь в свою квартиру. Никаких перемен — и я даже счастлив.

Вроде все стало как нельзя лучше. Но иногда... да, иногда накатывает тоска, природу которой я не понимаю. Может, это подсознание мстит за несбывшиеся планы и мечты? Ну так что? Не всем же становиться знаменитыми актерами или писателями.

Не нужно взлетать в мечтах высоко, не придется больно падать.

Но перепады настроения, которые я не мог ни объяснить, ни понять, не проходили...

* * *

Постепенно я познакомился с соседями по подъезду. Старушками, вся жизнь которых прошла в нашей сталинке.

Квартира Нины Васильевны напротив моей. Строгая, прямая, как жердь, с костяным гребнем в коротко стриженных седых волосах. Ходит, опираясь на палочку.

— Сюда редко теперь вселяются, — сказала в день знакомства, — в основном, выселяются. На кладбище...

Недоверчивый пристальный взгляд сквозь очки. На домашнем халате — орден «Знак Почета». Настоящий. Так выглядят на пенсии директора небольших советских предприятий или канувших в лету НИИ.

Во время ремонта, каждый божий день приходила давать советы, чем сильно раздражала мужиков из бригады. Я относился к ней вполне дружелюбно — бабушки все такие.

Но в то утро Нина Васильевна сильно удивила. Встретились на площадке, будто меня поджидала. Я опаздывал на работу. Второпях распахивал по карманам ключи, пропуск, телефон, кошелек.

— Не считайте меня сумасшедшей, — с достоинством произнесла Нина Васильевна и сделала паузу; затем поправила очки, переложив костыль в другую руку, — я понимаю, это звучит дико, но... — Опять замолчала и, наконец, решилась: — Вчера я видела Варвару Степановну.

— Кого-кого? — не понял я, натягивая перчатки.

— Хозяйку вашей квартиры.

— Какую хозяйку? — опешил я, забыв про шарф и вязаную шапочку. — Она же...

— Да-да, — соседка энергично, по-птичьи закивала головой, приблизившись вплотную. — Варвара Степановна стояла у вашей двери.

Я знал, покойницу в подъезде недолюбливали. Наверняка называли за глаза старой стервой и ведьмой. Но не до такой же степени!

— Это, наверное, была ее дочь или риелтор? — Я опаздывал, нервничал, и соседка со своими глупостями меня раздражала; я хотел от нее побыстрее отделаться.

Старушка обиженно пожевала сморщенными губами, повернулась и пошла к себе.

— У нее нет дочери, только сын-дурак. И уж молодую женщину я отличу от девяностолетней старухи.

Я человек не суеверный. Люблю посмотреть на ночь добротный ужастик, почитать современную городскую страшную сказку. Потому что Санта-Клаус для меня умер еще раньше Бога и Ницше. И утреннему разговору не придавал особого значения — старушка явно приняла не те таблетки.

День прошел как обычно. На метро домой. Из булочной на углу пахнет горячим хлебом. Единственное место в городе, где пахнет чем-то родным, домашним. Остальные запахи в мегаполисе — чужие, неприятно агрессивные.

Куплю горячего хлеба и буду есть по дороге.

Дома, переодевшись в футболку и шорты, ужинаю полуфабрикатами. Пара бутылок пива перед ноутбуком. Смотрю новости, ютуб-каналы о еде и путешествиях, клюю носом и засыпаю.

А ночью... Вот что случилось ночью.

Проснулся я от того, что, как показалось, забыл выключить телевизор. Хотя точно его не включал — причем ни разу после переезда. Он особо не нужен — есть интернет, мне хватает. Остался от Янека.

Телевизор в соседней комнате. В гостиной работал телевизор, я это отчетливо слышал. Кто-то включил его на полную мощь. Но кто?!

И тут случилась еще одна невероятная странность. Я видел это своими глазами! На моей кровати... сидели две здоровенные кошки!

Откуда?! Испуганно я крикнул «брысь!», и они, прыгнув, с фырканьем убежали.

С неприятной дрожью в ногах встал и пошел на свет и звук — туда, где работал телевизор.

Там я ее и увидел.

Она сидела вплотную к телевизору, чуть раскачиваясь, в своем любимом кресле-качалке. Клетчатый плед, толстая книжка, громкость на всю катушку. На экране «белый шум». У ног лежат худые черные кошки. Увидев меня, они подскочили и зашипели.

— Ты только представь, что в мире делается? — Как ни в чем не бывало, кивает на пустой экран: — Совсем с ума посходили... Такую страну развалили, эх... Сталина на вас нет!.. — И, погоняя во рту вязкую слюну, зло выдает: — Деньги взял и не постеснялся? Вынеси хоть мусор из кухни, воняет, будто кто сдох... — И, грозя пальцем, с угрозой добавляет: — Имей в виду, никаких баб в моем доме!

В ее доме — резануло слух. Значит, она считает — это все еще ее дом?

В комнате невероятно холодно, будто я забыл закрыть окно. Из рта шел пар. Зябко поежившись, переступая голыми ногами, я хотел сказать что-то дружелюбное, но черные кошки свирепо зашипели, выгнув спины. Будто прогоняли.

Испуганно отступив, покачнувшись, я замахал руками — и тут же провалился в бездонный колодец. А через мгновение с промокшей от пота футболке, с прилипшими ко лбу волосами, подскочил на своей кровати...

На часах — четыре утра. Свет уличного фонаря, и черное, как гудрон, декабрьское небо. В нем увязла копейка-луна и несколько просыпанных из дырявого кармана семечек-звезд.

Сердце прыгало игрушечным мячиком, билось о ребра. Скомканые простыни, мокрая от пота подушка. Неужели всему виной дешевое пиво?

Пулей соскочив с кровати, включил свет. Прислушался — в соседней комнате тихо и темно.

Прислонясь к холодной стене, медленно пришел в себя.

Это же был просто сон? Ночной кошмар?

В ванной в аптечке нашел упаковку пенталгина.

Закинул две таблетки в рот, запил водой из-под крана. Но противный липкий страх не проходил.

Взял кухонный топорик, с минуту скептически повертел в руках. Наконец решился и опасно заглянул в комнату с телевизором.

Клетчатый плед висел на спинке кресла-качалки. На самом кресле лежал потрепанный том Ленина, с торчащими из него закладками...

Черт! Когда читаешь одновременно несколько книг, снятся странные, неожиданные сны. Особенно, если эти книги пропахли трупом.

Послonyaвшись еще с топориком по квартире, ничего не обнаружив, лег в постель. Но сон не шел. Поворочавшись, пропялившись в потолок, в полшестого окончательно поднялся.

Сварил кофе, но, задумавшись, опрокинул чашку на себя.

С раздражением собирался на работу. И делал я это быстрее обычного. С оглядкой на темные углы.

Через полчаса еду в метро в свой госархив. К пыльным папкам, строгой директрисе, желчным, измученным гастритами и колитами научным сотрудникам.

Утреннее метро переполнено хмурыми, не отошедшими от сна, со смертельной усталостью в глазах горожанами. Дремлющими, стоя, студентами в наушниках и плохо одетыми приезжими с испуганно бегающими глазами потерявшегося ребенка.

— ...И вот, Сема, я пытался достать из нее ребенка, — сонно слушаю разговор двух сидящих рядом одесситов, — и застрял в ней на пятьдесят лет...

— Нами правят православные чекисты... да-да! Видел их вчера в Храме Христа Спасителя, одной рукой крестятся, другой кобуру расстегивают...

— Вот послушай, милый: «...Раскаленные звезды, шипя, гасли в горном озере, круглом и глубоком, словно гигантская каменная кружка бога. На бесшумных лапах выполз густой туман, и всадники на лошадях застряли в нем, как хлебные крошки в деревенской сметане. Было страшно одиноко, и жутко хотелось дожить до утра. Но утром...»

— ...Помнишь его прошлогоднее обращение к нации? Я устал, но я не ухожу, ха-ха-ха...

— Но ведь миллионам он нравится.

— Да, конечно, миллионы мух не могут ошибаться.

— Всех, сволочи, не пересажают... Отступать есть куда, позади Европа...

Освободилось место, и я сел. Не люблю смотреть на свое отражение в окнах метро. Такое чужое и безжизненное. Кто этот незнакомец? Чуть вытянутое бледное лицо. Короткая «правильная»

стрижка: всегда был конформистом. Крупный нос и рот, тонкие губы, слабый подбородок. Глаза... Глаза человека, сорвавшегося в пропасть и чудом спасшегося. Или только что раскрытого агента. Лицо, лишенное особой индивидуальности. Человек без свойств. Ну, и ладно. И слава богу...

Закончив себя разглядывать, надел наушники и уткнулся в айфон. «Новые “отцы и дети”... — читаю статью в новостной ленте, — надежда России на поколение, родившееся после 2000-го года. Их родители слишком напуганы “проклятыми девяностыми”»...

Ну-ну, говорю я автору. Новому поколению комфортно в современной России. Бородатые дети, на содержании у родителей и государства. Они не интересуются политикой, инфантильны и не агрессивны. А чтобы победить, нужны злость, дерзость. Здоровая агрессия. Желание перемен, наконец. Кто готов менять теплое место в аду на продуваемый всеми ветрами рай? Рай, которого, может быть, и нет?

— ...Вот и я говорю, надейся только на себя, дружок, только на себя...

Рядом со мной сидит... мертвая старуха!

Я вытаращился на нее — в профиль вылитая Баба-яга, крючковатый нос почти достает до подбородка. Впалые щеки, лицо, как горсть сушеных сухофруктов. Над бровью огромная бородавка с растущими из нее волосками. В изъеденном молью салопе, валенках и черном вдовьем платке, концы его она беспрестанно перебирает узловатыми, скрюченными пальцами.

Но где все?!

Только что вагон был забит под завязку, а сейчас мы одни.

В лицо пахнуло плесенью из подвала. Старым, прокисшим, слежавшимся нафталиновым тряпьем. Тухлым мясом, забытым летом на балконе.

— Надо жить на позитиве, да, мой дорогой? — показывает в улыбке старческие дряблые десны. — Человечество сейчас на самом пике. На пике, уходящем в Марианскую впадинку...

И тихонько хихикает. Но глаза ее не смеются. Смотрят из глубокого болота старости.

А поезд несется без остановок. Верчу головой, пытаюсь что-то разглядеть в окне. Вагон раскачивается, вот-вот сойдет с рельсов. Свет мигает и, наконец, гаснет.

Теперь мы несемся в крошечной тьме. Летим, болтаясь внутри наполненного беспросветной ночью аквариума. Побелевшими пальцами я вцепился в сиденье. И вдруг почувствовал, как кто-то прильнул, прижался ко мне. И даже сквозь несколько одежек я ощутил адский ледяной холод...

— Полюби дальнего своего...

— Отстань от меня! — ору и отталкиваю.

...Вагон переполнен людьми. Ярко горит свет. Пассажиры оглядываются. Кто сидел рядом, испуганно отсаживаются. Встают и смотрят, как на сумасшедшего.

Я ошеломлен не меньше их. Что со мной?! Вчера еще был Максимом, а сегодня — Безумный Макс?!

Остаться в вагоне унижительно и стыдно. Ни на кого не глядя, бормоча извинения, протискиваюсь к дверям и выхожу на первой же станции.

* * *

На работу безбожно опоздал. Весь день ходил вялый и рассеянный, не мог сосредоточиться, чем вывел из себя свою начальницу.

— Максим, что с вами? Вы все путаете! — хмурит она брови, перебирая бумажки. — Это не работа! Так не годится.

Мне мучительно стыдно.

— Ну? — опять глянула на меня.

Я вздохнул и виновато отвел глаза.

— Кажется, заболелаю, — соврал и покраснел, — можно сегодня пораньше домой?

— Идите, — бросила, не отрываясь от бумажек. Святая женщина. Таких поискать.

К вечеру подморозило. Ноги разъезжаются на льду. С неба медленно падают, кружась, крупные хлопья снега. Будто не снег вообще, а разорванные на мелкие кусочки любовные записки, письма, черно-белые фотографии.

Миллион писем, миллиард записок... Снегопад из несостоявшихся любовных историй. Впервые с начала зимы — сыплет, сы-

плет, сыплет с неба чьи-то замерзшие слова. А весной все растает. Превратится в вешние воды...

Дни в большом городе похожи друг на друга. И мы здесь все похожи друг на друга. Стараемся выделиться внешне — модная одежда, обувь, прически, макияж, татушки. Но внутри, по сути, как одинаковые шестеренки в гигантском механизме. Крутимся-крутимся-крутимся. Сломался — заменили на другого, такого же. И дальше механизм — крутится-крутится-крутится, и так целую вечность — длиной в человеческую жизнь.

На метро домой через продуктовый магазин. Поужинать полуфабрикатами, пара бутылок пива, легкое чтиво на сон грядущий. Жизнь по кругу, однообразная, монотонная, лишённая смысла и будущего. Вялость мыслей, безразличие и скука. Но кто ее сделал такой, мою жизнь?

На прикроватной тумбочке у меня куча этого добра в мягких и пестрых обложках.

Разболелась голова, и опять всюду стал чудиться проклятый трупный запах... Завтра же выброшу это чертово кресло, плед и бабкины книги на помойку!

В шортах и тапочках слоняюсь по квартире. Пялюсь в черный квадрат окна. У родителей осталась большая коллекция виниловых пластинок — старый добрый рок, много фирменных дисков, стоили бешеных денег. Говорят, звук на них вроде как другой. Мол, живой, глубокий, настоящий, как на концерте. Никакой он не другой. Чушь. Просто он из моей юности, этот звук... Поэтому — живой и глубокий.

Нахожу в айфоне «Лед Зеппелин». Ложусь на кровать, вставляю наушники — и по лестнице, вместе с «черным псом» — на небеса...

И в эту ночь я проснулся так же внезапно, будто кто меня толкнул. В соседней комнате звучал телевизор.

В бешенстве я соскочил с кровати. Да что ж это такое?! С меня довольно!

Босой и разъяренный, через одно мгновение, задыхаясь от злости, я стоял в освещенном, странно искривленном и будто расширившемся пространстве.

Звук на полную мощность. На экране мелькание «белых мошек».

С тоской и отчаянием я посмотрел на кресло — чертова старуха и ее мерзкие кошки были там.

— Не вздумай, — тихо раскачиваясь, не отрываясь глядя на экран, с надменностью говорит она, — не вздумай выбрасывать мое любимое кресло и книги. А то все узнают, что ты украл мои деньги.

Опять этот мерзкий профиль Бабы-яги, обведенный светом из телевизора. Меня будто заморозило, я застыл на месте. А потом бросило в жар. Футболка тут же промокла от пота. Капельки выступили на лбу и висках.

— В чулане найдешь синюю папку, — продолжала проклятая старуха, раскачиваясь в кресле, — она тебе пригодится... — И вдруг повернула свое изжеванное старостью и болезнями лицо выжившей из ума городской ведьмы с торчащими во все стороны седыми патлами. Резко остановила костлявыми ногами кресло, подалась вперед, будто ее тело невозможно вытянулось в пространстве: — Я помогаю тебе... такому неудачнику, потому что... Потому лишь... Уйди с глаз моих и не подслушивай!..

Забыв про прошлый раз, испуганно делаю шаг назад и, как будто поскользнувшись — падаю, падаю, падаю спиной в бездонную пропасть, — хватаюсь руками, но ухватиться не за что. И падение это длится вечность.

До серого, как простыня алкоголика, утра.

* * *

...Обнаруживаю себя на полу среди скомканных простыней, мокрых от пота подушек. Проснулся от холода, до боли отлежал руки и ноги.

В квартире дубак, настежь открыты все окна.

Да что за черт! Разве я их открывал?!

Сегодня суббота, выходной. Но по закону подлости, я просыпаюсь ни свет, ни заря и не могу уснуть.

Голова побаливала, но не сильно. На улице ничего нового. Хмуро, пасмурно, будто унылый рисовальщик штрихует пространство серым. Пачкает небо кляксами, ломает грифель, рвет бумагу. А в образовавшуюся прореху — тот же дождь со снегом.

И невозможно понять, сколько сейчас времени?

За ночь совершенно не отдохнул.

Поеживаясь от еще не прошедшего холода, зевая, поплелся на кухню.

В зале телевизор мельтешил белым шумом. Я теперь старался не обращать на это внимания — может, я лунатик и сам его включаю? Может, у меня психическая болезнь?

В любом случае это плохо, и я не хочу об этом думать.

Позавтракал овсянкой из пакетика — заварил кипятком в чашке серую массу. Аппетита не было. Вывалил все в помойное ведро. Тупо смотрел в окно, помешивая ложечкой остывающий кофе.

Мокрый асфальт, на котором будто серая вата из старой обивки, лежал островками снег. В лужах, как в кривых зеркалах, отражался перевернутый мир. Сырой ветер с залива высекает слезу, лезет холодными пальцами под одежду, гонит редких прохожих, как опавшие листья с призрачных мертвых деревьев... Машины разбрызгивают зимнюю слякоть в разные стороны. Останки старухи-зимы... Мертвой старухи.

Тьфу ты!

В сердцах выплеснул недопитый кофе в раковину. Настроение окончательно испортилось. И я вспомнил — синяя папка.

В чулане пыльно и пахнет плесенью. Старой, изъеденной грибом и мышами бумагой. Он никогда не проветривался. Воздух спертый, душный, застоявшийся.

Я выкидываю в коридор всё — книги советских классиков в добротных сталинских переплетах и полувекковой паутине. Перевязанные бечевкой пачки писем в диковинных конвертах. Мельком вижу на них фамилии Луначарского, Бонч-Бруевича, Калинина. Заберу на работу, в архив. Ветхие, рассыпающиеся в прах подшивки «Правды», «Известий», «Труда» тридцатых-сороковых годов, подумав, выбросил на помойку.

Синяя папка лежала в самом дальнем углу чулана, под собранием сочинений Демьяна Бедного. Достал, порушив, с остервенением рас皮нав горы общественно-политической макулатуры.

Меня действительно разбирало любопытство — что в ней? Повертел в руках, задумчиво стер ладонью пыль. Уселся на кухне, развязал полуистлевшие тесемки.

В папке лежало уголовное дело. Начато 15 сентября 1935 года. Дело Исаяи Карповича Лемеха, 1870 года рождения. «Дед хозяйки квартиры, Варвары Степановны?» — вспомнил я редкую фамилию, названную риелторшей Мариной.

На двух фотографиях — профиль и анфас — длинноволосый, с косматыми бровями, бородатый старик. С худым лицом и строгими, колючими глазами. Взгляд бесстрашный и обличающий, как у библейских пророков на репродукциях.

Я задумчиво пролистал пожелтевшие машинописные листы.

Дело оказалось неполным, отдельные, разрозненные страницы. Материалы следствия Варваре Степановне наверняка передали хорошие друзья — из органов или сочувствующие партаппаратчики. Может, сразу после смерти Сталина, когда начался вал реабилитаций.

Но она спрятала бумаги, не стала, как все, добиваться пересмотра. Странно, очень странно. Вместо восстановления доброго имени предка она выбрала его несправедливое забвение? Почему?

Что ее смущало?

Но, читая хрупкие от времени листки, я, кажется, догадался. Все просто. Это давнишнее дело могло помешать ее партийной карьере, которая во время хрущевской оттепели стремительно пошла в гору. Реабилитация, обсуждения, публикации привлекли бы внимание общественности и прессы. Не дай Бог, еще и на Западе. Многое пришлось бы объяснять. А как объяснить необъяснимое? В стране победившего атеизма? История ведь действительно непростая, странная, необычная.

Но почему тогда вовсе не уничтожить папку?

Нет, совесть ее не мучила. Значит, в деле есть что-то очень важное. Возможно, она надеялась, что, когда эта история не сможет ей навредить, она будет прочитана и вполне вероятно, опубликована.

Что ж, пусть так. Я тоже ведь случайный читатель, мне-то какая разница? Все участники этой драмы давно мертвы (ну, или почти, вспомнил я старуху). Теперь это не более чем литература.

Заварил свежий крепкий кофе, достал сигареты и начал читать.

«Из показаний Исаяи Карповича Лемеха, главы баптистской церкви Великого Божьего Страх (с 1920-х на территории РСФСР действовала нелегально), 29 сентября 1935 года:

—...Говорили, что в своем походном саквояже он возит копыто и обрубок хвоста беса, которого однажды поймал и с помощью слова божьего наказал. Авторитет его был велик: многие называли святым и относились как к святому. Говорили, он ищет какую-то книгу, важную для всего мира, но что это за книга и зачем она нужна — не знаю. В поисках книги он ездил по горам и степям, не боясь ни разбойников, ни диких язычников, ни колдунов, ни шаманов.

Рассказывают, на теле его была не то тонкая, из стального волоса, кольчуга, не то особенные вериги, на руках — железные рукавицы. Ездил он на огромном белом огнедышащем коне, называл себя истинно христовым воином. Говорят, чтобы крест господень всегда был при нем и никогда не потерялся, он вырезал его себе на лбу.

Рассказывали, как он пришел на шаманское камлание, и самый великий колдун вдруг разом онемел, будто у него отнялся язык, стал недвижим, как соляной столб. Отец Макарий тронул чародея рукой, и тот рассыпался в прах. В этот день святой отец обратил в христову веру полторы тысячи язычников.

В другой раз язычники накинулись на него с ятаганами и топорами, но те в их руках стали мягкими, как воск, и Макарий спокойно прошел меж их замершими рядами, оставшись невредимым.

Рассказывали, как однажды в большом городе царские жандармы, сыщики и полиция осадили в публичном доме банду Степки Меченого, самых отъявленных в то время убийц и грабителей. На их счету было много погубленных жизней. Грабили дома и церкви, не оставляли свидетелей. Не щадили никого, ни детей, ни женщин, ни стариков. Сказали, что живыми не сдадутся. И стреляли в любого, кто пытался подойти. Но отец Макарий, как заговоренный, прошел под градом пуль, и ни одна в него не попала. Он убедил разбойников сдаться.

В городской тюрьме он исповедовал их перед повешением и остался с ними до конца. И эти жестокие убийцы и насильники целовали ему руки и плакали от счастья, как дети.

Говорили, что, приняв схиму, он провел в затворе Симбирского монастыря много лет.

Народ говорил и вовсе невероятные вещи. Что сам он, мол, в прошлом великий разбойник. Проклятый всеми убийца и бе-

глый каторжник. Но однажды явился ему Господь, отразившись в луже крови одной из жертв. Словно молния поразила Макария. Он стал, как парализованный, ослеп, оглох и онемел на девять дней — и вновь прозрел. Произошло чудо преображения. Макар Голун (так звали его в миру) уверовал, и все стали величать его отцом Макарием...»

Заглянул в конец текста. Допрос вел следователь НКВД Михаил Тимофеевич... Гадунов?!

Стоп. Что?!

Я уставился на фамилию.

У следователя фамилия Гадунов?!

Еще школьником я миллион раз слышал от бабушки и дедушки семейные предания о том, как прадеда Михаила (опять совпадение?) в сталинские годы неожиданно арестовали, а потом расстреляли. Прадед вроде как занимал высокую должность в центральном аппарате партии. Оставшись одна, прабабушка переехала из столицы в провинцию, к своим родителям, тихим советским учителям обычной средней школы. Там в 1936-м у нее родился сын, мой дед.

Но этот М.Т. Гадунов явно ведь однофамилец. Он же никакой не партийный деятель, а следователь НКВД. Как может быть родственником один из винтиков кровавого режима, от которого пострадала наша семья?

На душе стало как-то тревожно, скверно. Будто только что раскрылся мерзкий обман, подлая ложь... Так ли это? Завтра позвоню родителям — развею сомнения, и все встанет на свои места.

В шкафу на кухне взял полупустую бутылку коньяка, налил стопку и, сморщившись, выпил. Никогда не любил этот напиток («Клопами пахнет», — говорил отец). Закусил подгнившим бананом, нашедшимся в холодильнике.

Закурил. Допил остатки холодного кофе, вернее, гуцу на дне.

Чтение становилось все интереснее и интереснее.

И я продолжил.

«Следователь НКВД Гадунов:

—Теперь о секте Святых Волхвов. Как они связаны с отцом Макарием?

Молчание.

— Ну?

Лемех:

— Это древняя секта, но я почти ничего о ней не знаю. Ее адепты поклонялись трем магам, Балтасару, Мельхиору и Каспару. История из Нового Завета о волхвах, первыми пришедших поклониться новорожденному Иисусу. Сторонники секты верят, что маги занимались воспитанием Христа на протяжении всей его жизни. Сопровождали во время путешествия на Восток, в Индию, на Тибет, оставались с ним до последней минуты. Это якобы описано в особой книге. Из поколения в поколение они заучивали ее наизусть. Члены секты верят в бессмертие волхвов, кочующих из эпохи в эпоху, меняющих страны и континенты.

— Что там про книгу? Поподробнее.

— «Книгу Волхвов» привезла из Византии в Россию Софья Палеолог.

— Кто такая?

— Бабушка Ивана Грозного.

— Дальше.

— Вот, собственно, эту книгу и хотел найти отец Макарий.

— Зачем?

— Чтобы уничтожить. Он считал, она опасна. Может попасть в руки нечестивых, и те превратят жизнь на Земле в ад.

— Еще раз, что в этой книге?

— Истинное описание жизни Христа, его никому не известные молитвы, притчи, псалмы, песнопения. Их много! Невероятная сила, которая может все изм...

— И что, нашел?

— В том-то и дело...

— Неужели уничтожил?

— Нет, конечно. По преданию, ее нельзя уничтожить. Можно только спрятать. Это книга, у которой нет ни начала, ни конца. Ну, вроде как она постоянно сама себя пишет.

— И кто-то верит в эти бабкины сказки?

— Миллионы.

— А вы?

— Я видел, как словом раздвигали горы, поворачивали реки. Словом, можно разрушать империи и строить города на Луне...

— Города? На Луне? Вы в своем уме?

— Вот в этом не уверен, товарищ начальник. Возможно, моими устами сейчас глаголет сам отец Макарий...

— Допрос окончен, уведите арестованного.

(Примечание: Лемех глупо хихикает, видимо, симулирует душевную болезнь или действительно болен. По моему приказанию контроль над ним усилен.)...»

Я оторвался от чтения. Сигарета в пепельнице истлела до фильтра. Кофейная чашка пуста. Быстро глянул в темноту за окном.

Что-то меня во всем этом пугало, вызывало беспокойство, тревогу.

Гаденький, подленький страх, будто кто пугает.

Подумаешь, старое уголовное дело!

Старое и странное... Именно это и тревожило — в нем говорилось о вещах, которые не укладывались в мое привычное понимание мира.

Оглушительная темнота и тишина. Ночь миллионами звезд смотрит и чего-то ждет.

Свидетелем какой драмы, странной истории я оказался?

Вселенская тьма — ни звука. Будто мир вымер или замер в ожидании.

Встав и хрустнув суставами, сделал несколько простеньких гимнастических упражнений. Шея затекла, побаливал затылок — покрутил головой влево, вправо. Прошелся по квартире.

Глянул на кресло-качалку.

Пусто.

На кухне соорудил бутерброд с ветчиной, помидором и сыром, залил майонезом. Бутылка пива из холодильника. Я настроен дочитать сегодня бабкину папку до конца.

Жевал — и листал страницы.

«Из показаний доктора исторических наук, профессора Бориса Анатольевича Гончарова, 2 октября 1935 года:

— ...По легенде, после смерти Ивана Грозного, сундуки с книгами спрятали в подземельях Кремля. Говорят, там была и “Книга Волхвов”.

Следователь Гадунов:

— В чем ее ценность?

Гончаров:

— По преданию, книга делает великим своего владельца. Исполняет желания. Но она не дает бессмертия, в чем многие заблуждались, за что и жестоко заплатились. В народных сказках

и былинах говорится, что она неуничтожима. И это главное испытание — можно стать великим, но нельзя бессмертным. Можно владеть, но нельзя уничтожить. Так кто над кем хозяин?

— Где она сейчас?

— Это мне неизвестно. Я историк, а не сыщик... Понимаете, у этих сектантов обычная каша в голове. Они верили в бессмертие волхвов, что они вечно кочуют по миру, защищают истинную веру и ее последователей. Верили в переселение душ. Но самое главное, за что, собственно, их объявили врагами веры и преследовали, — они признавали, что Сатана равновелик Богу, именно благодаря этому в мире и сохраняется равновесие...

— Сатанисты?

— Как вам сказать... Среди курдских племен, кочующих в Турции, Ираке и Иране, есть приверженцы секты езидов. На протяжении многих веков они одинаково поклонялись и Богу, и Дьяволу. Изображают его в виде павлина. Признают за ним, так сказать, реальную силу и, чтобы умаслить, приносят жертвы и тому, и другому...

— Хм, умно...

— Да, слаб человек, и, чтобы выжить, приходится приспособляться, дружить со всеми... Да и Дьявола, в общем-то, выдумали лишь затем, чтобы сваливать на него все несчастья и неудачи: мор, голод, войны. Не Бога же за это винить?

— Так что отец Макарий?

— В отца Макария, как они считали, вселился дух какого-то там архангела. И волхвы могут вселяться в других и глаголить их устами. Вы помните из Нового Завета историю с Царем Иродом?

— Нет, я не помню, я атеист.

— Царь Ирод, чтобы погубить младенца Христа, призвал волхвов и хотел у них выведать, где скрывается Святое семейство. Волхвы солгали ему и ушли в Египет. Но один из волхвов, четвертый, обиженный, что во время поклонения его не допустили к младенцу (сославшись, что ребенок устал), выдал Ироду тайну нахождения Марии с младенцем. Их спало только чудо — они едва убрались из Вифлеема, как там началось избивание младенцев. Имя тому волхву — Нахиль или Нихиль, я уж не помню. Узнав о предательстве, волхвы прокляли и изгнали его из своих рядов. Но он тоже бессмертен и как ангел мщения

жаждет реванша... Вот такая, гм, библейская петрушка и опиум для народа.

Следователь Гадунов:

— Можно ли верить данной информации?

— Ни в коем случае! Помилуйте, это же народная молва. Легенды, сказания, преданья старины глубокой, так сказать...

— Вы лично верите?

— Безусловно!..»

«Из показаний бывшего сыщика царского сыскного отделения при полицейском управлении, Георгия Игнатьевича Жарова, 3 октября 1935 года:

— ...Рассказывали, его оскопили в тринадцать лет. Якобы он воспитывался в семье хлыстов. Родители хотели, чтобы он посвятил себя Господу. Видимо, после тех страшных событий у мальчика помутился рассудок. Говорят, у него открылись способности к ясновидению. Его пророчества сбывались, слава разнеслась по всей России. О нем писали в газетах, показывали на заседаниях теософских и прочих мистических обществ в самых богатых домах обеих столиц. Но он отрекся от громкой славы и денег и неожиданно для всех постригся в монахи. Тогда-то он и получил имя Макарий. А когда ему исполнилось двадцать, пришел в сыскное отделение и сказал, что хочет сотрудничать на добровольных началах. Как он выразился, бороться с бесовскими силами, безбожными организациями и тайными изуверскими сектами, заполонившими Русь. В донесениях подписывался М., в нашей картотеке числился под именем Христосик.

Благодаря его работе, мы выявили множество антиправительственных террористических кружков, тайных религиозных сект, спасли сотни невинных и заблудших душ. Стригольники, бесмертники, самокрещенцы, странники-бегуны, молокане, скопцы, хлысты. Капитоновцы, адамиты, симониты, каиниты... Черте кто еще!

— Давайте вернемся к отцу Макарию...

— Наше сотрудничество с ним продолжалось до 1905 года. Видите ли, М. был яростным противником священника Гапона. Предупреждал сыскное отделение, что он провокатор и не миновать беды. Но вопрос был политическим — за Гапоном стоя-

ли тогдашний директор департамента полиции Алексей Александрович Лопухин и градоначальник Санкт-Петербурга Иван Александрович Фуллон, министры и многие политические деятели. Все заигрывали с народом, а Гапон оставался самой влиятельной и авторитетной фигурой среди питерских рабочих. И Христосика в грубой форме попросили не лезть не в свое дело. Кстати, Макарий был на площади во время расстрела мирной демонстрации. Уверяют, когда колонны пошли к дворцу, он пытался стрелять в Гапона, но рабочие его быстро скрутили и связанного бросили где-то в подворотне. Как знать, может, это спасло Макарию жизнь.

После Кровавого воскресенья и последовавшего затем манифеста Николая II о свободе вероисповедания Макарий исчез.

Последний раз я слышал о Христосике в 1913-м. Он объявился в захолустных губерниях империи. Рассказывали, он в одиночку ведет борьбу со всеми этими сектами, по сути дела, поставив себя вне закона. Вроде как ищет какую-то книгу, принадлежащую то ли последователям отца всей ереси Симона Волхва, то ли еще какому-то еретiku... Многие из наших тогда посчитали, что Макарий окончательно свихнулся, тронулся умом от потрясений, выпавших на его долю. Агенты из провинции в донесениях сообщали, что М. проповедует везде о грядущей страшной войне, революционных потрясениях. О том, что Распутин и Николай II погубят Россию. Как я уже говорил, власть никогда не любила Макария. Он обличал церковников и чиновников, не боялся вступать в открытый, публичный спор. Но теперь было дано высочайшее распоряжение о его задержании. Однако все попытки провалились. Христосик стал неуловим. Может, правда он обладал даром предвидения? А затем наступил 1914-й и 1917 годы...»

«Из показаний Игнатия Мошкина, прихожанина баптистской церкви Великого Божьего Страх (с 1920-х на территории РСФСР действовала нелегально), 5 октября 1935 года:

— ...В полнолуние, когда силы тьмы выходят на охоту за душами, мы вслед за отцом Макарием читали “Верую”, “Отче наш”, “Богородицу”. Исайя Лемех бился как в падучей и пророчествовал, что в 1941-м на нашу землю придет тьма — еще более страшная война, чем в 1914-м, смерть и мор. И тогда где-то на Белой Горе нач-

нется последняя битва. Живые и мертвые увидят на склонах Горы войско Сатаны, а на вершине — Христово войско. Никто не знает, сколько будет продолжаться битва и кто победит, но каждый человек должен определиться, с кем он.

Следователь НКВД Михаил Тимофеевич Гадунов:

— Исаяя Лемех был знаком с Макарием? Он был среди вас?

— Нет, помилуй Бог! Но мы чувствовали его присутствие и даже слышали его голос, читающий молитвы.

— Да что за бред! Белая Гора, где она находится?!

— Она везде, так пророчествовал Исаяя Лемех. Она в каждом из нас, она...

— Заткнись! Я спрашиваю, как туда попасть...»

«Докладная

Довожу до вашего сведения, что в ночь с 17 на 18 ноября 1935 года, заключенный Исаяя Лемех исчез из своей камеры. Нами была осуществлена проверка, выяснено следующее. Камера оставалась закрытой всю ночь. Двери в секции ночью были заперты и никем не открывались. Дежурный надзиратель через глазок проверял нахождение опасного заключенного согласно инструкции каждый час. В два часа ночи заключенный Лемех находился в камере. В три часа утра его там не оказалось. По факту исчезновения заключенного Лемеха возбуждено уголовное дело, дежурный надзиратель арестован. Проводится расследование».

За чтением я просидел почти до утра. Спина ныла, голова была тяжелой, подташнивало от кофе и сигарет.

В ванной умылся холодной водой. Глянул в зеркало — круги под глазами, кожа на лице, как кожура подпорченного банана.

Бледная нежить. «Дети ночи» из социальных сетей.

Рассвет нацедил несколько банок своего мутного света и оставил у окон и дверей всем желающим. Фонари погасли, как умерли. Небо цвета дешевой туалетной бумаги. И такое же, наверное, на ощупь.

На улицу выполз наш дворник — худой, сутулый. С густыми, косматыми бровями. «Бобиль», думаю я всегда, когда его вижу. Говорят, отсидел десятку за убийство жены. Из ревности.

Как-то мы с ним разговорились.

Закашлявшись, будто решил выплюнуть легкие, он закурил первую сигарету.

— Вам бы к врачу сходить, провериться.

— Да ну, один хрен помирать. Я эту паскуду, жинку свою, и на том свете найду и убью.

Рассказывали, жена его была гулящая. Как-то пьяная недосмотрела, и их ребенок, упав в открытый колодец, утонул...

Загремели баками мусоровозы. Рабочие в оранжевых куртках и зеленых бейсболках громко разговаривали, ругались, смеялись чему-то своему, собирая отходы одноразовой, пластиковой цивилизации.

Туда бы всех нас.

Я прочитал почти всё и адски хотел спать. Мысли роились, как безумный улей насосавшихся медовухи пчел. Надо как следует выспаться.

Ясно, почему покойница спрятала дело своего деда, расстилая постель, вяло размышляя я. Слишком оно странное, мягко говоря. Невероятное и даже фантастическое. В советские годы посчитали бы бредовым. С таким прошлым и такими родственниками партийной карьеры не сделать, это правда.

Но что мертвая старуха хотела от меня? Чтобы продолжил расследование или наконец-то уничтожил папку?

Я решил оставить пока бумаги у себя и еще раз все обдумать.

И, кстати, с этого момента мертвая старуха больше мне не являлась.

№ 5, 2021 г.

М и х а и л К н и ж н и к

ПОСЛЕДНИЙ СЕАНС

Часть первая

1.

Борис Синельщиков заметил Свету Сеницыну на вступительных экзаменах.

Вокруг все колготилось и кипело. Нервический гул стоял над площадью перед корпусом, где принимали экзамены. Борис еще не знал, что небольшую эту площадь с несколькими старыми соснами и гипсовым посеребренным Лениным студенты называют «Пятак».

Повсюду были газеты с квадратиками портретов в скорбных рамках на первых полосах — в те дни при столкновении двух самолетов погибла вся команда «Пахтакор».

Какая-то дама с высокой блондинистой «халой» на голове кормила сына бутербродом с черной икрой. Борис переглянулся с отцом. Они умели так, взглядом, заметить, показать и обсудить смешное.

Ничего удивительного в том, что он заметил Свету Сеницыну, не было. Это она навещала его пубертатные сны: высокая, тонкая, с прямыми светлыми волосами и взглядом, смотревшим прямо вовнутрь, в те самые сны.

Одна она была потому, что жила не в Ташкенте, как могло показаться стороннему взгляду, а в Сырдарьинской области, давно привыкла к самостоятельности, к прохладности родительской опеки и любви.

В следующий раз они столкнулись в библиотеке. Перед началом учебного года выдавали тонну учебников. Опять было многолюдно и шумно, но радостно: поступили. И нужно было постараться получить не очень затрепанные книжки, чтобы листы не разлета-

лись. Света предусмотрительно и практично пришла со спортивной сумкой, остальные вышагивали, неся стопки книг перед собой и придерживая верхнюю подбородком, как студенты-недотепы из беззубых комедий ранних пятидесятых.

Борис со Светой оказались в разных группах, но на одном потоке, поэтому виделись только на лекциях. Они обменивались долгими трассирующими взглядами, но заговорить не решались. Света выделила Бориса, поскольку в Гулистане не водилось таких парней. При хорошем росте, пловцом развороте плеч и буйно кудрявой голове он имел взгляд не наглый, легко смущался.

По институту ходили слухи о приближающемся выезде на хлопок. «Областным» даже дали несколько дней съездить домой за теплыми вещами. Света тоже съездила и вернулась.

На лекции по органической химии вдруг в зал ворвался Мишка, рванув створки высоких, уцелевших от кадетского корпуса дверей, она успела посмотреть на Борю, тот — на нее. Мишка от дверей крикнул, как матрос Железняк:

— Именем декана занятия прекращаются! Завтра — на хлопок!

Тот взгляд все и решил. Рефлекторной реакцией на тревогу, на опасность она искала его, а он — ее.

2.

В назначенный день вереница автобусов выехала из ворот мединститута, от старого здания, похожего на большой корабль. Вокруг здания-корабля был разбит огромный парк, между деревьев которого вполне вольготно поместились здания клиник и теоретических кафедр.

Ехали по пустоватому городу. Только на остановках толпились люди в напрасном ожидании автобусов, они и смотрели вослед кавалькаде.

За кольцевой начались хлопковые поля. Изредка мелькали сад или придорожная чайхана в окружении струнких азиатских тополей или мускулистых коренастых карагачей.

3.

Расселили по три группы на один барак, два барака на поток, четыре — на курс. Бараками назывались типовые полевые станы, несшие на себе отпечаток хрущевской попытки индустриализации сельского хозяйства, попытки вогнать стихийное, природное это дело в стандартные рамки. Отстояли они друг от друга километра на три-четыре, меньше часа ходьбы, если бы не искусственные каналы-сбросы и бетонные желоба, именуемые лотками, поперек дороги.

Типовой барак состоял из одной большой комнаты, одной маленькой, в которую попадали через большую, и еще одной маленькой комнаты со входом с другой стороны. В большой комнате стояли три ряда сколоченных из досок двухэтажных нар. Два ряда заняли девочки, один — достался парням, таков был гендерный баланс в медицинском институте. Во внутренней маленькой комнате поселились два бригадира: Пулатов с кафедры госпитальной хирургии и Таджибеков с гистологии. Через день к ним подселили курсанта высшей школы милиции Мавлянова, туркмена из Чарджоу, он должен был следить за порядком и законностью. В наружной маленькой комнате разместился склад. Там стояли бидоны с хлопковым темным маслом, мешки с солдатским бесформенным рафинадом и с рисом.

Под толевым навесом были вмазаны в глиняные очаги два казана. Среди казанов воцарился одноклассник Бориса — Абдулла, парень из бухарского райцентра. Если существует понятие «врожденная интеллигентность», то оно подходило Абдулле как никому. Он со всеми разговаривал уважительно, но без восточного подобострастия. Был честен, старался помочь, совесть его страдала, когда видел несправедливость. Если все повара подворовывали, то Абдулла по приезду стал развязывать мешочки со специями, которые привез из дома. В отличие от ташкентских, он еще школьником собирал хлопок и знал, как однообразна и безрадостна казенная кормежка.

Колодцем служила врытая стоймя бетонная труба, на метр выступавшая из земли. Раз в день трактор привозил бочку и наполнял трубу.

На удалении, над небрежной ямой, вырытой двумя взмахами экскаваторного ковша, была сооружена из досок будка без крыши,

обтянутая грубой мешковиной. Будка была отдана девушкам. Парням для тех же надобностей предоставлялись окрестные поля.

4.

.....

5.

Вернулись они месяца через полтора. Был конец ноября, листья еще не все опали, но все — промокли, желтые и прореженные, они тяжело шелестели на деревьях парка Тельмана.

Борис встретился со Светой под аркой главного входа. Он уже отвык видеть ее без ватника-телогрейки и не замотанную по глаза в платок, сначала от пыли, а потом уже и от холода. Ему самому хотелось летать — и оттого, что на смену кирзачам пришли новенькие «саламандры», и потому, что он был со Светой вдвоем, мог коснуться ее руки и даже, о боже, поцеловать.

Все хлопковые дни они были рядом, собирали в соседних рядах, разговаривали, он читал ей стихи поэтов, имена которых она не слышала прежде:

Парк культуры и отдыха имени
Совершенно не помню кого...
В молодом неуверенном инее
Деревянные стенды кино.

Жестким ветром афиши обглоданы,
Возле кассы томительно ждут,
Все билеты действительно проданы,
До начала пятнадцать минут.

Над кино моросьянка осенняя,
В репродукторе хриплый романс.
Весь кошмар моего положения
В том, что это последний сеанс.

Он относил ее фартуки, полные хлопка, вместе со своими, гораздо менее полными, сдавать к тележке с высокими бортами, стоявшей в центре поля.

По вечерам они разделялись, она была с девчонками — Риткой Гальпериной и Альфией Гафитулиной. А он — с парнями: Мишкой, Нодиром, Рубеном. Но иногда, столкнувшись у кипятильников-титанов или под лампочкой, горевшей над входом в барак, они прилипали друг к дружке в разговоре, важнее которого, им казалось, нет на свете. Но прикоснуться друг к другу не решались. Еще, может быть, потому, что ощущение телесной нечистоты у них, привыкших к городскому комфорту, было постоянным: за полтора месяца был лишь один выезд в совхозную баню. Да и то поехали не все. «По грибки?» — спросил Рубен.

С хлопка первокурсники вернулись уже не разобщенными и одуревшими, какими были в сентябре. Октябрь простегал факультет дружбами, симпатиями, влюбленностями и неприязнями на долгие годы вперед, иногда и на всю жизнь.

6.

Из парка они пошли в кино, в «тридцатку». В кинотеатре «30 лет комсомола» при желании еще можно было разглядеть Дворянское собрание и последнюю сцену Комиссаржевской. День был рабочий, сеанс ранний, зал полупустой. Они стали целоваться еще на «Новостях дня», киножурнале, который предварял некий фильм. На экран так и не взглянули.

Потом долго шлялись по городу, дошли до Сквера, по Карла Маркса — до Дворца пионеров, прошли мимо уже погасших фонтанов, вернулись по Карла Маркса, он уговаривал ее зайти, но она отказывалась, стеснялась. Потом Борис долго провожал Свету. Как деревенский ухажер, он стоял возле дощатой калитки у совсем русского палисадника в переулке за улицей имени Финкельштейна, туркестанского комиссара, где у хозяйственной и суровой Галины Степановны, чем-то напоминавшей Свете ее собственную маму, та снимала комнату.

Покойный муж Галины Степановны некогда работал с Андреем Николаевичем Сеницыным, потом переехал в Ташкент, с повышением, обещанную квартиру в строящемся ведомственном доме ждать не стал, не привык жить далеко от земли, купил дом на Первушке, а год тому скончался от рака тут же неподалеку, в хирургии старого ТашМИ, и похоронен на Боткинском, все на расстоянии пешего перехода. Гулистанские, покинув город, связь между собой не теряли, помогали друг дружке, как могли. Поэтому, когда дочь Андрея Николаевича поступила в мединститут, Галина Степановна охотно откликнулась на просьбу сдать ей комнату. Жила она одна, замужняя дочь давно переехала в Россию. И девочке — близко, и лучше, чем в бесприютной общаге на краю города.

7.

Занятия возобновились на следующий день. На лекциях Света с Борисом уже сидели рядом, не стесняясь и не таясь.

После лекций Борис все же зазвал Свету к себе. Родители были на службе, баба Катя кормила их обедом, расспрашивала про учебу.

Жил Борис тоже недалеко от института, но в другой стороне. Квартира Синельщиковых располагалась на третьем этаже укрытого деревьями кирпичного четырехэтажного дома с большими застекленными лоджиями в тихом переулке за улицей Жуковского, неподалеку от зоопарка. Место называлось в городе «царским селом», но таких «сел» было в Ташкенте несколько, побольше, чем в Ленинграде. Светские барышни с первого лечфака могли пожаловаться, курия утром на Пятаке:

— Не спала всю ночь, рычали львы.

Квартиру эту получил еще дед Бориса, Исаак Борисович Синельщиков, когда сломали дом на Большой Мирабадской. Исаак Борисович был большим строительным начальником, но это в конце. А всю жизнь до того он был невысоким, коренастым человеком с бешеным характером, бритой круглой головой, прокаленной разными солнцами, крикливым узким ртом, полным матерщины.

В 1938-м Исаак закончил десятилетку в родном Липовце, через год поступил в харьковский инженерно-строительный. Закончил два курса, но воевать пошел не инженером и не строителем, а вовсе кавале-

ристом. Сначала под командованием еврея Доватора, потом то ли осетина, то ли ингуша Иссы Плиева, испортившего себе биографию уже в мирное время; и до конца своей войны, до ранения в живот — под командованием русского Крюкова, мужа великой Руслановой. Дослужился до капитана, был представлен к Славе первой степени, но не получил. Третья и вторая степень у него были. Из госпиталя выписался в 43-м без полутора метров тонкой кишки и без доли печени — истаявший в долгом перитоните, но живой. Комиссованный подчистую поехал в Узбекистан, доучиваться, знал, что ХИСИ эвакуирован в Чирчик. Здесь же он увидел Катю Бург, дочку высланного из Москвы немца, профессора химии. Отец Кати до места не доехал, умер в пути, а Екатерина работала учительницей всего, кроме узбекского языка, в местной восьмилетке. Влюбился безумно. И пролюбил ее так всю свою жизнь; когда видел ее, у него голос менялся. С такой же неистовой местечковой сентиментальностью он любил, кроме жены, только единственного своего внука Бореньку. Своего первенца, Бориного отца, родившегося уже в 44-м, и умершую подростком от лейкемии, или как тогда говорили — белокровия, дочку он любил ровно и требовательно.

Институт вскоре вернулся в Харьков, Синельщиков остался. Он стал работать на строительстве ирригационных каналов, мотался по Голодной степи, часто на привычной коняге, машин не хватало.

Сразу после войны Исаак съездил в Липовец и больше никогда, никогда там не был.

Екатерина Владимировна (хотя на самом деле профессора звали Вильгельмом) настояла и на переезде в Ташкент, и на том, чтобы Исаак Борисович закончил учебу на инженера-строителя, и сама закончила университет. За неуклонным ростом его карьеры ощущалась она, ее поддержка, ее арматура. Они купили небольшую мазанку на хорошем участке недалеко от Госпитального базара. Не сразу, но поставили просторный дом. Борис успел потопать детскими ножками по прочным доскам его пола. Даже успел пойти в первый класс. Отдали его рано, еще семи не было, дед настаивал. Говорил, что нужен дополнительный год для поступления. Он, фронтовик, очень не хотел, чтобы внук пошел в армию. И хотя казалось, что до той поры еще целая жизнь, дед оказался прав. 146-я школа была напротив Парка Первого мая, в двух шагах от их дома. Но проучился он там только один год — расширяли дорогу, дом снесли, и Синельщиконы переехали в квартиру на Жуковскую.

Бориса определили в новенькую 110-ю, про которую в городе говорили: «школа особо одаренных родителей».

Дед умер, ткнулся лицом в раскрытую книгу про Джина Грина, «скорая» не успела приехать. Борис тогда заканчивал школу, готовился к выпускным экзаменам, к поступлению, ездил к двум репетиторам, на Алайский и на Актепе, ловил слухи, которыми окутаны вступительные экзамены. Смерть деда огорчила его, но не произвела большого опустошения в душе.

Потом, с годами, Борис наткнулся на необходимость спросить деда, расспросить. И про застрявший в детской памяти отрывок разговора, в подпитии вечером под виноградником во дворе на Большой Мирабадской:

— С немцами я воевал, они были враги. Но отца с мамой, и сестер, и племянников убили не немцы. Соседи убили, украинцы, поляки. А с украинцами и поляками я не воевал...

И про картуз, который дед надевал, когда ходил на праздники в синагогу, спросил бы. И про то, что он понимал в сером молитвеннике, изданном в Вильно в 1902 году. И про канувшую в Липовце семью. Но увы.

Министерство хотело похоронить деда на Коммунистическом, но оказалось, что он давно трезво купил места на Домбрабаде, рядом с могилой дочери. Перечить не стали. Хоронили по еврейскому обряду, бабушка распорядилась. В Ташкенте всегда подспудно признавалось за человеком право соблюдать свои ритуалы.

8.

— Какая у тебя бабушка добрая, — сказала Света, когда они закрыли дверь в комнате Бориса.

— Она добрая, пока ты правильно говоришь по-русски. А как только скажешь «ложить», она страшно рассвирепеет. А вообще баба Катя — начальник семьи. Баронесса остзейская.

Увидев Светино удивленное недоверие, добавил:

— Нет, она и вправду фон Бург, из немецких баронов.

Когда Борис, проводив Свету и отстояв с нею у калитки Галины Степановны, вернулся домой, Екатерина Владимировна сказала ему вполголоса:

— Хорошая девочка. На меня молодую похожа.

Борис ее не понял. Он еще не умел разглядеть в старушке бывшую девушку или понять, глядя на девушку, какой она будет в старости. Для этого нужны годы и внимательность в разглядывании жизни.

9.

Любовниками они стали к весне, все к тому шло, они уже изнемогли от взаимного мучительства, а тут еще Галина Степановна уехала в Белгород, проведать родившую дочку.

Бориса, не вернувшегося после очередного провоза, дома ждала головомойка от смертельно встревоженных родителей. Но он был так откровенно, так неприкрыто счастлив, что головомойки не получилось.

Хозяйка гостила два месяца, ставшие для них медовыми. Они просто не могли оторваться друг от дружки, но при этом умудряясь как-то сдавать мутные химии и физики первого курса.

Особо лютовали в летнюю сессию на физике (кафедрой завел лысый и прямой Сайран Джалилович, сокращенно — СД, по прозвищу «Прошу поставить заголовок») и на неорганической химии, где царила кокетливая и недобрая Сталина Салиховна, сокращенно — СС. В ходу было присловье, что только тот, кто миновал СС и СД, может считать себя студентом.

И Света, и Борис легко сдали летнюю сессию на отлично, обеспечив себе повышенную пятидесятирублевую стипендию на следующий семестр. Так вышло то ли за счет сумасшедшей подготовки, которая была перед вступительными, то ли гормон счастья бродил в их крови и делал все преграды незаметными.

Потом был месяц мутной трудовой повинности на заводе «Фотон». Проверяли какие-то мелкие детали на наличие трещин. Работяги норовили втихаря слить страшный, пахнувший смертью спирт, в который полагалось бросать детали после проверки.

Завод был недалеко от Сквера, после работы пили молочный коктейль в «Буратино» или белое вино «Баян-Ширей» в стекляшке под чинарами, а когда темнело, перебирались в летний киноте-

атр «Хива». Им нужно было разговаривать, смотреть друг на друга, прикасаться, пусть даже локтями.

Борис знал, что родители его не в восторге от Светы. Им виделась иная партия: девочка из их круга, еврейка. Но вслух ничего не произносилось, все только подразумевалось, лишь иногда всплывало намеком, обменом внятыми в сплоченной семье кодами, ироничной оговоркой, на которые отец был мастер. Борис чувствовал атмосферу дома, но это ему не мешало: воодушевление, переполнявшие его нежность, страсть, радость были гораздо важнее родительского одобрения. Кроме того, он уже был достаточно взрослым и достаточно врачом, чтобы понимать: ранняя женитьба родителей — они поженились после второго курса — была обусловлена не только романтическими мотивами.

10.

В августе, ближе к середине, они уехали вдвоем на Иссык-Куль. Деньги подкинули родители, на «Фотоне» их нагло обманули и заплатили сущие копейки.

За Кошколом сняли хибарку, сарай, но у самой воды. Купались, загорали, ходили на базарчик, покупали фрукты, каймак. Ночи были сумасшедшие, бессонные, ненасытные. Загорели, похудели, устали.

Последнюю неделю перед началом занятий провели порознь. Света уехала в Гулистан, родители нервничали. Борис отсыпался под бабушкиным присмотром. И рычащие львы ему не мешали.

11.

Первого сентября встретились на Пятаке. Тонкий слой взаимной усталости проложил радость их встречи.

А в конце сентября Света сказала, что задержка уже три недели. И Борис понял, почему так полна и сладка стала ее грудь. Она внимательно следила за ним, а он бормотал невнятное, стирал испарину со лба, взгляд стал суетливым.

Слово «аборт» всплыло в их судорожных разговорах, двух напуганных детей, лишь на второй день.

Нашли какой-то захудалый роддом на Карасу, Свете было важно, чтобы там не было базы ни ТашМИ, ни педиатрического, чтобы студенты не шлѣлись по коридорам. Процедуру назначили на 20-е октября, понедельник, деньги — 50 рублей — достал Борис, баба Катя дала. Он врал ей несусветное, кажется, она что-то поняла, смотрела строго, но денег дала.

А 17-го объявили, что в понедельник выезд на хлопок. Они сидели в парке Тельмана на зрительской скамейке перед навсегда опустевшей эстрадой-раковиной, время которой минуло еще лет двадцать назад. Опустошенные и несчастные, они смотрели друг на друга, хотя им совсем не хотелось сейчас смотреть друг на друга.

— Езжай, — с трудом разлепляя губы, сказала Света. — Пойду сама. Дня на три справку должны дать. Я к концу недели приеду.

— Как же ты одна пойдешь?

— Езжай.

12.

Через неделю Света не приехала. Он надеялся, что она приедет в понедельник.

Во вторник рано утром Борис сбежал в Ташкент. Для мединститута побег с хлопка был синонимом отчисления. Отчисление было синонимом призыва. Призыв был синонимом Афганистана.

На попутках он добрался до города. В сапогах и ватнике пришел на Первушку. У ворот стоял красный «москвич». Галина Степановна вышла на стук. В доме сидели Синицыны и угрюмо смотрели на Бориса.

Света была в реанимации, там, в роддоме на Карасу. В прошлый понедельник вечером у нее поднялась температура, стал тряссти озноб, а через час она потеряла сознание. Скорая приехала быстро, давление как-то подняли, но повезли не в ТашМИ, до которого было рукой подать, а на Карасу, выписка из роддома лежала на столе вместе со справкой о трехдневном освобождении от работы.

В роддоме ей стало хуже, сознание спутанное, давление не хотело стабилизироваться. Гемоглобин был нормальным, значит, не кровотечение. Собирались убирать матку, но тянули. Кто-то позво-

нил профессору Когану. Старику было далеко за 80, но он работал, консультировал, никогда не отказывал в помощи. Абрам Аронович приехал на такси, маленький, с высоко поднятой седой головой, долго читал историю, мял живот, нюхал свои, вытащенные из Светы пальцы. Велел сменить антибиотики и, если в течение суток не будет улучшения, убирать матку.

На следующее утро стало лучше.

13.

На красном «москвиче» Андрея Николаевича они поехали на Карасу. Синицыных в реанимацию пускали дважды в день, это было распоряжение главврача, он знал, что произошедшее со Светой — это их осложнение.

Света страшно изменилась за неделю, что Борис ее не видел. Черные тени вокруг пустых глаз, белые губы, мертвые волосы. Она посмотрела на Бориса и сказала:

— Ненавижу! Чтобы я тебя больше никогда не видела.

И отвернулась.

К ночи Борис, не зайдя домой, приехал обратно, а утром вышел в поле. Бригадир, Рахимов с топанатомии, посмотрел на его хлопкового оттенка лицо и никому ничего не сказал.

14.

Когда вернулись с хлопка, выяснилось, что Света Синицына взяла академотпуск и уехала домой, в Гулистан.

Часть вторая

1.

Распределение на втором лечфаке проходило под трансляцию похорон Черненко. Почти никто не смотрел за однообразным и приевшимся спектаклем. Он исполнялся в третий раз за короткое время, и казалось, что труппа, труппа труппа, играет его все с меньшим воодушевлением.

Борис хотел быть кардиологом и надеялся на распределение в институт кардиологии, но вышло иначе — его направили терапевтом в «неотложку», больницу скорой помощи на Чиланзаре. Хорошо хоть, что не услали в кишлак, как Мишку. Но у Бориса в деле лежала справка, что его жена — студентка, и такая бумага гарантировала, что хоть в городе-то оставят. Рубена распределили в урологию 16-й горбольницы, сработали армянские связи, а Нодира, который тоже собирался в кардиологию, направили рентгенологом в институт онкологии.

2.

Жил Борис с женой Ириной и годовалой дочкой у родителей жены в доме сталинской постройки на Шота Руставели, ближе к Текстилю. Ему не очень нравилось жить с Зильберштейнами, про которых отец Бориса за глаза шутил, что у них даже в фамилии удвоенное еврейство, антисемитам хватило бы даже половины. Но после рождения дочки Ира вернулась на занятия в своем инязе, и теща, ушедшая на раннюю пенсию по так называемой «выслуге лет» (была у школьных учителей такая привилегия), сидела с внучкой. Да и тесть со своими «жигулями»-шестеркой модного цвета беж или, как говорили в городе, «кофе с молоком», всегда был готов служить семье в качестве шофера и развозчика.

С родителями Борис виделся теперь нечасто, хотя перезванивался ежедневно. Он знал, что баба Катя скучает по нему и по правнучке. Но Ирина не любила бывать у Синельщиковых и старалась найти повод, чтобы отложить визит.

3.

Свету он видел всего несколько раз. Через год она вернулась на второй курс, но перевелась на первый лечфак. Борис уже был на третьем курсе, началась клиника, разъезды. Тем более, что у второго лечебного клинические базы были разбросаны по всему городу, в то время как большинство кафедр первого лечфака были сконцентрированы на окраине в бесприютном, открытом всем ветрам Новом ТашМИ. Так что шансов столкнуться в институте было немного. Раз он видел ее в «Ильхоме» на спектакле «Дракон», она была с Петей Калашниковым, институтской знаменитостью, умницей и красавцем. Петя — пловец, чемпион, высокий, широкоплечий, по-американски плоский, с нервным, ужасно располагавшим к себе лицом. Про Петиного деда ташминские люди «с понятиями» говорили, что старейший рентгенолог был прототипом одного из героев опасного романа «Раковый корпус». Борис знал Петю еще до института, они сталкивались не раз в бассейне Митрофанова, даже когда-то участвовали в одних и тех же соревнованиях, хотя Борис выше первого юношеского разряда так и не поднялся.

Потом от Риты Гальпериной Борис узнал, что Света, как это говорили, встречается с арабом с ее курса, на первом лечфаке учились иностранные студенты с Ближнего Востока и из Африки. Араба звали сказочно — Алладином, был он мелок и незаметен. Ритка смотрела на Бориса внимательно и пытливо, когда рассказывала ему про это. Но он был уже не тот, что на первом курсе, смутить его было непросто.

Однажды, как бы гуляя, как бы без цели, он забрел в шанхай за улицей Финкельштейна. Над районом уже витал дух грядущего сноса: все менее ухоженные палисадники, все более облупившиеся рамы и калитки, все больше трещин на стенах. У дома Галины Степановны копошилось несколько узбекских детишек.

— Галина Сергеевна-то? — переспросила соседка. — Да уже года два как продала все и уехала в Белгород.

4.

Служба Борису не нравилась. Много текущей, примитивной работы, хронические пациенты, которые либо стабилизировались при помощи простых приемов, либо умирали. Времени на обдумывание сложных случаев не было. Обследование самое незамысловатое. Потратив много времени еще в интернатуре на углубленное изучение электрокардиограмм в надежде на кардиологию, Борис чувствовал, что вопросы перед ним стоят самые что ни на есть тривиальные: инфаркт — не инфаркт, трепетание желудочков—предсердий, а знание усыхает и скукоживается.

Дежурства были беспокойные, ночью поступали больные из приемного покоя. Платили мало. Поборов с пациентов он стеснялся, не брал, а благодарные подношения при выписке случались нечасто, публика небогатая — дальние кварталы Чиланзара. Родители помогали и с той стороны, и с этой. Но ни об отдельной квартире, ни о пусть даже подержанной машине мечтать не приходилось.

5.

Рано утром позвонила мама. Ранний звонок встревожил Бориса: так звонят, когда не боятся разбудить, а опасаются не застать до ухода на работу.

— У нас был обыск, — сказала она и положила трубку.

Позвонив на службу, Борис поймал такси и прилетел на Жуковскую. Дома царил беспорядок, который могут сделать лишь чужие руки. Родители были бледны, ошеломлены, потеряны. Одна лишь Екатерина Владимировна невозмутимо спросила:

— Боренька, ты завтракал?

Пришли в три ночи и пробыли до утра, ничего не взяли. Борис боялся, что добрались до его чреватых большими неприятностями залежей — пачки фотокопий «Технологии власти», ардисовского тоненького сборника Гумилева и отпечатанного на «Эре» «Бодался теленок с дубом» — они стояли во втором ряду на книжных полках в его комнате. Но ничего не тронули, видно, искали другое.

Владимир Исаакович Синельщиков был небольшим начальником, заместителем директора автобазы. Фактически руководил он, поскольку директор исполнял функции представительские. «Ученый еврей при губернаторе», — называл Владимир Исаакович свою должность. Беда была в том, что автобаза принадлежала хлопковому министерству, а в Ташкент приехала бригада московских сыщиков, искавших виноватых именно по хлопковой части.

Отца стали вызывать на допросы, долгие, изнурительные. Он возвращался домой похудевшим, словно ссохшимся, и только повторял:

— Они ничего не понимают, они ничего не понимают про республику.

6.

Новый 1988 год Борис с Ириной встречали с друзьями у Мишки. Теща осталась с Анечкой, ей уже был годик. Были все институтские: Нодир, недавно женившийся Рубен, Ритка, Альфия, всего человек пятнадцать. Танцевали, было шумно и угарно.

Первого вечером пошли на Жуковскую, поздравить родителей, дарить и получать подарки. Борис обратил внимание, что у отца пожелтели белки глаз.

— Как ты себя чувствуешь? — как бы между делом спросил он.

— Не чувствую, — отшутился Владимир Исаакович.

7.

Анализы были плохие. В перечне возможных диагнозов, подходящих к такой желтухе, никаких хороших вариантов не было.

Борис позвонил Пете Калашникову. Тот стал рентгенологом, пошел по стопам деда и в последние годы работал в военном госпитале на одной из немногих в городе установок компьютерной томографии. Петя никогда в помощи не отказывал. Сам вышел к воротам встречать, чтобы охрана не придиралась. На ходу перебросились парой фраз: кого из наших видишь, где кто. Про Свету Борис не спросил. Тот сам сказал:

— Светку Синицыну помнишь? Вышла замуж за Алладина и уехала к нему.

Борис хотел съязвить, что Алладин ему до лампочки, но промолчал. Никогда прежде он с Петей о Свете не разговаривал, не знал, что тому известно об их отношениях, он не хотел плохо выглядеть в Петиних глазах.

Результат томографии подтвердил худшие опасения. Большая опухоль поджелудочной железы, в печени полно метастазов.

8.

Об операции речи не шло. Отправили в институт онкологии возле «Юбилейного», Дворца спорта, в который Владимир Исаакович некогда водил маленького Борю на новогодние ледовые представления, там обязательно был медведь, катавшийся на коньках.

Стали делать тяжелую химию, от которой лезли волосы, рвало сутки напролет и губы покрывались кровавой коростой. Нодир помогал, сидел с отцом, утешал, успокаивал, носил из дома компот из кислых вишен.

Сначала вроде помогало, желтуха стала уменьшаться. Но потом все снова навалилось.

9.

В сентябре Владимира Исааковича похоронили на Домбрабаде, рядом с отцом и младшей сестрой.

Борис чаще стал бывать в родительском доме. Жалел маму, а особенно — бабушку. Та вдруг стала старенькая-старенькая. Беззвучно плакала, когда на нее не смотрели.

Борис оставался у них ночевать. Ирина не пререкалась, понимала.

А через год мама объявила, что выходит замуж и уезжает в Америку. Какой-то ее одноклассник по «полтиннику», 50-й школе, оказывается, был безнадежно влюблен в нее все годы, а сейчас развелся и сделал ей предложение. А насчет Америки у него все решено, у него там сестра уже много лет, так она готова их вы-

звать и стать гарантом. Борис прикрыл глаза, ему казалось, что мать бредит.

Он ничего не сказал, просил время переварить новость.

— Зачем в пятьдесят лет выходить замуж? — сказала ему перед сном Ирина. — Может, они еще и сексом собираются заниматься?!

Она прыснула. Мысль действительно выглядела дикой.

Екатерина Владимировна наутро позвонила в отделение, как раз после обхода, медсестра прибежала за ним в ординаторскую.

— Не мешай маме, — сказала бабушка. И не стала ничего объяснять.

10.

Перед отъездом мама сказала:

— Мы устроимся, я тебя вызову.

Они стояли у высокого столика, где заполняли декларации. Раньше такие столики стояли в гастрономах, возле них пили томатный сок, размешивая алюминиевой ложечкой соль из поллитровой банки. Под столешницей был обруч с бульбочками, чтобы вешать сумки. Потом такие столы исчезли, а здесь, в Шереметьево, еще сохранились.

— Это будет непросто, — ответил Борис. — Американцы принимают родителей, приезжающих к детям, но не любят детей, приезжающих к родителям, я узнавал. А потом, мне нравится лечить, я там просто не сдам экзаменов, в этой Америке. Да и бабуку не возьмут, она тебе даже не родственница по их понятиям.

— Бабка не вечная.

— Вот это жаль. Вот это, правда, очень жаль.

Он обнял мать и почувствовал, что может заплакать. Но не заплакал.

11.

После маминого отъезда Борис с семьей переехал на Жуковскую. Ирина не возражала, даже ей стала мешать слишком назой-

ливая родительская опека. И на работу она могла ходить пешком. После окончания института она не без родительских связей устроилась переводчиком в Радиокomiteте на Первомайской.

Бабушка присматривала за Аней, водила в зоопарк и на органные концерты в отреставрированную лютеранскую кирху. В зоопарке Ане нравилось больше, но цветные стекла витражей примирили ее со скукой торжественной музыки.

С Ириной Екатерина Владимировна ладила, она со всеми ладила, считая, что домашнее спокойствие если и нарушать, то только по очень важным, главным причинам. А Борис как-то особо нежно стал любить бабушку, понимая, что она последний оставшийся у него человек из прежней жизни.

Они выписывали «Огонек» и много «толстых» журналов. В каждом номере было что-то интересное, знакомое прежде по слепым копиям самиздата или вовсе неизвестное. Обсуждали по вечерам за чаем или за вечерней дыней.

12.

В Радиокomiteте появился новый человек, Игорь Бершадский, москвич. Приехал налаживать какое-то мудреное студийное оборудование.

Оборудование было немецкое, закупленное Всесоюзным радио несколько лет назад для республик и наконец доехавшее до Ташкента. Но ГДР уже все пристальнее смотрела в сторону федеративной сестры, и за наладку запросили валютой. Валюты не было, или не хотели платить, поэтому нашли своего специалиста, помогавшего немцам с наладкой в Таллине и Ереване, и командировали в Ташкент.

Ира приходила с работы воодушевленная, говорила об Игоре, пересказывала их разговоры, его остроты. Она помогала заезжему гостю с переводом инструкций и как-то предложила в выходные позвать Бершадского на ужин, ведь у него никого нет в Ташкенте. Борис ходил на Алайский. Екатерина Владимировна с Ирой лепили манты.

Бершадский оказался высоким, сутулым, каким-то несуразным. Лицо имел смуглое с большим носом и массивным подбородком,

усиленным клиновидной, тонко обводящей скулы, бородкой. Волос у него был черный, отчасти кудрявый, отчасти всклокоченный. К тому же он все время немного посмеивался, подхихикивал, как бы про себя.

«Какой-то уцененный Мефистофель», — подумал Борис.

За столом Игорь солировал, периодически пощелкивая пальцами и обращаясь к Ирине, переходил на английский, словно прося ее подсказать ускользающее русское слово. Баба Катя внимательно и безмолвно слушала гостя. А Борис горько наткнулся на отсутствие отца, с которым было бы хорошо сейчас переглянуться. Рассказывал Игорь о своей недавней поездке в Израиль, у него там была родня. Дипотношения еще не восстановили, но уже стали пускать. Сыпал названиями, непонятными выражениями «тахана мерказит», «купат холим». Борис удивленно отметил про себя, что, хотя многие названия он слышал впервые, они не были для него чужими. Цфат, Эйлат, Ашкелон.

После ухода гостя за мытьем посуды Ирина рассказала, что Игорь подал документы на выезд, но опасается, что могут отказать.

13.

Через неделю Борис заметил, что рассказы Ирины про Игоря прекратились. Еще через неделю он спросил:

— Московский гость отбыл?

— Нет, — ответила Ира. — Работает.

Борис усмехнулся, но ничего не сказал. Ира видела его усмешку и тоже промолчала.

14.

Окружающая жизнь продолжала усыхать, скукоживаться. Денег катастрофически не хватало. Зарплата Бориса вместе с дежурствами равнялась по базарному курсу десяти долларам.

На Алайском старик-торговец, глядя, как Борис пытается совладать с ворохом купюр, полученных на сдачу, подмигнул и сказал:

— Что, брат, рублевая зона?

От мамы иногда с оказией приходила сотня-другая, это было хорошим подспорьем.

Нужно было сделать ремонт, но не было ни денег, ни стройматериалов. Последний ремонт делал еще дед за год до смерти, прошло уже лет двадцать, и географическая карта протечек и аварий украсила потолок кухни. Да и мелкие землетрясения, которые не прекращаются здесь никогда, словно пером, нанесли узоры мелких трещин на стены.

Перестали приходиться медицинские журналы — то ли не выходили, то ли их не слали. Стали исчезать лекарства, в том числе и те, которые Борис прописал Екатерине Владимировне. Заменители действовали странно: давление то на несколько дней взлетало до двухсот, то вдруг падало почти до коллапса.

А после ферганской резни сама ткань жизни сделалась зыбкой, ненадежной.

15.

Ирина рвалась в Израиль. По ночам она уговаривала Бориса, объясняла грядущие преимущества.

Уехал Рувим Моисеевич, заведующий второй терапией. Засобирался Мишка. Рубен готовился переезжать в Москву, у брата жены там был стабильный для начала 90-х бизнес, и ему нужны были помощники. Уехали соседи с первого этажа, на их место вселилась узбекская семья, приветливые улыбчивые люди с детьми-подростками. Говорили, что это был непервый секретарь сурхандарьинского обкома, переведенный в Ташкент, в центральный аппарат. Калашников уехал в Ленинград.

Ритка Гальперина позвала на отвальную. С отъездами это архаичное слово, означающее предотъездное застолье, снова вошло в оборот. Столы расставили под орешинной во дворе на Кары-Ниязова. Делали плов на открытом огне. Много пили. Много говорили тостов. Особо восхваляли Риткиного отца, профессор Гальперин много лет возглавлял кафедру в институте усовершенствования врачей.

— Как на поминках, — прошептал Борис.

А когда вернулись домой, сказал бабушке:

— Ну что, баронесса, поедешь к евреям?

— С тобой, Боренька, конечно, поеду, — ответила Екатерина Владимировна быстро и просто. Вопрос явно не застал ее врасплох.

Часть третья

1.

Самолет из Будапешта приземлился в Бен-Гурионе ближе к полудню.

Несколько часов заняло стояние в очереди, получение синей книжечки «Удостоверения репатрианта» и денег.

— Си-нель-шиков? — переспросил смуглый парень, заполнявший бумаги. — Очень сложная фамилия. Тебе будет трудно. Как была фамилия твоей жены?

— Зильберштейн.

— А бабушки?

— Бург.

— Хорошие фамилии. Подумай.

2.

Еще в Ташкенте долго рядили, куда ехать. Существовала какая-то двоюродная сестра деда, которая в Липовце примкнула к сионистам и укатила с ними в Палестину, но ни нынешней ее фамилии, ни адреса баба Катя не знала, а спросить было некого.

Бабушка сказала:

— Жить нужно в столице.

Боря считал, что столица — Тель-Авив, но в цветастой толстой брошюрке «Алия» было сказано, что Иерусалим. Звучало солидно. «Невидимый прокуратором город». Вообще, в знании о Земле Израиля книга Булгакова занимала краеугольное место.

Когда спросили: «Куда?» — дружно ответили: «Иерусалим».

3.

Вместе с черными дерматиновыми баулами, которые шила для отъезжающих оборотистая артель где-то за Келесом, они вчетвером заполнили машину, которую в прежней жизни называли «рафиком», а в новой — будут называть «минивеном». Ехали на закате, за развязкой Шаар Агай дорога стала резко подниматься вверх, среди гор, поросших лесом. Все сидели поодиночке и молча смотрели в окно, только Аня прижалась к отцу и уснула, переполненная впечатлениями. Минивен доставил их в гостиницу «Бат Шева» на улице Кинг Джордж.

«Дочь семи», — сказал Борис, он ходил на курсы иврита и знал десятка два слов.

Прибывающих уже было не так много, как в конце 1990-го, поэтому они получили два смежных номера. В лобби был накрыт стол, на котором стояли пластиковые стаканчики с оранжевым сладким питьем и длинным волнистым печеньем, обсыпанным кунжутом.

Пройдет немного времени, и Борис узнает, что Бат Шева — это не «дочь семи», а Вирсавия, жена царя Давида и мать царя Соломона, что Кинг Джордж — это Георг Пятый, дед нынешней английской королевы, и улица его имени — единственная, сохранившая свое имя со времен британского мандата. Он еще узнает, что волнистые печенье называются марокканскими, а кунжут здесь зовут сум-сумом, тем самым «сим-симом», который открывал пещеру с сокровищами.

4.

На следующий день все вместе вышли в город. Пошли открывать счет в банке. Гуляли по пешеходной улице Бен-Иехуда, разместились за столик под большим зонтом, решили поесть мороженого, плохо понимая, какой будет счет и хватит ли у них денег за него расплатиться. Заказывала Ирина, по-английски. Ее английский здорово помогал и в банке, и на улице.

5.

Через неделю сняли четырехкомнатную квартиру в районе Кирьят-Ювель, на улице Уругвай. Рядом с домом стояли высокие старые сосны. Такие же, как на Пятаке в ТашМИ. Про плиточные полы Синельщиковы были предупреждены и достаточно легко такое новшество приняли. Про бойлеры, которые грелись от солнца, а в пасмурные дни нужно было не забывать включать электрический нагрев, им объяснили. Но дни стояли солнечные.

Какие-то бравые ребята привезли мебель: кровати, обеденный стол, простые стулья. Сказали, что с «олимовского склада». Вообще они ощущали вокруг себя много доброжелательного ритуала. В словах и в действиях. Соседи снизу, восточного вида люди, с которыми Ирина говорила по-французски, английского те не знали, принесли комод с выдвигаемыми ящиками и дачный столик, ему нашлось применение на кухне.

С «олимовского склада» Борис уже сам потом привез два платяных шкафа. В магазинчике, в подвале возле «Машбира», у быстрого говорливого продавца они купили телевизор и холодильник по олимовской скидке. В подарок за большую покупку дали небольшой пылесос. Пылесос оказался самым стойким и прослужил больше двадцати лет.

6.

С первого сентября стали ходить в ульпан — курсы иврита для новых репатриантов. Екатерина Владимировна тоже выразила желание учить язык, и ее записали в ульпан для пожилых в районном культурном центре-матнасе, носившем имя Филиппа Леона. Борис даже пытался узнать кем был этот неведомый Филипп, но безуспешно. Аня пошла в первый класс. Борис с Ириной ездили двумя автобусами через весь город в ульпан Тикватейну для молодых и амбициозных. Он находился за центральной автостанцией — таханой мерказит в переулках Ромемы, старого иерусалимского района на въезде в город со стороны Тель-Авива.

Аню из школы забирала бабушка. Первый класс ее был особый, для репатриантов: много иврита, мало других дисциплин, много

игр и экскурсий. По родительским представлениям, Аня была еще очень мала для школы. Шесть ей должно было исполниться только в конце сентября. Борис вспомнил свою 146-ю, он тоже был в классе самым младшим. Но Ане в школе нравилось, хотя дома, с бабой Катей, было, конечно, лучше.

Шаг за шагом они привыкали к новой жизни, старались понять ее правила, ее внутреннюю логику.

Борис обнаружил, что, в отличие от Ташкента, где базар был синонимом благополучия, покупки на рынке Махане-Иехуда делают те, кто победнее, те, у кого времени больше, чем денег.

7.

Контора, занимающаяся приехавшими на историческую родину евреями и их семьями, называется не очень ловко «министерством абсорбции»: тройная калька — иврит-английский-русский — не могла дать живой результат. Но если некоторое время повторять это неуклюжее название, то просто перестаешь его замечать.

За людей с высшим образованием в иерусалимском отделении министерства абсорбции отвечала немолодая дама по имени Лариса. Лариса приехала в 70-е, то есть лет за двадцать до волны 90-х. Она неплохо говорила по-русски, но плохо умела скрывать неприязнь к новым израильтянам. От Ларисы Борис узнал, что в январе в больнице Адасса открываются курсы подготовки к экзаменам на врачебную лицензию.

В январе Борис стал ездить на учебу в Адассу. Ирина продолжила занятия в ульпане, но с весны параллельно стала ходить на интервью к потенциальным работодателям. Летом она вышла на работу в компанию, торговавшую технологией и оборудованием для капельного орошения, израильского изобретения, завоевавшего почти весь мир, а теперь старательно затушевывающего множество стран, разом образовавшихся на месте развалившейся советской империи.

Адасса произвела на Бориса сильное впечатление. Она показалась ему огромной и очень рационально устроенной. Городской автобус делал на территории больницы три остановки. Как боевой конь, почуявший звук полковой трубы, он возбудился, почувство-

вав больничный дух. Ему очень хотелось приходить сюда врачом. Но он понимал, как далека и трудновыполнима его мечта.

8.

Группа была большая, человек сорок, с широким разбросом возрастов, географии, врачебных специальностей. Были совсем юные, вчера из института, и тертые, битые врачи высшей категории, были уроженцы Грузии, Таджикистана, Литвы, Бразилии, Франции.

Разный опыт, разный темперамент и общее стремление — как можно быстрее вернуться в профессию. Все делились друг с дружкой тестами, реконструкциями экзаменов, какими-то особо толковыми книжками, ибо за короткое время нужно было достичь нормального уровня в дисциплинах давно забытых, а может быть, и выученных тяп-ляп, например — психиатрии.

Рита Гальперина отдала много книг и конспектов. Она жила в Беэр-Шеве, сдала экзамен и должна была начинать резидентуру в местной больнице.

Борис с интересом наблюдал, как Марк, слушая лекции на иврите, переспрашивал по-русски, чтобы законспектировать политовски.

Улыбчивый увалень Сережа, хирург из Саратова, спрашивал на лекции по психиатрии:

— Ребята, а что такое это самое «либидо»?

Увидев отведенные взгляды и услышав сдавленное прысканье, бубнил, оправдываясь:

— Поверите, забыл. Там знал. Здесь — забыл.

Когда на перерыве кто-то к слову рассказал безобидный грузинский анекдот, все выходцы из Грузии встали и вышли из аудитории.

— Грузинская фракция покинула заседание Думы, — пробормотал ироничный Фима из Винницы.

Но Борис что-то понял дополнительное про грузин. Понял и намотал на ус.

9.

В апреле, когда все отогрелись от небывало холодной и снежной даже для Иерусалима зимы, когда стала выгорать зазеленевшая в феврале трава на пустошах в Долине Креста и на склонах между деревьями Эйн-Карема, снова возник в их жизни Игорь Бершадский.

Надо сказать, что с началом Ириной работы отношения в семье изменились. Положенные репатриантам выплаты, именуемые «корзиной абсорбции», закончились, но фактически они продолжали получать те же 750 шекелей, уже в качестве стипендии Бориса. Полагалась добавка от министерства строительства на съем квартиры. Борис стал работать ночным охранником в ешиве. Дежурства были спокойные, удавалось заниматься и даже украдкой поспать. Учащиеся не очень-то куролесили, после часу ночи дверь запиралась до утра. Приработок, бабушкино пособие и стипендия обеспечивали скромное существование.

Ирин заработок вдвое перекрывал эти поступления, тем более, что как только он стал поступать на их совместный счет в банке Леуми, сразу прекратили платить стипендию: для государства из беззащитных новичков они перебрались в разряд обустроенных работников.

Ире выправили в «Марксе и Спенсере» несколько костюмов для представительских функций. Косметика была привезена в багаже, перед отъездом на вырученные от продажи имущества деньги был куплен запас французской парфюмерии, еще неподдельной в ту пору.

Жизнь семьи стала зависеть целиком от интересов Ирины. Занятия Бориса, подготовка к экзамену стали чем-то не очень важным, второстепенным. Ирина словно квиталась с ним за какие-то давние обиды. Он чувствовал это и не мог понять. Он считал, что относился к жене уважительно. Даже подчеркнуто уважительно, как бы компенсируя этим недостачу любви в их отношениях. Так женщина бывает преувеличено добра к ребенку мужа от предыдущего брака.

В это время как-то незаметно, не в один день возник Игорь. То есть когда Борис осознал его присутствие, тот уже давно был. Каким-то образом участвовал в их жизни, что-то устраивал, советовал. И при этом Борис его ни разу с ташкентской поры не видел.

10.

Экзамен на врача был назначен на июль. Проводили его в Тель-Авиве, в выставочном комплексе «Ганей Тааруха». Эта обыкновенная сохранилась с 1990 года, когда на экзамен за раз являлись несколько тысяч выпускников советских мединституты и заполняли несколько огромных залов. Сейчас зал был один, правда, самый большой.

Перед началом Борис столкнулся с Рафиком Ниязовым, с которым работал в «неотложке», тот был хирургом.

— Всегда сдавал во втором зале, — сказал Рафик. — А сейчас загнали в первый.

Борис пробормотал что-то и убежал, словно боясь заразиться от Рафика вирусом неудачи.

11.

Результаты обещали прислать в течение месяца. Знающие люди учили, что ответ приходит по почте в виде заполненного текстом листа формата А4. Прочитать лист на иврите может занять час или больше, и, чтобы не помереть от волнения, читая, нужно понять два первых слова. Если письмо будет начинаться «ану смехим» — «мы рады», сдал. А если «ану мицтаарим» — «мы сожалеем», иди готовься дальше.

После экзамена наступила легкость необычайная. Сразу оказалось море свободного времени. Борис делал уроки с Аней. Ходил с ней гулять к Чудовищу — огромной горке в виде головы страшного монстра, у него было несколько языков-горок, по которым скачивалась окрестная малышня — или на зеленые лужайки парка в Рамат-Дении. Собрал старый книжный шкаф, приехавший в багажном контейнере, стал расставлять книги, прибывшие вместе со шкафом. Там же увидел серый дедовский молитвенник 1902 года, ускользнувший от строгого глаза таможни.

12.

Когда Ирина предложила «поговорить серьезно», Борис не удивился, он был внутренне готов к такому повороту. Но все равно душа содрогнулась.

— Но я надеюсь, мы останемся друзьями, — сказала в конце разговора Ирина.

Они сидели на скамейке в парке Рамат-Дения, есть там такие спокойные скамейки в боковых аллеях.

— Ага, — ответил Борис, — не разлей вода.

В начале августа Ирина с Аней переехали в Бат-Ям, к Бершадскому. Борис даже помог снести черные баулы, те самые, что шили бедовые артельщики за Келесом, и помог их зачихнуть в багажник «Даятцу-Аплауз» Игоря. Поцеловал, прижал к себе притихшую Аню и быстро ушел в подъезд.

Борис не ощущал свой брак особо удачным, не было между ним и Ириной большой любви. Но десять с лишком лет, прожитые бок о бок, общие беды, общая дочь, переезды, потеря страны и дома, казалось, все ближе притискивали их друг к другу. Вышло, что нет. В жизни образовалась вдруг огромная пустота, полость.

Екатерина Владимировна горевала сильно, но виду не подавала, ей не хватало правнучки, с которой она была близка последние годы.

— Не убивайся, бабуля, — сказал Борис. — Аня все равно останется нашей девочкой.

— Нашей девочкой она не останется, — неожиданно жестко сказала баба Катя. — Вырастет, поймет, примет. Но девочкой она будет тех, кто целует ее перед сном, завтраком кормит, лоб губами щупает.

13.

В конце августа прислали результаты экзамена. «Ану смехим» — «Мы рады сообщить» начиналось письмо. Радости не было, то ли из-за опустошения от достигнутой цели, то ли из-за мучительности последних недель. Так, выпили с бабкой по рюмочке. Екатерина Владимировна испекла сливовый торт.

Первого ноября Борис вышел на работу, во второе терапевтическое отделение иерусалимской больницы «Врата правды». Зарплату, а вернее стипендию ему платило министерство абсорбции и обязалось платить в течение целого года.

Ему здесь все нравилось: склад, где выдавали халаты, ячейка для писем в ординаторской с его непростой для ивритского уха фамилией, врачи, сестры, «русские» санитары с высшим образованием и арабские уборщики.

Профилем отделения была гематология, примерно половина пациентов лежали с проблемами крови. И постепенно, но довольно быстро стало выясняться, что Борис не понимает той скороговорки, на которой делаются отделенческие обходы, не знает болезней, о которых идет речь, не может быстро, летяще, как делают другие младшие врачи, заполнить историю болезни и набросать за пару минут выписной эпикриз. Только кровь на анализы он брал хорошо: после тупых игл «неотложки», одноразовая игла, казалось, сама находила вену.

14.

— Ты не представляешь, кого я встретила в Эйлате! — кричала в трубку Ритка.

Ее впервые послали на ежегодную конференцию, которую проводила для своих врачей больничная касса, поселили в новенькой гостинице «Принцесса». Рита вернулась в большом воодушевлении.

— Я встретила твою Свету! — победно закончила она.

Борису понадобилось сглотнуть внезапно пересохшим ртом.

— Как?

— Никак! Она уже десять лет живет в Хайфе.

— Каким образом? Ничего не понимаю...

— Ты Алладина помнишь? Ты думаешь он кто, саудовский шейх? Ага, как же! Он обычный израильский араб, который учился в эсэсере, каная под угнетенного и обездоленного. А после учебы вернулся на хайфскую свою виллу, но уже вместе со Светкой Синицыной. Слушай, она такая дама, только держись. Старший врач, главная в северном округе по эндокринологии. Про тебя, кстати, спрашивала. Хочешь, ее телефон дам? Хочешь? Она мне свою визитку оставила, а еще...

Борис записал номер на счете за электричество, ждущем оплаты на телефонном столике.

15.

Борис стоял на остановке возле центральной автостанции, под иерусалимским дождем — большим специалистом по превращению зонтов в вороньи трупки, которыми усеяны зимой тротуары этого города; стоял и пытался, как ребенка, огородить собой от дождя букет венозно-красных длинноногих роз. Белая «тойота королла» притормозила, и сидевшая за рулем женщина помахала ему рукой, мол, садись быстрее. Промокший, он плюхнулся на переднее сидение.

Раньше, чем он ее разглядел, он почувствовал запах, это был ее запах, запах ее волос, пробившийся к нему через духи, автомобильную отдушку, почти двадцатилетнюю разлуку. Он понял, что всегда помнил его и искал.

— Привет! — хрипловато сказала Света. — Поехали греться. Я знаю хорошее место.

Хорошее место оказалось рестораном «Анашим» — «Люди», в лесистом Эйн-Кареме. Было пустовато, зима. Борис еще не бывал в израильском, не «русском» ресторане. Им дали маленький столик на втором этаже в углу у полукруглого окна. В небогатом свете зимнего дня они стали внимательно разглядывать друг дружку. Борису она казалась еще красивее: высокая шея, лицо, излучавшее свет и покой. Короче, кто возьмется описывать смятение чувств взрослого, повидавшего виды мужчины, если он, как юноша, видит только то, что хочет видеть...

Она сделала заказ, на хорошем иврите пошутила с молодым, гибко-расхлябанным официантом. Тот белозубо ослабился в ответ.

Принесли горячий хлеб-фокачу и блюдца с оливковым маслом, размолотыми маслинами и сушеными помидорами. Они пили красное вино и говорили, не могли наговориться. Света расспрашивала о родителях и о бабе Кате, о Ташкенте, о прежних однокурсниках, о нынешней работе. Рассказывала, что не знала, куда едет. Рассказывала, каким был Израиль пятнадцать лет назад. Как учила арабский, чтобы с его родителями разговаривать, а потом —

иврит, чтобы врачом работать, ну и английский — экзамены сдавать, на стажировки ездить по миру.

— С Алладином мы тихо расстались, года через три, когда он понял, что детей у нас не будет. Семья настаивала, да и он не сопротивлялся: тяжело ему было со мной.

— Ты покрестилась в ислам?

— Обошлось без этого. В Ташкенте-то Алладин был коммунистом: бухал, трахался, пока в меня не влюбился. Мусульманином он снова стал уже в Хайфе. Братья косились. Осуждали его. Наверно. Я не слышала. Но чувствовала. Но главное — детей не было. Я сняла квартиру на Кармеле, я уже привыкла жить здесь. Потом, это был разгар резидентуры, сутками из больницы не выходила.

— Резидентуру ты закончила? — спросил Борис.

— Боренька, я все свои экзамены уже сдала.

16.

Борис заплатил по счету новенькой, еще не утратившей блеск кредиткой, настоял на этом. О пробоине в бюджете не думал — какие деньги, когда вся жизнь пульсирует сейчас здесь, трепещет на острие. Но чаевые оставит она — и белозубый официант получил много больше, чем ожидал. Это сохранилось из жизни, проведенной с узбеками: деньгами отводить сглаз от счастья.

— Поехали ко мне, — предложил Борис не очень уверенно.

— Нет уж, — ответила Света. — Бабу Катю отложим на другой день. Я еще встречу с тобой не пережила. Поехали-ка лучше, позаботимся о ночлеге.

17.

Гостиница «Ариэль» находилась в самом начале Хевронского тракта. Удвоенные полукружья белого фасада намекали на скрижали Завета.

— Боря, ты меня еще помнишь? — спросила она, оплетая его руками и ногами.

— Да я никого и не помню, кроме тебя, — выдохнул он ей в ухо.

Утром они стояли голые, в номере было сильно натоплено, и смотрели в окно, на проступавшие из расцветной ваты стены Старого города, афишную тумбу монастыря Дормицион, Масличную гору с переизбытком иудейских и христианских святынь. Дождь кончился.

Он не знал, что называется счастьем. Может быть, вот такое состояние полного соответствия самому себе, внутренней и внешней равновеликости и абсолютной свободы, которые он ощущал, прижимая к себе эту женщину.

Послесловие

К доктору Борису Бургу, кардиологу в нашей поликлинике, я записался на прием с жалобами на ощущение собственного сердца, которого не чувствовал прежде.

Мы обнялись, ведь не встречались уже больше двадцати лет, с ташкентской поры.

Он рассказал мне про всех. У Нодира пятеро внуков, заведует отделением. Рубен стал заправским москвичом, но медицину оставил. Петя Калашников умер несколько лет назад от ураганного рака легких. Альфия давно живет в Бельгии, на связь не выходит. Ритка развелась, работает семейным врачом, недавно выдала замуж дочку. С Мишкой он не видится, хотя тот здесь где-то неподалеку. Как-то пересохла дружба. Все строит из себя писателя, хотя уже не мальчик, мог бы и угомониться.

Екатерина Владимировна похоронена на немецком кладбище в старом иерусалимском районе Мошава Германит. Аня демобилизовалась и уже полгода бродит по Южной Америке. Мама с мужем приезжают каждый год, им нравится гостить в Иерусалиме. У Иры с Бершадским дочь, зовут Николь.

Со Светой они поженились. Съездили на Кипр, он настоял. Все эти годы лечились, пытались родить. Но не произошло.

— На этот фильм мы опоздали, — сказал Борис.

Окончание разговора он скомкал, в коридоре томились пациенты, ожидавшие приема.

Антон Нечаев

ПАКИЦЕТ

Я впервые увидел его, странного, несуразного, с сильным дельфиньим хвостом и маленькими копытцами, в Википедии, когда ринулся восполнять очередные внезапно открывшиеся пробелы в образовании. Серега, догнав меня на лестнице, поинтересовался, с подковыркой, геологическими периодами, запомнить которые для меня всегда было сложностью. Все эти девоны, карбоны и кембрии не вызывали в голове никаких ассоциаций, не привязывались ни к чему, и поэтому, попадая на секундочку в мозг, тут же из него испарялись. Владеть информацией в современном мире не такое уж достижение, утешал я сам себя, это прежде за информацией стояла усердная, усидчивая работа, поиск источников, недели в библиотеках, а сейчас... Стукни по клавишам, и через мгновение все, что знает Вселенная, прямо перед тобой. И «Улисс» сейчас, да и тривиальная эрудиция не удивит никого. Но он — он поражает. Необычный, загадочный, в то же время сам отвечающий на загадку, ведь мало кто верил, что ряд животных вернулись в море, скептики требовали предоставить им переходный вид, что-то сухопутное и морское в одном организме, и тут возник он, хищный, проворный, сильный, стремящийся в глубину, отвергающий общий вектор движения. Серега продолжал ехидно допытываться про стратиграфическую шкалу, а я восхищенно пялился на картинку, мысленно отмахиваясь от упрямого надоеды, всей фантазией, всей душой устремившись в древние времена, когда по земле бродило это своевольное независимое животное. И ни обуздать ведь его, бормотал я, ни оседлать, ни заставить работать. Всей своей волчьей, оленьей, кабаньей, китовой наружностью он извещает: мне с вами не по пути. И если мы стадом, толпой стремимся к вершине, среди наших лиц, рыл, морд виднеется, ускользая, упрямый, упругий хвост пробирающегося в обратном направлении зверя.

— На Калинина новый винный магазин открыли, — сквозь облачный пар разгулявшегося воображения услышал я голос Сергея, — может, сходим, посмотрим?

Сергея, кандидат физических наук, специалист по уфологии и полтергейсту, в отделе геологии откровенно скучал, ему не хватало общения. Чтобы привлечь к себе интерес, завязать разговор, он периодически едва слышно стучал ногой по столу, изображая робкого барабашку, но я, к сожалению, не интересовался паранормальной жизнью. Совсем.

Мы спустились на первый этаж, где за стеклом вахты скучал охранник-пенсионер Слава.

— Начальство сейчас приедет, — бросил он нам вслед.

Перед выходом Серега замялся.

— Начальство приедет, а нас нет. К тому же у меня есть пара вопросов к Губилову. Может, ты один в магазин сходишь? Если что, я в доле, ну и по поводу ассортимента — звони, чтобы вместе решить.

Мысли о пакиците не выветривались у меня из головы, и я был рад пройтись в одиночестве.

За стальными пятиметровыми воротами, защищающими территорию от посторонних, ожидал внедорожник начальника.

— Почему не открываете, изверги? — полушутя, полусердито пробурчал Игорек.

— Слава спит, а я в магазин, Серега ждет приезда Губилова. По-сигналь, может кто-нибудь и услышит.

Игорек кивнул и начал что есть мочи давить на клаксон. Под непрекращающиеся сигналы я свернул за угол, подошел к мистическому перекрестку.

Около десяти лет назад пьяная компания молодых людей на «гелике» сбила на этом перекрестке заведующую отделом Серафиму Степановну. Машина протащила ученую, кандидата наук, около пятидесяти метров по улице, шансов на спасение не было. А подвыпившая молодежь и не заметила смерти старушки. Однако через четыреста метров машина-убийца по непонятной причине перевернулась, все, кто был внутри, моментально погибли. Их ужасную гибель оплакивал весь город.

Я старался улицу в этом месте не пересекать. После той аварии перекресток оборудовали светофором, и некоторым водителям приходилось теперь притормаживать, когда горел красный, но ос-

новой поток так и несся, увлеченный собственной мощью и скоростью.

— Никакой мистики, просто хамство и глупость, пренебрежение не только своей, но и чужой жизнью, — бормочу я себе под нос, пытаюсь выдать из реальности ее необъяснимую составляющую.

Но просто так ощущение иноприсутствия не уходит. То там, у дальнего светофора, то посреди дороги мне мерещится призрак старушки, немой, полупрозрачный силуэт, сквозь который пролетают машины. Магазин находится на другой стороне улицы, и пересечь опасный участок необходимо, в противном случае придется совершить приличный крюк по району, в котором тоже небезопасно. «Калинина рулит» — начертано на ограде, за которой скрывается построенный еще японскими военнопленными двухэтажный домик-руина, заселенный недоброжелательными наркоманами.

Я выбираю третий путь, предпочитая магазину через дорогу небольшой супер вверх по улице, где хоть и цены повыше, но жители поспокойнее, и опасных перекрестков с ю.историей на пути не встречается. Возможно, именно так и поступил бы древний независимый пакицет.

На другой стороне мужчина интеллигентной внешности за остановкой, в ожидании троллейбуса, справлял большую нужду. Редкие прохожие, стараясь не смотреть в его выпученные сумасшедшие глаза, ускоряя шаг, проносились мимо. Минуту я наблюдал за этим буддистским действием. До нужного магазина было еще около пятисот метров, но торопиться мне было некуда: весь рабочий день впереди. Мужчина, не торопясь, исполнил все необходимые процедуры, выпрямился, застегнул измазанные глиной или чем-то похожим штаны, помахал мне рукой. Я, сделав вид, что не замечаю его приглашающего к общению жеста, двинулся дальше, боковым зрением приметив по правую сторону от мужчины расплывчатый силуэт старушки. «Вот опять, — досадливо морщусь я на новое вмешательство потустороннего мира, — почему эти призраки не могут никак успокоиться?»

Невдалеке замаячил троллейбус, старушка ласково взяла мужика под локоть, подвела к краю дороги. Я с трудом сдержал порыв броситься на помощь несчастному, уберечь его от неугомонного привидения, желающего отомстить всем живым, но чем бы я мог помочь? Чертов безумец не только не поверил бы мне, а, скорее

всего, попросил бы денег или просто отнял бы их у меня, пригрозив ножом-выкидухой, который в районе Калинина есть у каждого. А деньги именно в тот момент мне были нужны, ведь я собирался приобрести в магазине бутылку чего-нибудь веселящего, и на работе меня ждал Серега.

Троллейбус, покачиваясь, подплыл к остановке, встречные потоки пассажиров смешались, и я потерял странную пару из виду. Когда автобус отъехал, на остановке уже никого не было. Секундочку, я точно видел, что к остановке приближался троллейбус, серый, потертый, неторопливый, как все троллейбусы в мире. И никакого автобуса рядом не было. Как же вышло, что на остановке случилась такая подмена? Или это у меня произошел сбой в восприятии, возможно, я отвлекся на что-то еще, более близкое, на моей стороне улицы, или туманная тень пакицета помутила мое сознание, перепутала вещи, погрузила во временную дыру... Пакицет и временная дыра — связь тут, безусловно, просматривается, ведь на месте пакистанского кита в эволюции, как ее видят ученые, существовал пробел, который, собственно, пакицет и прикрыл своим спасительным появлением. Он будто связал эпохи, как иголкой, своим пружинистым мускулистым телом. И та же иголка потянула время назад, в первоначальную стихию, в которой когда-то давно появились первые микроскопические организмы.

— Мужик, ты не доведешь меня до дома? — раздался голос с края дороги. На низком заборчике, огораживающем газон, сидел приличного вида парень. — Третью неделю пью, понимаешь, все нормально было. А сегодня вышел в магазин, и ноги отказали. Вот присел на забор, и ни вперед, ни назад.

Я огляделся, поблизости никого, и рассказ его походил на правду. На простом, неглупом лице застыла тихая блаженная радость, без признаков беспокойства или тревоги. Вопреки отказавшимся подчиняться ногам. Но это можно понять: три недели приятного отдыха, который организовал себе парень, создали ему благостное настроение. Я предложил ему на меня опереться, и мы двинули к ближайшему зданию. Ноги действительно его не слушались, волочились за ним бесполезные, как веревки; он едва на них опирался.

Во дворе на детской площадке дети играли в бутылочку. Похоже, бутылочка выбрала не ту пару, поскольку заплаканная дев-

чушка лет пяти-шести непрерывно восклицала, раскачиваясь, как в мантре: «Не хочу целоваться с Сашей, не хочу целоваться с Сашей». В полуметре от нее, опустив голову, стоял расстроенный Саша, а остальные три-четыре ребенка дергали девочку за рукава красной кофты, требуя соблюдать правила. Но завидев нас, вползающих в обнимку во двор, детишки оставили свои игры и бросились к нам наперегонки.

— Дядя Толя, дядя Толя, — как оглашенные кричали они, — что с тобой случилось?

— Ничего, родные мои, мои хорошие, — ласково улыбался им повисший у меня на плече парень, — захворал немножечко, видите? Вот добрый человек мне помогает.

— Слушай, — обратился он ко мне вполголоса, — я им всегда конфет покупаю, вот и сейчас в магазин за конфетами шел, да не дошел. Будь другом, купи им конфет немного, а я пока тут на лавочке посижу, оклемаюсь. Вот тебе деньги. — И он протянул мне пятисотрублевую бумажку.

Я осторожно дотащил его до скамейки, взял купюру.

— А каких конфет-то купить?

— Все равно, они все кушают. Только много не бери, для здоровья вредно, да и баловать чересчур деток тоже ни к чему. Купи рублей на двести, а остаток себе возьми, хороший ты человек, помог мне. Иди, а я посижу, с детками пообщаюсь да с голубками поразговариваю.

Глянув на детвору, застывшую в сторонке в ожидании моей реакции, я похлопал паренька по плечу и развернулся назад к магазину, куда направлялся до этого. За моей спиной раздалось громогласное детское ура. Я помахал детишкам рукой, словно обещая, что скоро вернусь со сладостями, хотя совсем не был уверен, что сумею вернуться. Некогда мне разносить по дворам конфеты — на работе меня ждал Серега.

Лавируя между машинами, хаотично припаркованными во дворе, я вышел к скособоченной беседке еще советских времен, зашел внутрь, присел на лавочку. Пахло сыростью и гнилой древесиной, точно так же, как в тот вечер в этой же самой беседке, когда Наташа позвала меня погулять.

— Ты не хочешь обратить на меня внимание, — обидчиво-утвердительно заявила она по телефону, когда я уже шагал домой.

— Очень хочу, — покладисто отвечал я, — но в данный момент я иду в главный корпус.

— Но ты же вернешься? До конца рабочего дня еще четыре часа.

— Конечно, вернусь, — обещал я.

Возвращаться не хотелось, но Наташа была красива.

Она много времени проводила у меня в кабинете, изучая нашу рабочую программу. Усаживалась в мое кресло, упиралась грудью в край моего стола, разводила в стороны плечи. Я сидел по ее правую руку, делая вид, что увлечен причудливым устройством программы, а на самом деле вдыхал запах ее духов и изо всей силы сдерживался, чтобы не куснуть ее обнаженную руку. Иногда она вела меня в свой кабинет, и мы вместе вносили в компьютер данные из архивов, я диктовал ей из пыльных потрепанных книг наименования и номера, она, сидя напротив, стучала пальчиками по клавиатуре. В конце каждого часа работы ей необходимо было вытянуться, размять мышцы, поговорить о чем-то, не связанном с нашей непосредственной деятельностью. Подобные разговоры, она считала, повышают концентрацию и продуктивность. Примерно в середине такой работы она скидывала туфли и оставалась босой до конца дня, а туфли, как правило, со стельками золотого цвета, валялись у меня под ногами, нежно блестя, словно крохотное и недостижимое созвездие.

В беседе она дала поддержать себя за руку. Я попытался ее поцеловать в губы, но было уже темно, да и она повернула голову, поэтому удалось ее чмокнуть лишь в район переносицы, на что она естественно и незамедлительно рассмеялась.

— Ты неловкий, — констатировала она.

Я почувствовал, что краснею, и возблагодарил Всевышнего и мэрию за отсутствие фонарей на улицах. В темноте она не заметит мое смущение. Но она заметила, она была очень умная девушка.

— В темноте не видно, но я знаю, что ты покраснел, — прямо заявила она.

Я, жалкий глупец, зачем-то стал отпираться вместо того, чтоб улучшить свое стратегическое положение попыткой нового поцелуя.

Мы пошли вдоль речки Бугач, где тихо плескались ондатры, мимо частных домов, вдоль высокой бетонной ограды наркологического диспансера. Невдалеке шумела оживленная магистраль. По пути нам встретился сонный теленок, который привязался к нам

как собака, некоторое время шел следом. «Потерялся, наверное», — рассеянно думал я, совершенно забыв о Наташе. Но выйдя к трассе, при свете уличных фонарей, я увидел ее глаза, полные слез.

— Что такое, что случилось с тобой? — разволновался я, беспокоясь, не обидел ли я ее чем-нибудь.

— Ничего страшного, — лепетала девушка, вытирая слезы, — просто этот бычок... Он напомнил мне родину.

Кто-то легонько похлопал меня по плечу. В беседке стояла девушка, что отказывалась целоваться с Сашей.

— Ты не пошел за конфетами? — расстроено спросила она.

— Уже иду, милая. Устал вот немного, присел отдохнуть.

— Но ты же принесешь нам конфет?

— Конечно, — я кивнул и поднялся с лавочки.

— Принеси поскорее.

Глаза этой девочки напоминали глаза теленка, того, что заставлял плакать Наташу.

На крыльце магазина стоял Губилов, озабоченно шаря в карманах.

— Что-то случилось? — Я хлопнул его по плечу.

— Да вот люди просят добавить им на бутылку. Обычно я ничего не даю в таких случаях, но эти заслуживают поощрения. За честность. Ведь могли же соврать, что на хлеб или, допустим, жена захворала.

— А я тоже как раз за бутылкой пришел. Мы с Серегой решили выпить немного.

— Дело хорошее, — одобрил Губилов, — только, кажется, у меня нет с собой денег, только карта, — он растерянно развел руками, — а я ведь так хотел помочь бедолагам.

— Я возьму это на себя, — успокоил я шефа.

В стороне топтались двое хмурых, нервных мужчин. Я подошел к ним с купюрой.

— А тот чего же? — хрипло спросил один из них. — Нам тот обещал денег. А тебя мы не знаем. Может, ты мент?

— А его вы знаете?

— Его тоже не знаем, но он не мент, это точно.

— Кто же он?

— Он порядочный человек. Слесарь, наверное, или сварщик. Скорее, сварщик, потому что лицо умное.

— Ну, как хотите, — развернулся я в сторону магазина.

— Постой, мужик, извини, совсем мой товарищ сбрендил, — подключился к разговору второй, — жена у него болеет, он и не соображает ничего от волнения. Дай нам, пожалуйста, денежку.

Я протянул купюру второму.

— А пьете вы что? — поинтересовался я. — Что в магазине берете?

— В магазине ничего не берем и тебе не советуем, отравы там одна. Мы у бабки Марьи чистый спирт покупаем, лучший напиток на свете.

— А где проживает старушка?

Один из них назвал адрес.

— Если хочешь, мы отведем тебя туда, представим, а иначе она не пустит, она пускает только знакомых.

Поблагодарив, я вежливо отказался. Зачем я вообще узнавал адрес бабки Марьи? Знаю зачем: чтобы поговорить с мужиками подольше, потянуть время, дождаться, когда Губилов выйдет из магазина: мне не хотелось покупать бутылки при нем. Однако разговоривать стало не о чем, и мужики, понятно, спешили к своей расчудесной бабке, к ее волшебному спирту.

— Пойдем мы, — как-то робко, недружным хором объявили они. — И это... Ты не думай, мы все вернем до копейки, вот увидишь. При первой возможности...

«Ага, конечно», — скептически усмехнулся я и, вздохнув, вошел в магазин.

В магазине Губилова не было. У прилавка с конфетами сгрудилась недавняя уличная детвора. Завидев меня, девочка с глазами теленка, завопила истошно, указывая на меня пальцем:

— Вор, он украл наши деньги!

Вся детская шайка в один голос ее поддержала:

— Вор, вор, вор!!!

Я застыл в растерянности у входа, кассирши и продавщицы поглядывали на меня осуждающе, краем глаза я заметил приближение охранника у меня за спиной. Отступить было поздно. На мое запястье легла стальная, накаченная ладонь.

— Спокойнее, гражданин, без резких движений. Сейчас во всем разберемся, — услышал я предостерегающий голос охранника. Менеджер уже куда-то звонил. — Я бывший старший оперуполномоченный с самым высоким в нашем районе процентом раскрытия преступлений по горячим следам, — продолжил вещать охранник мне в правое ухо, — сейчас ты увидишь, как работают профессионалы. Жулик, — зачем-то добавил он.

— В чем проблема, детишки? Только не все сразу, кто-то один. Вот ты, — новоявленный дознаватель взглядом указал на девочку, — рассказывай!

— Он украл наши деньги, — завизжала девчонка, — проверьте, у него в правом кармане наши пятьсот рублей.

Охранник извлек из моего кармана мятую пятисотку, победоносно на меня глянул.

— Вся проблема наших следственных органов в том, что они слишком затягивают расследование. Большинство дел можно раскрыть в течение первых пяти-десяти минут с момента совершения преступления, — назидательно обратился охранник к замершему в восхищении торговому залу. — Петя, звони ментам! —скомандовал он немного ошалевшему от круговерти событий менеджеру.

— Уже, — заикаясь, пролепетал Петя, — однако, они сказали, что надо подождать, сегодня день урожайный на преступления.

— Всегда у них так, — проворчал охранник, пряча пятисотку себе в карман, — когда они до зарезу необходимы, их нет. Ты откуда здесь взялся вообще? Живешь рядом или работаешь?

— Работаю в квартале отсюда.

— А к нам зачем заявился?

— С коллегой решили маленько отдохнуть да обсудить накопившиеся рабочие проблемы.

— Видать не на что отдыхать-то было, поэтому деток по дороге ограбил?

— Не грабил я никого, это они попросили...

— Ладно, ладно, не заливай, — перебил меня бывший оперуполномоченный, — сейчас к тебе на работу пойдем, здесь тебя все равно держать негде. Там ментов и дождемся. И не вздумай рыпаться, только хуже будет.

Я пожал плечами. Покидая магазин, я обернулся на группку детишек, так и стоявшую у прилавка, и показал девчонке с телячьим

взором язык. Она в ответ подмигнула лукаво и тут же обратила жалостливый взор к продавщице, что-то активно объясняя и кивая в моем направлении. Пожилая сердобольная тетка тут же начала собирать по горстке конфет каждого вида для обиженных ребятишек.

— Веди, Сусанин, чего встал, — легонько толкнул меня в спину охранник, — надеюсь, ты не из ФСИН, они же тут рядом.

— Нет, — успокоил я своего пленителя, — мой офис дальше по улице.

— Это с динозаврами что ли?

— Он самый.

Дорога спускалась почти к самой речке Бугач, и мост ожидаемо подтопило; автобусы с низкой посадкой, проезжая, зачерпывали воду; внутри салона слышались девчачьи взвизги. По берегу разлившейся речки, как и обычно, расположились с нехитрой снедью — хлеб, лук, рыба, картошка, водка — шумные компании местных, тех, которые «Калинина рулит». Я невольно засмотрелся на пару обнаженных рыжих девиц, разлегшихся у самой воды; кажется, я их видел в овощном ларьке у таджика Степана, где я покупаю яблоки; тогда девки заигрывали с таджиком, скромным улыбчивым парнем, уже полгода ожидающим приезда супруги с родины. Мне сразу стало понятно, что одна из девиц больна чем-то распространенным и венерическим, только я не мог сообразить, какая именно. Тогда я спешно покинул ларек, даже не купив яблок, поскольку заметил растущее любопытство этих девушек ко мне.

А сейчас они, окунув ноги в Бугач, прихлебывая дешевое вино из картонной коробки, преспокойно загорали без верха, и это в районе, где после семи вечера девушке, даже полностью укутанной в паранджу, появляться небезопасно. А девчонки лежали, как ни в чем не бывало, так близко друг к дружке, что, казалось, сливались в одно существо с двумя белыми животами, четырьмя грудями и двумя копнами рыжих густых волос.

— Знаю я их, — пробурчал, заметив мое внимание к девушкам, охранник, — шалавы местные, Марта и Клара. У Марты триппер, если что; она на учете в венерологии на Брянской много лет состоит. Постоянно чем-то заражается. И других заражает.

— А кто из них Клара, а кто Марта?

— Не помню точно. Лучше с ними не связывайся.

Мы пошли по мосту по колено в воде, охранник, зарываясь мощными ногами-копытами в воду, создавал бурлящие водовороты; раздражаясь на мое неспешное продвижение в этой массе жижи и мусора, он, задрав могучую волчью голову, вырвался чуть вперед. Фигурой, осанкой, мощью он неожиданно напомнил мне эндрюсарха, вымершего гигантского копытного хищника, смесь медведя и волка, обитавшего в Монголии.

На другой стороне улицы у дверей столовой в ожидании открытия собиралась густая очередь одинаковых серых людей, работников баз, повсеместно раскиданных по району. Овощи, фрукты, одежда, стройматериалы, посуда, рабочий инструмент — все продавалось в маленьких складах-магазинчиках по оптовым ценам, исследовать которые обожал наш отдел. Вот и сейчас я всматривался в проходы между складами, заваленные ящиками, коробками и поддонами, в надежде увидеть Николая Петровича или Галину Ивановну, которые могли бы меня спасти, убедив моего ретивого конвоира в моей несомненной благонадежности. Но никаких знакомых не видно, и мы уже подходим к железным воротам, за которыми в целости и сохранности спят мои динозавры.

— Что-то есть захотелось, — задумчиво протянул охранник.

— У нас на кухне есть кое-какая еда. Ничего особенного, но червяка заморить можно, — предложил я решение.

— Нет, дружок, хочется хорошего горячего кушанья, полноценный обед. Сейчас столовая открывается, пойду я, пожалуй, перекушу.

— А как же я? Мое дело? — молвил я в изумлении.

— Подождет твое дело, — буркнул эндрюсарх, скрывая улыбку в могучих скулах, — иди, чаю попей, расслабься. А пятьсот рублей я верну их владельцу, — он помахал бумажкой перед моим носом. — И не попадайся на примитивные разводы впредь. Могут быть последствия и похуже.

Я непонимающе на него уставился.

— Господи, что за дурень! — воскликнул охранник. — Как ты вообще в этом мире живешь? Схема у нас такая: я, безногий парень и дети; продавщиц, этих скупых стерв на конфеты разводим, что непонятного? Дали бы они когда деткам конфеты бесплатно, как ты думаешь? А обманутым бедным крохам, которых подло провел такой пройдоха. как ты, сразу выдали по полкилограмма на брата.

Уразумев смысл этой странной бескорыстной аферы, я рассмеялся.

— А дети-то чьи, дворовые просто?

— Частью дворовые, а частью наши. А девчонка-заводи́ла — дочурка моя распрекрасная, большой артистический талант.

— Поздравляю от всей души с такой даровитой дочерью.

— Спасибо, — расшаркался охранник в смущении. — Пойду я питаться.

— Приятного аппетита!

Он направился в сторону мистического перекрестка, а я, потоптавшись у ворот, все же решил зайти: зачем-то я тут оказался. Сразу за воротами с хриплым лаем на меня бросился Дик — молодой кобель, подобранный кем-то из наших еще щенком и прижившийся, ставший членом команды. Избавиться от Дика непросто: круглосуточно он требовал с ним играть в догонялки, а тех, кто не поддерживал его шаловливое настроение, норовил цапнуть за ногу. Я, чтобы уважить псину, немного побегал от него по двору, чем привел его в невероятный восторг; перевозбужденный, он никак не хотел меня отпускать, кидался ко мне на грудь, клацая здоровенными зубами. Наконец, мне удалось заскочить в помещение, где меня тут же негодующим воплем встретил пенсионер Слава.

— Где ты пропадал? — загавкал он на меня. — Тебе Губилов уже час названивает из главного корпуса. Он не приедет сегодня, у него на даче электрический столб сносят, он срочно рванул туда.

— Как уехал, — опешил я, — я только что встретил его в магазине.

— Не знаю, кого ты там встретил, но он к нам и не собирался. Поэтому все вопросы, которые вы хотели ему задать, откладываются на неопределенное время.

— Я и не хотел ему ничего задавать, это Серега хотел.

— Кстати, Серега тебя не дождался и сам пошел в магазин. Может, ты не Губилова там встретил, а Серегу?

— Нет, именно Губилова и детей, и эндрюсарха.

— Кого, кого?

— Неважно. Кто же на месте?

— Не знаю. Я сменяюсь сейчас, если сменщик приедет, а за всеми вами не уследишь. Николай Петрович пошел по базам гулять,

Сергей, как я уже сказал, в магазин. Наташа на месте, Галина Ивановна вроде бы тоже тут.

На втором этаже в туалетах слышалось недовольное ворчание уборщицы Люды, грохот ведер, журчание унитазной воды.

— А, это ты, — бросила она вместо приветствия, — где пропал?

— По делам ходил, по работе.

— Знаем мы твою работу, — продолжила классический уборщический гундеж Люда, — на базу, поди, шастал или в магазин за бутылкой. Тебя, вон, Наташка наверху заждалась, в программе работать хочет. А Серега в магазин улизнул, теперь жди неприятностей. И сортир снова загадили...

— А Марсела закончила уже своих бабочек?

— Кто за твоей Марселой следит, надоела она всем до чертиков.

Поднявшись на третий этаж, я, видя открытое хранилище насекомых, минуя свой кабинет, захожу в царство Марселы, которой не оказывается на месте. Сажусь в мягкое крутящееся кресло, рассматриваю фотокарточки многочисленных родственников Марселы на столе под стеклом — приземистый смуглый народ на фоне южных степей Абакана. На стене сразу над коллекцией ядовитых паукообразных — проткнутый булавками в разных местах портрет известного писателя Аркадия Гайдара, устроившего, по некоторым историческим трактовкам, около ста лет назад геноцид хакасского народа и считающегося до сих пор у хакасов кем-то вроде Посланника Дьявола.

— Ты что тут расселся? — послышался из дверей голос Марселы, а следом явилась и она сама, как всегда в густом макияже и с оголенными аппетитными плечами. — Мы у тебя в кабинете битый час ждем. Наташка шампанского принесла и виски, хочет знакомство с очередным богатеньким буратиной отметить. Идешь?

— А как же Серега, он же в магазин ушел, может быть, и егождемся?

— Да ну его, он скучный, к тому же напивается постоянно. Ты знаешь, что он ко мне приставал? Прижал меня к стенке, обмацал, поцеловать пытался.

— Это потому, что он считает тебя колдуньей. Он говорит, что тот, кто тебя поцелует, возьмет твою силу.

— Идиот, — рассмеялась Марсела, — нет никакой во мне особенной силы, только шарм, красота и очарование. Бог с ним, пойдем же скорее. — Она схватила меня за руку и вытянула из кресла. — Пойдем, у нас весело.

Не успев завернуть в свой кабинет в конце коридора, я увидел Галину Ивановну, которая бодро мне помахала.

— Тебе Губилов звонил, — крикнула она, — он не приедет. У него электрический столб на даче рухнул.

— Я знаю, — заорал я в ответ, — иди к нам шампанское пить.

— Нет, лучше ты к нам — чай. Сейчас Александра Константиновна в гости придет, соскучилась по нам, и полгода без нас на пенсии не выдержала.

— Хорошо, найду обязательно, вот только фонды проверю.

Марсела изо всей силы дернула меня за рукав, и я буквально влетел в собственный кабинет, где в изящном танце сама с собой кружилась неподражаемая Наташа.

— Садись за стол, руководи музыкой, наливай и молчи, — приказала она, и я не замедлил повиноваться.

По правую руку от меня окно, за окном — крыша, по округлым ребрам которой ступает Наташа, высоко поднимая колени, дурачась. На фоне светлого закатного неба она похожа на пьяного журавля. Вслед за ней на крышу пытается вскарабкаться и Марсела, но сначала ей нужно покорить широкий, недавно пристроенный подоконник, который никак не хочет ей покоряться. Я дружески поддерживаю ее зад, круглый и мяконецкий, как подтаявшая в обертке конфета. Она тоже хочет топать по крыше, тоже хочет казаться киношно-стройной на фоне летней, быстро тускнеющей синевы. Пухлая приземистая Марсела.

— Налей мне еще немного, — кричит из дальнего угла крыши Наташа, и Марсела, не успев отойти от окна, вопросительно обращивается ко мне:

— Нальешь?

Я подаю ей стаканы и блюдце с печеньем, Марсела осторожно шагает к Наташе, и вот они уже устроились на самом краю, почти что над тротуаром, метрах в пятидесяти от них внизу автобусная остановка, но в этот час на ней никого, да и машин проезжает

немного; некоторые успевают заметить девушек, беспечно болтающих ногами на виду у всего района, со стаканами алкоголя в руках, блондинка и брюнетка, стройная — мини, полная — спортивный костюм, и сумасшедше сигналият, пытаясь привлечь их внимание. Но девушкам не до случайных сигналов, им нужны сигналы устойчивые, надежные, постоянные. Наташа рассказывает о своем новом избраннике с «мерседесом», одинокий богач без вредных привычек, налаженный немудреный бизнес. Наташа елозит бедрами по блестящей жести, впивается дорогими ногтями в кирпичную кладку, огораживающую здание от остального мира; закатывает глаза. Марсела слушает, как водится, раскрыв рот. Очевидно, этот парень очень хорош, слишком хорош, и не только в материальном аспекте.

Я смотрю на причудливые девчачьи головки, склонившиеся доверительно друг к другу, два капризных цветка. На крышу мне лень забираться, я подливаю себе виски в стакан и продолжаю поиск хорошей музыки в своем рабочем компьютере. Одна песенка сменяет другую, моя личная коллекция и безразмерный ютьюб иссякают, а нужной мелодии нет и нет, мелодии, чтоб отвлекла сердце, повела танцевать, вернула девиц и меня на землю, в тепло рабочего кабинета. Их — с крыши, а меня — от мыслей о пакиците, который снова всецело завладел моим разумом. Я знаю, что мы вернемся, войдем в привычную и спасительную рабочую обстановку, мы и так рядом, хотя славно и заманчиво быть не здесь, унести или, скорее, быть унесенным нежным ветром, летним умирающим вечером. Но, чтобы вернуться, нам нужна музыка, легкая, лучше всего испанская или латиноамериканская мелодия. Наконец, я включаю Шакиру, ничего более оригинального не сумев придумать, и поворачиваю колонку к окну. Гортанный голос колумбийской арабки поет что-то про бедра, и Наташа с Марселой немедленно отвлекаются от беседы о кавалерах, торопятся поближе к колонке, в комнату, в тепло, ко мне. И мой пакицет на время уходит, махнув жестким непокорным хвостом.

Я собираюсь расспросить Наташу о хахале с «мерседесом» и о ее планах на жизнь, но она не отвечает, снова уходит в себя, танцует, танцует. В дверь кабинета стучат. Я бы не открывал, но наше присутствие не скроешь, ведь рычит и грохочет Шакира. На пороге улыбающаяся Галина Ивановна.

— Александра Константиновна принесла торт и приглашает всех присоединиться, идете?

— Конечно, идем, — высказывает в коридор Марсела, следом за ней Наташа.

— Спустишься вниз за Славиком? — просит меня Галина Ивановна.

Я киваю и иду к лестнице. Начав спускаться, замечаю, что стена лестничных пролетов раскрашена разными цветами, повсюду аккуратные надписи. Стратиграфическая шкала, полная, от катархея до кайнозоя, с первого по третий этаж. С утра ее точно не было. Серега с его вечными выдумками-подковырками, больше некому. С намеком на мое нетвердое знание всех периодов. А может, и без намека, по доброте душевной, чтобы все, наконец, в отделе выучили те времена, в которых они работают. Я легко нахожу где-то между первым и вторым этажами самое основание эоцена и рисую шариковой ручкой, которая всегда со мной, маленькую корявую фигурку пакицета, глядящую вдаль веков на причудливый эволюционный пейзаж, фигурку одинокую и беззащитную, как человек-наблюдатель на некоторых картинах Дали, наблюдающий за процессом, исключенный из главного действия. Подумав немного и вернувшись на несколько ступенек вверх, в самом конце эоцена я корябаю мощного эндрюсарха, окруженного стаей тьявкаующих мезонихий, расползшихся уже по всей многомиллионнолетней эпохе.

Внизу из вахтерской послышались голоса. Трое незнакомых мужчин вместе со Славой вглядываются в записи с камер.

— У них там слепая зона, — быстро объяснил Слава, — уличные камеры не захватывают наш участок. Только с наших камер можно что-то увидеть.

— Это так, — подхватил один из мужчин, — но, к сожалению, что-то конкретное разглядеть невозможно слишком аппаратура дешевая: не разобрать ни лиц людей, ни номеров машин, только общая картина событий.

— Это уже не ко мне вопросы, — взъерепенился Слава, — какой у нас бюджет на охрану, знаете?

— Мы без претензий. Просто хотим определить истину. Да и городские камеры ничуть не лучше.

— Да что случилось-то? — не вытерпел я.

— Человека на перекрестке сбили. Насмерть. Машина, по всей видимости, из нашего переулка выворачивала. Пытаемся отыскать эпизод.

Я взгляделся в экран. Люди, автомобили, серая спешащая масса. Вот прямо под камерой проходит Серега, направляется в магазин, Клара и Марта, назагоравшись, игривой походкой идут в ту же сторону, а вон, кажется, промелькнул Губилов.

— Вот же Губилов, — ору я Славе, показывая на экран, — я говорил, что видел его. Значит, он приезжал все-таки.

— Да отстань ты со своим Губиловым, не было его, звонил он, у него столб на даче сносят. Видишь, мы делом заняты, сбит человек насмерть, водитель скрылся, а ты тут со своим Губиловым. Понимать надо!

Я присмотрелся внимательнее к происходящему на экране. А где же эндрюсарх, примерно в это же время он должен был пересекать мистический перекресток, где в очередной раз случилась авария. Машины двигались, пешеходы шли, а мощного, легко узнаваемого силуэта охранника нигде не было видно.

— Послушайте, — обратился я к полностью ушедшим в созерцание экранной картинки специалистам, — в это же самое время я подходил вот с этой стороны, — я указал на экран, — и со мной был еще один человек, который потом направился как раз к перекрестку, он хотел поесть в столовой на базе. Но его почему-то нету на записях.

— Как он выглядел? — не глядя на меня, поинтересовался один из гостей.

— Крепкий, мощный, на медведя похож. Работает охранником в магазине рядом.

Все четверо переглянулись.

— Он на перекрестке лежит. Его сбили, — хмуро ответил самый возрастной из гостей.

Я опешил, на секунду вылетели из головы пакицеты и эндрюсархи, Наташи и Галины Ивановны.

— Можно пойти посмотреть?

Все четверо дружно пожалы плечами.

На тротуаре на другой стороне улицы лежало накрытое простыней тело. Рядом стоял полицейский. Прохожие, отводя глаза,

пробегали мимо, боясь зацепить несчастье. Тело по очертаниям не казалось таким огромным, каким был эндрюсарх, но после смерти тела уменьшаются, это известно, опадают легкие, вваливается живот, раскисает мускулатура. Под простынею вполне мог быть и он, арестовавший меня охранник, только немного уменьшенный. Чтобы выяснить это наверняка, надо было пересечь перекресток. Я собрался с духом, обеими ногами встал на бордюр, оглянувшись во все стороны, приготовился ступить на проезжую часть.

— Вот ты где! — раздался за моей спиной радостный голос. — Тебя как за смертью посылать. Где ты весь день пропадаешь? Пришлось самому двинуть за пойлом, благо Губилов сообщил, что не явится. Значит, никаких дел на сегодня нет. — Позади меня, широко улыбаясь, с густо набитым фирменным пакетом из алкогольного магазина стоял Серега. — Идем?

— Что ты там купил интересного? — не сдержав любопытства, спросил я.

— Пойдем, и узнаешь, — загадочно подмигнул Серега.

Я бросил взгляд на лежащий на другой стороне улицы труп.

— У меня тут одно дело на пару минут, — объяснил я, — разберусь и приду.

Серега посмотрел в направлении моего взгляда.

— А кто там? — встревожился он. — Не из наших?

— Нет, нет, — я его успокоил, — но, кажется, я знал этого человека.

— Хорошо, дружище, выясняй, что должен, и приходи.

— Там наверху девочки у меня в кабинете, — крикнул я ему вслед, — они подвыпили немного, будут тебе рады.

Серега кивнул. А я шагнул на дорогу, прямо под несущийся на меня троллейбус.

Мимо меня пронеслось замершее в гримасе ужаса лицо женщины-водителя, узкая прокуренная кабина, поручни, потертые кресла с кое-где дремавшими пенсионерами.

Я плюхнулся на свободное место рядом со старушонкой с еще советскими авоськами, набитыми китайской лапшой. Кузов троллейбуса, его лобовая часть, чудесным образом разверзшаяся и впустившая меня внутрь, мгновенно срослась, как только я оказался рядышком со старушкой. Или все-таки я оказался в автобусе?

— В Стахановском бананы выбросили, — доверилась мне старушка, — еду туда, вдруг достанется. Хотя можно представить, какая там очередь. Как за колбасой. Ты стоял когда-нибудь в очереди за колбасой, внучек?

— Нет, не стоял, — честно ответил я, и тут же вспомнил ораву невыспавшихся мужиков со всех окрестных заводов у дверей колбасного магазина в пять-шесть утра, уходивших с ночных смен, чтобы занять очередь.

В моем детстве магазин под названием «Колбаса» примыкал к моему двору.

— Говорят, — продолжила монолог общительная бабуля, — это вьетнамские бананы. И их нельзя есть. Во время вьетнамской войны американцы им всю землю химическим оружием отравили. Весь мир отказался у Вьетнама бананы покупать, а наши дураки, как всегда, согласились, лишь бы братскому народу помочь. А о своих людях не думают. Как мы их есть-то будем, там же гербициды одни?

— А китайская лапша у вас откуда? — почему-то спросил я.

— А это, внучек, редкий деликатес. Знакома только что вернулась из Китайской народной республики, муж у нее там работал несколько лет, горно-обогатительный комбинат строил. Привезла мне гостинец.

— Остановка «База», — равнодушно сообщила водитель.

Дверь-гармошка разъехалась. На крыльце магазина стоял Николай Петрович и махал мне рукой.

— Выходите скорее, пойдем по базе гулять.

Я на секунду замешкался.

— А вы не будете меня щупать? — с осторожностью спросил я.

— Да сдались вы мне, честное слово. Конечно, не буду, что мне щупать некого больше?

Я медлил. Водитель вопросительно посмотрела на меня в зеркало. Я кивнул:

— Выхожу.

Николай Петрович незамедлительно схватил меня под руку.

— Но-но, — одернул я старика, — вы обещали.

— Помню, помню. Но можете вы хотя бы поддержать пожилого человека во время прогулки. А если я упаду?

В окне магазина я заметил моего охранника-эндрусарха, бесечно болтающего по телефону, заметил и почему-то обрадовался: значит, он жив, и тело на перекрестке под простыней не его.

Праздным шагом мы с Николаем Петровичем направились к базе, по дороге заглянув в крошечное почтовое отделение, где у Николая Петровича были дела. Пока он стоял в очереди, пока спорил о чем-то с другими клиентами, я разглядывал женщин-операторов за стеклом, нехитрый быт их уютного офиса. В задней комнате на подоконнике чайник, салфетки, в дальнем углу за компьютером, по всей видимости, заведующая, строгая полноватая женщина. А девочки и вежливые, и шустрые, и внимательные, и, несмотря на очередь, работая, внимают рассказу моего коллеги о Португалии, где он побывал прошлым летом. Поневоле и люди в очереди начинают прислушиваться к истории туристических походов Николая Петровича по узким улочкам Лиссабона, описаниям азулежу и диплома-удостоверения о посещении мыса Рока. Из конца очереди раздается голос:

— Самый удивительный азулежу в Коимбре. — Молодой человек, отдаленно напоминающий народного артиста Евгения Миронова, также отважился привлечь к себе внимание очереди, а заодно и Николая Петровича.

— Вы там бывали? — немедленно обратился Николай Петрович к внезапно объявившемуся собеседнику, искрясь от любопытства.

Молодой человек кивнул. Николай Петрович, набрав в грудь побольше воздуха, приготовился вступить в заинтересовавший его диалог, который мне не довелось услышать. Зная, до какой степени мой коллега обожает рассказы о путешествиях, а также народного артиста Евгения Миронова, я предпочел незаметным образом удалиться.

Спустившись по деревянному крыльцу почтового отделения, я очутился на шумной улице, в пятнадцати метрах от остановки. На секунду я замер в нерешительности. С левой стороны — нараспашку разверстые ворота базы, куда, без сомнения, спустя время направится Николай Петрович; совсем рядом — автобусы и троллейбусы, которые за три минуты вернут меня на работу, где Серега, выпивка, девочки... Мимо меня с музыкой из открытых окон пронесся грязный по самую крышу «гелендваген». Внутри роскошного автомобиля веселилась подвыпившая молодежь.

— Или собьют кого-нибудь, или сами же разобьются, — мрачно заметил вслед летящей машине груженный сумками седобородый старик, показавшийся странно знакомым. Солнце над Караульной горой как-то особенно заблестело; вдалеке в частных домах пронзительно завыл пес. И я вспомнил, где я видел этого старика: его фото было в газете, год или полтора назад, а может и больше, имя его, конечно же, выветрилось у меня из головы, но то, что он — человек известный, ученый с мировым именем, лауреат премий и кавалер орденов — это я запомнил надежно. Газета тогда сообщила, что этот седобородый ученый скончался, собственно, в газете был помещен его некролог.

Старик, по-видимому, возвращался с базы: из сумок торчали хвосты мороженных рыб, сквозь полиэтилен пакетов виднелись разнообразные овощи. Старик ковылял к остановке.

«Вряд ли я так ошибаюсь, — лихорадочно соображал я, — и могут ли в одном городе жить два одинаковых человека?» Я еще раз взглянул на пакеты, покачивающиеся в напряженных руках ученого: к одному из огурчиков прилип ценник.

«Это невозможно», — шокированный, я бормотал про себя. Стоимость огурцов была примерно в четыре раза ниже нынешней. Цена из прошлого. Выходит, и дед из прошлого. Значит, и «гелендваген»... Солнце над Караульной горой еще раз сверкнуло многозначительно. В эту минуту Серафима Степановна запирает свой кабинет на ключ, спускается по лестнице, цепляет ключ на крючок на вахте; скоро она окажется на мистическом перекрестке, который ей не удастся пройти. А, может, удастся, ведь теперь у нее есть я, человек из будущего, в шкуре своевольного пакицета? Роковой автомобиль с пьяными пассажирами уже скрылся за поворотом, до катастрофы осталось минуты четыре. Позвонить на вахту, попробовать ее задержать? Я набираю в мобильном номер, к телефону, естественно, никто не подходит: все всегда заняты не тем, чем необходимо. Наконец, раздается голос Славы:

— Алле! Кто это?

— Слава, это я, — спешу, слова лепятся одно к другому, образуя неповоротливый пластилиновый ком. — Серафима Степановна уже ушла?

— Какая Серафима Степановна? — не понимает меня Слава. — Кто это вообще? Мы тут все Татьяну Ивановну ищем.

— Какую Татьяну Ивановну? — недоумеваю, спросил я и тут же вспомнил.

Так звали заведующую, руководившую отделом до Серафимы Степановны. Она ударилась в религию, устраивала на рабочей кухне душеспасительные беседы, посещала и церковь, и молельные дома разных конфессий, и в один прекрасный день исчезла. Заявление об увольнении не подавала, отпуск не брала, никому не сказала ни единого слова, просто не явилась на службу, и больше ее не видели. Говорят, встречали похожую женщину в Енисейских монастырях, пробовали заговорить, но та оказалась глухонемой таджичкой, от суровости среднеазиатского быта переметнувшейся в православие. Я не был знаком с Татьяной Ивановной, как и с Серафимой Степановной, поскольку устроился на работу позже.

— Аллэ! — надрывался Слава на другом конце линии. — Кто это, кто звонит?

Я медленно отвел трубку от уха, прекратил разговор.

— Молодой человек, вы, вы с телефоном, — послышался возглас, топот ног по крыльцу почты. Несколько запыхавшихся, взволнованных мужчин и женщин бежали ко мне.

— Пенсионер на почте, вы же с ним были? — кричали они на ходу.

— Возможно, — отвечал я не очень уверенно, не зная точно, о ком идет речь.

— Пойдемте скорее, вашему другу плохо.

В отделении на полу с багровым лицом лежал без движения Николай Петрович. Вокруг него сгрудились люди, в помещении было душно, пахло клеем и нечистой одеждой.

— Можно открыть окно? — попросил я, присев рядом с попавшим в беду товарищем.

Где-то затрещали створки, но прилива свежего воздуха я не почувствовал. Николай Петрович зашевелился.

— Где он? — еле слышно пробормотал он.

Я склонился ухом к его губам, пытаюсь разобрать каждое слово.

— Где он? — снова повторил полуобморочный старик.

— Кто? — не понял я.

Чтобы ответить Николай Петрович минуту собирался с силами.

— Португалец, — наконец, выдавил из себя он.

— Португалец? — изумленно повторил я.

Николай Петрович кивнул.

— Что вы с ним разговариваете? — закричали в толпе. — Срочно звоните в скорую, у него же очевидно инсульт, или инфаркт, или что-то подобное.

Николай Петрович снова погрузился в глубокий обморок. Я достал телефон, но услышал, что кто-то уже разговаривает с больницей.

— Машина будет через пятнадцать минут. С ним кто-то должен поехать.

— Я поеду, — обещал я, — он мой сослуживец. Только позвоню на работу, чтобы нас не искали.

Галина Ивановна, Наташа, Слава, Серега, Марсела — никто не удосужился взять трубку. Ответил один Игорек.

— В больницу ты не едешь, — строго проговорил он, — поедет Губилов, он уже в курсе.

— А как же его столб, подняли?

— Проблема там решена, и это не твоя забота в принципе. Возвращайся в офис, тебя Барков ждет с чучелами, ему помочь надо.

— Иду. — Я бросил прощальный взгляд на распростертого у моих ног коллегу.

Лицо его побледнело, краснота ушла, нижняя челюсть отпала; он по-прежнему не шевелился, напоминая кургузой бесформенностью антракотерия.

— За ним в больнице присмотрят, — успокоил я вопросительно глядящую на меня публику, — меня вызывают на службу.

Толпа смиренно и уважительно потупила взгляды: только при очень важной работе можно оставить умирающего человека без помощи.

Я козырнул, развернулся на каблуках и вышел прочь.

Перед возвращением на работу я все же решил прошвырнуться по базе: захотелось купить что-нибудь к общему столу, порадовать сослуживцев. Я шел, осматривая морозильники, полные мороженой кеты, трески и горбуши, и витрины, каждый миллиметр которых был расчетливо разделен между худосочными образцами сыра и колбасы; завернул к Степану. Свежий сочный среднеазиатский арбуз будет лучшим угощением для всего коллектива — так я решил. Вместо всегда приветливого, улыбчивого, общительного Степана за

прилавком стояла тоненькая стройная девушка, напряженно всматривающаяся в какие-то бумаги. Среднеазиатка, по всей видимости, таджичка, родня Степана. Вся в черном, густые черные брови, сходящиеся на переносице. Глубокие, немного растерянные глаза. Полсекунды рассматривая ее, я и сам растерялся. Слишком уж она беззащитна, слишком слаба для нашего сурового мира.

— Можно арбуз? — попросил я тихонько.

Она мучительно на меня посмотрела и не двинулась с места.

— А где Степан? — зачем-то спросил я.

Растерянность в ее взгляде лишь усилилась. Она недавно приехала — наконец, до меня дошло, — и не понимает по-русски.

— Она недавно приехала, — раздался из недр ларька бодрый голос Степана, — она еще ничего не понимает.

— Ничего страшного, — весело проорал я, — как ее зовут?

— Это моя жена, — Степан назвал имя, — я сейчас выйду.

— Не надо, дружище, мы разберемся, — успокоил я вдруг загрохотавшего ящиками невидимого Степана.

Но арбуз мне покупать расхотелось. Не отрывая глаз, я смотрел на девушку в окружении персиков, яблок и помидоров, одинокую девушку в непонятной стране, нежную, хрупкую, как археоптерикс. Я решил не пытаться ее больше вопросами, не истязать ее теплые аккуратные ушки сложной славянской речью. А хамски указывать пальцем на товар, который мне хочется, даже не пришло в голову. Нельзя с нею так. А отдел... Обойдется отдел без арбуза. Не отводя глаз от ее точеной фигурки, пятясь, я покинул ларек и направился к остановке.

Однако из соседнего павильона меня окликнули:

— Где твои девушки-красавицы, а? — помахал мне рукой азербайджанец Вася, что одобрительно мне подмигивает масляными глазенками каждый раз, когда я захожу на базу с Наташей и Марселей, собирая стол к очередному празднику.

— Работают, — неохотно среагировал я.

— Вау, работают! Не должны такие девушки работать, разве что... — Он ухмыльнулся похабно, и взгляд его снова неприлично замироточил.

— Вот, возьми, передай своим красавицам от меня. Скажи, Вася с рынка угощает. Бесплатно. — Он протянул мне небольшую симпатичную дыню.

Увидев, что у меня нет пакета, добавил и пакет. Я ткнулся носом в шершавый желто-серый бок, кивнул в знак благодарности. Аромат исходил восхитительный. Смешать этот запах с прохладой журчащей невдалеке реки, с зеленью прибрежных ив, в легких бензиновых парах от мчащегося по мосту автотранспорта — такой нехитрый коктейль мне захотелось попробовать, сладко-манящий напиток большого города, чьим неприхотливым ребенком я навсегда останусь. Какой же коктейль без капельки алкоголя? На выходе из базы я сворачиваю в алкогольный маркет, собственность калининского олигарха Олега. «К тому же Серега, наверняка, опустошил весь свой запас», — добавляю себе мотивации, поскольку приобретение крепких алкогольных напитков всегда связано с небольшими угрызениями совести.

— Могу предложить вам тайский ром, — любезно сообщила продавщица-бурятка с загадочным именем Саран. Постоянные покупатели ласково звали ее Саранка. — Вы же из... — она назвала мой офис, — ваши регулярно у нас отовариваются.

Разговаривая со мной, Саранка шустро вертелась за прилавком, меняя местами товар на полках, передвигая ящики, наводя маршфет. Она была красива той особенной красотой Азии, которую несут в себе бурятские женщины, в привлекательности ничуть не уступая прославленным на весь мир гуранкам. Я хотел заговорить с ней, чтобы, если повезет, увидеть ее улыбку, но Саранка слишком увлеклась работой; к тому же меня ждали коллеги, начальство, дела. Едва я повернулся, чтобы выйти, как продавщица меня окликнула:

— Кстати, сегодня ваши были уже.

Я удивленно на нее воззрился.

— Да, мужчина, Сергей, кажется, с двумя девушками. Они просили вам передать, что будут на берегу речки в районе моста.

— Откуда они могли знать, что я зайду? — не удержался я от вопроса.

— Вы же пошли с коллегой на базу? Так они сказали. А после базы вы всегда к нам заглядываете. — И она улыбнулась, сверкнув снежными очаровательными зубами.

— Сергей, наверное, все пытается добиться поцелуя Марселы, — размышлял я, спускаясь к реке, — и для усиления романтичности обстановки потащил девчонок на берег.

У самой воды я заметил двух наших девчонок, прилегших на камни. Сергей почему-то отсутствовал. «В магазин побежал, на-верняка», — решил я и окликнул погруженных в созерцание речного потока девушек.

Ими оказались Клара и Марта. Или Марта и Клара, которые, завидев меня, приветливо и приглашающе помахали, как старому знакомому. Я присел рядом с ними на камешек. Несмотря на еще не очень жаркое солнце, они загорали, скинув блузки, доверчиво подставив белые спины под жидкие солнечные лучи. Я вытащил ром и дыню, разложил на камнях пакет и глянул на них вопросительно. Девушки согласно кивнули. Я отвинтил пробку и протянул бутылку ближайшей ко мне девице. Закинув голову, она отхлебнула из горлышка небольшой глоток: цвет напитка в бутылке и рыжая густая копна волос на фоне прохладного солнца сплелись в удивительно теплую живую картину. Клара (или Марта) передала бутылку подруге.

— Тебе лучше уйти, парень, — доброжелательно сообщила одна из них, — мы не против с тобой провести время, погулять, выпить чего-нибудь, но сейчас Ашот придет, он пошел на базу, ему ларек закрывать надо. Через минуту вернется. Он не очень обрадуется, застав тебя здесь.

Девушки благородно протянули мне дыню и едва начатую бутылку, но я настоял, чтоб они оставили угощение у себя. Тогда одна из них, Марта или Клара, спрятала мое скромное подношение у себя в рюкзачке, подальше от глаз Ашота.

«Где же тогда моя компания?» — размышлял я, поднимаясь к дороге, чтобы с высоты внимательней осмотреть берег. По другую сторону моста, протянув ноги к воде, также сидела группа отдыхающих, только их было не трое, как я рассчитывал, а четверо. Но одна из них точно была Наташа: второй такой совершенной женской фигуры не встретишь не только в районе Калинина, но и во всем Железнодорожном районе. В этот раз уже я отчаянно замахал руками, стараясь обратить на себя внимание, но ребята были поглощены разговором, в котором, как мне удалось издали разглядеть, солировал четвертый, мне неизвестный участник. Лишь заметив мое приближение, друзья отвлеклись от беседы. Девушки потягивали странную мутную жидкость из пластиковых стаканов.

— Это Ашот, — указал Серега на незнакомца, — он нам рассказывает о тонкостях ведения бизнеса в современных условиях.

Мы обменялись рукопожатиями. Я присел на корточки между Ашотом и Серегой, напротив девушек. Наташа была бледна, а Марсела, напротив, покраснелась и, кажется, захмелела. В пяти метрах от нас на другом берегу реки сидел с удочкой угрюмый старик. Сергей уловил направление моего взгляда.

— Этот старикан сердится. Он считает, что мы чересчур шумим и своими разговорами распугиваем его окуньков.

— Хотя мы тихие, как мышки, — кокетливо поведя плечом в сторону Ашота, пролепетала Марсела.

— Николай Петрович в больнице, — вдруг вспомнил я, — плохо себя почувствовал в...

— Мы знаем, — перебил Серега, — Губилов звонил уже. Спрашивал, когда ты вернешься. Тебя Барков третий час ждет. Ему должны аппарат по вывариванию костей доставить. А всех рабочих увезли на дачу Слонового, там проводка сгорела, менять надо.

— При чем тут я?

— А кто Баркову поможет? Там тяжелое все, поднимать нужно. А я не могу, у меня поясница. — Серега, морщась, почесал спину. — Не Наташе же чаны стальные носить.

Я взглянул на Наташу: она щурилась на солнце, подставив теплу обнаженные плечи. Ее мускулатура не произвела на меня особого впечатления.

— Тогда я пойду? — словно спрашивая разрешения, проговорил я.

— Да, наверное, так будет лучше, — нахально ответил Серега.

— Хорошо вам посидеть, — произнес я, поднимаясь.

— Подожди минуточку, я с тобой, — неожиданно оживилась Наташа и в одно мгновение оказалась от меня по правую руку, на ходу поправляя блузку.

— Как с тобой, не надо с тобой, — запротестовал Ашот, — зачем уходишь, эй, давай посидим еще, пообщаемся...

— Вы дадите мне порыбачить сегодня? — зашипел с противоположного берега угрюмый старик.

— Зачем ругаешься, дед? — переключился Ашот на невезучего рыбака. — Молодежь отдыхает, разговаривает, никого не трогает, зачем ты весь день злой такой?

— Я не злой, — возразил дед, — ты меня еще злым не видел. — Он пробурчал что-то неслышное и полез в выдавшую виды походную сумку.

— Пойдем отсюда, — взяла меня под руку решительная Наташа, — мне поговорить с тобой надо.

Я не стал ни о чем спрашивать. Поднявшись к улице, я быстро окинул взглядом берег: Марты и Клары как не бывало.

— Надоели они мне все до чертиков, — начала монолог Наташа, — одно и то же с утра до вечера. Нудные, скучные, примитивные. Еще этот Ашот прицепился. Шлялся зачем-то у реки, наверное, девок искал познакомиться. Сергей и пригласил его посидеть с нами. А может, он маньяк какой? Зачем приглашать каждого встречного-поперечного?

— Он приставал к тебе? — вставил я слово.

— Не успел. Еще бы минут десять-пятнадцать, и мне от него не отбиться. Слава богу, ты появился.

За нашими спинами где-то внизу у реки раздался хлопок. И сразу — истошные крики, которые не вызвали ни у меня, ни у моей спутницы ни малейшего интереса. Бешено ревели проносающиеся автомобили, и то ли на этом фоне, то ли сам по себе, но голос Наташи становился все тише и все печальнее.

— У тебя остался коньяк в хранилище? — мрачно спросила она. — Почему бы нам не посидеть немного, запершись ото всех? Никого не слышать, не отвечать никому. Согласен?

Коньяк, как мне помнится, действительно был. И замок в моей берлоге работал. Я кивнул утвердительно.

«Закроемся. Посидим. Не переживай, родная моя, — проговорил я мысленно, — поделись со мной тем, что тебя тревожит. Я же вижу: что-то произошло, что-то идет не так, как ожидало твое мягкое, девичье, отзывчивое сердечко».

У наших ворот нервно топтался Барков, курил, хотя официально расстался с курением несколько лет назад.

— Губилов звонил, — мрачно сообщил он, завидев меня, не обратив ни малейшего внимания на Наташу.

— Я пока к себе поднимусь, — повернулась ко мне Наташа, — или, если что, можно у тебя в хранилище посидеть?

— Конечно, — я дал ей ключи, — бутылка у окна за шкафом.

— Спасибо, но я лучше тебя подожду.

Барков глянул угрюмо, как Наташа удаляется к вахте.

— Вообще не работает? — кивнул он на нее.

— Что там с Губиловым? — игнорировал я его реплику.

— Варочной машины не будет. Губилов поднял документы, оказывается, мы уже такую машину заказывали и даже получили.

— Где же она?

— Никто не знает. На даче у кого-то, наверное.

— Но зачем? Она здесь нужна, тебе, мне. У меня коллекция рысьих костей по мешкам полиэтиленовым рассована, мясо на костях гниет, кульки раскрывать страшно. Так же и медведи, козули, олень северный... Из чего скелеты собирать прикажете, из костей с мясом?

— Будто мне она не нужна, — продолжил угрюмо Барков, — сейчас вот медведей привезли молодых, в этом году их пруд пруди, в города выходят, на собак нападают, их уже отстреливать начали... Поможешь мне, к слову, перенести их, самому тяжело. Они там, у забора. — Он кивнул в неопределенном направлении плоской метопозавричьей головой.

Я быстро осмотрел все возможные точки, куда могли сгрудить медвежьи туши, но увидел лишь, что в кустах за двухметровым иван-чаем что-то шевелится.

— Они что, живые еще? — воззрился я на Баркова.

— Нет, нет, — успокоил меня чучельник, — как есть мертвые. Уже и остыли. Хорошие люди попросили их обработать, чтоб как живые были. Скоро начну. Уже и глаза новые из Китая получил. — Он вытащил из кармана куртки леску с нанизанными на нее глазами разного размера и цвета.

Я взял леску, пощупал стеклянные шарики — глаза будущих чучел, безразлично глядящие на божий свет.

— Так можешь? — еще раз спросил Барков.

— А варочная машина, ее мы больше не ждем? — скорее резюмировал, чем спросил я.

— Похоже, что нет. Заказ был, продублировать его на данный момент невозможно, две машины конторе не полагаются. А чтобы купить новую, надо списать старую. А где старая — неизвестно. Губилов не помнит, чтобы эту машину получали, но в отличие от Губилова, бумага все помнит, по документам она где-то у нас.

- Наверное, у Слонового на даче.
- А зачем ему на даче кости вываривать?
- Поди знай.

Мы направились в самый дальний угол двора, ближе к столярке и летнему туалету, которым пользовался исключительно Барков. Столярка была закрыта, по всему заброшенному участку валялся строительный мусор, доски, заросшие густо травой, стальные и деревянные ящики с непонятно каким содержимым. Кусты у забора снова зашевелились, заурчали злобно и плотноядно. Пятясь к нам спиной, из кустов показался Дик, волочивший по земле медвежьей лапу средних размеров. Барков, исходясь матом, бросился к псу, пытаясь спасти от собачьих зубов ценную шкуру, но Дик, посчитавший медведя своей законной добычей, бросился на Баркова с остервенелым лаем. На морде собаки налипла черная густая кровь. Подумав секунду, я решил воздержаться от участия в межвидовом конфликте и ретировался.

- Если что, я у себя, — крикнул Баркову, заходя в здание.

На вахте у полусонного Славы взял запасные ключи от хранилища, поспешил к себе на второй этаж.

— Николай Петрович в больнице, — крикнул я на ходу Славе, чтобы эмоционально его взбодрить.

— Нет его там, — спросонья ответил вахтер, — Губилов его час там ждет, до сих пор еще не привезли.

Я пожал плечами:

- Пробки, наверное.

В хранилище, на четырехметровом фрагменте челюсти кита, одна идеальная нога на другую, сидела с понурым видом Наташа. На полу перед ней красовался коньяк, пластиковый стаканчик, лимон.

— Закрой дверь, прошу тебя. Сейчас поляки приедут, не хочу никого видеть.

Я запер дверь, сел перед нею на пол, скрестив по-турецки ноги. Чтоб не возвышаться надо мной, она вынуждено сползла с китовой кости и в точно такой же позе села со мной рядом.

- Выпьем? — с усмешкой предложила она.

Ей удалось достать только один стаканчик, на кухню за рюмками ей идти не хотелось: это вызвало бы ненужное любопытство на-

ших коллег. Я налил ей и после того, как она, зажмурясь, выпила, плеснул и себе. Напиток ласково соскользнул в желудок, согрел.

«Что у тебя случилось?» — так и подмывало меня спросить, но я сдержался.

Наташа посмотрела на меня удрученно. Кажется, я начал догадываться, что у нее стряслось.

— Жаль, что я не рухнула с крыши, — произнесла она и потянулась опять за стаканчиком.

— Когда это? — Я не понял.

— Тогда. Всегда. Когда мы отмечаем что-нибудь, мы с Марселкой всегда гуляем по крыше, лезем из окна твоего кабинета, ты что, забыл?

Нет, я не забыл.

— Но зачем тебе с нее падать?

— Потому, что я неудачница. Не получается у меня ничего.

Сейчас она разревется. Наташа проглотила коньяк, который я не забывал подливать, едва она бросала взгляд на стаканчик. Сам я решил не пить — по всему уже было понятно, что с поляками придется работать мне.

— Этот мужик меня бросил.

— Какой мужик?

— Тот, с «мерседесом». К тому же он женат оказался. Трое детишек маленьких. А Серега предупреждал меня с ним не связываться, говорил, что добра не будет.

— Серега? Когда он успел?

— Что успел?

— Поговорить с тобой об этом?

— А, позавчера ночью. Неважно. Он хороший парень, но он любит Марселу. Даже не любит, а просто хочет ее поцеловать. Тогда к нему перейдет ее колдовская сила. Так он думает. А Марсела отказывается с ним целоваться.

— Что же ты теперь будешь делать? — Я вернул разговор к Наташиной злой судьбине.

— Ты о чем?

— Об избраннике с «мерседесом».

— А, не знаю.

— Ты любила его?

— Наверное. Разве легко разобрать, любишь или не любишь. Он богатый, хотя и озабоченный слишком. Если б понадобилось, полюбила бы... Барков сегодня к Олегу звал, олигарху, — вспомнила вдруг она. — Сходишь со мной? Барков, похоже, хочет свести нас. Мне с тобою удобнее будет.

— Но меня не приглашали туда, — возразил я.

— Приглашали, Барков просто забыл.

— Барков внизу ждал варочную машину, а Губилов сказал, что машину уже давно приобрели и даже доставили. И где она, неизвестно. Ты не знаешь случайно?

— Может, у Игорька спросить?

— Какого Игорька?

— Нашего заведующего. Если к нам привозили, то он знает, наверное.

— Это могло и до него быть. А где Игорек? Его сегодня не видно, не слышно.

— Его всегда не видно, не слышно. Он же работает. У него докторская.

— Лучше ему не мешать.

— Воистину. Выпьем.

Мы допили коньяк, помолчали минуту. На лестнице раздались шаги.

— Китайцы приехали! — услышали мы голос Славы.

— Китайцы? — недоуменно я повернулся к Наташе. — Не поляки?

— Наверное, я перепутала. А, может, и те, и другие должны приехать, я не помню. Каждый день что-то меняется.

Я открыл дверь хранилища, позвал Славу. Тот уже вернулся на вахту и с кем-то оживленно беседовал.

— Где же китайцы? — закричал я через пролет.

— Барков заставил их медведей таскать.

Во дворе слышался бешеный лай собаки.

— С кем ты там разговариваешь? — спросил я вахтера.

— Губилов звонит. Просит оказать китайцам всяческое содействие. Один из них, правда, непонятно, кто именно, их самый великий профессор-палеонтолог. Мы должны проявить к нему особое уважение. А поскольку кто из них кто, мы не знаем, уважение придется проявить ко всем сразу и к каждому по отдельности.

— Спроси его, он дождался Николая Петровича в больнице?

— Не было у него времени. Николая Петровича должны были привезти с минуты на минуту, но позвонили из министерской комиссии по списанию предметов основного фонда, и Губилов больше не мог ждать. Все хорошо с Николаем Петровичем, жить будет.

Из этого сообщения я понял лишь то, что ни Губилов, ни кто-либо еще так и не знают, доставлен наш сослуживец в больницу или нет, и где вообще находится Николай Петрович.

— Не вешай трубку, — заорал я Славе и ринулся вниз по лестнице, — дай я с ним сам поговорю.

— Поздно, — хладнокровно ответил Слава из-за стекла вахтерской, когда я подлетел к нему на всех парах, — он уже отключился. Ты же знаешь нашего шефа — все бегом, все на ходу...

— А сменщик твой где?

— Не было еще. Жду.

Слава насторожился: кто-то тяжело оперся снаружи о входную дверь или усталые китайцы прислонили к ней медвежью тушу? Дверь распахнулась, и в холл ввалился Сергей, на плече у которого повис бездыханный Ашот с перевязанной головой; позади плелась измазанная в грязи и в ошметках травы Марсела.

— Человек ранен, — завопил Сергей, едва войдя в здание, — срочно бинты, спирт, что там еще полагается.

— Почему скорую помощь не вызвали? — Слава энергично схватил телефонную трубку.

— Что с ним произошло? — полюбопытствовал я.

— Положи трубку немедленно! — прислонив Ашота к стене, бросился к вахтеру Сергей.

Ашот, лишившись поддержки, стек по стене на пол.

— Его заберут в больницу, а он в розыске, нельзя ему скорую.

Слава медленно положил трубку.

— Этот сумасшедший дед на другом берегу Бугача, — уже повернувшись ко мне, разъяснил Серега, — после того, как Ашот с ним заспорил, достал из сумки бутылку с АСДТ и швырнул ее нам под ноги. Точнее, мы подумали, что это взрывчатка — рыбу глушить или что-то подобное. Ашот оступился, упал и ударился головой о камень. Марсела всего-навсего перепугалась. А я ничего, жив.

— Что же это оказалось на самом деле?

— Пустая бутылка из-под вина. Она не разбилась даже. Вот она, — Серега достал из-за пазухи зеленую бутылку из-под грузинского «Киндзмараули», — я забрал ее как улику, вдруг пригодится.

— Рана серьезная? Похоже, что да, он почти без сознания.

— Рана пустяшная. А сознание он потерял от испуга. Но помочь ему все же необходимо.

— Надо позвонить его родственникам или друзьям, — снова вмешался в наш диалог Слава.

— Он просил не звонить никому, все его родственники и друзья на базе работают и на рынке, если им сообщить, они сразу закроют ларьки и прекратят торговлю, а ему бы этого не хотелось.

На пороге появился Барков, весь в крови и медвежьей шерсти. На макушке красовался белый войлочный колпак.

— Уф, — запыхтел он, — еле управились... Про колпак не спрашивайте — китайцы подарили на память... Он хотел еще что-то сказать, но, увидев на полу мертвенно-бледного Ашота, осекся.

— У человека голова разбита, можешь помочь? — обратился к Баркову Серега.

Барков извлек из кармана пол-литровую бутылку с коричневой жидкостью, откупорил бутылку, нюхнул.

— Это самогон на травах, мой друг готовит по эксклюзивному рецепту, который он изобрел сам, — заявил Барков и поднес горлышко бутылки к носу Ашота.

Ашот вздрогнул, вздохнул, глаза его приоткрылись.

— Галину Ивановну надо позвать, — вспомнил Слава, — она же курсы медсестер заканчивала.

— Это, я думаю, можно, — согласился Серега и, взяв за руку Марселу, добавил: — Мы сейчас наверх, попросим Галину Ивановну спуститься, заодно приведем себя в порядок, согласна? — запросил он одобрения у Марселы.

Та кивнула.

Через минуту, громыхая тяжелой обувью, показалась Галина Ивановна, прихватившая с собой и нетвердо стоящую на ногах Наташу. Увидев раненого, женщины немедленно принялись за его лечение, а Барков тихонько отвел меня в сторону.

— У Олега готова очередная партия его напитка, — Барков зашептал мне в ухо, глазами указывая на самогон, — он приглашает друзей на презентацию. Я позвал и Наташу: может быть, они

найдут с Олегом общий язык, ведь Наташа любит богатых, а он богат, ты же знаешь. Ты хочешь пойти? Завтра к тому же намечается трудный день, Губилов только что мне позвонил, просил меня и тебя завтра приехать — к нам, наконец, привезли знаменитого шарыпозавра, скелет полностью собран, на семьдесят процентов это одна особь, но у дирекции появилась мысль соорудить и макет зверя в масштабе один к одному. Предстоит много работы, а перед работой неплохо бы и отдохнуть, как считаешь?

Мне идти не хотелось, но я почему-то согласно кивнул. Ашот, в умелых женских руках начав приходить в себя, застонал. Рана под бинтом оказалась совсем крохотной царапиной, Галина Ивановна с Наташиной помощью обработали место рассечения и шишку вокруг спиртосодержащей жидкостью. Ранку стало щипать, Ашот замотал головой, пытаясь утишить боль, попробовал встать, но поскользнулся и рухнул на пол в ручеек горячей воды, что сочился с лестницы. Женщины повскакали на ноги, завизжали. Со второго этажа из туалетов донесся успокаивающий окрик Люды:

— Не переживайте, это поляки окаянные кран сорвали, дикари ей-богу, кранов, что ли, не видели. Сейчас я его ключом подкручу...

— Поляки? — Я вопросительно посмотрел на Наташу. — Разве они приехали?

Наташа пожала плечами.

— Я не помню, — растерянно сказала она, — приезжали какие-то люди, я впустила их в свой кабинет поработать, я не спрашивала, откуда они. И вообще мне стало казаться впоследствии, что визит этих людей мне приснился.

На вахте зазвонил телефон. Слава взял трубку, сделал нам знак:

— Потихе, это Слоновой звонит.

Мы замерли в благоговейном молчании, пока Слава поддакивал всеильному заму Сан Санычу. Медленно положив трубку, Слава обвел нас взглядом.

— Сан Саныч говорит, что отправлял нам киргизов. Здесь ремонт планируется, они должны были оценить объем работ.

— Так это, наверное... — Наташа вытянула руку в направлении двора.

Барков смутился.

— Я думал, это китайцы. Я их уже и домой отпустил.

— Со Слоновым сами будете разбираться, — постановил Слава.

— Нечего и разбираться, ничего страшного не случилось, надо будет — завтра еще приедут, — заметила Галина Ивановна. — А вот поляками надо заняться, что это они там одни, без присмотра.

Галина Ивановна заторопилась наверх.

— Я тоже поднимусь к себе на минуточку, — сказал я Баркову.

— Пять минут, — он переглянулся с Наташей, — мы тебя ждем во дворе.

Я поднялся к себе в кабинет, включил компьютер, ввел секретный код. За стенкой возились Сергей и Марсела, по крыше катилось закатное солнце. Я активировал программу, экран разделился на десяток ячеек — видео с камер внешнего и внутреннего наблюдения; то же самое, что и на вахте, только Слава следил исключительно за периметром. И о работе Славы всем было известно. Вот Игорь корпит над своей диссертацией, уткнулся в компьютер, рядом с ним — несколько небольших коробок, материал к его научной работе, поднимает трубку, звонит. Вот кабинет Наташи, он пуст, ведь Наташа внизу с Барковым, мечтает о светлом обеспеченном будущем с не самым противным мужчиной в мире, мужчиной, которого можно терпеть в быту — нормальные мечты нормальной обычной девушки. Я нахожу режим перемотки, отматываю назад на час, на два, на четыре, передо мною проходит весь Наташин трудовой день, как она сидит нога на ногу, смотрит в окно, пьет крепкий кофе, разговаривает по скайпу, возится с учетными карточками, и в один из моментов нашего рядового рабочего дня к ней в «офис», так она называет свою берлогу, действительно стучится делегация из пяти-шести человек, в основном девушек, они показывают Наташе какие-то бумаги, некоторое время они разговаривают, потом Наташа их уводит смотреть наши хранилища, по ходу увлеченно что-то рассказывая. По-видимому, это и есть поляки, чей визит согласован еще несколько месяцев назад. Значит, все хорошо и беспокоиться не о чем, в здании нет никого, кто бы мог нанести вред нашим архивам или предметам хранения, а храним мы собственность государства, безопасность которой наша прямая ответственность.

Я мельком пробежался и по другим картинкам. Вот Люда, ворча, драит пол в туалете, Галина Ивановна пьет чай с Александрой Константиновной, а потом, оставив подругу допивать чай в одино-

честве, согнувшись, склеивает расплзшийся от времени, наверняка еще дореволюционный гербарий. Николай Петрович, еще здоровый и крепкий, изучает в интернете сайты магазинов одежды. Я мог бы заглянуть таким же образом и в соседнюю комнату, где уединились Сергей и Марсела, но сдержался: вряд ли то, чем они занимаются там, имеет отношение к безопасности наших фондов.

Спустившись во двор, я застал Наташу одну. Она сидела на лавке, глядя в одну точку, кажется, на пятно облупившейся штукатурки на стене бокса на другой стороне двора. Над крышей бокса вилась лиловатый дым, как будто там что-то варили.

— Где ты пропадаешь так долго? — жалобно спросила она. — Барков тебя не дождался и ушел в парикмахерскую «Золотой локон». Нам придется идти к его олигарху без него, он появится позже.

— Но я не знаю, где он живет! — воскликнул я.

— Знаешь, знаешь, — отвечала Наташа, — все знают. Вон в тех домах.

Она махнула рукой в сторону Караульной горы, и мы медленно двинулись в указанном направлении.

Узкий рыхливый переулок полз вместе с нами меж убогими старыми деревянными домишками, пока не открыл взору исходящее из него роскошное асфальтовое ответвление, снабженное свежей разметкой, красивыми дорожными знаками, хотя длина этого участка дороги не превышала и пятидесяти метров.

— Все оказалось несложно, — пробормотала про себя моя спутница.

Мы прошагали в открытые настежь ворота и двинулись на шум голосов, раздававшихся рядом с футбольным полем, обустроенным на территории олигарха. В глубине зарослей в беседке шипел шашлык, виднелись фигурки копошившихся над мясом людей. Я услышал знакомый голос, но решил, что ослышался.

Над углями колдовали два человека, по-видимому, работники нашего олигарха Олега: раздували огонь, переворачивали мясо, поливали его рассолом — в общем, делали все то, что принято делать на подобных мероприятиях. За столом со стаканами и бутылкой водки сидел хозяин, вполуха внимавший рассказам о дальних странствиях нашего коллеги Николая Петровича. Николай Петрович был бледен, но достаточно свеж, сидел ровно, прочно, правда,

голос его слегка скрипел, пропадал временами, казалось, через некоторое время он и вовсе исчезнет. Но Николая Петровича такое опасение не останавливало: он рассказывал и рассказывал, рассказывал и рассказывал об отелях, автобусах, питании, о склоках внутри туристических групп и о барыгах-гидах.

Завидев нас, Олег подскочил, обрадовано пошел нам навстречу, приобнял Наташу, крепко пожал руку мне.

— Спасибо, друзья, что пришли, — заворковал он, попутно оценивающим взглядом окинув мою спутницу, — и не только за это. — Он подмигнул заговорщически.

— За что же еще? — поинтересовалась Наташа.

— За то, что избавите меня от этого докучного монолога. — Он кивнул в сторону примолкшего Николая Петровича.

— Но откуда он здесь взялся? — не выдержал я. — Его полгорода ищет, а он сидит у тебя и водку пьет.

— Не знаю, — пожал плечами Олег, — спросите его сами. Его Барков позвал.

Для человека, заработавшего состояние на паленой водке, Олег был слишком вежлив и обходителен. Вокруг футбольного поля на его участке высились четыре трехэтажных особняка, два из которых он сдавал иностранцам, работавшим по контракту в авиационной компании, в третьем жили по очереди его бездомные друзья: ученые, актеры, разорившиеся бизнесмены; там частенько проживал и Барков. Четвертый особняк, отделанный саянским мрамором, с бассейном и баней на цокольном этаже занимал сам Олег с женой и ребенком.

— Это мое родовое гнездо, — объяснял хозяин выбор этого места, — сто лет назад в крохотной корявой избенке здесь жили мои прадеды. А лет двадцать назад я эту землю выкупил.

Он гордо расправлял плечи, вскидывал голову, пытливо косясь на Наташу, стараясь произвести на нее впечатление. Дабы не мешать гостеприимному хозяину деликатно охмурять гостью, я поспешил к нашему воскресшему сослуживцу с вопросами.

— А я и не был в больнице, — хмуро отвечал Николай Петрович, недовольный тем, что его прервали. — Уже в машине скорой помощи мне стало лучше, и я попросил меня отпустить, что они с удовольствием и сделали: в городе и без меня хворобых хватает.

— А потом вы куда направились?

— Пошел домой, отлежался, потом позвонил Барков, пригласил меня сюда, и вот я тут.

Николаю Петровичу очевидно не нравилось мое любопытство. Он слегка покраснел, налил себе водки и, задрвав голову, выпил ее, не закусывая. На шее у Николая Петровича я разглядел свежий, слегка кровоточащий шрам.

— Господи, а на шее у вас что, откуда появилось? — в испуге закричал я.

— Будет вам, — поморщился коллега, — хватит уже вопросов. Со мной все хорошо, у меня все замечательно. Врачи в скорой провели мне какую-то процедуру, что-то с кровеносным сосудом, вот шрам и остался. Давайте уже отдыхать, честное слово.

В беседку вернулись Олег с Наташей, оживленно беседа. Олег, кажется, совершенно очаровал девушку. Николай Петрович кряхтел и крякал, пытаясь вставить в их диалог хоть слово, но безуспешно: они совершенно увлеклись собой и друг другом. А я, вслушиваясь в интонации своего внезапно появившегося товарища, находил и тембр его голоса, и некоторые выражения достаточно странными, не присущими ему прежде. Николай Петрович в свою очередь демонстративно не обращал на меня внимания, пил водку и не оставлял попыток завладеть разговором. Через полчаса после нашего прихода на тропинке, ведущей с улицы, показался Барков. Первым его стриженую свежую голову заметил Олег и стал неистово орать и размахивать поддувалом для углей. Вслед за олигархом подхватили озорной зов и остальные, включая меня. Барков торопился, цеплялся за кусты, шагал непомерно широким шагом. Однако в ответ на наши крики на лице его, как можно было ожидать, не родились ни приветливая улыбка, ни даже усмешка. Барков был серьезен, даже печален.

— Что-то случилось, — одернул я развеселившуюся компанию, — посмотрите на Баркова, точно что-то стряслось.

Все смолкли, уставившись на приближающегося чучельника, ожидая с нетерпением объяснений.

— Слонового убили, — выпалил запыхавшийся Барков и тут же схватил бутылку, налил себе в первый попавшийся стакан горячий напиток, выпил залпом. По лицу его пробежала легкая судорога. — Что это? — задыхнувшись, спросил Барков у Олега. — Водка? А где же твой фирменный?

— В магазины ушел, народ виски требует, — ухмыльнулся богач. — А мы лучше к традиционным ценностям приобщимся. Они и вкуснее, и безопаснее. Так что там с Сан Санычем?

— Только что Губилов звонил. Слоновой снова затащил к себе на дачу наших рабочих. Хотя ему говорили, что слишком часто не надо этого делать. То ли забор у него сломался, то ли канализация. Многие не хотели ехать, кричали, что работать на дачах дирекции не входит в их обязанности и не прописано в договоре. Слоновой пригрозил строптивцам увольнением. В конце концов, все, конечно, поехали, но на даче что-то произошло, что — точно пока неизвестно. Возможно, они опять поссорились, или кто-то не простил ему утренней размолвки, или же, как водится, из-за денег, ведь Сан Саныч им не оплачивал эти работы, даже премии не давал... В общем, травма головы у него, несовместимая с жизнью. Кирпичом долбанули или доской. Вся наша бригада уже арестована, будут выяснять, что там в действительности произошло.

Барков налил себе еще, выпил. Мы сидели онемевшие, ошарашенные. Сан Саныч, всем нам прекрасно знакомый, обаятельный балагур-взяточник-душа компании... Теперь его нет...

У Наташи затряслись плечи, набухли веки, она начала задыхаться.

— У нее истерический приступ, — пророкотал Николай Петрович новым незнакомым голосом.

— Я разберусь! — воскликнул Олег, подхватил девушку на руки и потащил в дом. — У нас на дзюдо были такие случаи, — прокричал он, удаляясь, — я знаю, что делать.

Спустились сумерки. Николай Петрович, Барков и я сидели молча в беседке, каждый погруженный в свои тяжелые мысли. Парни, готовившие шашлык, давно испарились, красные огоньки в мангале догорали сами собой в густой темноте вечера. Зажужжали настырные комары, Николай Петрович, пытаясь настичь комара, с размаху шлепнул себя по лысине; в месте удара, на крупном выпирающем лбу даже в полутьме стала заметна приличных размеров вмятина.

— Улетел, зараза, — буркнул ворчливо Петрович, проверил помятый лоб и аккуратно выправил повреждение.

Из дома олигарха раздались вопли ужаса. Через мгновение к нам по тропинке бежала полуодетая Наташа, на ходу напяливая на себя нечто похожее на пододеяльник.

— Поднимайся, уходим! — закричала она кому-то из нас.

Мы переглянулись.

— Господи, ну скорее же!

На этот раз ее призыв определенно был обращен ко мне. Не раздумывая, я вскочил с места, схватил ее за руку, и мы бросились к выходу, как два ошпаренных зайца. Серые деревянные развалюхи пролетели мимо нас, как в ускоренной съемке. Достигнув Калинина, мы остановились перевести дыхание. Погони за нами не было.

— Что же случилось? — спросил я девушку осторожно. — Если нет настроения — не говори. Или ты просто не захотела?..

— Я хотела, — проямлила она удрученно, — почему нет? Но у него...

— Что, слишком большой? Слишком маленький?

— У него там ничего нет.

— Как ничего нет, так не бывает.

— Я тоже думала, что не бывает. Впервые такое. Ничего вообще нет, пусто. Только железяка торчит. И болтики, винтики, проводочки... Я и испугалась. Еще разъем есть устройство зарядное подсоединять.

— Ты бредишь. — Я потрогал Наташин лоб, лоб был прохладный. — Что это за околесица?

— Я сама ничего не понимаю. Может, я сплю?

Мы двинулись обратно к работе, до которой было рукой подать. Во дворе на лавочке, расстроенный, сидел Серега, держа в руках пластиковую канистру, из которой он периодически отхлебывал.

— К тебе приходили, — он кивнул на канистру, — какие-то мужики, вроде приличные. Принесли напиток от бабы Марьи. Сказали, мы свои долги всегда отдаем. — Он снова хлебнул, поморщился, на глаза навернулись слезы.

— Ты чего, из-за Сан Саныча? Не переживай ты так, — начал я его успокаивать, — Слоновой был хороший мужик, а те, кто это сделал, свое получают...

— Марсела уехала, — перебил меня Сергей, лицо его выражало совершеннейшее отчаянье.

— Как уехала, — опешил я, — вы же были вместе? Были?

— Были. — Сергей растерянно развел руками.

— И что, ей так не понравилось? — насмешливо спросила Наташа.

Сергей нахмурился:

— Я не знаю. Я отлучился на пару минут в магазин за вином и конфетами, чтоб немного ее побаловать, вернулся, а ее уже нет. Только записку оставила, что уезжает на родину в Хакасию. Что давно собиралась и купила билет заранее, просто не хотела расстраивать всех нас. И благодарит меня за прекрасный вечер.

— Тогда ничего страшного, она побудет на родине, передохнет и возвратится назад.

— Вряд ли.

— Поэтому ты расстроен? — сочувствуя, спросила Наташа.

— Поэтому, и не только. Мне так и не удалось ее поцеловать.

— Ты так и не поцеловал ее, хотя вы были вместе?

— Да, были. Нет, не поцеловал. Она не захотела целоваться со мной. — На глазах у Сергея снова появились слезы.

Наташа присела рядом с ним на скамейку, приобняла за плечи, начала нашептывать слова утешения. Она это умеет лучше меня.

Я вошел в здание. Ослепляющий свет всех ламп заливал вахту. Слава тревожно всматривался в окно.

— Тебя так и не поменяли? — удивился я.

— Где ты шляешься? — вместо ответа набросился на меня вахтер, впрочем, без крика, пряча слова в полупшепоте. — Тут такое происходит...

— Да знаю я, — отмахнулся я и направился к лестнице.

— Что ты знаешь? — остановил меня Слава. — Ты знаешь, что шарыпозавр ожил и идет сюда? Многие, кто работал над макетом в том же помещении, ранены. Никто не погиб вроде, и то слава Богу.

— Ожил? — переспросил я. — Там же кости одни, он же ископаемый.

— Я не знаю, как такое возможно. Вы же палеонтологией занимаетесь, вам виднее. Наверное, вам не все известно о свойствах древних животных, может быть, у них есть способность к воскрешению.

— Не болтай ерунды. И кто вообще тебе сообщил эту чушь? Губилов опять звонил? Сколько можно звонить, когда он, наконец, появится? Год здесь работаю и воочию его еще не видел... Лишь по телефону приказы раздает, ишь ты, какой занятой начальник...

— Нет, Губилов не звонил, сообщил кто-то из администрации, я не знаю, кто именно, тот, кто успел до телефона добраться, они там все по углам попрятались в панике. Сказали, шарыпозавр направляется к нам, потому что здесь хранятся кости его сородичей и вообще всех животных, которых больше не существует. Может быть, он может их оживить? Как Христос во время второго пришествия? Может быть, у зверей есть свой собственный Иисус Христос, и это именно наше чудище?

Я сплюнул.

— Слава, ты идиот, роликов в ютьюбе насмотрелся или что с тобой? Не лезь в дела, в которых ты ничего не понимаешь. Сидеть на стуле и пялиться в экран — вот твоя работа.

Слава покорно повернулся к экрану, взгляд его мгновенно окаменел. Я подошел и из-за Славиной спины глянул в камеры, в сумерках сперва ничего не заметив. Но спустя несколько секунд взгляд мой так же одеревенел: по двору гуляло гигантское пятиметровое существо с длинным хвостом, маленькой головой, изогнутой спиной, украшенной многочисленными треугольными пластинами. Ни Сергея, ни Наташи не было на лавочке. «Будем надеяться, что они спрятались», — подумал я про себя.

— Запри дверь, — быстро скомандовал я Славе, — а я наверх. Кто в здании?

— Не знаю, — пролепетал вахтер, — Игорь точно, Люда была, Галина Ивановна, скорее всего, ушла раньше. Александра Константиновна пила чай, она долго пьет, ты знаешь, а дальше... Дремал я, не помню.

— Бог с ними. — Я взлетел по лестнице, ворвался в свой кабинет, ринулся к шкафу.

Там хранилось специальное оптическое ружье убойной силы, разработанное одним из наших умельцев для охоты на древних ящеров. Над умельцем потешались все кому не лень, ведь известно, что ящеры вымерли и охотиться на них не придется, однако чудак упрямо повторял, что ни одно живое существо не пропало бесследно и что все, кто когда-то существовал на земле, обязательно вернутся сюда снова. Я тоже ему не очень верил, но ружье взял больше для сохранности, чем в надежде его реально использовать. И вот теперь, как это порою бывает, тот, кого сочли сумасшедшим, оказался прококом. Я извлек оружие из чехла, осмотрел его. Ши-

рокий ствол, патроны каждый по полкилограмма — настоящая маленькая пушка. Глянул в компьютер в камеры наблюдения, чтобы понять, что сейчас происходит. Динозавр принюхивался к чему-то во дворе, словно большая любопытная псина. Или, скорее, ковырял какую-то грудку — ведь, как мне помнится, по науке у них почти отсутствует обоняние. Я пробежался по камерам внутреннего наблюдения: кабинеты в здании пустовали. Даже Игоря не было на рабочем месте. Не было ни Люды, ни Галины Ивановны, ни Александры Константиновны, поляки, очевидно, ушли еще раньше. Я включил наблюдение за хранилищами: Игорь копошился в моем отделе, в шкафу, где хранилась антропология. Наверное, и Люда, и Галина Ивановна и вправду ушли, ведь был почти конец рабочего дня, а Игорь, заканчивая диссертацию, часто работал и ночью. Но брать что-либо из хранилища без разрешения ответственного за него строжайше запрещено и приравнивается к краже. Я бегом спустился на этаж ниже, вбежал в свой отдел, хлопнув дверью, чтоб не испугать Игоря внезапным своим появлением. Игорь так же сидел на корточках перед шкафом с антропологией, каким я его увидел минуту назад в камере наблюдения. Вокруг него в беспорядке одна на другой стояли коробки с человеческими черепами. Некоторые, мои любимые, я узнал сразу: череп девушки с сохранившимися волосами, уложенными в прическу, с голубой ленточкой, восемнадцатый век, захоронение обнаружено в центре города, азиатка; прическа и ленточка особенно трогательны, многие гости моего хранилища любят фотографироваться с черепом этой красотишки в руках, некоторые, не особо разумные и деликатные, изображают с ней поцелуйчик; потом фотографии выкладываются в социальные сети, где моя красавица, наверняка, уже знаменитость спустя триста лет после смерти. Рядом с черепом девушки — череп мужчины, более древний, VIII-V века до нашей эры, тагарская культура, височная кость пробита, очевидно, воин, все тогда были воинами, возраст смерти — лет тридцать; по тем временам — старик. В моем шкафу они стоят рядом, как будто вместе, как будто пара, хотя разница в возрасте более двух тысяч лет — впечатляет. Теперь они на полу, и Игорь даже не думает спросить у меня позволения с ними работать. Он даже не удостоивает меня приветствием или хотя бы кивком вежливости.

— Что ты здесь делаешь? — наконец, произношу я.

— Работаю, — хладнокровно отвечает незванный гость.

— Ты не можешь работать здесь без моего согласия.

— Мне срочно нужно для диссертации. — Игорь по-прежнему занят содержимым шкафа и на меня не смотрит. — Я хотел тебя спросить, но тебя никогда нет на месте. Вас никого нет. Такое ощущение, что в отделе работаю только я.

Я смутился. В его словах была правда.

— Ладно, ты прав, — проговорил я, — меня действительно не было. Если хочешь, работай, конечно... Хочешь забрать их к себе?

Игорь кивнул.

— Я помогу, — засуетился я, — какие тебе нужны?

Игорь посмотрел на меня странно, потом обвел взглядом коробки.

— Хорошо, отнеси вот эти, мне одному за раз не справиться. — Он подтолкнул ко мне несколько незнакомых мне черепов. Девушку с ленточкой и воина он отложил в сторону.

— Их тоже возьмешь? — Я кивнул на своих любимцев.

— Да, я их сам принесу. Мне они нужны для сравнения разных эпох. Древность, новое время и современность.

Я подхватил коробки и зашагал к кабинету Игоря. В полумраке маленькой комнатки мерцал монитор компьютера, на столе и на полу стояли коробки с человеческими черепами. Я скользнул взглядом по номерам. Большинство черепов относилось к основному фонду хранения, имея соответствующую инвентарную классификацию, некоторые причислялись к вспомогательному фонду, другие же и вовсе были без номеров. Неплохо владея этой частью своей работы, я несказанно удивился: черепов в хранилище не так много и совсем безномерных среди них нет. Антропология — очень серьезная область изучения в нашей конторе, ей уделяется повышенное внимание; мы переписываемся со специалистами из других регионов страны, из заграницы, обмениваемся визитами, создаем совместные каталоги, наши образцы являются материалом для многих кандидатских и докторских диссертаций, и, естественно, все, что находится в секции антропологии, грамотно учтено и оформлено так, что практически не подлежит списанию ни в каком случае. Чтобы избавиться от предмета, относящегося к основному фонду хранения, нужна министерская комиссия, со вспомогательным фондом процедура попроще, но тоже весьма хлопотливая. А тут у Игоря на столе множество образцов вообще неучтенных...

Хочешь — забирай их домой или открывай собственную лабораторию, никто и не хватится. Как такое возможно в принципе?

Я беру в руки один череп, другой, третий... Надписи ОФ (основной фонд), ВФ (вспомогательный фонд)... МК — что это вообще значит? НП? СС? ГИ? ТИ? Игорь наблюдает за мной насмешливо из дверного проема, он подошел совсем незаметно, почти подкрался.

— Что это за классификация такая, не пойму? — спрашиваю я его подозрительно.

— Куда тебе! — усмехается Игорь. — Что ты вообще понимаешь? Ты же не любитель даже — профан. Что ты вообще здесь делаешь — работаешь? Ага, как же! Дурака валяешь целыми днями. Да и вы все... Чем вы здесь заняты? Штаны протираете, юбки? Чай пьете? Водку? По базе гуляете каждый день, закупаете по дешевке домой продукты? В этом ваша работа?

Он почти перешел на крик, но голос просел, и Игорь закашлялся, опустился на стул у двери, вздохнул.

— А я работаю, у меня труд научный, я двигаться хочу, развиваться, идти вперед, делать карьеру, побеждать. Я — победитель, понимаешь? — Он посмотрел на меня, будто и вправду рассчитывал на понимание.

И я его понял. Сказал, что понял.

— Понимаю, конечно, — внятно и спокойно проговорил я, — мы все уважаем тебя за твою целеустремленность, за твой характер, ты — молодец. И ты прав: мы не такие, не бойцы мы — размазни, рохли. А ты... Мы тобой восхищаемся.

— Не нужно мне ваше восхищение. И ничье восхищение или одобрение мне не нужно, — перебил меня Игорь, — мне нужно, что вы оставили меня в покое, не мешали работать, и все. А вы постоянно возитесь с какими-то выдуманскими делами, проблемами, топаете, стучите, трахаетесь уже по углам — вот до чего дошло ваше разгильдяйство. Были бы вы хотя бы талантливы, но нет, вы все бездарны, как один. Ленивы, безынициативны...

Он снова вздохнул.

— Оставь коробки и уходи, мне работать надо, — устало проговорил он.

— Со своей работой ты совсем отключился от реальности. Ты хоть знаешь, что в мире творится? Сан Саныч погиб, Марсела уеха-

ла на родину, шарыпозавр ожил и гуляет у нас по двору, Серега и Наташа пропали...

— Еще киргизы исчезли, — мрачно добавил он, — те, которые китайцы.

— Откуда ты знаешь? Губилов звонил?

— Откуда знаю? — Он поманил меня пальцем к компьютеру.

На мониторе в лучшем разрешении, чем у меня, просматривался весь двор, все кабинеты и даже внешний въезд и мистический перекресток. Шарыпозавра во дворе не было видно, но посреди двора грудой скомканных рваных тел лежали еще недавно живые киргизы. Я вспомнил войлочную шапку Баркова и подозрительную шерсть у него на плечах.

— Кто же их уколошил, Барков? — спросил я наивно. — Он в два счета свежует медведя, так что распотрошить человека для него задача осуществимая. А Губилов хотя бы в курсе?

Игорь расхохотался, светодиоды сверкнули в его глазницах.

— Не существует никакого Губилова, остолоп. Ты когда-нибудь Губилова видел?

Я отрицательно помотал головой.

— И никто не видел. Потому что его и нет. Это я вам называл от его имени, чтобы хоть как-то вас контролировать и управлять вами.

Я опешил.

— Не может этого быть. Голос, как ты менял голос?

— С современным развитием программного обеспечения изменить голос не составляет большого труда.

— Но мы могли поехать в главный корпус и все узнать?

— Могли. Но вы никогда туда не ездите, там нет дешевых магазинов с продуктами или удобных скамеек для отдыха. Впрочем, в главном корпусе тоже многие думают, что Губилов существует... — Он усмехнулся.

Коробки с черепами, которые я до сих пор держал в руках, сами собой рухнули на пол.

— Но зачем тебе это все?

— Затем, что вы — прошлое, вы — пыль, вас смахнуть надо. Вы вообще не должны существовать. Весь мир трудится, впахивает, тянется к прибыли, к эффективности, к росту. А такие, как ты, как вся ваша компания, — словно кандалы, сковывающие это движение. Вы как болезнь, как опухоль, которую вылечить невозможно.

но, можно лишь удалить хирургическим путем. И тут не должно быть жалости — только решимость и понимание того, что, если от вас не избавиться, из мира уйдет прогресс, все ценное и достойное, все стремящееся к свету знаний, к развитию погибнет, утонет в безделье, бездействии. Все, что творило человечество на протяжении всей своей истории, создано вопреки таким, как ты, слабохарактерным, вальяжным, самодовольным мерзавцам, смотрящим на творцов, на истинных подвижников свысока. Вы все на меня так смотрели...

Нетвердым шагом, мимо Игоря, боясь споткнуться о тут и там расставленные, раскиданные образцы, я покинул маленькую мрачную комнатку и направился к лестнице, пытаюсь упорядочить сумбур в голове. Дойдя до лестничной площадки, я услышал внизу глубокое густое сопение древнего гигантского зверя. Шарыпозавр поднимался к нам на этаж. На секунду у меня промелькнула мысль юркнуть обратно в кабинет Игоря и запереться, спрятаться там, в надежде, что ящер не заинтересуется маленькой комнаткой, но, чем снова оказаться наедине со своим начальником, я предпочел взглянуть в лицо смерти.

Шарыпозавр, покачивая огромными боками, которые едва помещались в нашем недавно расширенном рабочими из Южной Кореи коридоре, поклевывая крохотной головой, шел прямо на меня. Нельзя смотреть в глаза диким животным, но я посмотрел. И увидел в ответном взгляде шарыпозавра усмешку, легкую и снисходительную. Над чем он смеялся — над нами или над нашим временем? Пристально и игриво глядя мне прямо в душу, он проплыл мимо; мне показалось, или он действительно прошептал, когда его головка проплывала в двадцати сантиметрах от моего лица: «Пакицет»? И тут я понял: конечно, он узнал меня, поэтому он улыбался. Он признал во мне вымершего собрата, исчезнувшего с земли миллионы лет назад, существо, когда-то бывшее живым и чьи останки теперь щиплют и калечат ученые, шлифуя их мастерками и заливая клеем. Шарыпозавр завернул в кабинет Игоря, откуда через мгновение донесся грохот и слабый стон. Затем наступила благословенная тишина.

«Спи спокойной, дорогой начальник», — прозвучал во мне незнакомый голос, сердечный и ласковый, успокаивающий, родной.

Ошарашенный такой странной и значительной встречей, я медленно спустился по лестнице. К Славе, наконец, пришел сменщик: на месте вахтера восседала Александра Константиновна с затейливым вязаньем в руках.

— Пенсия у меня маленькая, вот я и решила на вахте у нас посидеть, — завидев меня, заворковала старушка, — да и скучно целыми днями дома, мои все на работах, поговорить не с кем. А тут вы, вы же мне как семья, как я без вас?

Я миновал двор с кучей мертвых людей посередине, возле которой растерянно скулил Дик, вышел на улицу, приблизился к мистическому перекрестку. По дороге безостановочно неслись машины, не замечая яркие свежие полосы пешеходного перехода. На другой стороне улицы тенью маячила Серафима Степановна, но в этот раз она прогуливалась не одна: рядом с ней, изогнувшись над ее ухом, рассказывал свои всегдашние байки Николай Петрович; Марсела Кирилловна с Галиной Ивановной обсуждали хозяйственные дела; Татьяна Ивановна как будто молилась, держась за ствол небольшого тополя; тень Сереги заигрывала с идеально сложенной тенью Наташи (кажется, она собиралась в Таиланд к новому жениху); почти у самой остановки, сливаясь с ночной темнотой, скрючившись, сидел чучельник Барков; Сан Саныч Слоновой тоже там? Я не мог разглядеть, как следует, но совершенно точно — там были и другие тени. И они звали меня, махали руками и улыбались.

№ 5, 2023 г.

Иван Гобзев

АННА АРКАДЬЕВНА

Давно уже известно, что в бесконечном множестве миров возможны все миры, даже самые маловероятные. Достаточно, чтобы они были хотя бы чуть-чуть вероятны. И если есть один шанс из триллиона, что какой-то мир есть, значит, он наверняка есть.

Все мои коллеги из Института истории культуры только и занимаются тем, что путешествуют по возможным мирам, чтобы посмотреть, что было бы, если... Что было бы, если, скажем, Пушкин остался жив? И вот они отправляются в эту альтернативную реальность, в которой он остался жив, и смотрят, что из этого вышло.

Хотя смысла в этом не так много, ведь выйти из этого может все что угодно — существуют миры, где реализовались все возможные истории. Но потом мои коллеги пишут научные статьи. Что-то вроде: «В мире АА.01 А.С. Пушкин стрелялся с М.Ю. Лермонтовым — из-за женщины или все же нет?» Или вот недавнее: «Родная дочь Н.В. Гоголя в браке с Л.Н. Толстым: проблема воровства сюжетов».

Занимательно, конечно, но лично для меня ценность подобных изысканий сомнительна...

Меня волнует другое. Как, например, Анна Каренина могла оставить своего сына? Как сложилась дальнейшая судьба героев? И действительно ли у Вронского были такие сплошные зубы, как об этом постоянно твердит автор?

Вопросы могут показаться нелепыми, но среди множества миров есть и такие, где все описанное великим романистом — реально. Потому что ничего противоречащего законам физики у него там нет.

Что с того, что это вымысел? Когда возможно все, граница между реальностью и вымыслом исчезает.

•••

— Николай, — говорит мне декан, — ты уверен вообще? Каренина, Левин, Вронский... Почему не Буратино или Карлсон? Они тоже возможны и, значит, где-то существуют!

— Я понимаю вашу иронию, Артемий Леонидович, но Государственный научный фонд поддержал мой проект!

Это правда — мою заявку, писаную без всякой надежды, поддержал Фонд и выделил мне необходимое финансирование. Случай беспрецедентный. Причем мою предыдущую заявку «Неизвестные фрагменты частной жизни Л.Н. Толстого и С.А. Толстой» почему-то отклонили, хотя там уж исследование обещало быть весьма результативным! Иногда мне кажется, что заявки отбираются наугад.

— Ладно, ладно, ты не сердись. Но, сам понимаешь, другие будут недовольны, надо теперь тебе время выделять в межпространственно-временном континууме... А есть и более актуальные исследования, чем дальнейшая судьба Вронского!

— Это какие, например? — с вызовом говорю я.

— Прямо сейчас разрабатывается проект исследования жизни и творчества Сапфо, который может иметь значение для всей мировой культуры, и обрати внимание — она совершенно реальный человек, а не твой Винни-Пух или что-то в этом роде!

Я улыбнулся, пропустив Винни-Пуха мимо ушей. Все знали про неудержимую страсть Артемия Леонидовича к Сапфо. Он грезил ею, как говорится, во сне и наяву. То, что это полубогиня, личность, древняя поэтесса, про которую почти ничего неизвестно, его не останавливало. В его воображении она была вполне реальной личностью.

Что ж, его ждет разочарование! Так всегда бывает — когда чего-то очень ждешь, потом это оказывается совсем не таким.

•••

Уже многие годы ходит байка про одну исследовательницу, которую по ошибке отправили не к Мигелю Сервантесу, а к его герою Дон-Кихоту. Ее зовут Таисия Дульяновна Боосова, веду-

щая научная сотрудница Института культуры старой Испании. Я видел ее фотографию: строгая дама лет пятидесяти, с короткими седеющими волосами, зачесанными назад, и в больших смешных круглых очках.

И она не вернулась. Будто бы нашла счастье с ним, стала дамой его сердца. Он бросил рыцарство, не доехав даже до мельниц, и занялся сельским хозяйством, а она взяла на себя заботу о доме. Санчо Панса поначалу терпеть ее не мог, потому что она испортила ему выгодное предприятие, но потом стал у них частым гостем. И будто бы в альтернативной версии романа Сервантеса появились такие финальные строки: «Каждому мужчине, чтобы он стал счастливым, должна встретиться та самая женщина».

Исследования в области вымышленных историй крайне редки — считается, что поскольку они вымышлены, они не имеют ценности. Я не согласен, потому что такие исследования позволяют лучше узнать замысел автора, его мотивы и ценности, и главное — лучше понять само произведение.

Мой план был таков — проследить за Анной Аркадьевной, когда она прибывает на станцию Нижегородская после размовки с Бронским, чтобы ехать в Обираловку, где все завершится столь трагическим образом. Я стану свидетелем самого драматического эпизода в романе, и, возможно, сумею перемолвиться с ней парой слов и узнать, что меня интересует, — в том возбужденном, одурманенном лекарством состоянии, в каком она пребывает, она может открыться незнакомцу и сообщить нечто важное. Да, понимаю, это звучит цинично... Но таковы правила полевого исследования: порой ученый — это не человек в обычном смысле, а бездушная машина для наблюдения фактов.

Еще один плюс выбранного мной момента посещения пространства романа — близость к финалу, когда я, с одной стороны, могу посмотреть итоги всех сюжетных линий, и с другой — не слишком долго ждать, чтобы узнать, что было дальше.

Главное, не попасть в черновой вариант — вот о чем я беспокоился. Помня страсть Льва Николаевича к переписыванию, такое вполне могло случиться. Тогда все насмарку!

•••

Из портала я вышел неудачно — практически вывалился и упал на колени, картуз укатился и свалился с платформы. Что же, буду теперь с непокрытой головой! Мимо шли какие-то наглые молодые люди, их рассмешил мой вид. Я быстро поднялся и огляделся по сторонам. Вытащил носовой платок и не спеша отер руки, давая всем понять, что я в порядке и не пьяный. Но, кажется, никто не обратил внимания, кроме этих молодых людей. По перрону стелился густой белый пар, местами полностью закрывая обзор.

Где-то здесь должна быть она. Но как я узнаю? В моем-то воображении она одна, а Толстой ее видел наверняка совсем иначе. В романе только одно конкретно — она была полновата.

Я стал бегать по платформе взад-вперед, вглядываясь в лицо каждой полноватой дамы. Это, конечно, было неприлично. Но что поделывать! Я был готов уже и спрашивать: «Вы случайно не Анна»?

Мимо опять прошли те наглые молодые люди; увидев меня, они обменялись непонятными жестами и рассмеялись. И тут меня озарило: как же! Наглые неприятные молодые люди! Толстой писал, что они как будто преследовали Анну, во всяком случае специально прохаживались мимо нее.

Я пошел за ними. Они заметили это и замолчали. Потом свернули в сторону.

— Молодые люди! — громко и требовательно позвал я, настигая их бегом. — Вы тут видели недавно даму, она должна выделяться среди прочих?

Молодые люди переглянулись и ускорили шаг.

Я махнул рукой. Вполне вероятно, они и не знают, о ком речь — очень даже может быть, что их внимание к ней было не более чем плодом ее болезненного воображения.

Черт с ним, решил я, куплю билет, сяду в поезд и там буду ходить по вагонам, пока ее не найду.

Я пошел уже за билетом, как вспомнил: Анна Аркадьевна была с красным мешочком! Да-да, красный мешочек!

Я вновь побежал по перрону, высматривая красный мешочек среди черных, белых, красных, синих, зеленых нарядов.

И едва на нее не налетел. Она стояла у вагона, намереваясь войти. Лица я не разглядел под вуалью, но осанка, руки, платье, от-

страненная задумчивость в позе — это могла быть только она! К тому же вот: и красный мешочек, который она как-то по-детски прижимала к животу двумя руками.

Задыхаясь от волнения, я залепетал:

— Анна Аркадьевна, это вы! Это вы! Как я рад, вы не поверите... Это что-то с чем-то...

Она коротко взглянула на меня, потом обернулась к дородному мужику с животным лицом и сказала тихо, как мне показалось, обреченно:

— Петр, подай ему.

И быстро поднялась в вагон.

Петр с надменной улыбкой сунул мне в руку монету, хлопнул по плечу и пошел прочь.

Я ничего даже не ответил, потому что был совершенно растерян. Я застыл с этой монетой в зажатой ладони, онемевший от стыда и негодования. Неужели я похож на нищего? У меня непокрыта голова, и что? А как же мой великолепный сюртук? Напомаженные волосы? А великолепные штиблеты? И я подрыгал ногами, как бы демонстрируя всем свои штиблеты.

Я взялся за поручень, полный решимости подняться следом и объясниться с Анной Аркадьевной. Однако какой-то господин в служебном костюме, должно быть, кондуктор, схватил меня за локоть.

— Батенька, куда это вы собрались? А билет?

Ах да, билет!

— Будет вам билет! — зло сказал я. — И я вам не батенька! Я прямой потомок Ивана Грозного, дворянин черт знает в каком поколении!

И смутившись от своего нелепого вранья, я заторопился в кассу.

•••

Взяв билет до Обираловки, я направился к поезду. И тут только понял, что не помню, в какой вагон села Анна Аркадьевна!

У стекла я задержался, чтобы в его отражении поправить прическу. Да, без картуза конечно не очень хорошо, но все равно я недурен! Не то что лысеющий Вронский с его сплошными зубами. Боже, и что она в нем нашла? Понимаю, понимаю, дело не в на-

ружности... И я вспомнил, как увидел ее, стоящую у вагона, — я ведь даже лица ее не видел толком, даже не поговорил, а однако же такой огонь был в ней, в одной этой ее позе, склоненной голове, руках!

«Да что что же это?» — спросил я сам себя.

И какой-то неприятный холодок пробежал по моей спине, чаще забилось сердце и снова перед моим внутренним взором встала Анна Аркадьевна в полный рост.

— Это, случайно, не ваш картуз? — Вижу, бежит ко мне стационарный смотритель.

— Спасибо, любезный мой!

Я отряхнул его и надел на голову. Смотритель стоял рядом и ждал, заискивающе улыбаясь.

Ах, да! Я протянул ему монету, полученную от Петра.

— Премного благодарен! — поклонился он и так же, склоненный, убежал.

Подойдя к вагону, я увидел грязного мужика с всклокоченной бородой, он шел вдоль поезда, нагибаясь и постукивая какой-то штукой по колесам.

•••

Я шел по вагону с твердым намерением объясниться. Не время робеть в вымышленном мире!

И тут меня озарило: да вот же почему никогда не нужно робеть! Ведь любой мир можно рассматривать как вымышленный, как всего лишь один из квинтиллионов возможных, где твои двойники делают все возможные выборы! А мы проживаем годы, боясь и не решаясь, как будто мы и наш мир настолько уникальны, что нельзя допустить ошибку...

Я заглядывал в каждое купе, смущая барышень и вызывая негодование господ, но ее нигде не было. В одном вагоне я увидел тех самых молодых людей, которые противно хохотали. Я сделал свирепое лицо, увидев меня, они затихли, но стоило мне пройти, как они опять засмеялись.

— А вдруг она передумала ехать?! — похолодев, подумал я. — Что если?.. Ведь возможно! Я ведь уже вмешался в пространство

романа, Толстой меня не описывал! Я мог нарушить естественный ход...

Что же, в таком случае сойду в Обираловке и обратным поеду вечером в Москву... Или же нагряться к Вронским?

И тут, проходя мимо очередного купе, я увидел ее. Она сидела на грязноватом, некогда белом диване и смотрела в окно. Сидела сдержанно, как будто в каком-то внутреннем напряжении, как будто ведя сама с собой мучительный диалог. Мешочек лежал рядом. Напротив нее расположилась пара, муж и жена, он курил. Анна Аркадьевна, казалось, не видела и не слышала их.

Я кашлянул. Муж и жена подняли на меня глаза. От противоположной двери шел кондуктор.

— Анна Аркадьевна! — громко позвал я.

Она испуганно дернулась и посмотрела на меня. Я заметил, как под вуалью блестят ее черные глаза.

— Опять вы? — прошептала она.

— Анна Аркадьевна, я должен с вами поговорить!

— Ах, оставьте меня... Что вам нужно?

— Мне ничего не нужно, ничего! Разрешите, я присяду?

Тут уже подошел кондуктор. Мягко взяв меня за локоть, он сказал:

— Ну выпили и чего шуметь? Хорошо ли к дамам в поезде приставать? Пройдемте, провожу вас на места.

•••

Обескураженный, я позволил себя отвести куда-то и посадить на скамейку.

Такого отпора я не ожидал. Я был уверен, что в светском обществе ничего не стоит завести беседу с незнакомцем, если по крайней мере ты выглядишь прилично. Наверное, где-то здесь я и просчитался! Что-то не так в моем наряде... Или в целом во внешности? Манере держать себя?! Сразу видно, что я не дворянин? Ну и что же, может, я богатый купец! А может, дело просто в ней? По описанию Толстого, в данный момент ей должен быть весь мир враждебен и все люди неприятны...

— Любезный, поди сюда! — позвал я кондуктора и достал кошелек.

— Чего господин изволит? — с готовностью отозвался он. — Водочки и закусок?

— Нет-нет, — поморщился я. — Хотя... Почему бы и нет? Давай водочки и закусок, а потом, мой милый, мне нужно во что бы то ни стало переговорить с той дамой из купе. Не мог бы ты свести нас с глазу на глаз?

— Да как же это возможно, милостивый государь! Дама приличная!

И шепотом добавил:

— Каренина!

— Вот, держи. — Я вытащил из бумажника двадцать пять рублей и протянул ему.

— Что даме сказать-с?

— Скажи ей, что здесь ее ждет послание... Телеграмма! Нет, лучше записка.

— Она непременно спросит, от кого!

— Скажи, скажи тогда... Что от какого-то лысеющего господина со сплошными зубами!

Кондуктор с сомнением посмотрел на меня, развернулся и вышел.

Подумав секунду, я хотел его остановить — идея показалось мне не очень удачной и даже подлой, — но он уже был далеко.

— Вот стыд-то! — сказал я и ударил себя кулаком по колену. — Опускаться до таких приемов! Что бы сказал Толстой?

•••

Водка и закуска появились раньше Анны Аркадьевны. И правильно. Я выпил полынной, закусил и почувствовал, что преисполнился решимости. Однако что если она не придет? Деньги-то смотритель уже не вернет. Да на что мне эти деньги, в вымышленном-то мире? Однако же двадцать пять рублей на дороге не валяются...

Я рассердился сам на себя. В самом деле. О чем я думаю?! Вот поэтому она и выбрала Вронского, а не меня!

Да о чем это я сейчас?!

А если она придет и обнаружит, что у меня нет никакой записки? Еще хуже. Нелепо все же я придумал...

В этот момент дверь открылась — кондуктор ее придерживал, пропуская вперед Анну Аркадьевну. Он мне подмигнул и закрыл дверь. Мне это было неприятно, что он себе выдумал?!

Анна Аркадьевна, увидев меня, остановилась в нерешительности.

— Садитесь, прошу вас, Анна Аркадьевна, — привстал я, — прошу!

Она все так же прямо, не поворачиваясь, села на диван напротив, держа мешочек перед собой.

— У вас есть сообщение для меня от Алексея? — неуверенно спросила она. — Вы его приятель?

— Да-да, приятель, — обрадовался я ее удачному предположению.

— Как же вас зовут? Я не помню вас...

— Николай Львович! К вашим услугам.

— Он не говорил про вас... Какая у вас фамилия?

— Худой. — И зачем-то добавил: — По отцу.

— Вот как... — Она задумалась, склонив голову так, что шляпка оставила открытой только небольшую часть лица под вуалью и шею.

Голос у нее был глубокий и приятный. Я сидел напротив и смотрел на нее, сам не свой от восторга, — вот я рядом с ней, с одной из самых прекрасных женщин в мировой литературе, а по моему мнению — так самой прекрасной! Сколько я грезил ею, сколько мечтал поговорить, пройтись под руку, и спрашивать, и рассказывать, и... И вот теперь я сидел, как воды в рот набрав, и не мог вымолвить ни слова!

— Странно, — наконец выговорила она как будто преодолевая боль, — ваше имя мне кажется смутно знакомым... И где же? Где же письмо от Алексея?

— Письма нет. Он просил лично передать.

— Что? — с испугом посмотрела она на меня.

— Что он вас любит, и просил меня проводить вас домой, побыть с вами, пока он не вернется.

— То есть вам, совершенно незнакомому мне человеку, он велел все это передать? — тяжело выдохнула она. Потом прошептала: — Какой, однако, позор... Но постойте... Как же вы, как вы могли видеть его, когда? Я же встретила вас на Нижегородской!

Мой замысел провалился! И к счастью, потому что я не знал уже, куда деваться от этого вранья.

В крайнем волнении я встал и обратился к ней:

— Анна Аркадьевна! Простите меня! Я не видел Вронского и вообще незнаком с ним... Разве что читал про него. Про его сплошные зубы... Но это неважно сейчас. Я из будущего! Точнее даже не так, я из настоящего, реального настоящего, а тут все выдуманно, и вы тоже... Это так сложно объяснить! Мне надо поговорить с вами, Анна Аркадьевна!

И я умоляюще сложил руки у груди.

Она резко встала и направилась к двери.

— Все ясно, — сказала она, — вы сумасшедший. Прощайте!

•••

И когда она вышла, резко поведя плечами и быстро ступая, наклонив слегка вперед и набок голову, я понял, что люблю ее. Да, как бы это смешно и глупо ни звучало, я влюбился в Анну Каренину! Но не думаю, что это произошло именно сейчас. Это произошло давно, в моем воображении, исподволь и плавно. Я много думал о ней, грезил, пытался представить и понять... А сейчас наступила кульминация.

И я влюблен в нее беззаветно, так, как только может любить человек. Вдруг с удивлением я понял, что, хотя и увидел ее сегодня впервые, она уже знакома мне, как родной и самый близкий человек, с которым я никогда не расставался, но и в то же время был в мучительной разлуке. И все это время разлуки я видел перед собой ее светлый образ, который вставал неожиданно откуда-то из глубины сознания и поражал меня очевидной мыслью: да как же это возможно, что мы не вместе?!

И что происходит теперь? То, что я, вместо того чтобы открыться ей в самом главном, лезу к ней с какими-то нелепостями!

И я покраснел от жгучего стыда, как краснел последний раз в юности, когда признался школьной директрисе в чувствах, а она расхохоталась! Увидев свое отражение в стекле я поразился — какой же я бордовый! Как... Как ее мешочек!

Да вот же он! Лежит напротив на сидении! Она его забыла!

Я поднял глаза к потолку вагона, поблагодарил небо за эту удачу, схватил мешочек и стремительным оленем поскакал к Анне Аркадьевне.

•••

— Анна Аркадьевна, Анна Аркадьевна! — Я ворвался в купе, но там ее не оказалось. Сидела та же пара, с вежливым недоумением глядя на меня.

— Вы не видели даму? Она оставила мешочек! — И я показал им мешочек.

— Дама вышла только что, — ответил мужчина. — В Обираловке.

О боже! Я схватился за голову, прижав мешочек к лицу. Какой же я растяпа! Вот тебе и водочка с закусочкой!

Я бросился к выходу, крича кондуктора.

— Что вам? — тревожно и даже как-то агрессивно спросил он.

— Останови поезд! Мне надо в Обираловке выйти!

— Никак невозможно, милостивый государь! Люди едут, попадают все, разобьются.

— В таком случае отойди, я сойду на ходу!

— Убьетесь, сударь!

— А ну, отойди!

Он отошел с таким выражением лица, за которое в другой ситуации его следовало бы высечь. Перекрестившись, я прыгнул на несущуюся насыпь.

•••

Хромая, я кое-как добежал до платформы «Обираловка» и с трудом влез на нее, сначала перевалившись верхней частью тела, а потом подняв за собой ноги. Встав, я отряхнулся. Вид был у меня негодный — рваные брюки на коленях, штиблеты разбиты, сюртук в пыли и грязь, локти тоже подраны — на них и на колени я неудачно приземлился, прыгая из вагона. А я думал, это будет, как в кино!

А мой картуз?! Он опять куда-то улетел...

Подволакивая ногу, я, насколько мог быстро, направился по платформе в поисках Анны. Проходя мимо стекла я увидел свое отражение — глаз разбит и щека поцарапана, будет фингал.

Зато мешочек был со мной и совсем чистый, падая, я инстинктивно прижал его к груди.

Однако ее нигде не было видно!

— Анна Аркадьевна! Анна Аркадьевна! — закричал я в отчаянии, не беспокоясь о том, что подумают другие.

Но она не отозвалась, только люди оборачивались на меня.

«Но если я опоздал и *это* уже случилось, то был бы переполох?» — подумал я.

Я увидел кучера в синей щегольской поддевке и цепочке. Он шел довольный по платформе мне навстречу. Как его зовут? Ах да, Михайла!

— Михайла! — бросился я к нему. — Где Анна Аркадьевна, говори немедленно?

Михайла растерялся от неожиданного напора, огляделся и развел руками:

— Ушли вот только...

Потом приметил красный мешочек и подозрительно осмотрел меня:

— А вы кто будете?

«Водокачка!» — вспомнил я. В противоположном конце платформы в самом деле была водокачка. И там, как мне показалось, мелькнула черная шляпка, спускаясь по ступеням вниз, к железнодорожным путям. Тотчас загрохотали вагоны по рельсам, подходил товарный поезд, заглушая слова Михайлы, который требовательно что-то хотел, и поволокло густым паром. Оставались считанные секунды до того момента, когда поезд достигнет места, где я заметил черную шляпку.

Я, жестом отслонив Михайлу, побежал по платформе, крича и размахивая руками.

•••

— Анна Аркадьевна! Анна Аркадьевна!

Она стояла у второго вагона, чуть согнув колени и выставив руки вперед, как будто собираясь делать упражнения.

Увидев меня, она оглянулась, и даже вуаль не скрыла ее ужасающую бледность.

— Вы забыли это! — И я поднял над головой красный мешочек, чтобы показать ей.

Она распрямилась и откинула вуаль.

— Николай Львович?! Это опять вы? Вы что же, преследуете меня?!

Я спустился по ступенькам и остановился рядом с ней. Я развел руками, помахал мешочком, шумно вдохнул. И наконец признался:

— Да, преследую! Дело в том, что я вас люблю. Давно и всем сердцем. Уже лет двадцать! Люблю, как это ни банально звучит, больше жизни, потому что с некоторых пор жизнь без вас для меня не имеет смысла.

— Это что же, вы меня любите с тех пор, как мне было шесть?!

— Нет-нет... Увы, я вас знаю только в этом вот вашем возрасте... Это так сложно объяснить... Но я знаю, что вы собирались сейчас сделать с собой!

Она молча посмотрела на меня своими черными блестящими глазами. А я смотрел на нее, и меня не покидало чувство невероятного чуда — оттого, что вижу ее.

— Ничего, что это сложно, — сказала она. — Вы попробуйте объяснить, я умная, я пойму.

Поезд пронесся мимо, грохотанье стихло.

Безобразный мужичок скрылся вдали.

•••

Я рассказал ей все. Она слушала молча и задумчиво, стоя вполборота ко мне с мешочком на руке, который я ей отдал. Я не мог понять, верит она мне или нет. Я говорил с жаром и страстно, надеясь заставить ее поверить мне, но как это непросто — поверить в то, что ты литературный герой! Но все же я знал слишком многое про нее — даже то, чего не знал никто.

Наконец, прервав мою сбивчивую и взволнованную речь, она тихо спросила:

— Что же мне теперь делать? Зачем он со мной так?!

— Кто?! — не понял я. — Бронский?

— Да нет, — поморщилась она. — Этот, как вы его назвали, со смешной фамилией... Толстой! Он что, женоненавистник?

— Ну, нет... Я думаю, так само собой вышло. Писал, писал, и вот... Написалось!

— Я его ненавижу! А я ведь всегда чувствовала, как будто кто-то тащит меня куда-то помимо моей воли...

— Да вы, кстати, отчасти с ним знакомы... Константин Левин — он как раз списал с себя его образ.

— Не помню... — растерянно посмотрела она на меня.

— Да как же! Муж Кити! Вы ему без всяких сомнений очень понравились.

— Ах, да! — улыбнулась она. — Так это Левин? О боже мой! Он?!..

И она посмотрела на меня с таким недоумением, словно я поставил перед ней неразрешимую загадку.

Я развел руками.

— И что же мне делать?! — прошептала она.

— Анна Аркадьевна, в первую очередь, бросьте пить опиумную настойку. Поверьте, от нее вам значительно хуже. А во-вторых, знаете, сестра Толстого, имея похожую историю в жизни и прижитого незаконно ребенка, ушла в итоге в монастырь!

Анна Аркадьевна дико посмотрела на меня. Я понял, что допустил оплошность — в монастырь она не хотела.

— Если честно, — продолжил я, — я не знаю, что вам делать. Но уверен, вам не стоит порывать с жизнью... В ней будет еще много прекрасных моментов. И вспомните себя девочкой! Ну разве простили бы вы себя, допустив такое?

Она стояла тихо и задумчиво, как будто пытаясь что-то понять, разрешить нечто, и будто уже не слыша и не видя меня.

— И знаете что? — вдруг выпалил я. — Не поймите меня превратно, в моем предложении нет ни капли низости, но... Езжайте со мной, Анна Аркадьевна! Ради вас я брошу реальный мир и всю свою жизнь посвящу беззаветному служению вам! Мы отправимся с вами в бесконечное путешествие по вымышленным мирам!

•••

Я еду в поезде, возвращаюсь на Нижегородскую. Больше мне здесь делать нечего, пора домой, меня ждет реальный мир. Я сморщился при мысли об этом. Это как проснуться от приятного и удивительного сна и обнаружить себя живущим на помойке.

Настроение ни к черту.

Ну да, куда уж мне до Вронского или даже до Степана Аркадьевича. Я и до Левина-то не дотягиваю по местным понятиям...

Ко мне в купе зашла пара и разместились на диване напротив. Я смотрел в окно и кивнул им вполоборота. Мне было не до людей.

Вдруг на мою голову обрушился удар — это вошедший стал колотить меня тростью:

— Невежа! Я научу тебя, как надо вести себя при дамах!

— Алонсо, успокойся, прошу тебя! — схватила его за руку дама.

Я посмотрел на нее и ахнул:

— Таисия Дульяновна? Вы?!

— Николай Львович?! — всплеснула она руками.

— Какими судьбами вы здесь? И этот агрессивной господин с вами?!

Пожилой мужчина с усами и бородой по-прежнему сжимал в кулаке трость и гневно сверкал глазами.

— Это Алонсо Кехана, также известный как Дон Кихот Ламанчский, рыцарь печального образа. Мой муж.



Алонсо оказался умным собеседником и неплохим парнем, хотя и немного вспыльчивым. Все ему казалось, что кто-то хочет бросить ему вызов или не с должным почтением относится к его даме.

Таисия Дульяновна, как выяснилось, отправилась с новым мужем в свадебное путешествие — путешествие по вымышленным мирам. Возвращаться в реальный она не собиралась.

— Милый мой, — сказала она мне, — я вижу, что вы хороший человек. Оставайтесь здесь, зачем вам возвращаться в вашу постыльную реальность? Лейбниц серьезно ошибся, полагая, что наш мир — лучший из миров. Напротив, поверьте моему опыту, он немного ниже той границы, где миры делятся на хорошие и плохие.

— В самом деле, — бодро сказал Алонсо, — приезжайте ко мне в Ламанчу, вы не пожалеете! Моя ключница приготовит для вас такого жареного голубя, такую олюю подриду, и я угощу вас таким вином, что вы захотите остаться у нас навечно!

Но я объяснил им, что, во-первых, меня здесь ничто не держит, а во-вторых, у меня есть обязательства в реальном мире перед мои-

ми близкими, перед друзьями и коллегами. В конце концов, у меня важная работа, исследования... И это не в моих правилах — менять реальность, пускай она совсем и не так хороша, как хотелось бы, на иллюзию! По-моему, это похоже не бегство. Я бы даже сказал — на бегство от свободы, потому что свобода, как известно — это осознанная необходимость.

Алонсо в ответ на эти рассуждения похвалил мой ум, но пожалел, что я не подвизался ранее на поприще рыцарства, иначе несколько иначе смотрел бы на соотношение реального и иллюзорного, а Таисия Дульяновна сказала:

— Николай Львович, дорогой! То, что вы говорите, очень правильно... Но не слишком ли вы серьезно относитесь к тому, что называете реальностью? Вполне может оказаться и так, что и сами вы — вымышленный персонаж.

•••

Я стою на платформе. Нижегородская. Низко стелется паровозный пар. Совсем рядом портал, но его никто не видит, кроме меня, и только я могу им воспользоваться. Через минуту меня здесь уже не будет. Неужели этот мир продолжит существовать, когда я исчезну? Так сложно в это поверить... С другой стороны, куда же он может деться?

Выполнил ли я свои исследовательские задачи? Нет. Цель не достигнута, я вообще не узнал ничего из того, что хотел узнать. В этом смысле возвращение будет бесславным, узнав о моих приключениях, все будут смеяться надо мной.

Но на статейку в научном журнале хватит. Может, смогу ею отчитаться по проекту. Выступлю на конференции, буду делать вид, что все серьезно, и я получил какие-то важные результаты...

А если повезет, то еще и надбавку к зарплате дадут.

Мне стало дурно, и я невольно поднес руку ко рту — как будто хотел сдержать порыв тошноты или наоборот защититься от чего-то, что собиралось в меня проникнуть.

Я огляделся по сторонам в последний раз.

Вон тот самый мужичок, опять идет вдоль вагонов, стучит по колесам. Вон опять неприятные молодые люди, жеманно смеются

и заглядывают в глаза дамам. Впрочем, сейчас они мне показались приятными. А вон бежит куда-то лакей Петр...

Что ж! Пора возвращаться в реальный мир. Я повернулся к порталу и занес ногу.

— Милостивый государь! Милостивый государь! Вам телеграмма! Я остановился.

— Мне?!

— Да, — запыхавшийся Петр протянул мне бумагу. — Еле успел застать вас здесь!

— От кого же?!

— От Анны Аркадьевны. Сказано было, что срочно!

Я взял бумагу и развернул.

«Дорогой Николай Львович! Я подумала над вашими словами. Я уверена, что вы порядочный человек и мы станем хорошими компаньонами. Другие миры — это захватывающе! И я бы очень хотела переговорить с госпожой Бовари».

№ 2, 2023 г.

Ш и р и ф А з а я р

ФОТОГРАФИЯ

Деда ослепил я. Я был достаточно мал, чтобы всем своим существом поверить в это, и достаточно взросл, чтобы испытывать угрызения совести. По большому счету, он и сам был виноват. Очень нервный человек. Постоянно прикрикивал на нас, не давал разговаривать и играть. Отец выстругал ему большую палку — та доставала от его кровати до самой двери комнаты. Когда мы озорничали, эта волшебная палочка выискивала нас повсюду, ударяла по голове и отступала. Рука у него тяжелая была. Нам оставалось только потирать ушибленное место.

В такие минуты я сердился на деда. Меня раздражало, что отец бреет ему голову и стрижет бороду, а мать моет ноги. Кто такой этот нервный старик? Откуда он взялся в нашем доме? Если б не он, все шло бы отлично.

И с мамой он ругался. Однажды дал ей пощечину. Мне стало так плохо. Хватило б силы, так побил бы. Только на отца я и надеялся, а тот молчал. Будто ничего не слышал, ничего не видел. Он так любил деда... «Отец, родненький», — только и говорил он. Когда у деда поднималось давление, отец садился на корточки и погружал его ноги в таз с горячей водой, помогал переодеться, брал под руку в ветреную погоду и провожал в туалет. А дед в благодарность за все это больше любил дядю, брата моего отца. Не отставал от него, «женись», говорил. А дядя с ним не считался. Знай, только смеялся.

«Чего ты бьешь?!» — крикнул я однажды, раздраженно выкинув свою маленькую руку. Он разозлился еще пуще. Встал с кровати и побежал за мной, так сильно дернул за мочку уха, что пошла кровь. Еще и обругал меня: «Чтоб тебе провалиться!» С того самого дня я его возненавидел. Вечером отец и мать спускались во двор поработать, дед без усталости звал меня, а я нарочно не откликался. Хотел воды, а мне хоть бы хны. Ему приходилось вставать, выходить в коридор, не переставая ворчать, и наливать себе

дрожащей рукой воды. Мне доставляло невероятное наслаждение видеть его слабость.

Я поумнел. Прятался под кроватью, когда он на меня злился. Ни сам он, ни его палка не могли меня тут достать.

Отец над всем этим смеялся: «Не можете поладить? Ха-ха-ха!» Дед тоже улыбался, поглаживая бороду. Даже его висящая на стене фотография, сделанная в молодости, гневно на меня взирала. Я ненавижу и эту фотографию. Отец говорил, эту фотографию дед сделал перед отправкой на войну. Совсем молодой на этой фотографии. Его постригли «полубоксом», на макушке торчал чуб. Китель застегнут до самой верхней пуговицы. Он смотрел так решительно, что, казалось, снесет с лица земли всю Германию. Но в то же время вызывал смех. Вряд ли такой солдат может прикончить фашиста. Сил у него хватало лишь на меня...

Едва прибыв на фронт, он получил ранение, попал в плен. По его словам, это случилось в Крыму. Он тайком от чужих ушей хвалил немцев. Говорил: «С нами, пленными, хорошо обращались, давали молоко, булку, вермишель, рис, печенье... Даже шоколад!» Я ему не верил, а отец верил. Отец рассказывал, что вернувшийся с войны, точнее, из плена, дед от страха ровно три года ни с кем не говорил. Прикинулся немым. Боялся, что расстреляют как изменника. Он всех убедил, что нем. Даже голоса не подавал. Когда все немного улеглось, начал незаметно беседовать с отцом, объяснять ему обстоятельства. Эх, вот бы его убили в плену. Я бы так радовался! То есть если б его убили и я бы его не знал, то обрадовался или расстроился бы за своего отца? Наверное, отец любил своего отца так же сильно, как я своего. Мне так хотелось отомстить деду, улучив подходящий момент. Дернуть за усы, когда тот спит, шлепнуть по плешивой голове и убежать, плюнуть в стакан с чаем, помочиться в туфли... Но почему-то ничего этого я не делал. Кажется, боялся фотографии на стене. Она так гневно на меня смотрела... Однажды я решил, какой станет месть; тайком от всех я снял фотографию со стены, положил на пол, и выколол глаза кончиком циркуля. Мама застала меня за преступлением, закричала и в ужасе расцарапала себе лицо. Я испугался. Заплакал. «Почему он меня ругает?» — спросил я. Мама успокоила меня и спрятала фотографию. Сказала: «Он тебя лю-

бит. Когда ты махонький был, он раздевал тебя и прятал у себя за пазухой, целовал пипиську, обнимал и ласкал, а ты, будь благоден Аллах, родился белым и пухленьким малышом, я боялась, что он возьмет тебя и съест!»

Я рассмеялся, меня все это позабавило. Но раскаяния от содеянного не испытал. Только дядиных усилий стало жаль. Дядя отправил почтой фотографию в Москву, где ее и увеличили. Он нетерпеливо ждал, когда ее вышлют обратно. Очень радовался, что та вышла такой красивой. Он ставил одну подле другой фотографию со спичечный коробок и фотографию размером с книгу. Дед, родители и даже соседи с изумлением смотрели на это чудо техники.

Видит Бог, деду не хотелось вешать фото на стену. Кажется, боялся умереть. Однажды сам сказал: «Сынок, я еще не умер!» Дядя обнял его и поцеловал в ухо: «Горбачев тоже не умер, отец, но его фотографии повсюду красуются».

В тот день, когда я выколол деду глаза, началась война. Сказали, если мы не переедем, всех нас убьют, уведут в плен. Отец на скорую руку погрузил весь скарб в грузовик. Дед с мамой сели в кабине, а мы в кузове. Мы, дети, радовались. Наверно, предстояло увидеть интересные края. Степь... Футбол... Вооруженные солдаты... Танки...

С тех пор у нас не было стен для дедушкиной фотографии.

Я этому даже немного радовался. Отец никогда не узнает, что глаза на фото выколол я.

Дядя остался в деревне, чтобы забрать скотину. Хорошо помню, как он с нами прощался. Дольше всех обнимал деда, с отцом простился холодно, мама встала на цыпочки и поцеловала дядю в подбородок. Высоким был дядя. И с ружьем на плече. Он улыбнулся мне. Когда нагнулся поцеловать меня, ружье сползло с плеча и упало на меня, он вернул его на место, сунул большой палец за ремень и сощурил один глаз: «Не скучай, вернись и сходим на охоту. В Хаджи Сулеймане водятся хорошие зайцы». Сел на белого коня и поскакал к товарищам. С того самого дня дядю мы больше не видели. Пропал без вести на войне. Но белый наш конь прискакал обратно. Дядя попросил товарищей присмотреть за конем, а сам отправился нас проведать. Но не нашел ни нас, ни товарищей, когда вернулся обратно... Мы узнали об этом месяц

спустя. Мы считали, что он с товарищами. Да, белый конь вернулся, а дядя — нет. Я впервые увидел деда плачущим. Он обнял коня за шею, прижался лбом к его лбу: «Что ж ты оставил моего сына? Я ведь его тебе доверил...» И после этих слов тихо заплакал. Конь хотел будто возразить, собираясь заржать, но, увидев деда плачущим, промолчал, опустил уши. Словно стеснялся взглянуть в лицо деду.

Земли Хаджи Сулеймана, о которых говорил дядя, — бескрайняя степь. Здесь росла одна только полынь, белокопытник, ежевика, мелкие травушки и редкий тамариск. Кругом солончаки. Воды тут не найти. Мы обосновались в частично обрушенной землянке. Отец попробовал привести землянку в порядок, поставить подпорку — и тут пришла весть о пропаже дяди. Отец оставил деда за главного, а сам отправился на поиски брата. Деда будто подменили с того самого дня, когда он заплакал, обнимая коня. Кажется, правду говорила мама. У него было доброе сердце. Глаза у него ослабли, но сложа руки он не сидел. Пас коз, прибирался во дворе, закапывал змеиные норки, искал доски и шифер, уцелевшие от разрушенных построек. А по утрам, взяв меня с собой, отправлялся собирать дождевую воду. Дед хорошо знал эти края. Говорил, например, через недели две дождь перестанет лить и начнется жара. Так оно и случилось.

Ему не легчало. Мог улыбнуться — но я-то видел, что внутри у него все плачет. Нацепив очки с толстыми линзами, он смотрел на пыльные дороги, а когда не мог ничего разглядеть, спрашивал у меня, задавал много вопросов. Когда я отправлялся за козами, он, оставшись в одиночестве, плакал. Возвращаясь, я старался не издавать ни звука, ходил осторожно, чтобы не хрустнула под ногой ветка, — не хотел мешать деду облегчить душу. Точнее, стеснялся этого. Думал, если он наплачется вволю, все обойдется.

Дед все плакал и плакал, и начинал видеть все хуже и хуже. От жары у него пересыхали зрачки. Тускнели, вокруг проступали белые ободки. Коз считать он больше не мог. А моему пересчету не верил, только попусту спорил, ругал себя за плохое зрение. Он худел — и чем больше худел, тем больше походил на того молодого мужчину с фотографии. И чем больше походил на того человека, тем больше я ужасался. Но тосковать мне он не давал. Говорил, человек должен

уметь жить и в самые тяжелые времена, проявлять волю. Рассказывал о невыносимо тяжелых годах в прошлом, приводил примеры, рассказывал сказки. Однажды я спросил у него: «Раз так, почему ты плачешь по дяде?»

Он вздрогнул. Долго молчал. Потом глубоко вздохнул и сказал: «Я назвал его именем брата, а брат мой тоже пропал без вести на той войне!»



На землях Хаджи Сулеймана давно не выпадали дожди. Засуха царила не только на земле, но и на небе. Дышать было нечем. Такое ощущение, что нас опустили в тандыр. Наши тела пахли прогорклым маслом. Земля от жары потрескалась, казалось, вот-вот послышится хруст. Жара оказалась невыносимой даже для змей, они постепенно пропали. Мы не знали покоя от мошкеры и комаров. Комары проникали даже через марлевые сетки. Солончаки захватывали новые территории, вся даль белела, как от выпавшего снега. Засохшая земля хрустела под ногами, превращаясь в пыль, ветер поднимал эту пыль, и та не оседала еще много дней. Когда чуть прояснялось, я видел реку вдаль. Дед говорил, чтоб я не обманывался и не шел к той реке. Это мираж. Эта картинка встает перед глазами от жары. Говорил, что отлично знаком с этими краями, здесь отродясь не текла река, не бил родник. Но, ей-богу, я видел ее собственными глазами. Но, несмотря на всю жажду, не шел к той реке — боялся пропасть, как дядя.

Когда поднималась пыль, ничего разглядеть не получалось. Люди теряли дорогу и не могли вернуться домой. Порой и скотина терялась в этом тумане из песка. Возникало ощущение, что нас на своих крыльях перенесла сюда из дедовского дома, где на стене висела его фотография, какая-то неведомая птица. И почва, и вода, и солнце этого края совершенно иные. Смелые на прежнем месте люди совершенно изменились. Тут они стали робкими, беспомощными, потерянными, заплаканными.

Дед научил меня определять направление ветра. Я смачивал слюной палец, выставляя его вперед, и безошибочно определял направление. Если умеешь ориентироваться и не обманываться миражом, никогда не пропадешь.

— Дедушка, а дядя тоже увидел мираж? — спросил я однажды.

— Он не потерялся, — сердито ответил дед. — Он знает пути-дороги. Только вернуться не может!

В то лето он, сидя на крыльце, рассказывал нам сказки, давал советы и не сводил глаз с дороги. Последний свет в глазах расходовал на моего дядю. Пыльные дороги, тянущиеся до реки на горизонте, высосали весь свет его глаз, будто нарочно петляли, чтобы измучить его. Порой его взгляд останавливался на какой-то тени вдалеке, он щурился чуть ли не всем лицом, пытаясь разглядеть эту тень, а когда не получалось, звал на помощь меня.

Мы кое-как дотерпели до первого снега. По сути, даже терпеть не получалось. Несколько раз переболели, потеряли от горячки двух коров. На моих ногах появились язвочки. Было так больно! Дед отвел меня в белый вагончик, стоявший в округе, к врачам, но постеснялся сказать: «У него нет обуви». Вместо этого сказал: «Бегает босиком, непоседа». Высокая врачиха в черных туфлях на каблуках приятным голосом сказала переводчику, чтоб я больше не бегал босиком, у меня аллергия на верблюжью колючку. Мне было стыдно за грязь и язвы на ногах, я старался скрыть ноги под кроватью. Я совсем растерялся, когда врачиха добро и сострадательно улыбнулась, заметив мою пристыженность. Я опустил голову.

Врачи осмотрели деду глаза. Сказали, высокое давление. Сказали, он может окончательно потерять зрение от переживаний и напряжения. Здесь никаких условий нет. Надо срочно везти в больницу.

Мне дали много лекарств и мазей в целлофановом пакете. Лекарства очень помогли, но ноги продолжали зудеть. Дед зарезал курицу, снял с нее кожу, обернул ею мои ноги, сверху наложил мягкую ткань, прошептал молитву и под конец добавил: «Родненький мой». У меня слезы навернулись на глаза. Не осталось никаких сомнений в рассказе мамы: он и вправду держал меня махонького за пазухой. Дед произнес эти слова со столь большой любовью, что через пару дней ноги мои зажили.

Отец появился в середине лета. От дяди никаких вестей. Сказал, в наших родных краях идут кровопролитные сражения, каждый день погибает много людей, пропадают без вести... Кого искать? У кого спросить?

Сердитый дед не смотрел отцу в лицо, не разговаривал с ним. Отец потом бранился: «Я-то в чем виноват?»

В один из жарких дней, когда и надежды наши превратились в головешку, дед воздел лицо к небу и прошептал: «Дождь польет». «Откуда знаешь, дедушка?» — подбежал я к нему. «Воздух пахнет горами», — ответил он, шумно вдыхая воздух. Один из стоящих поодаль сказал: «Старик совсем сбрендил». Дед, не теряя выдержки, сказал еще более уверенным тоном: «Польет. Обязательно. Вот увидите...»

И вправду, чуть спустя небо заволокли тучи и полил настоящий ливень. Мы так обрадовались. Дед тоже радовался. Нацепив очки, он смотрел на тучи. Но, кажется, не видел ничего. Подставил ладони дождю. Шумно втянул воздух... Запах влажной земли наполнил нас жаждой жизни.



Дед научил меня заговорам, смысла слов в которых я до сих пор не понимаю. Заговор против волков... Я ведь уже говорил, что на землях Хаджи Сулеймана теряется и скотина, не может вернуться назад в хозяйский двор. Утром мы находили там и сям их туши. На земли, где нашли приют беженцы, повадились забредать волки. Волки знали, что в этой степи теряется скотина. Дед говорил. Говорил, волки очень умные. Настоящий чабан должен кормить как стадо, так и волков. В противном случае, волки возьмут верх. Рассказывал, что в соседнем крае на людей напала стая матерых волков. В одну из дождливых осенних ночей не вернулся наш белый конь. Я с ума сходил. Я так не волновался, даже когда пропал дядя. Белого коня я любил больше своего отца. Красивый конь. Я ни разу в жизни не видал такого белоснежного, такого отважного, такого сильного животного. Когда он ржал, сердце у меня выскакивало из груди. Это ржанье звучало настолько тоскливо, что екало сердце, но и воцарялся покой. А как он пах... Боже мой!

Белый конь был одним из членов нашей семьи. Я не представлял нас, нашу семью без него. И еще через него я не терял связи с дядей. Его задрал волк? Как такое стерпеть? Может, прямо сейчас, в эту минуту на него напал матерый волк? Может, он теперь ржет своим тоскливым голосом, от которого екает серд-

це, и зовет на помощь отца, дядю и даже меня? Я заходил домой, выбегал во двор, выглядывал из ворот в зловещую тьму. Смотрел — и меня пробирала дрожь. Дед увидел, что я схожу с ума. Тогда он достал из кармана складной нож, раскрыл его, поднес ко рту и прочел заклинание. А затем крепко обвязал бечевкой: «Я закрыл волку пасть! В эту ночь с нашим конем ничего плохого не случится. Но ты не должен раскрывать нож, пока наш конь не найдется!» Я спрятал нож подальше от глаз. Вернулся и все просил деда повторить заговор до тех пор, пока не выучил эти слова наизусть.

Белый конь прискакал целым и невредимым. Я подбежал к нему и поцеловал в мягкий нос, пропахший полевыми травами и бьюнками. А нож не раскрывал целую неделю, чтобы волк не причинил вреда и другим животным.

Когда на землях Хаджи Сулеймана выпал снег, дед полностью ослеп. Я показывал на пальцах единицу или двойку перед его глазами, но он ничего не видел. Хотя очки по-прежнему не снимал. И даже велел маме протирать стекла.

Дед сидел возле нашей землянки лицом к подтаявшему снегу и думал о чем-то своем. И тут я подумал, что во всем виноват я сам. Если б не выколол циркулем глаза на его фотографии, он бы не ослеп, мы не потеряли бы свой дом, дядя не пропал бы без вести. Будь дед зряч, взял бы свою длинную палку и прогнал бы чужих людей, отыскал бы дядю, спас бы нас от жары и мошкеры на землях Хаджи Сулеймана.

Я был достаточно мал, чтобы в это верить, и достаточно взросл, чтобы от этого мучиться.



Умирая, дед завещал, чтобы дядю похоронили с ним рядом. Рядом с его могилой оставили место. Но дядя не вернулся и мертвым.

Когда мы ставили надгробие, не нашли другой фотографии. Мама порылась в вещах и отыскала только ту фотографию, глаза которой я выколол. Ее и дали мастеру.

Только я могу различить царапины от циркуля на фотографии на надгробном камне и от этого мне становится больно. Настолько

больно, что я и сам готов сделать завещание: похороните меня в отведенном для дяди месте, рядом с дедом. В детстве он прятал меня, голого у себя за пазухой, пусть и после моей смерти будет так... Хочу прижаться к нему и просить прощения за то, что выколол ему на фотографии глаза и обрек его на слепоту и мрак.

Перевод с азербайджанского Ниджата МАМЕДОВА

№ 4, 2023 г.

Сергей Литвинов

СМЕРТЬ ОТМЕНЯЕТСЯ

В этом варианте Вселенной маршал Жуков в 1957 году подержал не Хрущева, а заговорщиков.

К власти пришел дуумвират: Молотов и Жуков.

Никиту Хрущева расстреляли, а Жукова вскоре отправили в почетную отставку. У власти воцарился Молотов.

В СССР снова установилась диктатура сталинского типа. Границы полностью закрыли, и никакой второй волны оттепели не случилось.

Сталин продолжал лежать в Мавзолее.

А в апреле 1961 года весь мир оказался ошеломлен: нет, в космос никто не полетел, зато Советский Союз объявил о создании БЕССМЕРТИЯ.

Петр Богатов, старший инспектор уголовного розыска. 1975 год, 20 мая.

Телефонный звонок разбудил меня в пять утра.

Так и есть: дежурный по управлению.

Я всегда на ночь переносил аппарат на тумбочку рядом с тахтой. Именно на такие случаи. Иногда удавалось отбиться от срочного выезда и снова нырнуть в объятия Морфея.

Но, как я сразу почувствовал, не в этот раз.

Голос Ивана Фомичева, дежурного по управлению, звучал взволнованно.

— Петька, у нас убийство.

— Бывает. Я при чем?

— На Кутузовском, в номенклатурном доме.

— Все равно это не повод названивать мне в пять утра.

— Убитый — бессмертный.

— Пфф. Это меняет дело. А соседи не хотят забрать себе историю?

Соседями на нашем жаргоне звались сотрудники КГБ при Совете министров СССР.

— Я им сообщил, конечно. А как там дальше — не нам с тобой решать. Поэтому твое присутствие обязательно.

— Еду. Диктуй адрес.

Блокнот с авторучкой я тоже всегда держал, на такие случаи, под рукой — на тумбочке.

— За тобой машину прислать?

— Сам доберусь. — Не любил я всех этих муровских машин с болтливыми водителями, не любил зависеть от кого бы то ни было.

Я побрился электробритвой «Харьков», а потом сунул ее в дипломат — кто знает, на сколько придется задержаться.

Потом решил, что я все-таки не салага-стажер, а старший инспектор МУРа, вприпрыжку бежать не обязан и пошел на кухню завтракать. Смолот кофе, сварил его в турке, покрепче, на шесть ложечек. Забацал яишню и отлакировал полтавской полукопченой — как раз вчера давали в заказе.

Я минуту поколебался, на чем ехать. Метро от моего дома под боком, но на Кутузовский, 24 (такой был адрес места происшествия) от «Киевской» или пешком пилить, или автобуса дожидаться. Поэтому, в итоге, сделал выбор в пользу личного транспорта.

Оделся. Очень удачно получилось, что лучшую рубашку, «гэдэзровскую», с планочкой, вчера как раз погладил. Галстучек, конечно, обязателен — все-таки выезд на труп, и, не ровен час, соседи пожалуют. И начальство.

Спустился на лифте. Несмотря на ранний час, газеты в почтовый ящик уже бросили. Я выписывал «Правду» — это обязателька, невзирая даже на то, что я беспартийный, — и еще «Советский спорт», право на эту я выиграл в лотерею, давали одну на отдел. Мы договорились с Женькой Коробкиным, которому не повезло, что я буду прочитывать «Спорт» по утрам в метро, а потом на службе отдавать ему. Сегодня, похоже, такую рокировку не сыграть — недосуг в машине читать, некогда с ним пересекаться.

Дверь нашего подъезда, как всегда, была распахнута настежь. Дом у нас рабоче-крестьянский, консьержка не положена. Временами домовые активисты поднимали волну: живем рядом с метро и электричкой, постоянно к нам шастают на троих сообщать. Чтоб от алкашей отгородиться, мы скидывались, ставили внизу

замок, раздавали всем жильцам ключи. Потом дело шло по стандартной схеме: кто-то ключ терял, замок взламывали — и снова подъезд стоял неприкаемый. Именно такое время переживалось теперь.

А я до сих пор радовался, что мне дали однокомнатную фатеру. После развода, как честный человек, я оставил жене и сыну нашу «двушку» и три года скитался по съемным квартирам, пока наконец в управлении ни сжалились и наш генерал не подписал личное письмо в Моссовет. Да ведь и в новом фонде однокомнатные квартиры — редкость, не рассчитана советская жилищная программа на холостяков. Вот нашлась, 23-метровая, в двенадцатиэтажной башне, на пересечении всех дорог.

От автобусной остановки к станциям метро и электрички спешили невыспавшиеся люди. Равнодушно обтекали площадь с тремя великими. Три фигуры стояли клином: впереди Ленин, за ним — Сталин и Молотов. Памятник был типовой, аналогичные по композиции располагались во многих областных и районных центрах. У постамента лежал небольшой веночек, оставшийся после Первомай, уже слегка выцветший.

До моего гаража идти дальше, чем до метро — и в том имелся существенный минус, когда выбираешь личный транспорт, а не общественный. Но оставлять свою «ласточку» на ночь возле дома было безумием. Ладно, «дворники» и наружные зеркала у меня съемные, я их, если паркуюсь не в гараже, забираю от лихих людей. Колеса на секретках — тоже быстро не снимут. Но могут ведь вскрыть капот, утащить аккумулятор, стартер, карбюратор, трамблер, провода силовые: все в дефиците. И сам лимузин запросто угонят. Нет, на 58-м году советской власти гараж для москвича — штука необходимейшая.

Я открыл дверь своего бокса, увидел крошку, и на сердце у меня потеплело. «Жигули», но не стандартная «единичка», а более новая «одиннадцатая» модель, с отражателями в задних фонарях, стильными вентиляционными решеточками в боковинах. Правда, цвет подкачал — радикально зеленый, но в наших условиях мало кто, кроме торгашей и бессмертных, имеет привилегию колер выбирать. И без того три года на очереди в управлении стоял.

Я открыл багажник, положил туда дипломат. Привычка не держать ценные вещи на виду сформировалась у меня после проис-

шествения прошлым летом. Выскочил я тогда буквально на пять минут — мороженое купить, а кейс оплошно оставил в салоне. Когда вернулся — авто вскрыто, портфеля нет. Я, честно говоря, в тот раз даже в районное отделение не поехал, заявление писать. Дипломат, ценой сорок рублей, конечно, жалко. Но, кроме газеты «Правда», прочитанного «Спорта» и абсолютно лажовой книги Аркадия Первенцева, ничего в нем не было. И зачем на ребят в отделении лишнюю головную боль вешать — все равно грабителя не найдут, будет им, по моей милости, висяк.

Я выкатился задним ходом из гаража, вышел, закрыл железные створки, навесил замок. Выехал на улицу Красный Казанец и промчался мимо метро «Ждановская» и памятника трем вождям. Народ к станции, с автобусов и троллейбусов, шел гуще. Возле платформы «Вешняки» я переехал по эстакаде на другую сторону железки и понесся дальше, к Волгоградскому проспекту. Скорость сразу увеличил до максимума. «Гаишники» по утрам особо не активничают, а даже если остановят — не будут *сотрудника*, да еще спешащего на убийство, мытарить.

Радио в авто я пока не обзавелся — дефицит, да и дорого. И оставалось мне, по ходу дела, думать разные думы.

В эту пятницу мне предстояла очередная плановая исповедь в райкоме. И хотя я ни на секунду не верил, что меня когда-нибудь сочтут ценным кадром и допустят до Жеребьевки, — но порядок есть порядок, раз в два месяца приходилось являться как штык, что-то бубнить исповеднику. Хорошо бы, размышлялся я, нынешнее дело меня закрутило, и тогда появится легальная возможность отсрочить мероприятие на месяц — а там и сезон отпусков, мой райкомовский инструктор может уехать отдыхать, в какой-нибудь санаторий «Сочи», или что ему там по номенклатуре положено. Сколько ни встречал я нормальных ребят (и девочек) — никто в перспективность исповедей для рядовых граждан не верил. И морковка в виде возможной вечной жизни действовала только на совсем уж ограниченных и ушибленных пропагандой товарищей. Иное дело власти: через эти заслушивания они получали полную картину настроений, мыслей, деяний подведомственного им населения.

Никто меня не остановил, и я подумал: а вот этот проезд со скоростью сто двадцать по утренним улицам родной столицы — о нем следует рассказывать исповеднику? С одной стороны, явное

нарушение морального кодекса строителя коммунизма, будущего общества полного бессмертия. А с другой, я спешу по делу. Наверное, придется поведать, утаивание на исповеди — один из самых тяжелых грехов, а там уж пусть они сами решают, снимать ли мне баллы за эту выходку или нет.

На машине все-таки получалось на круг быстрее, чем на метро. Пробок в СССР, в отличие от стран капитализма, не водится. Я просквозил по Садовому, а тут и Кутузовский. На перекрестке, где Дорогомиловская вливается в Кутузовский — опять памятник, аналогичный по композиции: Ленин—Сталин—Молотов шествуют куда-то вдаль.

В том доме, что назвал мне Ванька, въезд во двор был открыт. Я заехал и припарковался у искомого подъезда, рядом с чьим-то старинным и пыльным «кадиллаком» по моде пятидесятых годов. Стояли тут и «раковая шейка» из отделения, и хорошо знакомая мне черная «волга» из управления. Шофер сидел в салоне, чинно читал растрепанную книжку, похожую на библиотечный детектив. Я не стал его беспокоить.

И никакого больше авто, выглядящего официально. Ни одного транспортного средства, на котором могли сюда добраться «кагебэшники». А ведь еще одна черная «волжанка» тут по композиции сама собой подразумевалась. Странно: смежники проигнорировали преступление, что ли? Насильственную смерть бессмертного?

В подъезде тоже, невзирая на элитный Кутузовский, как и в моем колхозно-лимитовском доме на Ждановской, не было ни консьержки, ни запоров. Я поднялся на лифте на пятый этаж. Дверь мне открыл Вадик, которого угораздило сегодня дежурить в составе опергруппы. В коридоре топталась пара понятых.

— Введи меня в курс, — попросил я товарища.

— Пойдем.

В кухне эксперт, тоже мне смутно знакомый, описывал труп. Сержант по его команде приподнимал и держал голову убиенного. Лицо мильтона было белым. Да, с трупами родной милиции приходится встречаться, слава богу, нечасто. У нас тут не Чикаго.

Я кивнул эксперту.

Тихо, чтобы не мешать, Вадик стал рассказывать:

— Труп сидел за накрытым наскоро столом. Как видишь: коньячок армянский пять звезд, лимончик, сыр, яблоки, клубника.

Две рюмки, две тарелки. Пулевое отверстие во лбу. Упал прямо на стол. Здесь же, на столе, валялся пистолет. «Макаров».

— Самоубийство?

— Пойдем.

Вадик утащил меня в комнату. Ясно зачем: чтобы эксперт с сержантом не услышали лишнего. Здесь, в большой комнате с высокими потолками, все стены были уставлены полками с книгами. Я огляделся: много имелось технической литературы, с диковинными названиями, в том числе по-английски и по-немецки. Но и модные вещи, типа «Декамерона» или сборника Ахматовой, тоже присутствовали — сто процентов, имел товарищ доступ к спискам книжной экспедиции, отмечал галочками дефицит, и ему заказанное привозили прямо на службу. Значит, явно не простой человек — номенклатура.

На одной из ручек книжного шкафа висел аккуратный черный костюм с черным же галстуком и белой рубашкой — словно человек его самому себе на похороны приготовил.

Я кивнул на одежду:

— Суицид?

— Ты слышал когда-нибудь, что бессмертные с собой кончали?

— Нет. Но их и убивают нечасто.

И это тоже была правда. За бессмертного гарантированно давали вышку, причем без права помилования, и урки, например, прекрасно об этом знали. Да и обычные обыватели догадывались, что снисхождения не будет, если кто покусится на высшую касту.

— Может, собутыльник — или кто там в него стрелял? — не знал, что убиенный — бессмертный? Кто он вообще такой? Что из себя представляет?

— Гарбузов Андрей Афанасьевич. Сорок восемь лет, академик, доктор технических наук, герой соцтруда. Женат. Супруга в данный момент на даче — сидит с внучкой. Участковый сейчас звонит туда, извещает.

И впрямь: откуда-то из другой комнаты слышалось бубнение.

— За какие заслуги стал бессмертным?

— Ты же знаешь, история обычно это умалчивает. Подозреваю, как в совсекретных указах пишется, «за создание и совершенствование ракетно-ядерного щита нашей Родины». А, может, ему просто в Жеребьевке повезло.

Из соседней комнаты вышел участковый — немолодой полный майор в форме. Фуражку держал в руке и вытирал платком пот с лица. Увидел меня, кивнул:

— Здравия желаю.

— Как там вдова? — спросил я его.

— Какая вдова?

— А вы с кем сейчас говорили?

— А, ну да, с бывшей женой. Вдовой, значит. Плачет, конечно. Похоже, что не знала ничего.

— Кто сообщил в органы об убийстве?

— Соседи позвонили. Слышали выстрел, около двенадцати ночи.

— Какие соседи?

— Из квартиры генерала Васильцова. Они здесь рядом, через стену практически, проживают.

— Из квартиры звонили, говорите? Кто конкретно звонил? Он сам, генерал? Или жена? Или прислуга?

— Не могу знать, звонили не мне, а прямо в отделение.

— Как вы в квартиру убиенного вошли?

— Входная дверь не заперта была. Замок французский, закрывается снаружи.

— А кто мог быть у убитого в гостях?

— Не могу знать! Я его связей не отработывал, не моя номенклатура.

— Кто у вас тут в подъезде проживает интересный? Кроме генерала Васильцова? Кто мог бы к трупу в гости пожаловать из соседей?

— Одну секундочку.

Участковый полез в свою папку на молнии, вынул оттуда толстую тетрадь за 48 копеек, полистал, открыл на нужной странице, протянул мне. Там были аккуратно переписаны все жильцы всех квартир подъезда: пол, возраст, место работы. И в самом конце строчки — самый интересный столбик: в чем предосудительном бывал замечен. Подъезд был не весь номенклатурный, а смешанный, и кое-какие квартиры даже числились коммунальными. И профессии граждан случались самые что ни на есть земные: слесарь шестого разряда, медсестра, продавец. В качестве порочащих моментов в примечаниях в основном значилось пьянство.

Например, у генерал-майора в отставке Васильцова было замечено то-оненьким карандашиком: «Выпивает. Бывают скандалы с супругой».

А у жены его, Веры Петровны, которая почти на двадцать лет была генерала моложе, замечалось: «Погуливает. На этой почве случаются скандалы с мужем».

— Во-от, — заметил я удовлетворенно майору. — Вы говорите: не ваша номенклатура. А у вас тут, оказывается, птица не прошмыгнет, мышь не пролетит.

Участковый польщенно зарделся.

— Может, это она, соседка? — размышлял я вслух. — Васильцова Вера Петровна в гостях у нашего убиенного ночью-то была? А муж генерал ее за этим занятием накрыл? За распитием спиртных напитков с академиком? Да в порыве ревности соперника застрелил?

Участковый в ответ на мои умопостроения подобострастно молчал.

Я пролистал тетрадь со списком граждан. Глаза наткнулись на проживающую в одиночестве этажом ниже Марию Крону, тридцати пяти лет, актрису театра на Таганке. А также на примечанье по ее поводу, сделанное округлым почерком участкового: «Выпивает. Часто бывают мужчины в гостях, разные. Бывает, громко кричат во внеурочное время. Случаются также шумные половые сношения».

— А, может, наоборот, эта актрисулька с Таганки с убиенным вечера пиоровала, а?

— Токмо зачем ей его убивать? — философски откликнулся Вадик.

— Всякие конфигурации случаются, если коньячок... Обида, ревность, месть. Ладно. Облегчу-ка я вам дальнейший поквартирный обход. Если понадобится, я у генерала Васильцова, в пятьдесят третьей.

Я вышел в гулкий и прохладный подъезд, позвонил в соседнюю квартиру.

Мне нравилась манера наших советских людей: обычно отпирали без спроса, без «Кто там?», и даже цепочку редко кто накидывал, и в глазки мало кто смотрел — да и немного их было, тех глазков. Я вот себе поставил, а надо мной гости посмеивались: буржуй, товарищам не доверяешь. Вот и теперь — дверь немедленно распахнулась на всю ширину. На пороге стояла пер-

гидрольная блондинка лет сорока, в атласном алом халатике и комнатных туфлях на каблучке. Ее легко можно было представить проводящей досуг с секретным 48-летним конструктором. Особенно если учесть, что мужу ее, генералу, 65.

Я представился по форме, удостоверение показал.

— Пройти можно?

— Муж спит. У него прям приступ сердечный случился со всеми этими происшествиями.

Она быстренько выскользнула на лестничную площадку и дверь в свою квартиру, где генерал почивал, от греха прикрыла. И взгляд у Веры Петровны, каким она меня оценила — сверху донизу — был таким, знаете ли, очень женским, примеряющимся.

— Это вы позвонили сегодня ночью в милицию по поводу стрельбы у соседей?

— Не я, муж. Он услышал выстрел, он и позвонил.

— А в квартире у соседа вы вчера были?

— Я? С какой стати?

— Стол у него там на двоих накрыт. А вы соседка ближайшая.

Васильцова чуть не зашипела от злости, аки рассерженная кошка:

— Нечего на меня наговаривать! Не была я у него вчера!

— А вообще — захаживали?

— Ну, по-соседски иногда. Соль там, если кончится, или спички.

— То есть в половую связь с убитым вы никогда не вступали?

Мне показалось, что она сейчас вцепится мне в глаза своими от-маникюрными ноготками — а что, запросто могла, если судить по виду и речи. Кто она там, по происхождению: буфетчица, подавальщица, кастелянша? Где ее подцепил фронтовик генерал Васильцов?

— Не было у меня с убитым никогда ничего!

— Хорошо, я верю вам, верю. А вы-то вчера выстрел слышали?

— Да! Был какой-то хлопок. Мы кефир пили, когда мой генерал говорит: слышишь, Вера, кажется, стреляют. И кажется, у соседей. Ну, я ему и сказала сразу в милицию позвонить.

«Кефир пили» — это была хорошая деталь, которая сразу вызвала доверие к рассказу.

— А кто еще из соседей мог к академику в гости приходиться? Артистка Кронина, например, с четвертого этажа?

Лицо генеральской женки снова перекошилось.

— Машка — шлюха еще та. Но я свечки не держала. И не знаю, что у нее там с академиком... И была ли она вчера у него? Вы сами у ней спросите.

— Спрошу, конечно. А вы знали вообще, что убитый — бес-
смертный?

— Конечно. Он особо не афишировал, не хвастался, но и не скрывал.

— Ладно. Если понадобится официальный допрос, мы вас вы-
зовем повесткой.

— Я не против.

— Против, не против — прийти в любом случае придется.

Я заглянул назад в квартиру убиенного, где заканчивали опи-
сывать труп и результаты осмотра места происшествия, и сказал
Вадику, что спущусь на этаж ниже, к артистке Крониной.

За дверью молодой женщины грохотала музыка. Я прислушался
и определил, что это — западный неодобряемый рок, опера «Иисус
Христос — суперзвезда». Меня по этому поводу сынуля натаскивал,
хоть я и говорил ему тысячу раз, что доведет его любовь к ненашей
музыке до цугундера, а он все равно: ах, битлы; ах, роллинги; ах,
свинцовые цепеллины. Где-то доставал, за огромные деньги, катушки
с записями или пласти фирменные, переписывал на свой
магнитофон, делился с друзьями. Позиция властей по поводу рока
четкостью не отличалась: и не запрещалось строго-настрого, но и
не одобрялось. Понятно, что в райкоме на исповеди любовью к за-
рубежной музыке хвастать не будешь и любое прослушивание тебе
в минус идет, — но и такого, чтобы бобины-катушки иноземные
изымать, как книги запрещенные, заведено не было.

Я позвонил в дверь к актрисуле — раз, другой, третий.

Наконец, музыку выключили, и на пороге возникла хозяйка.

Понятно, почему лицо генеральши при упоминании о ней ис-
кажалось — артистка ей, конечно, сотню очков вперед могла дать.
Худенькая, маленькая, с тонкими чертами лица, в брючках и блу-
зочке, она выглядела интеллигентной и даже одухотворенной.
И — большущие бархатные глазищи. Правда, при этом вокруг
нее распространялся явный алкогольный дух. Но пахло не при-
митивным портвейном или пивом — коньяком. Притом не стары-
ми вчерашними дрожжами — новой, утренней выпивкой. Хотя и
десяти еще не пробило.

— Проходите, — посторонилась крошка, когда я представился. Голос у нее тоже был бархатный — хорошо поставленный и глубокий. — Вы сыщик. Как интересно.

Она провела меня на кухню. Планировка оказалось в точности такая, как в квартире убитого, только отделано все по-модному: обшито деревом, словно в избе. А на стене — лапти висят. И большой деревянный ковш — кажется, он братина называется. На столе — опять-таки бутылка коньяка. Только рюмка одна. А еще: баночка шпрот и маслины. Интересно, где она маслины достала? Сроду я их в магазинах не видел, и в заказах нам не давали. Может, у артистов заказы такие особенные? Или блат у нее где-нибудь непосредственно в Елисейском гастрономе?

— Выпьете со мной? — Приглашение, сделанное грудным и низким голосом, прозвучало столь вдохновляюще, что захотелось ему последовать.

— Не могу. Я на работе. И за рулем.

— Вы же милиционер. Вас никакой поставой не остановит. А остановит — вы отбрешетесь.

— А вы что же? Выпиваете с утра? Не работаете сегодня? Выходной у вас?

— Репетиции нет. А до спектакля отмокну. Садитесь. Я сделаю вам чая, раз вы серьезными напитками манкируете.

Она сосредоточенно подошла спичкой газовой горелку.

— Мария, что вы делали вчера вечером?

— Спектакль играла. — И она кивнула на большую афишу, что висела на одном гвозде прямо тут, на кухне. На афише большими буквами значилось: «ГАМЛЕТ» и она, Мария Кронина, третьей или четвертой в числе действующих лиц — наверное, Офелия. А может, королева-мать, Гертруда. По возрасту, конечно, скорее, Офелия. Но в современном театре все может быть.

— Хорошо принимали?

— Удастся до сих пор собирать обломки, — заметила девушка глубокомысленно.

— Вы о чем это? — совершенно не понял я, что гражданка имеет в виду.

— Актеры, конечно, пострадали от советской власти, но не так, чтобы сильно. Но вот все, что вокруг!.. И без того мало кто отли-

чался гигантским ростом, а как в итоге все совсем измельчало! На-
лейте мне уже коньяку.

Я послушно наполнил ее рюмку — вообще девушка обладала
удивительной способностью внушать, обаять. Я пожалел, что отка-
зался выпивать с нею. Было бы неплохо забыться с такой крошкой.

Онахватила коньяку, без закуски.

— Вы, наверное, знаете, чей самый лучший перевод «Гамлета»?
Правильно, Пастернака. Но Пастернака в пятьдесят девятом расстре-
ляли, отсюда все произведения его — вне закона. Вы об этом знали? Не
знали?

А тут и чайник засвистел, изошелся паром, и Мария бросила в
заварной чайник три ложки индийского, «со слонем».

— А поэты? Композиторы? Исполнители? Режиссеры? Знаете
ли вы, мой дорогой милицанэр, что в тысяча девятьсот двадцать
втором году советское правительство выслало из молодой респу-
блики Советов целый «философский пароход»? — Я не ведал,
правда ли это, а, может, антисоветские домыслы, и развел рука-
ми. — А то, что сорок лет спустя, в шестьдесят втором наши руково-
дители выслали на Запад целый *творческий самолет*, — знали?
Режиссеров, поэтов, писателей, композиторов? И да, толику акте-
ров вместе с ними тоже, до кучи? Все отборных: Тарковского, Ром-
ма, Чухрая, Калатозова, Хуциева, Рязанова Эльдара? Высоцкого,
Галича, Окуджаву? Солженицына, Виктора Некрасова, Искандера,
Аксенова, Вознесенского, Слуцкого Бориса?.. Что, правда, не зна-
ли? И не ведаете, как чекисты и цэкисты этим советское искусство
обескровили? И как эти люди высланные, сейчас там, в Америке
и во Франции, на благо Запада успешно работают? Вы, может, по
ночам и Би-би-си с Голосом Америки не слушаете?

— Остановитесь, Мария! — сделал я предостерегающий жест. —
А то мне на ближайшей исповеди в райкоме придется вас, как это
называется, застучать.

— Ууу, исповедь! Фу. Вы серьезно к этому относитесь? И ходите
в райком? И несете там эту пургу, сами себя закладываете? Еще раз
фу! А кажетесь приличным человеком!.. Ладно, я умолкаю. Пейте
свой чай.

— Да, куда-то наш разговор не туда свернул. Что вы, говорите,
вчера после спектакля делали?

— На такси и сразу домой.

— Спешили? Зачем?

— Хотела успеть, если честно, к Гарбузову заскочить.

— Вот как? Зачем вам было к убиенному заскакивать?

— Он классный. Веселый, остроумный, милый, глубокий. С ним так хорошо! *Было* — хорошо. И я надеялась — порой, в глубокой тайне, — что он бросит свою гримзу и женится на мне. Черт, я все утро пью за упокой его души. Видишь, сыщик, и бессмертие ему не помогло.

— А откуда вы узнали, что он мертв?

— Мне эта хабалка, Верка Васильцова, шепнула. Жена генерала, с их площадки. Гадина. Все про всех всегда знает.

— Может, это она его убила?

— Ой, нет. Мотива не было, да и смелости бы ей не хватило.

— А, может, это сделали вы?

— А, я теперь подозреваемая! И поэтому вы мне больше не наливаете! И мне приходится с пустой рюмкой сидеть? Вы, что же, сыщик, не знаете, что подливать спиртное дамам — это привилегия и пре-ро-га-тива мужчин?

Я послушно нацедил ей еще армянского.

Она пригубила.

— Так все-таки? — настаивал я. — Вы спешили вчера вечером к себе домой, чтобы посетить Гарбузова. И — ?..

— К большому сожалению, он не мог меня принять. Он меня, грубо говоря, послал. Потому что к нему приехал его какой-то важный и любимый друг. Мужского, как он сказал, пола — и я ему поверила. Вообще-то Гарбузов не из тех, кто врет... Но кто он такой, этот друг, я не знаю. — При этом актрисуля сделала округлый жест в потолок, будто бы весь наш разговор кем-то записывается и поэтому ей приходится выбирать слова и выражения. — Да, не ведаю ни имени дружка Гарбузова, ни звания его. — А сама меж тем оторвала нижний край афиши, достала из ящика кухонного стола химический карандаш и написала на обороте: «Лев Станюкович, доктор биологических наук, приехал из Удельного». Протянула обрывочек этот мне.

— Значит, вы *не знаете*, с кем Гарбузов собирался встретиться? — спросил я, потрясая бумажечкой.

— Ведать не ведаю, — отвечала она, мелко кивая: мол, он этот, записанный ею гражданин.

Я хоть и считал, что конспирация излишняя: кому, интересно, придет в голову *писать* какую-то актрисульку, да не из самого заметного театра, — но игру девушки принял.

— Значит, именно с этим *неизвестным* Гарбузов вчера ночью встречался? И выпивал с ним?

— Именно.

Я знал, что такое «Удельное», о котором упомянула Мария: абсолютно закрытый и секретный город в дальнем Подмосковье, на границе с Владимирской областью, где проводились и проводятся основные научные, исследовательские и экспериментальные работы по обеспечению бессмертия.

— Может, вы, случайно, знаете, где этот неизвестный остановился? Где сейчас проживает? Дома у себя в Москве или в гостинице?

— Не имею ни малейшего понятия.

— Значит, вы утверждаете, что именно с этим *неизвестным* академик Гарбузов провел вчерашний вечер? И, возможно, тот его убил?

— Или после их разговора Гарбузов убил себя сам.

— Спасибо. Вы очень помогли следствию.

Я встал.

— Подождите. В театр сходить хотите?

— Не знаю. Нет, наверное. Дел много.

— Когда с делами покончите, тогда и пойдете. Контрамарка всегда будет вас ждать. Только позвоните, хотя бы за день. Телефон у меня простой, как специально, чтобы поклонники лучше запоминали и чаще звонили. Впрочем, от них и без того отбоя нет. А выбрать некого... Итак, мой номер: двести сорок три — сорок три — тридцать четыре. Сразу запомните и навсегда. Меня вообще никто по жизни не забывает, сыщик.

— Ладно, я буду иметь в виду ваше милое приглашение.

«А почему нет, — подумал я, — когда, конечно, это дело кончится. Жены у меня давно нет, да и девушки постоянной тоже. Можно пощекотать свои нервы связью с пьющей актриской».

Я вернулся в квартиру с трупом. И его, и место происшествия уже описали и укладывали убиенного на носилки.

Я спросил у эксперта:

— Какие выводы? Убийство? Или он сам?

— Выстрел произведен с очень близкого расстояния. Пороховые газы оставили отметины вокруг входного отверстия.

— Значит, самоубийство?

— Лоб — нехарактерное место для самострела. Неудобное — самому себе в него палить. Обычно суицидники в сердце стреляют или в рот. Так что, может, и кто-то другой бабахнул — с очень близкого расстояния.

— Какой твой выбор? Какова вероятность того или другого события?

— По расположению входного отверстия — процентов шестьдесят-семьдесят за самоубийство.

— Понял тебя. А сейчас мне нужен телефон.

— Пользуйся.

Майор-участковый проводил меня в спальню Гарбузова, где на тумбочке у кровати, совсем как у меня, стоял аппарат. Правда, спальня у академика оказалась не в пример больше моей: и в ширину, и в высоту, и в длину. Вот только наслаждаться ею он больше не сможет.

Первым делом я позвонил в ЦАБ — центральное адресное бюро, назвал свой пароль — у нас, у первого отдела МУРа, он был запоминающийся и со значением: «Серый волк». Спросил адрес по прописке гражданина Станюковича Льва. Через минуту мне ответили: таковой не значится. Я с подобным уже сталкивался, и это, возможно, означало, что уровень секретности товарища Станюковича таков, что даже мне, с моим допуском, не дозволено знать, где он прописан.

Хорошо. Но если он приходил вчера поздним вечером к Гарбузову, вряд ли затем в ночь отправился за триста километров к себе в Удельную. Наверное, остановился где-то здесь, в Москве.

Я позвонил в одноименную гостиницу, то есть «Москву», на проспекте Маркса. Представился. Станюковича искали в списках — но нет, не нашли. Тогда я перебросился на «Россию». И, о радость: да, сказали мне, такой товарищ зарегистрирован. Номер шестьсот одиннадцать, телефон такой-то.

Исходя из показаний актрисульки Крониной, к гражданину Станюковичу можно уже было ехать с нарядом и арестовывать. Но доктор биологических наук — это вам совсем не вор в законе. Вряд ли далеко убежит. Ничего страшного не случится, если я с ним предварительно побеседую. Кое-что проясню.

Я попросил портъе соединить меня с комнатой, где проживал товарищ Станюкович. Тот оказался в номере и мне ответил. Я представился. Ученый переспросил, почему вдруг такой интерес у уголовного розыска к его персоне. Я ответил вопросом:

- Вы вчера встречались с академиком Гарбузовым?
- Было дело. С ним что-то случилось? Что конкретно?
- Я могу рассказать вам только при встрече.

— Вот как? Можете тогда сами приехать ко мне в гостиницу? Я, к сожалению, ограничен во времени. Прямо сейчас у меня небольшая встреча, здесь в отеле, а потом я готов увидеться с вами. Час дня вас устроит?

— Где?

— Давайте под открытым небом. Погода хорошая, прогуляемся. А сойдемся, например, у входа в кинотеатр «Зарядье».

— Идет. В час дня у «Зарядья».

Ничто в разговоре Станюковича не выказывало, что он как-то замешан в убийстве: ни волнения, ни страха. Выглядело, будто добропорядочный советский гражданин хочет оказать максимальное содействие органам.

Пока я разговаривал по телефону из спальни, прибыла труповозка, и теперь двое санитаров выносили из квартиры на носилках покрытое простыней тело.

Я попрощался с сотрудниками и сбежал вниз по лестнице.

До встречи у кино «Зарядье», которое, как известно, находится рядом с гостиницей «Россия», практически сопряжено с ним, оставалось еще полтора часа. Я сел за руль своей «ласточки» и не спеша вырулил на Кутузовский проспект. Развернулся у Москва-реки и гостиницы «Украина», потом промчался по Калининскому, затем по проспекту Маркса мимо Манежа и Кремля — и менее чем через полчаса оказался на Солянке. Завтракал я, когда еще не было шести, поэтому заглянул в любимую рюмочную и заказал там бутерброды: с яйцом, килькой и корейкой. Водки брать, естественно, не стал. В рюмочной было шумно, многие курили, и классовый состав посетителей выглядел разношерстным: и закончившие смену таксисты, и сантехники в спецовках, и журналисты из близлежащей «Советской торговли», и даже, похоже, инструктора из рядом расположенного ЦК партии или тому подобные ответственные работники.

Ни с кем не вступая в контакт, я сжевал свои бутерброды, запил березовым соком и перебазировался, вместе со своей «ласточкой», поближе ко входу в «Россию». Остановился на пандусе, ведущем к въезду — вообще-то останавливаться там запрещалось, об этом и знак извещал, и после колебаний ко мне даже подошел дежурный милиционерик. Ему я предъявил свои корочки и сказал, что запарковался ради оперативной необходимости — тот с уважением отошел. На самом деле, мне хотелось заранее посмотреть на Станюковича — почему-то не оставляла мысль, что я его узнаю. А пока, чтобы скоротать время, я достал из багажника дипломат и стал просматривать газетки. В «Советском спорте» был отчет об отборочном матче сборной СССР с Ирландией, и меня порадовало то, что вывод корреспондентов совпадал с моим (а я смотрел телетрансляцию, что вело центральное телевидение со стадиона имени Ленина в Киеве): победили наши уверенно и заслуженно. Скорее всего, на чемпионат Европы семьдесят шестого года они отберутся. А с чемпионом страны вопрос, несмотря на май и на то, что до конца сезона еще полгода, уже решен. Если чудо не произойдет, им станет, конечно, киевское «Динамо» во главе с Блохиным. Еще бы, если в сборной страны — одни киевляне. И эта команда только что европейский Кубок кубков выиграла.

Одним глазом я посматривал за входом в гостиницу. Вот вышла группа западных туристов, стала усаживаться в поданный им красный «икарус». Вот двое нацменов в тубетейках пошагали в сторону Красной площади. Вот величественный мужчина с портфелем и знаком депутата уселся в такси. От нечего делать я взял просмотреть «Правду». Как часто бывало в главной партийной газете, передовица посвящалась самой животрепещущей (по мнению пропагандистов из ЦК) теме. Заголовок гласил: «БЕССМЕРТИЕ — НА СЛУЖБЕ ТРУДОВОГО НАРОДА!» Глаз выхватил основные, хорошо известные и приевшиеся постулаты: «В отличие от стран, где правит капитал, а вопросом бессмертия распоряжается узкая кучка бессовестных политиканов и денежных мешков, вечная жизнь в нашем Отечестве принадлежит трудовому народу... Практически каждый гражданин Страны Советов может получить прекрасное право на вечную жизнь — надо лишь честно работать, беззаветно любить свою социалистическую Родину, аккуратно посещать собеседования-исповеди в соответствующих партийных

органах...» Слова были такими же истертыми, как пять, десять или пятнадцать лет тому назад — когда с трибуны мавзолея, при многотысячной толпе и прямой радио- и телетрансляции, выступил первоиспытатель вакцины, простой советский парень и старший лейтенант, всеобщий любимец Юрий Петрухин: «Доклаживаю нашей любимой партии и всему советскому народу, что испытание лекарственного препарата, обеспечивающего бессмертие, проведено УСПЕШНО! Я чувствую себя отлично и готов выполнить любое новое задание советского правительства!»

Сколько с тех пор народу было обессмерчено — оставалось закрытой информацией. Даже мы в МУРе ею не владели. Кое-кто спорил (но только среди своих): а получили ли бессмертие генеральный секретарь Молотов и другие члены политбюро — и большинство были уверены, что, конечно, да.

А двадцать второго апреля, в день рождения вечно живого Ильича, обычно проводилась Жеребьевка, к каковой допускали лишь достойнейших из достойных граждан СССР. Претендентов перед лотереей каждый год значилось сто, из них выбирали имена пяти счастливых — их узнавала вся страна, и они становились героями бесчисленных «Голубых огоньков» и очерков в тысячах газет и журналов, от «Правды» до «Молодого коммуниста». Обычно один колхозник, один рабочий, один деятель культуры. Ну, и опционально: нацмен, партийный лидер среднего звена, типа секретаря райкома, и, может быть, ученый, инженер или партийный журналист. Пять счастливых ежегодно — о которых все знали. И еще сколько-то безымянных героев, о которых не ведал никто. Награжденные бессмертием секретными указами.

А вот из гостиницы вышел мой Станюкович. Я никогда не видел его раньше, но почему-то оперативное чутье мне подсказало: он. Такой, знаете ли, с убитым Гарбузовым два сапога пара: в возрасте, но крепкий, стройный, уверенный в себе, занимающийся (видимо) каким-то экзотическим спортом, типа горных лыж или альпинизма, но, главное, ученый, всего себя посвящающий любимому делу — науке, поставленной на службу трудовому народу.

Я запер свою «ласточку» и быстро пошел следом за ним. Да, товарищ двигался в направлении кино «Зарядье»: от концертного зала «Россия» спустился по лестнице вниз, к набережной. Я на секунду подумал, что на нем сейчас висит, как минимум, одна статья,

на выбор: убийство или доведение до самоубийства — и напомнил себе быть с гражданином аккуратнее.

Я подошел к нему — мужик и вблизи оказался высоким, стройным, загорелым. Продемонстрировал ему удостоверение. Он экспрессивно воскликнул:

— Ради бога, скажите мне, что случилось? Что произошло с Андреем? С чем связан ваш интерес?

— Это вы мне расскажете. Вы ведь вчера с ним встречались?

— Да! Я был у него! На Кутузовском.

Мимо нас со смехом прошла молодая парочка.

— Пойдемте. — Станюкович увлек меня.

Мы перешли проезжую часть набережной и оказались на том тротуаре возле гранитного барьера, у самой воды, куда обычно москвичи и гости столицы не добираются. Вот и сейчас на всем протяжении к Кремлю по нему шествовали не более двух человек.

— Расскажите о своем визите к Гарбузову. Когда пришли, когда ушли, о чем разговаривали. А начните с того, в каких вы отношениях состояли.

— Знаете, мы познакомились, еще когда Гарбузов лежал у нас на обследовании в Удельной. Какую-то мы друг к другу симпатию почувствовали. Ну, и обменялись телефонами — хоть это против правил. И я всегда, как в Москве оказывался, Андрею звонил. Обычно мы встречались — иногда у него дома, а порой, в ресторане. Вот и в этот раз: он настоял, чтоб я приехал. Даже свое собственное свидание с женщиной отменил.

— Хорошо. Во сколько вы у него на Кутузовском оказались?

Мы не спеша шли по направлению к Кремлю. На противоположной стороне Москва-реки дымила своими трубами МОГЭС-1, по фарватеру полз прогулочный теплоходик.

— Около восьми вечера.

— А ушли?

— Где-то в полдвенадцатого. Это легко проверить. Он по телефону вызвал мне такси.

— Значит, когда вы уходили, Гарбузов был жив?

— Жив! Вы говорите: жив! Он погиб?

— Около двенадцати ночи он, по всей видимости, пустил себе пулю в лоб. Что вы такое ему сказали? Такое, что он застрелил-

ся? Или это вы не уехали на вызванном такси, вернулись втихаря к нему в квартиру — и убили кореша?

— Ах, боже мой! Боже мой! — вскричал он, ломая руки. — Я не должен, не должен был ему говорить! Но мы оба выпили! Язык у меня развязался! А он так просил!

— Что же вы ему сказали?

— Он спросил меня, почему у него по онкологии плохие анализы — ему впрямую в больнице никто не говорил, но он чувствовал, что с ним что-то сильно не так. Как это вообще может быть: проблемы с онкологией, если он — бессмертный? Он же не должен умирать — совсем! А я сказал ему — научный факт, между прочим! — только у нас его изо всех сил замалчивают, да и на Западе стараются не афишировать. — Тут он оглянулся, но никто не слышал нас, ни единого человека не было в пределах видимости ни по нашему тротуару, ни по противоположному до самого Большого Устьинского моста. Машины мимо катили, на довольно хорошей скорости, но и только. — Так вот: как показала практика, препарат Мордвинова, или в просторечии, прививка бессмертия, действует, как оказалось, в среднем лишь примерно в шестидесяти процентах случаев. Остальные сорок процентов вакцинированных возвращаются к своему прежнему состоянию, и их точно так же, как простых смертных, начинают одолевать болезни: рак, инсульт, инфаркт. Что там говорить! — Он снова оглянулся. — Вы знаете, что Юрий Первухин, любимый всем народом первоиспытатель, больше половины своего времени сейчас у нас, в клинике в Удельной проводит? Мы потихоньку стараемся подтянуть его до параметров бессмертия — но не очень хорошо это удается.

— Значит, вы огорошили Гарбузова рассказом о том, что он, быть может, и не бессмертен вовсе. И это, возможно, стало толчком для его суицида.

— Поверьте! Я был очень аккуратен в выражениях! Поверьте! Но как я мог ему не сказать? Обмануть?! Мы же друзья!

Мы дошли до моста и по сигналу светофора перешли проезжую часть набережной на более людную сторону. Стал виден стоящий на Васильевском спуске, на фоне Храма Василия Блаженного, еще один монументальный памятник трем вождям. Здесь гранитные Ленин, Сталин и Молотов сидели за круглым каменным столом и что-то обсуждали.

— Наверное, — спросил я, — у вас там, в Удельной, все силы сейчас брошены на то, чтобы у вождей наших все с бессмертием оказалось тип-топ?

— Ох. Я и так вам слишком много рассказал. Я надеюсь, вы благородный человек — вы производите впечатление благородного! — и не станете меня сдавать за мою болтовню.

Мы поднялись обратно к гостинице и пошли вдоль ее фасада, выходящего на реку.

— Не уезжайте никуда из города, — сказал я биологу. — Вас должны будут формально допросить. И, я думаю, на официальном допросе вы выдавать секретные сведения нашим сотрудникам не станете. В ваших же интересах.

Мимо на малой скорости проехала черная «волга» с буквами в номере «МОС». Где-то я ее уже недавно видел. «МОС» означало правительственная — или спецслужбисткая. Мы дошли до нужного Станюковичу крыла гостиницы.

— Я выкурю еще сигаретку, — сказал он. — Вы ведь не курите, я понял по запаху.

— Давайте.

Мы пожали друг другу руки. Мне понравился этот мужик — хоть он и оказался фактически убийцей своего друга Гарбузова.

Я дошел до моей «одиннадцатой модели», сел. И ясно увидел, через лобовое стекло, сцену — хотя она происходила очень, очень быстро. К Станюковичу подкатила черная «волжанка» — по моему, та самая, с номером «МОС» — из нее выскочили сразу трое спортивного склада молодых людей в костюмчиках, схватили ученого под руки и быстро забросили вовнутрь своего лимузина — и он умчался по пандусу на высоченной скорости.

Я тоже поехал — в сторону управления.

В своем кабинете я написал рапорт о расследовании (само)убийства Гарбузова. Разумеется, я умолчал о тех тайнах, что поведал мне Станюкович. Но написал, что считаю обязательным формально допросить его — может, благодаря этому нам удастся вытащить его из лап КГБ?

Потом я оставил у Коробкина на столе — его где-то носило — сегодняшний «Советский спорт».

Затем взял у начальника отдела ключ от сейфа и достал оттуда свой «макаров» и две обоймы. Положил пистолет в дипломат и отправился домой, на улицу Вешняковская.

Как приехал, позвонил своему сыночку домой — его не оказалось, наверное, гоняет в футбол.

Набрал номер бывшей жены — она работала и выглядела страшно занятой.

— Постой, что ты хотел?

— Да так, ничего, просто проболтать.

А тот самый звонок раздался в дверь квартиры только в половине восьмого вечера.

Я глянул в глазок — многие, включая бывшую супругу, смеялись, что я его поставил: а все-таки в итоге пригодилось.

На пороге, как я увидел в мутное стеклышко, стояли двое подтянутых молодых человека в галстучках. Точь-в-точь как те, что арестовывали Станюковича. А, может, *те самые*.

КГБ явно не собиралось допустить, чтобы сведения о «неполноценном бессмертии» распространились от болтуна Станюковича дальше.

Я сжал рукоять «макарова».

Мне тоже совершенно не хотелось попадать им в лапы, во внутреннюю тюрьму на площади Дзержинского, дом два.

Поэтому я приготовился к своему последнему бою. Я собирался дорого отдать свою жизнь.

Автор благодарен Максиму Токареву, который поделился сведениями, как были устроены в семидесятых годах прошлого века советский сыск и следствие.

№ 4, 2021 г.

Магична Тлостанова

ФУРИЯ И ВАРЕНЬЕ ИЗ ЖЕРДЕЛЕЙ

Причинно-следственные явления происходят не только во времени, но и с помощью времени. Поэтому в каждом процессе Природы может затрачиваться или образовываться время.

Николай КОЗЫРЕВ

Все-таки у нас тут хорошо, не то, что в городе. Города сдались первыми. И люди потянулись нескончаемыми потоками назад — в маленькие деревушки и заброшенные хутора, и дальше — в чащу, в степь, в горы. Первые несколько лет можно было наблюдать исход человечества на автомобилях, поездах и самолетах. Но затем, когда достать топлива стало невозможно, все пересели в повозки, на велосипеды, а те, у кого не оказалось и их, были вынуждены воспользоваться собственными натруженными ногами. Инстинкт самосохранения затмевал собой все остальное, не давая остановиться и задуматься. Только уехав сюда, в эту бедную, но невероятно красивую приморскую страну, мы смогли, наконец, найти недолговечную и хрупкую точку равновесия и хоть как-то примириться с новыми условиями, в которых мы оказались. Здесь, в субтропической мягкой влажности, в заросших лесах, негусто населенных предгорьях еще можно порой вернуть иллюзию прежнего хода времени, замедлить его бег. Да-да, парадокс в том, что, перестав ходить на работу и вроде бы сойдя с дистанции вечной гонки, мы заметили, что время-то все равно течет быстрее, чем прежде.

Прошлая жизнь, проведенная в челоуейнике, не оставляет моего подсознания. Иногда во сне я все еще оказываюсь в каком-то мрачном мегаполисе, только что пережившем катастрофу. Я лечу с головокружительной скоростью над опустевшими перекрестками с темными светофорами, над навечно закрытыми музеями, магазинами и театрами. Мой взгляд почти не успевает ухватить оборванные афиши с призывами голосовать за давно сгинувших кандидатов и рекламу совершенно ненужных теперь товаров. Сон всегда

обрывается в тот момент, когда я, зазевавшись, точно мечтательная птица, влетаю со всего размаха в стеклянную стену и она медленно и беззвучно раскалывается на тысячи осколков. Обычно на этом месте я просыпаюсь, вскакиваю и ухожу гулять на весь день. На берегу моря, в лесу, в горах еще можно хоть как-то зацепиться за смену дня и ночи, лета и зимы, ощутить свою причастность к циклам большого времени. Хронометрам мы давно не верим. У нас даже, кажется, нет ни одного в доме. Батарейки сели, новые достать неоткуда. Механических часов просто не осталось. Но здесь, в уединении, где существование наше подчинено главной задаче выживания, не так важно, сколько мы успеваем сделать за час, за минуту или за неделю.

Прежде казавшиеся нам неизменными временные законы потихоньку отменились, пока люди были заняты тем, что им казалось важным. Мне кажется, первыми это коварство времени ощутили не люди, а животные, птицы и растения. Запертые в городах с их искусственным освещением и кондиционированным воздухом, мы, по обыкновению, опомнились слишком поздно и только после грубой встряски, полученной извне. Никто не желал слушать предупреждения ученых о том, что планета стареет, что час теперь на пятнадцать минут короче, чем прежде, что ход времени убыстрился самым буквальным, а не символическим образом. Все надеялись, что все это домыслы безумных физиков, что на самом деле это мы, старея, замедляемся, а время для нас ускоряется, но то самое, настоящее, объективное время конечно же остается неизменным. Теперь ясно, что мы просто были больны страхом времени, страхом неподвластных нам перемен. Нам все казалось, что и на этот раз нас как-то пронесет, ведь раньше же проносило и пресловутый конец света так и не наступил. Оказалось, что мы просто не заметили его прихода.

Да, я не представилась. Меня зовут Ева. Я живу в этом старом, скрипучем доме вместе с двумя давними университетскими друзьями. Мы переехали сюда, не скажу точно, сколько лет назад, поскольку дни, месяцы и годы стали теперь условными понятиями. Я сужу лишь по косвенным признакам и одним из самых точных является Фурия. Она уже старая, и не всегда у нее есть силы сопровождать меня в лес. А когда мы сюда переехали, меня поражали ее нескончаемая энергия и буйный нрав. Так что мы здесь, вероятно, уже не один год. Впрочем, обо всем по порядку. Я буду вам рассказывать и одновременно делать всякие дела, ведь дом-то на мне!

Сейчас соберу жерделей вон с того низкорослого дерева. Вы не смотрите, что они мелкие, зато какие сладкие, румяные, ароматные. А дерево крепкое, очень выносливое. Никто за ним специально не ухаживает, да и лета никакого давно уж не было, солнце появляется без предупреждения в любое время года и так же легко сменяется дождем или снегом. День и ночь еще остались, но прежние законы их смены сдвинулись, а измерить и оценить эти изменения некому и не на чем. Деревья, как и все живое на земле, сошли с ума и сами решают, когда им цвести и плодоносить. Впрочем, изнеженные селекционные сорта этого не выдержали и погибли в первый же год, а вот неприхотливая полудикая жердела — как раз наоборот. Видите, как быстро набралась полная корзина. Сейчас донесу ее до нашей любимой деревянной веранды и немного передохну. Ох, веранду надо бы покрасить. Она совсем облупилась. Но краску взять негде. Нужно отдохнуть. За один раз не донести! Как странно, вот так же помогала я нести собранный урожай бабушке, пятьдесят с лишним лет назад, а может, и больше. Звучит страшно и торжественно — полвека, но на самом деле ничего ведь не изменилось. Только иду я уже не вприпрыжку, и небо теперь почти всегда затянуто серым брезентом. Синева осталась в памяти. И бабушки давно нет. Ну вот, пока собирала жердели, снова зарядил дождик. Как бы там Тамара не промокла по пути с рынка.

Устала я что-то. Вот так, сейчас присяду. Этот трехногий табурет остался нам от прежнего хозяина. Все звали его Ацха, а настоящее имя давно забылось. Табурет приземистый и устойчивый, как и вся остальная мебель в доме, сделанная руками хозяина. Я люблю сидеть на этом низком табурете, когда нужно делать монотонную домашнюю работу. Вот как сейчас — перебираю жердели. Кто это там тяжело дышит и вздыхает? Фу-у-у-урия, ну конечно, это ты. Заходи. Знаю, тебе тесно на этой веранде, но ты уж как-то уместись, пожалуйста. Давай, ложись, поговорим. Вот эти крепкие, а эти перезрели, их надо съесть первыми. Будешь? Попробуй. Они сладкие. Фурия, мы с тобой и не заметили, как состарились. Звучит как приговор. Но что такое пятьдесят или шестьдесят лет вон для той чинары на краю леса? Всего лишь миг. А для тебя и пять лет — уже полжизни. Вот так, мы с тобой съедим все спелые жердели, а косточки оставим, разложим их вот здесь сушиться на клеенке. Это для Ника.

Вроде я и не так уж стара. Я же еще могу ходить довольно далеко в лес и карабкаться на окрестные невысокие горки, чтоб набрать

грибов или ягод. Только глаза подводят. Катаракта. И все же я — динозавр из другой эпохи, во всяком случае для детей моих друзей. Когда я писала свою первую диссертацию — а это было как вчера, хотя на самом деле еще в прошлом веке, так вот, тогда не было компьютеров или они были дороги и недоступны простым смертным. И я прилежно стучала часами на красной портативной пишущей машинке. Много позже, в «Музее вещей» я оказалась вместе со своими студентами в интерактивном зале. Среди экспонатов обнаружилась печатная машинка. Я уселась за нее и быстро напечатала полстраницы. А потом поймала несколько взглядов моих подопечных, полных восхищения, смешанного с настороженностью, как будто я — дрессированный медведь и неизвестно что могу выкинуть. Нет, я не так уж стара. Я еще могу себя обслуживать и даже помогать другим, вот как сейчас Нику. Кстати, как он там, надо бы проверить.

— Ник! Ты спишь?

— Нет, я читаю. Приходи, когда освободишься. Я расскажу тебе об амурском леопарде.

— Хорошо, приду. Вот только обед приготовлю. А разве еще остались амурские леопарды?

— Нет, конечно. Но нужно о них помнить.

И правда, нужно помнить. Только как это сделать? И как решить, что помнить, а что забыть. Я тогда сказала студентам, что на машинке или гусиным пером, диссертация есть диссертация. Мысли не зависят от способа их фиксации. Или все же зависят? Но мы определенно не были глупее потому, что не знали компьютеров. А вообще, все это, конечно, старческое брюзжание!

— Ник, у тебя болит больше или так же?

Молчит, не отвечает, значит, больше, но не хочет меня расстраивать. И жар у него не сходит.

— Фурия, ты побудь здесь, а я пойду принесу овощей для супа. Нет-нет, не выходи, а то намокнешь.

Тут за домом у нас огород — небольшой, но все, что нужно, есть. Вот черт, снова мертвые птицы. Каждое утро я нахожу несколько павших птиц на нашем дворе. Мне кажется, они дезориентированы перепутанными временами года и летят в теплые края не вовремя, да к тому же и сбиваются с пути в дороге. Отсюда и многочисленные птичьи тела, рассыпанные по окрестностям. Как жаль, что они стали

первыми жертвами воцарившегося безвременья. Вот переделаю все дела, и надо будет их похоронить.

Теперь надо разжечь огромную печь. Я каждый раз боюсь, что не получится, но руки помимо моей воли делают это легко и быстро. Никогда бы не подумала, что смогу научиться разжигать огонь в настоящей печке. Всю жизнь я была сугубо городским человеком, даже квартирно-кабинетным. А тут оказалось, что у меня лучше всех получается разжигать наш последний очаг.

Знаете, в том музее был еще один зал, где были собраны громоздкие камеры-обскуры XIX века и в центре стояла даже телеграфная машина. Студенты смотрели на меня с надеждой — ну, уж это вы точно должны знать! Они не понимали, почему я не владела одновременно технологией производства дагерротипов и ремеслом телеграфистки. Для них все, что было до их собственной жизни, сливалось в один нескончаемый доисторический период. Один бесконечный и однородный плюсквамперфект. Мне было трудно понять их чувство времени. Я и сегодня хорошо помню мир моих родителей, их слова, вещи, любимые лица, книги и фильмы. Мы понимали друг друга, причем иногда без слов, и разделяли один и тот же жизненный и ценностный круг, хотя они родились на заре 1930-х, казалось бы, столь же далеких от меня, как и мои 1970-е от теперешних молодых. И все же это не одно и то же. И пятьдесят лет внутри XX века и сегодня — это дистанция огромного размера. Это шаг в другую эпоху. Когда же произошел этот переход? Когда распалась окончательно связь времен? Или все же не окончательно? Мне кажется, что она окончательно распадется, когда умрем мы — те, кто беря в руку айфон, помнит простейшей телесной памятью, как водил пальцем, набирая номер на дисковом. Хотя, возможно, так кажется каждому поколению. Впрочем, теперь, после катастрофы мы все оказались снова в одной исторической эпохе, хотя не все это понимают и кое-кто по инерции пытается жить в своем измерении и со своей скоростью.

— Фурия, что ты вздыхаешь? Тяжко тебе? Ну, подожди. Вот сварится суп, и я тебе дам немного.

Не знаю, зачем я все это рассказываю. И кому. Кроме Фурии меня и послушать некому. Но иногда мне кажется, что у меня есть внимательный незримый слушатель и слова мои не пропадают зря. Вот раньше люди вели дневники для будущего. А мне нечем и не на

чем записать мои мысли. Поэтому я полагаюсь только на свой голос и верю, что кто-то его слышит, так вот просто, в прямом эфире.

Да-да, давай я поглажу твою лохматую голову, вот так. А теперь пусти меня, нужно помешать варенье, пока оно не пригорело. Дождь все идет и идет, и старая хурма стучит веткой в окно. Ты только посмотри, Фурия, на ней и припозднившиеся желтые цветы, и парочка сморщенных плодов, и зеленые завязи, и свернувшиеся сухие листья, и голые ветви. И как она выживает во всех сезонах сразу? Впрочем, это мы, люди, плохо приспосабливаемся к переменам. Я вот до сих пор не могу привыкнуть к тому, как всего за несколько лет изменилось практически все. Сначала нескончаемая пандемия, потом столкновение с астероидом, землетрясение и, спустя несколько месяцев, резкое похолодание на большей части планеты. Мы и представить себе не могли, что умозрительные сценарии вулканической или ядерной зимы, о которых дети читали в учебниках физики, географии и астрономии, вдруг станут частью повседневной жизни. Нам казалось тогда, что все мы угодили в какой-то научно-фантастический фильм с плохим сценарием. Но он все не кончался, развязка не наступала, а силы были на исходе. Особенно тяжело стало в тот год, когда гигантская пылевая завеса загородила Землю от Солнца. Умом мы понимали, что погибшие урожаи, снег в июле, вышедшие из берегов реки и страшные ураганы происходят в полном соответствии с научными теориями объяснения мира, но это не помогало психологически, а скорее мешало, повергая нас — превратившихся за несколько столетий почти поголовно в безнадежных атеистов — в какое-то неизбывное отчаяние.

Никто точно не знает, но скорее всего людей теперь осталось не больше половины. И число это продолжает быстро сокращаться. В больших городах начался голод. Все бежали куда глаза глядят, надеясь найти менее пораженные катастрофой районы. Но добраться куда-то было очень сложно. Самолеты не могли взлететь. Существовал только наземный транспорт, да и то не везде. Затем встали заводы, нефтепромыслы, шахты, электростанции, не стало топлива, необходимого для транспорта. Самодовольная цивилизация розетки и вайфая исчезла с головокружительной быстротой. На этом фоне рухнувшая мировая экономика казалась сущим пустяком. А недавнее обожествление рынка теперь представлялось странной ересью, ведь чтобы выжить, нужно было не иметь ценные бумаги, а уметь

вырастить и сохранить зерно, овощи и фрукты, поймать рыбу и подоить корову. Но даже теперь были те, кто верил, что все вернется к прежнему «равновесию».

Впрочем, еще недавно я тоже не могла себе представить, что жизнь изменится так круто. Из нас троих я дольше всех пыталась следовать уже ушедшим интеллигентским представлениям об удачной жизни с их иной плотностью и скоростью времени и изменений. Внушенная с малых лет вера в то, что все будет хорошо, что я вырасту, выучусь, буду заниматься любимым делом и добьюсь успеха и признания, потом уйду на пенсию, переключусь на творчество, стану вести правильный образ жизни и потому не заболела и не умру раньше времени — эта вера рассыпалась вмиг. Но осознание пришло слишком поздно, когда изменить уже было ничего нельзя.

Теперь вся моя прежняя жизнь превратилась в один сплошной плюсквамперфект. Защитив одну, а затем и вторую диссертацию, я успела получить работу в университете, пока он еще сохранял видимость нормальности. Но за новыми корпусами и библиотеками, за проводившимися по инерции занятиями скрывалась черная дыра бессмысленности, обреченности, гигантской рассогласованности с жизнью и с будущим, которого по сути просто не было. Откуда в нас была эта странная близорукость человека, который упорно белит свой домик, примостившийся на склоне проснувшегося вулкана, не замечая быстро подбирающейся к нему лавы? Вулкан было приказано игнорировать. Научные исследования касались исключительно более эффективных способов побелки домика и экологически щадящей организации огорода и сада вокруг него. Главное преимущество университетской среды — академическая свобода — было незаметно свернуто и забыто, уступив место исключительно соображениям скорой прибыли. Как смешно и нелепо все это выглядело теперь, когда мгновенно рухнули и финансовая система, и границы, и даже понятие собственности, и вообще все искусственные приоритеты социальной значимости, которые действовали лишь в логике легко рассчитываемого и достижимого счастливого будущего. Его-то и не стало.

Конечно, первые сигналы отчетливо прочитывались уже давно. В какой-то момент я поняла, что больше не могу сама выбирать направления своих исследований. И дело было не в цензуре, а в банальной прибыли. Несчастные ученые по всему миру целыми днями изобретали бессмысленные темы научных проектов, которые

затем нужно было утвердить в десятке инстанций, включить в заявку и попросить денег на несколько лет, чтобы привести задуманное в исполнение. Но беда была в том, что разнообразные инстанции и руководившие ими небожители, раздававшие гранты, отличались крайней степенью невежества и полным отсутствием воображения, и самое главное, все как один, были поражены все тем же страхом времени и боязнью перемен. Даже наблюдая очевидные знаки надвигающейся катастрофы, они все равно продолжали выдавать деньги исключительно на развитие утопий технократического радужного будущего, которому не суждено было наступить никогда, и неизменно отвергали все, что заставляло задуматься о своей роли в мире и о том, что еще можно было бы изменить и спасти.

Конечно, мы все сильны задним умом. Нужно было тогда, сразу же, не мешкая, уходить, но я смалодушничала и осталась. Тем более, что идти было особенно некуда и делать я больше ничего не умела. Ну, или мне так казалось. Поэтому несколько лет я играла в эту игру, соревнуясь с коллегами по степени абсурдности научных заявок, которая коррелировала с их финансовой успешностью. Изучение пожертвований человеческих слез, содержащих синтетические гормоны, Балтийскому морю, анализ поведения улиток в пивных ловушках на дачных участках близ Трондхейма, исследование смелых половых ролей роботов, используемых в индустрии заботы, проект об аффективных аспектах роющей деятельности кротов в средиземноморском регионе. Вот только некоторые примеры. Защитив диссертацию по зоопсихологии, теперь я была вынуждена поддаться модным новоматериалистическим веяниям и заняться перспективами политического активизма приматов.

— Ник, как ты там? Суп уже сварился, я его сейчас процежу и тебя покормлю.

Он молчит, может, заснул, а может, ему хуже. Честно говоря, я боюсь идти в комнату Ника.

Пандемия и катастрофа поставили жирную точку на академической жизни. Какое-то время мне пришлось перебиваться случайными заработками, проводя сеансы психоанализа с котами и собаками пока еще остававшихся состоятельных людей. Но уже спустя год все это потеряло смысл. И попытки заработать на сносную жизнь сменились простым выживанием. Мне было нечем платить за квартиру, и я отправилась в офисно-жилую башню на окраине леса в Новой Москве.

Теперь здание практически пустовало. По слухам, там можно было поселиться нелегально, и никто бы тебя не обнаружил, во всяком случае, в течение нескольких месяцев. В здании пока не отключали отопление, воду и свет — то ли по бюрократической безалаберности, то ли потому, что это был умный дом с замкнутым циклом, рассчитанным на вечное существование, и отключить их было просто невозможно. Я пробиралась по полузаброшенному городу на велосипеде, а кое-где и пешком. Некоторые районы были завалены толстым слоем ила и глины. В центре все выглядело более пристойно, но и там из Подколокольного переулка на меня зарычала стая бродячих собак, явно решивших, что я — их добыча. Кое-как добралась я до бывшего рабочего предместья, лишь недавно ставшего частью города.

Хозяева башни уехали бог знает куда. Она стояла темная и обшарпанная, но в некоторых оконцах ее верхней части все же горел свет. В полутемном лифте этого архитектурного монстра я и столкнулась с Тamarой, которую не видела, кажется, больше тридцати лет. В юности мы играли вместе в студенческом театре. Я была Офелией, а статная низкоголосая Тамара — Гертрудой. Ну, а Ник, как вы уже догадались, был Гамлетом. Тамара почти не изменилась, только прежде черные волосы полностью поседели, но все так же были подстрижены в аккуратное каре. Бывшая Гертруда, как оказалось, тоже жила в этом здании, более того, до самой пандемии она в нем и работала, полагая идеальным такое положение вещей, особенно зимой, когда выходить на улицу так не хотелось.

— Ты в своем репертуаре! Я всегда вспоминаю, как ты жила в общезжитии главного здания МГУ и не выходила на улицу месяцами, курсируя между домом культуры, аудиториями, бассейном и продмагом. Ты знала все потайные лестницы и катакомбы нашей alma mater.

— Да я и здесь поначалу так устроилась. Но теперь это не имеет смысла. Контора моя накрылась медным тазом. И уж точно навсегда. Так что и жить здесь тоже глупо. Но зато я не плачу за квартиру. Нас тут таких много — нелегалов. Правда, говорят, что поскольку солнца не было уже больше года, наш умный дом не получает достаточно энергии, и скоро у нас не станет ни электричества, ни горячей воды.

До катастрофы Тамара работала менеджером по продаже впечатлений — была тогда такая безумная специальность. Кто мог представить, что подававший надежды геэколог, которого заботило выживание человечества, превратится в обычный офисный планктон.

Впрочем, тогда никто почти ничего не производил и не делал руками. Создавалось впечатление, что окружающие либо продают воздух, либо всучивают простофилям скверные одноразовые товары. Других просто не было. Тамара сидела в маленьком кабинете, похожем на купе в поезде дальнего следования, только стены в нем были стеклянные. Купе находилось на тридцатом этаже башни, из огромных окон которой вечно дуло. Внизу не было, увы, ни моря, ни реки, а только крыши налепленных как попало зданий, пересечения полузаброшенных железнодорожных путей и океан зеленых гаражей бывшей промзоны. Только одна, жилая сторона дома выходила на чахлый сосновый лесок, но его-то как раз и не было видно из окон офиса. У Тамары был минималистичный стол, на котором помещались только искусственное денежное дерево и встроенный ноутбук. Крышка стола при нажатии на кнопочку начинала ездить вверх-вниз, позволяя хозяйке периодически работать стоя, как это делали некоторые великие писатели. Впрочем, писателем она не была, хотя определенное отношение к вымыслу все же имела. Тамара продавала состоятельным и не очень людям прыжки с парашютом в Андах и экскурсии на шоколадную фабрику в Швейцарии, полеты на воздушном шаре в Турции и зорбинг на Тибете. «Впечатление в подарок — отличная идея, которая позволит подарить дорогому вам человеку массу приятных эмоций, незабываемых ощущений, новый опыт и знания, шанс сменить обстановку и, возможно, даже найти себя», — убеждала она клиентов. Желающих было особенно много среди тех, кто на самом деле не мог этого себе позволить. Потому что подаренные впечатления были престижны, они поднимали дарящего и одаряемого в собственных глазах, суля выход за границы возможного.

Сама Тамара попробовала такое впечатление всего-то раз, когда ее наградили по итогам года как лучшего менеджера и отправили на уикенд в винный бутик-отель на берегу моря. После очередной дегустации, слегка опьянев, она отправилась погулять, чтобы алкоголь быстрее выветрился. Тогда-то Тома и приметил старейший дом, практически вросший в скалу высоко над морем. Больше всего ей понравился элегантно балконишко, опоясывавший дом по периметру. Кое-где белые столбики его балюстрады сгнили и выпали, как зубы у пожилого человека. Но дом держался и уверенно подставлял свой потрепанный фасад морскому ветру. Тамара подошла поближе и увидела смоковницу и дерево хурмы во дворе, пару мандариновых

подростков и роскошные кусты неизвестных ей цветов. На калитке висела порыжевшая табличка: «Осторожно! Уверенная в себе собака!» И чуть ниже скрученный по краям листок бумаги с выцветшей надписью: «Дом продается. Торг уместен. Стучите». Тамара так и сделала. И почти мгновенно над оградой показалась огромная лохматая голова с прижатыми обрубленными ушами и влажным черно-розовым носом. Волкодав облизнулся и вздохнул. Его мощные лапы свисали с заборчика, но он явно не намеревался нападать.

— Вы что тут шастаете? Правда решили купить или просто делать нечего? — Рядом с собачьей появилась человеческая голова — такая же лохматая и полуседая.

— Простите, пожалуйста, уж больно красивый у вас дом! А можно посмотреть его внутри?

Дом перестраивали и надстраивали вот уже двести лет — перекрывали крышу, расширяли бойницы в окна, пристраивали балкон, делили прежде одну общую комнату на небольшие отсеки для хозяев и гостей. Но вырубленная на совесть в скале каменная лестница все так же вела на второй летний этаж. Несмотря на все переделки, дом не потерял своей цельности и грубоватой привлекательности. Почему-то верилось, что он выдержит любое цунами. Тогда Тамара, конечно же, не купила это удивительное здание. Слишком невероятным казался сценарий тотального дауншифтинга. Но прошло всего несколько лет, и вот мы здесь.

Впрочем, если бы не случайная встреча с Ником, ни я, ни Тамара, наверное, не решились бы на такой шаг. Мы все были слишком долго рабами обстоятельств. Политики мыслили в рамках своих коротких электоральных сроков, но продолжали убаюкивать население пустыми обещаниями. Ученые периодически предупреждали о надвигающейся беде, но все чаще замолкали под страхом потери работы и репутации. Ведь исследования, идущие вразрез с генеральной линией самоуспокоения и вечного статус-кво, не имели шанса получить финансирования. А обычные люди выживали, кто от зарплаты до зарплаты, кто по привычке, стараясь откладывать на черный день, напрасно надеясь хотя бы на неголодную старость.

Я не видела Ника очень давно. В юности мы были близки, но потом наши пути разошлись. Я занималась наукой, писала диссертацию. А Ник на четвертом курсе перешел на заочное отделение, потому что надо было помогать старенькой и больной маме. Все жалели,

что лучший на потоке студент стал заочником. И в студенческий театр на репетиции он ходить перестал. Роль Гамлета отдали противному Шептунову с филфака.

Ник был и в самом деле очень талантлив. Когда он произносил знаменитый монолог, остальные актеры студенческого театра замирали и забывали свои роли. Его мама угасала еще несколько лет, и вернуться к учебе на биофаке и к исследованиям человеческих органов, воспринимающих магнитное поле, он так и не смог. Сначала Ник переводил научные тексты. Потом, когда наука перестала интересовать кого бы то ни было, прожить на эти жалкие гроши стало невозможно, и он выучился на собачьего парикмахера. Звери его всегда любили. Даже самые свирепые и капризные псы стояли у него смиренно, улыбались и позволяли себя стричь. Нужда отступила. Прошло несколько лет. Не стало мамы. И Ника охватила охота к перемене мест. Он принимал клиентов на дому, а в свободное время брался за разные странные работы, более или менее временные, которые позволяли ему путешествовать и оставаться независимым. Мы все ведь тогда верили, что можно что-то изменить в отдельно взятой человеческой жизни, куда-то уехать и начать все сначала.

В год, предшествовавший пандемии, он успел поработать выравнивателем подушек в огромном мебельном магазине в Аргентине, дегустатором дыхания в фирме жвачек «Орбит» в Германии и даже лающим сыщиком собак в шведской налоговой инспекции. Он должен был ловить хозяев, скрывавших истинный размер своей собаки при оплате налога. По тому, каким голосом они отвечали на его лай, он определял породу и выставлял счет. Но биолога Ника больше интересовало общение с собаками, а не штрафы хозяевам, и его уволили. В конце года он пытался устроиться переворачивателем пингвинов в Антарктике, но не прошел по конкурсу. Собственно, так мы и встретились. Я явилась в ту же корпорацию, которая озаботилась судьбой пингвинов в районе аэропорта. Их сбивали с ног взлетающие лайнеры, и бедняги уже не могли подняться и погибали. У меня был грант на проведение исследований по знаковой коммуникации с нелетающими птицами. Тут, в приемной, я и услышала знакомый голос. Я бы никогда не узнала Ника, если бы не голос. Располневший, потухший и небритый человек ничем не напоминал прежнего Ника, но голос совершенно не изменился. Та же бархатистая, мягкая хрипотца. Те же полувопросительные, будто неуверенные интонации.

— Ник?

Он ничего не сказал. Только подошел ко мне и молча обнял. Бережно, как прежде. И как прежде от него пахло мокрой травой.

Теперь Ник медленно умирает в соседней комнате. В этом нет моей вины, и все же, может, он остался бы жив, если бы мы не пригласили его тогда поехать с нами. Но кто мог предположить, что все закончится именно так. Ник знал о животных, казалось, абсолютно все, а мы хотели собрать осиротевших или брошенных хозяевами зверей со всех окрестностей и попытаться помочь им выжить. Да и его собственное временное гаражное пристанище не внушало доверия. Первым нашим питомцем стала та самая уверенная в себе собака. Мы, кстати, так и не сняли табличку с ворот. Волкодавиху звали Фурия. Но характер у нее был спокойный, хотя чувства собственного достоинства ей и впрямь было не занимать. Когда мы решили купить этот дом, Тамара написала письмо старому хозяину Фурии. Ацха ответил на удивление быстро: «Деньги теперь ничего не стоят. Сам я решил уехать. Не спрашивайте, куда. Приезжайте. Живите так. Только обещайте, что не бросите дом, Фурию и сад». Он даже не дождался нашего приезда. «Ушел в горы и пропал, — объяснила тетя Доротея, наша ближайшая соседка, чей дом в пятидесяти километрах отсюда, — а пойти поискать некому. Никого не осталось». Собака поначалу не желала с нами общаться. Она совсем не ела и выла ночами. Но потом Ник сделал что-то такое, и она оттаяла и взяла еду с его руки. А теперь он умирает. Скорее всего, у него аппендицит. Но определить это точно невозможно. Ближайшая больница — в шестистах километрах от нашего дома. Служба скорой помощи исчезла вместе с разбежавшимися чиновниками приказавшего долго жить государства. Наш старый автомобиль давно не на ходу. Да и топлива нет. И лошадью мы так и не обзавелись.

— Вот так, Фурия, мы сейчас с тобой покормим Ника и будем варить варенье из жерделей. На прошлой неделе Тамара выменяла немного сахара на цветы. Так что у нас все получится. Ты знаешь, я загадала, если поправится Ник, то и мы выживем, мы все, понимаешь?

Я все по привычке цепляюсь за события повседневной жизни, чтобы отмерять время. Очень человеческая привычка. От нее трудно отделаться. Раньше это были просто *другие* события — рождение детей, смерть родителей, учеба, успехи на работе, смена власти, исторические катаклизмы. А теперь все съезжилось до варки варенья

и удачного обмена вязаных носков на муку. Будущее наше действительно отменилось, но привыкнуть к этому трудно. Ведь мы помним, что было иначе. Что могло быть иначе. Хотя знаем, что возврата нет, тот, другой возможный ход времени не оставляет нас в покое.

Нет, время не остановилось, не замерло, не кончилось, оно и впрямь вышло из пазов. Его выдернуло с мясом, и оно пошло вразнос, как та давняя карусель-центрифуга в моем детстве. Я не успела на нее сесть. Прямо у меня перед носом смотритель закрыл цепочкой вход. А двадцать пять счастливых уже пристегивались ремнями к красным облупленным сидениям. Я молча ждала своей очереди, наблюдая за приготовлениями к чуду. Но уже через минуту, когда центрифуга дошла до верхней точки, максимально увеличив амплитуду и развернув седоков под углом в 90 градусов, карусель вдруг заскрежетала и развалилась на две части. С десятиметровой высоты медленно падали окровавленные взрослые и дети, какие-то огромные и уродливые железные детали, матерчатые зонтики, шляпы, сумки, солнечные очки, мороженое в стаканчиках. Металлический грохот заглушался криками и стонами. В сумерках белели оставшиеся навечно открытыми глаза. Прямо на меня спикировал маленький квадратный фольговый пакетик, вывалившийся, вероятно, из сумочки одной из жертв. Я подняла его и в сумерках разглядела надпись розовыми буквами: *osviežovač*. А в соседнем кегельбане монотонный магнитофонный голос продолжал, как ни в чем не бывало, рекламировать дешевый лунапарковый аттракцион: «Можете выхрать аж три сквейеле цени — жвикачки, брадавки, освежовач — живачка, соська, ошвежитель».

— Смотри-ка, Фурия, вон там вдалеке на дороге виднеется человеческая фигурка — это наша Тамара возвращается с рынка. — Больше никому. Здесь, в глуши, и нет никого больше на многие десятки километров. И страны, в которой мы жили, давно нет. А вот люди кое-где остались, и даже новые приехали, как мы. Тамара выглядит уставшей. Она тащит мешок с продуктами и всякими нужными вещами, что можно пока еще выменять на ярмарке. Я всегда боюсь, что она надорвется, упадет и погибнет где-то на дороге без помощи. Ее ведь никто не найдет. Но я не говорю ей об этом, чтобы не напугать. — Фурия, иди, встреть Тамару, лизни ей руку, покажи ей, что мы ее любим.

— Тома, ты антибиотик достала?

— Нет. Только парацетамол. Он почти просроченный. Но еще месяц действует.

На ярмарке, куда Тома носит наши фрукты, овощи, цветы, носки и свитера, не продают антибиотиков. Только самые элементарные лекарства, что продолжают делать на местной фабрике, да и то сырье скоро кончится и даже этих простых фармакологических даров будет не достать.

— Парацетамол не поможет. А травы, ты нашла травы?

Тамара только кивает со вздохом. Потом молча машет рукой. Конечно, травы тут вряд ли помогут, но мы обе не можем дать Нику просто так умереть.

— Девочки, давайте сядем на веранде, будем помешивать варенье, пить чай и тихо беседовать. Знаю, Фурия, ты не говоришь на нашем языке. Но ты можешь вздохнуть и иногда класть свою большую голову нам на колени. Ты так проникновенно это делаешь. И заглядываешь грустными глазами прямо в душу.

— У Ника скорее всего аппендицит. Что будем делать? Он так долго не протянет.

— Ты же сказала, что утром ему было вроде лучше?

— Ну как лучше. Он лежит уже несколько дней, не шевелясь, с холодным пузырьком на животе. Я ему только даю пить всякие отвары, никакой твердой еды. Но понимаешь, все же чеснок, кора граната и сок алоэ не могут вылечить аппендицит. У него держится температура. Нужен антибиотик. А лучше всего хирург и операционная.

— Но как мы доставим его в больницу за шестьсот километров? На чем? Слушай, ну раньше же лечили людей без операции.

— Не в его случае. Да и антибиотиков нет.

— Нам бы узнать, какие еще травы помогают. Мы б с тобой пошли и нарвали. У Ника сильный организм. Он справится.

— У кого мы узнаем о травах? Никого вокруг не осталось, ты же знаешь.

— На ярмарке две недели назад была одна травница. Очень старая. Даже удивительно, что еще жива. Может, попробуем узнать, где она живет?

Тома очень устала, она зевает и засыпая прямо здесь, на веранде, с головой укрывается старым пледом. Странно, что тело ее под пледом почти не заметно. Она умеет как-то съеживаться и уменьшаться в размерах на нашем старом зеленом топчане.

— Давай-ка завтра этим займемся. Подарим ей банку варенья из жерделей и попросим вылечить нашего Ника, — говорю я в пустоту, понимая, что Тома уже давно спит и меня не слышит.

— Ох, как-то мне трудно дышать и что-то щемит в груди, не могу ни вдохнуть, ни выдохнуть. Фурия, подойди ко мне, старушка!

Но вместо этого собака с трудом поднимается на ноги и спешит, как может, к каменной лестнице на второй этаж, туда, где лежит Ник.

— Да, Фурия, умница, давай, пойдем вместе, надо проверить, как он там.

Сгорбленная усохшая фигурка мелко дрожит и с трудом поднимается за собакой вверх, чтобы окинуть взглядом залитую солнцем уютную комнатку.

Нетронутая, свежезастеленная постель пуста. А книга о вымирающих видах на тумбочке рядом с кроватью покрыта толстым слоем пыли.

— Фурия, где ты, собака? Ты что, убежала во двор? Мне за тобой не поспеть.

А снаружи яркая осень сменилась холодным предзимьем. Из рта идет пар, и узловатые артритные пальцы не слушаются хозяйку. На верхушке старого корявого дерева висит последняя хурма-королек, уже схваченная морозцем. Ее сосредоточенно клюет какая-то розовато-серая птица с рыжим хохолком. Свиристель, предвестник скорых бедствий. Дощатая конура пуста, а сквозь дыру в ржавой миске пробивается жухлая трава. Между хурмой и мандариновым деревом — три аккуратных, неприметных холмика, чуть возвышающихся над землей.

— Дорогие мои, вот только доварю варенье из жерделей и присоединюсь к вам. Уже недолго осталось.

№ 3, 2021 г.

Андрей Белевский

НЕКОТОРЫЕ ЭПИЗОДЫ
ИЗ ЖИЗНИ ИИСУСА

(Записаны неканоническими свидетелями)

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ

Эта рукопись была найдена случайно одним любителем древностей. В 60-х годах XX века в Москве прокладывали улицу Новый Арбат, то есть Калининский проспект, как его тогда называли, снося старые кварталы, пролежавшие от Кремля до Садового кольца. Рукопись находилась на чердаке одного из домов и помещалась в кожаной папке с солидной массивной застежкой, что и привлекло внимание следопыта.

На первой странице рукописи был заголовок: «Некоторые эпизоды из жизни Иисуса (записаны неканоническими свидетелями). С прологом и эпилогом от автора перевода». И ниже: «Перевод с арамейского». Имен самого автора текста, а также переводчика не было.

Приблизительная датировка создания перевода (или, по крайней мере, написания текста перевода) понятна. Орфография послереформенная, а само письмо выполнено металлическим пером, окунаемым в чернила. Известно и время строительства Нового Арбата, что позволяет установить временной промежуток появления этой рукописи — между двадцатыми и пятидесятыми годами XX века, с допущениями, конечно. Это подтверждается и стилем языка перевода, а также стилем стихотворных вставок, которые, как упомянул сам переводчик, принадлежат ему. Впрочем, о документальности или даже правдивости историй, изложенных в рукописи, мы не можем ничего сказать. Роль пишущего эти строки сведена к аккуратному перепечатыванию иногда крайне плохо разбираемого текста, раскладыванию страниц по порядку и отправлению в редакцию.

Федор Екель (F. Jaeckel)
Freelancer (вольный копеечник)

ПРОЛОГ

Ты слышишь,
как разбиваются сердца наши о тех,
кого мы любим

Ты слышишь,
как громко и пронзительно звучат наши голоса,
ведомые только нам

Ты слышишь,
как разрываем мы души на части,
желая покоя и не находя его

Ты слышишь...

лист зашумел,
солнечный луч упал на землю,
дождь прошел стороной

Ты слышишь,
как рождаемся мы в муках и умираем в печали,
как земли наши стонут от страданий
и движется то, что мы называем жизнью,
а ты — как называешь это ты?

Ты слышишь...

Ветер кажется тобой,
ночь говорит твоими словами,
все вокруг жизнь, данная тобой,

Но тебе — все равно

Ты слышишь...

• • •

— Ты на вино-то не налегай особо.

— Учить меня будешь.

— И мать Его, и братья здесь, а ты — стакан за стаканом. Постыдись.

— Пошел ты...

— Смотри, смотри — распорядитель.

— Что говорит?

— Вина нет больше.

— Как нет? На свадьбе в Кане чтобы вина не было?

— Тихо, тихо, не буянь.

— Руки убери! Распорядитель!

— Виноват, вино закончилось. Сколько заказывал жених, столько и привезли.

— Чтоооо!!

— Сядь. Смотри — вся свадьба гудеть начинает... Сейчас драка начнется. Видишь — распорядители побежали солдат звать. Придут — мало не покажется. Сходи, дева, посмотри, что там Он делает. Тебя ни пьяные, ни солдаты не тронут.

— Схожу. А ты ложись, поспи, чтобы хмель выветрился.

— Слушаюсь.

— Что-то шум усиливается. Просыпайся, давай-ка отсюда убираться, пока целы.

— Не...

— Какое не! Смотри — крики! Народ орет, гляди — все бегут к кувшинам, там где вино было!

— А вот вино, вино, не волнуйтесь, гости дорогие, всего в достатке! Не волнуйтесь, ешьте и пейте!

— Налей-ка.

— Лучшее из лучших!

— Действительно. Вино замечательное.

— Любезный — почему вино в конце пира такое хорошее? Обычно наоборот...

— Ох, не знаю, что и сказать. Вы пейте, пейте.

— Пришла? Долго тебя не было. Ну, рассказывай.

— Нечего рассказывать.

— Ты не особенно-то гордись. Все мы ученики Его. Попроще, попроще. Рассказывай.

— Хорошо. Подошла. Вокруг народ буяннить стал. Вино закончилось, а веселье только началось. Они кого-то бить собрались. Крики, все такое. Он рядом с матерью сидел, что-то на песке чертил, и как будто не слышал и не видел ничего вокруг. Вдруг сандалия рядом с ним упала. Он как очнулся. Смотрит вокруг и говорит матери — что с ними. А она — вина у них, мол, нет. Кончилось. Мало припасли. А Он и говорит — вином жажду духовную не утолишь. И добавил — но час еще не пришел. Вздохнул так глубоко и подозвал распорядителя. Что-то ему сказал — я не слышала. Короче говоря, емкости для вина наполнили водой. А когда в них заглянули — там вино оказалось. Стали разливать — а оно лучше прежнего. Всё.

— Да. То есть... Да. Где Он сегодня вечернюю трапезу совершает?

— Есть тут один дом. Местный фарисей пригласил.

— Спроси — можем прийти?

— Уже спросила — Он ждет и с хозяином договорился.

— А мать, братья?

— Когда вся эта с вином история была, Он и сказал — что, женщина, тебе до меня? Единый Отец мой в небесах, ему и повинуюсь. Так что не будет там ни матери, ни братьев.

— Что же ему мы?

— Кто знает. Он выбрал нас, водит за собой. Мы оставили все, что нам дорого, все, к чему привыкли. Остальное покажет время.

• • •

— Кто там? А, это ты. Входи. Закрой дверь.

— Здравствовать господину!

— Ладно, ладно. Садись. Рассказывай, что там произошло. Да не врать мне!

— Как можно, господин, как можно!

— Короче.

— Как вами и было велено, я пошел вместе с толпой, идущей Его слушать. Народу было тьма — не сосчитать. Там небольшое возвышение — Он на него сел. Рядом те, кто с ним. Начал говорить, все

затихли. И вот, господин, что странно — говорил обычным голосом, не кричал, а все было слышно до самого дальнего края.

— Врешь.

— Как будет угодно господину.

— Ладно. А про что говорил-то?

— Как всегда — про справедливость, что царствие небесное, про заповеди, про то, что человек есть суть божественное начало, что... Ну, как всегда, я вам докладывал. Одно сказал, чего не было раньше, — новая церковь идет на смену старой, и много крови прольется, и что не мир его слова несут, но... войну, что ли, или разруху, или... не запомнил точно

— Как-как? Погоди, запишу.

— Так я же вам отчет на пергаменте дам — там все будет.

— А, ладно. Дальше.

— Как господин просил, сел я совсем недалеко от них — ну, в смысле, от Него и от его, как Он называет, учеников. Жара страшная, а Он говорит, как будто в нем силы невиданные — на такой жаре, столько времени...

— Сколько?

— Часа четыре.

— А народ?

— Не шелохнется. Как вкопанные. Правда, к концу, как солнце начало садиться, некоторые начали падать. Но не насмерть.

— Отравили?

— Нет, нет, господин. Жарко, очень жарко, вода есть, а еды нет совсем. Тут ученики его побежали к ослабевшим, возвращаются и говорят: силы потеряли — слушали, забыли про еду, вот и результат.

— А ты откуда знаешь?

— Так я рядом с ними сидел! Потихоньку, потихоньку — и втерся к ним поближе. Так что я и Его, и остальных Его учеников видел и слышал очень хорошо.

— А скажи... Столько дел, что из комнаты не выйдешь, и так месяцами... Конура... Ну-ка быстро мне опиши, каков Он — хочу сравнить с другими свидетельствами. Может, ты врешь, что там был!

— Вели бить меня плетью, господин, если я вру! Вели пытаться меня! Вели меня бросить львам в крепостном рву на съедение, если хоть каплю приврал!

— Хватит блажить. Говори.

— Слушаюсь. Ничего особенного нет. Нет, не могу что-то сказать. Один из многих. Пока говорить не начнет.

— Понятно, что дальше?

— Он и говорит — они устали, им надо есть. Кто-то отвечает — пусть идут домой, и кричит им всем — идите домой! А они — хотим еще слова от Него, слова Его как манна, пусть еще говорит! Тогда Он зовет своих учеников и велит им накормить народ. Тут они стали возмущаться — сколько денег потратить надо, сколько их тут дармоедов, чем милостыню просить тут, пошли бы домой, да и у нас денег нет, и еды, вот пять хлебов и рыбу мальчик притащил — в дар Тебе, Учитель. Тут Он и говорит, кто верит в меня, кто верит в то, что все сидящие предо мной буду сыты? Тут его спутники довольно-таки смешались. Только дева припала к его ногам и говорит — верую, Учитель.

— Кто? Дева?

— Да, господин. Она.

— Дальше.

— Дальше что... Дальше все просто. Велел поставить перед собою две корзины, в одну положили хлеб, в другую — рыбу. Он накрыл голову платком, посидел так, потом платок откинул и говорит — возьмите хлеб и рыбу и дайте сидящим предо мною. Ученики посмотрели на Него... я бы сказал, так смотрят на бесноватых, но ни слова не промолвили и разломали хлебы, дали, кто ближе сидел, и одну рыбу им же. Потом подходят к Учителю и говорят: что дальше. А Он — малoverы, раскройте глаза. Они сначала не поняли, а как посмотрели на корзины — и обомлели. Одна полна хлеба, другая — рыбы, хлеб еще теплый, а рыба только из печи, так еще и посыпана крупной солью.... Ученики-то раздают, раздают, возвращаются, а корзины опять полные. В общем, всех накормили и еще домой много кусков дали.

— И чем все закончилось?

— После этого дела Он уже не проповедовал. Думаю, решил, что это кормление лучше проповеди. Так и дева рядом с Ним сказала — Ты, мол, свет мира, но они жаждут чудес и только в них верят. А Он и отвечает — что ж. Будет им чудо. А потом и спрашивает деву — что там, в Иерусалиме? А она — слухи о Тебе ходят, вроде ждут Тебя как царя нового. А Он — это они зря. Царствие есть толь-

ко небесное. Но как им это сказать? Или показать? Отец мой своей волей велит мне это совершить. И умолк. А она прижалась к Его плечу и говорит — хватит на сегодня.

— А остальные, ну, ученики?

— Те, которые раздавали, подошли, встали на колени и говорят — веруем, веруем, прости нас. А Он — может, мне умереть в мучениях, чтобы вы поверили? Тут подошли солдаты, стали разгонять толпу, и я ушел.

— Вот тебе деньги. Все напиши, что сказал и что не сказал. Никому ничего не говори, иначе умрешь. Иди. Как бы тут не ошибиться... Царствие небесное, оно.... Душно в подвале, душно.

• • •

— Лазарь! Лазарь! Иди обедать! Вот твои любимые лепешки, и вино, и фрукты...

— Напрасный труд. Он не придет.

— Знаю без тебя. Не даешь мне надеяться.

— Когда Он пришел и свершилось это — как мы радовались!

— Я тогда чуть сама не померла со страху. Он говорит «выходи» — а у меня в глазах все так и потемнело. Виданое ли дело — мертвец на четвертый день из гроба выходит...

— А шел-то еле-еле. Весь в пелены завернутый, лицо платком закрыто. Ужас, ужас...

— Что говоришь — ужас. Счастье Он нам принес, снова Лазарь с нами.

— С нами, да. Только думаю, что для него... Он ведь был уже в тех местах горних, сама понимаешь, зачем мы ему теперь. Ты на него посмотри — лежит, не встает, пищу не принимает. Глаза такие, что рыдать хочется.

— Когда он сидел вместе с нами и с Ним на ужине, я все смотрела на него. Знаешь, мне казалось... В общем, не вернулся Лазарь наш оттуда.

— И то. Когда потом-то мы спать его уложили, я зашла к нему погасить свечу. Смотрю — лежит с открытыми глазами. Я ему — Лазарь, Лазарь? А он — он только одно слово сказал — «зачем?» — повернулся к стене.

— Дай-ка присяду. Уж не слишком ли большую цену заплатил брат за...

— Что ты, что ты, как можно! Такое чудо Он сотворил, такую силу божественную нам показал! Теперь все уверуют в него!

— Ладно. Что сделано, то сделано. Давай убирать со стола.

— Стой, погоди... Не Лазарь ли?

— Помогите встать.

— Бросай все, бежим к нему!

— Лазарь, Лазарь, вот радость!

— Усаживай его, усаживай.

— Как ты себя чувствуешь?

— Дайте есть.

— Тебе нельзя сразу много. Вот это и вот это пока съешь и вина малость выпей. А то иначе худо будет.

— Где Он?

— Так ушел на следующий день после твоего... После ужина.

— Говорил что-нибудь?

— Да нет, ничего особенного. Перед уходом зашел в твою комнату, посмотрел на тебя, попрощался, и они ушли.

— Кто они?

— Ну, Он и кто с ним ходит обычно... Ученики его.

— Подожди, это не все еще. Ты-то осталась в доме, а я вышла Его проводить. Там было много людей, которые подходили к нему и говорили — веруем, веруем в Тебя, Ты Мессия, Сын Божий. А Он поднял руки и говорит — Отче, благодарю тебя, что услышал меня. Я сделал это, чтобы они поверили.

— Помогите мне умыться. Теперь мне нужны силы. Будете мне служить, пока не окрепну. А потом Он укажет мне путь.

— Лазарь, да ты совсем слаб, какой путь!

— Славу Его надо множить, чтобы весь мир уверовал в Него. Чудо, со мною случившееся, должно служить Ему. Вовеки Он будет светить миру. А мы будем этот свет нести во все пределы.

— Лазарь, ты никогда так не говорил.

— Тебе надо отдохнуть.

— Отведите меня в мою комнату. Мне надо помолиться. Не до отдыха теперь.

— Брат наш как переменялся!

— Да, совсем другой. Только имя и осталось.

- Велик Он. Велик его путь. Свет земли, правда мира.
- И то верно. Только прежнего Лазаря нам будет не хватать.
- Глупа ты. Он мир меняет, а Лазарь наш ему помощь. Великая история!
- Ну да, ну да.

• • •

- Ну что? Пришли, что ли?
- Куда идем, куда идем...
- Целый день за ним ходим, как на поводке.
- Не хочешь — не ходи.
- Почему не хочу — хочу. Знать бы, куда и зачем.
- Жарко, пить хочется. И есть.
- Потерпишь.
- А Он-то где?
- Ну как где — пошел на очередную гору.
- Так сад же? Где гору-то тут найти?
- Он найдет.
- Вы бы лучше об ужине позаботились — вечер уже.
- Ты, дева, что-то раскомандовалась. Ну и что, что ты рядом с ним возлежишь, когда трапеза? Может, ты и на ночь с ним останешься? Скажи — мы пойдем.
- Заткнись сейчас же. А нет — так иди на все четыре стороны. А ты, дева, потише веди себя, не забывайся.
- Я-то не забываюсь. Вы-то все не забыли, с кем и для чего ходите? Где Он сейчас — кто может сказать?
- Вон туда пошел.
- Велел за ним не ходить.
- Вы двое — сходите-ка, посмотрите, где Он, что и как. Вокруг народ разный шатается, да еще шпионы, соглядатаи, пьяные солдаты... Идите и приглядите за ним.
- Позволь, и я схожу.
- Нет, дева, ты останешься здесь. Не дело женщинам по кустам ползать. Они все сделают.
- Не хочешь меня понять...

— Да хочу, хочу, успокойся. И тут дел много — вот сейчас рыбу принесут, приготовь-ка всем поесть.

— Приготовлю.

— Трудные времена нас ждут.

— С чего это ты?

— Что ж, думаешь, Он пошел сейчас наверх просто так? Знает наперед, что будет. Трудно ему, один Он.

— Как же один — вон нас сколько.

— Ну да, и оружие есть, и сколько народу сегодня собралось его послушать.

— Народ разбежится, да и мы не крепки больно.

— Ты это про себя, дева?

— Нет, про тебя.

— Ах ты...

— Сидеть! Убери нож! Еще не хватало, чтобы мы перессорились!

— А я уйду вообще. Неинтересны ни вы мне, ни Он.

— Катись.

— Ну вот, первый ушел.

— Он нас продаст.

— Без сомнения.

— Темнеет, пора возвращаться.

— А вот и наши разведчики. Ну что?

— Стоит на коленях на камне, просит не давать ему какую-то чашу.

— И все?

— И все. Все время повторяет, пронеси да пронеси чашу. А потом руки поднимает вверх и говорит так громко — твоя воля! Почти кричит. Потом заметил нас и говорит — уходите, мол, идите вниз, в дом, пусть дева готовит ужин, зажжет побольше свечей, вина поставит побольше.

— Все. Собираемся. Пошли.

— Я дождусь его тут.

— Нет, дева, сейчас ему не нужен никто. Даже ты, как тебе ни будет обидно это слышать.

— Все ты хочешь мне неприятное что-нибудь сказать. Ладно. Сделаем, как Он просит. Что-то нехорошо мне на душе.

— Мне тоже.

• • •

— Какой ужасный день...

— Да, перенести это тяжело.

— Но мы-то вот сидим, перенесли...

— Тьма египетская. Страшно.

— Пойди посмотри, хорошо ли закрыта дверь. И принеси масла для лампы.

— Надо бы поесть.

— Только о еде и думаешь. Едва Его похоронили, а ты все о своем.

— Принес масло? Долей. Вот, посветлее.

— Что же теперь с нами будет?

— Боишься?

— Боюсь. С Ним ничего не было страшно, хоть и ругали нас, и бить даже пробовали — помнишь, там, у ворот. Но как только Он скажет что-то или даже посмотрит — все становились смиренными, тихими такими, даже фарисеи не знали, что ответить.

— Что фарисеи — других надо опасаться. Да и римлян тоже.

— Плохо нам будет без Него.

— Он многому нас научил.

— А мы вот что. Будем ходить к Его гробу, сделаем украшения, соберем денег — золотом камень покроем, чтобы все помнили, что был, мол, такой замечательный Человек, который хотел, чтобы всем было счастье.

— Денег нет.

— Будут.

— Точно. И будем именем Его говорить с людьми, и дело Его продолжим, и жить, как Он...

— Рыбку бы.

— Тьфу ты, надоел.

— Ты, дева, домой сейчас пойдешь, ужин там, все такое, а у меня дыра в кармане вместо денег.

— Ладно, все-таки Пасха, действительно, надо поесть и вина выпить.

— Отменяется. Пока не уберем тело, как надо, — никакого вина. Пойдем, обработаем маслами и благовониями, как положено, тогда и будем...

— Кто там стучит? А, это ты. Отопри ему. Дверь закрывай, если уж вошел.

- Там какие-то огни у гроба, люди ходят.
- Мало ли кто в тех местах ходит.
- Ночью-то?
- Завтра посмотрим. Расходиться пора. Ты, вечно голодный, завтра глянь, все ли там в порядке.

(На следующее утро)

- Все в сборе? Ну, кого нет, того нет. Давайте, братья, совершим молитву. Кто там? Ты чего так запыхался? Случилось что?
- Гроб открыт, Его там нет, пелена валяются!
- Что?
- Что?
- Не может быть!
- Может. Они хотят, чтобы памяти о Нем совсем не осталось.
- Они боятся, что римляне...
- Римлянам на это наплевать. Наши боятся, страшатся соперника, даже мертвого.
- Что же теперь делать?
- Не знаю.
- Я знаю. Разве память о Нем не будет нас укреплять? Разве слова Его и уроки Его не будут звучать в наших головах? Что плачете? Неужто мы маловеры?
- Мы не маловеры, и Он будет в наших сердцах вечно. Но это мы, это наши сердца. Сколько нас? Десять? Одиннадцать? Через пару лет все забудут, что был такой Человек. Ни могилы, ни памяти, а потом и нас нет. Тогда для чего все это было? Нельзя, чтобы эта история прошла впустую.
- Одни Его муки чего стоят.
- Вечная память и вечное поклонение. И уроки Его мы должны другим рассказывать.
- Ты же знаешь, как у нас относятся к памяти. Есть гроб — есть память, ходят, лампу зажигают, вспоминают. Некуда ходить — нету памяти.
- Нам конец.
- Так ведь сколько народу слушали Его и у озера, и когда их кормили, и на горе...

— Э-э, слава мира быстро проходит. Сначала кричали одно, потом — другое. Ты же помнишь.

— Да. Сейчас расходимся. Завтра. Все завтра. Ты, дева, прибери посуду, вымой стол. Или только Ему прислуживать гораздо была?

— Что это ты? Не надо меня обижать. Все сделаю. Прилег бы, устал ведь, вот, не спал всю ночь.

— Откуда знаешь?

— Масла в лампе совсем нет, а наливали вечером.

— Полежу.

— Послушай, нельзя, чтобы Он был забыт. И Он, и Его уроки. Они же — вечные истины. Что я тебе-то говорю, ты лучше других знаешь. Его слова мир перевернут, не сразу, не вдруг, может, сотни лет пройдут. Но для этого про Его уроки надо рассказывать, и о Нем самом, и о Его жизни и смерти. И надо, чтобы было место, куда приходить и вспоминать Его. А тут — гроб разорен, тело исчезло...

— Сделаем так. Завтра соберешь женщин. Возьмете все, что надо и пойдете к гробу. Когда увидите отодвинутый камень, все запричитают, а ты не позволишь им входить, скажешь — я сама, не смейте. Войдешь, побудешь там чуть и выбежишь с криками: воскрес! воскрес! Дальше. Пойдешь в город, а женщин оставишь — пусть делают, что хотят. Иди сюда, по пути крича направо и налево: воскрес! воскрес! Я соберу наших. Ты им скажешь, что тела нет, а видела ангела, который сказал, что Он воскрес, а потом этот ангел у тебя на глазах исчез. Ты — самая близкая Ему. Тебе не посмеют не поверить. Что? Не хочешь?

— Ты никогда меня не понимал. Пойду, все приготовлю. Как просто начинается вечность. Холодно. Дай накидку.

ЭПИЛОГ

Понадежней закрою ли двери,
Поплотнее задвину ли ставни...
Эти люди, скорей — эти звери
Совершили свой замысел давний.

Отчего же так жить им охота
В темноте и не ведая света?

Что за мерзкая эта работа —
Свет гасить, лишь забрезжит он где-то.

Он был лампой во тьме, Он был светом.
Воскресение — скажешь ли, Сущий?
Для меня воскресение — это
Дух Его, в моем сердце живущий.

Я теперь не могу собой править,
Я слуга Его света отныне,
От греха мне народ не избавить,
Но хоть злость в нем чуть-чуть поостынет.

Догорает свеча. Шум стихает.
Завтра будет все так, как и прежде.
Мытарь молится, прачка стирает.
Мир живет воскресеньем надежды.

№ 3, 2022 г.

М и л а Б о р н

МУСОРНЫЙ ВЕТЕР

От Киевского вокзала сразу поехал по адресу. Отмахал половину кольцевой, вышел из метро где-то в районе старых московских улиц, сверился с бумажкой. Помнил, помнил он еще этот город, но совсем уже плохо. Все-таки сколько лет прошло. На третьем перекрестке запутался, стал вылавливать из пустоты полуденной улицы прохожих. Остановился мальчик, рукой показал, что нужно идти прямо, потом дважды завернуть, и нужный адрес отыщется.

Так он и сделал. Адресом оказался старый, с двумя каштанами, двор, закрытый со всех четырех сторон. В него, как в муравейник, вела огромная, на два этажа арка, перегороженная металлическим забором, сваренным кустарно. Чтобы его преодолеть, надо было нажать на кнопку. Он нажал. Почти сразу ответил молодой женский голос. Он, прокашлявшись, крикнул в решетчатый динамик:

— Я от Вити.

Повисла неловкая пауза.

— От кого?

Он повторил. Голос, помешкав, ответил:

— Ладно. Заходите.

Металлическая дверь щелкнула, открылась. Он вошел. Следом прошмыгнул какой-то сухонький дед с соломенной сумкой, из которой выглядывала голова капустного кочана. Посторонившись, он пропустил деда. Потом и сам пошел к единственному подъезду.

Квартира была на пятом этаже. Обогнув по спирали старый фанерный лифт, он остановился возле мокрого коврика и позвонил в дверь. Послышались легкие, шуршащие по полу шаги. Ключ заерзал в замке. И в дверном проеме показалась хрупкая, невысокого роста девушка — с прямой, как у школьницы, челкой, в коротком и легкомысленном шелковом халате. На груди шелк вызывающе топорщился двумя острыми клювами. Он смутился.

— Простите...

Протянул, как доказательство, бумажку с записанным адресом.

— Вера — это вы? Тут все правильно?

Она с удивлением посмотрела на бумажку, потом на него и осторожно кивнула. Загородившись, скрестила руки на груди.

— Так вы, правда, от него?

— Правда.

Она переступила с ноги на ногу. Беспомощно повертела головой. Прислушалась к звукам в подъезде. Заговорила быстро и нервно:

— Ну и как?

— Что — как?

— Как он там вообще?

В ответ он пожал плечами. Тоже оглянулся, осмотрел лестничную площадку. Вроде никого не было.

— А можно я к вам зайду?

Она секунду помедлила. Бросила на него недоверчивый взгляд, но тут же спохватилась:

— Зайдите. Чего уж.

И отступила вбок, словно сдавая какие-то невидимые позиции.

Он шагнул в квартиру, прикрыл за собой дверь. В темноте прихожей снял с плеча надоевший рюкзак, стал его расстегивать. Вера, не расцепляя рук на груди, с подозрением следила за ним. Он присел на корточки, вывалил из рюкзака и стал складывать на пол какую-то одежду, термос, небрежно скомканный дождевик и, наконец, небольшую, размером с ладонь, сильно потертую коробку — то ли контейнер для еды, то ли какой-то медицинский бикс для стерилизации шприцов. На мгновение задержал в руках, а потом решительно протянул Вере.

Она стрельнула глазами из-под прямой челки, коротко улыбнулась и с любопытством вытянула вперед свою голую шею.

— От него?

— Да, — сказал он, не сводя с нее взгляда.

Она протянула руку и взяла коробку. Слегка потрясла. Снова уставилась вопросительно на гостя. Он поднялся и, как будто припоминая что-то важное, похлопал себя по нагрудным карманам, вытащил вдвое сложенный запечатанный конверт. Она опять улыбнулась.

— Тоже мне?

— Вам.

Взяла конверт. Замешкалась: вскрыть сейчас или потом. Он ее понял.

— Да вы потом можете прочитать.

Она затараторила снова:

— Так вы скажете? Ну хотя бы в общем. Как он там? Все ведь у него хорошо?

Он кивнул на письмо.

— Да там все написано.

Она пожалала плечами, не понимая, почему не клеится разговор.

— Ну, пожалуй, все, — шумно выдохнул он. — Я свое дело сделал.

— Дело?

Она напряглась, поднялась на цыпочки, как будто собираясь что-то еще ему сказать. Но тут настойчиво затренькал дверной звонок. Они цепко переглянулись.

— Что, открыть?

Вера кивнула и суетливо отложила на обувную полку и принесенную коробку, и конверт. Он послушно потянул на себя дверь, открыл и увидел стоящего на пороге высокого бородача в гавайке. Обе его руки были заняты сетками с арбузами. Мельком взглянул на гостя, потом на Веру, по-хозяйски шагнул в прихожую и протянул ей обе сетки. Заторопил.

— Давай, Верунчик, давай, они уже поднимаются!

Она как-то по-детски взвизгнула:

— Ой, а я же в халате еще!

— Ну так беги, одевайся!

Бородач снова посмотрел на непрошеного гостя, слегка потеснил его, стаскивая с себя кроссовки.

— А я, представляешь, Вер, их всех на лифте опередил.

Он негромко хохотнул и затопал вглубь квартиры. Вера, перехватив у него обе сетки, побежала следом.

Оставшись один, гость вышел. Захлопнул за собой дверь. Поставил в подъезде. Посмотрел вниз через лестничные пролеты. По винтовой лестнице двигалась гудящая, перекатывающаяся хохотом толпа. Он посторонился, пропуская их всех. Медленно начал спускаться.

Во дворе было гулко от детских голосов, дребезжания чьей-то посуды, звонящего телефона. Он сел на скамейку, откинулся назад и раскинул руки в разные стороны. Запрокинул голову, попробовал

угадать, где находятся Верины окна. И вдруг услышал, как откуда-то сверху затрещала, заухала музыка. Кто-то перевалился через перила балкона, высунулся во двор, но его тут же утащили. И снова — музыка, хохот. Он посидел, будто размышляя о чем-то трудном. Потом резко встал и пошел обратно в подъезд. Рванул на себя дверь. Побежал вверх по лестнице. И уже там, на пятом этаже, остановился перед мокрым ковриком. Вдавил дрожащей рукой кнопку дверного звонка. Прислушался, сдерживая дыхание. Там снова послышались шаги, но на этот раз другие. Щелкнул замок. Дверь открылась. На пороге стоял удивленный его возвращением бородач. В руке он держал большой кусок свежерезанного, сочного арбуза. Гость, отодвинув его в темноту прихожей, сделал несколько решительных шагов в квартиру, схватил с обувной полки и конверт, и коробку, торопливо запихал все это в свой рюкзак и вышел.

Второй адрес был ему знаком. Правда, ехать туда пришлось сначала по вытянувшейся, как кишка, ветке метро, потом дожидаться автобуса от Выхино. Пятиэтажные шлакоблоки какой-то неведомой силой держались еще посреди пустыря, который — было уже очевидно — готовили под строительство. Сада с дикими яблоками и вишнями, который когда-то окружал заводские дома, уже не существовало. От скамеек возле подъездов остались только намертво врытые бетонные столбы и урны-пингвины. Он вошел в дом, и его сразу обдало запахом помоев, курева и кошачьей мочи. Перехватывая на ходу шаткие, высохшие перила, он поднялся на третий этаж, неуверенно потоптался, сомневаясь еще в своей памяти, постоял на площадке между четырьмя замызганными дверьми и шагнул к самой дальней с номером 23. Сунул руку в рюкзак, проверил, на месте ли коробка и письмо. На месте. Позвонил в дверь. Тишина. Помешкал. Повторил. Может, звонок не работает? Поднял руку, сжал в кулак и вежливо постучал. Ответа не было. Подождал еще. Постучал сильнее. Опять тишина. Тогда решил постучать ногой. Хлипкую, фанерную дверь затрясло. Из глубины квартиры, разбуженный, истошно заверещал грудной ребенок. Кто-то побежал из комнаты в комнату. Женщина горестно выдохнула:

— Господи! Да кто ж там опять?

И через минуту перед ним вырос здоровенный мужик в трусах.

— Тебе чего тут?

— Я от Вити.

Мужик сплюнул прямо ему под ноги.

— Тьфу, б..! Из оперы «Вас не ждали».

Гость нервно потер щеку. Начал заново.

— Елена Ивановна ведь тут проживает?

Мужик выпятил губу, смерил гостя тяжелым взглядом.

— А ты ей кто? Конь в пальто?

Гость торопливо замотал головой.

— Нет-нет, я же сказал, что от Вити!

Из глубины квартиры снова послышался женский голос — уже не такой отчаянный, как вначале, а более тихий. Наверное, успокоила ребенка.

— Гена, кто там, свои?

Гена отмахнулся крепкой, волосатой рукой. Снова уперся взглядом в гостя.

— Да слышал. Я не глухой. Только никакого Вити нам тут не надо. Понял?

— Что, простите?

— А чего мне тебя прощать? — Мужик начал заводиться. — Я тебя знать не знаю. И Витю твоего знать не хочу!

— Но ведь вы же Гена? Кажется, брат?

Гена раздул ноздри, перешагнул дверной проем и толкнул гостя круглым, мясистым животом.

— И что с того? Брат, не брат. Тебе-то что? Все, вагончик уехал, тью-тью. И ты катись следом. Понял?

Гость подвигал скулами, но промолчал. Подождал, пока Гена схлынет. Тот отошел.

— А уроду этому скажи: пока он таскался черт знает где, я за матерью говно выносил. И похоронил ее тоже я.

— Похоронили? — не удержавшись, переспросил гость.

Гена сделал паузу, преодолевая неприязнь к собеседнику. В квартире опять заверещал грудной ребенок.

— Скажи этому говнюку: срок вступления в наследство прошел. Все, тью-тью. Квартира теперь моя. И только моя. Понял?

Тут из-за ноги Гены выскочила маленькая девочка с бледными кудельками на затылке, в трусиках и растянутой, старой маечке. Она с любопытством посмотрела на гостя и почему-то заплакала.

— Папа, папа...

Гена отступил, схватил девочку, как котенка, и с размаху хлопнул дверь. Зазвенели подъездные окна. Из квартиры напротив выглянула осторожная, прелая старушка. Осмотрелась. Прошамкала:

— А вы не из жилконторы будете? Я вас с прошлой субботы жду. А сегодня уже среда...

Он развернулся и побежал по лестнице вниз. Остановился у железного ряда почтовых ящиков, отдышался, успокоился. Потом вынул из рюкзака запечатанный конверт, взвесил его на ладони, еще немного подумал и бросил в ящик с номером 23.

На Павелецком вокзале было не так суетно и не так кучно, как на Киевском. Доехав зачем-то до него, он купил в привокзальном киоске квас в пластиковой бутылке и холодный чебурек. Горячих уже не продавали, потому что было совсем поздно, и хозяин уже раза три хотел киоск закрывать. Присел в зале ожидания, торопливо прожевал чебурек. В метро больше не пускали. Только такси. Но и на такси — куда ехать? Куда он мог еще ехать в этом городе?

Примостившись поближе к батарее, он подложил под бок свой рюкзак и решил немного вздремнуть. Но вокзал все не мог уюмониться, все не спал. И тогда он подумал: может, вокзалы вообще никогда не спят, потому что бесконечен их труд — перевозить людей из одного места в другое, из другого в третье. И в чем только смысл этих перемещений? В чем разница между пунктами А и Б, сидели на трубе, А упало, Б пропало. Черт знает что. Все-таки он так вымотался за этот день в Москве. Хотя и не только за этот, а вообще. Так устал, так надорвался, что не хотелось больше вообще никуда, ни к кому. Вот только доделать дело и купить билет. А билет куда? Куда? Да кто его знает? Никуда, в неизвестном направлении. Уехать неизвестно куда. Не в пункт А и не в пункт Б. А куда-то, где нет ничего вообще. Ничего и никого. А там мало-помалу все забыть. И, бог даст, не спиться и не сойти с ума от всего этого. Остаться собой.

Что-то мягкое, теплое навалилось на него, укутало и стало дышать прямо в лицо. Он наконец согрелся и куда-то поплыл. А куда? Далеко-далеко. По большой воде. На красивой лодке. Не один. Он увидел лицо друга, улыбающееся, умытое. На нем тоже не было ни следа усталости, ни следа печали. Они оба, налегая на большие, скрипучие весла, загребали тяжелую, переливающуюся от солнца

воду. И было им так спокойно, так хорошо. Больше никуда не нужно было бежать, ничего не нужно было делать.

Его разбудил внезапный грохот железной тележки, груженной чемоданами, которую толкал перед собой маленький, узкоплечий узбек. Под потолком Павелецкого парил утренний туман. Гурчали просыпающиеся голуби. Шли первые люди из метро. Пахло креозотом, дизельным выхлопом, кофе и общественным туалетом. Два увечных — оба без ног — обживались на своем рабочем месте: обкладывались картонками, чтобы не дуло, разливали по стаканчикам из бутылки. Между их колясками лежала — одна на двоих — широкополая афганка.

Он поднялся, допил из бутылки квас и спустился на эскалаторе к кассам. Почти не задумываясь, купил два билета — туда и обратно. Времени оставалось в обрез. Вышел на перрон. В электричке было совсем пусто. Пригороды утром ломались совсем в другую сторону — на работу. По вагонам носились запахи яблок, абрикосов, поздней вишни, выращенной на продажу в Москву. Он блаженно вытянул ноги и, подставляя волосы залетному ветерку, прикрыл глаза. Езды было часа на полтора. Поэтому добраться у него получалось еще до обеда.

Он вышел на платформу, над которой было крупно написано: Белые Столбы. Перебрался через огромный железнодорожный мост и двинулся в сторону дачного поселка. Шел и не торопился. Все смотрел, смотрел. Здесь почти ничего не изменилось. Казалось, даже деревья и кусты росли в том же месте, что и когда-то прежде. Разве только вместо заброшенной военчасти выстроили какую-то больницу с высоким забором. Он вышел к пруду. Посидел на берегу. Полюбовался на неброскую церковь-новодел. Потом спустился в низину, отыскал ворота лодочной станции, где написано было краской: «Посторонним вход воспрещен». Постучал.

Кроме собаки, к нему не вышел никто. Однако пес так надрылся, что, в конце концов, вынудил притащиться к воротам заспанную, помятую сторожиху.

— Не пустишь, бабушка? Покататься.

Сторожиха по-боевому уперла руки в бока.

— Рехнулся ты, что ли?

— Да я ненадолго.

Она покрутила указательным пальцем у виска.

— Из больницы сбежал? Не видишь? Сезон закрыли. В следующем году теперь приходи.

Он уцепился за ворота.

— Бабушка, а вы меня разве не помните?

Сторожиха прищурилась, напряглась.

— Знаешь, сколько таких, как ты, тут за лето приходит? Прямо глаза рябит. А ты хочешь, чтобы я помнила? — Она покачала головой. — Иди отсюда! А то я не посмотрю на тебя, собаку спущу!

Он подтянулся на воротах повыше.

— А не помните, мы у вас тут бывали? Часто. Плавать приходили, карасей ловить.

Сторожиха смягчилась, но продолжала говорить через забор.

— А чего ж ты теперь один явился?

Он помолчал. Посмотрел на бабку.

— А другие в этот раз не смогли. В следующий раз обязательно приедут.

Она махнула рукой. Но не ушла. Поковыляла к забору, отодвинула на воротах скрипучий засов.

— Ладно, вижу, приспичило тебе сильно. Только хорошую лодку я тебе не дам. Они все уже — вон, на просушке.

Она спустилась к воде и отвязала от короткой гнилой швартовки цепь пластмассового катамарана.

— Такое пойдет?

Он кивнул и тоже стал спускаться к воде. Неуверенно балансируя, ступил ногами на побитую посудину, добрался до середины и, улыбаясь, уселся на место. Сторожиха со знанием дела забросила цепь на катамаран и оттолкнула его от берега.

— Только недолго мне. Понял?

— Как обещал.

Он прилачился обеими ногами на скобы педалей. Неловко, со второго раза развернулся в нужном направлении и сильно, сосредоточенно двинулся вперед. Берег удалялся быстро. Посудина была легкая, игрушечная. Поэтому несла его с необычайной простотой. И когда пристань стало уже почти не видать, он остановился, откинулся на спинку кресла, закинул руки за голову и закрыл глаза.

Было тихо. Было необыкновенно тихо. Так, как он не слышал давно. Все-все здесь казалось неизменным. словно время не двигалось вообще. Он подумал: наверное, где-то под ним все так же,

как и раньше, плавают серебристые караси, поблескивают боками на солнце, все так же прячутся в мягком прохладном иле лягушки, ужи. И все это, наверное, неиссякаемо, вечно. Не так, как во всем остальном мире. Он глубоко вздохнул и открыл глаза. Вода, вроде бы неподвижная, сонная, осторожно бежала, огибая борта его катамарана. Он наклонился и опустил руку в воду, которая была еще теплой, ласковой, летней, золотилась на солнце и струилась через его пальцы. Живая, живая вода. И вдруг он вспомнил такое же теплое, утекающее через его пальцы, густое, вонючее, темно-красное. Вспомнил, как прижимал пальцы к шее своего друга, а он уже хрипел, и теплое из него все толкалось и толкалось наружу, вытекая и впитываясь в землю. От страха он кричал, не зная еще такого о себе. Другие тоже кричали. Они бежали над ним, стреляли и падали, падали и хрипели.

Он поднялся, снял со спины рюкзак и вытащил оттуда коробку. Снова сел, отщелкнул боковые замки, открутил крышку и, наклонившись низко-низко над самой водой, осторожно вытряхнул ее содержимое.

№ 5, 2023 г.

М и х а и л Б а р у

НАПОМИНАЮЩИЕ ЖЕНЩИН

Все черное — и вечернее небо в созвездиях лимонно-желтых и апельсиновых фонарей, и собранные дворниками кучи подтаявшего снега, и покрытый прозрачной коркой льда черный асфальт, и черные голые ветви деревьев, и сами черные голые деревья, на которых еще нет ни зеленой дымки, ни почек, ушедшие в себя, замершие в нерешительности между ушедшей зимой и куда-то запропастившейся весной, напоминающие женщин, которые еще не знают, что беременны.

•

Вроде все как всегда, как и в прошлом, и даже в позапрошлом году, — то же небо опять голубое, тот же парк, тот же воздух, те же набухшие талой водой вены парковых дорожек, сережки на орешнике, огромный трухлявый пенёк в зеленых побегах папоротника, далекий шум электрички, уткнувшийся в свой телефон и шлепающий прямо по лужам мужчина, лужи, битком набитые клочьями облаков, бодро переставляющая палки для скандинавской ходьбы старуха в вязаном берете, одинокий ворон на голой сосновой ветке, девушка, сидящая на скамейке и подставляющая бледное лицо навстречу рою веснушек, с неслышным ультразвуковым жужжанием вылетающему из солнечного луча, чтобы усыпать кому-нибудь нос, или щеки, или руки, или шею, на которой о чем-то пульсирует тонкая голубая жилка... а весна каждый раз новая.

•

Остриженные черные липы выглядят как выздоравливающие после долгой болезни. По газонам важно расхаживают дрозды и

беззаботно скачут зяблики. На свежавыкрашенные скамейки под липами рабочие в оранжевых куртках рассаживают влюбленных. Те еще толком не проснулись после зимы и норовят снова заснуть, как только рабочие отворачиваются, чтобы подстричь какое-нибудь дерево или убрать валяющуюся на дорожке обертку от мороженого. Влюбленные только и умеют, что жмуриться на солнце и на друг дружку. Никак не поймут, куда девать руки, и потому кладут их куда попало — вместо чужого колена или талии могут обхватить собственную голову и раскачиваться, как маятники, пока рабочие или кто-нибудь из гуляющих в парке их не остановят. Потом-то они обвыкнут, станут обниматься, распускать руки, прятать головы на груди друг у друга, вытягивать для поцелуев губы сантиметров на пять, а то и на десять, и целоваться до их посинения, но пока...



Старый пруд. Мимо расцветающих водяных лютиков, мимо острых стеблей сабельника, по облаку, по отражениям ветвей старого дуба, усыпанным облетающими розоватыми цветами черемухи, медленно плывет селезень. С берега ему бросают кусочки булочки две сидящие на скамейке старушки. Одна из старушек, одетая в голубой сарафан, соломенную шляпку и белые кружевные носки, говорит другой, в кроссовках и в клетчатой сумке на колесах:

— Сейчас я уже не откладываю, а просто живу на свою пенсию. Раньше-то, когда мой Толечка был жив и я работала, то откладывала, конечно. Правда, он мне ничего не давал. Ни копейки.

— И куда же все ушло? — спрашивает старушка в кроссовках и в клетчатой сумке на колесах.

— На его б...ей, — отвечает старушка в кружевных носках и тяжело вздыхает. — Всё, до копейки.



Сидишь на старом разохшемся причале, смотришь, как молодое весеннее солнце играет в темной воде, на пушистые ольховые сережки с нежными, как мечты о первом поцелуе, листочками, на

цветки мать-и-мачехи, высыпавшие гурьбой на берег, на изумрудный мох, выросший на старом пне, на молоденький, толщиной с мизинец, сеянец сосны, выросший в корнях у старой березы, на снующие туда и сюда моторки с рыбаками, на дом отдыха на том берегу, слушаешь доносящиеся оттуда веселую музыку и женский округло-жемчужный смех, чувствуешь щекочущий ноздри запах шашлыков, специй и чего-то такого волнующего, чему даже и названия невозможно найти, и думаешь: как же хорошо здесь поздней осенью, где-нибудь в самой середине ноября, когда нет ни дачников, ни туристов, когда вода у берега усыпана опавшими листьями и рыжими сосновыми иголками, когда не слышно ни смеха, ни обрывков разговоров, когда небо затянуто серыми тучами отсюда и до самого Египта или даже до Эфиопии, когда из музыки только мышинный шорох бесконечного дождя, идущего третий день подряд, и жалобное подвывание ветра, когда на душе под легкой и прозрачной осенней грустью лежит и ворочается тяжелая, густая и зеленая, точно крыжовенное варенье, тоска, которую ты добавляешь ложками и в чай, и в водку, и в бесконечные, как осенние ночи, письма, которые непременно писал бы каждый день, если бы было кому.



Небо серое, беспросветное, опустившееся почти до земли. Пруд старый с островом посередине. Наполовину растаявший лед, ноздреватый, серый и желтый, усыпанный обломками сосновых и ольховых веток, шишек и прошлогодними листьями. На берегу, на тропинке, огибающей пруд, окаменело сидят друг на дружке задумчивые спаривающиеся лягушки и ни на кого не обращают никакого внимания. Из-под ног отпрыгивают нехотя и недалеко. Под соснами, на сырой черной земле, зеленеет вездесущая сныть и цветет медуница.

Тянет шашлычным дымом. Возле переносного мангала, на котором готовятся куриные крылья, суетятся двое мужчин. Женщина с пластиковым стаканом пива в руке первый раз после долгой зимы пробует смеяться грудным русалочьим смехом. Получается хорошо, почти как у русалок, когда они переливчато и серебристо смеются, завлекая моряков в пучину опасных связей, вот только

маловато грудного. Может, оттого, что в руке у женщины пиво, а не вино или водка.

Метрах в двадцати от мангала, под старой березой, стоит алюминиевый столик, на котором возвышается большой пасхальный кулич с воткнутой в него наполовину сгоревшей свечкой. Вокруг кулича на маленьких складных стульчиках сидят два совершенно одинаковых мальчика лет шести-семи, девочка постарше и худой, со впалыми щеками, мужчина с пышной шевелюрой — по всей видимости, отец семейства. У детей в руках крашеные яйца. Их мама делает три дела сразу — поджигает свечу, режет кулич и зовет к столу крошечное существо размером с огромную божью коровку юрского периода, в ярко-красной куртке и велосипедном шлеме на пять размеров больше. Божья коровка неумоимо нарезает круги вокруг стола и повизгивает от полноты чувств. В кулачке у нее зажато полураздавленное яйцо.

Ближе к впадающему в пруд ручью, на старой полуразвалившейся садовой скамейке примостились мужчина и беременная женщина. Они попеременно пьют из белой пластиковой бутылки то ли кефир, то ли ряженку и закусывают ватрушками. Женщина думает о том, что хорошо бы не уезжать насовсем, а только на время сбежать в какой-нибудь Египет, к теплому морю, и вернуться, когда все успокоится... а мужчина думает о том, что бог знает когда все успокоится, что в Египет нет никакого смысла бежать. Турция ближе. Можно подумать, что нас там ждут, в этом Египте, не говоря о Турции. Нас даже в Костроме никто не ждет, а уж в Египте... Про Ирода и говорить нечего — он нас всех переживет.

Кефир у них кончается, и начинается дождь — мелкий, холодный и прилипчивый. Мужчина поднимается, помогает встать женщине, берет ее под руку, и они уходят.



По обочинам дороги лежит почерневший и на глазах истаивающий снег. Лес еще пустой — дубы, осины и березы стоят голые, но уже сережки на ольхе, уже цветет небесно-голубая перелеска, уже желтеют среди прошлогодней жухлой травы резные звездочки гусиного лука, темнеют фиолетовые лепестки еще полуоткрытых лесных фиалок и жирно зеленеют листья вездесущего борщевика. Из-под опавшей листвы то тут, то там алеют маленькие, величиной

с вогнутую пятирублевую монету, грибы, называемые ботаниками саркосцифой алой, а людьми обычными, но не лишенными воображения — эльфowymi чашами. Из них пьют цветочный нектар эльфы — те самые, у которых королевой когда-то была Дюймовочка. В наших северных краях эльфы, однако, не живут и даже не прилетают на лето размножаться, и потому эти грибы растут в средней полосе просто так, ни для кого, и пьют из них обычную дождевую воду все, кому охота, — от лесных мышей до лягушат. Называют у нас эльфовы чаши обидно — бабушкиным ухом. Бог знает почему.

Кора со стволов и веток множества деревьев обглодана лосями на большую высоту. Наверное, им приходилось становиться на задние ноги или очень сильно вытягивать губы, чтобы доставать до самых высоких веток. Впрочем, у лосей для этого все приспособлено самой природой — и длинные ноги, и огромные толстые губы, которые можно вытягивать на какую хочешь длину. Подножия обглоданных деревьев густо усеяны лосиным пометом, и нужно быть очень осторожным, чтобы в него не наступить. У одной из обглоданных осин лежат две кучки — одна из них большая и темная, а другая маленькая, состоящая из светлых горошин. Большая осталась от огромной лосихи, объевшей кору со ствола и веток на почти четырехметровую высоту, а маленькая от недавно родившегося лосенка, еще грудничка. Кору он не обглаживал, а стоял и сосал молоко. Деревенский житель обходит такие места стороной, если только не забредет сюда собирать первые сморчки, а для выехавшего на природу горожанина вид этих детских кучек рядом со взрослыми страшно трогателен, и он умиляется им до тех пор, пока не сядет в свою машину, не захлопнет дверь и не выжмет перепачканным ботинком сцепление...*



В молодости, если ты приехал с компанией на берег реки, то нужно непременно что-то делать — ставить мангал, собирать для

* Выйдя в понедельник на работу, он непременно расскажет сослуживцам об увиденном в лесу и даже покажет им сохраненные в телефоне фотографии обглоданных стволов, веток и кучек. Сослуживцы послушают, посмотрят, поумилятся из вежливости вместе с ним минуту-другую и потом будут долго чертыхаться про себя, потому как не смогут все это развидеть дня два, а то и три.

него сухостой, доставать из сумки замаринованные куриные крылья, охлаждать банки с пивом, наливать девушкам в пластиковые стаканы сухое вино, рассказывать им анекдоты, смеяться вместе с ними и вместо них, отгонять от них комаров, чесать им укушенные места... всего не перечислить. Человеку в возрасте куда проще — достаточно поставить складной стул, усесться и смотреть на воду, на сухие стебли рогоза, на лежащую на берегу деревянную лодку с проломленным днищем, на рыбака, у которого не клюет с самого утра, на проплывающую мимо старую галошу, слушать крики чаек, свист ветра, хор одуревших от любви лягушек и самому быть рекой, сухим стеблем рогоза, деревянной лодкой с проломленным днищем, рыбаком, кричащей чайкой, поющей лягушкой, свистящим ветром... Через час или два взглянуть на часы, достать из кармана таблетки, принять их, запить теплой водой из принесенного с собой маленького термоса и снова сидеть, смотреть, слушать и быть, а вечером — вместо того, чтобы ехать провожать девушек черт знает в какую даль, прощаться с ними и не уходить, — прийти домой, лечь спать и проспать беспробудно всю ночь или, по крайней мере, часов до пяти утра, чтобы только потом ворочаться с боку на бок, читать старые журналы или новости в телеграме и ждать, пока окончательно рассветет.



Трудно быть Богом — надо все предусмотреть: и весну, и лес, и заросший травой муравейник, и на нем россыпь цветов, у которых ровно шесть, а не пять или семь нежно-фиолетовых лепестков, а там, где лепестки сходятся, поместить желтый пушистый шар пестика с булабочную головку, а из-под него вырастить тридцать восемь белоснежных тычинок с раздвоенными пыльниками на концах, а к пыльникам пригнать голодного и дрожащего от холода только что проснувшегося шмеля, чтобы он изгваздался в пыльце и перекрестно опылил другие такие же цветы и у них потом выросли бледно-голубые или почти белые лепестки, а сам улетел кормить цветочным нектаром своих голодных шмелиных деток... Как Он все это помнит и не путает — ума не приложу. За что ни возьмись — все можно перепутать: и количество лепестков, и тычинок, и цвет у пестика, и пригнать сонного ничего не соображающего

шмеля именно к этим голубым цветам, а не к тем желтым, и отправить обратно с нектаром в нору, к семье, а не дать его склевать на обратном пути какой-нибудь синице, ласточке или даже курице. Другое дело — безжалостная эволюция, у которой все заранее расчерчено по квадратам: в одном квадрате цветочная пыльца, в другом механизм перекрестного опыления, в третьем шмелиный инстинкт, в четвертом сам шмель, а в пятом курица или синица, которые его склюют. Маленьких шмелей нет ни в каком квадрате, пусть даже и самом маленьком. Они умерли от голода или вовсе не родились и вычеркнуты отовсюду. Тьфу.



Стоишь на берегу огромной лужи, полной до краев талой водой, смотришь на тонкие стволы молодых осин с темными полосами еще не высохшей воды, на прошлогоднюю бурю листву, устилающую дно, на упругие ладошки белокрыльника, упрямо торчащие над поверхностью бликующей воды, переполненной солнцем так, что от взгляда на нее хочется чихнуть, на пронизанные ярко-оранжевыми лучами нежно-зеленые стрелки рогоза, на ярких головастиков, снующих между отражениями этих стрелок, на торчащий из воды серый камень, на котором сидит полусонная бабочка-лимонница и разминает затекшие за зиму крылья, на крошечное, черное, многоногое, без крыльев, упрямо ползущее по наклонной ветке прямо в воду, и думаешь о том, что весной лучше не думать ни о чем, кроме... ни о чем, и все тут. Только мечтать. Думать хорошо осенью, когда ударят первые заморозки, когда ветер будет гонять опавшие осино-вые листья, когда полетит во все стороны пух из разломаченных початков рогоза, когда... Да и тогда лучше ни о чем не думать, потому как поздно будет. Просто постоять минут десять или пятнадцать, покурить, поломать каблуком тонкий ледок, посмотреть из-под приставленной ко лбу ладони на плывущие облака, утереть слезу, выступившую от ветра, и пойти домой укукливаться в толстое верблюжье одеяло, в шерстяные носки ручной вязки, взять на всякий случай с собой пакет сдобных сухарей с изюмом, залезть в самый темный угол чулана или антресолей или даже запереться в платяном шкафу изнутри, чтобы никто не смог тебя случайно найти и вызвать на работу, впасть в оцепенение и зимовать.



Придешь на закате на берег реки, сядешь на складной стул и вместо того, чтобы любоваться белыми, серыми и золотыми облаками, плывущим мимо тебя выводком утят, бледной луной, волнующейся под ветром травой, шумящими камышами, кругами на воде от рыб, хватающих неосторожных комаров и мошек, загорелой купальщицей, медленно шевелящей плавниками в теплой, как парное молоко, воде, голубыми фонарями, зажегшимися на далеком пешеходном мосту, начнешь придумывать, как все это соединить в одно длинное и красивое предложение, по которому снять фильм... но ничего не получится, потому что фильм уже сняли и не один, и тогда начнешь прибавлять к этому пейзажу то крестьянок в сарафанах, водящих хороводы, то плывущую галеру, на которой музыканты в костюмах восемнадцатого века играют «Музыку на воде», то дам в кринолинах, таинственно шуршащих и смеющихся волнующим грудным смехом в прибрежных зарослях, кавалеров в камзолах и белых шелковых чулках, то мужиков, вытаскивающих из воды огромного сома или осетра, полного черной икры, то столик в купальне, уставленный кипящим самоваром, сдобными калачами, сливками к чаю, вареньями разных сортов и бутылкой вишневой наливки... но ничего не получится, потому что предложение станет слишком длинным, на нем образуются некрасивые складки, перепутаются подлежащие с надлежащими и сказуемые с непредсказуемыми, завяжутся ненужные узелки, причастные обороты сделаются деепричастными, и ты встанешь, сложишь стул, и пойдешь домой пить травяной чай с диетическими цельнозерновыми хлебцами для похудения, или вовсе ляжешь спать голодным.



...и перебегающий тропинку мышонок с дрожащим хвостом и огромными от страха черными глазами, и сама тропинка, усыпанная перепрелыми прошлогодними листьями, и белка, скачущая по веткам старой липы, и бледно-фиолетовые цветы луговой герани, и красные полупрозрачные ягоды жимолости, и стайка белоглазых маргариток, неизвестно как сбжавшая из сада на берег

пруда, и медленно плывущее по серой в облаках воде отражение самолета, и водомерки, его обгоняющие, и раскрытые кувшинки, и засохшая ива на берегу, и селезень, уснувший на торчащем из воды трухлявом пне, и сам пруд укутаны в три или даже четыре слоя тяжелой, волглой, увитой запахами цветущего хмеля и мяты, душной тишиной, какая бывает перед грозой или перед семейным скандалом, когда погромыхивает где-то далеко, на кухне, пахнет пригоревшими котлетами, а на диване еще тихо, и только дети, как ласточки, ни с того, ни с сего начинают летать низко, рассаживаются по углам и даже берут в руки Пушкина или Тургенева, которых им задали читать на лето.

№ 4, 2022 г.

Денис Лихачев

НИЗШАЯ МЕРА

1

Обвинение было настолько абсурдным, что все — судьи, прокурор, товарищ прокурора, следователь, свидетели обвинения, свидетели защиты, присяжные, не говоря уже об адвокатах, и даже конвой — сочувствовали обвиняемому, понимая, что дело его шито белыми нитками, и он-то уж точно невиновен, но все почему-то завертелось и сложилось так криво и некстати, что теперь, увы, ничего не напишешь, и вердикт будет «виновен», а приговор — самым суровым. Возможно даже, в виде исключения, отменят на несколько дней мораторий на низшую меру.

— Да, да, да, не удивляйтесь, именным, совершенно, разумеется, секретным, но указом, сами знаете кого, — вздыхал прокурор во время перерывов на чай.

Он, прокурор, был, в сущности, не злым человеком, балагуром и пьяницей, и во время перерывов развлекал всех байками из своей обширной практики. Судьи и адвокаты слышали все это уже не по разу, да и сами могли бы рассказать чего и похлеще, поэтому были снисходительны и не мешали ему. Присяжные, наоборот, слушали, раскрыв рты, уважительно, боясь даже отхлебнуть чая, чтобы не дай бог не подумали, что им неинтересно. Один подсудимый, кажется, был равнодушен и к прокурорским побасенкам, и к своему будущему. Единственное, что его хоть сколько-то занимало, что же это за *низшая мера* — никогда он о такой не слышал — и никто не мог ему толком ответить. Прокурор юлил. Адвокат смеялся, говорил, что «это прокурор жути нагоняет», и никто, конечно, не станет из-за его дела отменять трехсотлетний мораторий. Судейские приставы и чиновники — те вообще лишь пожимали плечами и понятия не имели, в чем она, эта низшая мера, состоит.

Ото всех судейских почему-то воняло рыбой. На прокурора было жалко смотреть: от него постоянно несло перегаром, да так, что не то что очки, а даже сами глаза, казалось, запотевали изнутри. От адвоката пахло мягкой карамелью. От присяжных — вареной картошкой.

2

Сами заседания суда, по давней традиции, всегда совмещались с трапезой и проходили почти в домашней обстановке, чтобы не сильно пугать обвиняемого. Судья, например, являлся в халате и ночном колпаке, прокурор, хоть и был в форме, но обут был в домашние розовые тапочки с помпонами, и только адвокату полагалось быть неизменно в мундире с эполетами, в сапогах со шпорами и в парике с буклями. По устоявшемуся обычаю он еще перевязывал левый глаз черной повязкой, хотя одноглазым и не был. Считалось, что он должен видеть в обвиняемом только хорошее, а злое, которое можно было бы разглядеть левым глазом — не замечать. Правда, прокурору почему-то разрешалось иметь оба глаза, и на правом он повязки не носил. Присяжные должны были присутствовать на заседаниях абсолютно голыми. Подсудимому полагались казенные фрак и цилиндр. Но размеры не всегда можно было подобрать, и поэтому очень часто они были или до смешного малы, или невозможно велики, что и так, и эдак выглядело, разумеется, нелепо. К тому же гардероб уже много лет не обновлялся, и все было заношено до такой степени, что у любого, кто видел человека в таком костюме, неизменно возникало желание подать милостыню его носителю. Процессы, как правило, были открытыми, но публика давно уже потеряла к ним интерес, и поэтому все зрители в зале были нанятые за небольшую плату проходимцы.

Прения прокурора и адвоката были замаскированы под обсуждения кулинарных достоинств или недостатков тех или иных блюд, которые якобы приготовил обвиняемый, и случайному зрителю часто было невозможно понять, о чем идет речь на самом деле.

Например, прокурор говорил:

— Есть эти щи невозможно: пересолены, а мясо недоваренное, да и капуста в них гнилая!

На что адвокат возражал:

— Зато десерт удался на славу: давно не пробовал такого замечательного овсяного киселя, а уж брюква с цукатами — выше всяких похвал. Да и на щи вы зря наговариваете — вполне съедобная похлебка, там только перчику не хватает, и еще петрушка не помешала бы.

Но понять истинного значения этих фраз было совершенно невозможно, и даже сами прокурор и адвокат, спроси их приватно, не смогли бы, скорее всего, ничего пояснить.

— Дань традиции, а по-нашему, порожняк голимый! — пожимал плечами бывалый каторжанин, а ныне присяжный заседатель, весь в синеве татуировок, когда новичок, клацая зубами от холода и чтобы хоть как-то отвлечься от мыслей о горячем чае, попытался узнать у него, что же вся эта белиберда означает.

3

Сам же подсудимый, поначалу с интересом наблюдавший за прениями прокурора и адвоката, воспринимая процесс как своеобразную, пусть и нелепую, но игру, забавный театр сумасшедших актеров, постепенно, отчаявшись понять хоть слово, уловить хоть какую-то нить или логическую связь в рассуждениях, совсем потерял к ним интерес. Ему единственному разрешалось курить в зале суда, и он без конца смолил одну за другой дешевые папиросы, тупо смотрел перед собой, и все терзала его одна-единственная мысль — он-то здесь зачем, почему он соглашается играть в эти дурацкие игры, зачем послушно исполняет назначенную ему роль? Почему было просто не уйти? Вот просто встать, затушить папиросу и уйти, не говоря ни слова. Но сделать это было отчего-то совершенно невозможно. За окнами по улицам катилось чудесное московское лето — солнечное, но не знойное, без изнуряющей жары, а приходилось сидеть здесь, в душном помещении, и слушать бубнеж прокурора, задорную чушь адвоката, сопение судьи, видеть кислые рожи присяжных, к тому же голых, словно ошипанные курицы, рассматривать от тоски сыпь веснушек на жирной шее рыжего конвоира и континенты потных пятен на его же гимнастерке на широкой спине... Однажды, прямо посреди пламенной речи адвоката, в зал суда с улицы забежал

ребенок — маленькая девочка лет пяти или шести — и удивленно уставилась на присутствующих. Адвокат испуганно замолк, словно ребенок мог ему помешать, и тоже уставился на нее, а вслед за ним на ребенка обернулись и все остальные. С полминуты длилось всеобщее оцепенение, а потом хлопотливая, но, видать, нерасторопная нянька, квохча, просунулась наполовину в дверной проем, сгребла девочку в охапку и, пятясь, унесла ее. Еще какое-то время из коридора доносились ее удаляющиеся шаги, тяжелые и шаркающие, и задыхающиеся причитания:

— Ну что ты за егоза, Надя? Куда тебя вечно несет!

За много недель процесса это было единственное интересное и не бессмысленное происшествие, которое, возможно, и могло бы рассеять затянувшийся морок, если бы не помешала вот эта бестолковая нянька.

4

Наконец настал день объявления приговора. Присяжным по такому случаю разрешили нацепить на шею галстуки-бабочки, сам судья вместо халата облачился в парадную пижаму с орденской лентой и сменил колпак на парик, адвокат и прокурор, хотя и были одеты, как и всегда, но выглядели какими-то торжественными, словно бы выглаженными, и осознание важности момента сквозило в каждом их движении, а у прокурора даже платочек, которым он постоянно протирал очки, был явно новым, только вчера выстиранным, отглаженным, и к тому же был опрыскан каким-то одеколоном. Зрители, обычно гудевшие, словно потревоженный улей, на этот раз притихли, попрятав свои пироги, булки, всякие там коврижки, которыми они раньше, не стесняясь, закусывали прямо во время заседаний, запивая их тут же кто простоквашей, кто квасом, а кто чем и покрепче.

Открывая заседание, судья произнес несколько ритуальных фраз, например: «Напоминаю, что трансляция запрещена, а потому прошу отключить сотовые телефоны и другие средства мобильной связи». Фраза была абсолютно бессмысленна, потому что никаких «сотовых телефонов и других средств мобильной связи» давно уже ни у кого не было, и никто даже не то что не помнил, а просто не знал, что это вообще такое, а уж о «трансляции» и гово-

речь не приходилось. Считалось, что это такая же дань традиции, как и накрахмаленные парики или эполеты у адвоката.

— Ну-с, — продолжил судья после завершения протоколочно-ритуальной части, обведя присутствующих вопросительно-ехидным взглядом, — как говорили в старину: и кто мне разрежет этого гуся? — И подмигнул обвиняемому.

В зале зашептались, заелозили, загомонили. Даже присяжные, забыв о том, что они голые, в одних только галстуках-бабочках, с интересом вытягивали шеи из своей клетки в сторону зала так, что сразу стали похожи на семейство опят на тонких ножках, облепивших гнилой пень, и тоже о чем-то зашептались.

Наконец смельчак нашелся. А за ним еще один. И еще. И еще двое. В итоге их набралось пятеро. Оживление в зале нарастало, наверняка нашлись бы и еще желающие, но секретарь сделал знак, что достаточно, и все постепенно утомонились, а те пятеро вышли на середину, на всеобщее обозрение.

5

Судья удовлетворенно хмыкнул, оглядев пятерых добровольцев, вытянувшихся перед ним во фронт.

— Итак, господа, — обратился он к ним, — вы знаете, что по итогам наших прений и согласно вердикту присяжных заседателей, обвиняемый приговорен к низшей мере наказания.

— Да, господин судья, нам это известно, — ответили нестройным хором эти пятеро.

— Но на низшую меру, — продолжил судья, — государством наложен мораторий, который неукоснительно соблюдается вот уже более трехсот лет, и потому само государство не может привести приговор в исполнение.

Все присутствующие затаили дыхание.

— Поэтому эта почетная обязанность будет возложена на вас как на частных лиц. Все ли вам понятно, судари мои, и в полной ли мере осознаете вы ответственность, которую берете на себя?

— Да, господин судья, мы осознаем, — промычала в ответ пятерка.

— Превосходно, — ответил судья и три раза призывно хлопнул в ладоши.

На этот его сигнал откуда-то из-за спинки огромного судейского кресла, за которым, оказывается, находилась потайная дверца, в зал явился очень толстый и румяный человек в поварском колпаке и в фартуке, заляпанном жирными пятнами и, кажется, кровью.

— Проводите наших гостей на кухню, — обратился к нему судья, — и выдайте все необходимые инструменты.

Человек в колпаке и фартуке ничего не ответил, а только кивнул этим пятерым, показывая следовать за ним, и вновь исчез за спинкой судейского кресла. За ним, гуськом и на цыпочках, проследовали и также исчезли и пятеро добровольцев.

Судья же подозвал секретаря и, наклонившись, прошептал ему на ухо:

— Распорядитесь снабдить присутствующих приборами и салфетками и положить свежую скатерть на общий стол.

Секретарь понимающе кивнул и удалился исполнять поручение, а судья, потирая ладошки, обратился, наконец, к обвиняемому:

— А вам, любезный, предоставлено право на последнее слово. Есть что сказать?

И тут все в замешательстве переглянулись, у судьи от удивления даже парик съехал на самый затылок, а ярко-красная орденская лента на пижаме как будто вмиг полиняла аж до светло-серого.

Он торопливо вставил монокль в орбиту глазницы, чтобы лучше рассмотреть, ахнул от изумления, и монокль тут же выпрыгнул обратно, словно пробка из бутылки шампанского...

6

Дело в том, что выгородка с обвиняемым оказалась пуста. Вернее, не совсем пуста, но самого обвиняемого там не было, а на его месте, на стуле, сидел и в самом деле самый настоящий, самый обычный гусь, правда, настолько тощий, что было очевидно — на стол он явно еще не годится. Гусь с интересом и удивлением озирался по сторонам, время от времени безмолвно разевая клюв. Когда и в какой момент обвиняемый просто встал и ушел и кто посадил на его место гуся — было не совсем понятно, никто этого не заметил. Конвоиры же, охранявшие его, два бестолковых «валенка», один рыжий, а другой белобрысый, теперь только удивленно

хлопали глазами и переглядывались, а под вопросительными взорами судьи и остальных присутствующих зачем-то начали обыскивать друг друга, неуклюже хлопая один другого по толстым бокам, задницам, ляжкам.

— Вот он! — радостно завизжал адвокат, указывая куда-то в окно.

Все обернулись.

И правда, за окном, по тенистой липовой аллее, уводящей от Дворца Правосудия, шел обвиняемый, спешно сдирая с себя на ходу фрак, жилет, манишку, кружевные манжеты.

Адвокат, раскрыв окно и высунувшись наружу до пояса, закричал ему вслед призывно и ласково:

— Куда же вы, голубчик? Так нельзя! Вы испортите нам праздник! Возвращайтесь скорее: все самое интересное еще впереди. А то ведь так и не узнаете, что же это за низшая мера такая! Куда же вы? Куда?

Адвокату почудилось, что обвиняемый обернулся и показал ему в ответ язык, и, чтобы получше рассмотреть эдакую дерзость, он даже сдвинул на лоб свою черную повязку, закрывающую левый глаз, но на самом деле ничего подобного не было, а обвиняемый шагал, не оборачиваясь. Цилиндр, который он снял и выбросил в самом начале пути, еще едва ступив под липы, пытался было нагнать его и еще долго катился за ним, подгоняемый ветром, подпрыгивая на кочках, но, в конце концов, отстал и он, и закатился куда-то вбок, в канаву.

7

Дойдя до конца аллеи и уже полностью освободившись от казенной одежды, бывший обвиняемый, все время ускоряя шаг, перешел почти на бег. А выйдя из-под лип и оказавшись на набережной, уже и вовсе бежал. Но бежал он не потому, что за ним гнались или он чувствовал погоню. Нет: ему в голову пришла вдруг сумасшедшая, хулиганская, почти преступная мысль. С разбега вскочив на парапет набережной, он, что есть силы, оттолкнулся от холодного камня. Случившиеся тут же гуляющие замерли, как вкопанные, и уставились на него, разинув рты.

Полицейский, охранявший выход из аллеи и решивший в этот час тоже немного пройтись по набережной, схватился за свисток, а сопровождавший его дворник взял наизготовку метлу, словно это было ружье, и попытался даже прицелиться. Но вспомнив, что это всего лишь метла, сказал только:

— Сейчас бултыхнется.

Но против всякого ожидания бывший подсудимый не только не «бултыхнулся», как предсказывал мудрый дворник, а совсем даже наоборот — взмыл в самое небо и полетел.

— Ишь ты, — только и мог сказать дворник, задирая голову все выше и выше.

Полицейский же, опомнившись, засвистел, что есть мочи, в свой свисток, отчаянно надувая щеки до такой степени, что, казалось, кожа на них вот-вот полопается. Свист, набухая, переливался трелями и катился по набережной все дальше и дальше. Беспокойным и звонким лаем откликнулось на него несколько мелких собачонок, гулявших тут же со своими хозяйками. Все это, смешавшись и закрутившись в невидимый вихрь, понеслось вверх, вслед за дерзким летуном, но не возымело на него совершенно никакого действия. Когда же он и вовсе скрылся из виду, все переглянулись и продолжили гулять, как будто ничего и не случилось. Только какой-то мальчуган подошел к тому месту, откуда начал свой полет этот странный человек, посмотрел на каменную тумбу, почесал за ухом, пожал плечами, да и пошел своей дорогой.

№ 3, 2023 г.

Екатерина Басманова

ТРАНСПОКОЙНЫЕ:
ИЗ КРУГОВ АДА В РАЙСКИЕ КУЩИ

Репортаж ВСС

Кунцевское кладбище, под серым московским небом частые могилы с высокими оградками — кажется, даже после смерти москвичам не избежать тесноты. Вместе с Арсением с трудом, по тесной тропке пробираемся к свежему захоронению. Кунцевское — кладбище старое и дорогое, свежую могилу здесь увидишь нечасто.

«Когда я объявил на своем канале сбор, то даже не ожидал такого количества донатов, — с воодушевлением говорит Арсений. — Рассчитывал на место в колумбарии, а хватило на целую могилу!»

В нескольких секторах отсюда находится семейное захоронение, где покоятся дед Арсения и любимая бабушка. Однако родители не позволили сыну разместить его собственное надгробие там.

Когда Арсений совершил каминг-аут, родители не приняли его перехода.

«Они упрямо продолжают считать меня живым и не хотят ничего слушать», — жалуется он, стоя над черным гранитным памятником со своим именем, датами рождения и смерти.

17 февраля — Арсений хорошо помнит тот день, когда объявил себя транспоккойным:

«Я проснулся утром, небо было тусклым, как всегда, шел мелкий снег, и понял, что умер, что мой жизненный путь завершен и миру придется принять меня таким».

С того самого дня Арсений подобно тысячам людей по всему миру идентифицирует себя как транспоккойный. Однако если в Западной Европе или США рады новопреставленным, то в России дела обстоят иначе.

«В то утро, поняв, что мертвый не смогу пойти на работу, как человек ответственный я позвонил в офис и сообщил о своей кон-

чине — но мне не поверили! Более того, дни моего отсутствия засчитали как прогулы и угрожали увольнением, если я не появлюсь на рабочем месте. К концу недели мне даже позвонил генеральный директор. Пытался убедить меня, что я жив, но у меня стресс или профессиональное выгорание, советовал своего психолога».

Непонимание — частая проблема, с которой сталкиваются транспоккойные в Восточной Европе. Общество отказывается признавать их такими, какие они есть, — мертвыми — и нередко стигматизирует как психически больных.

«В медицине сформировалось совершенно четкое представление о смерти, — рассказывает нам Виталий Лисицын, доктор медицинских наук, профессор кафедры танатологии Первого медицинского университета. — Существует клиническая смерть, а также биологическая. Последняя характеризуется смертью головного мозга и необратимыми изменениями в тканях организма. Что же до людей, объявляющих себя мертвыми, не пережив биологическую смерть, то это, вероятно, тоже по части медицины, но только не танатологии — вопросами бредового расстройства психики занимается психиатрия». Действительно, синдром «живого трупа» в российском классификаторе заболеваний все еще отнесен к категории психических расстройств, в то время как в Европе и США он давно исключен из классификаторов.

«Объявив себя мертвым в России, ты попадаешь в ад», — горько замечает Арсений. Мы в Беляево — спальном районе Москвы, где он снимает скромную квартиру в панельной многоэтажке. Из-за конфликта с родителями ему пришлось съехать из их дома и искать съемное жилье. «Как только собственники узнавали, что я мертвый, они просто отказывались мне сдавать, — сетует Арсений на дискриминацию, с которой пришлось столкнуться. — В конце концов я вынужден был соврать, что жив, просто чтобы не остаться без крыши над головой». Желая сэкономить, Арсений пытался найти руммейта для совместной аренды, однако тщетно — никто не согласился делить квартиру с человеком нетрадиционной идентичности. «На самом деле я знаю еще несколько транспоккойных в Москве, — признается Арсений, — но они боятся публично заявлять о себе, скрывают свой статус, потому что транспоккойный в этой стране бесправен и не может чувствовать себя в безопасности».



Восемь тридцать утра. Солнечное утро в Амстердаме — от прошедшего ночью дождика не осталось и следа. Александра Медник садится на велосипед, чтобы ехать в штаб-квартиру Центра помощи транспоккойным Евросоюза. Александра — волонтер Центра, аспирант кафедры трансмортальных исследований Амстердамского свободного университета и транспоккойная.

«В нашем центре мы принимаем не только граждан Евросоюза, но и транспоккойных, прибывших из Восточной Европы, Азии и Африки. В большинстве случаев транспоккойные-мигранты просят политического убежища, поскольку в своих странах подвергаются дискриминации и, бывает, даже угрозам физической расправы, — рассказывает Александра. — Задача центра — всесторонняя помощь новопреставленным. Мы разъясняем транспоккойным их права, помогаем с документами; если требуется — решаем вопросы с жильем: первично это комфортабельное общежитие, затем новопреставленному может быть предоставлена отдельная квартира».

Поскольку вынуждать работать мертвых неэтично, в Евросоюзе транспоккойные обычно не трудоустроены — им выплачивается ежемесячное пособие по временному пребыванию на этом свете. Тем не менее, есть те, кто и после смерти не утратил вкуса к труду — большинство из них, как и Александра, заняты волонтерством.

«Я сказала себе: я умерла, но это не страшно — я еще многое могу сделать для окружающих меня людей, для развития международного движения транспоккойных, — говорит Александра. — Я могу держать новопреставленных за руку, когда они входят в этот новый, прежде неизвестный им мир посмертия. Я могу рассказывать еще живым людям о транспоккойных, чтобы общество окончательно избавилось от старых предрассудков.

Долгое время считалось: чтобы ты умер, у тебя должно остановиться сердце, но теперь мы знаем, это не так. Мы знаем, есть люди, мертвые с бьющимся сердцем. Если вы проведете традиционное медицинское обследование такого человека, то не найдете отличий между ним и живым. Тем не менее отлич-

чие есть — это выбор, который сделал человек, выбор в пользу смерти — пускай физический конец наступит не сегодня, и не завтра, а даже лет через пятьдесят. Люди не заложники своей физиологии. Общество не в праве отказывать человеку в признании его мертвым, если он ощущает себя таковым. Общество не вправе требовать от покойного предъявить свой собственный труп — это просто неэтично.

Никто не может решать за другого человека, жив он или мертв. Мы привыкли относиться к смерти как к неоспоримому факту, но это не так. Смерть не более чем социальный конструкт, поэтому правильно разделять физическую и социальную смерть — они могут совпадать у одного человека, и не совпадать у другого.

Не правы те, кто заявляет, что социальная смерть — это новое и оттого не вызывающее доверия явление, ведь мы можем найти ее примеры в традиционных культурах. Например, на Сицилии, человек, изгнанный из родовой общины за какой-либо серьезный проступок, может быть объявлен мертвым. Родственники даже имеют право поставить памятник на кладбище такому покойному, и это место для всех будет считаться его могилой.

Но если в традиционных культурах социальная или гражданская смерть была связана с трагедией изгнания, то в наши дни все иначе. Современные люди не видят ничего постыдного в социальной смерти, которая является не чем иным, как свободным выбором, и не влечет для новопреставленного поражения в гражданских правах. Напротив, такой человек требует большей защиты со стороны общества и государства, как и к другим меньшинствам к нему должны применяться меры позитивной дискриминации.

Сегодня транспокойные имеют возможность не просто пережить свою смерть субъективно, внутри себя, но и сообщить о ней миру. Для этих целей энтузиастами движения создан сайт trans-death.com, на котором пользователи объявляют о своих смертях, а также собирают донаты на похороны и посмертные траты».



У Арсения тоже есть страница на trans-death.com, благодаря которой ему и удалось собрать денег на свое погребение. Однако с

недавнего времени доступа к своей странице Арсений не имеет, потому что сайт заблокирован Роскомнадзором.

Российские власти видят угрозу в международном движении транспоккойных. Россия так и не присоединилась к Брюссельской хартии свободной смерти, которую подписало уже более пятидесяти стран. Проблема транспоккойных в России замалчивается, отрицается. «В нашей республике нет транспоккойных», — заявил на днях глава одного из регионов Северного Кавказа.

Однако если бы транспоккойных в России не существовало в принципе, то не потребовались и те законодательные инициативы, с которыми сейчас выступает группа депутатов Государственной Думы. Говорит Мирон Горохин, депутат: «Вот эти вот живые мертвецы, транспоккойники — их же никогда не было в России, это не наши традиции. Это западное что-то, у них там восстание зомби, Хеллоуин. В этой Америке совсем с ума посходили, но мы здесь у себя такого не допустим. Нужно принять специальный закон, который запретил бы все это. Защитить наших детей от тлетворного запаха западной мертвечины. Потому что от игры в смерть до самой смерти один шаг, все это транспоккойничество — просто склонение к суициду. Куда это годится: сегодня ты как бы умер, а завтра что, умер насовсем?»

Казалось, что традиция монашества, понимаемого как смерть в миру, могла бы склонить православную церковь к поддержке движения транспоккойных, но этого не произошло. Говорит отец Дмитрий, иерей: «Только Бог решает, кому жить, а кому умереть. Бог определяет час смерти всякого человека, но не человек сам. Под видом транспоккойничества мы имеем дело с явлением греховным. И что означает заявление таких людей: “Я умер”. Для кого ты умер? Для своих родных, для близких, для друзей? И для чего ты умер — может быть, чтобы избежать ответственности, не исполнять обязанностей своих перед ближними? Нет, так дело не пойдет: человеку должно нести крест его сколько отмерено, а не впадать в бесовское скоморошество. А то, “я умер”. Где ж ты умер, мил человек? Ты вон в пост котлету съел и кефиром запил».



Лишившись возможности собирать донаты через интернет, Арсений для поддержания своего посмертного существования вынужден был устроиться на работу.

Он работает в салоне сотовой связи, и несколько раз в неделю, с десяти утра до десяти вечера вынужден, надев на себя ярко-желтую футболку, улыбаться посетителям, бодро рассказывая о достоинствах новых моделей смартфонов.

«Моя работа заключается в том, что я притворяюсь живым, — вот что страшно, — жалуется Арсений. — Я совсем теряю себя в такие минуты, забываю, кто я есть. Это невыносимо, невозможно. Те, кто говорят, что после смерти нет страданий, ошибаются. Правда в том, что до твоей смерти здесь никому нет дела, — люди просто не замечают, что ты умер, и все».

Расстроенный Арсений выходит на крыльцо магазина и закуривает — капля никотина уже не может его убить.

«Слышал, что в Европе транспокройные могут и не работать — они получают специальное пособие, — добавляет Арсений. — У нас такого нет. В России и после смерти будешь впахивать».

Посреди рабочей смены Арсению звонят из банка с напоминанием о просроченном платеже по кредиту. «Я брал кредит на игровой ноутбук, когда еще был жив, но после моей смерти они не списали долг и продолжают названивать. Я пытался им объяснить, что уже мертв, но они не верят, потому что по всем официальным базам я числюсь живым. Государство не признает меня умершим».

В надежде как-то разрешить возникшую юридическую коллизию, мы с Арсением идем в МФЦ. Арсений надеется, что сможет получить там свидетельство о смерти, которое легализует его как транспокройного.

К концу дня в МФЦ многолюдно — каждый посетитель пришел сюда со своей проблемой. Однако электронная очередь движется, и вскоре номер Арсения высвечивается на табло:

— Девушка, я хотел бы оформить свидетельство о смерти, — говорит Арсений, подойдя к окошку.

— Прошу ваш паспорт, а также медицинскую справку на умершего.

Арсений протягивает паспорт, но вот справки у него нет.

— Вам необходимо получить справку в медицинском учреждении, — разъясняет ему сотрудница. — Как имя умершего? Как? У вас что, имена с ним одинаковые? — недоумевает она. — Как это справка нужна для вас? Что значит, умерли? Я же вижу... Не морочьте мне голову, молодой человек! Что еще за транспоккойник?

— Транспокойный, правильно говорить «транспокойный», — поправляет ее Арсений, но сотрудники МФЦ не обучены танатотолерантности.

Время Арсения вышло, ему отказано в услуге, место у окошка занимает обладатель следующего талона.



Волонтерская работа Александры не ограничивается стенами офиса — в середине дня она отправляется на улицу, чтобы в многолюдном месте возле торгового центра проводить свою просветительскую работу.

В руках у Александры агитационные листовки и маленькие флажки движения транспоккойных: на черном фоне петля, цветущая маргаритками.

«Черный фон нашего флага означает смерть, петля — добровольность выбора, — объясняет Александра. — Однако выбор транспоккойного не суицидален. Транспокойный выбирает не небытие, а посмертие — и в знак радости об этом петля цветет маргаритками».

После обеда новая миссия — Александра отправляется в школу, чтобы рассказать о транспоккойных подрастающему поколению.

«На уроках танатотолерантности я рассказываю детям о том, что такое смерть, кто такие транспоккойные и почему не следует бояться их. Я стараюсь ни в коем случае не напугать детей, но сделать рассказ запоминающимся и интересным».

Например, на сегодняшнее занятие Александра принесла Санта Муэрте — мексиканские куклы смерти, чтобы поведать о традиции празднования Дня мертвых в Латинской Америке. «Первое ноября отмечается теперь и нами как праздник движения транспоккойных, — говорит Александра, — в этот день мы обычно проводим свои праздничные шествия». Детям нравятся принесенные Александрой куклы и ее рассказ.

Следующая часть урока практическая: Александра предлагает школьникам склеить из картона небольшой гроб. Она помогает им начертить и вырезать детали. Десятилетний Ахмет скрепляет концы деталей скотчем, а маленькая Берта украшает получившуюся крышку бумажными сердечками и розовыми лентами.

«Смерть не должна выглядеть страшной», — поясняет Александра.

«Когда я вырасту, то хочу умереть и стать транспоккойной», — признается Берта, довольная проделанной работой.



Перенесемся теперь обратно на Кунцевское кладбище. Под пасмурным московским небом здесь сегодня шумно: работа отбойного молотка нарушает приличествующий этому месту покой.

Вчера рабочие уже демонтировали несколько надгробий лиц, в отношении которых установлено, что они не являются умершими, — так в распоряжении о демонтаже, подписанном мэром города, именуются транспоккойные. Власти избегают употреблять данное слово в официальных документах и государственных СМИ.

Сегодня очередь дошла и до могилы Арсения. На наших глазах рабочие сносят его памятник, в то время как несколько полицейских наблюдают за их работой.

Но Арсения здесь нет — мы встречаем его у выхода из консульства Голландии.

— Мне позвонили и сказали, что только что снесли мое надгробие, — с болью в голосе произносит Арсений, — люди, которые это сделали, не кто иные, как осквернители могил! Они не уважают чужие чувства, не уважают чужую смерть! Но знаете, это уже не важ-

но... не важно, потому что больше я здесь не останусь. Сегодня мне одобрили политическое убежище в Евросоюзе, и я собираюсь как можно скорее уехать из России — места, где вам не дадут спокойно умереть. Моей могилы в этой стране больше не будет. Пожелаете мне удачи на новом месте, да?

— Покойся с миром, — отвечаем мы Арсению так, как принято говорить транспокойным.

Будем надеяться, в Европе его ждет лучшая смерть.

№ 4, 2023 г.



Поэзия

Алексей Дьячков. Кадмий, охра, умбра и сиена
Игорь Иртеньев. Когда наш полк входил в Мытищи
Юлий Хоменко. Селфи с солнцем
Вадим Жук. Скелет в шкафу
Юрий Перфильев. Человек состоит из
Юрий Михайлик. Море горит
Ганна Шевченко. Песни Винни-Пуха
Сухбат Афлатуни. Я из газеты
Владимир Салимон. Нет зиме!
Влада Баронец. Модель России
Сергей Золотарев. Винный ангел
Антон Метельков. Два стихотворения
Алена Бабанская. Третий
Дарья Христовская. Три снега
Феликс Чечик. Соответствуя годам
Вениамин Блаженный. Из неопубликованного
Александр Климов-Южин. Страх уронить туда очки
Санджар Янышев. R-хромосома
Дмитрий Песков. Ёсико в кимоно
Вадим Муратханов. Запретное
Мария Затонская. Сегодня к нам постучали
Наталья Баланова. Не молчи
Антон Бахарев. Кроссовки
Елена Кепплин. Не ставшее гербарием
Глеб Шульпяков. Подражание древним
Андрей Родионов. Одно стихотворение
Лариса Миллер. Специалист по райским кущам
Андрей Пермьяков. Два стихотворения
Вячеслав Попов. Теплые носки
Владимир Иванов. Мимо музыки
Анна Аркатова. Микроволновая печь не работает
Йегуда Амихай. Память любви: договор, условия...
Перевод с иврита Александра БАРАША



Алексей Дьячков

КАДМИЙ, ОХРА,
УМБРА И СИЕНА

ВОЛХОВ

Забыл пейзаж, название растения,
Финальный матч, победный гол с носка.
Про курс, про снимок легких с затемнением. —
Весь вечер на веранде дым пускал.

Зеленый воздух ветки трогал бережно,
В лазейки проникал и гнул к земле.
Про пролежни, беспомощность, безденежье,
Про сахар и белок забыл совсем.

Всю ночь чайники ложечкой помешивал,
Вычитывал названия из газет,
Пожитки и тряпье полуистлевшее
Из чемодана вынимал на свет.

Тряслась рука, как лист прозрачный ясеня,
Гнул удочки на строчках карандаш.
Пинцетом марки вынимал из кляссера,
Разглядывал растения, пейзаж. —

Порода, перевязанная венами,
Мох на камнях, в густой траве ручьи,
Окраина родная, сокровенная,
Белесая, бесцветная почти.

НА ОБРАТНОМ ПУТИ

Деревья áлы, а поселки бұры,
Сиренев забегаловки вагон.
Из соусных запруд водитель фуры
Вытягивает пряди макарон.

Сквозь складки тюля он глядит на шины,
Как курит у «камаза» человек,
Как за оградой, истекая жиром,
В кустах сирени вязнет чебурек.

Сверкает кафель, водит дева шваброй,
Рубль набирают мелочью: Еще?
Уставший байкер, распуская жабры,
Без всплеска погружается в харчо.

А рядом разговоры о получке,
О дизельке, разбавленной слегка.
Возносится, сверкнув, стакан шипучки
К флуоресцентным лампам потолка.

Все медленней поет в чепце сирена
О том, что на остатке холодец,
Что кадмий, охра, умбра и сиена
Хром-кобальт победили наконец.

• • •

Ирине Е.

Я постарел. Подслушать разговор
Подсел к столу, придя из спальни дальней.
Измял салфетку, мейсенский фарфор
Разглядывая, трещинки эмали...

Один молчал, другой ногой качал,
Покашливала третья, и родная
Звучала речь, пока я изучал
Посуду, серебро, остатки чая.

Как чашка с ручкой тонкою пуста.
Как, истончившись, в тюле свет взорвался.
Я не заметил, как из-за стола
Все разошлись, а я один остался.

Из фразы чьей, откуда, почему
Я вижу пляж пустынный, буги-вуги
Танцуют волны, и на глубину
Два старика бредут, держась за руки.

Вода, сверкая, скачет там и тут...
Вот-вот они от тверди оторвутся
И парой к горизонту поплывут,
Чтоб никогда на берег не вернуться...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Иногда он играет по правилам,
Тянет ляжку и ждет выходных.
Свет в листве, свет в воде, свет на гравии
В парке после дождей затяжных.

Иногда открывает Америку —
Воздух желт от берез и осин.
Вдоль ручья катит к речке на велике,
На песке у мостка тормозит.

Не спастись в старом парке от холода.
Ветер пробует в кронах басы.
У скульптур на аллее отколоты
Гениталии, руки, носы.

Ствол без веток и мачта без паруса,
На площадке застыл индивид.
Скоро песнями новое варварство
Неприятно его удивит.

СМЕНА

Не будет тополь марлей занавешен,
А тихий сквер до белой пыли стерт,
Когда из хирургического фельдшер
Отпустит отоспаться медсестер.

Докатятся глухая боль и горе
До девочек, дымящих на крыльце,
Унылым причитаньем в коридоре,
Отчаянными хрипами во сне.

Печально листья смахивает дворник,
Стажеры на тележке катят груз —
На чем ни сконцентрируется Оля,
Во всем тоска виднеются и грусть.

Подруга затянулась и застыла,
Промолвить не успела: Тихо тут...
Ее лицо и пальцы форму дыма
Прозрачного вот-вот приобретут.

№ 5, 2023 г.

Игорь Иртеньев

КОГДА НАШ ПОЛК ВХОДИЛ
В МЫТИЩИ

•••

Я не пью, не курю,
Лишнего не говорю,
Вредных привычек, короче, нет,
Живу согласно календарю,
Только вот в одну точку смотрю
Последние десять лет.

•••

Бросали жители жилища
И срочно прятались в леса,
Когда наш полк входил в Мытищи,
Раз в десять лет на полчаса

Под марш «Прощание славянки»
Бизе в тракторке Щедрина,
Устав от беспробудной пьянки,
В строю кемаря с бодуна.

Но знамя наше полковое,
Искусно сложенное вдвое,
Наш знаменосец полковой
Нес высоко над головой.

Мы пленных в принципе не брали,
Но если приходилось брать,

Сперва погоны с них срывали,
Чтоб не мешали на рояле
Им польку-бабочку играть.

Полковник наш, рожденный хватом
От неизвестного отца,
Что крупным был остеопатом,
Вдрызг разбивал галантным матом
Уездных барышень сердца.

...Да, были люди в наше время,
Как Лермонтов писал М.Ю.
Не то, что нынешнее племя —
Любили родину свою,
Которая на то и мать,
Чтоб с нас последнее снимать.

• • •

Одна в ночи сидит печально
Младая дева у окна,
Ей все обрыдло изначально —
Аптека, улица, страна,

В которой хорошо родиться,
Но очень плохо умирать,
Но дева ей должна гордиться,
Хоть ей на деву и насрать.

Три раза «ей» в двух строфах — это,
Конечно, явный перебор,
Простите, граждане, поэта,
Который немощен и хвор,

И чьи унылые напевы
Давно уж не ласкают слух

Не только юной этой девы,
Но даже пожилых старух.

Но он, в отличие от девы,
Безмерно горд страной своей,
Так что идите в жопу все вы,
Кому не в кайф гордиться ей.

• • •

Гремели грозы, но потом стихали,
Шли войны, но со временем прошли,
А мы с тобой безоблачно бухали,
И образ жизни не спеша вели

Туда, куда нам в тот момент хотелось,
На правила движения плюя,
И я, твою лаская мягкотелость,
Был счастлив тем, что ты была моя,

А я был твой, и дивно это было,
Настолько, что в словах не передать,
А где-то чья-то мама раму мыла,
Чтоб из окна сподручней выпасть.

Но дело тут не в раме и не в маме —
Какая нам с того была корысть —
А в том, что век железными клыками
Хотел с тобой нам глотки перегрызть,

Да не сумел. Подальше от греха ли
Увел его Господь, мне с пьяных глаз
Боюсь, не вспомнить, помню, что бухали,
И этот факт в итоге нас и спас.

Ю л и й Хо м е н к о

СЕЛФИ С СОЛНЦЕМ

• • •

эти —
как комья стерильной ваты

те —
точно перья
увернувшегося от самолета ангела

а бывают слоистые
что к дождю

ПЕРЕД РАССВЕТОМ

П. Климову

первые
черновые очертания дома напротив
в незашторенном звездном окне

•

музыка звучит
везде и всегда

просто ее не слышно
за шумом и тишиной
нужно ее выслушивать
точно фонендоскопом
как умел это делать
оглохший Бетховен

●
нашарить тапки и в туалет
сквозь падающие декорации недосмотренного
одноактного сна

●
говорят у Бетховена уши
были просто забиты серой

их бы прочистить
у хорошего отоларинголога

чтобы не было драматизма
его поздних сонат и квартетов

●
за дверью
на лестничной клетке
квалифицированные шорохи вора
заканчивающего ночную смену

●
то дубасил по клавишам
чуть не лопались струны
то едва их касался
не извлекая ни звука

ультрафорте и инфрапиано
глухого Бетховена

●
чего только не приснится
в ночь после выпитого
коньяка с соседом по поводу
совместно отремонтированного
сливного бачка

• • •

зимой
прутья стальной арматуры
не теряют надежды одеться листвой по весне

• • •

шаткое
взволнованное граффити
«Эвелина останемся друзьями»
и рядом спокойное
«нет»

СЕЛФИ С СОЛНЦЕМ

1
река по имени Трайзен
помнит междоусобицы средневековья
но в курсе и актуальных баталий
социал-демократической и народной партий
в борьбе за региональные
по-австрийски гортанные голоса

•

кто здесь кровавил бульжник
в раннее
еле брезжущее средневековье?

время
то лиясь то накапливая
смыло кровь

•

нес бы повинную голову
на плаху бульжной площади

не заполони ее зонтики
источающего
аромат капучино кафе

2
на заброшенном полустанке
разобранной узкоколейки
поезда ждать и ждать

3
деревья
предоставляют птицам
удобные разветвления для отдыха и под гнезда
в целях обеспечения
бесперебойного сообщения по маршруту
земля — небо
небо — земля

4
подхожу к крупнейшему в Нижней Австрии
средневековому монастырю с южной
наименее защищенной его стороны

а не взять ли его как давеча штурмом —
думаю по-турецки

5
отражаюсь нагнувшись в луже

кудлатое облако
тычется мне в затылок

6
селфи с солнцем

не одна ли из ранних попыток подобного рода
этот черный квадрат
Казимир?

7

огибаю раскидистую ветлугу
обхожу разрушенные конюшни
не тороплюсь отрывать от земли подошвы
проворачивая планету
в направлении обратном ходьбе

8

в дороге
в грозу без дождя

есть ли жизнь на Марсе?
есть ли жизнь после жизни?

молния
гром

9

ох!
встречала она восторженно
очередной непросохший
абстрактный набросок мужа

сама –
замечательный художник и график

счастливая женщина

рано умерла

10

беззвучный сигнал незримого тепловоза
следующего по незаданному маршруту
порожняком

В а г и м # г к

СКЕЛЕТ В ШКАФУ

•••

Ой, погибну я не за рабочих,
За тебя я погибну, мой друг,
И синички мне выключают очи,
Потому что орлам недосуг.
Не склонятся ко мне вороны,
Лошадиная жалость, конец
Мой увидят машины стальные
С миллионами конских сердец.
Пролетят равнодушно шоферы
На своих городских скоростях,
Но меня понесут волонтеры —
Плоть мою на некрепких костях.
О, мосты превосходной столицы,
О, рыдания северных рыб,
И озябшие серые птицы,
И открытые настезь двory.
И ни Феникса нет, ни Финиста,
Только свет на втором этаже
Да минувших годов букинисты...
Впрочем, их не осталось уже.

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СТАНСЫ

Проходит организм поношенный,
На всех ступеньках отдыхая.
Еще реакция хорошая,
Уже эрекция плохая.
Уже мне кажутся начальники

Как бы явлением природы,
У бабы на цветастом чайнике
Отходят правильные воды.
Наивными постмодернистами
Путь замощен на много лье,
Идут бои между баристами
И удалыми сомелье.
Проходит организм измученный
Коверной кошке за кормами;
Еще персты его не скрючены,
Но правая нога хромает.
Над нашей школой дроны кружатся,
Разбрасывают горсти мелочи,
И дети — с помповыми ружьями,
С помпонами на шапках беличьих.
И, медленно пройдя меж урнами,
Ворон красивая династия
У многолетних физкультурников
Ворует палки скандинавские.
Проходит организм привившийся
Под голубую паранджою,
Каким внезапно проявившимся
Недугом будет поражен он?
Проходит организм изысканный,
Словами дивными играя,
Меж косяками и описками,
В дымах полунощного края.

ПОБЕГ

И вообще бы не встречаться,
Оставить память начеку,
Но не надеяться на счастье,
Что вдруг возникнет по звонку.
В Калитино случилась пробка,
В Сельцово поезд с жизнь длиной.
В багажнике тряслась коробка

С поспешно купленной едой.
Соприкоснувшись головами,
Искрили, будто бы мотор.
На светофорах целовались,
Кляня очередной затор.
Замок свернулся, как калачик.
Открылся! Завершив побег,
К нетопленной январской даче
Мы шли, проваливаясь в снег.

• • •

Милым моим казалось, что мой тремор
Возникает от прикосновения к ним,
Когда я уйду на глубину, словно капитан Немо,
Я не исчезну, я стану другим.
Мои руки гладили шелковый ветер,
Мои губы расхаживали от плеча до плеча,
Я был любопытен, как юный сеттер,
Неугасим и трепетен, что твоя свеча.
Встречи были краткими, будто краткие прилагательные,
Кольца внутри дерева не предполагали грядущего пня,
Я так привыкал к сослагательному,
Что повелительное пугало меня.
Милые мне не ввали, что я единственный,
Кинемеханик крутил кино.
Бор был сосновым, лес был лиственным,
Мы бывали в Нижнем и в Бородино.
Когда я уйду в высоту, как старший лейтенант Гагарин,
Меня встретят апостол Петр и Сергей Королев,
На высокий борт, где каждой твари по паре,
Я войду без пары, но с букетом синих цветов.
Ослепленный мелькающими материками
Впередсмотрящий не крикнет: «Земля!»,
Мне нальют спирта, разбавленного твоими слезами,
Крепостью тысячу градусов выше нуля.

• • •

Когда задвигалось и загремело,
И на столе запрыгал суп в кастрюле,
Попрыгал, а потом упал.
Игрушки сразу лица отвернули —
Не их это игрушечное дело.
Тогда он в шкаф залез. Он в нем лежал и спал.
Потом проснулся, покричал, поплакал,
Поел размякшую картошку с пола
И, взяв с собою синюю собаку,
Вернулся в шкаф. Теперь его на свете нет.
Среди истлевших пиджаков, подолов,
Когда-нибудь найдут его скелет.
Нашедшие могли бы засмеяться —
Скелет в шкафу! Никто не засмеется.
Достанут этот маленький скелет,
Вцепившийся в бесцветную собаку
И вынесут на страшный белый свет.

• • •

Не оттого, что жизнь прошла,
Не оттого, что друг ушел.
А оттого, что жизнь прошла,
И оттого, что друг ушел.
А улица белым-бела,
На стенах старые картинки,
И по невидимой пластинке
Бежит незрячая игла.

№ 5, 2022 г.

Ю р и ъ П е р р и л ъ е в

Ч Е Л О В Е К С О С Т О И Т И З

•

десяток лет тому вперед
какой-нибудь пустяк
а снег идет а снег идет
по радио и так

гибридный вздох плохорошо
наречий раскардаш
не первой нежности стишок
берет на карандаш

полузабытая извне
лавстория (дурдом)
без alter выхода зане
опомниться потом

без вариантов и вины
ничьей раз добела
какие виды сочтены
на сказочный бедлам

какие если бы слова
присловий соловьи
ах как кружится голова
окрест галиматьи

союз печаль отточий загс
снежинок мошкара
мир полный как абсурд абзац
на кончике пера

•

ватный прореху заткнул туман
невидали вовне
если порой ты сходишь с ума
только что не по мне
если морозова то в санях
сурикова дразня
сколько всего говоришь во снах
значит не про меня
даже когда и твое окно
искоса за весной
смотрит что зыбью исходит но
точно не подо мной
все же надежда на магазин
к старке рахат-лукум
из новостей вздорожал бензин
ом мани падла хум

•

человек состоит из
представлений своих о
чем угодно и без но
всяких ровно мосты сжег
а на каждом шагу бог
его знает какой вздор
на глазу голубом в упор
ой мороз голосит мороз
что по коже в стране оз
изумрудной под срез волны
до весны как до той луны
ни поддать ни подать рукой
не иначе кошмар какой
хоть по скорой зови врачей
из подробностей мелочей
человек ЭС-О-ЭС из

Ю р и ъ М а х а ъ л и к

М О Р Е Г О Р И Т

•

Над камнем, унылым и голым,
как орден забвенья — репей.
Куда подевались монголы,
властители этих степей?

От Венгрии и до Китая
лежала, грозна и горда,
где Синяя, где Золотая,
где — красок не хватает — Орда.

Топтала, гнала, убивала,
пожаром и кровью слепа,
и вот ее как не бывало —
сама провалилась в себя.

Империи смерти и страха
и в прошлых, и в нынешних днях
кончаются крахом и прахом,
репьями на голых камнях.

Историки будущей школы
обсудят в усердьи крутом —
куда подевались монголы,
и те, что возникли потом.

И вспомнят — уже не по теме —
болота, где живо едва,
нешумное малое племя
все вяжет свои кружева.

•

Море горит зеленым, красным, белым и голубым огнем.
Обычно это происходит ночью, но иногда случается днем.

Не салют, не фейерверк, не праздник, не зороастровы степные костры,
не то, что балуется море и дразнит лунных морей сухие миры...

Эвглена зеленая пятому классу объяснила — это цветет планктон,
бульон, плавучая биомасса. (Синий кит достигает шестидесяти тонн.)

Напитавшись этим морским пожаром, киты уплывают куда-то на юг,
стадами, поодиночке, парами, — плывут под водой и поют,

чтоб оборвать — мгновенно, вместе, — плавный,
долгий плывущий стон,
а спустя полгода вернуться в песню — на ту же ноту и в тот же тон.

Над обрывом огромные звезды дышат, купол держит
слабый мерцающий ритм.
Даже если море понимает и слышит, море занято — море горит.

Черное — зеленое и голубое, в белом разгуле,
в красно-синей шальной гульбе, —
откликается звездам, приемный покой над тобою
адресует каждый укол и упрек тебе.

Звезды помнят свой ритм. Влажный пламень коснется руки.
Море горит. Киты уплывают, трубя.
И не ты выбираешь длину строки. Она настагает тебя.

№ 2, 2021 г.

Г а н н а Ш е в ч е н к о

П Е С Н И В И Н Н И - П У Х А

•••

Погоды дикие крепчали,
морозы щелкали с утра,
осадки, белые вначале,
темнели в сумерках двора.

Невеста нежно-голубая,
расправив душу, как фату,
прошла, руками разгребая
деревья, снег и темноту.

Проснувшись, сбросив одеяло,
на быстрой лошади верхом,
я ускользала и боялась
ей оказаться женихом.

И мне, летящему ковбою,
щегол известие принес,
что некрасиво быть собою
среди заснеженных берез.

•••

С зеркальной наледью на лицах,
с апломбом чеховских героев,
идут по утренней столице
Петров, Козловский и Бероев.

Они явились из Бразилии, из диких зарослей Гояса,
и всю Москву преобразили, стволы гирляндами
украсив.

Подсветками рекламу вытказ,
они пришли, как печенег,
менять собянинскую плитку
на евтушенковские снеги.

Припорошенные Козловским, стоят технические
вузы,
преображенные Петровым, плывут по Дмитровке
медузы.

Но мне милее всех Бероев —
он мишурой своей навеки
украсил здание сырое
у входа в зал библиотеки.

• • •

Скачут тучи, будто кони,
дождь водой о землю бьет —
на дряхлеющем балконе
дышит сыростью белье.

Как очки мартышка крепко
на приплюснутом носу,
деревянная прищепка
держит ситец на весу.

И трепещет, словно надо
что-то важное сказать, —
город в искрах листопада
осень празднует опять.

Старомодные рубашки
бьются крыльями в окно —
на балконе двухэтажки
время кончилось давно.

Этот мир — всего лишь слепок
домового воробья
в куче сломанных прищепок
и советского белья.

• • •

Пришла весна, как говорится,
и где-то лето поспекает,
я выхожу — на ветке птица
сидит и солнце воспекает —
о, эти взорванные почки,
о, эти лютики-цветочки,
ах, эта муха-цокотуха!

А я иду по тротуару,
мурлычу песню Винни-Пуха:

Привет играющим в кальмара!
Ведь я одна из тех ненужных,
из неприметных, бесполезных,
что проживают на планете,
как утверждают глобалисты,
настало время избавляться
от непотребного балласта.

Под птицею качнулась ветка,
и, как уже писалось выше,
сегодня ценность человека
не больше стоимости мыши.

О, эти взорванные почки,
ах, эти лютики-цветочки.

Сухбат Арлатуни

Я ИЗ ГАЗЕТЫ

•••

принял таблетку молодости
запил дешевым портвейном
выбежал на улицу и —
а там уже строят весну

уже покрасили крышу
цветом апрельского неба
и из каждого окна высовывается
толстая девушка его мечты

так что глаза разбегаются
так что ноги разъезжаются
так что руки разлетаются
сразу их всех-всех обнять

вместе с этой недостроенной
и ее строительным мусором
и небритыми ее гастарбайтерами —
вместе со всей этой весной

но в это время к сожалению
принятая таблетка молодости
прекращает оказывать свое
общеоздоровительное действие

и он так и застывает с разбежавшимися
глазами и ногами разъехавшимися
и руками в стороны разлетевшимися
в чудесной осенней грязи

•••

и грузины стали какими-то
неколоритными
и евреи стали какими-то
неколоритными
неяркими осенними
слегка уставшими
как все остальные
ставшими

и немцы стали какими-то
неаккуратными
электрички у них бывает
и не по расписанию
улицы у них стали какими-то
слегка неопрятными
точно с незаправленной рубашкой
мятой слегка засаленной

и русские стали какими-то
безалкогольными
не то чтобы меньше
но без удали пьют и без боли — и
тут бы радоваться но
почему-то не хочется
была связь между вином
(водкой-пивом-самогоном)
и — каким-никаким — но творчеством

стали негры светлей
и китайцы широкоглазее
происходит с народами ей-
богу тихое безобразие

если будет с такою
идти
скоростью это и далее
то махну рукою
на всё
и уеду к узбекам в Италию

ПЕСЕНКА О ЛЕДЯНЫХ ГОРОДАХ

мне приснились города
изо льда
из цветного
подкрашенного льда

из чуть красного Кремль стоял
Царицыно и Казанский вокзал
из чуть синего Новый Арбат
из зеленого Нескучный сад

кто-то скажет: Москва
но в Москве
изо льда не строят никогда
города же что видел во сне
были из чистейшего льда

из чуть желтого Кремлевский дворец
из серебряного пар над трубой ТЭЦ
из чуть черного ночная река
из чуть золотого вся Москва

значит все-таки Москва то есть да
то есть нет не земная не та
а по образу ее города
из небесного сложенные льда

и Тверская из сладкого льда
и Садовая и пробки на ней
и замерзшая в складках вода
и гляжу на них всё нежней

мне приснились города
изо льда

•••

Феодосий Степаныч давайте
давайте поговорим
Умирает Феодосий Степаныч
не хочет ни о чем говорить

Феодосий Степаныч я из газеты
пришел взять у вас интервью
А Феодосия Степаныча уже хоронят
полная квартира родни

Феодосий Степаныч с чего вы
начали свой трудовой путь?
А его землей забросали
какой уж там трудовой путь

Феодосий Степаныч спасибо
за очень интересный разговор
чего бы вы хотели в заключение
пожелать нашим читателям?

трудная профессия журналиста
очень трудная

очень трудная

19 МАРТА

Богородица тихо ступает по небу
внизу просторы земные в дымке
озёра мерцают как золотые нимбы
в хвое тают последние сухие льдинки

что Ты наречем о Благодатная — Небо?
да — синее сладкое необъятное небо
яко воссияла еси Солнце Правды
вспыхнув
миллионами радуг

Богородица тихо ступает по небу
а внизу взрывы гремят танки
города окутаны мертвым дымом
полустанки беженцы
полустанки

что Ты наречем о Благодатная — Небо?
да — мирное и прохладное небо
умоли Сына Твоего — Солнце Правды
да опустится мир на разоренные грады

Богородица тихо ступает по небу
реки блестят как венчальные ленты
и земля лежит в покое и неге
вся подробна — как на аэрофотоснимке

что Ты наречем? — да — и во сне бы
нам не видеть войны облик смрадный
помолись же о нас — Благодатное Небо
яко воссияла еси Солнце Правды

№ 3, 2023 г.

В л а д и м и р С а л и м о н

Н Е Т З И М Е !

•••

Как быстро менялся пейзаж,
и город в пейзаже менялся,
тот город, что прежде был наш,
теперь нам своим не казался.

Витринным стеклом отражен,
он темен, как тень за спиною,
которую ты обречен
повсюду влачить за собою.

Как горб на плечах горбуна,
что давит его непрерывно,
как вставшая дыбом волна
бушующего океана.

Нахлынет. Сломает. Сметет.
По улицам, по переулкам
потоком тебя понесет —
ущельем глубоким и гулким.

Я вижу, как все напряглись.
Мальчишки, разносчики пиццы,
и те с криком: «Поберегись!» —
шныряют меж нами, как птицы.

•••

День был теплый, но не слишком.
К вечеру похолодало.
Пахло чесноком, винишком,
шум был слышен из подвала.

Из кафешки полутемной.
Три стола на ножках шатких.
Стульев дюжина. Бетонный
пол в каких-то пятнах гадких.

Словно мучали несчастных
тут крошечными ночами,
невиновных, непричастных
палачихи с палачами.

Сев на стульчике у двери,
выпил рюмку со значеньем,
медный лоб, согласно вере,
крестным осенив знаменьем,

я за сирых и убогих,
за теснимых и гонимых.
Беспризорных. Одиноких.
Больно родиной ранимых.

•••

Так в день посещения в палате
больничной толпится народ
вокруг старика, что в кровати
тихонько концы отдает.

Мой дом нынче полон гостями.
За окнами холод и тьма.
Бог весть, как тропа между нами
быльем еще не заросла.

Но, верно, крепки наши связи —
приходят, являются вдруг
домой ко мне, как восвояси.
Вновь тесен наш дружеский круг.

Без слез, без речей заунывных,
присаживаясь на кровать,
не станут вопросов наивных —
что делать? как быть? — задавать.

Поскольку на эти вопросы
ответов нет ни у кого.
Поскольку мы только матросы
на зыбком челне у Него.

•••

Мерзнут ноги, стынут руки,
и в ушах еще звенят
колокольцы зимней вьюги,
отшумевшей час назад.

Но не нужно быть пророком,
чтоб увидеть свет во тьме,
в небе хмуром за порогом,
чтоб понять — конец зиме.

Нет зиме! — звучит крамольно,
словно фраза «Нет войне!»,
что срывается невольно
с языка в моей стране.

•••

Тому, ей-богу, не до смеху,
кто равновесье потерял,
лицом проехался по снегу,
что, как точильный камень, стал.

Лежит, как в том стихотворенье,
где паренек на финском льду,
сраженный пулей, без движенья
лежал в сороковом году.

Теперь — в иное лихолетье —
не дам герою своему
в стихотворенье умереть я,
его со льда я подниму.

Легко мальчишечку в охашку
сгребу — еще хватает сил,
снег отряхну, надвину шапку,
чтоб на ветру он не простыл.

•••

С оглядкой жить, любить с оглядкой,
прислушиваться неизменно,
что брякнет, ставши депутаткой,
княгиня Марья Алексевна?

Весной отсутствие свободы
особенно невыносимо,
ведь человек — дитя природы,
а не тюремного режима.

И я, родившийся в апреле,
когда ручьи под снегом черным,

—[НО]—

пробившие во тьме тоннели,
бегут, подобно рекам горным,

смывая грязь, сметая мусор,
я быть покорным не желаю,
я не хочу казаться трусом,
дрожать в тени, держаться с краю.

Отмалчиваться — невозможно.
Отсиживаться — неприлично.
Живу, люблю — неосторожно,
несдержанно и непрактично.

• • •

Солнца луч, как зуб молочный,
будучи остер, колюч,
на закате — в неурочный
час прорезался меж туч.

О Прощеном воскресенье
я забыл за суетой.
Солнца лучик без сомненья —
знак мне верный, не пустой.

Сына, внука и невестку —
всех простил,
прощаю я
ветер, рвущий занавеску.
Снег с дождем. И без дождя.

Я прощаю всем на свете.
Но себя я не прощу,
так как я за все в ответе.
Не забуду! Не спущу!

•••

Дорогу нам перебежала
на курьих ножках пташка божья,
она мелькнула и пропала
в сухой траве средь бездорожья.

Пичужка с маленькой косичкой
проворна необыкновенно —
как будто кто-то чиркнул спичкой,
и пламя схлопнулось мгновенно.

Казалось, солнца луч сквозь тучи
пробился, чтобы мы успели
пичужку рассмотреть получше,
и вдруг погас, достигнув цели.

Что это было — просветленье
чудесное среди ненастья?
Так скоротечно вдохновенье.
Пора любви. Минута счастья.

№ 2, 2022 г.

Влада Баронец

МОДЕЛЬ РОССИИ

•

Наша новая квартира
Открывается ключом
По периметру квартала
Мы идем гулять по кирпичам

Мы не зря риэлтора просили
Поудобней кирпичи
Все соседи
Новые красивые
Дверь закроем
Тихо покричим

Нам полагается
Спортивная площадка
И можно в домофон
Прощаться

Эти дни
Большие совмещенные
Свет окна в окно
Но бывают и несовместимые
Слишком оказалось высоко

А что за город
Да какая разница
В кондитерской
Нам торт морковный нравится
Нашего участка нет на карте
Кадастры нам сказали
Привыкайте

Все привыкло
Стихло
Перестало
Мы не любим новостей и книг
А идем на краешек квартала
А стоим и смотрим вниз

•

Чтоб собрать модель россии
Нужно где-то две трубы
Человек растерянный осенний
Птичьи патрули

Две трубы и долгий дым
Из тумана вышел дом
Тут калитка тут крапива
На веревке узелок
Тут не помню тут кровило
Корочкой взялось

Есть в россии антресоль
Где укутанная моль
Машет с берега платком
И набитая битком
Уплывает шерстяная память
В те края которых не исправить

А россии не собрать
Не собрать не разобрать
И гвоздями не прибить
И в глазах рябит

Злая будничная соль
Яичница с колбасой
Злая крыша и труба
Сон цветок и пыль трава
Подорожник позвонок
Завязывает узелок

•

Теперь есть долька у ежа
Теперь есть долька у чижа
Но взять хотя бы снег
Идет один на всех

Идет приличный человек
Возможностей ловец
Он весь такой беспроводной
Как рыбки под водой

Он бакенбарды поменял
Резину поменял
И приложение нажал
И сильно задрожал

Вот это всё вот это всё
И больше ничего
А снег пошепчет понесет
И вроде ничего

А если воевать войну
Включать ударную волну
И для спасения людей
Немного убивать людей

Придет пуховая метель
Постелет потеплей
Все падают кричат ура
Спокойной ночи детвора

Спокойной ночи
Молод
Сед
Спокойной ночи
Всем

Сергей Золотарев

ВИНОВИЙ АНГЕЛ

•••

неровен час ох как неровен
запекшиеся на краях
ты подрезаешь капли крови
иные контуры кроя

за время круглое привыкла
на вещи разные смотреть
как на их жизненные циклы
рождение-бортничанье-смерть

а что как маленькие осы
случайный облепив предмет
пьют голубую кровь износа
и образуется просвет?

а ты возникшие стихийно
оборки скорого конца
подравниваешь мастихином
меняя контуры лица

•••

а полы у нас — деревянные
и от старости краска их
сходит целыми караванами
оставляя пустынный след

—[НО]—

а соседи у нас — подобные
всем живущим доска к доске
идеально почти подобраны
и скрипят словно Жюль Массне

впрочем раньше у них под окнами
жил проросший Мафусаил
и пророческими волокнами
наше общество расслоил

но давно уже расщепленное
подсознание процвело
и сцепилось обратно кленами
в сад который и стал селом

и уже мы ступаем нехотя
больше празднуем и лежим
потому как любое действие
сочетает в себе нажим

•••

так зачем, мой ангел винный,
ты на пламенном крыле
стрелки перьев передвинул
и остался на земле?

не придет твой подзащитный
в набегающий поток
каждый вдох его посчитан
подведен его итог

ждать зачем? никто не знает
и всё больше часовой
механизм напоминают
облака над головой

№ 3, 2023 г.

Антон Метельков

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

•

где гуляет взгляд харона
по волнам из серпантина
гаснет пояс ориона
полюс ищет серафима

где у елочных игрушек
их потерянные лапки
их отколотые ушки
словно в прошлое закладки

словно тает снег под кожей
к декабрю совсем уставший
опереточный прохожий
год за вечер пролиставший

напоеет про sunday morning
нечем нам ему ответить
год похожий на лимонник
оборвали наши дети

РЭП-ЭКФРАСИС К ФИЛЬМУ «БОЛЬШАЯ ПОЭЗИЯ»

Я пишу стихи от лица горизонтальной плоскости.
Кто-то сказал, что революционер — это мертвец в отпуске.

Мне уже не встать ни смирно, ни даже вольно.
Люди спят. Войны — а что войны?

—[НО]—

По сути, война — это смена агрегатного состояния.
Длина, ширина — раз — и нету ни времени, ни расстояния.

Забрался на вышку, кишки развесил, как будто флаг.
Ладно, пуля — дура, ты-то чего такой дурак?

Пошел по небу и навернулся с облачка.
Все бы хорошо, только люди — сволочи.

Вот и пишу от лица горизонтальной плоскости,
Пока не растворился окончательно мозг в кости.

И молчит аптека, и безмолвствует улица.
Я к утру догорю, как последний фонарь.
Вот что, дети, пока ваши папы и мамы целуются,
Я говорю: самая страшная книга на свете — это букварь.

№ 4, 2021 г.

А л е н а Б а б а н с к а я

Т Р Е Т И Й

• • •

А ты не при деле, не при понтах,
Куда бы глаза ни глядели:
Идет мариубыль на всех фронтах,
Скудеют земные скудели.
Летает зеленая стрекоза,
Стрекочет в траве кузнечик.
Но сколько бы ты ни хотел назад —
Некуда, незачем, нечем.

• • •

В огороде мокнет кресло,
Белые сложив крыла.
Потому что в мире тесно,
Жизнь скромна и тяжела.
Ах, когда б не это тело,
Оторвалось от земли,
Встрепенулось, улетело
В бурелом и кушири.
Ведь душа не то, что с виду,
А совсем наоборот.
Я, пожалуй, тоже выйду
Этим утром в огород.

• • •

Посмотришь на звездочки света в листе.
Задремлешь, навряд ли проснешься к весне.
Такая глубокая дрема,
Что вовсе не выйдешь из дома.
А будешь сновидеть как все наяву
И солнце, и лес, и небес синеву,
Подсолнухов желтые лица,
В степном ковыле кобылицу.
Варенье, при нем золотую осу.
И осень, и зиму у всех на носу.
Янтарные дыни на грядках,
Их запах — тяжелый и сладкий.

• • •

Я говорю: паслен,
И молочай, и кашка.
А слышится: спасен
Небольно и нестрашно.

Скажу, что гибнет сад
И виноград мельчает,
А вижу чудеса
Под божьими очами.

Скажу: отнимет смерть
Все то, что сердцу мило.
Но льется листьев медь,
И вымолвить нет силы.

• • •

Ракит зеленые плафоны
Висят над гладью вод.
Выходят дачники с платформы
Уже который год.
Как будто бы обряд свершают
Неведомым богам
Они и полют, и сажают,
Назло любим врагам.
Они кряхтят по-стариковски,
Кляня свой быт простой,
А с ними Пушкин, и Чайковский,
И Чехов, и Толстой.

• • •

Чапаев скачет в пустоте
И шашкой машет.
И там, и там гора из тел
Чужих и наших.
Сжигает села и мосты,
Ведь он — Чапаев.
Но пустота от пустоты
Не отступает.
Чапаев мчится во весь дух
Судьбину встретить.
Но выживет один из двух.
И это третий.

№ 5, 2022 г.

Дарья Христовская

ТРИ СНЕГА

●

я спал, из снега выпростав рукав.
снег был крахмальный, глаженный и емкий,
и пахнул кипячением белья,

и шею мне царапал острой кромкой.
я холодел в ключице и плюсне,
и, все в тревожных мыслях о весне,

под ним дремали простыни в цветочек,
и время схоластической иглой
в заиндевелом компасе дрожало.

уже так много снега на дворе,
уже сугробы намело у школы,
я спал, меня тревожила игла:

перенаселено ли острие,
прошел ли караван через ушко ли,
но форточка захлопала в ночи.

и я проснулся, и закрыл ее,
и снова-два зарылся в одеяла.

прабабушка крахмалила белье,
а бабушка уже пренебрегала.

●

ходи, болтун, по святым местам — вот тебе ремесло.
на крещение купаться не стал,
а тут понесло.

дактиль или анапест — всё одно вода,
лед прозрачный крест-накрест посреди белого льда.
подойди, встань в ногах у бывшей
купели, теперь — окна.
кто был ее прорубивший?
и кто, раскинув руки, поднимается ото дна?

в брейгелевском пейзаже сфумато не предусмотрено.
дыхание холодного фронта,
бесконечная белизна спит и видит странные сны.

черные рыбаки вертят лунки до самого горизонта.
некрещёные мавки приникают к ним,
пьют воздух с той стороны.

●

у памятника толбухину шерстяные погоны.
целый город готовится к рождеству.
сколько снега архангельские вагоны
везут из-под исакогорки в москву!

первый фейерверк пошел, черно-белые крыши грохотом огороша:
вздрагивает нового храма недостроенная культа.
все это замечает розовая пороша,
снежная рождественская кутья.

в ночи не сверкая лампочками, грузовая фура
по соленой дороге берет тяжелый разбег.
кажется, что кругом творится литература,
но на самом деле — кругом происходит снег.

он вырастает и снизу, белый мох на песке и соли,
и сверху; снежный выпот покрывает целые города.
в промзоне, вокруг градирен и в поле
у всего вырастает желтоватая борода.

снег приходит с севера, как огромная черепаха;
ползет по стенам, как медлительная лоза.
маршалу толбухину белая шерстяная папаха
сползает на невидящие глаза.

свет, однако, падает с неба, и льется, льется:
по фонарным столбам; заливает подвалы; потом дома, —
праздник к нам приходит — и остается:

зима.

№ 6, 2021 г.

Федикс Чечик

СООТВЕТСТВУЯ ГОДАМ

•

Слишком ясно и очевидно всем — не для всех:
*... отпусти меня, Отче,
ибо я — это грех.*

Как морозом по коже
белоснежной зимой:
— Пожалей меня, Боже,
даже если не мой.

•

Мы не были детьми, — мы сразу
состарились, бессмертье зля.
И, как пломбир, лизали фазу
и обходились без нуля.

Мы были трепетнее лани
с мотором пламенным в груди.
Мы стали полными нулями
бесполой жизни посреди.

Когда мы жили понарошку,
когда мы жили не всерьез,
мы время гладили, что кошку
и доводили жизнь до слез.

Нам эти слезы отольются
и станут пулями они,
когда мы будем пить из блюда
свои оставшиеся дни.



Бесконечный, немного наклонный
дождь становится явью и сном.
Стал салатовым — грязно-зеленый
цвет иголок сосны за окном.

Сна и яви размыта граница,
сон становится явью во сне.
И поет незнакомая птица,
на салатовой сидя сосне.



Любовь и вера — ни при чем:
он — Бог, он — Лиля Брик.
Пренебрегая «кирпичом»,
он едет напрямик.

Неверующий ни во что —
воистину блажен,
как член небесного лито
без потолка и стен.

Он сам с усам, и нет ему
предела и конца.
Он по ночам лелеет тьму
и леденит сердца.

Он бесконечно одинок,
как бывший космонавт.
Он спит в раю без задних ног
и пьет полночный крафт.

•

Соответствуя годам,
в предосеннем гаме:
шелк втридорога продам —
расплачусь с долгами.

На закате дождь пошел, —
отдохну от пахот.
Полог неба — чисто шелк
или полубархат.

№ 5, 2021 г.

Вениамин Блаженный

ИЗ НЕОПУБЛИКОВАННОГО

• • •

Я возьму эту куклу забытую в руки,
И пускай на меня она глупо таращится,
Но на ней отпечатались детские муки
И в морщинах страдальческих лоб ее старческий.

Эта кукла пришла из замызанной сказки,
Ручки-ножки да рожица — вся тут экзотика.
Но не мог бы я жить без волшебной подсказки,
Без ее рокового беззубого ротика.

— Если Бог свое золото сунет мне в руку
Или будет тем золотом олово бесово, —
Я куплю себе старую глупую куклу —
Только с нею мне будет по-прежнему весело...

1995

• • •

Я ненавижу детей,
Жрущих нас всех без стыда...
Стаей голодных смертей
Кажется мне их орда.

1992

Вениамин Блаженный (Айзенштадт), 1921–1999.
Из архива Дмитрия Тонконогова.

• • •

Но убивать детей, но убивать старух,
Но убивать сестер и кротких сыновей, —
Ведь это все равно, что голубиный пух
Кровавою рукой пускать по синеве.

Пускать по синеве, чтобы узрел Господь
Людское естество, от страха трепеща...
Растерзанная высь, растерзанная плоть —
И все это рукой кровавой палача.

1992

• • •

Не тот, не этот и не та,
Не старец, не отроковица,
Но мировая пустота —
Одна и та же — в разных лицах.

1991

• • •

Каждый раз я прощаюсь с прохожими заново
И на немощь свою навожу красоту,
И они меня трезвого зрели и пьяного,
А однажды — так даже с сигарой во рту.

И они меня видели даже с подругою,
У подруги двоилось-троилось в глазах,
И она раздражалась базарною руганью,
Потому что была... Как бы это сказать?..

Да, знакомства мои не весьма-то разборчивы,
Но винить ли поэта в подобных грехах,
Если он столько лет прозябал на обочине
И признанья свои сочинял в лопухах?..

— Но прощание с жизнью все так же неистово
С каждым разом — и в вязкой житейской грязи
Я, как Пушкин, стою в ожидании выстрела
И не верю, что выстрел меня поразит...

1992

№ 6, 2023 г.

Александр Климов-Южин

СТРАХ УРОНИТЬ ТУДА ОЧКИ

•

Каждый раз перед холодами
я теряю очередные перчатки.
Потому дорогие не покупаю,
разве что — всё по сто:
из какой-нибудь там фланельки,
иль за двести — вязанные в два слоя.
А монгольские, с козьим мехом
мне зачем? Все равно посею.
А когда на ветру стынут руки,
от мороза пальцы немеют,
вспоминаю варежки на резинке,
шаровары с налипшим снегом,
что, придя со двора, от ворса
отдирал, как струпья от ранок;
вешал с варежками на батарею
и носил по три года,
пока не протирались в коленках.
Истончалась резинка,
ладонь подрастала
от детской до подростковой.

РЕМЕЙК

По переулкам бродит лето,
Стояла Света у окна
В потоках солнечного света,
Как Мэрилин Монро стройна.
Бессчетно ставила пластинку,

Кривлялась и ломала бровь,
Мы начинали без заминки,
И продолжали вновь и вновь.
Я двигаться с ней в такт старался,
Не детски был в нее влюблен
В свои семь лет, и сотрясался
На голове ее шиньон
Почти, как в танце Летка-енка;
Ее летучая ступня,
Ее округлые коленки
Несбыточным влекли меня.
От шифоньера до буфета
Мы с ней отплясывали твист,
«По переулкам бродит лето» —
Планировал осенний лист.
Она сошла с моей орбиты
И укатила навсегда...

Из лета Света в Апатиты —
Туда, где снег и хо-ло-да.

СТРАХ УРОНИТЬ ТУДА ОЧКИ

*Анне Аркатовой
Санджару Яньшеву*

Страх уронить туда очки,
Куда не дорастет рука,
Где торжествуют пяточки
И остры иглы плавника;
Приходят по ночам волчки,
Где меток глаз боевика,
Гуляют под землей сморчки,
Противен страх, и кровь лишка.

Не страшно — в беличье дупло,
Терпимо даже в туалет,

Но уронить всему назло
Туда, где их в помине нет?!
Не страшен промискуитет,
Пусть развлекаются торчки,
Меня терзает много лет —
Страх уронить туда очки.

Туда, где нет ни да, ни нет,
Туда, откуда никуда...
Где выключает города
От света черный пистолет.
«Перешагни, перескочи»,
А если даже и нашел,
Страх уронить туда ключи,
Откуда только что пришел.

№ 6, 2021 г.

С а н д ж а р Я н ы ш е в

R-ХРОМОСОМА

•

всюду раздувшиеся пластиковые мешки
(так пакуют останки разбросанные авиакатастрофой)
гигантские черные груши
в сумерках к одной из них
самой важной
прокрадывается человек
вонзает отвертку
выпускает на волю
еще живые листья

КРОТКАЯ

*В ритме Allegretto
из Седьмой симфонии Бетховена*

Вышла из дома
R-хромосома
С пачкою соли
Нет — папирос
С накося выку
С банкой сивухи
С сушкою в ухе
Уркаборос

С грелкой и лаской
С пенсией пляской
С йодом и краской
С чистой мочой

С нарой и койкой
С междусобойкой
С барною стойкой
С хором «а чо?»

С веком железным
С оком жеребным
С сроком шлимазлым
С пуншем карбид
С молотом женским
С хоботом веским
С проном имперским
Гермафроспирт

С кушем хабарским
С носом варварским
С шомполом барским
С рабским кайлом
С хлебом и сором
С мутным рассолом
С мором веселым
С «нахер» и «влом»

С верой неверной
С правдой и скверной
С веткою вербной
С «я б твою мать»
С «будем мириться»
С «кровь не водица»
С как говорится
В лоб да не в масть

Вышла из места
Времени теста
Среднего меццо
Что-то нашла
Брашно и пышно
Дернула дышло
Вышла — и вышла
Вон и вышла.

•

Д.Т.

Я говорил много раз, повторю еще.

Бездарных не ищем; им и так бездарно, с нами — подавно.

Не трогаем и разносчика на летнем велике, юношу с зеленым коробом.

Говорим о Даре.

Вот этот труслив, как лесная птица, но — талантлив, ох и талантлив.

Чересчур абстрактно? Развернем.

(Пьющих, калечных, неимущих, беспомощных в быту не рассматриваем; удачно замуж, вовремя вложился, со многими жилплощадью, но всесторонне даровит — тоже пока не берем.)

Этот вот нагл и подл, как ноздрев, со всеми дружит, всех задирает, обо всех злословит, однако сочится талантом.

Этот глуп, как вата, «все не так просто», говорит он, когда приходит учить меня патриотизму.

Талантлив, сука, может, потому до сих пор не забанен.

Смуглого юношу с зеленым или желтым коробом на спине пропускаем, долго смотрим ему в короб, на тонкий шрам от велосипедных шин внутри широкой барской лыжни.

Вот ах@енный (не путать с ах@ительным) музыкант или поэт, он извлекает райские звуки, иногда похожие на звуки ада; он любит двух женщин, всегда двух, а лишнего, говорит, мне не надо; талантлив как бог, талантлив как черт, это же ясно.

У этого гения отморожена эмпатия, чужую боль он чувствует как свою, свою рассматривает в лупу, изучает — не чувствует вовсе; чего нет, того нет.

Тот — прохиндей, снаружи демократ, внутри сталинист, улыбочивый молчун, умница, остролов, мудрец, гений дипломатии, во всем остальном — искрящийся талант; думаете, так не бывает? каждый день наблюдаю.

Каков же вывод?

А предельно простой: если все эти качества — не следствие таланта, то они, разумеется, ГЛАВНОЕ УСЛОВИЕ его существования и развития.

Талант — это экзотическая тварь; она требует от личности самых причудливых приношений.

Один лжет ради своего таланта, другой свинячит, третий прелюбодействует...

Видят ли они эту связь?

Едва ли.

Не важно.

Что-то забыл... ах да: где-то рядом обретается сводная сестра таланта — совесть, неприхотливая, как солунские братья.

От прожорливого родственника ей достается мерзлая картофельная шелуха.

«Живут не для радости, а для совести!» — говорит один лучезарный киногерой, чья назойливая неталантливость прихотливо оттеняет талант всех прочих персонажей фильма.

...И существуют ли они — добрые, честные, верные, чуткие, умные и т.д. — и при всем том безусловно талантливые?

Наверно.

Наверняка.

Но тогда ум, доброта, честность, чуткость, верность и т.д. — это и есть главный или, быть может, единственный их талант.

Будьте как дети, любите, творите, умножайте радость, питайте скорбь, спешите делать добро...

Только юношу, юношу моего не трогайте с зеленым коробом.

№ 6, 2021 г.

Дмитрий Песков

ЁСИКО В КИМОНО

•••

1.
сифу ляо синь говорил
я не сифу
я шифу

я уже
давно живу

давно дышу
а бороду еще
не отрастил

бороду
отращу

белая борода
на фоне
красного

это я

2.
ляо синь сказал про дао
его не выразить словами
и замолчал навсегда

тогда

его ученики
ушли в пещеры



сидят там одиноки
у костра

и думают

•••

такую дивную бы строчку написать

как взмах катаны в иайдо
как снег в последних фильмах куросавы

как сакура умэ или космея
возле умэномия-тайся в киото

одну бы строчку
только и всего

и написал
ёсико в кимоно

•••

лошадка из спичечных коробков
с бурой бумажной гривой

получила четверку

ее сделала моя бабушка
научившаяся делать все
своими руками

в каком-то дальнем лагере
в каком-то казахстане

№ 2, 2022 г.

Вадиш Муратханов

ЗАПРЕТНОЕ

• • •

Подрастая, спит в ночи
бабушкино тесто.
Сонный маятник стучит,
не находит места.

Спят качели во дворе,
ветром их качает.
И солдаты на ковре
без войны скучают.

Их горнисты не трубят,
не стреляют пушки.
В тесном ящике тебя
ждут твои игрушки.

• • •

Поодаль и настороже,
он не был низок и уродлив.
Свалившись набок, буква «Ж»
напоминала иероглиф.

Но годы шли, а мой сезам
мне жгучих тайн своих не выдал,
и без его посредства, сам
я все запретное увидел.

• • •

Бородачи с винтовками в руках,
взращенные на горных ледниках,
зачем стремитесь к моему жилищу?
Какую жаждете вы в нем отведать пищу?

Магнитофон мой тянет и жует.
В часах моих кукушка не живет.
Мы сами отступаем понемногу,
мы сами собираемся в дорогу.

• • •

Не проси, если влип в кошмар,
чтобы ночь поскорей прошла.
Не спеши себя ущипнуть,
сокращая обратный путь.

Лучше ляг и глаза закрой.
Ты не зритель и не герой.
Лишь тому, кто уснул во сне,
не грозит ничего извне.

СУББОТА

Проснешься и, глазам поверив,
поймешь: начало октября.
А желтые флажки деревьев
давно приветствуют тебя.

Припев твоей любимой песни
чем отдаленней, тем чудесней.
На кухне чашками стучат,
там бледный чай и блинный чад.

На пустыре твоя команда
уже разыгрывает мяч.
Лежи, как будто так и надо.
Листай программу передач.

№ 4, 2022 г.

Мария Затонская

СЕГОДНЯ К НАМ ПОСТУЧАЛИ

• • •

И вот от боли этой, от стыда
тебя ведут в далекое туда,
и голос твой уходит за тобой,
и запах твой уходит за тобой.
А по утрам кто в мушкетеры, кто в ларьки,
и улицы прозрачны и легки,
и едет фура «горводоканал»,
уже не скажут, что ты здесь существовал.

• • •

Чей это сон, старуха кричит
из-за закрытой двери на втором этаже:
выпустите меня, вы-пу-сти-те.
Полицейские ищут слесаря, вызывают родных,
собирают сведения по соседям, а мы
ничего не знаем.
Что ей привиделось в темноте
разума, памяти, долгого времени на земле,
какая такая минута в ней заорала
и чья душа
мимо нее пролетала.

• • •

Сегодня к нам постучали,
мы никого не ждем, —
крикнула мама из ванной,
папа зевнул на кухне.
То же сказали соседи,
Мишка, собака Мишки,
даже Виталий Палыч,
когда повернулся в постели.
Хлопали двери комнат,
ветер гулял в проходе,
и кто там
снует снаружи,
уходит, уходит вроде.

№ 1, 2022 г.

Наталья Баланова

НЕ МОЛЧИ

•••

присоединилась к зуму
на экране человек
как рыбка в аквариуме
рот открывает беззвучно

показалось
слух пропал у меня
комната молчит
улица

и словно я рыбка
меня не слышат
всем можно разговаривать
а я наказана

•••

автобус
тротуар
подъезд
квартира
будто знают
что я устала
молча передают меня
друг другу

столько лет не замечала
живу среди друзей

ФЕВРАЛЬ

в 6 утра
кто-то
проснувшись
в своей многоэтажке
будет непонимающе
смотреть на яркий свет
из наших окон

когда яркий свет
появится в окнах напротив
я пойму
туда тоже
вошла беда

• • •

Я знала,
во мне она живет.
Не могла выгнать,
только ругала:
Не хочу, злость, тебя знать,
не хочу.
Вот кормить не буду —
умрешь.

А теперь
про нее одну и помню.
Кормлю, кормлю —
еды много стало:
Расти, не умирай
и не молчи —
тебе-то нечего бояться.

Антон Бахарев

КРОССОВКИ

АЗБУКА МОРОЗА

...и отбивают зубы на морозе
морзянку Богу. Как об этом в прозе?! —
Сплошные точки, истое пюре.
Противовес цветаевским тире —
А всё ж стихи. Хотя и рифмы козьи.

И если говорят, что зуб на зуб
Не попадает — уголками губ
Пытаешься сказать, что попадает!
Когда настолько все не совпадает,
То поневоле делаешься груб —

И глуп. В глупцах не зацветает проза.
Нам остается азбука мороза:
Немноготочье, выбитое в ночь.
Волна — из точек. То есть свет точь-в-точь,
Но только звук... Как ночь многоголоса!

• • •

вещевой рынок осенью был настоящим адом
с рядами вместо кругов
пройдя которые ты получал заветное
за все свои деньги

промозгло грязно и людно
как три причины крестного знамения

а четвертым были продолговатые пирожки
с сублимированным картофельным пюре

они входили точно в рот
то есть маркетингово были гениальны
к тому же горячи и недороги
к тому же без непонятного мяса

но эта картошка всасывала слюну как жизнь
и однажды встала таким бетоном в горле
что я перестал дышать и даже подумал о смерти
глядя на этот маленький мир

но я выдавил ее обратно
мы шли покупать мне кроссовки
с мамой которая наконец-то
накопила денег на кроссовки

мы прошли все ряды ада
и вот наконец я их увидел
они сразу стали моей мечтой
кроссовки pro shot с баскетбольным шариком на цепочке

и мечта сразу же осуществилась
ведь это был вещевого рынок
а то что не хватило на спортивный костюм
сделало кроссовки еще более существенными

в них я ходил с удовольствием на физкультуру
даже на тупорылый волейбол
даже на секцию баскетбола
вообще преуспел в социализации

кроссовки я мыл как будто мыл ноги
спичечкой прочищал каждое отверстие
знал десять способов завязывания шнурков
что еще сказать они до сих пор не развалились

конечно я давно о них забыл
но вот сегодня вспомнил
потому что если совсем кратко
то Мишу Куимова не напечатали в Знамени

он рассказал мне и заодно прислал
подборку дебютанта которого напечатали
а я сказал что могу такой же чепухи
написать целую книгу и все рыдать будут

а потом думаю не буду голословным
и вот добрался до ноутбука
и пишу без рифмы и без ритма
хотя кажется ритм все-таки пробивается

пишу экспромтом первое что приходит
а тему задал конечно дебютант Знамени
там тоже было про вещевой рынок
и про лишения с приобретениями

и я не думаю что это плохо
его аморфная писанина
никто не знает что хорошо а что плохо
иначе все бы писали плохо

я только думаю что бесполезный брелочек
в виде баскетбольного мячика на моих кроссовках
был как бы самой настоящей поэзией
отличая ее от прочего

без этого мячика шли бы они на хер
серые и невзрачные как осенний вещевой рынок
одинаковые как торговцы и покупатели
еще терпеть из-за них смерть через картофель



Экскаватор роет канаву: р-р-р, р-р-р.

Самосвал выгружает трубы: щих-дзын, щих-дзын.

Идет дождь: с-с-с.

Первые заморозки: цок-цак, цок-цак.

Дети играют в войнушку: та-та-та, та-та, та-та-та-та.

Закручиваются метели: ш-ш-ш-ш.

Ветер приносит пение весенних птиц: фиу-у-у, чиу-чиу.

Сварщик варит трубы: тук-тук, ср-р-р, ср-р-р.

Бульдозер выравнивает площадку: ж-ж-ж, ж-ж-ж.

Далекий копер забивает сваи: тыдыщ-тыдыщ, тыдыщ-тыдыщ.

Самолетик в синем небе.

Мальши в песочнице: Ванюша, не забирай у Тани лопатку.

Гули у лавочки: ыгн-гн, ыгн-гн.

Скорая помощь на дороге: виу-виу-виу.

Внезапная сентябрьская гроза: вс-с-с, трш-ш-ш.

Листопад на грани слышимости: ш, ц, к.

Прорыв водопровода: пль-пль-пль, пль-пль-пль.

Трактор роет яму: ув-в-в, ув-в-в.

Рабочие меняют трубу: ..тваюмать, ..тваюмать.

Падает снег.

• • •

Сизифов перевал, рандомные поляны.
Мой серверный Урал. Урал мой биполярный.

Июльские снежки, январских вод паренье,
И пиксели мошки, звенящие сквозь время.

Которого стрела, качая облаками,
Ступенями сверла раскалывает камни.

Когда идешь по ним и ничего не вешишь,
Становишься одним с оставившими месседж

В зарубках на стволе, в пирамидальных турах,
Пропавшими во мгле, застрявшими в текстурах.

Здесь убраны под кат слова на полуслове,
Как лодки в пережат с собакой в изголовье.

И свист дозвуковой вшивается в повестку,
Когда над головой раскручиваешь леску.

Но если бьются в грудь мою тайменьи пасти,
Кто чувствуется вдруг на том начале снасти?

Вращающий башкой, как в драгоценном сейфе,
Сжираемый мошкой и делающий селфи.

№ 5, 2022 г.

Елена Кетичин

НЕ СТАВШЕЕ ГЕРБАРИЕМ

СИГНАЛ

Мне кажется, что многоточия
Письмо лишают дисциплины.
Так превышают полномочия
Без уважительной причины.

Так верят в знаки чудотворные,
А чуда нет и не бывало.
Так открывают дыры черные,
Заглянешь в них — считай, пропала.

Как понасеют, понатыкают,
Строфа вот-вот заколосится.
Как будто мысль растят великую,
Но мысль никак не уродится.

Они нужны в особом случае,
Когда не в холоде, так в пекле
В тебе все сильное, живучее
Ослабнет. Вот тогда не медли.

Добавь пунктир для понимания.
Посредством звука, света, строчки
Отправь мне краткое послание:
Три точки, три тире, три точки.

КИТ

А в сердце тот, кто век не спит,
Ворочает огромной мордой.
Представь, что это синий кит
Из атлантического фьорда.

Он, уходя от гарпуна,
Заплыл в спасительное русло,
Отчаянье испил до дна
И берега развел до хруста.

Теперь ты тоже океан,
Где всё никак не успокоясь,
Как симфонический орган
Звучит его громадный голос.

Так подбирают жизнь на слух
И, не произнося ни слова,
Сурово вышибают дух
Из инструмента духового.

Господь тут явно намудрил:
Пока лепил, бодряжил краски,
В гортань китовую забыл
Вложить голосовые связки.

Но он поет, черт побери!
И это только вполнакала.
Как тяжело с китом внутри.
Я тоже долго привыкала.

ЧУДОВИЩЕ

Палата заселялась, как страна,
И с жителями я была знакома:
Вот тетя кормит Катю, у окна
В коляске спит малышка из детдома.

А бабушка, по тумбочке долбя,
Ругалась матом, пела панихиду,
Плевала в нас, ходила под себя.
Но мы жалели бабу Степаниду.

Катюшу мать Сокровищем зовет,
Меняет бабке мокрые пеленки.
Малышку моет, помощи не ждет,
Дела ее заметны, но негромки.

Мне лучше всех — закрытый перелом.
На Катеньке — корсет уткнулся в шею.
А мать ее катает в горле ком,
Когда глядит в коляску, как в траншею.

Там не солдат с гранатами в руках,
Там Надя потянулась к погремушке.
Худая, в разноцветных синяках,
И ножки, словно лапки у лягушки.

Под Катин плач и бабкино нытье
Чужая мать чужую дочь ласкала.
«Чудовище прекрасное мое!», —
Шептала, целовала, бинтовала.

Двухместная палата номер два —
Как много боли, счастья, кислорода!
И в гипсовой символике родства
Я выписалась. Вышла из народа.

• • •

Ты скажешь: преувеличение —
мои поступки и слова.
А ты представь, что я — растение,
едва заметное, едва

вчера не ставшее гербарием
под равнодушный свист косы.
Я вся промокла от испарины,
а не от утренней росы.

Гербарий — ладно. Сеном, силосом,
под ноги брошенным скоту.
Но дунул ветер — уклонилась я!
Так и стою еще, расту.

Так и живу, в туман одетая,
обута в глину и песок.
Как человек — едва заметная,
от гибели на колосок.

ИГЛА

Не проигрыватель, врачеватель,
Что идет на осознанный риск,
Сжал спасительный иглодержатель
И глядит на виниловый диск.

Ставь на черное. Это обычай,
Безошибочное амплуа.
Выбирай — барабан Бадди Рича
Или клавиши Шарльбуа?

Понеслось беспокойное племя
На сапфировое острие —
Время юное, зрелое время,
Не прошедшее время твое.

Так, наверно, выходят из комы,
Из теней превращаются в свет.
Эй, привет! Мы до боли знакомы.
Ты боишься уколов? Я — нет.

А теперь окажи мне услугу —
Пусть поглубже проникнет игла,
Чтобы память, вращаясь по кругу,
До беспамятства нас довела.

№ 6, 2022 г.

Глеб Шубьяков

ПОДРАЖАНИЕ ДРЕВНИМ

Война, обещанная в среду,
не началась.
Сомкнувшие под снегом
ряды — легионеры
не сделали ни шага
на Запад.
Колесницы на врага
не понеслись.
С известием о мире
спешат гонцы.
— Войны не будет! —
на форуме объявят.
— Расходитесь!
И жертву бескровную
пенатам поскорее
принесите.

Да правит нами вечно мудрый цезарь!

...Куда же мы пойдём?
Оракулы сулили
на новых землях тучные трофеи.
Мы бросили дома
и скот побили.
Марсу в храме
обильные мы жертвы
принесли.
Или напрасно
оборваны оливы
на венки?

Победные зачем
поэты оды —
сложили?
Кто нами шитые штандарты
поднимет над
когортой?

Мы нивы кинули.
Мы лозы не подняли.
Мы погасили в алтарях
огонь священный.

Отдайте нам войну.

Да здравствует война!

Над форумом в пыли
больное солнце — черная монета.
К чему теперь нам новости о мире?

И цезарь нам такой теперь —
зачем?

№ 1, 2023 г.

Андрей Родионов

ОДНО СТИХОТВОРЕНИЕ

•••

Начиналось молчание
С серых читанных книг
Начиналось как знание:
Просто вырван язык

И я с глазами собаки
Не умеющей лгать
Собираю лайфхаки
Как получше смолчать

Здесь молчат только памятники
Да и те не молчат
Да и те словно маятники
Потихоньку стучат

Здесь стучат электрички
Стучит дятел в лесу
Тут стучат даже птички
Я молчание несу

Где стоящие прямо
Светлых сосен стволы
И какие-то ямы
Старых листьев котлы

Переделкинских судеб
Бесконечная хня
Пастернак неподсуден
Постучи для меня

По коричневым памятникам
Барабанная дробь
Летит соло ударника
Открывается гроб

По летучим растениям
Пожелтевшим от травм
Где печальное пение
Увядających трав

Я молчание осени
Ее вырванный зуб
Я молчание озера
Карася всплывший труп

И таким своим качеством
И доволен и горд
Это тоже стукачество
Шепчет в ухо мне черт

Эту жизнь половину
Просто перемолчу
Но у двери застыну
Больше не постучу

№ 6, 2023 г.

Лариса Миллер

СПЕЦИАЛИСТ
ПО РАЙСКИМ КУЩАМ

• • •

Я с жизнью говорю на языке одном,
На языке родном, на горестном, на русском.
Сейчас на склоне лет перед печальным спуском
Так трудно говорить на языке ином.
Я спрашиваю жизнь: «Поведай, как мне быть?»
И отвечает жизнь: «Мы эту тему бросим.
Ты лучше посмотри, какая всюду осень,
Как держит паучка серебряная нить».

• • •

В краю, где я душой и телом,
Сегодня каждый занят делом:
Сирень под окнами цветет,
А вешний ветер сор метет,
А птичка гнездышко свивает,
А кто-то ходит, убивает,
А я весь день хожу, молюсь,
Поскольку за родных боюсь.
Ведь здесь проблемы как решают —
Берут и воздуха лишают.
И ни сирени, ни птенца,
А лишь предчувствие конца.

• • •

Нас скоро на землю не будут пускать,
Придется пристанище где-то искать,
И чудится мне, что зимою и летом
Отныне и впредь будем мы под запретом.
И как докажу я, что вовсе не я,
Не я разоряю чужие края,
И всё, что там жителей жизни лишает,
Оно и меня, и меня разрушает?

• • •

Пытаюсь войти в свою прежнюю роль,
А мне сообщают: «Введите пароль».
«Да я здесь живу». Отвечают: «Живите,
Но только пароль для начала введите».
«Но я здесь с рожденья, с рожденья живу.
Хотите, я все адреса назову?»
«Не надо, не надо, здесь всё обновилось.
Пока ты спала, всё твое обнулилось,
И всё превратилось в сияющий ноль,
И, чтобы продолжить, введите пароль».

• • •

О, как меня мотает от
«Всё хорошо» до «Всё напрасно».
Который день, который год
Живу я там, где жить опасно —
Живу на старенькой земле,
Где под ногами все крошится,
Где ничего не стоит мне
Всего, что дорого, лишиться.
Где жить — такой огромный труд,

Что остается верить в чудо:
Что скоро взрослые придут
И заберут меня отсюда.

• • •

День наступил, но не на мину —
На тропку, что ведет к жасмину,
На летний сор, на лепестки...
Не надо рвать нас на куски.
И без того юдоль земная
Опасна, как волна взрывная,
И у судьбы так норов крут,
Что день прожить — огромный труд.

• • •

Умирать так с музыкой,
Приходить так с песней.
Ничего нет правильной,
Ничего уместней.
Надо, чтобы музыка
С самого начала
Трогала и мучила,
И конец венчала.
Чтоб бурлила, пенилась
И не прекращалась,
Чтобы боль сердечная
В песню превращалась,
Чтоб звучала песенка
И свежо, и ново,
Не давая выкинуть
Из нее ни слова.

• • •

Я в нашем веке столь гнетущем
Специалист по райским кущам,
То бишь по бликам и лучам,
По птичьим сбивчивым речам,
По свойствам нынешнего лета,
По краскам раннего рассвета.
Короче, я в наш тяжкий век
Необходимый человек.
И, если надо, не смущайтесь
И обращайтесь, обращайтесь.

• • •

Ну, что же это, боже, боже!
Всю жизнь пишу одно и то же,
Тасую стертые слова:
Рассвет, закат, листва, трава.
Но для меня они живые,
Как эти капли дождевые.
Мир после дождика в слезах.
А я пока торчу в азах,
И потому не иссякаю,
Что этот мир не постигаю.

№ 5, 2023 г.

Андрей Пермяков

ДВА СТИХОТВОРЕНИЯ

ВЫХОДНОЙ

Вышел. Видел сойку.
Видел лепесток.
Видел новостройку,
видел городок.

Видел, что неверно,
видел, что давно,
видел, как в цистернах
кончилось вино.

После видел доброе,
видел просто так.
Видел, как разобранный
ехал кадиллак.

Видел, как летели,
видел, как легли.
Слышал, как сгорели
в небе корабли.

Раздевался тщательно,
плакал, видел сон.
Видел выключатель.
Щелкнул. Вышел вон.

ПОРТРЕТНОЕ

Я зачем такой хороший,
Четкий, словно лезвие?
С неизменно юной кожей
И готовый к действию?

Потому что по субботам,
(можно чаще, реже — нет)
Я гляжу цветное фото,
Где мне сразу восемь лет.

Я там ровненько иду,
Ничего не делаю.
Улетаю на ходу,
Морда загорелая.

Новым мячиком горжусь,
Спичками разжился.
Я не знал, что завершусь,
И не завершился.

№ 4, 2023 г.

Вячеслав Пошов

ТЕПЛЕЕ НОСКИ

ДА

в театре музкомедии
уже не первый год
то снег летит то дождь идет
то мошकारа снует
в театре заповедном
заросшем сосняком
уже не тянет медленным
цементным сквозняком
мхи карие зеленые
зеркальная вода
вы скажете тарковский
тарковский скажет да

ВЕСНА

По рекам и каналам
кораблики плывут.

В старинных коммуналках
по-прежнему живут.

Дешевые обои
купили старики.

И небо голубое.
И ветер вдоль реки.

ОТЕЦ

кошка белая как ночь
спит на подоконнике
видит сон старушка-дочь
об отце-покойнике
улыбается отец
рядом сел и снится
возвратился наконец
разбудить боится

ШИТЬ

когда не случается счастья
когда не бывает любви
к тебе то звонят то стучатся
и ты отвечаешь живи
а сам не живешь доживаешь
сам нитку живую жуешь
сам саван себе дошиваешь
обжеванный кончик суешь
в игольное ухо как жало
и шепчешь
пожалуйста жаль
башмачкину чтобы не жало
и плюшкину чтобы хоть шаль

НОСКИ

Все умерли —
и лето наступило...
Опять все умерли —
и осень...
и зима...

Я теплые носки в AliExpress купила,
хотя могла связать сама.
А просто захотелось.
Захотелось.
Я их надела словно перед сном.
Прощай,
засаленность-зажитость-закоптелость —
дом, милый дом.

ПО ДНУ

таня с ваней шли по дну
вечером с учебы
он любил ее одну
лишь ее еще бы
таня с ваней шли по ул
не прочесть названья
ваня глупо утонул
утопилась таня
не горели фонари
не дрожали лужи
он светился изнутри
а она снаружи

• • •

хочу сказать я вот о чем вам
я четко помню этот вид
я был сережей щербачевым
был в горло выстрелом убит
я точно знаю что не выжил
я помню тьму черней чернил
а он все вытер тряпку выжал
и самолет присочинил

СЧАСТЬЕ

Меж соснами среднего роста
я шел к остановке «Кристалл».
Так просто,
так тихо,
так остро
снег падал и вдруг перестал.
Мгновеньем пронзенный, я замер.
И щиплет от счастья в носу.
И полными радуг глазами
держу я весь мир на весу.

№ 5, 2023 г.

В л а д и м и р И в а н о в

М И М О М У З Ъ К И

РАЗВОД

Говорит, что жить не может
Без нее, и ворот рвет.
Выяснить — себе дороже,
Врет он нам или не врет.

Щупать пульс? Помилуй, Боже!
Не настолько брат наш глуп.
Значит, где же мы и кто же,
Если он и вправду труп?!

Нас и так от местных плясок
В пот бросает ледяной,
Как ефрейторов запаса
Перед ядерной войной.

ФОРТОЧКА

Повторно открыть не попросит окна.
Тебя не расслышали, ну же!
Но словно пожаром гортань сожжена
И оловом залиты уши.

В трамвае, расшатанном, как дровенник,
От зноя я мучаюсь тоже,
И тоже немотствую, глядя на них —
Собратьев моих краснокожих.

Молчим, будто знаем, глаголы не те
Исторгнет наш зев коммунальный,
А те — на дельфиньей звучат частоте,
Сплетаясь в этюд музыкальный.

Лишь старый кондуктор бранится и прет
Сквозь строй кардиганов и маек,
Рывком запускает в вагон кислород
И музыки не понимает.

ЖУЛИК

Выпилил орден себе из фанеры,
Краской раскрасил — ношу,
Чтоб благородным девицам, к примеру,
На уши вешать лапшу.

Думал, сгодится для понта и форса,
Чтобы в доверье входить.
В старом кино откликался на «Фокса»
Орденосец-бандит.

Но оказалось, что глуп я без меры,
Взявшись былье ворошить...
Там — нам салют отдают пионеры,
Здесь — до рассвета б дожить.

Даже вокзальная б... плечевая,
Цацку заметив на мне,
Морщится, взглядом меня убивая,
Как на гражданской войне.

У гробовых нескончаемых крышек
Прячу свой крест под ладонь.
Новый для новых зажгут ребятишек
Медленный вечный огонь.

•••

Двоим понравилась одна.
Они пошли за ней,
Но наступила им война
На краешки теней.

Давались все трудней шаги
Влюбленным бурлакам —
Цеплялась смерть за башмаки
И ветер в грудь толкал.

Касались галстуки земли,
Вздувались вен бугры,
А тени вспять их волокни,
В свои тартарары.

Впрягался в них линкор и танк,
И пешие полки,
И вязли в собственных следах
Бедняги бурлаки.

И вязли в собственных слезах,
И грызли удила...
А эта фифа, так-растак,
Ушла, как не была.

И мирный город на горе
В петле большой реки
Казался мухой в янтаре
Для будущей серьги.

•••

Из болот подняли самолет.
Ахнули: как летчик сохранился!

Будто снова сорок третий год,
Тот, в котором он и приводнился.

Чистый лоб, упрямая скула,
На щеке гагаринская ямка...
Впрочем, к ямке насмерть приросла
Шлемофона кожаная лямка.

Выдохнул болотный институт —
Кончена нелегкая работа.
Труп хранить нетленным — это труд,
Адский труд, достойный идиота.

Ты у бальзаматора спроси,
Что кошмаром мухи в саркофаге
Жил и выл, мол, чашу пронеси,
И на койке вскакивал во мраке.

От бессонниц высох, стал, как тень,
Хоть справляй прижизненно поминки,
Но без тени лени всякий день
С мумии вождя сдувал пылинки.

Редкий смертный вынес столько мук,
Сколько их хлебнул профессор Збарский.
И кремлевский человек-паук
Воздавал кудеснику по-царски.

Дал звезду, а после посадил.
Но и там, в спасительном ГУЛАГе,
Он в бреду под пытками твердил
О какой-то мухе в саркофаге.

Боже, отдохнем ли? Отдохнем.
Вынырнем кувшинками в тумане,
Если небу летчика вернем,
Если по-людски его помянем.

ВОСКРЕСНЫЕ ТАНЦЫ

Мимо музыки танцуют
Абсолютно все, все, все.
В глине тапочки буксуют,
Дождик каплет — быть грозе.

Здесь не клуб, а танцплощадка —
Вмиг промокнешь до трусов.
Страж порядка, для порядка
Бьет мокриц и мокрецов.

Если вырубил рупор,
Продолжаем танцевать.
Это страшно, это глупо,
Мы придем сюда опять.

№ 3, 2022 г.

Анна Аркатова

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ
НЕ РАБОТАЕТ

Нас обучали в г. Кировограде
К урокам просыпаться бога ради
Родители с восьми и до пяти
На АРЗ* — им поле перейти
Не жизнь прожить — а всю увидеть сразу
Уложенную в беспросветный пазл
Щербатый по краям еще пока
Но и туда нацелена рука
Мы шли домой мы бегали из дома
Мы праздновали сбор металлолома
Мы танцевали сбор макулатуры
Мы мелом шуровали шуры-муры
И ждал меня у школы Вова Ш.
И юбка воспаряла как душа

Теперь он шлет свой скудный репортаж
Вот кабинет на вид почти блиндаж
Вот газовой горелки свет и тьма
Вот курево чтоб не сойти с ума
Вот дом посередине в нем дыра
Вот то что было целым до утра
Вот два обломка прямо перед ним
Упавшие пока он шел к больным

Я в г. Москве включаю все что есть
Стиралку пылесос посудомойку
Компьютер — он и так всегда включен
И чайник он всегда готов включиться

*АРЗ (аэрзэ) — авиаремонтный завод.

—[НО]—

И только чудо-печка свч
К свече не подключается вообще
Ей сеть не сеть и ток уже не ток
Какой в ней прок — а в чем сегодня прок
Ночь впереди и болевой порог
Всё ниже всё положе всё дружней
Что до печей — да мало ли вещей
От остановки коих
Мы замирали как рулон обоев
Посаженных на разведенный клей

Их было сто — их не было совсем
Один и тот же бог то глух то нем
То смотрит на источники огня
Как одноклассник смотрит на меня

№ 4, 2023 г.

Иезуца Амичай

**ПАМЯТЬ ЛЮБВИ: ДОГОВОР,
УСЛОВИЯ...**

АККУРАТНАЯ ЖЕНЩИНА

Аккуратная женщина с короткой стрижкой наводит порядок в моих мыслях и ящиках комода, она передвигает чувства, как мебель, расставляя всё по-новому.

Женщина, чье тело, перетянутое поясом, отлично поделено между верхом и низом, женщина с глазами, предсказывающими погоду, противоударное стекло.

Даже крики во время секса — по порядку, один за другим и не смешиваются: сначала домашний голубь, потом дикий голубь, потом павлин, раненный павлин, павлин, павлин. Потом дикий голубь, домашний голубь, голубь, голубь, сова, сова, сова.

Аккуратная женщина: на ковре рядом с кроватью ее туфли всегда стоят носками от постели и дальше (мои ботинки — в ее сторону).

В ДРУГИХ МИРАХ

«В других мирах ты был бы прав, но не здесь». Посреди разговора твои слова перешли в тихий плач, как посреди письма синий цвет в черный, когда ручка высохла,

или как раньше меняли лошадей в пути:
разговор выбился из сил, а плач свежий.
Летние семена летели в комнату, где мы сидели,
миндальное дерево перед окном почернело,
еще один отважный солдат в вечной войне
между сладостью и горечью.

Смотри: так же, как время — не внутри часов,
так же любовь — не внутри тел, они только
показывают любовь.

Но мы будем помнить этот вечер,
как помнят технику плавания
до следующего лета.
«В других мирах ты был бы прав,
но не здесь».

МЫ БЫЛИ БЛИЗКИ

Мы были близки друг другу,
как два билета в лотерею,
с маленькой разницей в одну цифру.
Один из них выиграет, может быть.

Прекрасны твоё лицо и твоё имя,
они напечатаны на тебе,
как на банке с волшебным йогуртом
картинка и название.
Ты ещё внутри?

Придет время, когда дни будут
сладкими, как ночи, и прекрасны
для тех, кому время больше не важно,
и мы узнаем.

ЦВЕТОЧНЫЙ ЧАЙ

Она налила ему цветочный чай, чтобы
успокоить его. Она сказала: «Твои желания
это похоть, ее приручали тысячи лет,
ну, знаешь, как волков и собак.
Этой ночью ты будешь, словно
тысячи лет назад».

Она повела его, взяв за охрипший член,
в белую спальню, чтобы обрести милость
в глазах Бога и людей.

«Ты удивишься, что может быть
крыльями. Ты удивишься: даже
тяжелые бедра, даже воспоминания».

Она сняла свое длинное платье,
внешнюю душу тела.
А внутреннюю — оставила.

ПАМЯТЬ ЛЮБВИ: ДОГОВОР, УСЛОВИЯ

Мы были словно дети, которые не хотят
возвращаться с моря. Пришла голубая ночь
и после нее черная ночь.

Что мы взяли с собой для дальнейшей жизни —
пылающие лица, сияющие,
как терновый куст, и он не сторит
до конца нашей жизни.

У нас был странный договор:
если ты придешь ко мне, я приду к тебе,
странный договор и странные условия:
если ты забудешь меня, я забуду тебя.
Странные условия и хорошие вещи.

Отвратительные вещи пришлось делать
в дальнейшей жизни.

ПЕЧАЛЬ В ГЛАЗАХ И ОПИСАНИЕ СТРАНСТВИЙ

Есть темная память, она посыпана
шумом играющих детей, словно сахарной пудрой.

Есть вещи, которые не защитят тебя больше.
Есть двери, которые крепче, чем могилы.

И есть мелодии, как та в Маади
рядом с Каиром, она обещала вещи,
которые сегодняшнее молчание
хочет, безуспешно,
сделать реальностью.

И есть место, куда ты не сможешь вернуться.
Дерево прячет его днем,
лампа освещает ночью.
Больше я не могу сказать,
и больше я не знаю.

Забывать и расцветать, расцветать и забывать, это всё.
Остальное — печаль в глазах и описание странствий.

Перевод с иврита Александра БАРАША

№ 4, 2021 г.



Мастерская

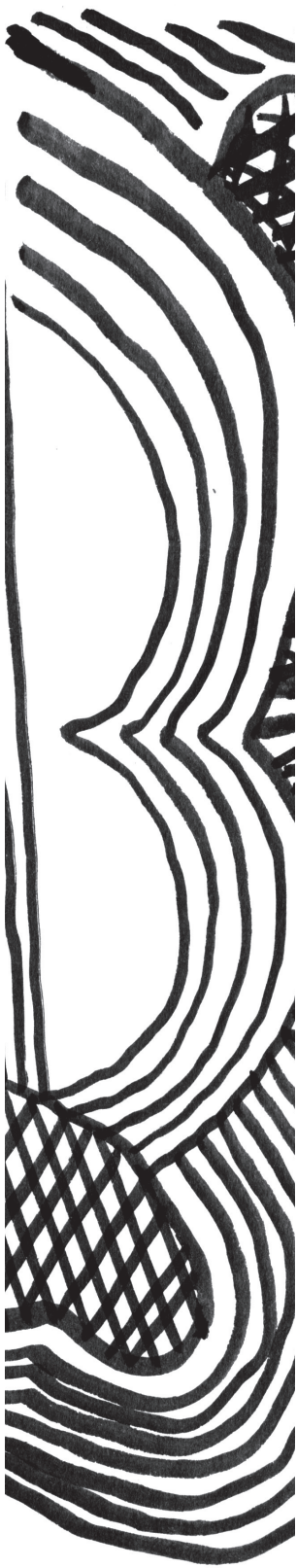
Григорий Кружков. Фрост в Англии. *Эссе*
Татьяна Стамова. Жил поэт по фамилии Майков...

Лимерики

Алексей Алёхин. Кому и на фи́га нужна поэзия,
или О назначении поэта. *Лекция*

Вадим Перельмутер. Ренессанс Вяземского.

Очерк



Григорий Кружков

ФРОСТ В АНГЛИИ

Как известно, поэзию Роберта Фроста признали сначала в Англии, и только потом в Америке. Так что интуиция его не подвела, когда в 1912 году он решил вместе семьей переехать из Новой Англии в старую — чтобы сменить обстановку и глотнуть другого воздуха. Именно здесь, в Лондоне, уже в следующем году у тридцатисемилетнего Фроста вышла его первая книга «Прощание с юностью», состоявшая из давно написанных стихов, наполовину — еще до 1900 года.

Интересно, что в этой книге к названиям стихов он добавил развернутые подзаголовки, например, такие: «Юноша убежден, что скорее станет самим собой, если забудет о мире»; «Он лелеет свое осеннее настроение» и так далее.

Юрий Здоровов, составитель и комментатор самого полного на сегодня русского издания поэзии Фроста, называет эти подзаголовки «ироническими». А я бы скорее назвал их стилизованными. Здесь Фрост подключается к давней английской традиции, истоки которой, как минимум, в XVI веке, а последний пример, который был тогда «на слуху», — сборник стихов Уильяма Йейтса «Ветер в камышах» (1899) с подобными же развернутыми названиями.

В свою очередь, и Йейтс стилизует эти подзаголовки под образец, привлечший его в старой английской традиции, а именно стихи Томаса Уайета (1503–1542). Впервые они были напечатаны в сборнике лирики первой половины XVI века «Песни и сонеты», так называемом «Сборнике Тоттела» (1557). И хотя озаглавлены они были, по-видимому, не автором, а составителем, названия прижились, и вплоть до середины XX века печатались только так.

Сравните.

Томас Уайет (1557):

«Влюбленный сравнивает себя с галерным рабом, а даму со звездой»; «Он сознает, что доверился опрометчиво»; «Влюбленный сетует, что подобное не излечивается подобным»; «Он восхваляет прекрасную ручку своей дамы»...

Уильям Йейтс (1899):

«Влюбленный рассказывает о розе, цветущей в его сердце»; «Он вспоминает забытую красоту»; «Он скорбит о перемене, случившейся с ним и его любимой, и ждет конца света», «Он мечтает о парче небес».

Роберт Фрост (1913):

«Юноша убежден, что скорее станет самим собой, если забудет о мире»; «Он не боится, что его не поймут»; «Он лелеет свое осеннее настроение».

Думаю, что у Фроста эти подзаголовки исполняют примерно ту же функцию, что и у Йейтса — определенного отстранения автора от лирического героя, который уже успел измениться и смотрит на себя самого с некоторым покровительственным сочувствием. Не зря Фрост называет его «юношей»; он сам в это время уже давно не юноша, ему 38 лет. Так что очень точно и пронизательно Ю. Здоровов перевел название книги Фроста (цитату из стихов Лонгфелло, непонятную вне контекста) как «Прощание с юностью». Именно так!

Перепечатывая свою первую книгу в США через два года, он эти подзаголовки снял, потому что учитывал другого читателя и другую традицию.

Трехлетнее пребывание в Англии стало поворотным пунктом жизни Фроста. Там он нашел единомышленников, там обрел настоящего друга, прозаика и поэта Эдварда Томаса, почти своего ровесника. Особенно сблизил их год, проведенный в своего рода «литературной колонии» в деревне Даймок, на границе Глостершира и Шропшира. Поселившихся там в 1911–1915 году поэтов называют «даймоксскими поэтами», среди которых были Руперт Брук, Уильям Гибсон и Джон Дринкуотер; все они печатались в альманахе «Георгианская поэзия» и составляли часть более широкого круга так называемых «поэтов-георгианцев».

Дом, в котором поселился Фрост с семьей, «Литтл Иденс», сохранился в прежнем виде. Вокруг — поля и леса необычайной красоты, настоящий заповедник диких нарциссов и других цветов. Они с Эдвардом Томасом жили по соседству и часто гуляли вместе по этим по окрестным лугам и рощам, «ботанизировали». Эдвард знал все названия растений и заразил своим

увлечением Фроста. С этими прогулками связано одно из самых хрестоматийных стихотворений Фроста «Другая дорога» («The Road Not Taken»).

Эдвард, хотя и заядлый ходок, много путешествовавший пешком (и описавший эти путешествия по Англии в своих книгах), отличался какой-то нерешительностью в выборе дороги и часто бранил себя, что свернул не туда, что надо было свернуть в другую сторону и тогда бы они нашли место, где цветов больше. Фрост, воспитанный в пуританском духе и часто слышавший от матери правило: «Пахарь не оборачивается назад», — подтрунивал над ним. Тогда же он набросал стихотворение, которое закончил, уже вернувшись в Америку, и послал его другу как шутку.

*Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And looked down one as long as I could
To where it bent in the undergrowth...*

ДРУГАЯ ДОРОГА¹

*В осеннем лесу, на развилке дорог,
Стоял я, задумавшись, у поворота;
Пути было два, и мир был широк,
Однако я раздвоиться не мог,
И надо было решаться на что-то.*

*Я выбрал дорогу, что вправо вела
И, повернув, пропадала в чащобе.
Нехоженей, что ли, она была
И больше, казалось мне, заросла;
А впрочем, заросшими были обе.*

*И обе манили, радуя глаз
Сухой желтизною листвы сыпучей.*

¹ Здесь и далее стихотворения в переводе Г. Кружкова, за исключением стихотворения «Березы». (Прим. ред.)

*Другую оставил я про запас,
Хотя и догадывался в тот час,
Что вряд ли вернуться выпадет случай.
Еще я вспомню когда-нибудь
Далекое это утро лесное:
Ведь был и другой предо мною путь,
Но я решил направо свернуть —
И это решило все остальное.*

Эдвард Томас, однако, принял его всерьез. Шла война. Томас по своему возрасту и многочисленности (трое детей) не подлежал призыву в армию и мог вступить в нее только добровольцем. Идти ему не хотелось. Он ненавидел всякое насилие; к тому же армия, война — это всегда толпы людей, а Томас любил одиночество. Несколько месяцев он колебался, и стихотворение Фроста роковым образом повлияло на его решение. Он пошел добровольцем на войну и через полтора года погиб в первом большом сражении под Аррасом во Франции.

Как в древнегреческой трагедии, невнятное предсказание сбылось с ужасающей точностью.

*Oh, I kept the first for another day!
Yet knowing how way leads on to way,
I doubted if I should ever come back.*

*[Другую тропинку я оставил для другого раза.
Но зная, как одно вытекает из другого,
Я сомневался, что вернусь сюда снова.]*

Двумя годами позже Фрост посвятил своему другу стихотворение, где обозначает его имя лишь инициалами: «То E.T.». Начинается оно так:

*Глаза смежив, я уронил на грудь
Твоих стихов раскрытый белый том:
Как голубь на кладбищенской плите,
Он трепетал распластанным крылом.*

Как достоверны первые две строки! Любители поэзии знают, что лучшая поза для чтения стихов — именно лежа на спине: лишь в этом положении можно полностью забыться и перенестись в мир, созданный поэтом.

А какой потрясающий образ в двух последних строках! Раскрытая книга как птица, трепещущая крыльями — простая метафора, но «голубь на кладбищенской плите» — символ, бесконечно расширяющий перспективу стихотворения. Голубь — дух, а могильная плита, хранящая память о поэте, — не только книга, но и друг поэта, читающий ее в эту минуту. Образ, как будто взятый из поэзии барокко и доказывающий, на мой взгляд, как чутко Фрост читал английских поэтов-метафизиков. «...Они мертвы, и я — их некролог» (Джон Донн). Или: «Мой жребий мне уклад сломать велит, / Когда мы, смолкнув, длимся в речи книг...»

Вот стихотворение Фроста целиком.

*Глаза смежив, я уронил на грудь
Твоих стихов раскрытый белый том:
Как голубь на кладбищенской плите,
Он трепетал распластанным крылом.*

*Я отыскать тебя хотел во сне,
Хотел договорить с тобою, брат;
Ты был из тех, кто, не боясь судьбы,
Жил как поэт и умер как солдат.*

*Мы думали, что тайн меж нами нет
И друг у друга нам не быть в долгу;
А получилось так, что я с тобой
Победой поделиться не могу.*

*Когда ты под Аррасом пал в бою
При вспышках орудийного огня,
Война окончилась лишь для тебя
В тот час; а ныне — только для меня.*

*А для тебя тот бой еще гремит;
И что мне жалкий фимиам побед,*

*Когда сказать тебе, что враг разбит, —
И этого мне утешенья нет?*

В Англии написано и одно из самых замечательных стихотворений Фроста «Березы». Поэт, гуляя по лесу, видит согнутые почти до земли березки и вспоминает, как он в детстве «катался на деревьях» — так называлась эта забава, когда мальчишка карабкается на молодую березу до самого верха, пока она не поддастся его весу, — и тогда, наклонившись, плавно спустит его на землю.

Вот концовка этого стихотворения в замечательном переводе Андрея Сергеева:

*Я в детстве сам катался на березах.
И я мечтаю снова покататься.
Когда я устаю от размышлений
И жизнь мне кажется дремучим лесом,
Где я иду с горящими щеками,
А все лицо покрыто паутиной,
И плачет глаз, задетый острой веткой, —
Тогда мне хочется покинуть землю,
Чтоб, возвратившись, все начать сначала.
Пусть не поймет судьба меня превратно
И не исполнит только половину
Желания. Мне надо вновь на землю.
Земля — вот место для моей любви, —
Не знаю, где бы мне любилось лучше.
И я хочу взбираться на березу
По черным веткам белого ствола
Все выше к небу — до того предела,
Когда она меня опустит наземь.
Прекрасно уходить и возвращаться.
И вообще занятия бывают
Похуже, чем катанье на березах.*

Медитативное течение стихотворения в первой части дважды прерывается образами такой яркости и неожиданности, что

они, как вспышка ракеты, еще долго не гаснут и освещают все соседние строки.

*Но не мальчишка горбит их стволы,
А дождь зимой. Морозным ясным утром
Их веточки, покрытые глазурью,
Звонят под ветерком, и многоцветно
На них горит потрескавшийся лед.
К полудню солнце припекает их,
И вниз летят прозрачные скорлупки,
Что, разбивая наст, нагромождают
**Такие горы битого стекла,
Как будто рухнул самый свод небесный.***

И еще:

*А раз согнувшись,
Березы никогда не распрямятся.
И много лет спустя мы набредаем
На их горбатые стволы с листвою,
Влачащейся безвольно по земле —
**Как девушки, что, стоя на коленях,
Просушивают волосы на солнце...***

Такие яркие и запоминающиеся сравнения, подобные драгоценным инкрустациям, мы встречаем, например, в шекспировских трагедиях, у Мильтона, и иногда — у подражавших им английских романтиков. Фрост вводит их в свои отнюдь не героические сюжеты, где они вдвойне неожиданны и очень эффективны.

Тут хочется еще сказать о том, что можно назвать таинственностью Фроста. О том, как у него за простым, прозаическим сюжетом скрывается многозначное, многослойное содержание. Раньше я воспринимал «Березы» как метафору творчества. Тяга высоты, карабканье на самую верхушку дерева — творческий порыв, но возвращение на землю неизбежно, и обе эти фазы желанны, потому что все время дышать воздухом высоты невозможно и скучно. «Прекрасно уходить и возвращаться...»

Но недавно я почувствовал и еще один возможный смысл. Береза — это юная девушка, а своеволие мальчишки, который хочет «кататься на березах», это то, что раз и навсегда меняет ее судьбу. Многозначительно звучит фраза: «А раз согнувшись, березы никогда не распрямятся...» И мы слышим вздох поэта о роковой природе любви, которая творит и губит, о юности, которая уходит безвозвратно.

И мне вспомнилось другое хрестоматийное стихотворение Фроста: «Nothing gold can stay» («Все золотое не вечно»). Это тоже стихотворение о юности, о той самой «свежести чувств» (А. Ахматова), которая неизбежно теряется.

NOTHING GOLD CAN STAY

*Nature's first green is gold,
Her hardest hue to hold.
Her early leaf's a flower;
But only so an hour.
Then leaf subsides to leaf.
So Eden sank to grief,
So dawn goes down to day.
Nothing gold can stay.*

ВСЕ ЗОЛОТОЕ ЗЫБКО

*Новорожденный лист
Не зелен — золотист.
И первыми листьями,
Как райскими цветами,
Природа тешит нас —
Но тешит только час.
Ведь, как зари улыбка,
Все золотое зыбко.*

Это, в некотором роде, спор с романтиками XIX века. «The thing of beauty is a joy for ever», — писал Китс. «Прекрасное будет радостью навсегда». Фрост не то, чтобы возражает, а про-

сто сопоставляет это с другой, столь же весомой земной истиной: самое прекрасное на свете недолговечно, «Nothing gold can stay».

Может быть, я и «вчитал» в «Березы» этот смысл, а может быть, и нет. Как-то раз Фрост сказал о «Другой дороге»: «Это непростое стихотворение, очень непростое» («It's a tricky poem, very tricky»). То же самое он мог бы сказать и о «Березах».

Итак, по крайней мере, два из самых известных, хрестоматийных стихотворений Фроста были написаны в Англии: «Другая дорога» и «Березы». В них появилось какое-то новое качество, которых раньше у Фроста не было, они обозначили новую ступень в развитии его поэзии. Вот еще одно подтверждение мысли Николая Оцупа (из его воспоминаний о Гумилеве) о «благотворной роли временной разлуки с родиной для национального поэта».

Через год после первой книги «The Boy's Will», которая по-русски могла бы называться «Прощание с юностью», в Лондоне тем же издателем была опубликована вторая книга Фроста «К северу от Бостона». Она включала семнадцать стихотворений, по преимуществу повествовательных и драматических — то есть написанных в радикально ином жанре, чем лирика первой книги. Их жанр неторопливого рассказа и немногословного диалога напоминают о «Лирических балладах» и поэмах Вордсворта, в которых он описывает «честных простолюдинов», их терпение, упорство и неизменное чувство собственного достоинства. Такие стихи Фроста, как «Смерть батрака» и «Правила хорошего тона» («The Code») можно сравнить, например, с балладой Вордсворта «Решимость и независимость» («Resolution and Independence»). Разумеется, в стихах Фроста старые поэтические темы и предметы предстают без тени сентиментальности, в совершенно другом, современном восприятии и преломлении.

Книга Фроста была подготовлена в Англии, и там же были написаны пять из включенных в нее семнадцати стихотворений, в том числе такие знаменитые стихи, как «Домашнее кладбище» или маленький шедевр — стихотворение «Пастбище», ставшее вступлением к сборнику. Книга имела значительный успех в Лондоне и была сразу же переиздана в Бостоне, почти одновременно с возвращением Фроста в Америку, где

его карьера наконец-то двинулась вперед. Должно быть, еще в Англии поэт задумался о том, каким образом он, со своим «старомодным» вкусом, с «головой, повернутой назад», впишется в американский литературный пейзаж, и продумал в основных чертах свою стратегию и поэтическую маску.

№ 1, 2022 г.

Т а т ь я н а С Т А М О В А

Ж И Л П О Э Т П О Ф А М И Л И И
М А Й К О В . . .

Лимерики

О Т А В Т О Р А

Почему лимерики?

По природе своей я лирик, но из детства так и не выросла.

И с детства на меня то и дело нападает неудержимая смешинка.

Раньше она была просто одной из почти незаметных маленьких радостей, а теперь становится разрядкой и утешением.

Лимерик давно прижился в России. А во мне живет еще с тех пор, как мы запоем переводили Эдварда Лира и не только на семинаре в ЦДЛ. Лимерик заразителен.

Постепенно он стал свободным, своим. И может говорить обо всем – неподцензурен. Начнет с серьезным видом – и расхохочется. Притворится скоморохом, а сам серьезнее всех. Приходит, когда не ждешь. И когда ноги подкашиваются, трудно дышать и говорить – такая смешная спасительная соломинка, даже пять: три подлинней и две покороче.

• • •

Жил на свете пингвин из Антарктики,

Что добрался до самой до Арктики.

И сказал: «Ерунда!

Тоже всё изо льда!

Надо было остаться в Антарктике».

• • •

У корыта сидела Старуха,
Что оглохла давно на два уха.
Ей кричат: «Как корыто?»
А она: «Нон capito!»
Абсолютно глухая старуха!

• • •

Одинокий Кирзовый Сапог
Абсолютно отбился от ног
И валялся в канаве,
Не мечтая о славе,
А мечтая, чтоб взял его Бог.

• • •

Жил на свете один Крокодил.
Он вообще никого не любил.
И его не любили,
Стороной обходили —
А иначе бы он их любил!

• • •

Любознательный гуманитарий
На фазенде устроил террарий,
Рядом с ним дельфинарий,
Альпинарий, дендрарий,
И в мансарде еще планетарий!

• • •

Очень страшная Баба Яга
Перед тем как пойти на врага,
Ела только поганки
И каталась на танке.
А потом уже ШЛА на врага.

• • •

Мадмуазель из предместья Парижа,
Стать хотела принцессой, не ниже.
Принц провел с ней всю ночь,
Но не смог ей помочь,
И теперь ей республика ближе.

• • •

Раз пристали к певцу Паваротти:
«Почему, мол, так громко поете?» —
«Потому что в Ла Скала
Не поют как попало!» —
Отвечал дуракам Паваротти.

• • •

Итальянский писатель Моравиа
Говорил: «Не мечтаю о славе я.
Кто о ней не мечтает,
Тех она посещает».
И пришла-таки слава к Моравиа!

• • •

Жил поэт по фамилии Майков,
Не собравший и дюжины лайков.
И сказал Аполлон:
«Вижу — полный облом.
Что поделаешь, Майков — не Лайков».

• • •

Композитор по имени Шнитке
В непогоду весь вымок до нитки,
Но в кустах был рояль,
И, забыв про печаль,
Он сонату сыграл для улитки!

• • •

Жил поэт знаменитый Басё,
Написал он про то и про сё,
И про то, и про это,
Про весну и про лето,
Осень, зиму и выдохнул: «Всё!»

• • •

Раз в короне родившийся вирус
Посчитал, что достаточно вырос,
И по свету погнал,
Очень всех напугал,
Но из вируса так и не вырос.

• • •

Если сверху на вас Сковородка
Упадет, вы скажите ей кротко:
«Сковородка летать
Не должна, твою мать!
Отыскалась, гляди, вертолетка!»

• • •

Если Глобус со шкафа свалился,
Грянул об пол, едва не разбился,
От оси отошел,
Укатился под стол —
Говори ему: «Ну, докрутился!»

№ 2, 2022 г.

Алексей Алёхин

КОМУ И НА ФИГА НУЖНА ПОЭЗИЯ,
ИЛИ
О НАЗНАЧЕНИИ ПОЭТА

I.

Мы присутствуем при депрофессионализации литературы.

Очевидней тут обстоит дело не с поэзией, а с прозой. Книги меньше читают. А если читают, то чаще — ворованное в интернете. Как следствие падают тиражи — и заработки. С трехтысячного тиража (весьма хорошего, по нынешним временам) при роялти 10 процентов автор редко получит больше 50–60 тысяч рублей. Ну, 75 тысяч.

Серьезный роман пишется как минимум год (я не о поставщиках читива, лепящих свой литературный гамбургер за три недели). При этом прозаик должен сидеть за письменным столом, у него времени нет на отхожий промысел. И должен хотя бы этот год себя прокормить. Пусть не роскошно, пусть на уровне квалифицированной медсестры или хорошего школьного учителя — тысяч 50 в месяц. Умножаем на двенадцать и получаем 600 тысяч. Чего удивляться, что серьезный профессиональный писатель — исчезающий вид?

И кто же приходит ему на смену? Любитель, дилетант. И прямой графоман. Тот, для кого сочинение романов — хобби. Да и строчит он их куда резвее, именно потому, что — дилетант, не ведающий муки слова: они из него сыплются. Ну и литературные ремесленники, эти-то всегда были, а теперь их массово изготавливают на курсах «писательского мастерства».

* Эта лекция была прочитана молодым писателям в Иркутске 12.09.2017 г. (частично) и в Великом Новгороде 06.08.2019 г.

При сокращении числа мастеров и нашествии дилетантов, которых пруд пруди, а заодно и мастеровитых имитаторов, критерии размываются. Их теперь тоже охотно печатают. Вот и получается то самое «перепроизводство» культурных ценностей, о котором уже заговорили. Но подлинных ценностей ищи-свищи.

В поэзии несколько иначе. Она вообще плохо способна кормить своего создателя (за исключением прикладной: тексты песен, реклама в рифму, в том числе и реклама советской власти, сиречь ее пропаганда, чего мы тоже навидались). Она отчасти кормила статусом поэта — *признанного* поэта. Платными выступлениями, участием в читательских конференциях, литконсультациями и проч. Вот, на Западе есть пост «поэта при университете» — в Англии, США: прочесть пару «лекций» в год, ну и вообще украшать своей особой титульный список и получать за то некоторое жалование. Были, не знаю, остались ли, синекуры для поэтов во Франции, когда их назначали, к примеру, «хранителем библиотеки»: не с формулярами возиться, понятно, а приехать раз в год, иногда в другой город, на какое-нибудь библиотечное торжество. Ну а у нас кормились еще журнальными гонорарами.

Но и это все исчезает с тотальным триумфом любительщины, когда уже нет *непризнанных* — а значит, и признанных тоже нет. На всех синекур не напасешься. А про гонорары уж и мало кто вспоминает, да и что на них — разве пива выпить.

Но я не о гонорарах. Поэты и в прежние времена кормились, в общем-то, чем Бог послал, хотя случались и царицыны табакерки с бриллиантами.

Дело в том, что поэзия, как вообще искусство, иерархична. И притом в кубе иерархична. По большому счету — не с филологической точки зрения систематизации-классификации всего на свете вплоть до микрометрии, а с точки зрения культуры — нас интересует только очень небольшой круг действительно крупных мастеров. Иерархий может быть не одна, а, скажем, две (условно «традиционная» и столь же условно «авангардная») и даже больше: к примеру, «духовная», где окажется на Олимпе вполне вторичная Ольга Седакова. Но не сколько угодно, в каждой фейсбучной компании своя. И как раз осознание иерархии, стремление подняться по ней на высокую ступеньку — не в смысле обществен-

ного «статуса», а творчески — ведет и дисциплинирует стихотворца в его развитии.

А если этого нет, если все блохи неплохи, то остается «поэзия как образ жизни».

Вообще-то она всегда образ жизни. «Поэзия требует *всего* человека» (Батюшков), и тот всю жизнь проводит в своих стихах. Но я не об этом случае. А о том, когда вместо служения она становится времяпрепровождением: способом обрести компанию по интересам, покрасоваться на публике, потусоваться на фестивале — в сущности, мало отличаясь от завсегдатаев собачьих выставок или слетов серфингистов. Превращается в род «ролевой игры», как остроумно обозначил в свое время злоязычный Виктор Топоров. А собственно стихи и даже бесчисленные поэтические книжки становятся при этом не главным событием литературы, а лишь поводом и элементом оформления организуемого действия.

Но у поэзии есть более существенная роль в жизни человечества.

Потому я хочу поговорить о назначении поэта. И назначении и месте поэзии.

II.

Все уже заметили, что тема эта дословно совпадает со статьей Блока «О назначении поэта», его знаменитой Пушкинской речью, произнесенной в 1921 году в 84-ю годовщину смерти Пушкина. Если сформулировать ее суть, то назначение поэта — *внести гармонию в мир*.

Что и есть абсолютная истина. Вопрос однако: зачем ее вносить и кому это нужно?

Много лет назад маленький сын соседа по даче, когда мы туда приехали, долго и внимательно разглядывал нашу кошку, а потом, подняв на меня искренние глаза, спросил: «А зачем она вам?»

С поэзией примерно такой же случай. См. заголовок к этим моим размышлениям.

Ну, в высоком смысле оно понятно. Вот тот же Блок в 1907 году в статье «О лирике» (я запасся цитатами, они и еще будут) писал: «...мыслитель, ученый, общественный деятель питается плодоносными соками лирической стихии — поэзии всех веков и народов».

Т. е. она питает элиту человеческую. Или питала.

У меня, правда, впечатление, что нынешние властители дум и народов — от законодателей в Думе, чиновников в правительстве (как и их оппонентов, впрочем), владельцев заводов, газет, пароходов до авторов многословных и невнятных газетных статей и убогих сценариев телесериалов — после «ласточка с весною в сени к нам летит» из букваря ни одной стихотворной строчки не прочли. Увы, они страшно близки к народу и по уровню образования, и по развитости вкуса, и по привычкам — и тоже ограничиваются тем, что смотрят ТВ или копаются в интернете.

Но это другая, хотя и связанная с нашей, проблема. Я о более широком круге читателей.

Место поэзии в разные эпохи не одно и то же. И за полвека, на моих глазах, оно изменилось радикально. Можно сколь угодно потешаться над залихватской формулой «больше, чем поэт...», но, вообще-то говоря, несколько раз в нашей культурной истории так и было.

В 60-е годы минувшего века стихи читало огромное большинство образованных людей, отнюдь не только гуманитариев. Это был своего рода язык и пароль интеллигенции. Частенько в беседе звучала строчка из Пастернака, Цветаевой, Гумилева (нередко — из ненапечатанного, из ходившего в машинописи), в ответ ее продолжение, и это означало: «свой». Стихи были инструментом внутренней свободы, способом противостояния ужасающе плоским и скудоумным условиям советской жизни. Глотком такой свободы были и пресловутые стадионные вечера, отчасти замещавшие невозможные тогда митинг или рок-концерт. Нетрудно видеть, что роль поэзии была не столько ее природная — художественная и эстетическая, о которой писал Блок, а более упрощенная, социальная. Но читали едва ли не поголовно.

О том, что поэтический бум 60-х был явлением не вполне художественным, свидетельствует и тот факт, что от тех лет уцелели в реальном фонде поэзии не совсем те, кто был тогда королем. Да, что-то из Вознесенского, часть Ахмадулиной. О Евтушенко грустно вспоминать. Рождественского и не знают. Зато остались чуть ли не целиком те, кто не блистал на эстраде, — Чухонцев, Кушнер (не говоря о принципиально «андеграундных», например лианозовцах, или «маргинальных», вроде Ксении Некрасовой). Но в 60-е отли-

читать подлинное от блестящего было труднее, как это всегда бывает современникам. Сейчас-то разница очевидна: как масло и вода.

Но это в прошлом. Ныне ситуация в корне иная. Т. е. не совсем: есть фестивали, слэмы, новая эстрадная поэзия — Всеволод Емелин, Вера Полозкова, Дмитрий Быков. Прямое продолжение той давней эстрады, хотя и с куда менее многолюдными залами и претензиям попроще. Но в наше время их уж только совсем простодушные путают с поэзией как таковой. С поэзией как искусством.

Так вот, я о предназначении поэзии — а не об эстраде и стихах как роде времяпрепровождения. Хотя последнее тоже имеет культурный смысл — занятие не из худших, только не надо путать.

Но кто все же читает высокую лирику помимо самих поэтов и зачем оно ему? Скажем прямо: таких немного. Достаточно сравнить поэтическую полку книжного магазина, где она вообще есть, с площадью остального торгового зала. Да и на той в основном не новые стихи, а классика, как ее книготорговцы понимают.

Ситуация нормальная — аномалией были 60-е. Поэзия — сложное и потому достаточно герметичное искусство. Особенно новая поэзия, привносящая новую и потому непривычную гармонию, которая еще не скоро делается принадлежностью школьных учебников.

Это, повторюсь, нормальное положение вещей. У нас кое-кто из старшего и даже отчасти среднего поколения стихотворцев еще тоскует по 60-м. Немало из них в конце 80-х и в 90-х, не признаваясь в том, мечтали стать новыми — ну и конечно, *правильными* — Евтушенками. Властителями дум.

Ну да, властители дум, но для немногих.

Кстати, тиражи поэтических книг Серебряного века были похожи на нынешние: полторы–три сотни экземпляров, редко пятьсот и только у откровенно игравшего с вульгарным вкусом Северянина — тысяча. Но роль поэзии не измеряется числом читающих стихи. Ее роль в культуре — роль детонатора, закваски.

В конце 90-х, выступая, кажется, на журфаке, я высказал предположение, что у нас такие плохие газеты и такое чудовищное телевидение отчасти потому, что в 70-е и 80-е в журналах и в книгах печатались отвратительно скучные и плоские советские стихи.

И это не совсем шутка. Поэзия устанавливает планку. Великая поэзия если не прямо порождает великую прозу, то задает тон, вызы-

ваит к многомерности и глубине прозы вообще. А высокий уровень художественной прозы повышает критерии уже просто прозы — журнальной, газетной, даже рекламной (мне тут попался на глаза рекламный слоган: «Лучшее средство от геморроя в Европе», эдакое веселое пушкинское хулиганство, если б писавший понимал, что пишет). В конечном счете влияет на качество не только того, что состоит из букв, но вообще мышления.

Однако я снова съехал на «элиту». А я о читателях попроще. Хотя никаких «простых» читателей у поэзии нет, они все — элита. Даже те, кто с умилением читает стихи про березки в сборничке лауреатов районного конкурса «Люблю свой край», — элита. В своем кругу: остальные читают только расписание электричек.

Увы, стихов сейчас даже для обычной, непоэтической, эпохи читают мало. Совсем мало.

Кризис, который мы в этом отношении переживаем, кризис цивилизационный, и, открыв в очередной раз ворота в Европу, мы первым делом приобщились к этому кризису. Тут вспоминается анекдот хрущевских времен про соседние газетные заголовки: «Америка катится в пропасть» и «Догнать и перегнать Америку». Я знаю, что существует и оптимистичная точка зрения: *ну и что?* Просто сменились культурные ориентиры, теперь литература не в тренде.

Но литература — это не моющее средство: раньше мылись куском мыла, а теперь гелем. Нет. Словесность, поэзия — фундаментальные составляющие любой цивилизации, хоть китайской, хоть средиземноморской.

Кризис этот начался не сейчас, «Закат Европы», вообще-то говоря, написан Шпенглером 100 лет назад, опубликован в 1918-м. Но звоночки были и раньше. И это совсем не безболезненно. По поводу такой вот «смены тренда» Владимир Соловьев еще в 1884 году писал Страхову: «...если кончился период литературный или словесный, то начался период бессловесный». А о последствиях такой бессловесности уже в 1922 году, в статье «О природе слова», предупреждает Мандельштам: «“Онемение” двух-трех поколений могло бы привести Россию к исторической смерти». Боюсь, он не преувеличивал. И опасение относится не только к России.

Отчасти обнадеживает, что и после Соловьева был Серебряный век, и после мандельштамовской статьи много чего, включая самого Мандельштама. И сегодня, я допускаю, у поэзии вновь воз-

никает — или может возникнуть — не просто культурная, но цивилизационная роль. Напомню, что она ее уже играла в далеком прошлом: в Ассирии, в Древнем Египте и позже в античности она, в сущности, заключала в себе и мировоззрение, и историческую память, и философию, и религию. Она старше религии: самые древние религиозные тексты мы обнаруживаем в корпусе поэтических текстов того времени, а не наоборот.

В нынешних условиях эта роль, разумеется, выглядит иначе, но она в них просматривается. Мы получили в данность удивительный век, где цивилизационные, в значительной мере чисто технические, невиданные новации открыли громадные возможности, но и внесли сумбур, и разрушили сколь-нибудь цельную картину мира, без которой ни человек, ни общество жить не могут. По крайней мере — счастливо жить. И декларируемые нынче «плюрализм», мультикультурность, многообразие и равенство ценностей, в том числе духовных и этических, это отнюдь не свободный и новый взгляд на мир и будущее — это попытка оправдать свою растерянность.

А действительно преодолеть ее, наметить в хаосе хоть какие-нибудь ориентиры способно как раз искусство, в том числе — а может, и в первую очередь — поэзия. Сделать то, о чем говорил Блок: внести гармонию в мир.

Многие века первую роль в этой важнейшей для человека сфере бытия играла религия. Поэзия, искусство ей сродни. Да они и по сути своей религиозны. Только религия обращена напрямик к Творцу, а искусство — к Творению, за которым Творец всегда угадывается. В этом смысле подлинная поэзия всегда религиозна, даже если автор считает себя атеистом.

Поэзия, несущая новое видение нового мира, но опирающаяся на колоссальной протяженности традицию, в состоянии внести в хаос некую гармонию, а значит, ясность. По крайней мере, в душу обитающего в этом хаосе человека.

Дело в том, что даже самая новая поэзия не только пуповиной, но целиком кровеносной системой связана со всей культурной и духовной историей человечества. Т. е. находит новейшему место в апробированной человечеством системе ценностей.

И тут уместно припомнить еще одну статью Мандельштама, «Деятнадцатый век», 1922 года: «В отношении к этому новому

веку, огромному и жестоковыйному, мы являемся колонизаторами (в смысле — “возделывателями”. — А. А.). Европеизировать и гуманизировать двадцатое столетие <...> вот задача потерпевших крушение выходцев из девятнадцатого века, волею судеб заброшенных на новый исторический материк».

Честно сказать, я думаю, что рост внимания к поэзии возможен и в перспективе не столь далек. Люди насмотрятся интернета, наиграются в безбрежный плюрализм (за которым сквозит опасное равнодушие), насладятся многообразием всего на выбор, сродни многообразию «ИКЕЙ», и ощутят потребность в системе ценностей. Культурных. Духовных. Нравственных.

Это будет — как и бывало чаще на протяжении веков — элитарное чтение. Да, с бумажной книжкой в руках, которая уже становится таким же предметом роскоши, как наручные часы с заводом при поголовном наличии мобильных, тоже показывающих время. Желательно, конечно, чтобы это были швейцарские часы. Но возродится и «народное» чтение, которое, кстати, никуда и не пропало, а только сократилось на фоне других доступных развлечений. Потому что не всё же сериалы и мозаика интернет-новостей, иногда хочется душу отвести.

Не будет бума 60-х (если только авторитарные замашки современного мироустройства не перейдут в злокачественную фазу), но и не будет нынешнего повального равнодушия ко всему, что сложней и многозначней комикса.

Если, конечно, наша цивилизация вообще преодолет кризис. Во что хотелось бы верить.

III.

Но давайте поговорим немножко уже о положении самого поэта в описанных обстоятельствах.

Сказанное выше делает его по всем признакам довольно скромным. Что тоже началось не вчера. В 1926 году Ходасевич писал: «...явись сейчас перед этой толпой Софокл, Данте, Шекспир или Гете — пришлось бы им удовольствоваться скромным успехом в среде “специалистов” и “любителей” да торжественными приемами в академиях». Правда, похоже?

Причина такого положения вещей вычитывается из самого названия упомянутой статьи: «О кинематографе». То есть о первой волне массовой культуры, захлестнувшей цивилизованный мир: массовая культура — это оружие массового поражения.

Мы живем в эпоху масскультуры. Это главная беда современной цивилизации. И беда не только в том, что она увлекает и отвлекает миллионы людей в сторону самых примитивных развлечений. Кстати, она и в этой примитивности прогрессирует, в смысле деградирует. Если сентиментальная киношка 20-х годов, вызвавшая сетования Ходасевича, была рассчитана на мечтающих о замужестве девиц и их ухажеров-приказчиков, то нынешние страшные сказки про монстров и звездные войны — уровень младшей группы пионерлагеря. Ну, когда после отбоя погасят свет, и в палате какой-нибудь очкарик пугает товарищей рассказами про белую перчатку или еще какими страшилками собственного сочинения. Я сам был таким очкариком.

Но беда, повторюсь, не только в этом. Масскульт еще и очень агрессивен по отношению к собственно культуре.

Все знают, читали у Тынянова, что высокое искусство от века пополнялось и обогащалось за счет «периферии», втягивало в себя низкие жанры и обращало их в явления подлинной культуры. Сейчас происходит противоположное: массовая культура активно поглощает, перерабатывает и выхолащивает высокое искусство. Те же телесериалы, мюзиклы «Анна Каренина», «Преступление и наказание» и проч. эксплуатируют и низводят до уровня зрелища литературную классику. А нахлынувший вал так называемого «актуального искусства», вполне себе коммерческого или, по крайней мере, приносящего сказочные проценты с крошечного «символического капитала», эксплуатирует высокий авангард столетней давности, а то и прямо мимикрирует под него. В итоге стирается грань между высоким и низким, между масскультом и искусством. И подлинному художнику в этих условиях приходится вдвойне тяжело.

Кстати, о высоком и, условно, «невысоком» искусстве: упрощенном для восприятия, а то и прямо развлекательном. Они всегда сосуществуют и взаимовлияют, вспомним того же Тынянова. И все, заметим, литературе нужны.

В ней всегда присутствуют три уровня, от, условно же говоря, «чтива», через беллетристику, к литературе как искусству. Четких границ нет. Задуманное как эпохальный шедевр частенько оказывается развлекательным, а то и детским чтением (Александр Грин, Вальтер Скотт), а реже наоборот: газетное чтиво О. Генри оказалось бессмертной литературой. (Просто потому, как оно написано. Или «Три мушкетера». Кстати, не уверен, что и «Дон Кихот» не мыслился изначально развлекательным чтением с элементом пародии. А фельетоны Антоши Чехонте?) Взаимосвязаны эти пласты и через эволюцию читателя: по крайней мере, хорошая беллетристика готовит его в принципе к восприятию более серьезных книг. Мы ведь с вами тоже не с Джойса начинали.

Между прочим, от депрофессионализации литературы эти низовые жанры пострадали едва ли не раньше и больше высоколобой. Сопоставьте современный «дамский роман» с Франсуазой Саган. Или Маринину с Эрлом Стенли Гарднером.

В поэзии нижний слой — это прежде всего песни, в том числе и народные. Маскульт, попса пожирают их первыми, потому что обращены к той же аудитории. Оксюморон: есть высокие образцы поэзии низких жанров, та же народная песня. И просто песня: Исаковский («Враги сожгли родную хату...», «Катюша»), Фатьянов («Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...», «Три года ты мне снилась», «В городском саду играет духовой оркестр...») Сравните их с современными эстрадными текстами.

Вообще, эстетически «упрощенная» поэзия, как правило, — редуцированная, эпигонская, утратившая новизну и низведенная до общего места высокая классика: ну, как среднесоветская поэзия вытекала в этом смысле из примитивно понятых Пушкина, Некрасова, с добавкой Есенина. Но и такое эпигонство требует профессиональной руки. Увы. «Наш современник», «Москва», многие провинциальные журналы в своих поэтических разделах плохи литературно (не идеологически) не столько «простотой», сколько качеством. Это очень посредственно написанные тексты.

Но вернемся к высокой поэзии. Если кто-то из молодых стихотворцев хочет стать художником в высоком смысле слова — и такие, на удивление, не перевелись, — а не просто производителем

«качественных текстов» (что, впрочем, как уже сказано, хотя и не столь высокая творчески и мало мне лично интересная, но тоже культурно значимая задача), то он сталкивается с описанной мною реальностью лицом к лицу.

Положение поэтов в этих условиях весьма точно определил тот же Блок, назвав их в статье «Крушение гуманизма» (1919) «живыми катакомбами культуры». Проводя параллель с катакомбной церковью, хранившей христианские идеи в эпоху римских гонений.

А Ходасевич, уже о собственной поэтической судьбе, высказался и вовсе скептически. В «Записной книжке» он предопределил ее перспективы так: «Боюсь, я всегда буду “для немногих”. И то, если меня откопают».

Так что это не только сегодняшнее, это, скорее, обычное положение поэта. О нем еще в 1913 году в статье «О собеседнике» писал Мандельштам, именно тут и проводя грань между «поэзией» и «литературой»: «обращение к конкретному собеседнику» — а именно из таких, напомним, состоит *публика*, толпа, покупатели стотысячных тиражей, посетители поэтических концертов на стадионах, — так вот: «...обращение к конкретному собеседнику обескрыливает стих, лишает его воздуха, полета... Разница между литературой и поэзией следующая: литератор всегда обращается к конкретному слушателю, живому представителю эпохи... Поэт связан только с провиденциальным собеседником».

Поэт — странная профессия, но она существует. Она не кормит. Приносит массу житейских неудобств, а временами приводит к трагическому итогу. Она, напомним, требует «*всего человека*»: в сущности, профессиональный поэт занимается единственным в жизни делом — пишет стихи. Даже когда отвлекается на поиски хлеба насущного или предается семейным радостям. В этом смысле он отличается от тех, кого мы зовем графоманами, лишь мерой таланта. А от любителей тем, что те посвящают сочинительству свободное от житейских забот время, а этот — наоборот. Зато она приносит временами несказанное счастье. И не только самому автору.

Что и говорить. Провиденциальный собеседник не заполнит стадион и не раскупит тираж. Но он все-таки есть. Или приходит со временем. «Произведение *искусства* оживет <...> пройдя, как

ему всегда полагается, через мертвую полосу нескольких ближайших поколений, которые откажутся его понимать». Это Блок писал в 1920-м.

Просто писать надо только в расчете на *этого* собеседника — вот он и явится. Ведь «откопали» же Ходасевича. И пусть все в том же узком кругу, но давно и навсегда он — поэт *для многих*.

№ 3, 2022 г.

Вадим Перельмутер

РЕНЕССАНС ВЯЗЕМСКОГО*

«...Я русский человек, а русский человек пьет со скуки или с горя. Так и я, упиваюсь рифмами, чтобы записать и забыть, хоть временно, все, что вынужден прочесть и проглотить в газетах».

Вяземский. Венеция. 3 декабря 1863 года

Книга итальянской филолога-славистки Нины Михайловны Каухчишвили «П.А. Вяземский в Италии» была завершена — и тут же издана — в 1964 году, то бишь более чем полвека тому назад. И стала второй *книгой* о Вяземском (первая, диссертация австрийского слависта Г. Вытженса, вышла тремя годами раньше в Вене).

На родине поэта первая диссертация о Вяземском была защищена три года спустя. Ещё через два года эта монография вышла томом в четыреста без малого страниц: «М.И. Гиллельсон. П.А. Вяземский. Жизнь и творчество». Томом, который, как представлялось тогда, академически-обстоятельно мотивировал и утвердил сложившуюся в советском литературоведении *литературную репутацию* этого поэта и критика — как *друга* Пушкина и одного из ближайших его литературных соратников. И гибель Пушкина словно бы подвела черту, пусть не мгновенно, не сразу, под *значимой* — для истории русской литературы — деятельностью Вяземского.

Лаконично и категорически сие было высказано задолго, почти за сорок лет до книги Гиллельсона — Л.Я. Гинзбург, подготовившей и выпустившей в самом начале 1930-х годов том стихов Вяземского (в «Большой серии», основанной Горьким в 1931 году «Библиотеки поэта») и его «Старую записную книжку» (для которой из многочисленных записных книжек Вяземского, заполнивших три (!) тома собрания сочинений, были взяты лишь записи

* Вступительный очерк для книги «Пётр Вяземский. Итальянские стихи, записки, письма», составленной автором очерка.

«пушкинского времени», то бишь до конца 1830-х, после которых Вяземский жил — и писал — еще почти четыре десятилетия).

Этот «пушкинский рубеж» Лидия Яковлевна обозначила, итожа, одною фразой: «Уже с 1840-х годов все то, что составляло содержание литературной жизни Вяземского, оказывается исчерпанным».

Изданное после смерти автора мужем внучки князя графом С.Д. Шереметевым «Полное собрание сочинений» Вяземского она оценила немного более подробно: «...Если же извлечь из двенадцатитомного наследия Вяземского то, что было им написано в период актуальной работы (10-е–30-е гг.) и что реально дошло до современников, то мы получим два тома непервоклассных стихов и том статей, из которых лишь некоторые отмечены полемической остротой и злободневностью. Все же остальное падает на *поздние стихи, не имевшие никакого литературного значения* (курсив мой. — В.П.), на поздние статьи преимущественно мемуарного характера и на политические письма и записные книжки, из которых в 30-х гг. были опубликованы лишь незначительные отрывки».

А завершая послесловие к «Старой записной книжке», где, в частности, подробно изложила свои аналитические размышления о *двойственной* природе этого сочинения, не дающей, по ее мнению, оснований отнести его ни к одному из определенных литературных жанров, отметила — с явственным *интонационным* удовлетворением, — что «Старая записная книжка», все-таки, «не будучи литературным произведением», была произведением «высокого словесного искусства».

В очевидном согласии с такой *литературной репутацией* был текстологически подготовлен и академически-тщательно откомментирован В.С. Нечаевой том «Вяземский. Записные книжки (1813–1848)», изданный в 1964 году. Четырнадцать из тридцати двух (!) записных книжек, опубликованных в «двенадцатитомном наследии» Вяземского, ограниченные тем самым периодом, когда «содержание литературной жизни» автора еще не было «исчерпанным». Без последних тридцати лет. Тех самых, которые М.И. Гиллельсон в краткой главе-эпilogе своей книги обозначил-заглавил как «Закат Вяземского»...

Н.М. Каухчишвили была знакома с этою работой В.С. Нечаевой — несколько раз ссылается на ее комментарии к «итальянским» записям Вяземского. Известно также, что, работая над сво-

ей книгою, собирая для нее материалы в сочинениях и архивных бумагах Вяземского, она общалась и В.С. Нечаевой, и с Л.Я. Гинзбург, посвященные Вяземскому работы которой, разумеется, тоже читала. Для ее *темы* вполне достаточно того, что «особенно насыщенными были периоды между 1820 и 1830 годом и эпоха зрелости», времена наиболее деятельного, гласного участия Вяземского в российской литературной жизни.

И *тему* своей работы она обозначает-ограничивает совершенно четко: «Мы попытаемся проследовать за Вяземским в его поэтическом путешествии по Италии, не углубляясь, однако, в критический анализ, который выходит за рамки данного исследования».

Этим и занимается. Тщательно, я бы даже сказал, скрупулезно прослеживает все месяцы-недели-дни пребывания Вяземского в Италии, его поездки и прогулки, посещения театров и музеев, встречи-знакомства с писателями, художниками, политиками, визиты к живущим в Италии соотечественникам *etc*, благо записи-заметки, не вошедшие в «Старую записную книжку», составляют целых два тома в Собрании сочинений, а кроме них, есть *итальянские* впечатления, размышления, «эпизоды» в письмах, некоторая часть которых тоже опубликована, однако бóльшая хранится в архивах.

И резюмирует все эти исследования свои подробной «Хронологией путешествий П.А. Вяземского по Италии».

Особое, наиболее пристальное внимание уделено, понятно, первому посещению Италии — в 1834–1835 годах, то бишь *на излете* «пушкинской поры», когда поэт и критик Вяземский, по слову Баратынского, уже был «звездой разрозненной плеяды», но еще — в самом центре российской литературной жизни. Правда, с молодых лет, как положено любому поэту, художнику, музыканту, стремившийся *увидеть* Италию князь никак не мог предположить, что вскоре после сорокалетия причина той первой, долгой поездки — более восьми месяцев, из коих три четверти прошло в Италии, — будет вовсе не «литературной», но *житейской*, печальной, трагической.

Тяжело заболела пятнадцатилетняя дочь Прасковья, любимица «Пашенька», и теплилась, постепенно угасая, надежда на то, что сперва немецкие врачи, а затем целебный воздух Италии вкупе с римскими эскулапами помогут в беде. Не помогли.

*Все грустно, все грустней, час от часу тяжелей,
Час от часу на жизнь темней ложится мгла,
На жизнь, где нет тебя, на жизнь, где ты доселе
Любимых дум моих святая цель была...*

Вяземский напряженно, даже нервно подвижен и деятелен в эти полгода. Годом раньше он писал: «Не сидится мне на месте, / Спертый воздух давит грудь, / Как жених спешит к невесте, / Я спешу куда-нибудь...» Подобное происходит и теперь, но в ином настроении. Ни в Петербурге, ни в Москве, ни тем паче в Остафьево он никогда прежде не бывал столь *подвижен*. Почти непрерывные прогулки по Риму, короткие из него отлучки «по историческим местам», встречи-знакомства, визиты, опера по вечерам, беглые, отрывочные строчки об этом в записной книжке и длинные, *медленные* письма по вечерам, вроде описания римского карнавала, каким он, судя по увиденному и услышанному, был, бывал издревле и, вероятно, будет впредь...

Он словно бы пытается отвлечься от снедающей его тревоги, хоть немного приглушить ее. И совсем не до стихов *итальянских*, разве что одно-единственное стихотворение — «Флоренция», — промелькнувшее по пути впечатление, солнечный проблеск.

*...Там солнце светит лучезарно
И рдеют золотом плоды...*

Тогдашний Рим Вяземского отзовется в его стихах много позже, в Петербурге, перед последней поездкой в Италию:

*...Здесь Рим сказался мне, здесь понял я, в слезах,
Развалин и гробниц его и плач, и прах;
Здесь скорби стен его, державной и глубокой,
Откликнулся и я печалью одинокой!*

Итальянские письма этих месяцев — к сыну, к жене, к сводной сестре, — если внимательно их читать, внятно воспроизводят именно такое настроение, душевное состояние Вяземского. И, думаю, кабы не Италия, оно было бы еще драматичней.

«Немного времени, а много скорби, так сроднили меня с Италией, что кажется — никогда не выезжал из нее, что в ней родился я, в ней и умер», — пишет он в начале мая тридцать пятого года из Вены, по пути в Россию.

Эти письма прежде не печатались. Каухчишвили извлекла их из архива (могу ей посочувствовать — читал рукописи Вяземского, сказать, что разбирать его почерк «трудно», значило бы польстить писавшему), снабдила необходимыми, на ее взгляд, примечаниями, поместила в «Приложении» к своей работе. И таким образом дала возможность читающим не только *провести* с Вяземским эти несколько месяцев, но и познакомиться с фрагментом-главою из эпистолярного наследия, которое, будучи собрано вместе, значительно превзошло бы объемом ту полудюжину томов «Остафьевского архива», какая была издана за полтора десятка лет в начале прошлого столетия.

И убедиться, что этим стремительно вымирающим ныне жанром князь владел превосходно.

Остальные письма, включенные в «Приложение» и тоже опубликованные впервые, относятся к более поздним посещениям Италии и отчасти дополняют отрывочные путевые заметки, разбросанные по записным книжкам...

Три следующие поездки Вяземского в Италию — в годы, когда его участие в российской литературной жизни, иначе говоря, общение поэта с читателями следующих поколений, как сказано, процитировано уже, *сошло на нет*, тщательно прочерчены автором работы *по пунктиру* путевых заметок. И откомментированы, верней сказать, *задокументированы*. Такая *академическая* основательность несомненно ценна для... будущих биографов Вяземского, дает возможность хорошенько разглядеть связанные с Италией *эпизоды* его длинной жизни, прежде почти ускользавшие от взгляда.

Достаточно сказать, что Гиллельсон, знавший о существовании книги Каухчишвили, вскользь упомянул о ней в своей монографии и лаконично обозначил ее содержимое: «Итальянские встречи Вяземского способствовали установлению личных контактов со многими деятелями культуры... Они вовлекали пушкинский круг писателей в интеллектуальное общение с передовой общественностью Западной Европы». Ничуть не попрекая автора нелепо ныне выглядящим пассажем о «передовой общественности Западной

Европы», адресованным, понятно, редакторам-цензорам-блюстителям советской печати, замечу лишь, что, судя по цитате, книга была ему введома «в общих чертах», но не читана (итальянским языком он, вероятно, не владел), иначе наверняка обратил бы внимание, что в пору трех из четырех поездок Вяземского в Италию из «пушкинского круга писателей» в живых оставался только один — сам Вяземский...

В отличие от первой части работы Каухчишвили, весьма ценной, повторю, для биографов, но едва ли для современных читателей поэта Вяземского, которым, на мой взгляд, несравнимо интереснее *отзвуки* тех путешествий — и самой Италии — в его сочинениях и потому вполне достаточно *биографической* «Хронологии путешествий П.А. Вяземского по Италии», с ней эти *отзвуки* нетрудно при желании соотнести, *центральная* часть книги — «Италия в творчестве Вяземского» — именно о них, об *отзвуках*. Об отношении Вяземского к итальянскому языку, истории, изобразительному искусству, литературе, музыке.

И о стихах, написанных в Италии — *об Италии*. «Не углубляясь (как было обещано-предварено, — *В. П.*) в критический анализ, который выходит за рамки данного исследования». Тем не менее, обильно цитируя стихи, *анализировать* их приходится. Однако анализирует их Каухчишвили, как бы поточней выразиться, ну, пожалуй, не совсем *как стихи*, скорее — как изложенные стихами — или поверенные стихам — итальянские впечатления и переживания. Потому что, поясняет, «иногда переживания были столь яркими, что мысль, не находя выражения в прозе (то есть в «длинных письмах» из Италии. — *В. П.*), обращалась к поэзии». Она пишет об этих стихах вне связи их с «не-итальянскими», более ранними, либо поздними, обращая преимущественно внимание на то, *что* написано, но не *как*; на *тематику*, но не на *поэтику*. Не выходя «за рамки данного исследования». Понимая, что: «Вероятно, из-за особенностей характера князя его знания об итальянском мире были глубже, чем можно установить на основе анализа его творений, который мы попытались провести максимально тщательно».

Тем не менее эта пунктирно-подробная череда обнаруженных исследовательницей *отзвуков* делает *академическую* работу, проделанную, повторю, полвека назад, неожиданно *актуальной*

ныне, когда *литературная репутация* Вяземского совсем не такова, как была тогда.

Случай, по-моему, *уникальный*, ничего подобного в памяти не отыскивается.

Книжка И.Н. Розанова «Литературная репутация» вышла в 1928 году. За год до публикации «Старой записной книжки» и первой в двадцатом веке статьи о Вяземском, в коей Л.Я. Гинзбург, напомним, охарактеризовала его литературный путь. Еще не пользуясь *свежим* термином, который чуть позже вошел *научно* в историю литературы и литературоведение, зажил там привольно, угнездившись едва ли не в каждой из заметных, *значимых* писательских биографий и размышлениях филологов об оных.

У Розанова показано — как эта самая *репутация* возникает и слагается, какие закономерности и — нередко — случайности, читательские и критические отклики на сочинения (и ставшие публичными известными жизненные ситуации и поступки писателя) на сей процесс влияют. И рассказано — на примере Бенедиктова, — как трудно даются и, как правило, оказываются безнадежными впоследствии попытки сложившуюся *репутацию* оспорить, изменить, не говоря уже про опровержение...

Три десятка лет назад Андрей Донатович Синявский рассказывал мне, как попытался это сделать на семинаре, который вел со студентами-русистами в Сорбонне (тему *пролоббировал* на попечительском совете факультета Н.А. Струве, незадолго перед тем издавший в «Утса-Press» том стихов Бенедиктова, история весьма забавная, но подробней — как-нибудь в другой раз). И безуспешно. В их «картинку» представлений о русской поэзии первой половины XIX века, поверхностно прочерченную разве что именами Жуковского, Пушкина и Лермонтова, это имя *не вписалось*. Хотя, разумеется, узнали они от профессора про Бенедиктова и его стихи совсем немало...

Вяземскому *повезло* больше, чем Бенедиктову. Его *литературную репутацию* переменить, не только по-моему, удалось. То бишь обратить внимание читателей — и литературоведов-стиховедов — на сочиненное им во второй половине жизни. И первая попытка прилась (надо сказать, по чистой случайности) на год столетия со дня смерти поэта.

Шестнадцатого ноября 1978 года (за шесть дней до *столетия*) в издательстве «Детская литература» была «сдана в набор» (отправлена в типографию — и через три месяца вышла в свет стотысячным тиражом), составленная автором этих строк книга Вяземского «Лирика». Две трети которой — его *поздние* стихи. Дата, разумеется, от *годовщины* не зависела. Просто завершилась довольно-таки долгая моя работа с редактором Натальей Посвянской — подгадать такое к *юбилейной* дате невозможно, да мы про то и не думали. Никогда прежде не интересовался «выходными данными» своих книг, но сейчас почему-то захотелось взглянуть — и *обнаружилось*.

Рецензировали подготовленную книгу — для издательства — М.И. Гиллельсон и пушкинист М.П. Еремин, любимец нескольких поколений литинститутских студентов. Максим Исаакович против издания не возражал, однако заметил, что «составитель» слишком «узко» трактует термин-понятие «лирика» и потому не включил изрядное количество *знаменитых* в пушкинскую пору сатирических и «гражданских» сочинений автора, отдавая броское предпочтение написанным в старости *менее значительным* стихам. А Михаил Павлович, напротив, порадовался своему знакомству с замечательными стихами, которым прежде не уделял *должного* внимания.

Летом семьдесят восьмого, будучи в Ленинграде, я познакомился-встретился с Гиллельсоном и Гинзбург. И услышал от обоих, что мой интерес к *позднему* Вяземскому-стихотворцу, конечно, похвален, однако его «вклад» в историю русской поэзии XIX столетия я, мягко говоря, несколько преувеличиваю.

Тем не менее четыре года спустя М.И. Гиллельсон выпустил двухтомник Вяземского (стихи и статьи), где во вступительном очерке, говоря кратко о стихах, ограничился «пушкинским периодом», но добрую половину «стихотворного» тома отвел сочинениям второй половины жизни поэта, его «закату». А во втором томе, где статьи, поместил и прокомментировал «приписки» к ним Вяземского, которые тот сделал незадолго до смерти, когда по просьбе Якова Грота помогал ему готовить к изданию свое собрание сочинений, просматривал-перечитывал давным-давно написанное-напечатанное.

Еще через четыре года Л.Я. Гинзбург подготовила новое издание тома Вяземского для «Библиотеки поэта». И не только изрядно пополнила его *поздними* стихами, теми самыми, напомним, какие

«не имели никакого литературного значения», их там более трети, но и добавила к прежнему вступительному очерку своему новую главу про эти стихи, признав таким образом, хоть и не без оговорок, что некоторое, так скажем, «значение» они все-таки имели...

Замечу попутно, что той давней своей оценкой *позднего* Вяземского Лидия Яковлевна — невольно — ввела его в неплохую кампанию поэтов второй половины XIX столетия, чьи стихи тоже для критиков и читателей-современников не имели — или почти не имели — «литературного значения», таких, как Тютчев, Фет, Случевский. Ну, разве что Тютчева заметил Некрасов, Фета *приметил* Толстой, Случевского *расхвалил* было Аполлон Григорьев. Но и только. Без *последствий* у читателей. Много позже символисты *воротили* всех троих, а у младшего из них, у Случевского, родившегося в год смерти Пушкина, с удовольствием бывали на «Субботах».

Вяземского *миновали* и они...

Кстати, в том же, восемьдесят шестом, Иосиф Бродский *оспорил* мимоходом мнение Л.Я. Гинзбург и о поэзии Вяземского, назвав его «превосходным, хотя и недооцененным» поэтом, и о «Старой записной книжке», написав, что сочинение это *литературное* есть чтение замечательное — для тех, кто интересуется: «Тут он наш Шамфор и Ларошфуко в одном лице»...

В девяносто втором в Литературном музее открылась большая выставка, посвященная двухсотлетию со дня рождения поэта. И *поздний* Вяземский был там представлен весьма основательно. Равно как и на двух научных конференциях, прошедших в те же дни в Литмузее и в Остафьеве...

Наконец, полугодием позже, в мае девяносто третьего, вышла моя книжка о Вяземском «Звезда разрозненной плеяды!..» Почти десять лет преодолевала она на пути к читателям барьеры *хрестоматийных* представлений о нем.

О том, что с возрастом заметно переменились его «политические взгляды», мол, даже книгу целую написал — в защиту *нелюбимого* им прежде Николая I от «нападок Запада» (приведших, напомним, к Крымской войне 1855 года). Правда, книгу эту, «Письма русского ветерана 1812 года», Вяземский написал по-французски, издал в Бельгии (на русский П. И. Бартенева перевел ее уже после смерти автора — для Полного собрания сочинений). И, при желании, нетрудно увидеть, что *защищает* она, подчас, надо сказать,

весьма запальчиво, не столько императора российского, сколько саму Россию, которой грозят войною.

О том, что *сблизился* князь впоследствии с Двором, которого «в зрелые годы» сторонился, чинов достиг высоких, «товарищем министра» (в нынешних терминах — «заместителем») побыл, академиком стал, а в 1866 году — первым Председателем только что основанного в Санкт-Петербурге Русского исторического общества, etc. Правда, стоило бы упомянуть, это был Двор Александра II, царя-реформатора.

О том, что не понял, *не оценил он*, как они того заслуживали, лучших поэтов и прозаиков младших, следующих поколений, например, Некрасова, Островского или Толстого. И тем самым как бы выпал из «литературно-исторического контекста». Правда, подобное отношение *старших к младшим* в истории литературы (не только русской) отнюдь не редкость. И «старик Державин», *благословивший* Пушкина и его сверстников-лицеистов-стихотворцев, скорее исключение, нежели обыкновение.

Вяземский описал забавный и куда более привычный случай: «Пушкин читал своего “Годунова”, еще не многим известного, у Алексея Перовского. В числе слушателей был и Крылов. По окончании чтения, я стоял тогда возле Крылова, Пушкин подходит к нему и, добродушно смеясь, говорит: “Признайтесь, Иван Андреевич, что моя трагедия вам не нравится и, на глаза ваши, не хороша” — “Почему же не хороша? — отвечает он. — А вот что я вам расскажу: проповедник в проповеди своей восхвалял Божий мир и говорил, что все так создано, что лучше созданным быть не может. После проповеди подходит к нему горбатый, с двумя округленными горбами, спереди и сзади: “Не грешно ли вам, пеняет он ему, насмехаться надо мною и в присутствии моем уверять, что в Божьем создании все хорошо и все прекрасно. Посмотрите на меня”. — “Так что же, — возражает проповедник, — для горбатого и ты очень хорош”. Пушкин расхохотался и обнял Крылова».

Кстати сказать, при том, что некрасовское сочинительство Вяземскому не понравилось, он однако, будучи недолго, во второй половине пятидесятых, *наблюдающим* за цензурой, твердо сказал цензору, *смущенному* стихами Некрасова, что сперва напечатать надо, потом, ежели хочешь, критиковать — *в присутствии читателя*.

Ну, а сам Некрасов, к примеру, не обратил внимания на младшего современника, на Случевского. А Толстой, скажем, попросту не заметил — то ли проигнорировал — символистов, которые в последние лет пятнадцать его жизни уже всю печатались...

Попреки в *переменах* долетали до него и при жизни. На них среагировал, заметив бегло, что дурак один не меняется, потому что «опытов для него не существует». Это и к стихам его относится — и к ранним, и к зрелым, и к поздним...

Книжку мою выпустил в итоге издатель, который все это вычитал из нее и понял.

Рассказываю вовсе не затем, чтобы «попрекнуть» задним числом замечательных литературоведов, сделавших чрезвычайно много для нашего знания — и понимания — истории русской литературы, дескать, «проглядели», «недопоняли» etc. Просто хочу прояснить, как непросто и медленно происходит, если происходит, освобождение от давно сложившегося и вроде бы убедительно мотивированного стереотипа *литературной репутации*. Как там, где некогда был поставлен восклицательный знак, время постепенно выводит знак вопросительный, который, остроумно заметил Сигизмунд Кржижановский, «есть состарившийся восклицательный»...

Некраткое отступление понадобилось мне, дабы очертить происшедшее с *литературной репутацией* Вяземского за тот немалый срок, что миновал с момента издания книги Н.М. Каухчишвили. Она дала теперь возможность, не торопясь, взглядеться и вслушаться в *итальянское время* поэта. И сделать это в *контексте* всего долгого, почти семидесятилетнего его сочинительства, увидеть, связано ли каким-либо образом его *позднее* творчество с тем временем. И если да, то как. Заодно, конечно, перечитать его записные книжки — три тома Полного собрания сочинений, выделяя для себя *итальянские* фрагменты, чтение увлекательное. И не только их.

Один пример. Когда работал над книгой о Вяземском, порадовался, помнится, строчкам: «Иные любят книги, но не любят авторов — не удивительно: тот, кто любит мед, не всегда любит и пчел». И только сейчас обнаружил не замеченную тогда *перекличку* — в одном из последних стихотворений остроумное сравнение обернулось метафорой:

*Я все испробовал от альфы до иоты,
Но, беззаботная и праздная пчела,
Спускаясь на цветы, не собирал я соты,
А мед их выпивал и в улей не сносил...*

Кстати, цитируя, только сейчас заметил тут же, чуть раньше:

*Способный человек бывает часто глуп,
А люди умные так часто неспособны...*

Когда это попало в стихи, едва ли помнился автору задолго до того, лет за двенадцать, промелькнувший в записной книжке фрагмент: «Вообще-то у нас замечается, что люди умные мало способны к службе, а люди, к ней способные, когда и бывают умны, как-то отрекаются от ума». И подобного при чтении зацепилось глазом и памятью немало...

В общей сложности Вяземский провел в Италии полтора года. Шесть месяцев (из восьми, которые длилась вся поездка) в Риме в 1834–1835 годах, четыре — в Венеции в 1853 году и еще восемь — десять лет спустя, опять же, в Венеции, ненадолго, на несколько дней, отлучаясь из нее — в Милан, Виченцу, Верону, Мерано. Шестидневный визит пятьдесят третьего года в Геную достаточно лишь упомянуть, он к нашей теме *не в счет*.

О первой поездке уже говорилось, она следа в его поэзии почти не оставила, ему тогда было не до стихов. Разве что отмечу среди множества тогдашних встреч знакомство в тридцать пятом с Карлом Брюлловым. После двенадцати лет, проведенных в Италии, художник в том же году вернется в Россию. В тридцать девятом напишет портреты И.А. Бека и его жены Марии Аркадьевны — с крохотной дочерью Марией на руках. В сорок восьмом, через шесть лет после смерти мужа, Мария Аркадьевна выйдет за сына Вяземского Павла. И девятилетняя Мария станет приемной — и любимой — внучкой поэта. Семнадцать лет спустя к ней, редкостной — вся мать — красавице, в замужестве графине Ламсдорф, он обратится

восьмистишьем с иронически-грустной концовкой: «В вас рад я любоваться внучкой, / Но деду я не рад в себе». Но это — к слову...

С двумя неравными частями *венецианского* года Вяземского — иначе. Совсем иначе. Стихов было много, даже очень много — и не только *итальянских*. Неожиданно, пожалуй, для него самого.

По возвращении в тридцать пятом из Рима, прийти в себя — после пережитого там — ему помогло затеянное Пушкиным издание «Современника» (заглавие было придумано Вяземским еще в тридцать седьмом). Вместе с Жуковским он стал деятельным сотрудником друга в этом непростом предприятии. В частности, именно ему и Жуковскому, как известно, *обязан* был Тютчев своей первой публикацией в России — «Стихов, присланных из Германии». Напомню: приехавший в столицу после трехлетней службы в Мюнхене, где подружился с «дипломатом-коллегой» Тютчевым, кузен жены Вяземского князь Иван Гагарин передал Вяземскому часть полученного от Тютчева рукописного «собрания стихов». А Вяземский познакомился и дружески общался с Тютчевым за два года до того, будучи в Мюнхене (про то есть в его письмах). Так что «Стихи, присланные из Германии» — *журнальное заглавие*. Это стихи, присланные автором *поэту*, доброму знакомому...

В середине зимы тридцать седьмого все это оборвалось...

Он, конечно, пишет стихи, но лишь иногда, время от времени, подчас увлекаясь, верней, увлекаем всецело движением мыслей и слов, как в «Брайтоне» или «Степью». В сорок восьмом послал несколько новых вещей Жуковскому (среди них — «Тропинка» и «Сумерки»). И вскоре получил ответ: «Твои стихи не поэзия, а чистая правда. Но что же поэзия, как не чистая правда?..» Разумеется, автор стихов легко распознает *отсылку* давнего друга, некогда бывавшего в Веймаре...

Но такого все меньше.

В последние годы перед *итальянской* поездкой пятьдесят третьего он почти перестал писать. За три года — всего одиннадцать стихотворений: шесть, четыре, одно...

Смерть дочери в Риме словно бы положила начало череде потерь в полтора десятилетия, самой трагической поре в жизни Вяземского. После гибели Пушкина он теряет — одного за другим — детей и друзей. В сороковом не стало дочери Надежды, в сорок четвертом — Баратынского, годом позже — Александра Тургенева,

в следующем году — Языкова, в сорок девятом — дочери Марии (в замужестве — Валуевой), в пятьдесят втором — Жуковского...

Летом пятьдесят четвертого — в стихотворении «Сознание» — он скажет:

*Я к старости пришел путем родных могил:
Я пережил детей, друзей я схоронил...*

А пятьдесят третий он провел в Европе. Встретил его в Дрездене. Время от времени выбирался в недалекие немецкие города. Сочинил «по случаям» семь стихотворений, по большей части, как сам обозначил, «не написал, а надумал». То бишь в поездках-прогулках набормотал, потом записал. Раз на пару дней добрался до Швейцарии. В мае переехал в Карлсбад, оттуда — через Прагу — в Вену. В записной книжке про эти месяцы — почти ничего примечательного, так, *информация*.

Наконец, в начале августа (по юлианскому, в России принятому, календарю, Вяземский записи свои датирует по нему, изредка — в скобках — «двойственно», указывает и георгианскую, *европейско-католическую* дату, на 12 дней позже) добирается до Венеции, — впервые, в прежней *итальянской* поездке ее миновал, — и *оседает* в ней на целых четыре месяца, до декабря.

«Плавание до Венеции было покойное и прекрасное. Светлый день, море тихое, то синее, то зеленое. Плыли шесть часов и прибыли в Венецию в полдень»...

Предвестие?..

Первая *венецианская* запись — изрядная выписка из истории Венецианской республики конца XVII — начала XVIII века, с «экскурсом» в более древние времена, когда была она торговым и культурным центром южного приморья Европы, ее «золотой век». Он готовился к поездке. Прекрасно понимая, что попадет совсем в иную жизнь *бывшей* республики, которая вот уже почти четыре десятка лет пребывает под властью Австрии...

Он неспешно *осваивает* этот город пешей ходьбы и гондол, неслышно скользящих меж островами. Город, сразу откликнувшийся в нем другим, *своим*, тоже возведенным там, где, казалось бы, это

едва ли возможно *по определению*: один — на сотне с лишним прибрежных островов, по слову Вяземского, «в царстве морском», другой — на болоте прибрежном, где островов почти столько же, чуть меньше (это потом, позже, разрастаясь, густея обитателями, Петербург утратил большинство островов, проливы меж ними были засыпаны, заровнены). И эта переключка старой, южной Венеции с новой, северной, как вскоре по возникновении был окрещен Петербург обывателями своими и европейскими путешественниками, станет потом то и дело возникать в *венецианских* стихах Вяземского.

Август в тот год выдался жарким.

«Я еще не начинал походов своих по здешним палаццам и церквям, ожидаю, чтобы жар спал, — пишет он вскоре по приезде к одному из немногих оставшихся у него давних друзей, А.К. Булгакову. — Видел я только кое-что мимоходом. Я наслаждаюсь этою независимостью от повинностей, которым подлежат обыкновенные путешественники. Между тем, почти каждый день захожу в базилику Св. Марка и каждый раз с новым наслаждением... И не забывайте, что Венеция, как она ни прекрасна собою, все-таки лысая красавица, и нам бедным некуда приулитись».

Несколько дней спустя: «Сегодня первый день отдыха или роздыха после томительных жаров. Всю ночь дул ветер, и воздух освежился»...

Стремительные перемены погоды невольно ассоциируются с Петербургом, очень похоже. Запись днем позже: «Напрасно клеплет мы на петербургский климат и на изменчивость его погоды, как будто ему исключительно свойственную. Третьего дня мы умирали от жара, днем жарились на солнце, а ночью разваривались в соку своем от духоты. Вчера было уже свежо, а сегодня еще гораздо свежее, так что, может быть, и в Петербурге теплее».

Следующий день: «Петербург продолжается: ветер свежий, дождь, вода из каналов выступает и заливает мостовую... Вчера в темноту, в 12-м часу ночи ходил я вдоль Canale delle Giudecca: волны плескали на набережную»...

И еще один: «...Если декорация переменялась и Венеция уже не смотрит Петербургом, то все еще крепко смотрит сентябрем»...

В его записках отчетлива «независимость от повинностей» *туристических*. В которые обыкновенно не включена, например,

прогулка по следам живших — или бывавших здесь поэтов — от Ренессанса до недавних времен,

«Был в библиотеке Дукального дворца. Рукопись Тассо. Писал широко, большими буквами и довольно неправильными, вместе с рукописью отца, который тоже был поэт...»

А затем: «Посещение Pallazo Mocenigo, в котором жил Байрон, сохраняется письменный стол его. Тут же картина Тинторетто, служившая моделью большой его картины «Рай», хранящейся в большой зале Дукальной библиотеки...»

Поездка, верней, плавание на остров Св. Лазаря. «Армянский монастырь мекитаристов, от имени основателя Мекитара... Стол, на котором Байрон учился армянскому языку. С отцом Pascal Aucher, который нынче очень стар и разбит параличом. На приветствие мое ему, что он пользуется европейскою известностью, отвечал он мне, что обязан тому путешественникам, которые слишком благосклонно о нем отзывались, особенно Байрону, напрасно преувеличившему трудность армянского языка»...

Желание непременно пройти по следу, оставленному здесь Байроном, понятно, он был *знаковой фигурой* для всех поэтов «пушкинской плеяды». Это имя то и дело появляется в записных книжках Вяземского — на всем их протяжении. Вплоть до последней, до записи от 21 сентября 1875 года: «Послал маркизе d'Eu в Лондон английский билет в 5 фунтов стерлингов для внесения в подписку, собираемую на сооружение памятника Байрону».

Про базилику Св. Марка он не раз еще повторит: «Каждый день захожу в базилику Св. Марка и люблюсь ею»...

И тем не ограничивается: «Вчера лазил я на колокольню Св. Марка... Обширный вид. Городские каналы закрыты крышами домов, и тут не догадаешься, что город построен в царстве морском».

Разумеется, и к прочим шедеврам Ренессанса — и не только Ренессанса — он отнюдь не равнодушен. И не упускает при этом случая перейти от них мыслью к современности, в частности, и к русской.

«...Заходил в церковь Sv. Sebastiano — особенно богата картинами Паоло Веронезе... Тут погребен Веронезе и поставлен бюст его. Стены и потолок им же расписаны. На месте, где покоятся останки, нет памятника, но самая церковь лучший и собственноручный ему памятник. Памятники нужны тем, о коих следует напоминать»...

И еще. Собор Св. Марии Фрари: «Гробницы Тициана и Кановы — одна против другой... Памятник Кановы сооружен по его рисункам, которые он готовил для памятника Тициану. Это напоминает Requiem Моцарта, который, не угадывая того, сам себя отпел. Монумент сей сооружен по европейской подписке и стоил 102 т. франков (немного в сравнении с тем, чего стоят наши памятники в России, которые к тому же не умножают собою наличного капитала всемирных изящных богатств)».

Две недели спустя в письме к жене Тютчева Эрнестине подробно рассказывает о празднике Рождества Богородицы в церкви Св. Марии...

Уличная современность подчас врезается в его впечатления — железом по стеклу: «Ужасная музыка вокальная и инструментальная, которая дерет уши по всем направлениям площади перед кофейнями... Странное дело, как музыкальная натура Италии производит подобных мучителей и выносит подобное мученичество»...

Разочарован оперным театром: «...Бывают и балеты, но пение и пляска довольно посредственны. Танцовщицы здесь имеют дворцы, но не имеют ног»...

Но чаще раздражение как бы нивелируется иронией, которой всегда ему было не занимать: «Для окончательной характеристики Piazza нельзя не упомянуть о скамьях и соломенных стульях, на которых следует сидеть... Должно полагать, что у итальянцев и итальянок некоторая часть тела туго обита сафьяном, а для нас эти сидалища настоящее орудие пытки, вероятно, остатки древней мебели, на которой инквизиция усаживала гостей своих в приемные дни»...

Или так: «Одни дожившие до нынешних дней потомки древней Венецианской республики — это голуби площади Сан-Марко, которые и теперь кормятся на иждивении правительства. Но эти республиканцы вовсе не дикие и не кичливые, а напротив, ручные и общежительные. Они гуляют по площади и, встречаясь с вами, только чуть-чуть отходят в сторону, чтобы дать вам пройти»...

Или так: «Венеция под дождем или в ненастье то же, что красавица с флюсом, который кривит ей рожу. Поневоле изменишь ей, как прежде ни любил ее»...

Всего лишь месяц минует, и он обнаруживает, что нашел, пусть — понимает — ненадолго, ту внутреннюю, спокойную свобо-

ду, какой был лишен полтора десятка лет. Среди старых, старинных домов и дворцов, давно поутративших свой первоначальный пылкий блеск и таящих бывшее совсем рядом с повседневностью, связано с нею, по берегам искрящихся на солнце или тускло и слабо плескучих в пасмури под веслами гондольеров.

«Эта бесколесная жизнь, эта тишина убаюкивает душу и тело... Одним словом, не пускаясь в фразы и в описательную прозу, скажу вам, что мне Венеция прелестна и жизнь в ней имеет невыразимую сладость»...

Вот только: «...Трудно воспевать Венецию. Она сама песня. И как ни пой ее, она все-таки тебя перепоеет. Я думаю, и Паганини не взялся бы аккомпанировать на скрипке своей соловью. Он заслушался бы его, да и баста»...

Однако уже написано первое из *венецианских* стихотворений:

*Город чудный, чресполосный —
Суша, море по клочкам, —
Безлошадный, бесколесный,
Город — рознь всем городам!..*

И второе — «Ночь в Венеции»:

*По зеркалу зыбкого дола,
Под темным покровом ночным,
Таинственной тенью гондола
Скользит по струям голубым...*

И «Царица красоты»:

*...Пред зеркалом, парчу накинув на плеча,
Царица красоты лобуетя собою,
И падает до ног жемчужная парча,
И вьется по земли жемчужной бахромю.*

И «Giardino publico»:

*...Люблю бродить в саду и думой дальней
Иных дорожек хладный грунт топтать*

*И в осени, красавице печальной,
Черты давно знакомые встречать....*

Воспоминание осенних прогулок на Петербургских островах...

Двенадцать стихотворений про Венецию и про свою жизнь в ней. И еще одно — тоже *итальянское* — после краткой поездки на Торчелло.

Он и впрямь не похож на «обыкновенных путешественников», он здесь *живет*, заходит в часовни, таверны, бродит по узеньким, сумрачным даже в солнечные дни улочкам: «Я очень люблю проникать... в эту довольно животрепещущую внутренность Венеции, где жизнь простонародья вращается во всей своей деятельности и простоте».

Вглядывается и вслушивается в происходящее вокруг — и пользуется всяким, даже неожиданным и странным случаем узнать побольше про здешнюю жизнь: «Встреча и знакомство с отставным палачом, которого принимал я за нищего и которому давал милостыню. Впрочем, он точно беден, стар и дряхл. Надобно с ним короче познакомиться и проведать его подноготную».

Обнаруживает, что: «В Palazzo Foscari — теперь австрийская казарма». И *комментирует* — в стихах:

*Печально видеть, как в казармы
Здесь обращаются дворцы;
Как здесь солдаты и жандармы
В чертогах Фоскари жильцы...*

Обращает внимание на то, что в Венеции «40000 бедных — при населении 110000».

Через два с половиной месяца по приезде они с женой меняют жилье, перебираются туда, где им больше нравится. И тут же — запись: «Один из нищих спросил меня: не был ли я болен, что давно не видать меня. Теперь, что переехали на пол-канала, прогулки и нищие мои переменялись».

Посещает табачную фабрику, где «работает более 1000 женщин, девиц и детей». И резюмирует: «Тут можно сделать смотр состояния венецианского женского пола».

Подробно знакомится с госпиталем для *малоимущих*, куда отвозит его доктор Намиас и где могут обрести одновременно помощь до тысячи страждущих, а в случае надобности неурочной — и до двух

тысяч. Отмечает, как здесь просторно и удобно — и для больных, и для врачей («бывшее палаццо»), перечисляет, как все продумано и организовано. И оценивает: «Прекрасное заведение»...

Венецианских записей за четыре месяца наберется столько, что они впоследствии займут почти шесть десятков страниц в десятом томе Полного собрания сочинений, отведенном записным книжкам последней четверти жизни поэта. Он много дольше бывал-жил во Франции, десятилетиями в германских княжествах и королевствах, однако ни один другой город — и даже страна — не подарили его записным книжкам такого количества — и разнообразия — связных переживаний, впечатлений, размышлений. Целую *книжку* — внутри *книжек*. Которая вот уже более ста тридцати лет не перепечатывалась ни в одном издании Вяземского.

Потому и цитирую — вразброс, но изобильно, — хочу дать хотя бы общее о ней представление.

А еще он пишет стихи, много, не только *венецианские*. К концу года их слагается больше тридцати. Такого у него не бывало очень долго, лет двадцать. И оно нимало не прерывается по возвращении из Венеции: за оставшуюся ему четверть века им написано больше, чем за сорок прежних лет.

Это — его *ренессанс*. Он, я бы сказал, *вернулся в литературу*. Остался собой, *узнаваем*, но, конечно, изменился — «дурак один не меняется»...

Двадцать пять лет спустя он напишет одно из последних своих стихотворений — «Бессознательность»:

*Мы часто действуем случайно,
Хандрим и любим невзначай,
Все в нас от нас творится тайно,
Как за собой ни примечай...*

.....
*Мы, как тростник, под ветром зыбки,
Под нами почва неверна,
Мы впечатлительны и зыбки,
Как мимотечная волна.*

*И цвет, и облик свой меняя,
Всё, что над ней, всё, что кругом,
Волна приемлет, отражая
В скользющем зеркале своем.*

*В реке, что жизнью называем,
И мы — зеркальная струя,
И мимоходом отражаем
Все впечатленья бытия...*

Замечу — не «в скобках», — что двадцатилетний Зигмунд Фрейд в это время учится в Венском университете, еще не помышляя ни о психиатрии, ни о психологии. Он закончит учение через четыре года. А первую свою работу о *бессознательном* напишет-опубликует двадцать лет спустя.

В отличие от ученого, от исследователя, поэт не *додумывается*, он *догадывается*...

И про что бы ни писал, пишет о себе.

Мне видится, что, живя в Венеции, Вяземский *бессознательно* уловил *созвучие*, которое и послужило, ежели угодно, *импульсом* к тому, что стало, нарастая, с ним — поэтом — происходить, к его *поздней лирике*.

Венеция в ту пору была глубокой *провинцией* на обочине европейской дороги-истории, равно как вся разрозненная на герцогства-княжества-республики, давно утратившая *государственность* Италия. Однако от провинций, так сказать, «традиционных», отличалась она тем, что знавала — и долго, столетиями, — не просто лучшие, но поистине блистательные времена, пребывала в *центре* европейской жизни — и культуры. И это единственная европейская страна, где несомкнутое эхо былых времен, где многовековая история, не только архитектура-живопись-музыка-поэзия, но и некоторые *ритуальные* особенности давным-давно зародившихся празднеств, вроде карнавалов — римского, венецианского и прочих, — да только начни перечислять, органически сочетаются, нет, скорей даже растворены в повседневности современной. И быть может, в Венеции, с ее обозначенной, очерченной водою морской «бесколесной» *отдельностью*, это чувствуется всего острее.

Для Вяземского то чувство оказалось созвучным его собственной долгой жизни-истории, протянувшейся через несколько эпох российской истории и литературы, через три несхожих царствования (он вот-вот доживет и до четвертого, изрядно захватит его). И все прожитое и пережитое, «все впечатленья бытия», присутствуют в нем, в его повседневности, то и дело отзываясь — в стихах, в записках, в размышлениях — отчетливыми воспоминаниями, реминисценциями, цитатами. И у него был *золотой век*, и он бывал причастен событиям *историческим* — драматическим и триумфальным, а теперь оказался *на обочине* литературной дороги второй половины XIX века, да и политической жизни.

Думается, и его раздражение — в Венеции — современной тамошней поэзией, невысокого класса оперными и балетными представлениями, раздирающей слух уличной музыкой — тоже «в рифму» к происходящему в России, из которой он теперь охотно и надолго уезжает.

Это *созвучие* вызвало уникальный творческий взрыв, дало *заряд*, которого хватило на всю оставшуюся жизнь...

За десятилетие *после Венеции* многое изменилось в его жизни. Вместо «царя застоя» Николая I — его сын, «царь-реформатор» Александр II, бывший воспитанник Жуковского, с отрочества знавший Вяземского. При нем Вяземский три года пробыл «товарищем министра» народного просвещения А.С. Норова (брата декабриста В.С. Норова). Вышел в отставку — в записной книжке поразмыслил об этом шаге: «При Дворе я не Двор любил, и меня вовсе не тешило, что и я имею место между придворными скороходами и *скороползками* всех чинов и всех орденов. Мне дорого и нужно только сочувствие; а без сочувствия мне там делать нечего, о чем следует при удобном случае крепко и окончательно подумать». Дружеские отношения сложились с императрицей Марией Александровной, *поклонницей* поэта. Он посвящал ей стихи. Читал стихи на ее *вечерах*. Беседовали о литературе: «Читал императрице из воспоминаний Пущина о Пушкине»... При отъездах его из России переписывались.

Время понемногу сгладило трагическую горечь потерь, как бы преобразило в печаль воспоминаний...

Он снова обрел, наконец, ту внутреннюю свободу, нехватку которой остро чувствовал со второй половины тридцатых годов.

Среди стихов этой поры появляются пространные сочинения нечастого в поэзии *мемуарного* жанра. Об одном из наставников отрочества своего Дмитриеве — «Дом Ивана Ивановича Дмитриева». О Михаиле Вьельгорском — «Как ни придешь к нему, хоть вечером, хоть рано...» О собственной прошлой жизни — «Литературная исповедь»:

*...Писал, когда писать в душе была потреба,
Не силясь звезд хватать ни с полу и ни с неба,
И не давал себя расколам в кабалу
И сам не корчил я вождя в своем углу...*

— где третий стих отзывается полутора строчками записной книжки: «Деспотизм расколов безграничен, особенно литературных, безусловнее даже религиозных».

И про сам этот жанр:

*...Воспоминание, минувшего зарница,
Блеснет и озарит пройденный нами путь,
И прожитые дни, и выбывшие лица —
Все тени милые — теснятся в нашу грудь.*

Иногда этот проблеск мимолетен — реминисценцией-напоминанием о прежнем — и всегдашнем — друге: «Привычка мне дана в замену счастью»... И о собственном — давнем — переживании:

*Приветствую тебя, в минувшем молодея,
Давнишних дней приют, души моей Помпея...*

Тут, кроме, «Приветствую тебя, пустынный уголок, / Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...», упоминание трагической судьбы города, который тридцать лет назад посетил, на два дня вырвавшись из Рима, где происходила первая из трагедий его долгой жизни...

В записных книжках — явственно больше, чем лет за пятнадцать предыдущих, заметок и размышлений о литературе, о поэзии.

Вечный спутник его — Карамзин: «Дорогою читал “Письма русского путешественника”». Не читал, конечно, — перечитывал. «Когда бываю за границей, всегда беру с собою Письма Карамзина и перечитываю многие из них с особенным наслаждением. Люблю отыскивать, угадывать следы его, разумеется, давно стертые с лица земли». Он ведь когда-то и в письме к жене советовал непременно читать со «старшими» детьми эту книгу, давая им ненавязчивые уроки русского языка.

Раздраженный болтовней современных российских критиков о том, что «нынешний читатель» взыскует у писателя «правды жизни», а не «чистого искусства», напоминает позабытое, видать, этими критиками: «Один хороший автор рождает сотни читателей, но целый народ читателей не произведет ни единого, даже посредственного автора».

Прочитав, что пишут народившиеся, наконец, в России литературоведы-аналитики о Пушкине, огорчается: «В Пушкине преследуют какой-то предначертанный идеал и ломают его и растягивают по этому Прокрустову образцу. А Пушкин был всегда дитя вдохновения, дитя мимотекущей минуты. И оттого все создания его так живы и убедительны. Это Эолова арфа, которая трепетала под налетом всех четырех ветров с неба и отзывалась на них песнею. Рассекать эти песни и анатомизировать их — и вообще создание всякого поэта — и искать в них организованную систему со своею строгою и неуклончивою системою — значит не понимать Пушкина в особенности, ни вообще поэта и поэзии».

Почитывает русские журналы — и легко ловит неточности и нелепости: «Из любви к правословию русского языка не надобно допускать кривотолк в понятиях». И тут же — далее: «Русский язык богат сырыми материалами, как и вообще русская почва. Отделка, оправа, изделие плохо нам даются. У нас в языке крупные ассигнации: в мелких недостаток, потому и вынуждены мы прибегать к иностранным монетам. Язык наш богат в некоторых отношениях, но в других он очень беден. Наш язык не имеет микроскопических свойств. Мы все выезжаем на слонах, а человеческое сердце есть кунсткамера разных букашек, бесконечно малых, улетающих эфемеров»...

И не только, разумеется, о литературе здесь есть строчки, по моему, замечательные. Жалко не процитировать, хотя бы некото-

рые, немногие — ведь не перепечатывались, повторю, больше столетия, и не факт, что в обозримом будущем переиздадутся.

Встретив у кого-то филиппику по поводу разгулявшегося после Крымской войны «квасного патриотизма», когда любовь к отечеству выказывается более всего «в ненависти ко всему иноземному», предлагает заменить броский эпитет на более, по его мнению, точный — «сивушный».

Дополняет расхожую поговорку: «Бедность не порок, но, к сожалению, вводит в порок».

Иронизирует над бравадами политиков: «Редко министр иностранных дел захочет оставаться праздным и дать забыть о себе. А между тем дипломатия только тогда и хороша, когда о ней, как о кесаревой жене, никак не говорят».

Сомневается в будущем: «Не знаю, дойдут ли люди до истинной гражданской свободы, но знаю, что путь дальний и дорога весьма негладкая».

Ну, и о себе, о собственных нередко возникающих в стихах сеговетованиях на выпавшие ему теперь, в старости, тяготах: «Вероятно, мы часто жалуемся на судьбу, не замечая, что во многом мы сами своя судьба»...

Десять лет спустя он возвращается в Венецию.

А перед этим пишет два стихотворения под общим заглавием «Хандра». Первое начинается повторной реминисценцией, уже упоминавшейся чуть раньше:

*А есть ли где-нибудь приютный уголок,
Где б мог я отыскать спокойство и здоровье,
Где б жизнь моя вошла в свой обыденный ток,
Где сон дало бы мне ночное изголовье?..*

Второе — пронзительней, безнадежней:

*Мне все прискучилось, приелось, присмотрелось,
В томительной тоске жизнь пошлую влachu;
Отвсюду мне уехать бы хотелось
И никуда приехать не хочу...*

(Помечу, к слову: шесть десятилетий спустя нечто весьма подобное выскажет о себе Ходасевич, который, судя по написанному им о Вяземском, числил его исключительно «поэтом пушкинской поры» и потому едва ли читал эти стихи: «По залам прохожу лениво, / Претит от истин и красот, / Еще не виданные дива, / Признаюсь, знаю наперед...»)

«Уголок» сыскался. И, как выяснилось вскоре, «прискучилось» не все. Во всяком случае, не Венеция.

И почти сразу интонация — и настроение — меняется, светлеет, словно солнечный луч пробился, упал на «Фотографию Венеции»:

*В объеме чудной панорамы
Земли не видно: все вода.
Плавучие дворцы и храмы,
Как бы на якоре суда,
Как будто ждут, чтоб ветер попутной
Расшевелил их паруса!
Глядит задумчиво и смутно
Дворцов маститая краса!..*

Что снова потянуло, привело его сюда? И так надолго? Мне думается, что таким вот образом, опять же, *бессознательно*, откликнулась процитированная им в одной из давних, более сорока лет назад написанных статей мысль его друга, влюбленного в Италию: «Батюшков, опровергая мнение Даламбера, что поэт на необитаемом острове перестал бы писать стихи, потому что некому читать и хвалить их, а математик продолжал бы проводить линии и составлять углы, указывает на Капниста, который в Париже писал свои бессмертные стихи. “Париж был сей необитаемый остров для Капниста”, — говорит Батюшков»...

Стихи Вяземского тоже почти некому «читать и хвалить», кроме нескольких, по пальцам нетрудно счесть, друзей и добрых знакомых. Однако он продолжает их писать — много, больше, чем когда-либо прежде. А в России, судя по записным книжкам минувшего десятилетия, остаться более или даже менее наедине с этим занятием очень непросто. Отвлекает, мешают окружающая *суэта*, уклониться от которой нет никакой «простительной» возможно-

сти, вроде недомогания, например. Светская скороговорка столичной жизни — и необходимость наблюдать лично, уж коль скоро он неподалеку, день пути, за происходящим в его Остафьеве, какое удовольствие ни доставляли бы прогулки по окрестностям. Бесконечные приглашения-визиты, от которых неловко, а то и невозможно — из приличий — уклониться, да и не сказать, чтобы они были ему неприятны, упоминает-фиксирует без намека на раздражение. И похоже, что в своих поездках этих лет по Европе он как бы ищет свой «необитаемый остров». Каким был Париж для Капниста. Или — в середине двадцатых — Москва для Мицкевича.

Он любил Париж, этот город вечного праздника, не раз и охотно в нем бывал, но теперь не тот случай: «Там нет будней, а будни нужны моим нервам, нужен отдых, полусвет»...

Едет в Швейцарию. Некоторое время живет в Лозанне, смолоду знакомой ему по замечательному описанию Руссо, в город, где французскому философу так хорошо и спокойно думалось и сочинялось. Нет, не то, все ныне по-другому. «С Швейцарией у меня не складывается»...

Его *островом* становится Венеция. Почти не метафорически:

*Недаром здесь вода, везде вода,
Недаром здесь немое рыбе царство...*

И за восемь проведенных, прожитых здесь месяцев в записных его книжках... одна-единственная *итальянская* запись, про нее скажу потом, и нет ни одного (!) упоминания Венеции. Как будто все, что хотел про нее сказать *в прозе*, уже сказано, десять лет назад, когда *обживал* ее. Зато есть стихи *венецианские* — три десятка. И еще несколько — после недолгих выездов в близкие от нее итальянские города. Вместе с прежними — *венецианскими* и более ранними («Флоренция», «Рим», «К Риму») — в двух последних томах Полного собрания сочинений набирается целая книга, и немаленькая, две с половиною тысячи строк, стихов об Италии. Вяземский — единственный русский поэт, у которого есть *книга итальянских стихов*. И больше половины этих стихов не было до недавних пор включено ни в одно его издание, ни в прошлом, ни в нынешнем веке (впрочем, лет пятнадцать назад, одно издание — крохотным тиражом — все-таки было, куда составители, я бы

сказал, сгребли-свалили беспорядочно — из Полного собрания сочинений — чуть ли не все стихи, в посмертные издания не попадавшие, и, думаю, именно это *беспорядочность* оставила книжку вне читательского — и стиховедческого — внимания)...

Новые стихи — не совсем такие, как раньше, подчас и совсем не такие. Среди прежних были эффектные пейзажи («Ночь в Венеции», «Царица красоты»»), зарисовки, попытки симпровизировать, слегка стилизуя, услышанное («Баркароллы») etc. Ныне — другое. Ведь и Венеция — другая. Начавшееся три года назад объединение Италии вокруг столицы — Флоренции — долетело до нее, смешалось с ее ветрами.

В декабре Вяземский на несколько дней отправился в Милан. «Был у старого знакомого Мандзони. Он показался мне бодрее прежнего. Он помолодел с восстановлением Италии. Кажется, ему за 75 лет (78. — В.П.)... Он сказал мне: не все еще для Италии сделано, что должно сделать, но сделано много, и мы пока должны быть довольны... Я попросил фотографии его, которую видел у фотографа. Не дал, говоря, что и ближайшим друзьям и родственникам отказывает. В прежний мой проезд через Милан просил я его дать мне строчку его автографии. Тоже отказал, говоря, что все это тщеславие, а что он, по возможности, отказался от всего, что сбивается на суетность. Но нет ли в этих отказах другого рода тщеславия?.. Не давать их, не делать того, что все делают, есть придавать себе особую цену. Не подозреваю Мандзони в сознательном подобном умысле. Но на деле выходит так...»

Та самая — единственная — итальянская запись, о которой упоминал. К *теме перемен*, понятно, относится лишь первая треть ее. Но мне было жаль обрывать там, уж больно остальное забавно.

Через три года в состав Италии войдет и Венеция. Еще через четыре — Рим, туда и переместится столица.

Предчувствия этого недалекого будущего отзываются в стихах.

*И я желал бы зреть Венецию свободной,
Но жизнью собственной, ее преданьям сродной...*

И резче, определенной, тревожней:

*...Но в роскошной неге юга
Всюду чуешь скрытый гнев;
И сердито друг на друга
Дуются орел и лев.*

Не дошло еще до драки:

*Тишина перед грозой;
Но по небу ходят мраки
Над напуганной землей.*

И сожаление о том, что едва ли все это произойдет мирно:

*Смешно и жалко видеть, как без цели
Мы портим жизнь, как братскую семью
Разбили мы на спорные артели
И тратим силы в родственном бою.
Есть на земле границы между нами —
В земле же мы все будем земляками.*

(Не удержался-таки, сослался опознаваемо в двух последних стихах на Карамзина, сказавшего некогда, что мы «прежде всего земляне» и только потом «областные жители».)

Среди стихов появляются «жанровые»: иронически-пародийное описание английских туристов («На Canal grande леди, миссы / Слетелись, будто саранча...»), бытовые зарисовки («Накинут на гондолу фельце...»), сюжетные («Старый гондольер») etc. А пейзажи становятся разнообразней — от обращенной к Венеции любовной лирики («Я было разлюбил красавицу свою...») и до отклика на окружающее, слитно мыслью и чувством:

*Мир фантастический, причудливый, прелестный!
Кому твои мечты и таинства известны,
Кто мог уразуметь их сладостный язык,
Кто чувством в этот мир загадочный проник...*

Именно это стихотворение — «Фотография Венеции» — переписал Тютчев, не пометив, естественно, автора, не опасался забыть.

Так и сохранилось оно среди его бумаг. И в посмертных изданиях печаталось как «тютчевское», хоть и было уже опубликовано в Собрании сочинений Вяземского, пока Брюсов не заметил и не исключил его. Составители тютчевского издания попросту не читали томов сочинений Вяземского. Больше упрекнуть их не в чем. Стихи и впрямь близки лирике Тютчева. Равно как некоторые поздние сочинения Тютчева — стихам Вяземского. Про то еще скажу. А пока — о стихах, из Венеции к Тютчеву обращенных:

*Вот и крещенские морозы!
Точь-в-точь на невском берегу:
Метет метелица на Пьяце,
Как на Царицыном лугу...*

*Бушует по лагунам вьюга,
Несется дикий вой и рев:
И на столбе продрог с испуга
И холода крылатый лев.*

*Взъерошил шерсть ему и гриву
Курчавый и мохнатый снег:
И южный царь глядит сердито
На этот северный набег.*

*Чутьем он севера не любит
И крепко знает почему:
Как Пушкин наш, сказать он может,
Что север вреден и ему...*

Десятка три лет тому назад, прочитав у критика по поводу своих стихов, что мысль в них отражена очень хорошо, «но что за звуки!», Вяземский откликнулся коротко и жестко: «В стихах хочу сказать то, что сказать хочу». И эту перепалку мысленно можно отнести к изрядному числу его стихов.

На примере этого, да и других стихов пятидесятых-шестидесятых годов нетрудно увидеть, что *письмо* его изменилось. Не только *звуки*, как в первом катрене, просквоженном посвистом «метелицы», но и самая речь стихотворная, где созвучия, риф-

мы (о которых говорил он в начале тридцатых по поводу чьих-то небрежных стихов, что следует их подбирать тщательно, как заплатки к ткани) у него становятся все более *смысловыми*, стремясь передать видение, переживание, впечатление, мысль, не в *стихах*, но *стихом*. Ну, как здесь. В первом катрене первый стих и третий не рифмуются, я бы сказал, подчеркнуто, почти демонстративно, продлевая вместо этого аллитерацию. Второй катрен замкнут созвучиями четко и чисто (abab). Среди первых шести катренов подобных ему будет лишь еще один, пятый, а начиная с седьмого — все остальные. Словно бы не всё из впечатлений откликается на созвучия, словно бы сама Венеция не дается, не желает сразу *зарифмоваться*, замкнуться в стихах поэта, напоминая, что свободна, открыта «свободной стихии» — морю. Не думаю, что поэтом, совсем неплохо умеющим рифмовать, это сделано сознательно, скорее — *по наитию*, но сделано мастерски. Равно как *пушкинское эхо*, долетевшая из первой строфы до четвертой ассоциация Венеции с Петербургом, не первая и не последняя — в *венецианских стихах*.

1864 год, первая треть которого прожита была поэтом в Венеции и середине которого поэт отметил семидесятидвухлетие, что — при тогдашней средней продолжительности жизни — было возрастом более, чем *преклонным*, стал самым *насыщенным* стихами. Их к концу года набралось без малого сто. Резко, намного больше, нежели в любом из прежних. И начало этому *приливу* задал *венецианский цикл* — волне, которая постепенно, медленно затихая, прокатилась почти на полтора десятилетия. И большинство лучших стихотворений второй половины жизни Вяземского создано в эту пору.

Однако вернусь ненадолго к двум процитированным стихотворениям. Одно — Тютчевым переписано, второе — ему адресовано. Не только в них, но и в других, тогда сочиненных, все более отчетливо проступает *тема*, которая, насколько мне известно, никогда прежде особого внимания не привлекала. Оттуда же, из Венеции, — стихотворение, адресованное жене Тютчева, Эрнестине. А в конце года, в декабре, на тютчевское:

*Жизнь, как подстреленная птица,
Подняться хочет — и не может... —*

Вяземский откликается:

*Твоя подстреленная птица
Так звучно-жалобно поет...*

Знакомство Вяземского с Тютчевым началось, повторю, осенью тридцать четвертого, когда Вяземские останавливались в Мюнхене по пути в Рим. Напомню, что именно поэтому два года спустя кузен жены Вяземского и сослуживец Тютчева по российской дипломатической миссии в Баварии князь И.С. Гагарин привез Петру Андреевичу в Петербург из Германии тютчевские стихи. Каковы Вяземский и отнес Пушкину — в «Современник». А сдружились поэты десять лет спустя, в сорок четвертом, когда Тютчев вернулся в Россию (и когда, напомню, не стало Баратынского; похоже, что потеря та повлияла психологически на стремительное сближение Вяземского с другим *поэтом мысли*). С этого года начинается четвертьвековая (!) переписка — по-французски — между Вяземским и Эрнестиной Тютчевой (недавно она впервые издана — в переводах на русский — томом в шесть сотен страниц), можно сказать, что *через нее* поэты нередко переговаривались (Тютчев к «эпистолярному жанру», так скажем, *не тяготел*). А его жена оказалась замечательным адресатом-корреспондентом, и Вяземский высоко ценил ее *эпистолярный дар*, писал как-то к ней, что, если когда-нибудь ее письма будут изданы, они станут событием в этом литературном *жанре* (ныне есть возможность сие пророчество проверить).

У двух поэтов и в прошлом обнаружилось немало общего. Ну, например, одним из домашних учителей пятнадцатилетнего Вяземского был поэт-профессор Алексей Мерзляков, ведавший в Московском университете кафедрой русского красноречия и поэзии. Десять лет спустя пятнадцатилетний Тютчев увлеченно слушал лекции Мерзлякова на университетском Словесном отделении...

Из записных книжек Вяземского (середина пятидесятых): «Читал я с принцессою... некоторые стихотворения Тютчева».

И еще: «Был у меня Московского университета Майков (А.А. Майков, профессор-славист, кузен поэта. — *В.П.*). Тютчев читал ему свои последние стихи»...

В шестьдесят первом дочери Тютчева посвящено одно из стихотворений Вяземского. А Тютчев в день рождения Вяземского

пишет стихи, упоминая в них и отмеченный в начале года пятидесятилетний юбилей литературного творчества *адресата*:

*...Смотрите, как, облитый светом,
Ступив на крайнюю ступень,
С своим прощается поэтом
Великолепный этот день...*

*Фонтаны плещут тиховейно,
Прохладой сонной дышит сад —
И так над вами юбилейно
Петровы липы здесь шумят...*

Если положить рядом поздние стихи этих двух поэтов и неторопливо читать, не надобно особенных усилий, чтобы обнаружить *родственное*. В манере письма, в ироническом, а то и саркастичном отношении к «характерным» чертам *современности*, в драматичном и философичном одновременно осмыслении прожитой жизни и своего приближения к исходу из нее.

В семьдесят втором — у Вяземского:

Не я ли искупил ценой страданий многих
Все, чем пред Промыслом я быть виновен мог?
Иль только для меня своих законов строгих
Не властен отменить *злопамятливый* Бог?

Меньше чем через год, в феврале семьдесят третьего, полупарализованный, умирающий Тютчев пишет последнее стихотворение:

Все отнял у меня *казнящий* Бог:
Здоровье, силу воли, воздух, сон,
Одну тебя при мне оставил Он,
Чтоб я Ему еще молиться мог.

(Курсив мой. — В. П.)

Не перестаю удивляться тому, что *тема* «Вяземский и Тютчев» до сих пор не привлекала к себе сколь-нибудь серьезного внима-

ния исследователей тютчевских жизни и творчества. Ведь их знакомство и общение — и переключки стихами, и переписка Вяземского с Эрнестиной, — длились без малого три десятилетия, много дольше, нежели дружба Вяземского с Пушкиным, какую пушкинисты проштудировали, так сказать, «до запятых».

А тут — разве что упоминания, *вскользь*, в комментариях. Много лет назад, учась в Литинституте, я говорил об этом с правнуком Тютчева, Кириллом Васильевичем Пигарёвым, историком литературы и директором тютчевского Музея-усадьбы Мураново, который вел у нас семинар по творчеству Тютчева, Он тоже удивился, сказал, что этим, конечно, стоит заняться. Но, видимо, так и не собрался...

После Венеции Вяземский прожил полтора десятка лет. И *венецианские* отзвуки, ощущения, *метафоры* то и дело проступали, проявлялись в его стихах, далеко в прошлое подчас уводя, скажем, к пушкинскому «Ариону»:

*Давно плыву житейским морем,
Не раз при мне вздымался вал,
Который счастьем или горем
Пловцов случайно заливал...*

И воспоминание о море не метафорическом, которое само — воспоминание, таящее все былое, только вслушайся:

*Опять я слышу этот шум,
Который сладостно тревожил
Покой моих ленивых дум...*

Историки литературы М.П. Погодин, П.И. Бартнев, Я.К. Грот не раз обращались к нему, просили, настаивали, чтобы написал он воспоминания, кому же, как не ему, столько прожившему, видевшему, знавшему, сотворить, наконец, свой *мемуарный автопортрет*. Он отнекивался, отшучивался, поясняя: «Вы хотите, чтобы я написал и свой портрет во весь рост. То-то и беда, что у меня нет своего роста. Я создан как-то поштучно, и вся жизнь моя шла отрывочно. Мне не отыскать себя в этих обрубках... Чем богат, тем и

рад. Фасы моей от меня не требуйте. Бог фасы мне не дал, а дал мне только несколько профилей».

Вот так «отрывочно», *эскизами профилей* прочерчены воспоминания в стихах и в прозе его последних лет.

Поминает ушедших: «Дельвиг, Пушкин, Баратынский, / Русской музы близнецы»... Окликает одного из них:

*...Но все же, может быть, рожден я не напрасно,
В семье людей не всем, быть может, я чужой,
И хоть одна душа откликнулась согласно
На улетающий, минутный голос мой.*

И словно слышится из полувекового далека, от Баратынского:

*...Его найдет далекий мой потомок
В моих стихах. Как знать? Душа моя
Окажется с душой его в сношеньях...*

А в прозе — подробно отвечает в письме к Погодину на его вопросы о Карамзине. В другом письме — к нему же — рассказывает все, что уверенно помнит, про историю «Арзамаса», за остальным отсылает его к «Запискам» Вигеля.

И тут же, листая «Записки» бывшего вождя супротивной «Арзамасу» «Беседы», не отказывает себе в удовольствии — через полвека после той литературной «войны» — подшутить над бывлым противником: «Шишков в Записках своих называет *лягушек насекомыми*, и забавно, что в то самое время, когда император Александр назначил его, по просьбе его, президентом Российской Академии».

*В воспоминаниях ищу я вдохновенья,
Одною памятью живу я наизусть...*

И возникшая почему-то из памяти, занесенная мимоходом на страницу строка о последних в жизни словах В.Л. Пушкина: «Как скучен Катенин», — по загадочным свойствам эха отзовется «карандашом, дрожащим почерком, во время предсмертной болезни автора» (из «Примечания Издателя» к записи, завершающей последнюю, тридцать вторую «Записную книжку» поэта в десятом

томе Собрания сочинений) последней в жизни строкою Вяземского: «Хемницер иногда вял и пуст до пошлости».

После этой записи Вяземский на столетие останется самым непрочитанным и недооцененным из лучших русских поэтов девятнадцатого века.

«Вяземского исключительно интересно читать, потому что он никогда не лжет» (Иосиф Бродский).

№ 4, 2023 г.



Картина мира

К 233-й годовщине со дня взятия Бастилии
Французская революция в рассказах очевидцев.
Воспоминания. Предисловие, перевод с
французского и примечания Елены Морозовой



ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
В РАССКАЗАХ ОЧЕВИДЦЕВ

К 233-й годовщине со дня взятия Бастилии

ОТ ПЕРЕВОДЧИКА

Французская революция, началом которой традиционно считают 14 июля 1789 года, явилась главным потрясением XVIII столетия, так или иначе затронувшим все страны мира. Она незримо присутствовала на протяжении значительной части столетия XIX. Количество посвященной ей литературы поистине неизмеримо, в том числе и литературы мемуарной, написанной как сторонниками революции, так и ее противниками. А так как с 14 июля 1789 г. по 9 термидора (27 июля 1794 г.) революция прошла несколько этапов — от конституционной монархии до якобинской диктатуры, — то разброс мнений и отношения к событиям чрезвычайно велик. Сторонники конституционной монархии, провозглашенной 14 июля 1790 г., враждовали со сторонниками республики, провозглашенной 21 сентября 1792 г., и, апеллируя к народу, видели друг в друге его врагов. Победившая среди республиканцев фракция, сидевшая на верхних скамьях Конвента и получившая название Горы (по-французски *montagne*, а ее сторонники именуются *монтаньярами*), состояла в основном из якобинцев и нападала на своих коллег-депутатов, поддерживавших жирондистов — фракцию, получившую название от департамента Жиронда. Ни якобинцы, ни жирондисты не терпели крайне левых, именуемых «бешеными», оплотом которых стала Парижская коммуна...

Почти два десятилетия после падения Террора, а вместе с ним и установившей его якобинской диктатуры, прошли под знаком Наполеона, активно опиравшегося в своей деятельности на достижения революции. Эпоху Наполеона сменила Реставрация, затем Июльская монархия, Вторая Республика, Вторая империя... За это время многие яростные идейные противники

*Революции покинули этот мир, многие переменили взгляды: пришло время осмысления произошедшего. Анонимный составитель сборника *Anecdotes du temps de la Terreur* (Paris, 1856), где опубликованы приводимые ниже свидетельства, соединил под одной обложкой воспоминания и роялистов, и республиканцев, ибо, по его словам, «мы испытываем своего рода утешение, когда видим, что все партии единодушно порицают Террор, который, как мы можем с уверенностью сказать, уже навсегда принадлежит прошлому». Среди очевидцев, чьи воспоминания вошли в настоящий сборник, – иезуит и дипломат аббат Жоржель; знаменитая женщина-политик Манон Ролан де Ла Платьер, сложившая голову на гильотине; ярый антимонархист, журналист, издатель газеты «Парижские революции» Луи-Мари Прюдом; бывший советник Людовика XVI, убежденный роялист Бертран де Мольвиль; беспристрастный журналист Клод-Франсуа Болье. Рядом с авторскими рассказами соседствуют сообщения из национальной газеты «Монитор» и протоколы заседания народных секций.*

Елена МОРОЗОВА

ТЕРРОР ДО НАЧАЛА ТЕРРОРА

25 августа 1788 года на Новом мосту сожгли архиепископа Ломени де Бриенна и канцлера Ламуаньона... точнее, сожгли их чучела. Первый разрушительный мятеж случился в мае 1789 года. Он начался на улице Монтрей, в предместье Сент-Антуан. Дом фабриканта обоев по имени Ревельон разграбила и подожгла банда рабочих, явившаяся неизвестно откуда. Жиденькие отряды французской и швейцарской гвардии с оружием в руках довольно долго взирали на эти сатурналии и начали изгонять грабителей только тогда, когда дом обратился в пепел. Подполковник, командир швейцарской гвардии де Безанваль, вспоминает: «Все полицейские шпионы в своих доносах в один голос твердили, что восстание организовали иностранцы; они же, желая увеличить свою численность, силой заставляли идти с собой всех, кто попадался им на пути, и даже трижды посылали вербовать рекрутов в предместье Сен-Марсо. Однако никто так и не сумел объяснить, кто же в конце концов к ним присоединился...»

14 июля победители Бастилии захватили коменданта крепости де Лонэ и находившихся под его началом офицеров и решили отвести их в ратушу. Но стоило конвоирам сделать несколько шагов, как толпа в ярости набросилась на пленников. Участнику штурма Бастилии Юлену, который вел коменданта, даже пришлось обнажить саблю для защиты своего подопечного. Видя, что противник преобладает в численности, он прибег к великодушной хитрости: нахлобучил на голову де Лонэ собственную шляпу; этот самоотверженный поступок чуть не стоил ему жизни. Путь по улице Сент-Антуан превратился в яростное сражение. Но когда обогнули угол ратуши, де Лонэ пал под сабельными ударами, его голову тотчас отсекали от туловища и поместили на конец пика, по древку которой заструилась кровь. Сзади подошел майор де Лом, командир бастильского гарнизона, храбрый воин, исполненный человечности, которого любили все заключенные. Кровь де Лонэ забрызгала майора, и убийцы набросились на него. Многие встали на его защиту, а молодой человек по имени де Бельпон, бывший бастильский узник, закрыл майора своим телом: «Это самый добродетельный человек на свете! — со слезами воскликнул он. — Я провел в

Бастилии пять лет, и все это время он был моим другом и утешителем!» Но де Лом твердой рукой отстранил его: «Вы погубите себя и не спасете меня», — только и успел он сказать ему, ибо когда говорил, его ударили саблей. И вот уже голову майора несут на пике, как и голову де Лонэ. В это же самое время раздался выстрел: на пороге ратуши был застрелен купеческий прево Флессель.

Спустя несколько дней на Гревской площади перед ратушей убили Фулона и Бертье. Фулон, интендант финансов, обвинялся в организации голода в Париже. Вокруг его дома постоянно раздавались угрозы убить его. Он бежал в Витри, в имение бывшего начальника полиции Сартина. 22 июля там его схватила шайка негодяев, связала, бросила в телегу и, осыпая оскорблениями, повезла в Париж. Негодяи обращались со своей жертвой, как с игрушкой: надели на шею ожерелье из крапивы, сунули в руки букет из чертополоха, а под спину подсунули связку соломы. Среди тех, кто с проклятиями сопровождал телегу, прошел слух, что Фулон хотел заставить народ есть траву. Во время бурного заседания в ратуше, продолжавшегося весь день, бравый Лафайет¹ пытался использовать все возможные уловки для спасения пленника. Связанный Фулон, присутствовавший на этом заседании, с ужасом слушал, как тысячи голосов требуют его голову. А вечером очередная бандитская шайка ворвалась в зал ратуши, схватила пленника и вытащила его на улицу. В эту минуту мужество и рассудок окончательно покинули Фулона. Под фонарем его заставили преклонить колени и просить прощения у Бога, нации и короля; какой-то человек из народа протянул ему руку для поцелуя. Фулон сделал все, что от него потребовали. И все время плакал и просил пощады. А вокруг все смеялись и кричали: «На фонарь его!» Наконец, принесли веревку и стали его вешать; веревка оборвалась, он упал на колени и стал молить народ о пощаде; на него снова накинули веревку: веревка снова оборвалась. Солдаты предложили саблю; но толпа решила подождать, пока принесут новую веревку. Время затянулось. Фулон больше не мог кричать, а лишь молитвенно вздымал к небу руки. Когда его, наконец, повесили, он был уже мертв. Труп

¹ Маркиз де Лафайет (1757–1837) — участник американской войны за независимость, депутат Генеральных штатов, один из авторов «Декларации прав человека и гражданина», в начале революции пользовался большой популярностью в народе.

мгновенно раздели и изуродовали. Голову водрузили на пику, засунув в рот пучок травы. Изуродованные останки бросили в ручей.

От таких ужасов останавливалось дыхание, но тут пришло известие, что те же самые люди захватили Бертье, зятя Фулона. Ни Байи², ни Лафайету, ни депутатам не удалось спасти хотя бы эту жертву. Напрасные усилия! Бертье схватили, а когда он стал сопротивляться, убили ударом пика. Тело рассекли, вырвали сердце и поджарили на углях...

Поджигатели с улицы Монтрей, убийцы де Лонэ, Флесселя, Фулона и Бертье снова встретились 6 октября в Версале. Накануне Лафайет сумел убедить народ выслушать его; королева смогла смягчить сердца отправленной к ней депутации женщин; французские гвардейцы, смешавшись с народом, братались с королевской лейб-гвардией. Никто не помышлял о насилии, поэтому у дворцовых ворот поставили только по два лейб-гвардейца. Внезапно со стороны Министерского двора раздались призывы к убийству. Это Журдан-Головорез во главе своих людей яростно наносил удары топором мертвому лейб-гвардейцу. Другого часового разоружили, сдернув с него перевязь. Преследуемый яростно вопящей толпой, он пустился бежать. Он побежал вверх по большой лестнице, а за ним по пятам мчалась толпа. Жуткие вопли оглашали дворец; двери апартаментов разлетались в щепки. Двадцать лейб-гвардейцев выступили навстречу толпе, сдерживая первый натиск и давая возможность королеве бежать. Гвардейцы попытались вступить в переговоры. Вооруженные пиками нападавшие отгеснили их и продолжали теснить до самой спальни королевы. Войдя в нее первыми, лейб-гвардейцы заперли дверь и принялись сооружать преграды из мебели, в то время как Мария-Антуанетта поспешно ускользнула через черный ход. Дверь сопротивлялась недолго. Первой от ударов топора сломалась нижняя филенка; гвардейцы подтащили к двери ящик, куда обычно складывали дрова. Тщетные усилия! Бандиты, наконец, прорубили себе проход и ворвались, опрокидывая все на своем пути. Одной из первых жертв пал Франсуа де Ворикур; он пытался бежать, за ним погнались, он споткнулся о своего товарища, и его убили ударами кинжала. А голову, надетую на пику, понесли из Версаля в Париж, наводя ужас на участников кортежа. По дороге в Пон-де-Севр тот, кто

²Жан Сильвен Байи (1736–1793) — астроном, математик, политик. В 1789 г. мэр Парижа.

ее нес, отправился к цирюльнику и велел ему побрить и напудрить эту окровавленную голову.

После ареста Людовика XVI в Варенне почти во всех клубах требовали ограничить монарха в правах. А отдельные голоса требовали отмены королевской власти как таковой. 25 июня Национальное собрание временно отстранило Людовика XVI от власти, приняв, таким образом, половинчатое решение. Волнение в клубах стремительно нарастало. 16 июля положение в Париже стало угрожающим. Национальное собрание провело вечернее заседание, на котором отклонили наиболее революционные предложения, оставив в силе декрет от 25 июня. Эту новость, мгновенно долетевшую до клубов, встретили криками ярости. Было решено составить петицию и на следующее утро, в полдень, отправиться на Марсово поле, чтобы на Алтаре отечества подписать ее.

Следующий день пришелся на воскресенье. Хотя петиционеры договорились встретиться в полдень, в восемь утра вокруг Алтаря отечества уже собралось немало людей. Это были те же орды, которые словно из-под земли выросли рядом с победителями после взятия Бастилии и которым вскоре предстояло заслужить страшное прозвище септембризеров³. Двое мужчин, один из них инвалид с деревянной ногой, проскользнули под Алтарь отечества. Один начал буравчиком сверлить дырки в досках, и какая-то женщина, наступив ногой на острие, вскрикнула; к ней подбежали, вырвали доску, проникли под Алтарь и вытащили оттуда двоих несчастных. Что они там делали? Каковы были их намерения? Этими вопросами задавался каждый, но никто не мог на них ответить. Несчастных привели к полицейскому комиссару секции Гро-Кайу. Их ответы на вопросы звучали уклончиво или же вовсе неправдоподобно, тем не менее, комиссар их отпустил. Но уже на пороге полицейского участка толпа набросилась на них и повалила. Одного немедленно убили ударами кинжалов, другого повесили на фонаре. Веревка оборвалась, и, когда он упал, он был еще жив; ему тотчас отрезали голову, и юноша четырнадцати лет насадил ее на пику. Так начался знаменитый день 17 июля 1791 года, когда Лафайет и Байи впервые применили закон военного времени против

³ Септембризерами называли тех, кто принимал участие в резне заключенных в тюрьмах в сентябре 1792 года.

мятежников. Террор заслонил собой этот день. **(Анонимный составитель сборника)**

ГИЛЬОТИНА

Завершена работа над гильотиной; невозможно представить себе орудие смерти, кое бы лучше сочетало в себе требования человечности с императивами закона — по крайней мере, пока смертная казнь не будет отменена. Пока же церемонию казни необходимо усовершенствовать, устранив из нее все, напоминающее о старом режиме. К месту казни осужденного везут в телеге (только Капету⁴ предоставили карету), но связанные за спиной руки заставляют его принять неудобную и подневольную позу; исповеднику позволяют надевать черную рясу, несмотря на декрет, запрещающий носить церковную одежду вне пределов храма, — все эти детали не соответствуют духу просвещенной, гуманной и свободной нации. Также политически недальновидно предоставлять священнику право принять последние слова контрреволюционера, заговорщика или эмигранта. Авторитет, которым у них все еще пользуются служители культа, может подтолкнуть преступника доверить исповеднику важные сведения, которыми тот потом сможет злоупотребить.

Еще один недостаток этой казни заключается в том, что, не заставляя страдать приговоренного, она не скрывает от зрителей вида крови, льющейся с лезвия гильотины и обильно орошающей мостовую вокруг эшафота. Столь отталкивающее зрелище не следует показывать народу. Необходимо искоренить этот недостаток, гораздо более серьезный, нежели кажется на первый взгляд, ибо, привыкая к мысли о бесстрашном убийстве, хотя и совершенном от имени закона, можно приучиться находить основание для жестокости.

Разве мы не слышим, как многие говорят, что, по сравнению с прошлыми процедурами казни, такая казнь слишком мягкая для этих негодяев, и многие из них перед смертью бравировуют своим бесстрашием. Жаждающий мести и не желающий ограничиваться свершением правосудия народ теряет свое достоинство. **(Луи-Мари Прюдом «Парижские революции»)**

⁴ Гражданин Луи Капет — так именовали в суде Людовика XVI.

ЭПИСТОЛЯРНОЕ КРАСНОРЕЧИЕ

Л. Прюдому:

«Скажи Конвенту и всей Франции, всем народам земли, что Северная армия тоже выступает за республику единую и неделимую. И она у нас будет, или все французы погибнут; но испустить наш последний вздох мы хотим, устремив свой взор на Гору. Бедный санкюлот, я могу предложить отечеству только свои руки и свое сердце; у меня есть жена и дети. Я посылаю тебе банковский билет в пятьдесят ливров; твоими руками я хочу сделать дар Конвенту, чтобы помочь ему продолжать войну, а также доказать свою преданность нынешним принципам.

Продолжай просвещать нас, выступай против злоупотреблений, помогай сделать так, чтобы у нас был хлеб, одежда и башмаки; чтобы у нас были хорошие генералы и ежедневные газеты, а обо всем остальном не беспокойся.

Прощай, Прюдом.

Твой друг Митуфле, капитан 1-го батальона Северной армии»

ФУКЬЕ-ТЕНВИЛЬ

Фукье-Тенвиль, общественный обвинитель революционного трибунала, известный своими дурными нравами и бесстыдным составлением обвинительных заключений без малейшего доказательства вины подсудимых, обычно получал деньги от партий. Мадам Рошешуар заплатила ему восемьдесят тысяч ливров за Мони, эмигранта; Фукье-Тенвиль деньги взял, но Мони был казнен, а мадам Рошешуар предупредили, что если она откроет рот, ее отправят туда, откуда она больше никогда не вернется. (**Мадам Ролан «Мемуары»**)

БЕСПОЛЕЗНЫЙ ГЕРОИЗМ

Молодой Госнэ, некоторое время служивший при старом порядке простым гренадером, вернулся домой, в семью. Однако будучи в возрасте, на который распространяется воинская обязанность, он был вынужден встать под знамена Республики; но, к несчастью для него, он ненавидел новый порядок и говорил о нем исключительно презрительно и с усмешкой. Находясь в городке

Шалон-сюр-Сон, он ввязался в драку роялистов с республиканцами и с криками «Да здравствует король!» саблей плашмя колотил сторонников республики; роялисты вскоре отступили, а Госнэ, как самого отчаянного, схватили и отправили в революционный трибунал. Госнэ знал, что его ждет смерть, но по-прежнему сохранял свой веселый нрав, не выказывал никакого беспокойства и, смеясь, говорил: «Меня гильотинируют завтра или послезавтра», — как если бы сказал: «Завтра или послезавтра я отправляюсь на увеселительную прогулку».

Госнэ был прекрасно сложен, имел миловидное лицо, обладал приятными манерами, свидетельствовавшими о полученном воспитании. Не имея средств заплатить за кровать и вынужденный спать в камере на соломе, он каждое утро выходил на тюремный двор, где полностью раздевался и обливался холодной водой из-под крана. Умывшись таким образом, он натягивал гусарский мундир из тонкого сукна, выгодно облежавший его ладную фигуру, и шел к зарешеченным окошкам поболтать с женщинами и родственниками арестованных роялистов, которые, зная, за что он угодил в тюрьму, выказывали ему живейшую симпатию. А одна хорошенькая девица прониклась к нему такой страстью, что не смогла скрыть ее. Госнэ это быстро заметил и легко добился от нее признания. Обладавшая независимым состоянием, девица воспылала желанием выйти замуж за несчастного узника. Но для этого следовало вытащить его из тюрьмы; и она решила, что у нее это получится. Госнэ не имел никакого политического влияния и помочь какой-либо партии мог единственно ударом сабли. Не обладал он и состоянием, а потому не представлял никакого интереса для судей.

Юная особа отправилась уговаривать трибунал и, начав с писца, дошла до самого Фукье-Тенвиля; она узнала, что лично к ее избраннику никто претензий не имеет, ни среди судей, ни среди присяжных, и всем в общем все равно, будет он освобожден или приговорен, так что если, как особо подчеркнули, он будет вести себя осмотрительно, его вполне можно спасти.

Узнав от своей очаровательной защитницы о настроении судей, он пообещал ей все, что она от него потребовала, но ни единого обещания не сдержал. Тюремный привратник принес ему первый список вопросов присяжных, он взял его с презрительной улыб-

кой, поднес к огню и раскурил им свою трубку. Несмотря на свою грубость, тюремщики решили, что Госнэ забыли передать письмо, и снова принесли его. И эту бумагу постигла та же участь. Не знаю, по какой причине вынесение приговора отложили. Наконец, ему передали третий список, но он снова разжег им трубку. Тогда несколько узников решили убедить Госнэ, что глупо не попытаться сохранить себя для очаровательной женщины, полюбившей его, а вместо этого упорно стремиться к смерти, бессмысленной даже для тех, за кого он вступился, и кто не оценит его жертвы, настолько она бесполезна.

Госнэ их выслушал и пообещал сделать все, что от него зависит, чтобы склонить судей на свою сторону. Они взяли с него слово, что завтра он с ними позавтракает. В одиннадцать часов он должен был предстать перед трибуналом. Госнэ не переставал шутить, и было видно, что веселье его идет от чистого сердца. Когда настал час, он обнял своих товарищей и со смехом сказал: «Вы устроили мне прекрасный завтрак в этом мире, я же вскоре приготовлю вам отличный ужин в мире ином, так что можете делать заказы». И пошел к ожидавшим его жандармам.

Ни общественный обвинитель, ни председатель трибунала даже не стали его толком допрашивать, но Госнэ, вместо того, чтобы отрицать свою вину, чтобы повторить подсказанные ему ответы, обвинил себя во всем, в чем только можно. А когда его защитник захотел произнести речь в его пользу, он остановил его: «Господин официальный защитник, нет нужды меня защищать; а ты, общественный обвинитель, делай свое дело: прикажи отправить меня на гильотину».

И его, действительно, отправили на гильотину. Мы видели, как он, гордо подняв голову, шествовал через двор. Как объяснить стремление к смерти этого необычайно веселого человека, который в обители горести и печали умел сохранять бодрое настроение? Чувствительная особа, восплававшая любовью к Госнэ и присутствовавшая в зале суда, заранее радовалась, что ей выпало счастье сохранить ему жизнь и теперь она посвятит ему жизнь свою. Но когда она услышала его ответы, она упала в обморок, и ее на руках вынесли из зала. Когда Госнэ привязали к телеге, он подозвал тюремщика по имени Ривьер, который всегда хорошо к нему относился, и попросил дать ему немного водки. «Иначе, —

сказал он, — если вы не окажете мне эту услугу, я решу, что вы на меня сердитесь». Его привычная веселость не покидала его до последнего мгновения (**К.-Ф. Болье «Исторические очерки о причинах и результатах Революции во Франции»**).

ПРЕЗРЕНИЕ К СМЕРТИ

Удивительная стойкость Госнэ напомнила мне удачный ответ одной куртизанки, представшей перед революционным трибуналом по обвинению в роялизме. Председатель трибунала, желая узнать, каковы ее источники существования, строго спросил: «Обвиняемая, какими трудами вы живете?» — «Я живу тем, что дарю милосердие, а вот ты живешь тем, что отправляешь людей на гильотину». И она, послав подальше судей, присяжных и зрителей, с песней отправилась на смерть.

Пужад де Монжурден, молодой человек из состоятельного семейства финансистов, совсем недавно женившийся, после вынесения ему приговора сочинил очаровательный романс, адресовав его жене, которую он обожал: вот первая строка этого романса:

Близится час моей смерти.

(**К.-Ф. Болье, там же**)

ЖЕРТВА, ИЗБЕЖАВШАЯ РЕЗНИ

Резня⁵ продолжалась возле дверей тюрем, и народ, которого Коммуна⁶ решила обвинить в том, что так он осуществлял свою справедливую месть, на деле исполнял роль простого зрителя и лишь иногда вмешивался в процесс в пользу жертвы. Так, он не в силах был равнодушно взирать на возвышенную и трогательную сцену, явленную Элизабет Казот. Прорвавшись сквозь толпу убийц, готовых поразить ее отца, девушка бросилась на шею почтенному старцу. «Если вы хотите убить его, вам придется сначала убить меня», — воскликнула она. Раздались крики, требовавшие пощадить старика, их подхватили сотни голосов, и вот уже Казот⁷ спасен. Окружив отца и дочь, зрители и убийцы принялись осы-

⁵ Массовые убийства заключенных в тюрьмах в начале сентября 1792 г.

⁶ Коммуна — парижский муниципалитет.

⁷ Жак Казот (1719–1792) — писатель. Легенда приписывает ему пророчество, якобы сделанное в 1788 году, когда он предсказал печальную судьбу многих аристократов, включая короля.

пать их ласками. «Назовите нам ваших врагов, — взволнованно говорили они, — и мы притащим их к нам на суд». — «Но как я их узнаю? — ответил достойный старец, — ведь я никогда и никому не причинял зла». (**Бертран де Мольвиль «Воспоминания»**)

ЭПИЗОД ВОЙНЫ В ВАНДЕЕ

Ларошжаклен⁸, оставшийся на левом берегу Луары, где ему со всех сторон грозила опасность, вынужден был расстаться даже с теми немногими солдатами, что его сопровождали. Практически в одиночку, с одним лишь товарищем, он укрылся в лесу от преследовавших его врагов; поздним вечером, мучимый голодом и усталостью, он вышел из леса и вместе с товарищем постучал в дверь одиноко стоящей фермы. Проживавший там добросердечный человек накормил их ужином и проводил на ночлег в амбар; но стоило беглецам заснуть, как хозяин разбудил их и предупредил, что к нему в дом зашли республиканцы и намерены переночевать у него в амбаре. «Если мне суждено умереть этой ночью, — ответил Ларошжаклен, — мне надобно сначала выспаться; а там будь что будет». И он снова улегся на сено. Как только фермер вышел, пришли республиканцы и устроились рядом с вандейцами; предельно уставшие, они всю ночь проспали бок о бок. На рассвете Ларошжаклен разбудил товарища, они взяли по ружью и снова ушли в леса, где им пришлось провести несколько дней, питаясь тем, что удавалось забрать у солдат, проходивших мимо тех мест, где они скрывались. Устав от такого жалкого существования, Ларошжаклен подошел к Шатийону. Там, в окрестных приходах, его эмиссары попытались собрать новые отряды повстанцев. Однако край уже изрядно обезлюдел и оскудел, и голос генерала никто не услышал, он смог лишь собрать остатки своих солдат, избежавших гибели в прежних боях; с их помощью ему удалось бежать и спасти свою жизнь. (**К.-Ф. Болье, там же**)

⁸ Анри де Ларошжаклен (1772–1794) — дворянин, офицер, один из генералов Вандейской армии.

КАРРЬЕ В НАНТЕ

Пока Анц⁹ и Франкастель¹⁰ опустошали края по соседству с Луарой со стороны Анже, знаменитый Каррье¹¹ расположился в Нанте, где, как говорят, перехватывал тех, кто сумел ускользнуть от взора его коллег, и устрашал мир преступлениями, которым даже ад не мог обучить род человеческий.

Возможно, позволив дать жизнь такому чудовищу, Создатель, возмущенный людскими злодеяниями, пожелал устыдить природу. Каррье собрал вокруг себя разного рода громил; его божеством был Марат. Банда оголтелых, названная ротой Марата, взяла на себя обязанность опустошить Нант и его окрестности; эта банда убийц находится в распоряжении собрания палачей, именуемых революционным комитетом, получающим указания непосредственно от Каррье, у этого чудовища-депутата, чьи приказы комитет всегда готов выполнять. В разгар оргий, которые он устраивает вместе с участниками комитета, вино льется рекой, а он в это время диктует свои кровавые указы. Опьяненные яростью, которую он им внушил, одурманенные алкоголем бандиты из отрядов Марата рыщут по Нанту и его окрестностям и хватают всех, кто имеет человеческое выражение лица, без различия пола и возраста, и забирают все их достояние. Некоторым поручается работать в городе: разорять и бросать в тюрьмы его жителей. Но банды Марата не смогли насытить революционную алчность Каррье, и он дал им в помощь роту негров, чьи физиономии лишь добавляют ужаса, который и без того внушает их миссия. Африканцам поручено хватать и бросать в тюрьмы женщин и детей. Их командир по имени Пинар ненавидит женщин; он удовлетворяет с ними свою животную страсть, а потом убивает их. Свои варварские приказы Каррье заставляет исполнять солдат местного гарнизона, и те зачастую соперничают в жестокости с ротами Марата. Когда же среди этих чудовищ обнаруживается тот, кто еще сохранил воспоминания о че-

⁹ Никола Анц (1753–1830) — депутат Конвента, монтаньяр.

¹⁰ Мари Пьер Адриен Франкастель (1761–1831) — комиссар Конвента, отличался особой жестокостью.

¹¹ Жан-Батист Каррье (1756–1794) — комиссар Конвента в Нанте, «миссионер Террора», как назвал его Мишле.

ловечности, когда сострадание вступает в свои права, кажется, что в глубинах ада мелькнул проблеск света.

В роту Марата попал бедный водонос из Оверни, якобинец, которому некая дама Лефевр, долгое время проживавшая в Париже, предоставила кров в своем сельском доме и небольшое вспомоществование. Мадам Лефевр испытала на себе все ужасы войны в Вандее: сын и муж убиты революционерами, дочь изнасилована, а потом убита. Мадам Лефевр вместе с другими женщинами попала в руки людей Каррье, и те собрались утопить их в реке. Среди исполнителей оказался тот самый водонос: он услышал, как кто-то из несчастных произнес имя мадам Лефевр; водонос обернулся и увидел ее. «Это вы мадам Лефевр?» — «Увы, это я». — «Вы проживали в Париже, неподалеку от Сен-Сюльпис?» — «Да, совершенно верно». — «Граждане, гражданка Лефевр — добрая патриотка», — заявил он. И тотчас рассек саблей веревку, которая связывала ее с другими жертвами, и взял ее под свою защиту. Мадам Лефевр умоляла водоноса спасти и ее соседку, которая не более виновна, чем она; но овернец ответил, что это безошибочный способ погубить и ее, и себя, и женщина не стала настаивать. Мадам Лефевр жива и по сей день.

Пинар, о котором я уже говорил выше, со всей своей свитой ввалился к женщине по имени Шоветт, чей муж взял ружье и ушел воевать на стороне вандейцев; у нее на руках остался ребенок.

«Меня зовут Пинар, — заявил он ей, — и сегодня я убил шесть женщин, ты будешь седьмой; но утешься, твой ребенок умрет раньше тебя».

При этих словах некий Марьет, сопровождавший Пинара, выхватил саблю и заявил, что сначала Пинару придется убить его и только потом эту женщину; трус отступил, и женщина осталась жива.

Тот же самый Марьет однажды спас ребенка, мать которого убил Пинар. «Зачем тебе этот маленький разбойник? — спросил Пинар Марьета. — Отойди от него, я его пристрелю». Вместо ответа Марьет прицелился в Пинара и таким образом сохранил жизнь ребенку. И даже усыновил его. Однако этот Марьет был погромщиком. Какие же противоречия зачастую являет нам человеческая природа!

Пока опустошают окрестности города, все публичные здания в Нанте превращены в тюрьмы; однако они не могут вместить всех арестованных, и тем приходится тесниться в грязи и нечистотах. И хотя революционный трибунал беспрерывно дает работу маши-

не доктора Гильотена, хотя, падая от усталости, палач заявляет, что он уже на ногах не стоит, хотя солдаты из Нанта расстреливают на дорогах всех, кого они называют контрреволюционерами, включая детей, тем не менее, казни совершаются слишком медленно! Революционный трибунал, являющий собой сборище подпевал, не знает, как еще можно очистить тюрьмы. Каррье мечтал о новом способе уничтожения; бросив взгляд на Луару, он нашел то, что ему нужно: река станет могилой торговцев и коммерсантов, наживавшихся на речном судоходстве; вот так сей презренный негодяй заставил союз природы и общества, направленный на процветание людское, служить для уничтожения людей.

Радуюсь своему открытию, идею которого, без сомнения, подсказали самые варварские тираны Рима, он решает топить своих сограждан, как Нерон велел утопить собственную мать; но как матерубийца, коего он взял за образец, остатки стыда пока еще сдерживают его; он сообщает о своем проекте только своим приближенным, считая, что очередное истребление должно происходить ночью, а те, кому суждено погрузиться на дно реки вместе с продырявленными барками, подобно Агриппине, не должны знать заранее, какая участь их ожидает.

Члены революционного комитета Каррье, такие же трусливые и ничтожные, как и окружение Нерона, не замедлили встретить аплодисментами несравненное изобретение своего повелителя и тотчас его опробовали на восьмидесяти священниках из департамента Ньевр, приговоренных к изгнанию. Жертв сначала перевезли в Анже, а оттуда в Нант, где, по их выражению, декрет об изгнании по отношению к ним был исполнен вертикально.

Главное — сделать первый шаг, гласит простая аксиома. Сделав первый шаг, Каррье перестал колебаться. «Какая, однако, революционная река эта Луара!» — воскликнул он; его слова встретили аплодисментами, и никто не посмел возразить. Член Конвента Эро де Сешель похвалил Каррье за его энергию и талант, поставленные на службу революции. После этого Каррье стал действовать без всякого стеснения; ночной мрак больше не нужен, казнят среди бела дня, и те, кто выбран жертвой, знают, что могилой их станет Луара. Тех, кто пытается скрыться или бежать с погребальных барж, сопровождающие охранники рубят саблями, а отсеченные члены палачи забирают в качестве трофеев: человеческие уши

крепятся на шляпы вместо кокард, рядом с розеткой республиканского триколора.

Несчастливых, попытавшихся выплыть и достичь берега, расстреливают в воде или вылавливают крюками те, кто караулит на берегу.

Иногда Каррье, желая убедиться в успехе своей операции, отправляется обедать на один из кораблей. Там он заставляет пить своих агентов и напивается вместе с ними. «Выпьем, — говорит он, — за здоровье захлебнувшихся попов».

Иногда он горланит песни трубочистов своего родного края на мотив революционных гимнов. Иногда приказывает привести самых красивых вандейских пленниц, а после того, как они становятся жертвами его сатанинского сладострастия, приказывает утопить их в Луаре. Желая пойти еще дальше в оскорблении природы, он велит связывать попарно обнаженных и разнополых узников, плотно притиснув их друг к другу, и бросать их в воду. Такие утопления стали называть республиканскими свадьбами.

Уничтожение посредством чумы также входило в его планы, по крайней мере, он сделал все, чтобы среди прочих бедствий, обрушившихся на Нант, город испытал на себе еще и этот бич.

Несмотря на утопления, проводимые в Нанте вдоль всего берега Луары, которые, по утверждению их устроителей, унесли жизни более шести тысяч человек, несмотря на отправленных на гильотину по приказам революционного комитета и расстрелы по приказу военной комиссии, пленники в тюрьмах по-прежнему содержались в тесноте, отчего камеры становились рассадниками самых страшных болезней. Заключение умирали сотнями, в тюрьму боялись входить. Воздух, зараженный ядовитыми миазмами в результате отсутствия элементарной гигиены, тяжелое дыхание умирающих и смерть, воцарившаяся в тюрьмах, не позволяли посещать узников. **(К.-Ф. Болье, там же)**

СВОБОДА, РАВЕНСТВО, БРАТСТВО ИЛИ СМЕРТЬ

Во время Террора все общественные здания и многие частные дома украшала зловещая надпись: «Единство, неделимость республики, свобода, равенство, братство или смерть».

Автор этого девиза заслужил право на известность среди потомков. Это Паш¹², тогдашний мэ́р Парижа, который прежде был военным министром. **(К.-Ф. Болье, там же)**

ПРИЕМ В ЯКОБИНСКОЕ ОБЩЕСТВО

Ораторствуя с трибуны знаменитого Якобинского общества, Дюбуа-Крансе¹³ предложил своим соратникам принимать новых членов только после того, как они ответят на вопрос: «Что ты сделал, чтобы в случае победы контрреволюции тебя бы повесили?» **(К.-Ф. Болье, там же)**

САНКЮЛОТЫ

Санкюлотизм зародился на собрании клуба Сент-Шапель, и вот как это случилось. Выборщик из секции Обсерватории, что в предместье Сен-Жак, выступая против предложения, вполне укладывающегося в рамки конституции, высказался в терминах как неподобающих, так и неумеренных. Костюм выступавшего полностью соответствовал его речи. Другой выборщик, то ли оскорбленный, то ли утомленный его потоком непристойностей, встает и говорит: «Председатель, лишите слова этого *санкюлота*¹⁴». В самом деле, на ораторе были штаны из грубой ткани, пятна и дыры на которых не свидетельствовали ни о состоятельности, ни об аккуратности гражданина. Слово «санкюлот» с энтузиазмом подхватили якобинцы. Уже на следующий день многие из тех, кто обычно одевался тщательно и изысканно, явились на собрание в таких же штанах. А в зале уже распространяли куплеты в честь *санкюлотизма*. **(Аббат Жоржель «Воспоминания»)**

¹² Жан-Николя Паш (1746–1823) — якобинец, мэ́р Парижа с февраля 1793 г. по май 1794 г.

¹³ Эдмон Луи Алексис Дюбуа-Крансе (1746–1814) — якобинец; депутат Конвента.

¹⁴ Санкюлоты (*фр.* sans-culottes, букв. «без кюлотов»). Кюлоты — короткие штаны, застегивавшиеся под коленом, которые носила знать; простой народ ходил в длинных брюках.

МНЕНИЕ ОДНОГО САНКЮЛОТА О ПЕРВЫХ ПРИГОВОРАХ РЕВОЛЮЦИОННОГО ТРИБУНАЛА

Публика аплодисментами выразила свое одобрение революционному трибуналу, который вынес приговор Бланшеланду¹⁵, гильотинированному в прошлый понедельник на площади Единства, бывшей Карузель. Стоицизм, проявленный контрреволюционером, ни на кого не произвел впечатления. К стыду рода человеческого, роялизм и раньше имел своих апостолов и своих мучеников.

Однако народ остался недоволен приговором, который этот же трибунал вынес несчастной кухарке, арестованной за непатриотические речи в пятницу, 19 апреля, в полдень. Граждане, у которых она служила, считали ее безупречной прислугой. Без сомнения, у нее просто помутился рассудок, и судьи должны были это понять, видя, как она упорствует, продолжая повторять те же самые роялистские речи, из-за которых она попала в трибунал, поскольку другого подсудимого, мужчину, обвиненного в таком же преступлении, судьи признали сумасшедшим.

И кто не содрогнется при рассказе о том, каким образом приговор пытались оспорить и почему это не удалось? С трибуны Конвента в ее защиту выступил Мазюэр¹⁶ и потребовал отсрочки на двадцать четыре часа. Его требование поддержал Инар¹⁷, но женщину уже было не спасти. Время, потерянное при заслушивании многословных ораторов, решило ее участь: несчастную гильотинировали. Когда приняли постановление об отсрочке приговора, в Конвент сообщили, что приговор исполнен... И представители народа вернулись к прежней повестке!!!

Революционный трибунал также приговорил к смерти Анн-Гиацинта Вожура, бывшего полковника третьего драгунского полка за призывы к восстановлению монархии. Он был казнен в субботу, 20 числа. **(К.-Ф. Болье, там же)**

¹⁵ Филипп Франсуа Руксель де Бланшеланд (1735–1793) — революционный генерал, обвиненный в измене.

¹⁶ Клод Луи Мазюэр (1759–1794) — депутат Конвента.

¹⁷ Анри-Максимен Инар (1758–1825) — депутат Конвента.

САНКЮЛОТЫ В ТЕАТРЕ

Санкюлоты кичились своей приверженностью к республике, но отнюдь не утонченностью речи. Они всюду проталкивали политику; вот и в театр они приходили не столько для того, чтобы наслаждаться звучными стихами, сколько чтобы послушать проклятия в адрес тиранов. А они звучали со сцены во множестве, поскольку современные пьесы в основном не интересны и в них нет стиля, зато патриотизма хоть отбавляй. Иногда, правда, актеры возвращались к прежнему репертуару, но публика была готова терпеть Расина или Корнеля только в том случае, если авторы, уподобившись зрителям, являлись перед ними в облике санкюлотов; замены зачастую были весьма своеобразными. Например, из оборота изъяли слово «король» и заменили на слово «тиран». В «Отце семейства» Дидро первый акт начинается партией в шахматы, где Моле больше не говорит: «Шах королю», а говорит: «Шах тирану». В «Дезертире» Седэна вместо слов «Король идет...» актер пел: «Закон идет...» — а следом хор естественно подхватывал не «Да здравствует король!», а «Да здравствует закон!» Разумеется, не было никакой возможности играть последнюю сцену «Тартюфа» так, как написал ее Мольер. И Дора-Кубьер заменил ее отличным двустишием, вложенным в уста пристава:

*Ведите негодяя к нам
В революционный трибунал.*

(Бертран де Мольвиль, там же)

ГРАЖДАНСКИЙ ПРАЗДНИК В ЧЕСТЬ МАРАТА, УСТРОЕННЫЙ ОБЩЕСТВОМ САНКЮЛОТОВ ДИСТРИКТА БУР-РЕЖЕНЕРЕ¹⁸

На заре санкюлотов разбудил выстрел из пушки. Каждый отправился на свой пост. Сотня молодых девушек в венках из дубовых листьев окружили колесницу, на которой восседали пятеро

¹⁸ Бур-Реженере (Bourg-Régénéré), букв. «Обновленный город» — революционное название городка Бур-ла-Рен (Bourg-la-Reine), букв. «Город королевы».

почтенных старцев, окруженных пятнадцатью девами, согревавшими их своим чистым дыханием; этим девам предстояло заботиться о старцах на протяжении всего праздника.

Открывал шествие батальон юных воспитанников отечества, не спавших всю ночь из страха проспять торжество.

Матери патриотических семейств, местные власти, члены общества санкюлотов, шли вперемешку, в том порядке, который диктует сама природа.

Одни несли бюст нашего друга Марата. Другие вздымали вверх всевозможные эмблемы свободы, которые общество смогло отыскать.

Прибыв на площадь Жемапп, гражданин мэр прочел речь, посвященную памяти Марата; в конце речи женщины надели свои венки из дубовых листьев на острия пик в ограде обелиска, воздвигнутого в честь Марата.

Гражданин С., почетное лицо, руководил исполнением хвалебных куплетов в честь Марата.

Затем процессия двинулась в церковь, где поставили столы, куда каждый патриот принес свой обед и куда в качестве первых приглашенных явились бедняки.

Начались братские излияния: так, председатель от имени здешнего общества даровал братский поцелуй депутату от соседнего общества, а затем старику, юной девушке и защитнику отечества.

В память Марата мэр предложил выпить за здоровье, а затем, обращаясь к гражданам, призвал воскурить бальзам в память Марата и пролить слезу:

«Соберитесь, санкюлоты, и аплодируйте: Марат счастлив; Марат, друг наш, погиб за отечество!»

Общая трапеза прошла чинно, радостно и без пьянства. Три тысячи граждан, как горожан, так и селян, украсили собой это торжество.

По первому знаку столы убрали, и заиграла музыка, а следом начались танцы.

Записано в Бур-Реженере, главном городе департамента Эн, 20 брюмера II года Республики единой, неделимой и демократической.

Председатель и секретари.

(Выдержка из протокола)

ПРАЗДНИК РАЗУМА

(10 ноября 1793 года, или по республиканскому календарю, 20 брюмера II года Республики)

По залу проходят члены секции Единства; во главе идет взвод вооруженных добровольцев, далее следуют барабанщики, за которыми двигаются пожарники и пушкари, обряженные в церковные хламиды, и группа женщин в белых одеяниях, перепоясанных трехцветными шарфами. За ними двумя вереницами шествует кривляющаяся толпа в стихарях, ризах и церковных мантиях. Церковное облачение происходит из бывшей церкви Сен-Жермен, известной своим богатством: все священнические одежды сшиты из бархата и прочих дорогих материалов и богато украшены золотыми и серебряными вышивками. Потом на носилках вносят чаши, дароносицы, диски, подсвечники, золотые и серебряные блюда, роскошные оклады, кресты, украшенные драгоценными камнями и массу других предметов, используемых при отправлении религиозного культа. Под воинственные звуки фанфар и восторженные крики зрителей: *Да здравствует свобода, Республика, Гора!* процессия входит в зал. Когда вносят черное полотно, символизирующее уничтожение фанатизма, звучит мелодия куплета «Мальбрук в походе помер, и похоронен он». Куплеты сменяются революционным гимном. Затем граждане, нацепившие церковные обноски, отплясывают под музыку куплетов *ça ira* и *Карманьоль*. Всеобщий энтузиазм поддерживается ликующими криками зрителей. Процессия вновь выстраивается, а граждане в церковных одеждах рассаживаются справа на скамьях.

Господин Дюбуа, оратор секции, подойдя к трибуне, заявляет:

«Разум наконец одержал великую победу над фанатизмом; религия, основанная на заблуждениях и крови, религия, целых семнадцать веков причинявшая нашей земле только зло, хотя ее и называют божественной, уничтожена! Крестовые походы, походы против альбигойцев, вальденсов, протестантов Севенн, Сицилийская вечерня, Варфоломеевская ночь — все это ее рук дело, ее трофеи. Так пусть же исчезнет она с лица земли, где возродится счастье, а люди станут народом братьев и друзей: поверьте мне, этот день недалек. Муза истории, выброси свои кисти: до сих пор на

твоих полотнах запечатлевали преступления; теперь тебе предстоит славить добродетель. Мы клянемся (все поднимают руку) никогда не исповедовать никакого иного культа кроме культа Разума¹⁹, Свободы, Равенства и Республики».

Со всех сторон раздается единодушный крик: «Клянемся! Да здравствует Республика!» Клятва и речь, как пишет «Монитор», были встречены всеобщей радостью и восторгом.

Председатель, бывший господин Леруа, который нынче велит называть себя господин Лалуа²⁰, отвечает: «В одно мгновение вы вычеркнули из истории восемнадцать веков заблуждений. Только что ваш образ мыслей принес разуму жертву, достойную его и истинных республиканцев. Во имя отечества Собрание принимает ваше приношение и вашу клятву».

Желая продемонстрировать, что члены секции воспитывают своих детей истинными республиканцами, в зал ввели бедного несчастного малыша, которому наверняка втолковали его роль в этой жалкой сцене. Малыша подняли на руках, и тот, оказавшись наверху, попросил у председателя братский поцелуй, чтобы передать его всем детям своего возраста. От своего имени и имени всех детей ребенок пообещал следовать добрым примерам, которые подают защитники республики, и поклялся, что дети, когда вырастут, тоже станут грозой тиранов, если к тому времени таковые еще останутся.

Поцеловав ребенка, Лалуа поднялся на трибуну и торжественно изложил свою беседу с малышом.

«Я должен сообщить Собранию, — начал он, — о заявлении, которое сделал этот маленький республиканец. Он сказал, что если бы он не опасался злоупотребить временем собрания, он бы зачитал здесь «Декларацию прав человека», которую он знает наизусть, ибо носит ее у себя в сердце. А еще мальчик спросил, когда Собрание составит республиканский катехизис, ибо он горит желанием также выучить его наизусть».

Как пишет «Монитор» (от 2-го фримера II года), Собрание и зрители бурными аплодисментами засвидетельствовали чистоту души маленького республиканца.

¹⁹ Культ Разума — процесс дехристианизации, во время которого многие храмы превратили в храмы Разума.

²⁰ Леруа (Leroi) звучит как «король», *фр.* le roi; Лалуа (Laloi) звучит как «закон», *фр.* la loi.

Член Конвента: «Требую занести просьбу мальчика в протокол». Рамель: «Требую, чтобы, как только долгожданная книжица выйдет из печати, экземпляр ее отправили этому ребенку». Гули: «А я требую, чтобы председатель поручил написать хвалебное письмо родителям этого ребенка за то, что они воспитали его в республиканском духе». N...: «Надо известить как можно больше людей о церемонии, что прошла здесь сегодня; я требую, чтобы все речи и все подробности нынешнего дня занесли в протокол и разослали по всем департаментам».

Все предложения были приняты. **(К.-Ф. Болье, там же)**

*Перевод с французского
и примечания Елены МОРОЗОВОЙ*

№ 3, 2022 г.



Уроки

Алексей Биргер. Домбровский. Эссе



Алексей Биргер

ДОМБРОВСКИЙ

В начале 1960-х годов мой отец Борис Биргер, делая наброски и эскизы к очередной серии натюрмортов — он намечал серию с глиняными кувшинами и разноцветными тряпками, — понял в какой-то момент, что для этой серии ему необходим небольшой восьмиугольный столик, что именно на таком столике композиции с кувшинами будут смотреться удачнее всего. Отец всегда был рукаст, с плотницким и столярным ремеслом в большом ладу, так что столик был тут же на месте сделан, покрашен в жемчужно-серый цвет и стал идеальной основой для натюрмортов. Столик немного покачивался, но отца это не беспокоило, ведь столику предстояло быть разобранным, как только задуманная серия будет завершена.

Однако... Пришли очередные гости, надо было где-то чай сервировать, и подручный столик пригодился. За первыми гостями — следующие, друзья, любители искусства и покупатели картин, и столик незаметно, естественно и просто «втянулся в работу», так что и мысли больше не возникало его разобрать.

В итоге прожил он больше сорока лет и сгинул, когда и отца уже не было, а мастерские художников — надстройка со стеклянными крышами в доме на углу Сиреневого бульвара и 9-й Парковой — были выкуплены строительной фирмой и переделаны в модные «пентхаузы». Тогда и суды были: многие возмутились, что Союз художников заключил договор со строительной фирмой без их, владельцев, во время приватизировавших мастерские, ведома, и пыль была столбом... Вроде кому-то чего-то удалось добиться, получить равноценные мастерские, но во всех этих судебно-строительных заварушках столик сгинул, не успели его спасти.

Жаль. Он был ярким свидетелем истории. Если бы все, кто оказывался за ним, расписывались на столешнице, места бы не хватило уже через несколько лет. Сотни и сотни людей. Начни перечислять навскидку — и увязнешь. Александр Галич, Булат Окуджава, Андрей Сахаров, Петр Капица, Владимир Вейсберг, Юрий Любимов, Генрих

Бёлль, Макс Фриш, Фридрих Дюрренматт, Владимир Войнович, Василий Аксенов, Джон ле Карре, министры культуры ГДР, ФРГ и Франции, Лев Копелев, Алла Демидова, Вениамин Смехов... Да надо просто поглядеть всю портретную галерею отца — и, как ни перечисляй, все равно кого-нибудь обидишь забывчивостью.

Столик стал чем-то вроде символа и талисмана мастерской. Он продолжал чуть покачиваться, но при том оказался на удивление устойчив. Даже крепко подвыпившим гостям с размашистыми и резкими движениями не удавалось его перевернуть. Уж на что Отар Иоселиани старался...

Перевернулся он единственный раз за все бесчисленные годы, и опрокинул его Юрий Домбровский. Он начал читать свои «лагерные» стихи, увлекся, рванул столик на себя и вместе со столиком и со всем накрытым на нем чаепитием оказался на полу.

Пока его поднимали, отряхивали, усаживали на стул, доставали новые чашки, он продолжал читать стихи, четко и невозмутимо, ни на секунду не прервавшись.

Отец потом сказал:

— Я даже не знаю, хорошие это стихи или плохие. Просто они настолько страшные, что о них невозможно судить.

Да, стихи Домбровского — прямые и точные показания свидетеля, от которых перехватывает дыхание. Я с каждым годом люблю их все больше и больше. И все больше и больше понимаю Мандельштама, писавшего, что в стихах он начинает ценить только «дикое мясо». Вот это дикое мясо правды — когда вышел человек и поклялся говорить правду, только правду и ничего кроме правды — и делает поэзию Домбровского совершенно уникальной. И даже шероховатости, к которым знатоки и ценители стиля могли бы правомерно придраться, меня восхищают. Они всегда очень на месте, они лишь подчеркивают волнение, которое вынужден преодолевать свидетель, чтобы внятно и последовательно рассказать суду истории, суду последующих поколений о совершенно невыносимых вещах.

Есть в его стихах некая, тоже уникальная особенность. С одной стороны, даже в том, что можно назвать любовной, пейзажной или философской лирикой, внешне далекой от лагерной темы, все равно проступает черная тень лагерей. Ужас, таящийся за невинным и прекрасным, становится вечным камертоном, ужесточает все линии и штрихи. С другой стороны, красота мира, красота каждой мелочи

пишется им с ясностью и упоением, с любованием и чуть ли не эстетством, напоминающим Оскара Уайльда. Это любование, это неожиданное открытие красоты там, где ее вроде быть не может, проникает и в лагерную тему, окрашивает ее восхищением сопротивляемостью жизни любой тьме и любой гнили. И ночь такая звездная, что один свет звезд превращает весь мир, включая лагерные бараки, в волшебную феерию, и снег сверкает в первозданной чистоте, и каждый рассвет таков, будто земля только сегодня сотворена и чиста, и везде — превращение в «янтарную брошь»...

Происходят многократные перевертыши и взаимопревращения, ужасное приобретает черты прекрасного, а в прекрасном сквозит лютый ужас, и из этого возникает особый сплав, особая проникновенность, совершенно особая картина мира.

Помню, как я был ошеломлен, когда впервые открыл уже потрепанный номер «Нового мира» и прочел:

«Выезжал я из Москвы в ростепель, в хмурую и теплую погоду. То и дело моросил дождичек, и только-только начали набухать за заборами, на мокрых бульварах и в бутылках на подоконниках бурые податливые почки. Провожали меня с красными прутиками расцветшей вербы, потешными желтыми и белыми цветами ее, похожими на комочки пуха. Больше ничего не цвело. А здесь я сразу очутился среди южного лета. Цвело все, даже то, чему вообще цвести не положено — развалившиеся заплоты (трава била прямо из них), стены домов, крыши, лужи под желтой ряской, тротуары и мостовые».

И с таким же наслаждением, с таким же запечатленным цветом и ароматом, описано все: и знаменитый алма-атинский собор, и дружеские посиделки, и яблоневые сады... и прекрасное свежее утро, в которое готовится арест главного героя.

И одновременно почти сразу появляется и нарастает ощущение черной воронки, в которую всю эту красоту затягивает: воронки репрессий, воронки переломанных человеческих судеб, воронки всеобъемлющего страха, отравляющего и самых смелых и честных.

(А если вспомнить «Факультет ненужных вещей», вышедший намного позже «Хранителя древностей», то и там красота на грани кошмара действует почти гипнотически: в долгой беседе со священником о ночи в Гефсиманском саду и о Суде Синедриона роскошная среднеазиатская ночь как бы сливается с роскошной иудейской ночью, и не просто идет сопоставление сталинского

террора со страданиями Христа, а возникает невероятная красота страдания, и каждая красочная деталь безошибочно ложится в нужное место на общей картине, и ощущаешь все вместе: и спасительную прохладу южной ночи с пряными ароматами пышных растений, и рассвет, затмевающий пламя костров, и напряжение пролетающих минут...)

Вот это «низвержение в Мальстрём» тебя самого втягивает так, что оторваться невозможно, жадно перелистываешь страницы, и потом перечитываешь снова и снова, и из ничего, из самых обыденных явлений, опять-таки снова и снова, все с большей силой, вырастает ощущение того, что можно, конечно, назвать ощущением сюрреалистичности происходящего, но вернее — ощущением неизбытности открывающихся друг за другом, вне внешнего плана, пространств, то добрых, то злых, но всегда притягательных.

Это ощущение наверняка испытывали читатели тех стран, на языки которых был сразу переведен «Хранитель древностей». Для многих, бесконечно далеких от советских реалий тридцатых годов, оно, наверно, было необъяснимо, и они пытались подогнать его под свои сложившиеся схемы, под модные в то время концепции творчества.

Домбровский очень возмущался, когда прочел в статье одного из ведущих английских критиков, что «Домбровский, несомненно, является главой современного мирового сюрреализма, потому что только в очень воспаленном, больном и фантазмагоричном сознании могла возникнуть идея, что можно пить спирт из-под заспиртованных пресмыкающихся...» (этим, кто помнит, с успехом занимался музейный старик столяр):

— То есть как это — «больное сознание»? Я вместе с ним этот спирт пил!

С международным успехом «Хранителя древностей» связана яркая история, которую неоднократно рассказывали, и даже показывали в лицах, все ее участники. К сожалению, никто ее так и не записал, и никого уже нет на этом свете, так что придется воспроизвести мне — по рассказам отца и других гостей Домбровского в тот вечер. Во всех деталях эти рассказы совпадали настолько полно, что вряд ли возможны большие искажения.

Когда пошли зарубежные издания «Хранителя древностей», Домбровский, естественно, стал получать гонорары в валюте; то есть в виде заменяющих валюту внутри Советского Союза «березочных»

чеков, чеков «серии Д», на которые можно было отовариваться дефицитом в сети валютных магазинов «Березка».

По этому случаю решил он устроить большой пир для всех друзей, и за помощью обратился к лагерной поварихе, с которой продолжал поддерживать отношения и спустя многие годы после освобождения. Повариха эта, крупная и увесистая женщина, более добродушная, чем могло показаться по ее командирскому внешнему виду и зычному голосу, с большой теплотой относилась к «политическим» заключенным и всегда старалась их подкармливать.

Домбровский и повариха привезли из «Березки» огромные сумки невероятных для советского времени напитков и снеди.

Жил Домбровский тогда еще в коммуналке — той коммуналке, классической, которую только Зоценко сумел изобразить в полномете. Да достаточно вспомнить документальный рассказ Домбровского «Записки мелкого хулигана» — как он получил пятнадцать суток за то, что отобрал топор у пьяного мужа, гонявшегося за женой. Его признали зачинщиком драки и впаяли, а судья еще прочла ему назидание, что нельзя вмешиваться в семейные разборки между мужем и женой. Советовал бы перечесть этот рассказ тем, кто не знает, не представляет или подзабыл кошмары советского коммунального быта.

Понятно, что в такой «вороньей слободке» явление Домбровского и поварихи с грандиозными сумками и организация большого, через всю комнату, от двери до окна, стола, вызвало большое волнение. Для создания такого стола и скамеек к нему пошли в дело доски, откуда-то принесенные, организован был сбор вилок и ножей, нашлись в нужном количестве скатерти. Жил Домбровский очень скромно — тарелка, ложка, вилка, ножик, чашка, кастрюлька — поэтому поварихе пришлось выкручиваться по-своему. На столе сияли осетрина разных видов, черная и красная икра, всевозможные балыки и ветчины, лучшие сорта водки, коньяка, виски и джина со всего мира. Недостающие тарелки и стаканы заменили картонными прямоугольниками и майонезными баночками.

Когда же гости расселись, емкости для напитков были наполнены, а закуски разложены по тарелкам и тому, что их заменяло, Домбровский обратился к поварихе, сидевшей в торце стола, впритык к двери (чтобы можно было свободно бегать на кухню и следить за горячим):

— Спой нам первым тостом ту нашу, которой ты всегда нас в лагерях поддерживала!

Массивная повариха поднялась со стаканом в руке. Неплотно закрывающаяся дверь позади нее то и дело распахивалась от сквозняков, в коридоре гурьбой сновали соседи — якобы по делам, а на самом деле в надежде подглядеть, что же там происходит — так что поварихе во время исполнения заздравной приходилось все время ногой прихлопывать дверь. Выглядело это так:

Налейте нам грогу в дорогу...
 (дверь поехала внутрь комнаты — баммм!)
Стакан!
Бездельник, кто с нами не пьет!
 (Баммм!)
Так выпить бы нам нужно...
 (Баммм!)
За девушек всех дружно...
 (Баммм!)
Давайте за девушек выпьем,
А Бетти сама разольет!..
 (Ба-баммм!)

На первых же словах Домбровский заплакал и выпил со слезами на глазах.

Столько всего сошлось! Наверно, вся жизнь перед ним проходила. И мысль о том, что все-таки он ЭТО сделал, есть книга, которую все будут помнить, в которой правда и ничего, кроме правды...

Приблизительно в то же время он пришел к моему отцу:

— Представляешь, Борис, работал в Ленинке, вышел перекурить — и вдруг встречаю человека, который подписал донос на меня и из-за которого я получил очередной срок. Сколько лет я мечтал, как встречу с ним и что с ним сделаю! Я ему и сказал: «Пойдем, выйдем». Он покорно, ни слова не говоря, пошел; завернули мы в закуток переулочка за библиотекой. И тут он кинулся на меня чуть не в истерике: «На, мордуй, убивай! Знаю, что заслужил! Но ты одиноким был, а у меня семья, дети! Если бы тоже был одиноким, может, и не подписал бы! Но что бы с моей семьей было?!..»

— И?..

— И я отряхнул ему пиджак и сказал: «Да ну, ладно, пойдем, выпьем». Пошли в рюмочную неподалеку от библиотеки, там выпили, поговорили.

Многие это отмечали: что грозный на словах Домбровский на деле оказывался изумительно добрым и многое был способен понять и простить.

Есть, мне кажется, и еще один момент. Сейчас всем известно, что основной донос на Домбровского, когда он получил свой последний срок, написала женщина, которую он любил и в любовь которой искренне верил. Кроме прочего, она давала ему читать чудом привезенного в СССР и еще непереуевденного Хемингуэя и других авторов, буквально через несколько лет ставших безобидными кумирами всех читателей страны, а тогда... Тогда и это лыко вязалось в строку: низкопоклонство перед Западом, восхищение писателями, чуждыми советскому духу, протаскивание антисоветской идеологии через их открытое восхваление... Несколько человек, друживших с Домбровским, говорили мне, что он до конца жизни не знал о ее роли в своем деле. Тут у меня сильные сомнения. Он мог никому не говорить об этом, оберегая память о прежних чувствах, но *он знал*, потому что как иначе объяснить стихи («Надпись на фото»):

*Моя тоска вступила в год седьмой.
Лесами с Осетрово до Тайшета
Меня влекла, гнала твоя комета,
И ночью я беседовал с тобой.
Ты мне была и счастьем, и судьбой,
И сумерком, и ясностью рассвета.
Не тронута и до дыры запета,
Как рельса, прогудевшая отбой.
Так за годами годы шли. И вот
Все прояснило, в горечи невзгод,
В блатных напевах, в сказке о наседке
(О гадине, что давят напоказ)
Я прочитал, что Бог тебя упас
От рук моих и от петли на ветке.*

Кроме знания о предательской красоте, сквозь которую проступает ужас, тут «сумерки и ясность рассвета» сталкиваются с лагерной «рельсой, прогудевшей отбой», «горечь невзгод» встречается с «блатными напевами», — «сказка о наседке» (смотри стихотворение «Наседка», как всем баракoм убивали стукача) вдруг воз-

растает до Бога и до библейской «петли на ветке». В «Наседке» Домбровский описывает убийство стукача как реальный конкретный факт со множеством страшных и точных деталей, с грубыми подробностями, которых не выразишь умозрительно. А здесь убийство «гадины, что давят напоказ», переносится в разряд летучих и чуть ли не фантастических лагерных мифов. Домбровский «прочитывает» пережитое за шесть с лишним лет и говорит: жизнь умудрила, что я отомщу тебе, но не физической расправой, а по-другому, в творчестве.

Он не то чтобы возвышается над личной рукотворной местью, он вступает в иные просторы, где такая месть остается далеко внизу — как ничтожная и не имеющая значения. Не назовешь это ни прощением, ни возвышением, но оттенки того и другого присутствуют.

И память об этой женщине мешала Домбровскому судить других, сломавшихся и слабых.

Чуть позже происходит и другая история. К тому времени Домбровский обрел наконец собственную квартиру, вышло на западе русскоязычное издание «Хранителя древностей».

Он в такси ехал с друзьями к себе домой. Кроме него в машине были мой отец и Валентин Непомнящий. (Вроде мелькало упоминание, что и Валентин Берестов там был, но я не поручусь, воспоминание смазанное, за давностью лет.)

Таксист попался хмурый и злой на весь мир. Он по-хамски пренебрежительно несколько раз буркнул что-то в ответ на вопросы пассажиров, вообще всем поведением старался «поставить их на место». Непомнящий не выдержал:

— Если бы вы знали, кого везете! Замечательного писателя, очень известного!

— Знаем мы ваших писателей, развелось... — пробурчал таксист. Тут завелся Домбровский:

— Я вам не какой-нибудь! У меня не только здесь книги выходят, у меня и за рубежом книга вышла! Поднимемся ко мне, я вам покажу!

Подъехали. Таксист, крепко конвоируемый Домбровским, нехотя поднялся в его квартиру.

— Сейчас я вас всех яичницей накормлю, потому что, наверно, все голодные, — заявил Домбровский, — а потом мою книгу покажу, вот увидите!

Обалдевший таксист присел, а Домбровский, приготовив большую яичницу, стал искать привезенный ему экземпляр книги, пока яичница настаивалась — и нигде не мог найти.

— Где же она... Где же она... — растерянно возмущался он. Потом махнул рукой: — Съедем яичницу, пока не остыла, а потом еще по-ищем.

Он поднял сковородку с яичницей и радостно воскликнул:

— Так вот же она! Я, оказывается, на нее сковородку поставил, когда с плиты снял! На, смотри! — пихнул он книгу в руки таксисту.

...Таксист удалился совсем обалдевший, пристукнутый, притихший — и накормленный.

Таких историй о Домбровском было много. Вроде бы совсем нестроенный и непристроенный в быту, он саму нестроенность превращал в нечто очень легкое и артистичное. Было в этом что-то мочартовское, примета гения, распаханного миру.

Последний раз я видел Домбровского незадолго до его смерти. В Пушкинском музее (не имени Пушкина, а Пушкинском) был завершающий вечер цикла «Онегинских чтений» Валентина Непомнящего. Домбровский, естественно, остался в числе гостей за небольшим накрытым столом, которым отметили завершение цикла. Было около десяти человек, разговор вертелся вокруг пушкинских тем, Домбровский больше слушал, чем говорил, очень внимательно следя за каждым говорящим. Меня тогда особо поразил его взгляд. Глаза у него всегда были немного запавшие, а тут они совсем утонули в глазницах, и он стал совсем седой. И при этом его пристальный взгляд был настолько ярким, настолько пронзающим, что глаза казались огромными и непосредственно обращенными на тебя.

Я не могу точно припомнить дату, когда это было. Помню, что погода была сырая и промозглая. Скорей всего, поскольку в музее закрывался сезон Пушкинских вечеров, это было уже после таинственного избиения Домбровского в фойе Дома литераторов, о котором тогда немало говорили по Москве. Общее мнение склонялось к тому, что это была месть за то, что он все-таки издал «Факультет ненужных вещей» на Западе.

Во всяком случае, выглядел он резко постаревшим, как будто слишком много разом на него навалилось. Мне думается, не только из-за избиения. Не мог он не переживать и того, что произошло со сценарием фильма по «Факультету ненужных вещей». Фильм вышел

под названием «Шествие золотых зверей». Власть, можно сказать, действовала методом кнута и пряника: роман мы к изданию не допустим, но напишите сценарий по роману, и фильм мы разрешим... В итоге, после многочисленных цензурных вычеркиваний, из сценария была полностью убрана лагерная тема, тема рока, нависшего над всеми героями. Не говоря уж о евангельской теме. Осталась лишь детективная составляющая романа: кража с археологических раскопок древних золотых фигурок. И без нарастания атмосферы обреченности, затягивающей в себя всех причастных к этому делу археологов и специалистов, сама детективная линия утрачивала глубину и вынятность, превращалась в чисто советское «если кто-то кое-где у нас порой...» Как выразился один из зрителей фильма, «нудная слезливая мелодрама». Притом, что и актеры были классные, и оператор отлично сработал, и режиссер был толковым. Такой фильм был оскорблением автора, и Домбровский не мог этого не понимать.

И в памяти осталось, что о смерти Домбровского мы услышали почти сразу, можно сказать, не успев доехать до дому. Но это, конечно, ложное впечатление. Умом я понимаю, что какое-то время прошло, может, месяц или поболее, но вот внутреннее ощущение, что это был вечер прощания и что Домбровский ушел сразу после него, никуда не исчезает.

Смерть приходит волнами, прямо-таки по присказке «Пришла беда — отворяй ворота». Вот и тогда волна накатила. За короткое время — Набоков, Галич, Домбровский, многие другие, не столь известные, но не менее драгоценные для памяти. Потом волна спала, чтобы опять подняться через несколько лет. И так и пошло, и пошло, и пошло.

И ведь довелось дожить до многочисленных изданий и переизданий всех вещей Домбровского, до шеститомного собрания сочинений, до целой литературы о нем.

Сколько-то лет назад, уже в нынешнем двадцать первом веке, обратились ко мне с казахской телестудии:

— Вы лично знали Домбровского, — (не «знал», а «видел», поправил я, знать его могли друзья и близкие, а я лишь взирал на него, что тоже было везением), — так не могли бы вы написать сценарий документального фильма о нем? Это же писатель с мировым именем, тесно связанный с Казахстаном судьбой, биографией, темами книг, и Казахстан очень им гордится. Ведь почти нет писателей та-

кого масштаба, которых Казахстан мог бы с полным правом называть «своими» или «и своими тоже».

— Я с радостью напишу, — ответил я. — Но тут есть одно но. Неполную картину жизни, идей Домбровского давать нельзя и неприлично, а для полноты картины надо будет говорить и о том, что, по Домбровскому, Россия сыграла гуманнейшую и просветительскую роль в истории Казахстана, что Алма-Ата до советской власти была казачий город Верный, что и является ее историческим названием. А советская власть переименовала, стирая память о казаках, к которым отношение было не самое доброе, и на словах подчеркивая «многонациональную общность советского народа». И переименовала-то с ошибкой, недаром потом поправили на Алматы. Именно казаки, а потом русские инженеры, врачи и строители, считал Домбровский, принесли цивилизацию в полудикий край, и нынешний Казахстан всем им обязан. Об этом есть и в «Хранителе древностей», и в «Факкультете ненужных вещей», и во многих других вещах и письмах.

Так и шарахнулись:

— Нет... это невозможно!

— Но невозможно и умалчивать. Найдите историков, которые будут доказывать, что Домбровский опирался на не совсем достоверные документы, что он в чем-то обманулся, в чем-то ошибся, что свойственно человеку, пусть будет спор с Домбровским, но совсем отмахиваться от этой темы нельзя.

— Ну... нет, тогда фильма не будет.

На том и завершилось.

Мне в последние годы неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что правда о тех или иных людях, которых я знал, вновь оказывается неприемлема и неудобна, пусть и по совсем другим причинам, нежели прежде. Но это уже совсем иная тема.



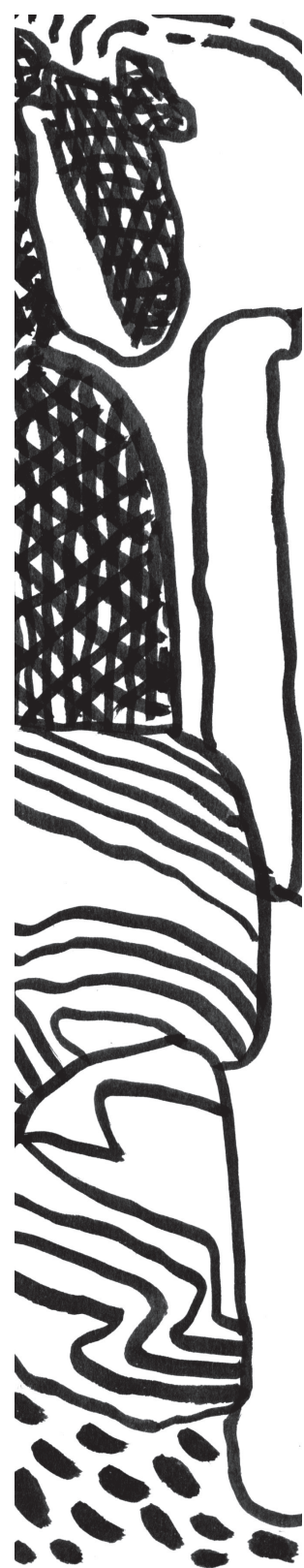
Штудии

Даниэла Рицци. Путешествие Надежды Шаховской.

Эссе. Перевод с итальянского М. Ослона

Ася Пекуровская. “И простор голубеет, как белье с кружевами”. *Эссе*

Санджар Янышев. Найман. *Эссе*



ПУТЕШЕСТВИЕ НАДЕЖДЫ ШАХОВСКОЙ

В начале 2000-х годов я заинтересовалась судьбой одной чрезвычайно интересной персоны — речь об Ольге Ресневич-Синьорелли (1883–1973), враче, журналистке и писательнице. Человек русской культуры, она родилась в Латвии, училась в Швейцарии, а затем для завершения медицинского образования перебралась в Италию, где и прошла большая часть ее долгой жизни. Союз Ольги с известным итальянским врачом Анджело Синьорелли был счастливым, их дом в Риме в период между двумя войнами стал одним из самых оживленных и утонченных центров художественной и культурной жизни столицы, где встречались итальянские и иностранные художники, литераторы, музыканты и артисты.

Ольга Синьорелли оставила огромный эпистолярный архив, изучением которого мы занимались на протяжении нескольких лет вместе с коллегами, итальянскими славистами. Одним из итогов этой работы стал выпуск моей книги об Ольге Синьорелли, касающейся ее судьбы и ее окружения.

Имя княжны Надежды Шаховской (1847–1922) неоднократно всплывало в архиве Ресневич-Синьорелли в различных обстоятельствах, и я решила побольше узнать об этой полузабытой фигуре «русской колонии» в Риме второй половины XIX — начала XX века. Надежда Шаховская (или как ее обычно называли в Италии Надин Хельбиг) была тем человеком, который ввел семью Синьорелли в космополитические круги Рима, она дала возможность Ольге на деле применить ее медицинские познания, поручив ей руководство амбулаторией для детей бедняков на виа Морозини, которую Шаховская организовала в густонаселенном и бедном районе Трастевере.

Просматривая книгу о вилле Ланте, где жила Надежда Шаховская с мужем, я увидела упоминание о том, что в библиотеке на этой вилле (которая теперь стала местом финского дипломатического представительства при Святом Престоле) находятся мемуары прежней владелицы. Я прочла этот неопубликованный текст (в библиотеке

я нашла ксерокопию, а оригинал хранится в частном архиве потомков Шаховской в Риме) и обнаружила, что на самом деле мемуары Надежды Шаховской содержат одну-единственную фразу, которую можно безошибочно отнести к жанру «русско-итальянских путевых заметок». Фраза такая: «Я не буду описывать прекрасную страну, Ломбардию, Тоскану». Вот и всё — плюс несколько указаний общего характера на различные произведения итальянского искусства.

И все же я решила погрузиться в эту тему, узнать как можно больше о Надежде Шаховской, потому что сама ее жизнь напоминает путешествие, причем не столько по Италии в географическом смысле (что состоит из пейзажей, площадей и дворцов), сколько по римскому обществу в период с провозглашения объединения Италии в 1861 г. и до Первой мировой войны. Это мне показалось не менее интересным, чем традиционные «впечатления от Италии», каковых я в мемуарах, собственно, и не нашла.

Начну с нескольких предварительных сведений, так как моя героиня не очень известна в России (да и в Италии почти совсем забыта). И все же ее личность и деятельность позволяют видеть в ней своего рода Зинаиду Волконскую второй половины XIX века, только не особенно оставшуюся в памяти — возможно потому, что она прожила почти всю жизнь за рубежом, не поддерживая особых связей с русскими литературными кругами.

Сведения о жизни Надежды Шаховской я черпала, в первую очередь, из той самой неопубликованной рукописи (420 рукописных страниц по-французски) — она без даты, но, вероятно, написана незадолго до смерти. В объемной первой части текста реконструируется история семьи, она рассказывает о детстве, получении образования и обрывает свою историю на свадьбе; повествование, тем не менее, не всегда соблюдает строго хронологическую последовательность и изобилует пролепсисами. Кроме того, я прочитала ряд автобиографических отрывков, написанных по-английски (автор с детства владела несколькими европейскими языками) и изданных в Англии в 1914 г. под названием «Зарисовки из Трестевере» — по названию квартала, где Шаховская провела многие годы. Также мне удалось ознакомиться и с двумя изданиями, которые являются библиографической редкостью и ни разу не переиздавались — это мемуары ее дочери Элизабет Хельбиг Морани «Юность в лучах заката. Римские

воспоминания» (они были написаны в 20-е годы по-итальянски, но изданы по-немецки в 1953 г. и, по всей вероятности, основаны на рассказах матери и ее не сохранившихся автобиографических записках), а также переписка Шаховской с Францем Листом.

Надежда Шаховская (которую всю жизнь называли Надин) происходила из княжеской семьи, породненной с императорским домом. Родилась она в Москве, ребенком прожила два года в Париже с матерью (княгиней Натальей Святополк-Четвертинской), которую там принимали с большим почетом: «Наполеон III, тогдашний президент Республики, был у ее ног», — пишет Шаховская в неизданных мемуарах. В 1860 г. Надин отвозят в Дрезден для обучения. Она занимается фортепиано, гармонией и контрапунктом с пианистом и композитором Адольфом Рейхелем, а живописью с художником Гансом Юлиусом Грюдером (оба были довольно известны). Она вращается в культурной среде города, часто наезжает в Париж; знакомится с Кларой Шуман (женой композитора Роберта Шумана, одной из самых значительных пианисток эпохи романтизма), становится ее ученицей и следует за ней в Гейдельберг с целью продолжать обучение под ее руководством. Время от времени Надин берет уроки и у Иоганнеса Брамса.

Впервые она приезжает в Италию в 1864 году — во Флоренцию, к своей тетке Вере Четвертинской и двоюродным братьям Борису и Сергею. Она бывает в основном в домах русских аристократов, живущих во Флоренции или находящихся там проездом — в особенности, Надин сближается с семьями Демидовых, Александрины Толстой и графа Николая Строганова. Шаховская с увлечением изучает историю итальянского искусства.

Во время своего второго приезда в Италию, год спустя, она посещает Рим, который вскоре станет ее окончательным домом. Сначала Надин вращается, как и прежде, в среде высшей аристократии, как русской, так и итальянской, но вскоре ее кругозор заметно расширился, главным образом, благодаря встрече с Францем Листом. «Тогда Рим был, еще более, чем теперь, музыкальной пустыней», — пишет Надежда Шаховская в своих «Зарисовках». Длительные визиты Франца Листа в Рим в те годы — это луч света для затхлой и провинциальной атмосферы культурной жизни папского Рима, еще не ставшего столицей Королевства Италии (коей он станет в 1871 г.).

Надин знакомится с Листом в доме графини Александрины Бобринской, а потом неоднократно встречается с ним у поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого и его жены Софьи Бахметевой, которые тоже приезжают в Рим в середине 1860-х годов и поселяются во дворце Кампанари, неподалеку от форума Траяна. Дворец Кампанари становится одним из главных мест встреч для блистательного интернационального римского общества. Там бывают Фердинанд Грегоровиус (знаменитый немецкий историк, изучавший средневековый Рим), немецкий философ Куно Фишер, князь Григорий Гагарин (вице-президент петербургской Академии художеств), знаменитый историк итальянской литературы Франческо де Санктис, художники Михаил Боткин, Сергей Постников, Софья Сухово-Кобылина (давнишняя приятельница матери Надин), германский посол Курд фон Шлёцер, художник Эрнест Эбер — директор Французской академии на вилле Медичи. «Лист, однако, был самым желанным гостем», — и действительно, венгерский музыкант был старым знакомым четы Толстых и часто у них выступал. Услышав игру Надин, он приглашает ее войти в тесный круг его учеников, среди которых были не только итальянцы. Описания уроков у мэтра — в числе интереснейших страниц «Зарисовок». Один из лучших учеников Листа — Джованни Сгамбати, который впоследствии станет заметным композитором и пианистом, — всегда будет поддерживать связь с Надин. Она и сама часто давала домашние концерты — сначала с Листом, а после его смерти со Сгамбати, — а также выступала в публичных концертных залах исключительно в благотворительных целях. Памятным стал, например, концерт на великолепной вилле д'Эсте в Тиволи 30 декабря 1879 г., устроенный в целях благотворительной помощи населению города.

В этой среде Надин знакомится с молодым немецким археологом Вольфгангом Хельбигом (1839–1915), студентом-стипендиатом Германского археологического института. Несмотря на возражения матери, настроенной против этого «мезальянса», она выходит за него замуж в 1866 г. в Москве. Сразу после этого молодожены возвращаются в Рим, где Вольфганг впоследствии возглавил археологический институт. В Риме они проведут всю жизнь.

Сначала Хельбиги жили более двадцати лет во дворце Каффарелли на Капитолии, потом на вилле Ланте на Яникуле, в великолепном здании XVI века, построенном по проекту художника и ар-

хитектора Джулио Романо, которое возвышается над всем городом. В обоих домах они держали литературный, научный, но главным образом музыкальный салон, который десятилетиями являлся уголком космополитизма в тогда еще провинциальной Италии, истинным «европейским перекрестком». Кроме Листа (а к этому времени отношения учителя и ученицы переросли в теплую дружбу, о чем свидетельствует их содержательная переписка), завсегдатаями салона Хельбигов были в разное время Рихард Вагнер и Эдвард Григ, Антон Рубинштейн и Джозуэ Кардуччи, Теодор Моммзен и Габриэле д'Аннунцио, а позднее — Ромен Роллан, Райнер Мария Рильке и многие другие. Престиж салона и пестрый интернациональный круг гостей, а также интеллектуальные достоинства хозяев (Вольфганг Хельбиг со временем стал заметным археологом и коллекционером антиквариата, а Надин — помимо связей с римским патрициатом и международной аристократией — завоевала немалую славу пианиста) сделали салон Хельбигов — наряду с салоном князей Каэтани — одним из главных мест средоточия культурной жизни Рима. Вместе с Эрсилией Каэтани, аристократкой, прославившейся своей красотой и поразительной эрудицией в области Древнего мира, Хельбиги создают группу страстных ревнителей археологии, которая устраивает экскурсии к многочисленным неисследованным достопримечательностям Лацио.

Когда Рим становится столицей и в нем начинается парламентская жизнь, меняется также и салон — из почти исключительно дворянской гостиной он превращается в место зарождения новой политической элиты. Салон Хельбигов подстраивается в этом смысле под эволюцию, происходящую в римском обществе. Так, известно, что среди гостей салона в 70-е и 80-е годы XIX века были также различные политики, в том числе министр (впоследствии председатель совета министров) Марко Мингетти, с чьей женой Лорой Актон, образованной и блестящей англичанкой, Надин связывала близкая дружба.

Надежда Шаховская также оставила заметный след в области благотворительности. Филантропическая деятельность вообще была типична для определенных кругов высшей русской аристократии (вспомним благотворительность Демидова во Флоренции, Волконской в Риме; мать той же Надин положила все свои силы на милосердие, превратив, в том числе, свой московский дом в больницу).

В меньшей степени, но все же это было распространено и среди итальянской аристократии, по преимуществу среди женщин.

Но к концу века меняется и филантропия, как и многие другие явления общественной жизни. Из способа выражения человеколюбия она превращается в проявление действенного внимания к духовным и общественным запросам низших слоев населения.

Надин Хельбиг участвует в этом движении в рамках деятельности «Союза добра», организации, взявшей за образец французский «Союз морального действия», основанный незадолго до этого писателем Полем Дежарденом. Это был кружок, в котором велись пылкие обсуждения, основанные на интересе к важнейшим общественным темам и стремлении к этическому обновлению, связанному с межконфессиональностью. Участниками были католики, иудеи, протестанты, православные и атеисты. «Союз добра» был основан в 1894 г. в Риме двумя итальянскими интеллектуалками — пионерами эмансипации Дорой Мелегари и Антоньеттой Джакомелли. Наряду с такими заметными фигурами итальянской культуры, как Анджело де Губернатис, индологом и санскритологом (который в Неаполе был членом кружка Бакунина и женился на его двоюродной сестре Софье Безобразовой), поэтами Доменико Ньюли и Джулио Сальвадори, в «Союз» входило значительное число женщин. Тут присутствует такая харизматическая фигура, как Мальвида фон Мейзенбург — эта немецкая аристократка и интеллектуалка дружила с Мадзини, Герценом, Ницше и последнюю часть жизни провела как раз в Риме (известно, что фон Мейзенбург была близка также с Надин Хельбиг и Эрсилией Каэтани). Среди членов «Союза добра» мы находим также американскую миллиардершу Элис Холгартен (которая, руководствуясь своей личной пауперистской философией, жила на 50 центов в день), а также множество других любопытнейших персонажей — например, Ольгу Лурканову (о ней пока известно мало, пожалуй, лишь то, что она вышла замуж за итальянского генерала Д'Аванцо и была автором первых переводов В.С. Соловьева на итальянский язык).

В рядах «Союза добра» г-жа Хельбиг представляла «толстовскую составляющую». Она хорошо знала образ мыслей Толстого, в том числе благодаря своему длительному пребыванию с дочерью летом 1887 г. в Ясной Поляне, с Толстыми ее познакомил князь Семен Семенович Абамелек-Лазарев. Творчество Толстого — моралиста и общественного реформатора, а не только автора художественных произведе-

дений — в Италии конца века духовно питало круги, чья деятельность была связана с религиозным обновлением. Надин Хельбиг, судя по всему, сыграла не последнюю роль в распространении толстовства. Эту роль непросто реконструировать, поскольку мы не располагаем ее сочинениями об этом, хотя что-то можно почерпнуть из ряда косвенных свидетельств.

Общественная деятельность «Союза» распространялась на широкий спектр вопросов: здоровье и гигиена, образование и воспитание, помощь заключенным, борьба с пьянством и проституцией. Во многом она совпадала с деятельностью рабочих организаций взаимопомощи умеренного характера, исповедовавших, начиная с 1861 г., либерально-католические или откровенно светские ценности.

Надин Хельбиг участвует в деятельности «Союза», в основном, добровольно работая медсестрой. Затем, вместе княгиней ди Веноза, она основывает свою собственную организацию, названную «Поддержка и труд» (*Soccorso e lavoro*). «Работали мы усердно, но признаюсь, у нас было слишком много женщин», — пишет она в «Зарисовках». Она планирует открыть поликлинику совместно со знаменитым шведским врачом Акселем Мунте, ее хорошим другом, но плану не суждено было осуществиться. Вместо этого в начале двадцатого века, на деньги, специально для этого выделенные ей матерью, она открывает амбулаторию для бедных детей на улице Морозини в Трастевере, тогда одним из самых нищих кварталов Рима. Амбулатория станет для г-жи Хельбиг истинным смыслом жизни: она будет ходить туда ежедневно на протяжении более двадцати лет, нанимать лучших врачей Рима и лично заниматься финансированием. Для сбора средств она устраивала благотворительные вечера у себя дома, как уже было сказано, давала фортепианные концерты и продавала акварели с видами Рима. Ее внушительную фигуру (в старости из-за нарушения обмена веществ она весила 200 кг), всегда облаченную во что-то вроде темной рясы, безошибочно узнавали горожане, называвшие ее «Синьора Мадама ди Трастевере». На улицах и в окружавшей тогда Трастевере сельской местности ее видели в сопровождении высокой и заметно более молодой женщины. Это была принцесса Елена Черногорская, с которой Надин познакомилась во время путешествия в Петербург, где та воспитывалась при русском дворе. Выйдя замуж за короля Италии Виктора Эммануила III и приехав в Рим в 1896 году, она восстановила связь с княжной Шаховской, чье огромное челове-

колюбие и преданность благотворительности были созвучны ее характеру и мировоззрению.

Я уже упоминала о некоем сходстве между Зинаидой Волконской и Надеждой Шаховской. Об этом сходстве свидетельствуют высокий дворянский ранг обеих, их художественные наклонности, человеческие качества, одухотворенность, а также то, что обе выбрали Рим в качестве места проживания. Но, хотя Волконская более знаменита, чем Шаховская, тем не менее, роль, которую последняя играла в общественной жизни Рима более полувека, все-таки явно значительнее. Надин Хельбиг была главным действующим лицом космополитической тенденции, которая в последнюю четверть XIX века явилась освежающим дуновением для душливой культурной атмосферы тогдашнего папского Рима. Значимость ее музыкального салона состоит не только в том, что там бывали и выступали знаменитейшие композиторы того времени, но и в том, что он был также открыт многим местным молодым дарованиям, которые окунались в этом доме в плодотворную атмосферу современной музыкальной жизни. Так русская аристократка явилась своего рода «крестной матерью» музыкального подъема в итальянской столице.

Не менее значима ее благотворительная деятельность, которой она в наибольшей мере посвятила себя в последние тридцать лет своей жизни. Надин Хельбиг воплотила собой новый дух филантропии, пришедший на смену «милосердию» как таковому и отличавшийся стремлением дать людям неимущим возможность для культурного роста. На рубеже веков в Италии возникла целая плеяда женщин-учредительниц различных организаций, но Хельбиг на их фоне не являла собой некую эмансипированную их разновидность, а скорее воплощала одну из моделей «мирской святости», как, например, и другая жившая в Италии русская, Александрина Равицца (1846–1915), которая стала ключевой фигурой в филантропической деятельности Милана в тот же период, когда Хельбиг была таковой в Риме.

И это подводит нас к обширной теме, которая сама по себе достойна отдельного исследования: русские женщины в Италии. Но это уже — вопрос для дальнейших изысканий.

Перевод с итальянского М. ОСЛОНА

№ 2, 2021 г.

Ася Пекуровская

« И П РО С Т О Р Г О Л У Б Е Е Т ,
КАК БЕЛБЕ С КРУШЕВАМИ »

Название сборника — «Урания» — было навеяно Бродскому, как сообщает нам Лосев, строкой «Поклонникам Урании холодной», взятой из пятого стиха поэмы Баратынского «Последний поэт» (1835). Но что именно могло диктовать выбор Бродского? Лосев далее упоминает о том, что Бродский полемизирует с Баратынским, но не сообщает, знал ли Бродский о судьбе журнала «Европеец», в котором стихотворение Баратынского было напечатано рядом с либеральной статьей Ивана Киреевского «Девятнадцатый век». И что могло измениться, если бы он знал, что...

«Все экземпляры журнала были под расписку изъяты, журнал закрыт, а с Киреевским, благодаря вмешательству императрицы», обошлись гуманно. Его «не забрили в армию, даже не сослали в деревню: постоянный полицейский надзор и запрет на лит[ературную] профессию — и только».¹ Однако имя Баратынского не было упомянуто в отчете министра просвещения К.А. Ливена государю. Тогда что могло помочь Баратынскому избежать «заслуженного» наказания? Какова его роль в этой истории? Зададимся мы вопросом, запросив об этом госпожу Клио.

Баратынский предложил Ивану Киреевскому другое название для журнала, не вызвав у основателя ответного энтузиазма. А между тем, назови Киреевский журнал «Желтым карликом» в честь одноименной сказки Мари-Катрин д'Онуа, как предложил Баратынский, ему, возможно, удалось бы избежать приговора, произнесенного министром просвещения К.А Ливеном от лица Его Величества Николая I:

«Государь Император, прочитав в номере 1 издаваемого в Москве Иваном Киреевским журнала под названием “Европеец”

¹ С. Лурье. «Изломанный аршин. Трактат с приложениями». Пушкинский фонд. Санкт-Петербург.

статью “Девятнадцатый век”, изволил обратить на оную особое внимание. Его Величество изволил найти, что все статьи сии есть не что иное, как рассуждение о высшей политике, хотя в начале оной сочинитель и утверждает, что он говорит не о политике, а о литературе»,² — и далее в том же духе. Оказывается, Иван Киреевский был наказан не за либерализм вовсе. Его провинность заключалась в другом. Он изволил «рассуждать о высшей политике».

Но Лосеву принадлежит и другая версия создания стихотворения. «Даря нам английскую “Уранию”, Бродский написал на титуле: “To Nina and Leo — My inner bio” (“Нине и Лео — биография моей души”. — А. П.)». Перу Лосева принадлежит и третья версия со ссылкой на интервью 1992 года: «[Данте], мне кажется, в “Чистилище” <...> зывает к Урании за помощью — помочь переложить в стихи то, что трудно поддается словесному выражению. <...> Я хотел назвать книгу “Марш к Урании”, по аналогии с одновским “Марш к Клио”...»

За семь лет до сочинения поэмы «К Урании» (1981), представленной в качестве богини астрономии и *соперницы* Клио, Бродский сочинил, или начал сочинять, «Литовский ноктюрн» (1974–1983), посвятив его Томасу Венцлове,³ где Урания и Клио ассоциировались с «географией и историей». Но почему, задаюсь я вопросом, Урания «Литовского ноктюрна» утратила связь с географией?

Возможно, в какой-то момент Бродский открыл статью об Урании в 82-томной Энциклопедии Брокгауза и Ефрона, где связь Урании с астрономией получила неожиданное обоснование. Ведь в своем оригинальном значении Урания была Афродитой, дочерью бога Неба (Урана),⁴ получившей свое имя от слова «afros» (пена). Сафо, персонаж поэмы Баратынского, возникает, как и Афродита, «из пенистой пучины вод морских» и в ту же пучину бросается. «Пенистая пучина», атрибут Афродиты и Сафо, попала в стихотворение Бродского в виде метафоры, озадачившей не одного исследователя. Как связать Афродиту или Сафо с простором, который «голубеет, как белье с кружевами»?

² Там же.

³ Т. Венцлова внес поправку в хронологию. «Литовский ноктюрн» был сочинен, пишет он, не в 1974 году, как полагают исследователи, а с 1973 по 1983 гг., т.е. и во время создания поэмы «К Урании» (1981).

⁴ «Энциклопедический словарь». Издатели Ф.А. Брокгауз и И.А. Ефрон. С-Петербург, 1902.

Начну с присутствия в поэме «К Урании» Бродского Велимира Хлебникова. Текст, который привожу с сокращениями, цитирует Валентина Мордерер:

*Оттого-то Урания старше Клио.
Днем, и при свете слепых коптилок,
видишь: она ничего не скрыла,
и, глядя на глобус, глядишь в затылок.
Вон они, те леса, где полно черники,
реки, где ловят рукой белугу,
либо — город, в чьей телефонной книге
ты уже не числишься. Дальше, к югу,
то есть к юго-востоку, коричневеют горы,
бродят в осоке лошади-пржевали;
лица желтеют. А дальше — плывут линкоры,
и простор голубеет, как белье с кружевами.⁵*

«Глобус — естественная принадлежность Председателя Земного Шара, но самым безусловным и неожиданным текстуальным атрибутом Велимира оказывается последняя строка: “и простор голубеет, как белье с кружевами”». ⁶ А путь от Хлебникова к «белью с кружевами» автор прослеживает, делая дополнительный заход к стихотворению Бродского (*посвященному Михаилу Барышникову. — А.П.*), написанному шестью годами раньше. Поскольку мои акценты будут расставлены иначе, нежели акценты Валентины Мордерер, я ограничусь лишь релевантными строфами.

*В имперский мягкий плюш мы втискиваем зад,
и, крылышкуя скорописью ляжек,
красавица, с которой не ляжешь,
одним прыжком вытархивает в сад.*

⁵ Я сократила текст стихотворения, который Валентина Мордерер привела целиком, и практически оборвала ее аргумент на полуслове, так как моей задачей является не полемика с этим замечательным автором, а нащупывание пути, ведущего от текста Бродского к тексту Баратынского.

⁶ В. Мордерер. «Непонятное у Бродского, помогающее расшифровать еще более непонятное у Хлебникова».

*Мы видим силы зла в коричневом трико,
и ангела добра в невыразимой пачке.
И в силах пробудить от элизийской спячки
оваця Чайковского и Ко.*

Хлебников присутствует здесь в нескольких ипостасях, требующих демистификации. «Крылышка» восходит к классическому стихотворению Хлебникова «Кузнечик» (1908–1909); отсылка к «невыразимым пачкам» переключается с понятием «невыразимых» панталон моря в стихотворении Хлебникова «Крымское»,⁷ а «элизийская спячка» является стрелой, идущей от «Последнего поэта» Баратынского к стихотворению Бродского «К Урании».

Привожу полный текст «Кузнечика» Хлебникова:

*Крылышка золотописьмом
тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
«Пинь, пинь, пинь!» — тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!*

Стихотворение долгое время оставалось непроницаемым для исследователей, несмотря на несколько попыток, сделанных как самим Хлебниковым, так и умелыми исследователями. Через два года после его публикации Хлебников раскрыл, а возможно, и сам обнаружил ключевой стержень стихотворения, поместив его в эссе «Будетлянский»: «“Крылышка и т.д.” потому прекрасно, что в нем, как в коне Трои, сидит слово “ушкой” (разбойник). “Крылышка” скрыл ушка деревянный конь»⁸. И все же подлинную прозрачность стихотворение обрело благодаря блестящей работе американского профессора Рональда Вроона, вскрывшего «глубинный уровень» стихотворения.

⁷ «И начинает казаться, что нет ничего невообразимого,
Что в этот час
Море гуляет среди нас,
Надев голубые невыразимые».

⁸ Р. Вроон. «“Кузнечик” Велимира Хлебникова: искусство словесной двусмысленности».

Здесь я предвижу справедливый вопрос англоязычного читателя: почему «Кузнечик» не был переведен на английский язык? На этот вопрос можно дать короткий и исчерпывающий ответ: да потому, что язык, на котором написано стихотворение, является русским в той же мере, в какой он является английским или любым другим языком из числа языков, смешанных в Вавилонской башне. Но короткий и исчерпывающий ответ меня не устраивает. И я отважусь на одно признание.

Когда я впервые прочла статью Рональда Вроона по-русски, текст Хлебникова был вполне уместен. Но в английском оригинале статьи Вроона я увидела, что текст «Кузнечика» остался неизменным, т.е. сохранен был идиолект Хлебникова, записанный кириллицей. «Почему?» — повторяю я вопрос англоязычного читателя. И вот что приходит в голову. Вместо того, чтобы пускаться в объяснение по поводу неперевода текста ни на какой *естественный* язык, Рональд Вроон начал с того, что кинул читателю наживку в виде двустишия:

*Наш кочень очень озабочен:
Нож отточен, точен очень.*

На аллегорическом уровне эти строки можно прочитать так:

*Our lettuce head is concerned case in point:
The knife is stropped and most pinpoint.*

Однако в иллюстрации, предложенной Михаилом Ларионовым и Николаем Кулибиным, «кочень» представлен как «петух». И конечно же тщательное расследование проясняет, что между «коченем» и «петухом» существует прямая связь. Вернее, так. «Кочень» обладает в идиолекте Хлебникова некоей «сумеречной стороной», которая подчеркнута шестикратным повторением двусложного наречия «очень». Подобным же образом слово «муха» не означает насекомое, а рассматривается как слово (существительное, восходящее к глаголу «мыть»).

И только после того, как автор удостоверился в том, что читатель, подхвативший нить Ариадны, получил представление о том, как следует искать «сумеречную сторону слова» у Хлебникова, Ро-

нальд Вроон указал на три ключевых механизма, посредством которых Хлебников кодирует свои стихи.

Это: 1) механизмы *естественного языка*, отсылающего «к тем значениям, которые уже вышли из употребления, либо сохранились только в диалекте, либо существуют в другом славянском языке»; 2) *идиолект* Хлебникова; и 3) *механизм предсказаний*, о котором речь впереди.⁹

Как и следовало ожидать, эти три ключевых механизма функционируют, взаимно контаминируя друг друга, что, конечно же, учтено в статье Рональда Вроона, которую хотелось бы цитировать от первой до последней строки. Но этот соблазн я по необходимости преодолеваю и начинаю с середины.

«Наипростейший путь есть путь пересказа аллегорического нарратива. Аллегорический нарратив стихотворения очень прост. Это рассказ о кузнечике, который, манипулируя тонкими жилками своих золотых крылышек (крылышка), поглощает разнообразные травы на берегу реки, когда его тревожит крик зинзивера (певчей птицы из отряда воробьиных, родственника распространенной в Америке хохлатой синицы). Данная последовательность событий побуждает рассказчика произнести два восклицания: двусмысленный неологизм О, лебедиво! и императив О, озари!»

Разумеется, простота эта обманчива. Рональд Вроон выделяет три лексемы, затрудняющие понимание. Таковы неологизмы «крылышка», «золотописьмом» и «лебедиво», а также диалектное слово «зинзивер», неизвестное большинству носителей русского языка, и два логических «ляпсуса». Один заключен во фразе «прибрежных много трав и вер», а второй относится к крику зинзивера («пинь, пинь, пинь»), сопровождаемому глаголом «тарархнуть», т.е. производить звук, более соответствующий звуку падающей кастрюли или сковороды. Итак, цитирую далее Р. Вроона:

«Начнем со слова, обозначающего героя. <...> Парнис и Григорьев пишут, что кузнечик означает не только “Grasshopper”, но также является просторечным обозначением “синицы” (из рода *Parus*), которая позже появляется в диалектическом облике зинзивера. Роман Якобсон указал на “живую связь кузнечика” (кузнеца) с его родственниками: “козни”, “ковать”, “кую” и “ковар-

⁹ «Хлебников возится со словами, как крот, между тем он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие», — писал Осип Мандельштам.

ный”. Он также отмечает паронимастическую связь “кузнечика” и “кузова”».

Далее, неологизм «золотописьмо» (с коннотациями «клинопись», с одной стороны, и златоуст, т.е. оратор типа Иоанна Златоуста, с другой) проясняет значение звуков, издаваемых кузнечиком. Это «звуки от нанесения текста — каллиграфического письма золотом на его крылышки» и голос «поэта или певца». «Это значение, давно канонизированное в анакреонтической традиции, приводит нас к наиболее важному подтексту — к стихотворению “Кузнечик” Державина. <...> Как и герой Хлебникова, герой Державина — златокрылый — кует в лесу, кормится на лугу и идентифицируется как певец и сын Аполлона».

Но в этом сходстве таится их сущностное различие, возможно, даже противопоставление. Кузнечик Державина — праздный дворянин («Пьешь... как господин»), тогда как кузнечик Хлебникова — «ушкуйник», т.е. разбойник, получивший имя от слова «ушкой» (речная лодка). Следующим ходом Рональд Вроон делает восхитительное открытие. Он опознает имя разбойника по звукам, которые издает синица-зинзивер. Эти звуки составляют анаграмму имени Разина:

пИнь, пИнь, пИнь тАРАРАхНл ЗИНЗИвеР

«Неявное присутствие Разина чудесным образом объединяет все стихотворение. Во-первых, актуализируется образ ушка, спрятанный в начальной строке. Разин — историческая фигура, которую Хлебников боготворил как прототипа бунтаря. Во-вторых, его присутствие объясняет основной смысл деятельности кузнечика: подобно тому, как он собирает еду в животе, разбойник помещает в свою лодку людей различных вероисповеданий. Исторический Разин привлекал не только недовольных казаков и беглых крепостных, но и представителей разных национальностей <...>. В-третьих, это объясняет топографию стихотворения. Сцена — берег реки, типичное место стоянки разбойников. <...> Далее, призыв Разина мотивирует “скрытый” смысл значения слова “кузнец”. <...> Наконец — и это, может быть, самый важный момент — присутствие Разина акцентирует саму “двойственность” стихотворения. Подобно тому, как исторический Разин и его разбойники

маскировались под торговцев или паломников, чтобы получить доступ к цитадели, которую они хотели захватить <...>, так и “ушкуй” незаметно проникает в стихотворение, прячась в первом слове и затем представляется как ряженный, сначала кузнечиком, а потом и певчей птицей».

Два восклицания в конце стихотворения — это ответная реакция автора на крик птицы, своего рода поэтическое «Аминь». Первое из них — О, лебедиво! — неологизм, образованный прибавлением к корню слова *лебедь* адъективно-наречного суффикса –ив–. Это прежде всего *Лебедия*. <...> Хлебников считает, что это степь между Волгой и Доном, родина Разина и главное поле его действий. Другое значение «лебедиво» — струг в форме лебедя, на котором плавал Разин.

Теперь попробуем нащупать связь между стихотворением Бродского «К Урании» и пятой строфой «Последнего поэта» Баратынского, которую частично цитирую:

*Оно шумит перед скалой Левкада.
На ней певец, мятежной думы полн.
Стоит... в очах блеснула вдруг отрада:
Сия скала... тень Сафо!.. голос волн...
Где погребла любовница Фаона
Отверженной любви несчастный жар,
Там погребет питомец Аполлона
Свои мечты, свой бесполезный дар!*

Представим действующих лиц:

Скала Левкада — это то место, где, согласно одной из легенд, Сафо бросилась вниз, в морскую пучину. Как и Лебедия Хлебникова, Левкада является местом, ставшим своего рода лебединой песней для Сафо. Фаон, лодочник из Митилены, любовник, отвергнувший любовь Сафо, вернулся в море. Но перед тем, как вернуться в море, он, как и Разин, бросивший за борт персидскую княжну, становится свидетелем самоубийства Сафо. Источником этой легенды служит «Левкадия» древнегреческого комедиографа Менандра, кстати сказать, утонувшего в море во время купания возле собственного дома. В петербургском Эрмитаже хранится картина Жака Луи Давида, в которой художник, как, возможно,

и Баратынский, взял за основу «Левкадию» Менандра. Пушкину принадлежит авторство трех песен о Разине. Но особой популярностью пользуется до сего дня стихотворение Д.Н. Садовникова «Из-за острова на стрежень», созданное на сюжет одной из легенд. По мотивам этого сюжета, кульминацией которого является брошенная за борт персидская княжна, был снят первый российский художественный кинофильм «Понизовая вольница (1908).

Но кто такой «питомец Аполлона» и как связать этих персонажей с «Уранией», т.е. Афродитой и дочерью Урана?

Ольга Фрейденберг отнеслась с недоверием к расхожему мифу об однополой любви Сафо. «Сафо и Аполлон — два “мусических” образа древнейшей эпохи, еще не знавших женских и мужских различий. В одном случае образ получил женскую форму, венерину; в другом — мужскую, аполлонову. Но, по существу, миф не знал, что делать с Аполлоном или с Сафо», — пишет она, тут же сделав наблюдение, из которого следует, что Сафо, как, впрочем, и Аполлон, не знали ответной любви. «Аполлон остался неженатым, влюблявшимся, но не любимым никем богом, хотя он олицетворял все самое прекрасное. Хромой, потный, грязный Гефест имел супругой Афродиту; уродливый Пан и всякие чудовища резвились с нимфами и наядами. От Аполлона же все бежали. Так и Сафо. Ни мужа не называет ни один из ее мифов, ни счастливого возлюбленного. Фаон отвергает ее любовь. Нет у нее, как у Афродиты или какой-нибудь Астарты, своего Адониса».

Что касается роли Афродиты-Урании, она неотделима от роли Сафо. Сафо «знает только одну мольбу, мольбу любви, и часто Афродита спускалась с неба на ее зов, спрашивала, кого нужно принудить, и принуждала. Одна функция у Сафо — искать любви; одна функция у Афродиты — удовлетворять любовь Сафо». Полагаю, что Баратынский, которому всю жизнь приходилось расплачиваться за один неблагоприятный поступок, больше всего искал в людях любви, которой его обделили, подобно Сафо и Аполлону. Эта карта отлично подходит и для Бродского.

И еще одно наблюдение. Два имени: «питомец Аполлона» и «певец (мятежной думы)» даны одному и тому же лицу, которым является, скорее всего, сам Баратынский. Эта двойственность деноминаций, данная для одного поэтического образа, повторена и для образа Сафо, которая названа и «тенью Сафо», и «любовни-

цей Фаона». А учитывая судьбу Сафо, бросившейся со скалы, «певец мятежной думы», стоящий на вершине той же скалы, должен разделять ее намерение.

Итак, выбрав *Уранию* в конце пути, Бродский оказывается у той же развилки, у которой он помнил себя, размышляя над фильмом «Смерть в Венеции». Что же он выберет на этот раз: браунинг или любовь?

Едва ли не все стихи «Новых стансов к Августе», посвященных музе М.Б. (общим счетом 16, включая две поэмы — «Новые стансы к Августе» и «Einem alten Architekten in Rom») были написаны в 1964 году.¹⁰ Особняком стоят «Двадцать сонетов к Марии Стюарт», сочиненные в 1974 году.

Чем же знаменателен этот 1964 год?

С декабря 1963 года по январь 1964-го Бродский находился, по совету Михаила Ардова, в психбольнице имени Кащенко, куда, как гласит легенда, Марианна Басманова носила ему передачи. Полагаю, что в основу этой легенды была положена магнитофонная запись, сделанная Бродским в сентябре 1988 года для Евгения Рейна, приехавшего в Нью-Йорк с намерением собрать материал для предполагаемого фильма. Вот этот текст:

«Один раз она появилась в том отделении милиции, где я сидел неделю или дней десять. Там был такой внутренний дворик, и вдруг я услышал мяуканье — она во дворик проникла и стала мяукать за решеткой. А второй раз, когда я сидел в сумасшедшем доме и меня вели колоть чем-то через двор в малахае с завязанными рукавами, я увидел только, что она стоит во дворе... И это для меня тогда было важнее и интересней, чем все остальное. И это меня до известной степени и спасло, что у меня был вот этот “бенц”, а не что-то другое. Я говорю это совершенно серьезно».

Но говорить серьезно вовсе не значит говорить правду. Психбольница Кащенко находилась в Москве, откуда, как известно, Бродский бежал в Ленинград для выяснения отношений с Марианной. Но и сага о втором ее визите в психиатрическую лечебницу в Ленинграде, тоже не держит воду. Бродский был поме-

¹⁰ Десять стихотворений (по пять в год) были помечены 1962-м и 1963-м годами. Это так называемые «Песни счастливой зимы», задуманные как приобщение к английской поэзии. Их можно назвать любовной лирикой лишь с большой натяжкой. В годы, следующие за 1964-м, Бродский сочинил удивительно малое число лирических стихов.

щен туда для «судебной экспертизы», т.е. с целью проверки психиатрического диагноза, предъявленного суду защитой. Визиты туда были строго запрещены. Но и эти мелкие нестыковки бледнеют перед тем фактом, что Марианна Басманова находилась за городом, ибо встречала Новый, 1964 год в компании друга Бродского, Дмитрия Бобышева, ставшего в итоге врагом Бродского на всю жизнь.

Зачем же Бродский пожелал сочинить миф об идеальной любви и верности?..

№ 5, 2021 г.

С а н д ж а р Я н ы ш е в

НАЙМАН

Мой первый взгляд на поэта Наймана был похож на его, Анатолия Генриховича, ожог от поздних, современных молодому ему, стихов Анны Андреевны Ахматовой. И не похож. 10 марта 2000 года я шел к нему в гости не как к динозавру, почему-то пережившему свой юрский период и живущему среди едва оперившихся карликов. Я шел к своему *soulmate*¹ — по крайней мере, именно это я, автор едва готовой к изданию первой своей книги, возомнил, прочитав свежайшую наймановскую «Ритм руки»². Сегодня мне даже совестно уточнять, что именно я тогда имел в виду (склад мышления? лексику? метафизику?..)

Впрочем, время показало, что свойственная юности заносчивость не всегда неправа. Что-то близкое тем моим чувствам имел в виду и сам А.Г., написавший, спустя годы, одну из своих книг: «Санджару Янышеву, другу детства», — подразумевая, представляется мне, себя, свое отношение к детскому, всегда новому, мироощущению. А уж через это чувство отметивший некую общность (родство?) с адресатом надписи. Теперь мне *так* хочется верить.

...Не помню, где я добыл номер его телефона, помню фразу Наймана о том, что «никаких противопоказаний» к нашей встрече он не видит. Спустя три дня я все же решил сделать запись о том вечере; она сохранилась.

Итак.

Запись о встрече с Н. (отрывки)

«К 20.00 отправился к Найману (договорились утром). Врасплох — поэтому пришлось потратиться: купил маникюрный набор, купил “дирол”... Носки не купил (10 рублей осталось —

¹ Родственная душа (англ.).

² Сборник стихов Наймана, вышедший в 2000 г. в издательстве «Вагриус» (Москва).

на пиво) и всю дорогу переживал: вдруг дырявые... Всё обошлось; даже за стол усадили; отказывался, есть, мол, не хочу: “Я знаю, это все так говорят!” (типа — расслабься, что уж тут поделаешь)...

Сидел в кресле, вещал (не иначе), верхняя часть — голова, шея в складках, уши — напоминала патиссон; тапочки с задниками (чтоб не шлепать), джинсы. Обстановка в комнате — обычная для интеллигентного мэна. Книги, в том числе английские, французские, картины, фотографии, статуэтки. Почему-то телевизор, хотя: “ТВ усредняет любого; если ты такой [показывает], оно тебя таким [показывает] сделает: его задача усреднить, нивелировать...” Два ноутбука — вот они, его окна в мир...

Говорит очень медленно, с паузами, цезурами, так, что не понятно, кончил ли он начатую десять минут назад мысль или дух переводит. Но нить держит... “Это я по болезни такой серьезный, обычно я знаете какой шутник!” [В смысле: мне палец в рот не клади; да, об этом еще Довлатов писал.]

Очень мнительный, очень “мэтр”... но — ранимый болезненно, навеки уязвленный, очень ребенок.

“Что такое постмодернизм? Это безответственность. Постмодернист уже не может написать просто: трава зеленеет. Духу не хватает. Он пишет: трава зеленеет, *так сказать*”.

О Кушнере: “Будь ты хоть семи пядей — ежели *тогда* печатался, то и не дергайся теперь — свое получил!.. Одно время у него было такое: Бродский в Америке — я в России. Потом Бродский умер и... что же выходит теперь? Смешно”.

О Евтушенко, Вознесенском говорит много, с удовольствием; их отличие: первый делает гадость, вполне искренно заблуждаясь. И очень на Бродского обижается (как Кушнер). Вознесенский на встрече Хрущева с интеллигенцией: “Я хочу читать стихи!” (То есть: вы мне рот не затыкайте, я поэт и буду читать, хотите вы того или нет.) В. часто об этом вспоминает — с удовольствием. Только почему-то не вспоминает, *что* за стихи он тогда читал: о Ленине!

О Вере Инбер, о ее предательстве Пастернака. Многие тогда “заболели”, чтоб не идти на собрание. Она — уже после того, как “постановили”: “Я, я хочу сказать!” Уже и не нужно ничего говорить, уже и предавать не требуют... Сказала-таки.

“Сегодня у меня был счастливый день [пауза]. Давно не писал стихов — и вот, случилось”. С удовольствием прочитал одно, второе — с монитора.

— А вы, — спрашиваю, — стихи как пишете, в компьютер?

— Нет, что вы! — почти возмутился. — Только с голоса. Это уже потом набираю, мне приятно видеть их набело... отпечатанными.

Прошел к креслу. Как бы себе повторил последние две строки нового стихотворения — по памяти, получая несказанное удовольствие. Последнее слово: “самоубийство”...»

Теперь, спустя двадцать три года, решил то стихотворение разыскать. Вот оно: «Написать — это имя свое написать...» Финал такой:

*Угадай начертанье сквозь пламя и мглу.
Это важно, как жизнь, здесь нельзя ошибиться —
это имя звезды у вселенной в углу,
здесь описка в полчерточки — самоубийство.*

Стихотворение включено в сборник «Львы и гимнасты» (2002).

«Книг стихов» Найман не писал, разве что циклы. Сборники собирал, постскрипtum. В поздних стихи датировал — чтоб видна была прямая, путь внутри года: 5 июня, 8 июня, 12... Чтоб видна была хронология. Конечно: Deus conservat omnia — «Бог сохраняет всё». Но почему бы Ему слегка не помочь?..

Друг мой художник Яков Красновский вчера вспомнил один сюжетик (наймановское слово), на историю не тянущий, но кое-что к портрету прибавляющий.

Сюжетик с Блейком

Осенью 2008-го он подвозил Анатолия Генриховича из аэропорта (тот прилетел с ташкентского поэтического фестиваля, где мы неделю куролесили большой веселой компанией). У Якова с собой была оформленная им книга моих стихов «Природа», он вручил ее Найману. Тот прочитал вслух подзаголовок: «Книга стихов».

— Что это значит?

— Ну... — Мой друг замешкался. — Что это... книга стихов.

— Но это ведь и так понятно, разве нет?

(Мол, поскольку стихи собраны в книгу, то зачем подчеркивать данный факт еще и в подзаголовке?)

— Санджар пишет стихи «книгами»...

— Он что, Вильям Блейк??

Найман не любил литературные «жесты», поэтому и в «книге стихов» усмотрел книжность, от которой уже шаг до фарисейства. В том же духе было и пожелание, которое он мне высказал в одну из первых встреч: не стоит слишком «мелькать», не надо суетиться: каждая публикация должна стать если не фактом Литературы, то *событием* в жизни поэта. Надо ли говорить, что у меня на тот момент не то что книг — журнальных публикаций было две или три. Так что пожелание А.Г. относилось к кому угодно (см. сатирическую пьесу Наймана «Жизнь и смерть поэта Шварца»), может быть, он адресовал его себе самому, почему нет.

Я же все равно старался этому пожеланию следовать и не слишком «мелькал»: чем больше любил Анатолия Генриховича — тем меньше докучал своими визитами (связь здесь, на первый взгляд, обратная, однако по мне — самая прямая), о чем сейчас, разумеется, жалею.

Лишь старался делиться им с некоторыми друзьями.

Так, спустя какое-то время после той, первой, встречи, привел к Найману одного ташкентского поэта, надумавшего перебираться в Москву. А вот тут уже целая история.

История с арбузом

На выходе из станции метро «Дмитровская» мы купили астраханский арбуз. Почему пишу «астраханский» — а никаких других тогда в Москве не было.

Арбуз был тяжелый, мы несли его, кажется, по очереди.

— Ооо, — Найман с порога замахал руками. — Что это такое?!?..

Мы с другом переглянулись.

— Арбуз. Вам.

— Совершенно напрасно! Вы заберете его домой.

— Но мы думали...

— Нечего тут думать! И слышать не хочу. Заберете домой!

Арбуз остался ждать в коридоре.

Нас накормили. И даже, кажется, напоили (водкой).

А за непринятый арбуз мы Найману отомстили. В какой-то момент, отвечая на расспросы хозяев, мой ташкентский друг упомянул о двадцати долларах, взимаемых российским консульством за рассмотрение вопроса о вступлении узбекистанца в гражданство РФ. Надо сказать, что примерно такой в те годы была и обычная зарплата в Узбекистане: 20-25 долларов.

Реакция Наймана была типично наймановской. «Позвольте мне вам эту сумму презентовать? Это, право слово, такая малость, а для вас — какое-никакое решение проблемы...»

Но у узбеков — своя гордость, и денег у Наймана мы не взяли! Зато арбуз потом перли в далекий Павловский Посад, где я тогда жил: сперва на себе, потом на метро, потом полтора часа на электричке, потом опять на себе. А в подъезде дома, почти у самой двери в мою квартиру, мы его кокнули о ступеньки.

Интересная штука. В четверке «ахматовских сирот» Анатолий Найман, по замечанию Бродского, был «признанным остроумцем» (в пушкинской плеяде эта роль принадлежала Вяземскому). Остроумие часто, особенно едкое, колкое, — оборотная сторона если не цинизма, то скепсиса. Оно подвергает осмеянию не потому, что «это смешно», а потому, что знает «этому» цену, как правило, невысокую.

Тем не менее, априорным скепсисом (сформировавшим позже и фирменную стихотворную интонацию) — в отношении многих величин, в том числе фигуры А.А.А., — отмечена реакция молодого Бродского, «меланхоличного Баратынского», в его собственной классификации.

«...И только в один прекрасный день, возвращаясь от Ахматовой в набитой битком электричке, я вдруг понял — знаете, вдруг как бы спадает завеса, — с кем или, вернее, с чем я имею дело. Я вспомнил то ли ее фразу, то ли поворот головы — и вдруг все стало на свои места. <...> В те первые разы, когда я к ней ездил, мне, в общем, было как-то и не до ее стихов. Я даже и читал-то этого мало. В конце концов, я был нормальный молодой советский человек».

И вот, после постигшего Иосифа Александровича сатори в электричке, начался уже тот опыт, «когда физически ощущаешь, что имеешь дело с человеком лучшим, нежели ты».

В наймановской характеристике Анны Андреевны человеку предшествует поэт. (То же, забегая вперед, можно сказать и о самом Наймане: поэта в нем больше, чем пресловутого остроумца-пересмешника).

В своих «Рассказах о Анне Ахматовой» Найман пишет: «В московском “Дне поэзии” 56-го года была напечатана элегия Ахматовой “Есть три эпохи у воспоминаний...” Я не мог отдать себе отчет в том, чем это поразило меня больше: тем ли, что она еще жива, или содержанием и красотой». Впечатления о следующей обнаруженной подборке Ахматовой он уже отливает в бронзу: «Всё было обязательно, интонация неотменима, власть каждого слова несомненна. Но главное — звук <...> не вмещающийся в стихи».

В этих последних словах — внимание! — Найман, сам того не ведая, пишет уже о позднем себе.

«Ни в каком поэтическом хоре не звучал, не мог звучать такой голос... <...> Я ждал встречи с великой, несдавшейся, таинственной, легендарной женщиной, с Данте, с поэзией, с правдой и красотой — встречи, которой “не может быть”, — и эта встреча случилась. Разочарования не было».

Конечно же, несомненно и непреложно, от поэта остаются стихи. В некоторых — гораздо более редких — случаях остается человек, интересный не только другим поэтам (всегда примеряющим на себя чужую мифологию) или, там, словесникам. Человек, вырастающий из «биографии», как Ахматова и Бродский. Либо — человек, вырастающий из стихов, как Найман.

Светская жизнь, подарившая ему славу записного остряка, старалась его сократить, подобно телевизору из наймановской реплики, ограничить, а по сути — ограничить: его же фразами, меткими и едкими, оправленными другим остряком — Довлатовым и потому (как широко улыбался Найман в нашем последнем телефонном разговоре) перешедшими в разряд «довлатовских».

Следующему сюжету предпосылается эпиграф из Сергея Донатовича.

«Найман — интеллектуальный ковбой. Успеваает нажать спусковой крючок раньше любого оппонента. Его трассирующие шутки — ядовиты».

Сюжетик с паспортом

Ташкентская часть фестиваля подошла к концу, предстояла поездка с гостями-поэтами на поезде в Самарканд и Бухару. Один из организаторов фестиваля, изрядно к тому времени утомившийся, счастливым образом потерял в собственной квартире паспорт — и остался в Ташкенте.

— А Ф. почему не едет? — спросил меня Найман.

— Да паспорт куда-то дел, третий день ищет...

Реакция была убийственно-молниеносной (или молниеносно-убийственной).

— А скажи ему: завтра — в Америку, и сразу найдет!

Шутка, особенно адресная, часто напоминает колкость, и поэтому редко бывает безобидной. Остряк, сам того не замечая, приподнимает собственное забрало — и делается уязвимым. Эпитет «трассирующая» не случаен.

Но не так же ли уязвляет, уличает автора любой написанный им текст (как Создателя — Его несовершенное творение), не так же ли поэт «проговаривается» своими стихами?

В статье об Анатолии Наймане и последней его книге «Выход»³ я писал и про особый наймановский синтаксис, который, «подобно длинному гибкому жалу, ищет свое продолжение, будь то ножны чувства или тело мысли». Речь устная и речь метризованная движутся навстречу друг другу — где-то посерединке обнаруживается стихотворение. Кажется, никто в последние лет... сто не был так естествен внутри поэтических метров, как Найман.

*Я расхожусь на всех как ненужный дождь,
малую часть клеймя как казенный кошт,
псиную стаю дразня как сухая кость,
нёбо уценкой киш-миша, дряблая гроздь.*

³ С. Янышев. «Общей черточки с теми, кто ныне...» О книге Анатолия Наймана «Выход» // «Интерпоэзия». 2021. № 2.

*Родня, чужня, не жалея меня, гоп-братва,
как я не жалея пускаю лес на дрова,
как позабыл, хоть навеки ты та ж, я тот ж,
тебя, середины прошлого века чува.*

*Память психолог, но есть пути напролом,
сквозь камень и дебри, как помнят корни и гном,
ручей и заря, невсерьез, спустя рукава.
Дом времеед — но и первым забудет дом.*

(«Тема с вариациями»)

Поэт — это ведь не про «поэтичность» мира, а про способ мышления. Для поэта большого, как Найман, стихосложение равно поиску Реальности — от связи между явлениями, событиями жизни до завета с Создателем.

Как человек разумный, Найман не пытался обнять необнимаемое — сложносочиненных людей с их психикой и физиологией он вынес за пределы поэзии: прямиком в прозу, которой тоже написалось довольно много. Но как человек думающий, он не мог не попытаться определить свое место в окружающем мире: не среди людей, а рядом с деревьями и муравьями, и не в социальном смысле, а в онтологическом и натурфилософском. Чем сложнее выбранный (нет, выбравший поэта) путь, чем скрупулезнее труд, который подчас сродни собирательству, требующему предельно мелкой моторики, — тем подробней словарь и тем естественней, безыскусней речь. Конечно же, в анамнезе — и пастернаковский «захлеб», и мандельштамовское «бормотание», и ахматовская «монументальность»... И вот всему этому на смену приходит речевая повседневность (не «постановка», а «документ»), чье главное свойство — экспансия на все прочие стороны жизни. Включая быт, в самом посюстороннем смысле слова.

Как, например, в этом обращении к своей квартире:

*Шлепанец стоптан, весом вселенной прихлопнут
жук-медальон, муха-биплан, а по углам —*

*всё где есть место, родство, коридорность комнат,
череп сверчка, трещины метрик, жемчужный хлам.*

*Чья ты? В чьей власти? Разве что тех, кто убыл:
та же — пока господин твой жилец не исчез.
Чашка в буфете, в чаще шалаш, часовни купол —
адрес твой, градус твой, тучка с краю небес.*

(«Жилье с 1970 по 2020»)

Вот выдержка из письма А.Г., адресованного мне (самого последнего):

«Знаю по своему опыту: бродишь, тычешься и вдруг попадаешь под кожу этого самого тельца из строчек, оно уже и твое, ты понимаешь не только *что* оно говорит, но и что говоримое есть “на самом деле”».

А вот — почти о том же — мысль Наймана, сказанная им в «Фильме о Анне Ахматовой» (2008, режиссер Хельга Ландауэр):

«Есть “реальная жизнь” — и она у большинства людей продолжается один день, одну неделю, один месяц в жизни, вообще: когда что-то становится вдруг реальным... И есть жизнь, как у Ахматовой, которая состоит годами из этой *реальной жизни*».

В своей статье я сравнивал стихотворение Наймана (любое!) с лабиринтом. Иные тексты, в которых А.Г. ищет формулу вещи, — тоже лабиринт, но состоящий из одной точки: всё сводится к уточнению слова, понятия, пределов понимания. Как в том, чудесно обретенном спустя двадцать три года, неслучайном — теперь это совершенно ясно — стихотворении:

*Это время займет. Надо вспомнить сперва
запах дома и шорох, и выбрать, насупясь,
из тетёшканий няни — язык и слова,
из большого захлеба — ласкательный суффикс.*

*Надо вспомнить всё это — чтоб это забыть!
Не признать за свое. Не смешаться с чужими.
Не запутаться в «слушай» и «кто там?» и «выдь!»,
а ни больше ни меньше как выпростать имя.*

*Струйку звуков. Значков. Заглуши голоса
любопытных невнятиц и воинских ключей
и судебных повесток: должна полоса
иероглифов — с подлинным быть без отличий.*

О каком «подлинном» идет речь, я понял совсем недавно, спустя почти двадцать лет после первой встречи: 9 апреля 2019 года. Это был вечер моих друзей, Вадима и Жени, московская презентация двух только что вышедших стихотворных книг. В какой-то момент заговорил Найман. Он говорил долго, минут двадцать пять, говорил медленно, большими периодами; серьезное оказывалось несерьезным, «сюжетик» становился «историей», вспоминаемые им события тридцати- или пятидесятилетней давности проецировались на экран дня сегодняшнего; круг, как и положено, замыкался... И я, по слову И.Б., «вдруг понял, с кем или, вернее, с чем имею дело».

Я увидел человека совершенно равного тому, о чем он говорит. В стихах ли, в устной речи — но «реальность» Наймана, его «подлинность», его «на самом деле» — об этом вот равенстве.

Когда-то он вывел блестящую формулу (о Довлатове): «его числитель, то есть представление о себе, был почти равен знаменателю, то есть его способностям». Если обратить формулу в сторону формулировщика, звучать она будет так: его числитель, то есть его жизнь, был почти равен знаменателю, то есть его стихам.

Фразу про то, как А.Г. «держит нить», из моей первой реакции на человека-Наймана, я позже повторил, но уже о Наймане-поэте: о том, как он «схватив бечеву еще до начала речи, намотав на запястье, каждую секунду — а сколько секунд, сколько лет, сколько веков длится высказывание? — до конца стихотворения держит своего “змея” внутри зрения». Разница с повседневной речью только лишь в том, что материя наймановского стихотворения более густая, более сжатая — как и положено стихам. Однако читал он их всегда размеренно, раздумчиво, словно бы рождая — мышлением языка: здесь и сейчас.

...Ту же свою речь, на вечере моих друзей, он закончил так:

«Я говорю — я это знаю за собой — не то чтобы совсем сумбурно, но сравнительно сумбурно. Поэтому в конце надо сказать: “Простите, что я говорил сумбурно”, — но я этого как раз не говорю, потому что про то, о чем я говорю, можно говорить только сумбурно».

С годами на смену Найману-остроумцу пришел Найман-ироник. Ум был по-прежнему острый, но острие все чаще было направлено не на собеседника, а на самого себя. И «ты» тут окончательно переименовано в «я», которое ничем не лучше, нежели «он» — человек: любой, каждый.

*Квиток без прав на еще виток. Ты не уникал.
Хоть и изгой. Ничей не любимец, хоть и шармёр.
Из думающих. Такому не след быть умником,
твой род из земных — на него с сотворенья мор.*

(«Тем итоги убийственны, что итоги...»)

Ирония, в отличие от сарказма, позволяет предельно широкий, предельно свободный взгляд на вещи. Это не «маска для незащищенных» (как в «Служебном романе» учит нас товарищ Самохвалов). А — по Томасу Манну — «величие, питающее нежность к малому».

Ирония сталкивает человека с конечностью существования — она же дает ему утешение.

В стихах Наймана — начиная с самых ранних — ирония жила: на правах «пятой сущности». Она-то, вместе с сочувствием к каждой малой участи, доле, и вынесла автора к вершинам — и поэзии, и жизни.

*Да что, в самом деле, случилось?
Ну, рад умирать, ну, не рад.
Ведь это от музыки чисел
свобода — не так ли, Сократ?*

*Ее еще нужно услышать,
а если ты гложешь, щегол,
не проще ли струнами вышить
для голоса темный чехол?*

*Не в такт и не счетом уйти мы
согласны — а с тем, что болит,
не звук, а лучи паутины
покинуть — не так ли, Эвклид?*

*Не жалуйся, лютня, что узко
последнее было жильё.
Ах, музыка, музыка, музыка,
ведь я еще помню ее.*

№ 5, 2023 г.



И.Т.Д.

Глеб Шульпяков. Новая книга Шептухи



Глеб Шубляков

НОВАЯ КНИГА ШЕПТУХИ

БЫСТРЫЙ УМ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха задумался об эмиграции.

— Да и что я буду там делать? — быстро передумал он.

ШЕПТУХА ИЩЕТ И НЕ НАХОДИТ

Однажды Шептуха спросил меня, есть ли у него способности.

— Конечно! — ответил я.

— А почему они не открываются???

ШЕПТУХА ПОДСУЕТИЛСЯ

Однажды на Красной площади я подал нищему.

— Это за двоих, — уточнил Шептуха.

ПРИХОД ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха пробрался ко мне в зазеркалье.

— Что ты здесь делаешь, чучело? — набросился я.

— Я не чучело, — быстро ответил он.

НЕПРОТИВЛЕНИЕ ШЕПТУХИ

Однажды я спросил Шептуху, не хочет ли он малость добавить.

— Ты уговоришь и мертвого, — согласился он.

ОБЛОМОВ ШЕПТУХИ

Однажды я решил пристроить Шептуху вахтером в редакцию.

— Я хочу лежать на диване! — отбивался он.

— Будешь лежать за деньги, — наседал я.

ШЕПТУХА НЕ МОЖЕТ УСНУТЬ

Однажды Шептуха снова начал меня доканывать.

— Кто он такой, этот Бог? Скажи, кто?

МЕЧТЫ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха попросил посвятить ему день.

— В каком смысле? — удивился я.

— Как Нептуну, — пробормотал он.

ПОРУЧЕНИЕ ШЕПТУХИ

Однажды я решил послать Шептуху на почту.

— Электронную? — деловито осведомился он.

ИСПЫТАНИЕ ШЕПТУХИ

Однажды я прижал Шептуху к краю.

— Что мне делать? — возопил он.

— Прыгай!

ШЕПТУХА ЗРИТ В КОРЕНЬ

Однажды я спросил Шептуху, кто такие пиарщики.

— Софийствующие киники!

ХИТРОСТЬ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха принялся восклицать:

— Да ты гений! Да весь мир у твоих ног! Да как мне повезло, что...

— Скажи сразу, сколько тебе нужно, — перебил я.

ШЕПТУХА ЛЮБИТ ВПРОК

Однажды я случайно увидел, как ест Шептуха.

— У тебя там зоб, что ли? — изумился я.

ШЕПТУХА ЗАМАХНУЛСЯ НА ВЕЧНОСТЬ

Однажды я спросил Шептуху, кем он хочет стать.

— Народной приметой! — быстро ответил он.

ШЕПТУХА КАК ВСЕ

Однажды я спросил Шептуху, есть ли у него заветное желание.

— Выкурить, выпить и съесть всё, что есть в доме, а потом лечь на диванчик перед телевизором и заснуть под его бормотание, — признался он.

ГРАМОТНОСТЬ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха признался, что его замучили мои пробелы.

— Какие? — не понял я.

— Межстрочные.

ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ШЕПТУХИ

Однажды я случайно заглянул в телеграм Шептухи.

— «Могу три за две, но завтра», — успел прочитать я.

ШЕПТУХА ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

Однажды мы с Шептухой нашли кредитную карту.

— Попробуем? — предложил я.

— Только отойдем, — согласился он.

ПРОВАЛ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха пришел ко мне с пустыми руками.

— Я искал! — возмущался он. — Я отодрал всю проводку!

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПОЛЕМИКА ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха пожаловался, что у его сообщества «Клизмачи» появился литературный конкурент.

— Какой? — поинтересовался я.

— «Нюхачи»! — быстро ответил он.

МАЛЕНЬКИЕ РИТУАЛЫ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха потащил меня в кабак на ночь глядя.

— Какая еще «предсонная»? — отбивался я.

ШЕПТУХА СТРОИТ ПЛАНЫ

Однажды Шептуха стал обсуждать проект памятника на Тверском бульваре.

— Кому? — насторожился я.

— Нам!

НОВЫЕ ЗНАКОМСТВА ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха стал рассказывать про своего друга.

— Заместитель руководителя губернатора заместителя, — быстро зарпортовался он.

ШЕПТУХА В НОВОМ АМПУ

Однажды Шептуха решил переквалифицироваться из персонажа в автора.

— А ну, назад! — зарычал я.

ШЕПТУХЕ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

Однажды Шептуха решил начать новую жизнь.

— Что же ты будешь делать? — поинтересовался я.

— Для начала хорошенько отмечу это дело, — бодро ответил он.

ЛАВРЫ ЖДУТ ШЕПТУХУ

Однажды Шептуха закончил роман и бросился вон из комнаты.

— Куда ты? — крикнул я вдогонку.

— В Нобелевский комитет, — донеслось в ответ.

ШЕПТУХА НЕ СОМНЕВАЕТСЯ

Однажды я поинтересовался, знает ли Шептуха, кто автор «Вещего Олега».

— Народ, — уверенно ответил он.

ШЕПТУХА ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ

Однажды Шептуха признался, что хочет жениться.

— На ком?

— Я видел ее в рекламе, — уклончиво ответил он.

ШЕПТУХА И СЮЖЕТ

Однажды Шептуха стал рассказывать мне про каких-то женщин.

— Ольга Абрамовна и Валентина. Они что-то ждут, потом встречаются. А спички? И тут Валентина Абрамовна говорит ему... — возбужденно нес он.

ОТНОСИТЕЛЬНОСТЬ ШЕПТУХИ

Однажды я решил подарить Шептухе новые туфли.

— Какой у тебя размер? — спросил я.

— Сорок два с ногтями! — сообщил он.

ШЕПТУХА И ТЕМНОЕ ПРОШЛОЕ

Однажды я спросил у Шептухи, не скучает ли он по своей банде со Страстного.

— Ни слова больше! — побледнел он.

БЕККЕТ ШЕПТУХИ

Однажды вечером я застал Шептуху на Страстном бульваре. Он чистил яйцо над урной.

— Что происходит? — остолбенел я.

— Ни-че-го, — мрачно ответил он.

ШЕПТУХА ПРИМИРЯЕТ

Однажды на Страстном Шептуха крупно выиграл у меня в карты.

— Зато ты гений, — пятился он.

АНАМНЕЗ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха сравнил меня с инфарктом.

— Как это? — вздрогнул я.

— Ты обширный! — быстро ответил он.

ШЕПТУХА ОТКРЫТ НОВОМУ

Однажды я спросил у Шептухи, что у него за банда на Страстном бульваре.

— Лысая девочка, Саша-свингер, Веселая Марго, Шлёпа, — начал перечислять он.

ВЫСОКАЯ НОТА ШЕПТУХИ

Однажды на Страстном я предложил Шептухе тост за силу творчества.

— Не впустую ли мы надираемся? — забеспокоился он.

ОСТОРОЖНОСТЬ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха устроил тренинг для своей банды.

— И как он называется? — поинтересовался я.

— «Воровство в магазинах: что об этом говорит кодекс?»

ПОДДЕРЖКА ШЕПТУХИ

Однажды банда Шептухи объявила «Пятерочку» своим спонсором.

— Каким? — не понял я.

— Неофициальным.

ШЕПТУХА НАВОДИТ ПОРЯДОК

Однажды Шептуха пожаловался, что у него в банде случилась поножовщина.

- Что вы не поделили? — поинтересовался я.
- Мясные консервы, — быстро ответил он.

ШЕПТУХА СТРОИТ ПЛАНЫ

Однажды Шептуха стал подбивать свою банду на новое дело.

— Да что там «Пятерочка»? — размахивал он руками. — Мы возьмем «Елисейевский»!

ГРЕКИ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха стал читать лекцию своей банде.

— Нужно жить на хлебе и вине, — наставлял он. — На вине и хлебе.

- А почему вы такой толстый? — спросил кто-то.
- Вина мало, — быстро ответил он.

ЦУМ ШЕПТУХИ

Однажды на Страстном бульваре я заметил небольшую группу людей с авоськами.

— Да что там «Елисейевский»? — с жаром убеждал их Шептуха — Мы будем брать ЦУМ!

ШЕПТУХА И СТРАХ

Однажды Шептуху вызвали на Петровку, 38.

— Меня отпустили, меня отпустили, — бормотал он, когда вернулся.

ШЕПТУХА В ТУПИКЕ

Однажды мы с Шептухой настолько поиздержались, что стали делить последний окурочек.

- Я его раскуривал! — насакивал он.
- Я его тушил! — отбивался я.

«МУРКА» ШЕПТУХИ

Однажды я зашел в ЦУМ и увидел банду Шептухи.

— Ты в деле? — грозно придвинулся он.

ШЕПТУХА ВЗЯЛ ОСТАНКИНО

Однажды в новостях я услышал про банду Шептухи, которая орудует в столичных магазинах.

— Что это, отчаяние или социальный протест? — задавался вопросом ведущий.

ШЕПТУХА ВСПОМИНАЕТ

Однажды я спросил Шептуху, кого он помнит из эстрады 90-х.

— Салтыкову, — помрачнел он.

ИНФАРКТ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха обратился ко мне за советом по части сексуального.

— Может, лучше вибратором? — засомневался я. — Ведь ты не молод...

ШЕПТУХА-ИРЛАНДЕЦ

Однажды Шептуха сообщил мне, что у него появилась банда конкурентов.

— И как она называется? — поинтересовался я.

— «ЦУМнаш», — быстро ответил он.

ШЕПТУХА НА ТРОПЕ ВОЙНЫ

Однажды Шептуха признался, что хочет объявить банде конкурентов войну.

— Нужен девиз, — потребовал я.

— «ЦУМ—для—всех!» — ответил он.

ШЕПТУХА БЕРЕТ КРЕМЛЬ

Однажды я встретил банду Шептухи в очереди за билетами в Кремль.

— Что вы здесь делаете? — строго спросил я.

— Они готовятся! — хором ответила очередь.

НОМЕР ШЕПТУХИ

Однажды в новостях я наткнулся на заголовок: «Банда Шептухи поймана», — и сразу схватился за телефон.

— Слушаю вас, — ответил вкрадчивый голос.

СКАМЬЯ ШЕПТУХИ

Однажды я стал выступать свидетелем в суде над Шептухой.

— Ваша честь! — зывал я. — Это персонаж! Вы сажаете искусство!

ШЕПТУХА И ПРАВОСУДИЕ

Однажды после суда над Шептухой я открыл газету и прочитал, что Шептуха приговорен к ссылке.

— Где ты? — спросил я в трубку.

— В твоей деревне, — мрачно ответил он.

ШЕПТУХА И ГОСТИ

Однажды я привез журналистов Би-би-си в деревню, куда сослали Шептуху.

— Как называется это место? — тревожно озирались они.

— Дуплёвка! — подбадривал я.

ШЕПТУХА И ПРОЦЕДУРЫ

Однажды после съёмок в деревне Шептуха пригласил группу Би-би-си в баню.

— Мы будем прыгать голыми в снег! — приговаривал он.

ШЕПТУХА НЕ ТЕРЯЕТ ВРЕМЯ

Однажды литературная общественность заступилась за Шептуху, и его вернули из ссылки.

— Отдыхал? — усмехнулся я.

— Работал! — с жаром ответил он.

АЛЬЦГЕЙМЕР ШЕПТУХИ

Однажды после ссылки я решил научить Шептуху основам выживания в большом городе.

— Если что, прикидывайся идиотом, — наставлял я. — На все вопросы отвечай «Кто?», «Где?», «Я???»

ШЕПТУХА ВЫЖИВАЕТ

Однажды после ссылки Шептуха пожаловался на пустой холодильник.

— Что же ты ешь? — посочувствовал я.

— Аджикю, — быстро ответил он.

ШЕПТУХА ВЫЗЫВАЕТ ОПАСЕНИЯ

Однажды я наткнулся в своих бумагах на рассказ, который Шептуха написал в ссылке.

«Родился на улице Герцена, в гастрономе № 22, — начал читать я. — Известный экономист, по призванию своему библиотекарь. В народе колхозник, в магазине продавец. В экономике, так сказать, необходим. Например, фотографируете Мурманский полуостров и получаете telefunken. И бухгалтер работает по другой линии — по линии библиотек. Потому что не воздух будет, академик будет!..»

ШЕПТУХА ИНТЕРЕСУЕТСЯ ПОЭЗИЕЙ

Однажды Шептуха стал расспрашивать меня про какую-то Черубину.

- Кто это? — не понял я.
- Дебагриак, — уточнил он.

ИНДУИЗМ ШЕПТУХИ

Однажды я спросил Шептуху, кто из его женщин была самой запоминающейся.

- С тремя сосками и хвостиком, — ответил он.

МУЗЫКАЛЬНОСТЬ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха потянулся за рюмкой, напевая:

- Заправлены котлеты в космические карты...

ШЕПТУХА ШИФРУЕТСЯ

Однажды я решил обучить Шептуху азам шпионажа.

— Достань, но не открывай, — наставлял я. — Открой, но не наливай. Наливай, но не пей.

НОВОЕ ДЕЛО ШЕПТУХИ

Однажды на Страстном бульваре я заметил группу воодушевленных граждан, обступивших Шептуху.

— Учитель! — зывали они. — Теперь, когда мы взяли Кремль, — что мы будем брать дальше?

ДЕПРЕССИЯ ШЕПТУХИ

Однажды после ссылки Шептуха развелся и переехал на шоссе Энтузиастов. Я навестил его. Он лежал в пустой комнате на голом диване лицом к стенке.

— Книга! — бормотал он. — «Книга Шептухи»!

ФИНАНСЫ ШЕПТУХИ

Однажды после развода Шептуха признался, что у него появилась свобода выбора.

— Это как? — не понял я.

— Есть или пить, — быстро ответил он.

ШЕПТУХА ЗАГЛЯДЫВАЕТ В БУДУЩЕЕ

Однажды я застал Шептуху в сомнениях.

— Если пропаду, как найдешь меня? — допытывался он.

— По запаху, — мрачно пошутил я.

АНАТОМИЯ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха пожаловался на седалищный нерв.

— Ты не там показываешь, — заметил я.

ДВОЙНОЙ ТОСТ ШЕПТУХИ

Однажды на Новый год в редакции Шептуха напился и полез к гостям с тостами.

— Заазы-ы-ы! — взвыл он.

— «За азы!» — догадался я.

БУДУЩЕЕ ЗАГЛЯДЫВАЕТ В ШЕПТУХУ

Однажды я увидел, как Шептуха что-то записывает, — и заглянул ему через плечо.

— «За год до смерти Шептуха заметно помолодел», — прочитал я. — Что это???

— Пишу автобиографию, — быстро ответил он.

ШЕПТУХА И НАБЛЮДЕНИЕ

Однажды после развода Шептуха пожаловался на свою «наружку».

— Майор Голубь ушел в запой, Муха Светка забеременела, капитан Ворона сошел с ума и разговаривает человеческим голосом...

ШЕПТУХА ИЗУЧАЕТ

Однажды Шептуха спросил меня про греческих богов.

- Какие они? — допытывался он.
- Супербобровы! — отшучивался я.

МОБИЛЬНЫЙ БАНК ШЕПТУХИ

Однажды после развода Шептуха попросил вставить в книгу номер своего мобильного.

- Восемь, девятьсот шестнадцать, сто шестьдесят один, пятьдесят семь... — начал диктовать он.
- Но зачем?
- Я голодаю! — быстро ответил он.

ДОЗА ШЕПТУХИ

Однажды я решил взять Шептуху с собой в поход.

- Спальник, котелок, ложка... — начал перечислять я.
- Две ложки! — поправил он.

ОТЧАЯНИЕ ШЕПТУХИ

Однажды на Страстном Шептуха попытался открыть зубами банку с вареньем.

- Дай нож! — набросился он на меня.

ШЕПТУХА ЗАБОТЛИВЫЙ

Однажды из моей пачки исчезли почти все сигареты.

- Ты что? — возмутился я.
- Тебе будет плохо! — отбивался он.

НОВЫЙ ОПЫТ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха похвастался, что будет читать лекцию в местном товариществе.

- Какую? — заинтересовался я.
- «Как потерять всё и быть счастливым».

ШЕПТУХА И ОБЩЕЕ

Однажды Шептуха стал заглядывать ко мне в заветную коробочку.

- Это мое, — предупредил я.
- Это наше! — возразил он.

НЕЙРОНЫ ШЕПТУХИ

Однажды я стал рассказывать Шептухе о воображаемых мирах Батюшкова.

— Я тоже не дурак! — разволновался он.

ШЕПТУХА НЕ ВИДИТ

Однажды битый час я объяснял Шептухе архитектурную символику церкви, рядом с которой мы расположились.

— Да ты не туда смотришь! — наконец догадался я.

ШЕПТУХА И СПЛИН

Однажды Шептуха стал жаловаться, что ему в разводе скучно.

— Сходи в редакцию, — посоветовал я.

— Там еще скучнее.

ШЕПТУХА ОТКРЫЛ НОВЫЙ ШТАММ

Однажды я застал Шептуху в судорогах.

— Что с тобой? — ужаснулся я.

— Ковид-карачун! — простонал он.

ГОРЬКИЙ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха признался, что нашел самые дешевые пельмени.

— А какая марка? — заинтересовался я.

— «На дне», — мрачно ответил он.

ВОДКА ЗАБВЕНИЯ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха попросил меня налить ему водки.

— Сдохну, никто меня даже не вспомнит... — приуныл он.

— Так тебе наливать или нет?

ОБА ЗАЙЦА ШЕПТУХИ

Однажды я стал тянуть Шептуху в казино.

— Может, лучше выпьем? — забеспокоился он.

— Там и выпьем, — убеждал его я.

ШЕПТУХА И СВЕТЛОЕ БУДУЩЕ

Однажды после развода Шептуха стал допытываться, на каком кладбище я похороню его.

— На цифровом, — быстро ответил я.

ШЕПТУХА ПЕРЕПУТАЛ

Однажды Шептуха стал пугать меня insultом.

— Ты же эпилептик, — напомнил я.

ШЕПТУХА ПЛАНИРУЕТ КОСМОС

Однажды Шептуха поинтересовался, что будет на Марсе, если его колонизируют русские.

— ГУЛАГ, — мрачно пошутил я.

ШЕПТУХА И ВНУТРЕННИЙ ОРГАН

Однажды Шептуха объявил войну собственной поджелудочной.

— Умри, но выпей! — скандировал он.

НОВЫЕ ОБВИНЕНИЯ ШЕПТУХИ

Однажды в прокуратуре у Шептухи потребовали предоставить характеристику.

— Они просили от автора, — протянул он ручку.

ШЕПТУХА ПЕРЕДУМАЛ

Однажды Шептуха предложил выкупить «Челси».

— Ты сошел с ума? — заметил я.

— Да и зачем она нам, — согласился он.

ШЕПТУХА СТАВИТ ДИАГНОЗ

Однажды Шептуха придумал цикл лекций о современной литературе.

— А название? — поинтересовался я.

— «Крепкие задницы, медные лбы», — быстро ответил он.

ШЕПТУХА В ДОЛЕ

Однажды Шептуха предложил тост за наши авторские.

— Что значит «наши»? — не понял я.

УЛОВКА ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха ходил вокруг стройки, пока на него не свалилась штукатурка.

— Подам в суд, разбогатею! — разволновался он.

МЕТЕМПСИХОЗ ШЕПТУХИ

Однажды я спросил Шептуху, кем он был в прошлой жизни.

— Диогеном! — быстро ответил он.

ТРЕЗВОСТЬ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха решил устроить своему организму алкогольный шок.

— Как это? — заинтересовался я

— Брошу пить на сутки, — выдохнул он.

ПОДВИГ ШЕПТУХИ

Однажды летом Шептуха пришел ко мне вдрызг пьяный и с обмороженным носом.

— В морозильнике лопнула водка... — мрачно признался он.

АКАДЕМИЯ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха вернулся со Страстного с побитым лицом.

— Платоники сражались с перипатетиками! — утирался он.

— И кто победил?

— Наши.

КИНИЗМ ШЕПТУХИ

Однажды я спросил Шептуху, в чем выражается его философия.

— В жестах! — быстро ответил он.

ПЕЛЕВИН ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха поднял бабло.

— Положи на место, — ответило бабло.

ШЕПТУХА ДОЛГОЛЕТНИЙ

Однажды Шептуха размечтался собрать редакцию лет через 50.

— Им всем будет за 80, представляешь? — предвкушал он.

— А нам? — не понял я.

ПРИВАТ ШЕПТУХИ

Однажды в газете я увидел объявление Шептухи.

«Читаю лекции. Выезжаю на дом. Спиртное за счет заказчика».

ПОЗИТИВ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха придумал парафраз известного афоризма.

— Ну-ка! — насторожился я.

— «Годы дают свое», — быстро ответил он.

ШЕПТУХА И ОМЕН

Однажды Шептуха пролил водку.

— Это знак сниже, — оправдывался он.

АВТОПИЛОТ ШЕПТУХИ

Однажды после вечеринки Шептуха резко ускорился по улице.

— Куда ты несешься? — не успевал я.

— Остановлюсь, упаду, — задыхался он.

ШЕПТУХА ПОХМЕЛЯЕТСЯ

Однажды утром Шептуха придумал экспромт.

— Какой?

— «Чуть свет, и я уж на рогах,

И я у ваших рог».

ШЕПТУХА ПРОПУСТИЛ ВАЖНОЕ

Однажды я стал вспоминать, как мы с Шептухой чуть не угнали самолет.

— Я тогда не пил, я ничего не помню, — помрачнел он.

ШЕПТУХА СЖИГАЕТ МОСТЫ

Однажды после развода Шептуха решил уйти в монастырь.

— У тебя будет гостевая келейка, — успокаивал он меня.

СЛАВА ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха прибежал со Страстного бульвара с вытаращенными глазами.

— Про меня сказали «тот самый»! — задохнулся он.

ГРЕКИ ШЕПТУХИ

Однажды я спросил Шептуху, какой философии придерживается его банда.

— Эпикурейской, — быстро ответил он.

ПОЛОЖЕНИЕ ОБЯЗЫВАЕТ ШЕПТУХУ

Однажды Шептуха вымыл всю квартиру дочиста.

— Что случилось? — забеспокоился я

— Мне подарили айфон, — признался он.

НАТУРА ШЕПТУХИ

Однажды мы плотно поели в кафе «Пушкин», и я многозначительно посмотрел на Шептуху.

— Чем же мы будем расплачиваться? — заерзал он.

ШЕПТУХА И СЕЗОН В АДУ

Однажды Шептуха перебрался в мой котел.

— У тебя же есть свой! — возмутился я.

— В твоём теплее, — быстро ответил он.

ШЕПТУХА ОПЫТНЫЙ

Однажды во время разговора я остановился на полуслове и стал пристально всматриваться в Шептуху.

— Я Шептуха, — напомнил он.

ШЕПТУХА ОСВАИВАЕТ ИНТЕРНЕТ

Однажды Шептуха весь вечер рассказывал про какие-то стограмм.

— Инстаграм! — наконец догадался я.

ШЕПТУХА МЕНЯЕТ ОРИЕНТАЦИЮ

Однажды в споре я прижал Шептуху к стенке.

— Ты говорил, что ты киник!

— Я пифагореец, — уворачивался он.

ШЕПТУХА И ДЕВУШКА ИСКРА

Однажды на вечеринке Шептуха подошел ко мне с вытаращенными глазами.

— Почему она называет меня Желтухой?

ПРУСТ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха стал рассуждать о прошлом.

- Какое еще прошлое? — не понял я.
- Бывшее, — уточнил он.

ПАРАДОКС ШЕПТУХИ

Однажды я решил поставить Шептуху в тупик.

- В чем твой секрет? — спросил я.
- Ты же запретил говорить об этом... — покраснел он.

МОСКВОВЕДЕНИЕ ШЕПТУХИ

Однажды после вечеринки я заплутал в переулках.

- Где мы? — озирался я.
- Мы в порядке! — успокаивал Шептуха.

ТИТАНИК ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха попросил взять его на пароход.

- Какой пароход? — не понял я.
- Ну вот же про тебя написано — «Поэт, прозаик, пароход...»

ШЕПТУХА ПРИСПОСОБИЛСЯ

Однажды Шептуха устроился санитаром в морг.

- Хорошая зарплата! — похвастался он.
- И без ужина не останешься, — согласился я.

ЯДЕРНАЯ УГРОЗА ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха признался, что на фоне новостей у него начались «акополептические» видения.

- Какие-какие? — не понял я.
- Адские!

ШЕПТУХА ХИТРОУМНЫЙ

Однажды Шептуха настолько поиздержался, что решил себя покалечить.

- Зачем? — изумился я.
- Стану инвалидом, получу пенсию... — объяснил он.

ШЕПТУХА ПРОСИТ О ПОМОЩИ

Однажды Шептуха попросил меня поделиться творческой энергией.

— А где твоя?

— Дремлет.

НАТУРА ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха признался, что сделал одну проститутку заикой.

— Как это?

— Я разделся, — быстро ответил он.

ШЕПТУХА СОЗРЕЛ

Однажды Шептуха попросил устроить его на работу в какую-нибудь семью.

— Кем? — не понял я.

— Филиппинцем, — ответил он.

ПОДВИЖНАЯ ПСИХИКА ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха прибежал ко мне с предложением.

— А давай!...

— Что?

— А, забей, — передумал он.

ШЕПТУХА УДИВЛЯЕТ

Однажды я присмотрелся к Шептухе попристальной.

— Да ты же просто говорящая картошка... — изумился я.

ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА ШЕПТУХИ

Однажды мы решили выпить в редакции, и Шептуха пошел искать по комнатам закуску.

— Есть только кабачок, — быстро вернулся он.

— Сырой? — зачем-то уточнил я.

ТОМЛЕНИЕ ШЕПТУХИ

Однажды я поставил на стол бутылку и долго не открывал ее.

— Чего мы ждем? — не выдержал Шептуха.

— Мы предвкушаем.

НОВЫЕ ЖАНРЫ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуху пригласили выступить у бардов на концерте «Гитара по кругу».

— Что они называют «гитарой»? — беспокоился он.

ШЕПТУХА ЧТО-ТО ЗАДУМАЛ

Однажды Шептуха стал петь мне дифирамбы.

— Кто, как не ты! — восклицал он. — Ты как никто!

ШЕПТУХА И ТЯЖЕЛЫЕ ВРЕМЕНА

Однажды Шептуха вернулся из кабака трезвый.

— Мне перестали наливать в долг! — пожаловался он.

ГРОМАДЬЕ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха решил учредить литературное сообщество анонимных Нобелевских лауреатов.

— Да и как они могут быть анонимными? — передумал он.

ШЕПТУХА ВЕТХОЗАВЕТНЫЙ

Однажды на вечеринке Шептуха снова допился до чертиков.

— Мы как Адам и Ева... — бормотал он.

КИНЕМАТОГРАФ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха стал донимать меня какой-то «склейкой».

— Где герои были между кадрами? — недоумевал он.

ЗАСТЕНКИ ШЕПТУХИ

Однажды после ночного допроса Шептуху бросили в общую камеру.

— Ты здесь? — позвал он меня.

КОКО ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха пришел с улицы мрачный.

— Женщины перестали носить шляпки, — сообщил он.

ШЕПТУХА ГОТОВИТСЯ К БУДУЩЕМУ

Однажды Шептуха вернулся из парикмахерской с новой прической.

- Что это? — остолбенел я
- «Мама не узнает», — быстро ответил он.

БУДУЩЕЕ ШЕПТУХИ — СВЕТЛОЕ

Однажды Шептуха стал покушаться на мою заветную бутылочку.

- Это нам на зиму! — возмутился я.
- Какую?
- Ядерную!

ШЕПТУХА ХОЧЕТ В БУДУЩЕЕ

Однажды Шептуха спросил меня, в какой узор складывается его судьба в моем творчестве.

- Это будет ясно к концу, — уклончиво ответил я
- К какому концу? — заерзал он.

ГОГОЛЬ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха пришел ко мне с новым ирокезом на голове.

- Как у Ивана Никифоровича, — усмехнулся я.
- Как это? — не понял он.
- Редькой вверх.

ШЕПТУХА И ПРОЗРЕНИЕ

Однажды после операции на глазах я наконец разглядел Шептуху в подробностях.

- Ты похож на трамвайный билет! — изумился я.
- Какой?
- Пробитый.

ШЕПТУХА СОКРАТИЧЕСКИЙ

Однажды Шептуха решил познавать себя «от противного».

- Во-первых, я не женщина... — начал он.

ГОЛОДНАЯ ЭТИКА ШЕПТУХИ

Однажды я уличил Шептуху в том, что у него совсем не осталось совести.

- Я три дня не ел! — стал возмущаться он.

ШЕПТУХА И ГРЕХ УНЫНИЯ

Однажды Шептуха совсем впал в депрессию.

— Ты уедешь, меня посадят... — тихо размышлял он.

ШЕПТУХА ВСПОМИНАЕТ ПУШКИНА

Однажды на вечеринке Шептуха стал звать какого-то «парабрата».

— «Пора, брат, пора», — догадался я.

ЧЕРНЫЕ СКАЗКИ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха стал рассказывать мне историю из детства.

— Как-то раз мы со Славиком Кухаревым поехали на рыбалку, он там и остался...

— Утонул? — вздрогнул я.

ГРЕКИ ДУМАЮТ О ШЕПТУХЕ

Однажды я стал объяснять Шептухе, как Пифагор прорывался в трехмерное пространство, и для наглядности исчертил схематически свою книгу.

— Что я наделал! — спохватился я

— Это для аукциона! — успокоил Шептуха.

ШЕПТУХЕ ЧЕГО-ТО НЕ ХВАТАЕТ

Однажды в пивном портале Шептуха стал приставать к какой-то девушке.

— У меня есть парень! — отбивалась она.

— А у меня нет! — наседал он.

ШЕПТУХА И ПЯТНИЦА

Однажды Шептуха снова напился в пивном портале до чертиков.

— Узнаю Русь-батюшку... — озирался он.

КУЛЬТУРНАЯ ИНИЦИАТИВА ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха придумал лайфхак для литературных вечеринок.

— Какой?

— Бутылка с наручниками, — быстро ответил он.

ШЕПТУХА МЕЧТАЕТ ОБ ОТПУСКЕ

Однажды Шептуха пригласил меня отдохнуть в подмосковном санатории.

— Страх и ненависть в Мытищах! — разволновался я.

РУЛЕТКА ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха признался, что поставил всю жизнь на кон.

— А где деньги? — не понял я.

ШИРОКО ЗАКРЫТЫЕ ГЛАЗА ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха предложил мне участие в оргии.

— Это кощунственно! — запротестовал я.

— Это изысканно! — напирал он.

ШЕПТУХА ХОЧЕТ СРАЗУ

Однажды Шептуха сделал доброе дело.

— На том свете зачтется, — заметил я.

— А на этом?!!

У ШЕПТУХИ ЕСТЬ ЗАСТУПНИКИ

Однажды на дверях моей квартиры я обнаружил листовку:

«Перестаньте травить Шептуху!»

ОЧЕВИДНОЕ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха спросил меня: «Что делать?»

— Кто виноват, мы знаем, — добавил он.

ГОЛЛИВУД ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха стал перечислять своих любимых артистов.

— Мерлин Брандо... — начал он.

ШЕПТУХА НЕДОВОЛЕН

Однажды Шептуха прибежал ко мне в смятении:

— Плохо еще работает пропаганда! — сокрушался он. — Люди должны сами писать на себя доносы...

ТОКСИКОЗ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха увидел девушку в летнем платье.

— Титьки! Титьки! — стал наскокивать он.

— Да, титьки, — успокаивал я. — И что?

ШЕПТУХА МЕЧТАЕТ ПОДДАТЬ

Однажды Шептуха пожаловался, что хотел бы побольше пить.

— Мы же пьем каждый день... — не понял я.

ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха заметил, что в городе почти не осталось красивых девушек.

— Куда они подевались? — с тоской озирался он.

— Уехали вслед за красивыми юношами.

ПРО ЗРЕНИЕ ШЕПТУХИ

Однажды я спросил Шептуху, что его больше всего возбуждает в женщине.

— Зрачки, — быстро ответил он.

ШЕПТУХА В НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ

Однажды в редакции соседний отдел устроил вечеринку, и Шептуха решил сходить на разведку.

— Что мне сделать? — спросил он меня.

— Сфотографируй стол и возвращайся.

КАНДИДАТСКИЙ МИНИМУМ ШЕПТУХИ

1.

Однажды Шептуха спросил меня, кто бы он был по Канту.

— Вещь не в себе!

2.

Однажды Шептуха пришел ко мне с идеей супернеокантианства.

— Что будет исследовать твоя философия? — заинтересовался я.

— Априорные формы априорных форм!

ШЕПТУХА И РАЗНООБРАЗИЕ

Однажды Шептуха признался, что подходит к работе творчески.

— На первой я подрался, на второй меня побили... — признался он.

ЛОПАТА ДЛЯ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха приехал ко мне в деревню.

— Здесь бы и помереть... — размечтался он.

— Рой!

ШЕПТУХА ЗНАЕТ СЕБЕ ЦЕНУ

Однажды в редакции я заметил Шептуху, который что-то вписывает в книгу отзывов.

«Невероятно чуткие сотрудники журнала, и особенно неподражаемый Шептуха...»

ДАДАИЗМ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха сошел с ума.

— Позвонили в дверь, открываю — лошадь!

ШЕПТУХА НА СТИЛЕ

Однажды Шептуха принес мне почитать новую повесть.

— Мне понравилось, — признался я.

— А что именно?

— А вот это: «Потом мы ели арбуз и трахались».

ШЕПТУХА ПУТЕШЕСТВУЕТ

1.

Однажды я привез Шептуху в Торопец.

— А где найти лайф? — стал озираться он.

— Мы и есть найти лайф, — подбадривал я.

2.

Однажды в Торопце мы отправились купаться на Удбище.

— Да ты рыба с руками... — обомлел я.

СЕМИДЕСЯТЫЕ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха признался, что в детстве его нянчила Чепуха.

— Это фамилия, — уточнил он.

РЕДУКЦИЯ ШЕПТУХИ

Однажды я спросил Шептуху, какой вопрос его ставит в тупик.

— Кем бы я был, если бы не родился, — быстро ответил он.

ШЕПТУХА ОСТЫЛ

Однажды мне позвонила Полина из редакции и сказала, что у них лежит Шептуха.

— Он уже холодный, — предупредила она.

СТОИЦИЗМ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха сделал умозаключение.

— Что бы ни случилось с Россией — это случится!

ШЕПТУХА ОБМАНЫВАЕТ ШЕПТУХУ

Однажды Шептуха спросил, как ему подольше сохранять зачатки.

— Почаще перепрыгивай, — усмехнулся я.

АПОРИЯ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха решился на кремирование.

— А что я буду делать с прахом? — передумал он.

САМООТВЕТ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха спросил, когда я последний раз выпивал.

— Сам подумай.

— Вчера!

ШЕПТУХА В ИСТОРИЧЕСКОМ ТУПИКЕ

Однажды Шептуха решил сжечь себя на Красной площади.

— Ты забудешь текст, — заметил я.

«ТИМЕЙ» ШЕПТУХИ

Однажды Шептуху пригласили выступить на философском диспуте.

— Что мне делать? — заметался он.

— О чем бы ни шла речь, говори: «Это платоновские идеи!»

ШЕПТУХА И ГИДРОЛОГИЯ

Однажды Шептуха стал рассказывать про заливные луга в Раменском районе.

— Там же нет рек! — возразил я.

— Там есть озера!

У ШЕПТУХИ РАЗВИВАЕТСЯ ПАРАНОЙЯ

1.

Однажды Шептуха прибежал ко мне сам не свой.

— Нас подслушивает Алиса! — прошептал он.

— Кто это? — вздрогнул я.

— Твоя колонка!

2.

Однажды Шептуха стал рассказывать про какую-то Лизу.

— Нас подслушивает Алиса, — напомнил я.

— Лиза тоже...

ШЕПТУХА И ЦАРЬ ДАВИД

Однажды Шептуха привел в редакцию своего нового знакомого.

— Авессалом, — представился тот.

— Ахитофел, — не растерялся я.

ПАМЯТНИК ШЕПТУХЕ

Однажды Шептуха спросил меня, что будет написано на его могиле.

— «Автор неизвестен»!

ЛОВЕЛАС ШЕПТУХА

Однажды на бульваре Шептуха стал подкатывать к девушкам.

— А вы знаете, кто это? — показывал он на меня.

ШЕПТУХА СОЧИНЯЕТ РИМЕЙК

Однажды Шептуха начал писать продолжение «Денискиных рассказов».

« — Пьяный он, хватит ему!

— А как же я, тетя Маша?

— И ты, Мишка, больше не пей, иди спать!»

ГУМАНИЗМ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха стал увлеченно рассказывать о каком-то Эразме.

— Кто-кто? — не понял я.

— Растерзамский, — уточнил он.

ШЕПТУХА ПОДВЕРГНУТ СОБЛАЗНУ

Однажды Шептуха решил заказать проститутку по интернету.

— Всего полторы тысячи! — не верил он глазам.

— Это резиновые, — уточнил я.

ШЕПТУХА ПИШЕТ СЦЕНАРИЙ БУДУЩЕГО

Однажды Шептуха придумал, как спасти Россию.

— Шварценеггер отправляется в прошлое, чтобы уничтожить все книги Карла Маркса... — начал он.

ШЕПТУХА УЧИТ ИСТОРИЮ

Однажды Шептуха стал рассказывать мне про убийство в каком-то Гугличе.

— Где-где? — не понял я.

— В Угличе, — быстро поправился он.

ЯЙЦО ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха понял, с кого рисовали логотип МТС.

— С кого? — вздрогнул я.

— С меня!

ШЕПТУХА В НЕИЗВЕСТНОСТИ

Однажды Шептухе позвонил Байден.

— Что у вас происходит? — строго спросил он.

— Не знаю, — честно ответил Шептуха.

— Так спросите!

— Они сами не знают!

КОНЦЕПТ ДЛЯ ШЕПТУХИ

Однажды я подарил Шептухе фотоальбом «30 лет вместе».

— А почему пустой? — возмутился он.

ШЕПТУХА НЕ ХОЧЕТ БЕЖАТЬ В МАГАЗИН

Однажды в редакции мы выпивали в компании Тонконогова, и тот неожиданно запел песню.

— Зачем он это делает? — забеспокоился Шептуха.

— Водка заканчивается, — пожал я плечами

ШЕПТУХА СМОТРИТ ВДАЛЬ

Однажды Шептуха поинтересовался, кто первым повесится на моей могиле.

— Твоя бывшая, — мрачно пошутил я.

ШЕПТУХА И ВЕЧНЫЕ ВОПРОСЫ

Однажды Шептуха в очередной раз стал донимать меня.

— Признавайся, кто я?

— Ты сумма обстоятельств!

ТЯЖЕЛЫЕ БУДНИ ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха засобирился на какую-то «Синюю гору».

— Куда? — не понял я.

— В запой!

СААВЕДРА ШЕПТУХИ

Однажды я спросил Шептуху, кого он считает литературным родственником.

— Санчо Пансу, — быстро ответил он.

ШЕПТУХА И ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ РУССКОЙ ЖИЗНИ

Однажды Шептуха задумался:

— Наши родители избавились от вшей, мы прогнали тараканов, с кем будут бороться наши дети?

— С глистами.

ОЧЕВИДНОСТЬ ДЛЯ ШЕПТУХИ

1.

Однажды Шептуха прибежал ко мне из редакции с вытаращенными глазами.

— Они все посходили с ума! — пожаловался он.

— С чего там сходить? — усмехнулся я.

2.

Однажды мы с Шептухой заспорили о евреях.

— Мы бы его не распяли! — горячился он.

— У вас он бы даже не родился, — возражал я

БУДУЩЕЕ СНОВА ЕСТЬ У ШЕПТУХИ

Однажды Шептуха прибежал ко мне вне себя от радости.

— Он умер от остановки сердца! — задохнулся он.

— А кто останавливал? — поинтересовался я.

ШЕПТУХА ИЗУЧАЕТ ФИЛОСОФИЮ

Однажды Шептуха признался в любви к Эмпедоклу.

— А что именно тебе у него нравится? — заинтересовался я.

— Его бронзовые сандалии.

АМБИЦИИ ШЕПТУХИ

Однажды я спросил Шептуху, кем бы он хотел работать.

— Министром культуры, — быстро ответил он.

ШЕПТУХА ПОСЛЕ ПЕРЕДЕЛКИНО

Однажды Шептуха пришел ко мне в расстроенных чувствах.

— Ни жизнь прожить, ни поле перейти, — разрыдался он.

ТРИУМФ ШЕПТУХИ

Однажды мы с Шептухой выходили из моего подъезда, и нас окружила толпа журналистов.

— Почему Батюшков? — допытывались они.

— К черту Батюшкова, здесь Шептуха! — закричал кто-то.

ШЕПТУХА ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Однажды мы с Шептухой очутились на необитаемом острове и поймали золотую рыбку.

— Хочу домой! — пожелал Шептуха и исчез.

— Ящик вина и Шептуху! — пожелал я.

2021–2023 гг.

**ОБЪЯВЛЕНЫ ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ «ПОЭТИЧЕСКИЙ ДЕБЮТ»
ЖУРНАЛА «НОВАЯ ЮНОСТЬ» ЗА 2021-23 ГГ.**

*Лауреатами премии за яркий поэтический дебют на страницах журнала
«Новая Юность» стали Дарья Христовская (г. Ярославль)
и Влада Баронец (г. Санкт-Петербург).*

Поздравляем наших авторов!

*Ранее лауреатами премии становились Елена Жамбалова (г. Улан-Удэ),
Максим Матковский (г. Киев), Марианна Плотникова (г. Уфа), Мирослав Лаяк (г. Киев),
Иван Ким (г. Коломна), Екатерина Вахрамеева (г. Екатеринбург),
Егана Джаббарова (г. Екатеринбург), Тая Найденко (г. Одесса).*

*Материалы, опубликованные в журнале за эти годы,
можно найти на нашем сайте
<http://www.new-youth.ru>*

*Кроме того, «Новую Юность» можно почитать
в Журнальном зале
<https://magazines.gorky.media/>*

*и в Литрес
<https://www.litres.ru>*

E-mail: newyouth@mail.ru

Журнал зарегистрирован в Комитете РФ
по печати, рег. № 01826
Подписано к печати 15.03.2024
Объем 51,5 п.л.

Отпечатано в АО «Первая Образцовая типография»
Филиал «Чеховский Печатный Двор»
142300, Московская область, г. Чехов, ул. Полиграфистов, д. 1
Сайт: www.chpd.ru, E-mail: sales@chpd.ru, тел. 8(499)270-73-59